

Пере-
крес-
ток

Юрий Сленухин

Частный
случай

Юрий Слетухин

**Пере/
крес/
ТОК**

***Частный
случай***

Избранные произведения

Лениздат · 1988

84.3P7
С47

Художник В. Н. Осенчаков

С $\frac{4702010200-149}{M171(03)-88}$ 184-88

ISBN 5-289-00174-3

© Состав, статья, оформление,
Лениздат, 1988

Пере- крес- ток

Роман





*Памяти моего отца —
Григория
Пантелеймоновича
Слепухина
(Кочеткова)*

Пролог



же пятый час без остановки, подхлестываемые стремительными взмахами шатунов, бешено крутились высокие — в полтора человеческого роста — колеса мощного коломенского паровоза.

Открытые семафоры пронеслись мимо; путь был свободен — он летел под колеса километр за километром, холодно и безучастно отсвечивая синеватым блеском металла. Над полотном железной дороги, над желтыми от суглинка полями и поросшими бурьяном оврагами висел густой осенний туман.

Южный экспресс вышел из Москвы на рассвете. Позади остались редкие группы провожающих на перроне, лачуги и новостройки предместий, дымные корпуса, трубы, штабеля угля, мокрые дощатые платформы пригородных станций, дачки с резными мезонинами и стальные мачты высоковольтных линий. Экспресс торопился; его длинное членистое тело, составленное из десяти темно-синих пульманов, содрогалось от нетерпения и мускулисто выгибалось на поворотах пути, чтобы — снова распрямившись стрелой — дальше и дальше со всего размаха вонзаться в туман, оставляя за собой быстро глохнущий грохот и разорванные клочья дыма, медленно оседающие на полотно.

Шел тридцать шестой год, и была осень — холодное

октябрьское утро тысяча девятьсот тридцать шестого года.

В длинном лакированном коридоре было тихо. Ритмично покачивались занавески, ровно блестел ряд начищенных дверных ручек; не нарушая тишины, делая ее лишь более ощутимой, из одного купе доносились негромкие голоса да под ковровым настилом пола глухо и безостановочно рокотали колеса.

Военный с двумя шалами на черных петлицах, вышедший в коридор покурить, стоял у окна, пошатываясь в такт работе рессор и время от времени точным жестом поднося к губам папиросу. За толстым стеклом, затуманенным осевшей влагой, с утомительным однообразием взлетали и медленно опадали телеграфные провода, мелькали столбы, косо перечеркнутые поперечинами с аккуратными рядками зеленых стеклянных изоляторов. Подальше — на самой границе тумана, белесой стеной подступившего к полотну, — реже и медленнее пробегали потемневшие от непогоды шалашики, составленные из решетчатых щитов снегозадержания.

Когда-то они с братом каждый год в конце лета тоже строили себе шалаш — оперативную базу для глубоких рейдов по окрестным садам. Помешанный на индейцах, Виктор называл это вигвамом. Странно, что даже сейчас — почти тридцать лет спустя — он отлично помнит еще запахи «вигвама»: сенокосный аромат вянущей травы, наваленной на каркас из жердей, и прохладный — нагребленной антоновки...

Да, почти тридцать лет. А теперь от брата осталось только это непонятное существо, сидящее там, в купе, да обведенная черным заметка: «Народный комиссариат тяжелого машиностроения с прискорбием извещает о кончине Виктора Семеновича Николаева, главного инженера Востсибмашстроя, погибшего при исполнении служебных обязанностей 29 сентября 1936 года».

В последний раз они виделись четыре — или три? — пет, четыре года назад. Виктор заехал к нему на одну ночь, возвращаясь из очередной поездки в Америку, и привез подарки — хитро устроенную американскую трубку с прозрачным мундштуком и бутылку хорошего французского коньяка. Трубка была потеряна очень скоро, на осенних тактических занятиях, а коньяк они тогда выпили вдвоем, пока Виктор рассказывал свои впечатления об американских заводах. Утром, уже на вокзале, он спросил Виктора о наследнице. «Растет, — ответил тот, — не по дням, а по часам. Приедешь в Москву раз в год, и смотришь — Татьяна это или не Татьяна. Нянька жалуется —

озорница, говорит, такая, что просто беда. А в общем, жаль девочку. Матери нет, отец превратился в отвлеченное понятие...»

Затянувшись в последний раз, майор взялся за ручку окна. Рама плавно и тяжело скользнула вниз, в покойное тепло коридора ворвался вместе с ураганным грохотом колес холодный ветер, насыщенный сыростью и серпистым запахом паровозного дыма.

Жаль, что Анна Сысоевна не смогла поехать вместе со своей воспитанницей. Конечно, в ее возрасте это уже сложно. А теперь он, сорокалетний холостяк, давно получивший от подчиненных лестное прозвище «костяной ноги», должен — что? Бегать по городу и искать няню? Или самому браться за воспитание племянницы? Экое ведь нелепое положение, будь оно неладно. С парнишкой было бы уж куда проще, что и говорить. И то трудно! Но девочка...

— Ну ладно, нечего разводить панику, — вслух пробормотал майор, закрывая окно. — Не отдавать же родную племянницу в детдом!

Щелчком сбив пушинку с рукава кителя, майор отодвинул дверь купе. Племянница — худенькое круглолицее существо в пионерском галстуке — сидела с поджатыми ногами в уголку дивана. Майор с сожалением заметил, что купленные в Москве журналы так и лежат на столике нетронутой стопкой. Их было много: не зная в точности, что обычно читают в тринадцать лет, он взял на всякий случай все, что было в вокзальном киоске, — «Огонек», «Костер», «Мурзилку», «Крокодил» и «Пионер». Очевидно, нужно было взять что-то другое, экая история...

— Ну вот, Татьяна, — неопределенно сказал он, усевшись на диванчик напротив, — можно сказать, путешествуем?

В сотый раз, но с тем же чувством недоумения, что и впервые, смотрел он на племянницу — собственно говоря, теперь уже дочку. С одной стороны (насколько он понимал), все было как полагается — круглые, совершенно невероятных размеров глаза, нос пуговкой, еще лоснящийся от утреннего умывания, косички с черными бантами. Банты эти, как и снежная белизна блузочки и отлично отутюженная плиссированная юбка с перекрещенными сзади бретелями, хранили еще прощальную заботу Анны Сысоевны, обряжавшей вчера свою воспитанницу в дальний путь. Что ж — девочка как девочка. Но, с другой стороны, разве это не загадка — посложнее всех тех, с которыми ему приходилось до сих пор иметь дело? Перед

его отъездом из Энска директор той школы, куда он ходил договариваться насчет Татьяны, посочувствовал его положению и отчасти успокоил его, сказав, что на девочку будет обращено в школе особое внимание; что же касается воспитания внешкольного, директор посоветовал ему почитать некоего Макаренко — или Макарченко? — по его словам, это был большой специалист по таким делам. В Москве майору удалось после долгих поисков купить «Книгу для родителей»; заглавие его немного ободрило, и на эту книгу он возлагал сейчас единственные свои надежды.

Задав племяннице нелепый вопрос, он тотчас же устыдился, вспомнив слышанное от кого-то мнение, что дети отлично разбираются — когда с ними говорят всерьез и когда просто так, чтобы что-то сказать. И действительно, племянница в ответ промолчала — как ему показалось, укоризненно.

— Когда мы приедем, дядя Саша? — в свою очередь спросила она через минуту, сильно картавя и произнося два последних слова совсем слитно, так что получилось «п'иедем» и «Дядясаша».

— Ну, не так уж скоро, Татьяна! — оживился майор. — Не раньше полуночи, я думаю. Это если без опоздания, поезда сейчас ходят черт знает как. Что, брат, надоело?

— Я немножко устала, Дядясаша, — пожаловалась девочка, — все сидишь и сидишь... и потом жалко, что туман — ничего не видно...

— Да, туман — это несколько э-э-э... непредвиденное обстоятельство, — отозвался майор, мучительно думая, о чем бы еще поговорить.

Нужно было тщательно избегать упоминания об Анне Сысоевне. Прощаясь с ней на вокзале, Татьяна рыдала истерически, и понадобилось очень много неумелых усилий с его стороны, чтобы кое-как успокоить племянницу, убедив ее в том, что расстанется она с няней всего на несколько месяцев, а летом уедет к ней в Звенигород на все каникулы, до осени. Нельзя было говорить и о Викторе, хотя — как это ни печально — смерть отца Татьяна восприняла едва ли не легче, чем разлуку с няней. Впрочем, можно ли винить за это девочку, если отец появлялся дома раз в год, а то и реже?

Анна Сысоевна рассказывала ему об этих посещениях. Виктор обычно прилетал в Москву на какую-нибудь неделю, из которой семь дней проводил в трестах и главках, а домой забегал лишь для того, чтобы взглянуть на спящую дочку, оставить возле ее кровати кучу конфет и

игрушек и самому соснуть несколько часов в своем пропахшем пылью и старыми бумагами кабинете, среди развешанных по стенам фотографий строящихся цехов. А впрочем, может быть, все это оказалось сейчас и к лучшему — для Татьяны. По крайней мере, она не слишком травмирована случившимся...

Майор перевел дыхание, почти физически ощутив вдруг тяжесть газетной вырезки, спрятанной в бумажнике в нагрудном кармане. Эх, Витя, Витя, так и не удалось им за все эти годы выкроить хотя бы неделю совпадающих отпусков, чтобы поехать порыбачить в родных местах под Воронежем...

Да, как-то очень по-разному сложились их судьбы, с самого начала. Насколько буднично и просто шло все у него самого — один курс Политехнического, потом школа прапорщиков, Февраль, Октябрь, гражданская война, академия и служба по сей день, — настолько яркой казалась ему всегда жизнь Виктора. Тот успел окончить институт в семнадцатом и сразу же после демобилизации в двадцать втором начал работать по специальности. Через год женился — очень счастливо, по любви, — и вообще, казалось, не было ничего, в чем бы ему не везло в те годы. Майор — он тогда еще им не был и готовился в академию — часто бывал у брата в реквизированном особняке на Неглинной, где тот занимал половину роскошного зала с фанерной перегородкой и расковыранным на топливо паркетом. Ни раньше, ни после того ему ни разу не приходилось больше видеть таких счастливых людей, какими были тогда Наташа и Виктор...

Потом Наташа умерла от воспаления легких, простудившись во время лыжной прогулки в Сокольниках; Виктор к тому времени стал уже довольно известным специалистом и работал с Бардиным на Магнитострое. Возможно, именно работа помогла ему перенести удар. Потом его имя стало все чаще мелькать в газетах. Фотографии инженера Николаева в окружении очень высокопоставленных лиц, ордена, командировки в Америку. В свои сорок два года он был назначен главным инженером строительства Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения. И наконец срочный вызов в Москву и эта нелепая авария над тайгой...

— Дядяшапа... а почему люди умирают? — задумчиво глядя в окно, спросила вдруг племянница, и майора почти испугало такое необыкновенное совпадение их мыслей.

— Ну, как то есть почему... — смешался он. — От разных причин, Татьяна...

— Нет, я не про то, Дядясаша, — терпеливо, как говорят с маленьким, возразила Таня, — а вообще, почему это нужно, чтобы умирали?

Майор озадаченно пожал плечами.

— Это, Татьяна... ну как бы тебе сказать... это уж такой закон существования...

Племянница долго молчала. Потом она отвернулась от окна, и майор увидел, что на ее ресницах блестят слезинки.

— Ну вот, — огорченно сказал он, — а мы договорились не плакать... что ж это ты, Татьяна? Нехорошо, нехорошо... а ну-ка, повернись ко мне...

Достав платок, майор осторожно и неумело отер ей слезы.

— Нехорошо быть плаксой, — сказал он наизда-тельно, — это, брат, просто ни на что не похоже — пла-кать в тринадцать лет. Ты бы вот лучше подумала о том, как будешь учиться, какие у тебя будут новые подруги и тому подобное... сегодня у нас что — среда? Ну что ж, завтра ты будешь отдыхать, хорошо выспишься, а в пят-ницу можно будет сходить в школу — познакомлю тебя с директором, он тебе скажет, в каком классе будешь зани-маться...

Племянница кивнула и вытерла кулачком глаза.

— А в какой школе я буду учиться, Дядясаша? — спросила она вздрагивающим еще голоском.

— В отличной школе, Татьяна, — весело ответил майор, принимая более непринужденную позу. — Такая, понимаешь ли, сорок шестая средняя школа, совсем не-далеко от дома. Красивое новое здание, и директор произвел на меня хорошее впечатление... Кстати — у вас там какой был язык, из иностранных?

— У нас немецкий, Дядясаша... это в двести десятой был французский, а нас хотели перевести на английский, а потом так и оставили с немецким...

— Ну прекрасно, там тоже немецкий, видишь, как удачно. У тебя как с этим делом?

— Годовая была «хор», Дядясаша, потому что я спи-сала контрольную и мне снизили в четверти...

— Вот так после этого и списывай, — сочувственно сказал майор. — Ну, ничего. А с украинским, я думаю, ты тоже справишься...

— С каким украинским, Дядясаша? — озабоченно спро-сила племянница.

Майор смутился, словно он сам был виноват в том, что девочке придется учить лишний язык.

— Эנסк ведь находится на Украине, Татьяна, ну и... там приходится изучать украинский язык...

— Ой, — испуганно пискнула племянница. — А это трудно?

— Нет, что ты. Это же почти как русский. Так, маленькая есть разница, а в общем похоже... Войдите!

Дверь откатилась, в купе заглянул бритоголовый толстяк в галифе и темно-синей гимнастерке.

— Товарищу майору с племянницей! — возгласил он сипловатым, чуть придушенным голосом. — Не побеспокоил?

— Приветствую вас, Петр Прокофьич. — Майор встал и жестом пригласил толстяка садиться. — Прошу!

Они были немного знакомы по Энску — встречались иногда на городских партконференциях; а сегодня ночью в Москве Петр Прокофьич появился у вагона как раз в тот момент, когда Таня прощалась с Анной Сысоевной, и сочувственно осведомился у майора о причине слез молодой гражданочки. Оказалось, что он возвращается из командировки и даже едет в этом же третьем вагоне.

Обменявшись рукопожатием с майором, толстяк повернулся к Тане и с неожиданным проворством подмигнул запыльшим глазком.

— Как самочувствие, девушка?

Таня очень удивилась про себя странному обращению, но не подала виду.

— Хорошо, спасибо, — вежливо ответила она. — А как ваше?

— Ну, мое всегда — на большой! А вы, значит, уже вошли в норму? Вот это правильно, это по-пионерски!

Подмигнув еще раз, толстяк достал из кармана завернутого в серебряную бумажку зайца.

— Премия за высокие показатели, — пояснил он, ставя зайца на столик.

— Ой какой симпати-и-ичный! — восхищенно протянула Таня. — Его просто жалко есть, правда! Спасибо...

— Кушайте на здоровье, девушка, только зубки берегите. Александр Семеныч, я, собственно, по вашу душу... — Петр Прокофьич заговорщицки понизил голос до сиплого шепота. — В моем купе, понимаете ли, составила пулечка, и для полного кворума не хватает только вас. Как вы насчет того, чтобы повернуть это дело? Этак, знаете ли, без волокиты, большевистскими темпами, а?

Приглашение пришлось кстати, — честно говоря, майор уже не знал, о чем еще можно поговорить с Татьяной. Карты так карты, за неимением лучшего.

— Это можно, отчего же не проверить. Татьяна, ты не возражаешь, если я тебя оставлю на часок в одиночестве? Наш разговор мы продолжим позже. Ты не боишься одна?

— Что ты, Дядяша!

— Ну, отлично. Вот этой кнопкой вызовешь проводника, если тебе что-нибудь понадобится...

Несмотря на большевистские темпы, пулька в купе Петра Прокофьяча продолжалась и после обеда, до самого вечера. За ужином в вагоне-ресторане Таня сидела совсем сонная, поминутно роняя вилку. Когда какой-то военный в высоком звании прошел мимо них, небрежно ответив на майорское приветствие, она почувствовала обиду за своего Дядюсашу и оживилась.

— Он главнее тебя, да? — спросила она, проводив обидчика укоризненным взглядом.

— Кто именно? — не понял майор.

— Ну, вот этот, что прошел...

— А, ну разумеется. Ты же видела, он носит в петлицах ромб, а я — две шпалы, следовательно, он старший по званию. Погоди-ка, у тебя с мясом ничего не получается, дай я тебе порежу на кусочки...

— Нож очень тупой, Дядяша. А мне нельзя пива?

— Нет, девочки пива не пьют. Взять тебе сидро?

— Угу. А мальчишкам пиво можно?

— Несколько постарше... Девушка, будьте добры бутылочку сидро...

— Нету сидра, — равнодушно бросила официантка.

Майор обескураженно посмотрел на племянницу.

— Плохо дело, Татьяна. Очень хочется пить?

— Нет, Дядяша. Мне очень спать хочется. Дядяша, а почему тебе не дали ромба?

— Такой уж, брат, у меня характер.

— Плохой?

— Видно, плохой.

— Значит, ты пошел в меня, — подумав, сказала Таня. — Анна-Сойна говорит, что у меня характер шкодливый, правда.

Майор поперхнулся пивом, плечи его задрожали от смеха. Таня вздохнула и озабоченно сморщила нос.

— Дядяша, я тебе еще не сказала... мне годовую по поведению чуть не снизили на «посредственно». Это потому, что мы с мальчишками стреляли на уроке такими бумажками, знаешь, такими сложенными, вот так. — Таня

выставила рогаткой два пальца левой руки и правой натянула воображаемую резинку.— И я попала в учителя..

— Это, брат, плохо.

— Конечно,— опять вздохнула Таня.

Провожая племянницу обратно в купе, майор вел ее, обняв за плечи,— она уже совсем засыпала. Впрочем, в тускло освещенном тамбуре Таню отрезвили грохот и ледяной сквозняк из неплотно сомкнутых гармошек перехода. Прежде чем ступить на покрытые вафельной насечкой, с лязгом ворочающиеся под ногами железные плиты, она с беспокойством глянула на дядьку, снизу вверх, и прижалась к его руке.

— Смелее, Татьяна,— подбодрил майор,— держись за меня и не бойся... да ты, брат, трусиха, оказывается, изрядная...

Доверчивое движение девочки его растрогало. «Старый ты пень,— обругал он себя, вспомнив свои утренние сомнения,— костяная нога и есть, ничего другого про тебя не скажешь...»

— Хочешь спать? — спросил он, открывая дверь купе.— Впрочем, скоро мы приезжаем, пожалуй, уже нет смысла...

— Нет, у меня уже весь сон прошел,— бодрым голосом ответила племянница и зевнула.— Я лучше немножко посмотрю журналы...

— Ну отлично. Я пойду покурю пока.

Он выкурил две папиросы, прошелся по коридору, поигрывая сцепленными за спиной пальцами. Потом выгнувшийся из купе Петр Прокофьевич снова затащил его к себе, затеяв долгий разговор о событиях в Испании. Когда майор вернулся к племяннице, та уже мирно спала, свернувшись калачиком. Возле ее носа, на открытой странице журнала, лежал шоколадный заяц с откушенным хвостом.

Огибая аэродром, поезд описывал широкую дугу, и в залитом дождем окне плыла, ширясь, мерцающая россыпь огней Энска. Майор снял чемоданы с багажной полки, собрал журналы, аккуратно завернул в серебряную бумажку бесхвостого зайца. Покончив со сборами, он долго стоял над племянницей, глядя на ее порозовевшую от сна щеку, освещенную теплым светом лампочки.

— Татьяна,— позвал он негромко, тронув ее за плечо.— Татьяна, вставай-ка, брат, подъезжаем...

С трудом приведя Таню в состояние относительного бодрствования, он подал ей пальтишко, неумелыми движениями помог завязать шарф и оделся сам, рассовав журналы по карманам плаща.

Замедляя ход, экспресс ворвался в лабиринт подъездных путей энского вокзала. Вагон мотало на громыхающих стрелках, за окном — уже неторопливо — пробегали красные и зеленые огни, ряды вагонов, водокачка, проплыла темная туша отдыхающего на запасном пути паровоза, возле которого делал что-то человек с дымно-красным факелом.

— Ну, вот мы и дома, — бодро сказал майор, когда мимо окна замелькали лица встречающих на ярко освещенном перроне.

Несмотря на поздний час, на привокзальной площади было ещелюдно. Шел дождь. В мокром асфальте отражались высокие молочные фонари и красные фонарики пробегающих машин. Коренастый боец в черном бушлате танкиста отковырял майору, пожал ему руку и, подмигнув Тане, забрал у носильщика чемоданы.

— Сюда, товарищ майор, пришлось в сторонке стать — хотел ближе, так не дали... здесь постовой сегодня такой вредный, нет спасения, я его давно знаю — еще до призыва, я в Заготзерне на полutorке работал — так он одной крови сколько мне спортил, это просто невероятно сказать...

— Милиция знает, кому кровь портить, — проворчал майор, — ты, брат, лихач известный.

Они подошли к защитного цвета газик с поднятым брезентовым верхом. Боец поставил чемоданы и открыл заднюю дверцу.

— На попа их, Нефедов, вот так... ну, Татьяна, полезай-ка. Не мешают?

Захлопнув за племянницей дверцу, майор подергал ее и, подбирая полы плаща, полез на переднее сиденье, — машина скрипнула и накренилась.

— Газуй теперь, Нефедов, — сказал он, устраиваясь поудобнее и закуривая.

Таня прижалась носом к холодному целлулоиду, по которому снаружи сбежали извилистые дождевые струйки. Витрины были уже погашены, и улицы казались темными. На одном из перекрестков впереди вспыхнул красный глаз светофора — газик остановился, нетерпеливо пофыркивая и содрогаясь. Дядяша, закинув локоть за спинку сиденья, очень тихо разговаривал с водителем, на ветровом стекле маятником мотался рычажок «дворника», с каждым взмахом оставляя за собой широкий прозрачный полукруг, сразу же опять покрывавшийся сверкающим

водяным бисером. Сонно шуршал дождь по брезентовой крыше. Вздохнув, Таня плотнее вжалась в угол сиденья и закрыла глаза.

Когда ее разбудили, машина стояла уже в другом месте. Таня вылезла, протирая кулачками глаза и зевая. Улица была широкой, налево поскрипывали от ветра голые черные деревья, направо высился большой кирпичный дом, немного похожий на ее, московский. Косая сетка мелкого осеннего дождя летела перед молочными шарами фонарей.

— Ну, Татьяна,— сказал майор,— на этот раз мы уже окончательно дома. Идем-ка, брат...

Следом за несшим чемоданы водителем они поднялись на четвертый этаж и остановились на площадке. Майор отпер дверь, протянул руку в темноту и щелкнул выключателем.

— А ну-ка, Татьяна... вот и наше жилище. Нравится?

Таня обвела глазами огромную комнату с тремя высокими, закругленными вверху окнами. Черный кожаный диван, канцелярский шкаф с книгами, письменный стол и пара кресел неуютно стояли вдоль стен, почти не занимая места. С лепного потолка свисала на длинном голом шнуре очень яркая лампочка, прикрытая прогоревшим с краю бумажным фунтиком.

— Ну, так как же?— повторил майор, внося в комнату чемоданы.

— Ничего, Дядяша,— ответила Таня вежливо и не совсем искренне.— Окна совсем как во Дворце пионеров...

— Верно,— улыбнулся майор,— как во дворце. Я эту комнату так и называю — «тронный зал».

— А ты один здесь живешь?

— В принципе да. А что?

Таня пожала плечиками.

— Слишком пусто, и мебели совсем нет...

— А, это мы все устроим... я вот завтра с утра позволю в КЭЧ, пусть-ка они нам что-нибудь сообразят насчет обстановки. Это уж я оставляю на твое усмотрение, теперь ты хозяйка. Ты пока раздевайся, а я взгляну, не спит ли наша мать-командирша.

Таня сняла пальто и галошки и принялась рассматривать развешанные по стенам карты и непонятные таблицы, потом забралась с ногами на диван и зябко поежилась. В большой неуютной комнате было холодно, пахло старыми газетами и застоявшимся табачным дымом, по стеклам ничем не занавешенных окон барабанил дождь. Откуда-то издалека доносилась негромкая печальная му-

выка. Диван был холодный, как большая черная лягушка; Тане вдруг очень захотелось плакать. В эту минуту за дверьми слышались шаги и голос Дядисаши, и он вошел в комнату, пропустив перед собой толстую старуху.

— Прошу, это вот и есть моя знаменитая московская племянница. Татьяна, познакомься с Зинаидой Васильевной, сейчас мы пойдем к ней что-нибудь перекусить, а то у меня здесь ничего нет...

— Так это вот и есть Татьяна! — басом закричала старуха. — Да взрослая-то ты какая, батюшки мои, вовсе уж девка! К нам, значит, на жительство? И верно, Татьяна, уж мы тут с тобою заживем на славу — я и сама все дочку хотела, так нет же — как на грех, один сын, другой сын, тьфу ты пропасть!

Старуха была толстой, доброй и веселой — напоминала даже Анну-Сойну. Таня почувствовала к ней доверие.

— А дядька-то твой, слышь, учудил! — продолжала та. — Найдите мне, говорит, нянюшку для племянницы! Да ты сдурел на старости лет, Семеныч, ей-право сдурел. Девке скоро замуж собираться, а он — нянюшку! Господь с тобой, Семеныч, и выдумал же! Коли что надо — я присмотрю, за это не бойся. Даром ты, что ли, моих сынов в армии воспитывал, а? Не бойся за девуку, Семеныч, воспитаем и ее. Вот домработницу хорошую я тебе найду, приходящую, это нужно. Раз дите в доме завелось — нужно, спорить не стану. Сама-то небось хозяйновать не умеешь? Ну и верно, тебе это покамест и ни к чему, научишься еще, как время придет, намаешься. Ну, пошли, что ль. Чего поздно-то так, опять небось поезд опоздал? А я и спать не ложилась — что там, думаю, у Семеныча за племянница такая... глазком хотя поглядеть. Спать вынче у меня будешь, слышь, Татьяна? Дядька-то твой разве чего приготовит, да и что с него взять, с бобыля...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

То, что Сережка Дежнев остался досиживать второй год в девятом классе, было вызвано просто глупейшим стечением обстоятельств. И ведь до чего обидно — раньше, в седьмом, в восьмом, он вообще не учился, хулиганил, молоденькую преподавательницу литературы довел однажды до слез — и ничего, переползал-таки из класса в класс, с грехом пополам натягивая в годовой ведомости переходной минимум. Правда, в пятом он тоже сидел два

года, но это было давно; позже ему как-то все сходило с рук. А теперь не сошло — именно теперь, когда учеба, бывшая до сих пор скучной повинностью, стала вдруг главным в жизни! И если вспомнить сейчас, как это получилось, — так просто плюнуть хочется, до чего глупо...

Все началось с экскурсии на завод оптических приборов, устроенной преподавателем физики Архимедом в самом начале первой четверти. Иногда бывает, что какая-то мелочь вдруг меняет всю жизнь, направляет ее по другому пути. И так случается не только в романах. Отстав от экскурсии и остановившись перед одним заинтересовавшим его станком, Сережка Дежнев не знал, что в этот момент его собственная судьба определилась на много лет вперед.

Собственно, это был не один станок, а целая их цепочка — слитых друг с другом, установленных на одном длинном фундаменте и, как он сразу догадался, работающих без участия человека. Человек за ними только присматривал: самый обычный рабочий, никакой не инженер или лаборант, похаживал вдоль линии станков в обычной замасленной спецовке и в сплюснутой блином кепке, поглядывая и прислушиваясь. Дойдя до замершего в восторге Сережки, он покосился на него и ничего не сказал. «Сейчас прогонит», — подумал тот, но не тронулся с места. Рабочий прошел дальше, вытирая руки тряпкой. Через несколько минут он вернулся, совершив свой обход.

— Ну как, малец, — спросил он у Сережки, — нравится? Ты что, со школой здесь?

Сережка не обиделся даже на «мальца» и только кивнул, отвечая сразу на оба вопроса.

— А как оно работает? — отважился он спросить в свою очередь сипловатым от волнения голосом.

— Как работает? Это, парень, так просто и не расскажешь, как оно работает... само работает, вот в чем гвоздь. Глянь сюда...

Он достал из кармана спецовки и протянул Сережке небольшую — она свободно уместилась в углублении его ладони — сложных очертаний деталь, сработанную из новенькой ярко-золотой бронзы.

— А ну-ка, глянь, — повторил рабочий, — сколько тут операций? Ну так, на глазок?

Сережка повертел в руках теплую весомую вещицу и смущенно пожал плечами, признавая свое невежество.

— И чему вас в тех школах учат, — проворчал рабочий себе в усы. — Ты гляди: здесь расточка с резьбой — так? Эти вот плоскости отфрезованы, это тоже операция;

теперь тут вот шлифовка — видишь? — этот паз выбран, а отверстия, глянь, под каким углом... короче — тут, парень, четырнадцать операций, в этой одной детали, и все автоматика делает. Ты прикинь, сколько тут рук надобно было, когда это вручную гнали...

Сережка хотел было спросить, советский ли это станок, но тут сам увидел отлитые на станине латинские буквы. Ему стало обидно.

— Это что же, не наше? — спросил он.

— Покамест не наше... — Рабочий прислушался к разнотонному гудению механизмов и кивнул Сережке. — Ну, мне недосуг, ступай. А это возьми, — прибавил он, увидев вдруг, с какой нежностью Сережкины пальцы гладят фрезерованную грань детали. — Бери на память, ладно уж, все одно это брак...

Сережка поблагодарил и удивился.

— А он что же, — он кивнул на станочную линию, — тоже запарывает?

— Тут не то, заготовка была такая. Глянь вон со споду — раковина там, литье подкачало. Ну, счастливо...

Сережка постоял бы здесь еще, любуясь перенгой чудесных машин, но услышал свою фамилию, — экскурсия уходила из цеха, его хватились. Сжимая подарок в кармане пальто, он побрел к выходу, оглядываясь и спотыкаясь.

Бродя вместе с другими по производственным участкам, он уже не слушал объяснений руководителя, а только смотрел по сторонам — нет ли где еще одной «цепочки» автоматов. Но их не было; установленная в шестом цехе была, очевидно, единственной на заводе. Или, может быть, были еще в тех цехах, куда экскурсия не заходила. Сережке опять стало обидно — почему так мало таких машин на новом заводе. «Покамест не наши», — вспомнил он слова рабочего. Подумать только, сколько приходится переплачивать буржуям за такие станки... До каких же пор это «покамест»?

Старший его брат, Николай, работал на мотороремонтном, токарем. Сережка вспомнил вдруг, как часто Коля приходил домой серый от усталости, как он жаловался на изношенный станок, запарывающий деталь за деталью. А тут! Ходи только да посматривай... Его пальцы скользнули в карман и ощутили теплую, шелковистую на ощупь поверхность шлифованной бронзы, коснулись острой и точной грани, почувствовали шероховатость оставленных фрезой мельчайших рисок. Елки-палки, и это все делает сама машина! Если ее научили делать эти операции — по-

чему же нельзя научить и другим? Чем эта вот деталь отличается от других? Ну, факт — одни попроще, другие посложнее... так ведь и автоматику эту самую тоже можно сделать еще хитрее. А потом автоматизировать сборку, и...

Покончив с осмотром завода, экскурсия — два параллельных класса, почти восемьдесят человек — с гомоном толпилась на автобусной остановке. Девчонки требовали, чтобы их пропустили в первую очередь — мальчишки, мол, могут ехать следующим автобусом, ничего им не делается. Сережка не принимал в споре никакого участия. Отойдя в сторонку, он шурился на угрюмые бетонные коробки цехов. Ведь это еще новый завод... а посмотреть на мотороремонтный, так с тоски подохнешь... Сережка вспомнил Колин цех, куда он часто заглядывал. Тусклая стеклянная крыша, неровный, в выбоинах, пол, дымный воздух, исчерканный хлопающими ремнями трансмиссий. То ли дело — работа у этого, что обслуживает автоматы! Он еще в замасленной спецовке ходит — видно уж по привычке, просто привык, — а вообще-то так можно работать хоть при галстучке...

Досадливо оглянувшись на галдящих одноклассников, он вдруг махнул рукой и пошел прочь. Было не по-сентябрьски холодно, но скоро ему стало жарко — то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. Какие заводы можно создать, используя эти машины! Он стащил с головы истрепанную кепчонку, подставив голову холодному ветру. Заводы-автоматы!

Целые заводы-автоматы, где не будет ни грязи, ни копти, ни тяжелого труда, от которого потом дрожат от усталости руки и кусок не лезет в горло. Заводы-автоматы — прозрачные стеклянные дворцы, где мимо знающих свое дело машин будут ходить люди в чистом, поглядывать на приборы да нажимать кнопки. Разве не стоит жить для того, чтобы увидеть когда-нибудь такой завод, спроектированный тобой самим!

А для чего он жил до сих пор? Над этим вопросом Сережка Дежнев никогда не задумывался, так же как не задумывались и его сверстники — ребята двадцать первого года рождения. Жизнь была слишком интересной для того, чтобы ломать голову над ее смыслом.

Легкой она не была. Сережке исполнилось двенадцать, когда отменили хлебные карточки и он получил возможность, простояв несколько часов в очереди, совершенно свободно купить буханку вязкого ржаного хлеба с восхитительным кислым запахом. Ему было уже шестнадцать,

и он еще ни разу не видел выставленной в витрине пары ботинок или галош; а такие вещи, как ручные часы, велосипед или даже авторучка, оставались недоступной мечтой для него и для большинства его сверстников. Оно не было легким, детство поколения, зачатого в самый трудный год гражданской войны,— и в то же время оно было таким ярким и таким насыщенным, каким не было до них детство ни одного поколения на Земле.

Они сидели за партами в первых «группах», когда их старшие братья рыли котлованы под фундаменты первых заводов, забивали первые сваи на местах будущих плотин, в пику Чемберлену собирали деньги на воздушный флот, перепахивали «фордзонами» древние межи и снаряжали экспедиции в Арктику. И все это — колхозы и плотины, заводы и эскадрилья — все это росло вместе со сверстниками Сережки Дежнева, росло наперегонки с ними. Страна, изрытая и перекопанная из конца в конец, казалась в те годы исполинской строительной площадкой, на которой задумано было построить за несколько лет то, на что другим странам понадобились столетия; столько работы было кругом, такой непочатый край возможностей выбирать любое занятие и любую профессию, что до поры до времени об этом можно было не заботиться.

Сережке до сих пор просто не попадалось на глаза ни одно дело, которое сразу и определенно выделилось бы своей интересностью из тысячи других, о которых он ежедневно читал и слышал. Поэтому никаких твердых планов на этот счет у него не было, а были просто мальчишеские увлечения, менявшиеся каждое полугодие.

В пятом классе Сережка играл с приятелями в спасение челюскинцев и был твердо уверен, что быть полярником — единственное достойное мужчины занятие. Несколько месяцев спустя стратостат «Осоавиахим-1» поднялся на неслыханную высоту в двадцать два километра, и Сережка решил, что исследовать стратосферу куда интереснее и опаснее, чем сидеть где-то на льдине. Чтобы отучить себя от высотобоязни, он стал тренироваться в прыжках с крыши и сломал ногу. Увлечение высотами на этом и кончилось: пока он лежал в гипсе, его приятель Юлька Голынец принес интересную книжку — «По следам морских катастроф», — и после ее прочтения Сережка твердо решил поступить в ЭПРОН¹.

Всю зиму он мастерил скафандр-колокол, предполагая испытать его летом на Архирейских прудах, остался из-

¹ Экспедиция подводных работ особого назначения.

за этого на второй год и уже в качестве второгодника познакомился с Валькой Стрелиным — большим знатоком всего, имеющего отношение к морю. Валька убедил его, что с не выдержавшим испытаний скафандром возиться больше не стоит, а гораздо интереснее строить настоящую подводную лодку — из четырех бочек, которые можно было достать каким-то известным одному Вальке способом. Проект лодки был разработан, но летом, когда можно было приступить к ее постройке, Чкалов совершил перелет Москва — остров Удд, и Сережка заболел самолетоманией. Как человека неменяемого, его нельзя даже было осудить за измену Вальке Стрелицу и его лодке из бочкотары. Понял это и сам Валька, через месяц помирившийся со своим непостоянным приятелем.

А после этого, вот уже два года, Сережка не испытывал больше никаких новых увлечений. От последнего остался коряво сделанный макет самолета АНТ-25 с красными крыльями, висевший на веревочке над его койкой, и ничего более серьезного. Он завел дружбу с пацанами из Замостной слободки, гонял с ними в футбол, дрался, освоил технику безбилетного хождения в кино и на стадион и жил как птица небесная. Дома было трудно, Коля зарабатывал не много (отец бросил семью еще в тридцатом, когда родилась Зинка), мать выбивалась из сил; жизнь на улице была куда веселее...

Завод оптических приборов был расположен на самой окраине, от него до центра автобус шел почти полчаса. Сережка отмахал весь этот путь пешком, сам не заметив как. У ограды парка он вдруг почувствовал, что устал. Чтобы не идти целый квартал до ворот, он привычно вскарабкался на решетку и спрыгнул в ворох сухих, терпко пахнущих листьев капитана. Место было глухое, скрытое от взглядов. Он с наслаждением растянулся на листьях, вытащил из кармана подаренную деталь и снова принялся разглядывать ее с замиранием сердца. «Покажу Коле, — подумал он, — интересно — догадается он, что это сделано машиной?.. Елки-палки, вот ведь здорово!..»

Да, теперь он чувствовал, что на этот раз нашел что-то серьезное. Вот настоящее дело, настоящее мужское занятие: стать инженером-электриком и создавать машины, могущие делать за человека всю трудную работу. Овладеть наукой, которая способна превратить машину в разумное существо! Кто знает — не он ли, Сергей Данилович Дежнев, станет создателем первого в мире завода-автомата...

Отсюда все и пошло. Скоро он вышел на первое место в классе по физике и математике. Архимед сразу понял, что с ним происходит, и стал постепенно спрашивать все строже и строже, что было первым признаком его веры в силы ученика. Математик же, личность бесцветная и не умеющая установить с классом хотя бы видимость какого-то взаимопонимания, поглядывая на отпетого Дежнева с боязливым недоверием, подозревая его в обладании неизвестной системой шпаргалок. Однако придаться было не к чему.

Не так блестяще, по в общем вполне благополучно обстояли его дела с еще двумя предметами — химией и черчением. Остальные он попросту презирал. В самом деле — на кой шут инженеру названия каких-то заливов и проливов, или деепричастия прошедшего времени, или как размножаются жабы, или какой женский образ в классической русской литературе больше всего приближается к типу новой советской девушки. Да начхать ему на все это — на Татьян, на жаб, на деепричастия и на проливы; его интересуют в мире только две вещи — физика и математика.

Правда, много хлопот доставлял немецкий. К языкам он просто не чувствовал способностей, а жаль — уж что-то, а иностранные языки инженеру очень нужны. Поэтому он подзубривал немецкий на других уроках, заложив тетрадку с выписанными словами в развернутый для виду учебник истории или географии.

Немпогие избранные предметы целиком заполняли все его время как в школе, так и дома. Замостные пацаны получили отставку; первое время они еще приходили к нему под окно, вызывая на всякие соблазнительные похождения, пока Сережка не пообещал накостылять каждому по шее, если они не отошьются раз и навсегда. В остающиеся от уроков часы он много и торопливо читал: популярно-техническую литературу, биографии знаменитых изобретателей в серии «Жизнь замечательных людей», журналы «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Техника — молодежи». Только здоровое мужское чтение — никакой дряни, никаких там переживаний или поделуличков...

Это был девятый класс: шестнадцать-семнадцать лет, первые прыжки у девочек, первые заглаженные на брюках складки и — горошком или в косую полоску — галстуки у немногих пока смельчаков; то неуверенное в себе щегольство, которое еще громко высмеивают вслух и которому уже втайне завидуют приятели, продолжающие

щеголять нечищенными ботинками и показной грубостью с одноклассницами.

Возраст брал свое, и уже под партами путешествовали через весь класс многократно свернутые записочки: «Света! Б. С. хочет проводить тебя после уроков, только боится спросить, вот дурак. Я сказала, что спрошу сама, отвечай скорее»; и все чаще и чаще какой-нибудь вчерашний женоненавистник, развернув на парте толстую «Современную литературу», а на коленях — чей-то розовый альбомчик, торопливо катал в него излюбленный отрывок из Николая Островского или, полистав украшенные вишнетками странички, где-нибудь рядом с гамсуновским определением любви вписывал, стараясь придать почерку мужественность: «Тамара! Всегда, каждым своим поступком, оправдывай слова Максима Горького: „Человек — это звучит гордо!“» — и, хмурясь от непривычного обращения по имени, подписывался со зверским росчерком.

Сережке Дежневу было уже семнадцать, но он никого не провожал после уроков и не писал никому в альбомы. Над его изголовьем висел написанный на тетрадном листке лозунг — «Главное в жизни — целеустремленность», и вся его жизнь была здоровой и на сто процентов целеустремленной. Это дало свои плоды уже к концу второй четверти. Получив перед Новым годом дневник, он раскрыл его с тревожным замиранием сердца и, мгновенно пробежав глазами четвертную ведомость, облегченно вздохнул. Алгебра — «отл», геометрия — «отл», физика — «отл», химия — «хор», черчение — «отл», немецкий — «хор»... Ого, знали бы они, как она ему досталась, эта отметка! Он даже не надеялся получить выше «посредственно». Дальше шла уже мелочь: русский язык — «пос», литература — «пл», история — «пл», география — «пос», ну и так далее, в том же духе. Ладно, это ему не нужно. К концу года натянет, чтобы перейти, и какого еще рожна...

Очень довольный достигнутым, Сережка решил даже пойти на школьный новогодний бал. К выходу в свет имелся и еще один важный повод — новый костюм. Дело в том, что Николаю удалось этой осенью перевестись на новую работу. Теперь он получал уже по шестому разряду, заработок его несколько увеличился, и в семье стало легче с деньгами. Зинке, в этом году пошедшей в первый класс, сшили пальтишко, а Сережке к Новому году даже купили серый костюм — первый в его жизни, так как до сих пор он всегда донашивал перешитое с брата.

Итак, он отправился на новогодний бал и даже, уступив матери, повязал сиреневый галстук Николая. Внача-

ле он разочаровался и сильно жалел, что пришел. Проходя мимо большого зеркала в вестибюле, перед которым стайкой охорашивались девчонки, он увидел себя и огорчился: новый костюм — предмет его тайной гордости — выглядел здесь каким-то неуклюжим, мешковатым, рукава были явно длинные, воротник странно топорщился. В сочетании с сорочкой в мелкую серую клетку сиреневый галстук казался нелепым. «И как это мать сама не увидела», — с досадой подумал он.

Угрюмо, ни на кого не глядя, Сережка прошел через актальный зал, где уже кружились парами несколько девушек, и сел за сдвинутые в угол кадки с пальмами.

Он не заметил, что там уже сидел, наблюдая за танцующими, завуч Николай Николаевич. Когда тот окликнул его и предложил сесть поближе, Сережка окончательно решил, что вечер испорчен. Ничего он так не боялся, как долгих и нудных «задушевных» разговоров с преподавателями. Но делать было нечего, и он подсел к завучу.

Предчувствие его не обмануло — задушевный разговор действительно состоялся. Но долгим он не был. Очень скоро, за какие-нибудь десять минут, завуч сумел убедить его в том, что человеку, по своему усмотрению кромсающему программу средней школы, нечего и думать о высшем образовании. В самом деле, как он мог забыть, что существуют такие вещи, как аттестат, приемные испытания и прочее?

— ...должен признаться, Дежнев, я тебя просто не понимаю, — тихо говорил завуч, отщипнув от пальмы пучок волокна и скручивая его в пальцах. — Или у тебя нет силы воли заставить себя учиться... или ты — извини меня — просто неумен. Нельзя же в девятом классе вести себя как мальчишка. Кто тебя пустит в вуз с твоими знаниями? Разве тебя спасет отличное знание математики, если ты не научишься грамотно излагать свои мысли?

Потом он ушел, а Сережка остался сидеть в углу за пальмами, нахохлившийся и красный от стыда. Его ударили по самому больному месту — по самолюбию, доказав как дважды два, что он и не особенно умен, и воли у него нет, и вообще он мальчишка...

Целых два месяца он упорно подтягивал запущенные «хвосты», выполняя данное завучу обещание; а в середине марта произошла катастрофа.

С маленьким, похожим на жука товарищем Жорой Попандуло — заведующим энергетической лабораторией

ДТС при Дворде пионеров — Сережка столкнулся в библиотеке Дворца, где им обоим понадобилась одна и та же книга по электротехнике. Они разговорились; узнав, что Сережка собирается стать инженером-электриком, Попандопуло пригласил его зайти в лабораторию и подождать десять минут, пока он перечертит из книги одну схему. Ничего не подозревая, Сережка доверчиво отправился за чернявым завлабом.

Оборудование лаборатории было довольно скудным — два верстака с тисками, маленький токарный станочек, настольная сверлилка, — но под верстаками, на полках и в открытых шкафах было навалено столько соблазнительного хлама явно электрического происхождения, что у Сережки загорелись глаза. Пока завлаб перечерчивал схему в захватанную, измятую тетрадь, он вытащил из-под стола полуразобранный остов магнитного пускателя и принялся копать в нем, закусив губу от любопытства. Как ни странно, до сих пор он не видел своими глазами ни одного из множества приборов и аппаратов, которые отлично знал по книгам.

Окончив переснимать схему, Жора Попандопуло отдал Сережке книгу и предложил закурить.

— Интересно, скажешь нет? — подмигнул он, указывая на останки пускателя. — А если бы ты видел, что у меня здесь можно найти среди этого барахла...

Впоследствии Сережка не понимал — как это все вышло. Зашел в лабораторию всего на несколько минут, только за книгой, заниматься моделизмом никогда не собирался и вообще не любил кружковых занятий чем бы то ни было, считая, что хватит с него руководителей и дисциплины в школе; но хитрюга завлаб сначала принялся показывать ему свои сокровища, потом рассказал об объявленном республиканском конкурсе юных техников, пожаловался на своих «пацанов», которые только переводят материал и ломают инструмент, а сделать ничего путного не могут, вот если бы нашелся какой-нибудь серьезный парень-старшеклассник, здорово разбирающийся в технике, то он, Попандопуло, дал бы ему под начало целую бригаду и предоставил полную свободу действий — что хочешь, то и конструируй. А насчет моделизма вообще, то не нужно думать, что это какие-то игрушки, цацки. Все великие изобретения сначала проверялись на моделях, и если уж говорить про электротехнику, то пока ты не собрал своими руками ни одной схемы, то грош тебе цена в базарный день — сколько бы институтов ты ни кончил. И вот не увидать ему, Жоре Попандопуло, родной

Одессы, если с этим конкурсом и с этими возможностями он, Сергей Дежнев, не имеет шанса стать настоящим техническим светилом республиканского масштаба...

Короче говоря, вместо десяти минут Сережка просидел в энергетической два часа и ушел оттуда, закабаленный душой и телом, пообещав завлабу не посрамить чести энской областной ДТС и представить на конкурс первоклассную модель электровоза. Почему именно электровоза — он и сам не знал; Попандопуло уверил его, что это будет интересная и выигрышная модель.

Уже через неделю он был в отчаянии. Члены кружка — всё больше шести- и семиклассники, — которых завлаб и в самом деле свел в «ударную конкурсную бригаду особого назначения», горели нетерпением поскорее взяться за дело, таращились на Сережку с почтительным обожанием и, судя по всему, ожидали от него чудес; а он не знал даже, с чего начать. То есть знать-то он знал, но тут было столько возможных вариантов, что у него просто руки опускались. Какой из всех может дать наивысший к. п. д.? Он набрал книжек по этой отрасли моделизма, изучил все рекомендуемые схемы и стал комбинировать из них что-то новое. Можно было, конечно, ограничиться привычной конструкцией, «выехав» на хорошем исполнении или даже на внешнем виде, но этого Сережке было мало. Он решил дать класс.

Скоро он понял, что объема школьных знаний ему не хватает. Нужно было спешно спасать свой престиж девятиклассника. Он даже колебался, не обратиться ли за консультацией к Архимеду, но честность победила, и он обложился еще большим количеством книг.

Две недели упорного труда позволили начерно разобратся в теоретической стороне дела. Хороша «игрушка», нечего сказать! Он повеселел и стал целыми днями пропадать в лаборатории. Возвращаясь из школы, он наскоро обедал, заглядывая через тарелку в раскрытую книгу, потом вскакивал и мчался во Дворец пионеров, откуда возвращался не раньше восьми-деяти.

Жора Попандопуло оказался хорошим парнем, но помощи от него ждать не приходилось. По целым дням заведующий пропадал неизвестно где, появляясь в лаборатории на пять минут, — с грохотом распахивал дверь, с грохотом сваливал в углу принесенную добычу — моток проволоки, пакет жестяных обрезков, связку ржавых разнокалиберных гаек или лист от автомобильной рессоры — и с пыhtеньем усаживался на верстак, начиная сыпать словами:

— Ну, как жизнь молодая? Порядок? Нужно что-нибудь? Если нужно, ты скажи — Попандопуло все достанет, в этом городе ни у кого нету такого грандиозного блага, как у Жоры Попандопуло...

Для своей модели Сережка избрал двухмоторный вариант — по одному мотору на каждой тележке, с червячной передачей на обе оси. Конструкция была сложной и в моделях обычно не применялась, но Сережка решил, что если уж показывать класс, то высшей марки. Стиснув зубы и отмахиваясь от мыслей о приближающихся экзаменах, он сам принялся за изготовление моторов и передаточных механизмов, поручив все остальное своей бригаде. Но даже и эта работа, которую уже никому нельзя было доверить, отняла массу времени. Якоря двигателей пришлось делать набивными, изготовить хорошую червячную передачу оказалось очень трудно — куда труднее, чем он по своей наивности предполагал. Конечно, Коля у себя на заводе мог бы выточить все это за один день, — но не мог же Сережка обмануть доверие своих «пацанов»!

Модель была готова только в конце апреля, но при испытании обнаружился ряд недочетов. Опять пришлось возиться и возиться. Наконец все было готово. На модель надели блестящий обтекаемый корпус, заботливо упаковали в ящик со стружками, и электровоз ЭДТС-Д-1 отправился в Киев.

Когда это произошло, до начала экзаменов оставалось ровно три недели.

Никогда еще Сережка не проваливался с таким треском, как в этом году. По географии он не сумел даже ответить на вопрос, богата ли Испания полезными ископаемыми. Никаких сомнений относительно результатов быть не могло, но все же, увидев себя в списке оставленных на второй год без права переэкзаменовки, он так расстроился, что пошел к Попандопуло с твердым желанием плюнуть ему в рожу; по пути он наградил завлаба непечатым прозвищем, сочетав в одном слове его имя и фамилию.

Разумеется, из планов мести ничего не вышло. Хитрый Попандопуло сумел быстро убедить Сережку в том, что ничего такого кошмарного с ним не случилось, и даже наоборот: учиться ему теперь будет совсем легко — второй год одно и то же, это же просто сплошной смех! — а у него, у Попандопуло, уже намечается для Сережки грандиозная работа по фотоэлементам, можно будет начать прямо с сентября.

Дома у Сережки, против всяких ожиданий, дело обошлось тихо. Мать, правда, всплакнула — но это она дела-

ла часто,— а Николай, реакции которого Сережка главным образом и побаивался, даже похлопал его по плечу и посоветовал не дрейфить. «Лишний год просидишь в школе — не беда! — сказал он.— Еще жалеть будешь, как кончишь. Я вот здорово теперь жалею, что в каждой группе по три года не сидел. Эх, время было!»

2

В тот самый вечер, когда Дежнев и Попандопуло сидели в энергетической лаборатории ДТС, обсуждая Сережкин провал на экзаменах и будущую работу по фотоэлементам, племянница майора Николаева выехала из Энска вместе со своей подружкой Людмилой Земцевой в село Новоспасское, где они должны были провести первую половину каникул.

За два с половиной года, прожитых под дядькиным крылышком, Танюша превратилась в опасное существо. Характер у нее был лихой, причуды и выходы — самые неожиданные. Старый холостяк, на сороковом году жизни обзаведшийся вдруг таким сокровищем, майор попросту побаивался своей племянницы. «Книга для родителей» была добросовестно прочитана, даже можно сказать — проштудирована, но майор так и не знал, каким образом можно применять на практике почерпнутые у Макаренко мысли.

Отчасти положение спасала мать-командирша, которая свято блюла давнее майору обещание и не спускала с девочки глаз, жестоко отчитывая ее за каждую провинность и не останавливаясь даже перед тем, чтобы в экстренных случаях подкрепить словесное внушение парой увесистых шлепков. Таня на рукоприкладство не обижалась: в глубине души она отлично сознавала, что получает заработанное. Тем более что теперь это случалось все реже,— как-никак пятнадцать лет! Правда, уже незадолго до пятнадцатилетия, прошлым летом, ей здорово досталось за вышибленное на пари с мальчишками стекло; а с тех пор все как-то обходилось.

Таким своеобразным характером определялся, естественно, и круг Таниных знакомств. Ни с кем из одноклассниц, кроме Земцевой, она не дружила, зато с одноклассниками была в наилучших отношениях, насколько это возможно в том возрасте, когда дружба с девчонкой считается еще делом зазорным и недостойным настоящего мужчины. Впрочем, дружить с Николаевой никто не стеснялся, потому что ее вообще не считали за девочку.

В те годы у всего молодого поколения Советского Союза танкисты пользовались огромной популярностью; они затмевали даже полярников, и соперничать в этом отношении могли с ними одни только летчики, да и то как когда. А у этой Таньки Николаевой жил дома вполне ручной танкист, да еще кто — заслуженный командир, награжденный двумя боевыми орденами!

Этой зимой майора пригласили в школу — прочитать доклад на вечере, посвященном Дню Красной Армии. Класс Николаевой целую неделю был в волнении — придет или не придет. Майор приехал в назначенный день и час, в парадной форме, поблескивая двумя орденами Красного Знамени и полученной в прошлом году юбилейной медалью «XX лет РККА». Таня сидела в пятом ряду и так задавалась, что не услышала ни слова из того, что говорил Дядяша. После короткого доклада он долго отвечал на вопросы; а потом в зале разразилась буря восторга, когда майор распаковал привезенный с собой загадочный ящик и поставил на стол роскошный полуметровый макет танка. На башне оказалась медная табличка с надписью: «Пионерам школы № 46 от бойцов и командиров Н-ской танковой части».

После того вечера Танин престиж поднялся еще выше, и она поддерживала его как могла, не падая ни сил, ни графы «Поведение» в своем дневнике. В начале четвертой четверти ее чуть не исключили на неделю за драку с Анатолием Гнатюком; опасность была серьезной, и тем больше было чувство облегчения, овладевшее Татьяной, когда гроза миновала. На радостях она в тот же день ухитрилась на уроке математики бросить кусок карбида прямо в чернильницу преподавателя. Ребята считали, что Николаева хотя и девчонка, но своя в доску.

Когда в учительской зашел однажды разговор о коллективе восьмого «А», преподаватель физики Архип Петрович шутливо заметил, что только законом притяжения разноименно заряженных частиц можно объяснить дружбу Николаевой и Земцевой — такими разными были эти две девочки во всем, начиная от поведения и кончая внешностью.

Они дружили вот уже два учебных года — с первого дня появления Тани в 46-й школе. Ее посадили тогда за одну парту с Земцевой именно потому, что Земцева была лучшей ученицей класса, что у нее был лучший в классе характер и что ей можно было дать любую общественную нагрузку, зная совершенно твердо, что Люся выполнит ее как никто другой.

Такой нагрузкой и оказалась для нее Таня Николаева; как объяснила ей класрук Елена Марковна, речь шла о том, чтобы помочь новенькой поскорее освоиться с классом и забыть о постигшем ее горе. Помимо всех хороших качеств Люси Земцевой было еще одно обстоятельство, побудившее Елену Марковну обратиться с таким поручением именно к ней. У Земцевой тоже не было отца; Елена Марковна решила, что это поможет девочкам сблизиться и сдружиться.

Земцева принадлежала к тем счастливым натурам, которые отлично, «со вкусом» исполняют любое порученное им дело, и исполняют не просто потому, что оно так или иначе уже поручено и нужно его исполнить, а потому, что сразу умеют заинтересоваться им и найти удовольствие в его исполнении.

Когда Елена Марковна рассказала ей историю Николаевой и попросила отнестись к ней как можно более дружески, Люся взялась за это со своей обычной исполнительностью, усиленной в данном случае еще и жалостью, и скоро Таня уже ни на шаг не отходила от своей новой подружки.

Земцеву в классе уважали — за отличную успеваемость и еще за то, что с ее именем никто не мог даже мысленно связать ни одного нетоварищеского поступка. Но, как ни странно, при всем этом ее не особенно любили. Почему-то ее считали задавакой; может быть, просто потому, что ее мать — доктор физико-математических наук — руководила одним из отделов расположенного в городе научно-исследовательского института, и все думали, что невозможно не задаваться, имея такую ответственную маму.

Так думали преимущественно мальчишки; а из девочек некоторые недолюбливали Люсю просто потому, что она хорошо одевалась, всегда держала себя с большим достоинством и была самой красивой не только в классе, но, пожалуй, и во всей школе — такая черноглазая и чернобровая украинская дивчинка, словно выскочившая из хорошей иллюстрации к «Майской ночи».

Всегда спокойная и приветливая, Земцева разговаривала неторопливым рассудительным голоском, с мягким, унаследованным по материнской линии украинским акцентом. Даже в этом она была полной противоположностью своей подруге, над чьей акающей московской скороговоркой подсмеивался весь класс. Хотя Таня и не картавила уже так отчаянно, как два года назад, «р» ей все же упорно не давалось, и этот недостаток становился

особенно заметным, когда она приходила в возбуждение.

Стои придуренного хохота стоял в классе на уроках украинского, когда, вызванная отвечать, Николаева вскакивала и принималась как из пулемета тараторить Шевченко, беззастенчиво коверкая певучие украинские вирши на кацапский лад. Преподавательница, большая патриотка, всегда носившая блузки с богатой народной вышивкой, приходила в ужас от такой профанации великого кобзаря и принималась в сотый раз терпеливо, слово за словом, исправлять безнадежное произношение москвички.

— Но я ж не мóжу, Ксения Алексеевна! — чуть ли не со слезами умоляюще восклицала наконец Таня на своем неопиcуемом жаргоне.

— Оксана Олексиевна, — мягко поправляла ее преподавательница. — Слухай, Татьяно, цэ нэ е така важка справа, потрібна тильки увага...

— Конечно, вам легко говорить, — с горьким отчаяньем возражала Николаева, — а попробовали бы вы родиться в Москве, а учиться на Украине!..

В отличие от Земцовой, всегда наутюженной и накрахмаленной, с косами, аккуратно уложенными вокруг головы блестящей черной короной, Николаева одевалась небрежно, хотя обычно во все новое и дорогое, из закрытого распределителя военторга. Это новое и дорогое вечно сидело на ней вкривь и вкось; ее каштановые, слегка вьющиеся волосы, хотя и заплетенные в некое подобие кос и тоже обернутые вокруг головы, напоминали растрепанное воронье гнездо. Каждое ее движение было резким и угловатым, и в химкабинете ее обычно не приглашали ассистировать при опытах — даже когда она дежурила. Нескладная и длинноногая, как жеребенок, с коротким носом и широко открытыми любопытными карими глазами на круглой рожице, выражение которой менялось каждую минуту, Таня Николаева напоминала наспех переодетого мальчишку, причем мальчишку далеко не примерного поведения.

Единственным «общим знаменателем» для обеих подруг явилось то, что ни у одной из них не было нормальной семейной жизни. Таня жила дома между выговорами и шлепками со стороны Зинаиды Васильевны и безрассудным баловством со стороны дядьки-майора. Никаких границ в этом отношении для него не существовало; когда однажды этой зимой Таня мимоходом заявила о своем желании заниматься фотографией, то на следующий же день ей был куплен ФЭД, — такое немедленное исполне-

ние желаний Таню даже испугало, тем более что по-настоящему фотография казалась ей скучным делом. Потом испуг прошел, но зато осталась уверенность в том, что каждое ее желание будет исполняться теперь с той же приятной быстротой и что, по существу, Дядяша представляет собой разновидность старика Хоттабыча. Работать ей не приходилось, у нее была приходящая домработница Раечка — веселая разбитная девчонка четырьмя годами старше ее самой, бывшая официантка из столовой ИТР. Жили они душа в душу. Раечка вела несложное николаевское хозяйство, стряпала и обсуждала с Таней свои запутанные сердечные дела.

Странной была домашняя обстановка и у Земцевых. Галина Николаевна, доктор физико-математических наук, руководила крупной исследовательской работой в своем институте, и времени ни на что другое у нее не оставалось. Людмила была воспитана в основном нянюшкой — Трофимовной, которая прожила у Земцевых одиннадцать лет. Три года назад, когда девочке исполнилось двенадцать, Галина Николаевна в один прекрасный вечер пригласила Трофимовну в свой кабинет, предложила ей кресло и, перебирая исписанные листы на столе, сказала своим обычным суховатым тоном, что считает непедagogичным оставлять Люду и впредь под присмотром нянюшки и поэтому вынуждена просить ее, Трофимовну, начать постепенно подыскивать себе другое место; что сама она крайне сожалеет об этой печальной необходимости и может дать ей рекомендацию в несколько хороших семей с маленькими детьми. Трофимовна от рекомендаций отказалась, проплакала вместе с воспитанницей три дня, а на четвертый уехала к сыну в Новоспасское.

Люся аккуратно переписывалась с Трофимовпой, — нянюшкина неграмотность была ликвидирована ею же самой, в порядке школьной нагрузки, — и в письмах делилась тем, о чем никогда не подумала бы поговорить с матерью. Вообще, с матерью Люся не откровенничала. Происходило это не от ее скрытности, а просто потому, что сама Галина Николаевна никогда с дочерью душевных разговоров не начинала.

Дома девочка была предоставлена самой себе — и книгам. Благодаря этому у нее уже к пятнадцати годам сложился не по возрасту рассудительный характер и привычка до всего доходить своим умом. Подобно Тане, домашним хозяйством она не занималась. Подразумевалось, что ее ждет научная работа под руководством матери, а женщина-физик может обойтись и без умения го-

товить. Раз в неделю к Земцевым приходила институтская уборщица, которая мыла полы, забирала в стирку белье и дважды в год — перед Маем и Ноябрьем — устраивала большую уборку. Галина Николаевна пыталась в столовой института, а Люся или заходила туда же, или, когда надоедало, неделями жила на чае с конфетами и консервах. По утрам мать и дочь стелили каждая свою постель, Люся, кроме того, смахивала еще пыль со столов и кое-как подметала. Большого от нее, как от будущего физика, не требовалось.

Этим летом у них были путевки в один из кавминводских лагерей — путевки на второй срок, на август. До конца июля они прожили у Трофимовны в Новоспасском, и прожили очень неплохо — загорали, купались в пруду, который назывался здесь ставком, и объедались варениками с вишнями. Чувствовали они себя отлично: экзамены были в прошлом, теперешняя жизнь если и не отличалась разнообразием, то была в общем на редкость приятной, а в будущем было столько интересного, что дух захватывало. Поездка на Кавказ, туристские походы, экскурсии, учебники для девятого класса...

Единственное, что омрачало Тане радость этого лета, была тревога. Тревога появилась у нее в то самое утро, когда она по дороге на ставок завернула к сельраде почтять вывешенную на доске позавчерашнюю «Эвскую правду» и впервые узнала о событиях в Монголии. Дело в том, что Дядюсаша куда-то уехал как раз в то время, когда она сдавала экзамены, и на все ее расспросы сказал только, что пока в Москву, а там будет видно. Она была тогда слишком занята экзаменами, да и в самом Дядюсашинном отъезде не было ничего необычного, по почему-то с тех пор, как в газетах замелькали непривычные названия Халхин-Гол и Буир-Нур, Таня не могла отделаться от тревожной мысли, что все это имеет очень прямое отношение к Дядюсаше.

Людмила успокаивала ее как могла. Во-первых, совершенно неизвестно, куда уехал Александр Семенович, и это вовсе не обязательно должна быть именно Монголия. Во-вторых, даже если он и там, то ведь в газетах пишут, что наши войска почти не несут никаких потерь, а ведь Александр Семенович все-таки командир и, значит, подвергается гораздо меньшей опасности. Таня соглашалась со всеми этими доводами, но в душе ей было страшно за Дядюсашу.

Двадцать восьмого за ними пришла машина из института. Шофер Вася передал письмо от Галины Николаевны — первое за полтора месяца. Доктор Земцева писала, что увидеться они, по-видимому, не успеют, так как она сегодня, двадцать седьмого, выезжает в Москву на съезд, открытие которого неожиданно перенесли на неделю раньше, а машина будет свободна только завтра, что билеты — плацкартные — уже куплены и лежат в среднем ящике письменного стола, и там же деньги и путевки.

— Чудачка эта мама, — сказала Людмила, дочитав письмо вслух. — Пишет: «по-видимому, не успеем». Я думаю, что не успеем, если она вчера уехала. При чем здесь «по-видимому»?

Людмила покачала головой и снисходительно улыбнулась.

В Эиск они приехали под вечер. Вася подвез их к дому комсостава, пожелал счастливого отдыха и укатил. Таня забрала свои вещи, несколько книг и деньги, оставленные у матери-командирши. Та отдала ей два полученных в ее отсутствие письма. В письмах не было ничего особенного: Дядяша писал, что у него все в порядке, интересовался Таниным здоровьем и советовал побольше загорать и «налегать на витамины».

— А мы и так налегаем, правда, Люся? — засмеялась Таня.

Потом она задумалась, разглядывая потертые конверты, покрытые загадочными штемпелями.

— Все-таки интересно, откуда это... как вы думаете, Зинаида Васильевна, Дядяша и в самом деле в Монголии?

— Да уж верно не в Сочах прохлаждается, — проворчала мать-командирша. — Чернокозова-то, майора, знаешь? Тоже там... в Монголии этой... Ну, дочки, присядем перед дорогой.

Они присели, помолчали несколько секунд. Потом мать-командирша вдруг закричала:

— А ты, слышь, не балуй там, Татьяна! А то гляди у меня, я тебе — как вернешься — так всыплю, что неделю после не сядешь. Ты что это себе в голову взяла — как дядька твой тебя тронуть пальцем боится, так ты уж и разбойничать можешь? Ты чего это, как уезжала, Пилипенкам шкоду эту со светом сделала? Пилипенко сам часа два битых искал, потом монтера привели, а тот говорит — не иначе это вам кто с пацанов шкоду сделал, с целованом каким-то, а его, дескать, и не видать, и свету нет...

— Это не я! — быстро сказала Таня, правдиво глядя на мать-командиршу. Она сделала большие глаза и понизила голос, словно сообщая тайну: — Это и в самом деле мальчишки устроили, Зинаида Васильевна, правда...

— Не ври, не бери на душу греха! Я уж молчала, а знаю, кто нашкодил, — не кто, как ты. Ты, Людмила, присматривай там за ней, а потом чуть что — мне скажешь... а у меня с ней разговоры короткие, она уж меня знает. Небось помнит еще, как у дворника стекло-то выбила...

Таня вздохнула.

— То-то, сопишь теперь. Ну ладно, езжайте уж, храня вас господь...

Выйдя на лестницу, Людмила строго обернулась к Тане:

— Зачем ты это сделала?

— Что, Люсенька? — невинным голосом спросила та.

— Не прикидывайся! Ты подложила под пробки целлофан?

— Эти Пилипенко — страшно противные. Правда, Люся! Их никто в доме не выносит.

— Это тебя касается, да? Тебя не выносят еще больше, если хочешь знать! И ты заставляешь человека работать, чтобы исправить последствия твоей дурацкой выходки. У тебя нет уважения к чужому труду, вот что!

— У тебя тоже нет уважения, к моему, — обиженно возразила Таня. — Ты думаешь, я не трудилась? Ты думаешь — это так просто, заложить в пробки целлофан? Попробуй сама это сделать, а потом говори...

У Земцевых подруги переоделись, приготовили на завтра чемодан. Чувствуя себя взрослыми и самостоятельными, они долго бродили по магазинам и закупили много всяких нужных и ненужных вещей. Таня приобрела флакон одеколона, судейский свисток, компас, перочинный нож, увеличительное стекло и огромную никелированную щучью блесну.

Разгульный вечер был закончен в кино: смотрели «Ошибку инженера Кочина». Фильм очень понравился Тане и очень не понравился Людмиле, и по этому поводу они даже немного поругались.

Ночью, когда подруги улеглись в спальне Земцевых, Таня долго рассуждала о том, что она сделала бы, встретись ей в жизни настоящий шпион или диверсант. Людмила засыпающим голосом объявила, что нет, лично она ни с каким диверсантом встречаться не желает.

— Ой, а я бы хотела... — мечтательно произнесла Таня. — Все-таки я думаю, что я бы ему показала. Интерес-

но вдруг вот так взять и разоблачить шпиона, ой-ой-ой... Люся, а ведь самому быть диверсантом тоже интересно, правда? — неожиданно спросила она, поднимаясь на локте. — Если для своей страны, слышишь, Люська!

— Не знаю, не пробовала, — отозвалась из темноты Людмила. — Спи ты лучше... опоздаем завтра на поезд — будет тебе интересно...

— Не проспим, раз будильник. Ты завела? Нет, а ведь это действительно должно быть страшно интересно... Люсенька, ты только представь себе: вдруг тебя посылают к фашистам, в Германию или Японию, украсть какие-нибудь чертежи или взорвать завод... и ты всюду едешь, имя у тебя фальшивое, все тебя ловят, ох, как интереснее...

Долго было тихо. Потом снова раздался Танин шепот:

— Люсенька... а Люсенька, есть такие школы, где учатся на шпионов? Лю-ся! Спит уже, вот ведь противная...

Таня вздохнула, поправила подушку и вытянулась на спине, чинно положив руки поверх простыни. Интересно все-таки — действительно ли Дядяша воюет сейчас с самураями...

Судя по плакатам, все самураи — маленькие, очень желтые, с большими зубами, с усиками и в очках. Непременно в очках. И еще у них такие белые гетры на пуговичках, до колен. До чего противный народ, всё воюют и воюют — и всегда нападают первыми. Агрессоры несчастные! Хоть бы Дядяша дал им там хорошенько, чтоб не повадно было... А вообще очень странно: почему японцы до сих пор не сделали у себя революции? Тогда у них тоже была бы Советская власть и никто не посылал бы их на войну...

Таня припомнила вдруг последствия выбитого в дворничкой стекла и опять вздохнула, на этот раз горько. Хорошо бы уехать в Японию, делать там пролетарскую революцию. Там по крайней мере никто не станет поднимать шума из-за всякого пустяка. Подумаешь — одно несчастное стекло... ну, правда, оно было только что вставлено, и дворничиха кричала, что камень разбил еще что-то в самой комнате, но это уж наверняка враки. Не может быть, чтобы такая удача — одним камнем... Нет, надо ехать в Японию, здесь делать уже нечего.

...И вот она отказывается надеть повязку и поворачивается лицом к солдатам, и стоит гордая и красивая. Самурай взмахивает саблей, солдаты прицеливаются. Она говорит твердым голосом: «Товарищи солдаты, расстрели-

вайте меня, но не стреляйте в своих братьев — японских рабочих! Да здравствует мировая ре...» Залп — и она падает у подножия стены, и это в тот самый момент, подумайте, когда восставшие врываются в ворота тюрьмы, чтобы ее освободить.

И потом — слава! Ее именем называют главную площадь в Токио, улицу в Москве, 46-ю среднюю школу в Энске. На доме комсостава вешают мемориальную доску: «Героиня японской революции Татьяна Викторовна Николаева жила в этом доме с 1936 по такой-то год». И на церемонии открытия доски присутствуют все ее одноклассники, Галина Николаевна, дворник, официальные лица... заплаканная мать-командирша стоит рядом с Дядесашей и думает: «Я применяла к ней неправильные, устаревшие методы воспитания и не знала, что в ней жила такая героическая душа».

3

Жалюзи на открытых окнах были опущены, в большой комнате стоял прохладный зеленоватый полумрак. Пахло хвоей, сосны снаружи шумели ровно и однообразно, как не шумит ни одно лиственное дерево. Время от времени солнечный зайчик проскакивал по потолку — наверное, опять мальчишки подвесили к ветке зеркала.

Скрипнула дверь. Таня сунула под простыню третий том «Войны и мира» и мгновенно притворилась спящей. Осторожные, на цыпочках, шаги приблизились к ее кровати.

— Николаева,— раздался шепот дежурной вожатой Ирмы Брейер,— вставай-ка, к тебе приехали...

Таня потянулась и приоткрыла глаза, старательно разыгрывая пробуждение. Потом вдруг удивилась — кто мог к ней приехать?

Окончательно открыв глаза, она уставилась на Ирму, хлопая ресницами.

— Ты, наверно, что-то напутала. Кто может ко мне приехать!

— К тебе, к тебе,— нетерпеливо повторила вожатая,— какой-то военный, он ждет в столовой на веранде. Одевайся живее, только без шума...

Таня кубарем вылетела из постели.

— Ой, знаю! — взвизгнула она тихо, хватаясь за свои вещи. — Ирмочка, это танкист, правда?

— Кажется, да... а ты что это, опять читала? — Отброшенная простыня предательски приоткрыла край книги. — Николаева, сколько раз нужно тебе повторять, что

во время мертвого часа читать запрещено! Ты хочешь носить очки, да?

— Ой, что ты, Ирмочка, лучше умереть сразу... я ведь совсем немножко — полстранички... я днем совсем не могу спать, правда. И потом, здесь вовсе не так темно, это тебе с непривычки кажется...

Вожатая опять принялась говорить строгим тоном разные скучные вещи, но Таня уже помчалась к выходу. Съехав для скорости по перилам — выпешдая следом Ир-ма Брейер только крикнула что-то и безнадежно махнула рукой, — она выскочила наружу, в августовский послеобеденный зной, и понеслась к лагерной столовой.

На увитой диким виноградом веранде уже сновали дежурные, расставляя по столам чашки и корзинки с хлебом для четырехчасового чая. Таня еще издали увидела лежащую на углу крайнего стола, около входа, знакомую фуражку с черным околышем. Владельца ее не было видно из-за винограда.

Она взлетела по ступенькам, готовясь наброситься на Дядюсашу, и вдруг замерла, — это оказался вовсе не Дядюсаша, а какой-то совершенно незнакомый ей худой лейтенант с пышной шевелюрой завидного черного цвета. Лейтенант улыбнулся и встал.

— Это вы будете — Николаева Татьяна? — спросил он с твердым кавказским акцентом.

— Угу, — растерянно кивнула Таня. — А вы... ко мне?

— Лейтенант Сароян, — вместо ответа представился гость, протягивая ей руку.

Таня пожала ее, по-мальчишески потряхнув головой.

— Вы не от Дядюсаша? — просияла она вдруг, только сейчас догадавшись.

— Так точно, от него. Он просил заехать — я сейчас в Баку еду, и у меня еще в Кисловодск есть одно поручение, обязательно нужно сделать — очень просили. Так что вы сейчас собирайтесь, поедем вместе.

— Куда, в Баку? — Таня нерешительно сморщила нос. Лейтенант засмеялся:

— Зачем так далеко, — в Кисловодск, понимаете? У меня поручение есть: один наш командир раненый лежит, а жена в Кисловодске и ничего не пишет. Просил заехать, спросить, почему не пишет. Поедем вместе, я вам про Александра Семеновича расскажу, а вечером привезу обратно. Согласны?

— Еще бы! — воскликнула Таня и вдруг погасла. — Но только... я думаю, ничего из этого не выйдет — нам ведь нельзя так просто взять и уехать, нужно разрешение

братъ у заведующей, а она... я боюсь, она не даст. Она страшно строгая, ужасно.

— Э, я уже с ней поговорил, не думайте. Она только сказала, чтобы не слишком поздно. Чтобы обязательно к восьми были здесь.

— А; ну тогда хорошо! — опять просияла Таня. — Неужели вы так из самой-самой Монголии и приехали?

— Из Монголии, — улыбнулся лейтенант.

— Ох как интере-е-есно... так когда мы едем?

— Когда захотите, у меня здесь машина.

— Ага... ну, тогда я сейчас, только переоденусь. Вы самураев видели? Правда? Ой-ой-ой... ну хорошо, вы подождите минутку, я сейчас... потом вы мне все расскажете...

Таня бегом вернулась в спальню и начала тормошить Людмилу.

— Люся, вставай сейчас же, слышишь! Приехал лейтенант от Дядисаши, из Монголии — давай мне свою парадную юбку, плиссированную, быстро! — я сейчас с ним еду в Кисловодск — а то я свою еще не зашила...

Людмила приподнялась на локте:

— От Александра Семеновича, серьезно? И что он рассказывает?

— Не знаю, я еще не говорила... где юбка, Люся? — нетерпеливо крикнула Таня, выбрасывая из тумбочки Люсины вещи.

— Вон, внизу. Сложи все аккуратно, как было, слышишь ты?

— Ой, Люсенька, сложишь потом сама, мне же некогда.

За окнами резко запел сигнал горниста — мертвый час окончился. Девочки окружили Таню, забрасывая ее вопросами. Все знали, что у Николаевой есть дядя — танкист, носящий две шпалы и сейчас принимающий самое непосредственное участие в событиях на Халхин-Голе, и новость о приехавшем от него лейтенанте заинтересовала всех.

— Не галдеть, девчонки! — крикнула Таня. — Я ведь и сама еще ничего не знаю! Наберитесь терпения, вот приеду — тогда расскажу. Люся! Смотри скорее: вот эти рукава как лучше — оставить так, длинными, или закатать?

— Пожалуй, лучше закатать выше локтя, — подумав, сказала Людмила.

— Угу, по-моему тоже... — Таня принялась закатывать рукав и вдруг замерла, сделав большие глаза. — Ой, Люсенька, а пятно?

— Какое пятно?

— Ну какое, ты же сама видела — у локтя, фиолетовыми чернилами, вот такая клякса! Это вчера Олег, свинья такая, когда стейгазету готовили. Ты знаешь, я мыла, мыла, мальчишки даже пемзой терли — все равно видно, хоть реви. Может, не закатывать?

— Ничего, закатывай, — решила Людмила. — Чернила — это не так страшно.

— Правда? — с надеждой спросила Таня. — Ну смотри, на твою ответственность.

— Ой, девочки-и-и, — протянула Зойка Смирнова, — я бы с такой кляксой нипочем...

— Ты глупа. — Таня уничтожающе прищурилась. — И что это вообще за манера — вмешиваться в разговоры старших? Я, по крайней мере, в тринадцать лет вела себя скромнее. Так, я готова. Кому что покупать? Только быстрее думайте! Так, тебе галстук, тебе тоже — ладно, деньги потом, некогда мне сейчас, у меня есть с собой, — значит, всего два галстука — больше ничего? А тебе, Люсьенка? Ничего? Ну, мне еще лучше. Девчонки, я побежала. Счастливо оставаться, ведите себя прилично, не безобразничайте, все равно узнаю. Люська, если на ужин будет яблочный пирог и ты не утащишь порцию для меня, то между нами все кончено — до свиданья, до свиданья!

Таня вприпрыжку помчалась к выходу и в дверях чуть не сплила с ног Ирму Брейер.

— Николаева!!

— Ой, Ирмочка, прости — я тебя не видела, честное слово — извини, я побежала, а то меня ждут...

— Погоди! — Ирма едва успела поймать Таню за руку. — А ну-ка, покажись. Ясно, юбка, как всегда, перекошена...

— Ирмочка, ну я умоляю — меня ждут, понимаешь?

— Ничего, подождут. Я не хочу, чтобы девушка из нашего лагеря разгуливала по Кисловодску чучело чучелом. Поправь юбку, я тебе сказала! Конечно, выбелить тапочки было некогда, да?

— Ирмочка, золотая, вот самое честное слово...

— Пожалуйста, не оправдывайся. Ты знаешь, что до линейки ты должна быть в лагере?

— Да, да, я буду ровно в семь, честное-честное слово...

До Кисловодска было около часа езды. Сидя за рулем старого разболтанного газика, который брэнчал и скрипел всеми суставами, лейтенант Сароян щурился из-под

фуражки на бегущую навстречу пыльную дорогу и рассказывал о Монголии. Они проезжали сейчас самый живописный участок шоссе Эссентуки — Кисловодск, но Таня не видела окружающих красот. Она слушала лейтенанта, буквально заглядывая ему в рот, и нетерпеливо ерзала по сиденью, когда тот замолкал, беря крутой поворот или обгоняя другую машину.

— Ну-ну, и что? — торопила она его. — И что было, когда отстала пехота?

— Ну, ничего... без нее пришлось начинать. Вообще-то, по правилам, это не полагается... действовать без поддержки пехоты... но там такое положение сложилось, что нельзя было ждать. Словом, подошли мы туда одни, без пехоты... и сразу — не отдыхая — в бой. Утром, так часов в одиннадцать. Танков у них там не было, но артиллерия была мощная... а там такое плоскогорье, подступы все хорошо просматриваются, ну и они, конечно, заранее пристреляли все ориентиры... а у нас люди были уставшие, за моторы тоже побаиваться приходилось... мы ведь трое суток шли через пустыню — знаете, что это такое! Конечно, нужно было отдохнуть, проверить матчасть... но времени на это не было. В общем, мы там как дали — с ходу... — Лейтенант прищурился еще и покрутил головой. — ...Может, оно и лучше вышло, что не отдыхали. Народ был злой как черт, а это ведь тоже фактор... Словом, к вечеру разутюжили мы этот Цаган вдоль и поперек. Вечером я, помню, поехал вытаскивать один наш подбитый танк, смотрю — такая, знаете, картина... прямо за душу меня взяло... представляете, Таня, наверху такой красный-красный монгольский закат — а там закаты такие, что не расскажешь, — а внизу поле сражения, понимаете — раздавленные пушки, трупы, танки сожженные дымятся еще... э, да что я вам такие вещи рассказываю, вот ишак! — воскликнул он вдруг, взглянув на Таню и увидев выражение ужаса на ее лице. — Хватит нам о войне — о чем хотим будем говорить, о войне не будем!..

Приехав в Кисловодск, они были уже закадычными друзьями. Лейтенант уговорил Таню называть его просто по имени — Виген, — а сам продолжал обращаться к ней на «вы». Это было непривычно и приятно, Таня даже почувствовала к себе некоторое уважение. Оставив машину на привокзальной площади возле аквариума, они медленно пошли по шумной, полной народу улице.

— Так вот что, Танечка, — сказал лейтенант, вытаскивая записную книжку, — давайте набросаем план действий. Мне нужно сходить к этой женщине, а вы пока по-

гуляйте здесь с полчаса, а потом встретимся вот хотя бы на этом углу. Есть?

— Ладно, я тогда побегу покупать галстуки. Меня девочки просили купить, наши пионерки. Знаете, мелкота, лет по тринадцать, глупые все невероятно, просто не верится, что и ты когда-то была такой же. — Таня пожалала плечиками. — Ну хорошо, вы тогда идите, а встретимся лучше у Октябрьских ванн — знаете? Это вот прямо, такое низкое здание и четырехугольная башенка с часами, а напротив еще аптека. В пять часов, хорошо? Успеете?

Виген посмотрел на часы:

— Да, успею, я там засиживаться не собираюсь. Ладно, договорились. Не заблудитесь только, я за вас отвечаю...

Магазин «Динамо» был недалеко, за углом. Войдя, Таня осмотрелась, потрогала обтянутую коричневой клеенкой «кобылу». Ей вдруг вспомнилось, что по БГТО осталось сдавать самое трудное — упражнения на снарядах. В отделе пионерского инвентаря полки были уставлены небольшими барабанами и сверкающими шеренгами горнов; поджидая отлучившуюся продавщицу, Таня мечтательно морщила нос, глядя на соблазнительные вещи и представляя себе, как здорово было бы научить Раечку дудеть на горн (сама она довольно хорошо умела выбивать дробь на барабане) и на страх врагам устраивать в доме комсостава ежевечерние концерты. Если бы не мать-командирша, это отлично можно было бы провести в жизнь.

Вернувшаяся продавщица оторвала ее от приятных мыслей. Купив галстуки, Таня вышла на улицу и остановилась. У дверей магазина двое мальчишек деловито — по очереди — надували волейбольную камеру, очевидно только что купленную и еще покрытую серебристой пыльной талька.

— Эх, дураки, — сказала Таня, понаблюдав с минуты. — Кто же так надувает? Вот я бы надула сразу. Хотите, покажу?

— Не лапай, не купишь! — сипло ответил мальчишка. — Иди, а то как урежу...

Таня презрительно сморщила нос.

— Это ты-то? Меня? — Она подошла на шаг ближе и деловито спросила: — Хочешь драться?

— Ну чего она ле-е-езет! — плаксиво завопил вдруг мальчишка таким противным голосом, что на них оглянулись прохожие. Таня сразу отошла.

— Просто не хочу связываться, — бросила она через плечо, — а то бы я из вас двоих четыре сделала...

Зайдя в гастроном, она купила для Люси полкило ее любимых «тянучек». Потом на пути к Октябрьским ваннам встретился комиссионный, — в этих витринах всегда можно увидеть что-нибудь интересное. Таня сунула в рот тянучку и прижалась носом к стеклу.

Ее внимание сразу привлек крошечный театральный биноклик — перламутровый, с золочеными ободками, на длинной ручке вроде лорнета. Не иначе, еще пушкинских времен. Ох, вот бы побывать там хотя бы на немножко — придумать какую-нибудь «машину времени» и...

Используя витрину как зеркало, Таня наклонила голову чуть набок и сделала томные глаза — как на портрете Натальи Гончаровой. Рядом кто-то остановился, она покраснела и быстро нагнулась, разглядывая старинные бронзовые часы под стеклянным колпаком. Оказалось вдруг, что часы идут и стрелки показывают двадцать минут шестого; она ахнула и помчалась по улице, расталкивая прохожих.

Лейтенант уже похаживал у здания Октябрьских ванн, заложив руки за спину.

— Э, ничего, — сказал он, когда Таня прерывающимся от бега голосом извинилась за опоздание. — С делами мы покончили, куда спешить? Я вот что сейчас подумал — ужин в лагере вы ведь потеряли, а покушать надо. Вы шашлык любите?

— Я никогда не ела, только слышала. Это на палочках, как эскимо? А вкусно?

— Шашлык? Ха-ха! Идемте, — решительно сказал лейтенант, взяв ее за руку, — тут есть одна шашлычная, настоящая. Сейчас увидите, что такое шашлык...

Они пришли в небольшой прохладный подвальчик, где чуть пахло вином и погребной сыростью, а по стенам висели безобразно растопыренные бурдюки, — с первой же минуты Таня старательно избегала их взглядом. Откуда-то доносилась странная восточная музыка.

Маленький багровый толстяк с разбойничьими усами быстро накрыл на стол и поставил перед лейтенантом бутылку вина.

— А этого вам нельзя, — сказал Виген, шутливым жестом убирая бутылку подальше от Тани.

— А этого я и не прошу, — сморщила она нос, наклоня голову набок.

Виген улыбнулся.

— Почему вы улыбаетесь?

— Просто так. Смотрю на вас и улыбаюсь.

— Нет, пра-а-авада..

— Тсс! — Он приложил палец к губам. — Смотрите, вам уже несут...

Шашлык и в самом деле оказался вкусной штукой. Разбойничий толстяк прибегал с железными прутиками, где кусочки мяса были нанизаны попеременно с ломтиками помидоров, и ловко состругивал их на тарелки. Таня уплетала за обе щеки, — только сейчас она почувствовала, как проголодалась за это время. Утолив голод, она опять пристала к лейтенанту:

— Нет, Виген, ну скажите серьезно, почему вы тогда улыбнулись?

— Слушайте, Таня! — вместо ответа сказал тот. — Вы уже видели, как на Кавказе кушают, — теперь увидите, как на Кавказе пьют...

Подозвав крючконосого разбойника, он сказал ему несколько гортанных слов. Тот улыбнулся Тане, цокнул языком и убежал. Через минуту он вернулся и подал лейтенанту большой кривой рог. У Тани загорелись глаза.

— Из этого вы будете пить? — недоверчиво спросила она, дотронувшись до рога. — Ох как интере-е-есно...

Сароян взял рог и вылил в него все вино из бутылки. Потом, держа его в обеих руках, встал и поклонился Тане.

— Пью за ваше здоровье, — сказал он негромко и торжественно. — Живите много лет, и пусть с каждым годом ярче сияют звезды ваших глаз...

Таня не сразу поняла смысл последних слов — они дошли до ее сознания минутой позже. Сейчас она с изумлением смотрела, как лейтенант стоя пил из рога, нё отрываясь и все выше запрокидывая голову. «Задохнется!» — испуганно подумала она, но в этот момент Виген вскинул пустой рог и перебросил стоявшему поодаль крючконосому. Тот поймал его на лету, что-то восторженно крикнул и зааплодировал, держа рог под мышкой. Только тут Таня поняла смысл сказанного о звездах и почувствовала вдруг, как загорелись ее щеки.

— Спасибо, что вы пили за мое здоровье, — не поднимая глаз, сказала она севшему на место лейтенанту и улыбнулась. — Только не нужно так много...

— На Кавказе это не называется много, это называется — в самый раз, — засмеялся лейтенант. — А теперь рассказывайте вы.

— Что же я могу рассказать? Про лагерь — так это же совсем не интересно... вы так много интересного видели, а тут вдруг какой-то лагерь. Вы вот японцев видели...

— Вот поэтому мне и хочется услышать про что-нибудь такое, где нет японцев. Серьезно, Таня, расскажите просто про себя.

— Ну хорошо, я расскажу — только придумаю, с чего начать. Слушайте, а что все-таки Дядяша делает в Монголии?

— Ну, как что? Командует, что же ему еще делать.

— А чем он командует?

— Крупным танковым соединением, — улыбнулся Сароян. — Остальное — военная тайна.

Таня наморщила нос.

— Всё та-а-айны, та-а-айны... — капризно протянула она, отодвигая тарелку. — Ну, я уже наелась как удав — не могу пошевелиться. Идемте есть мороженое? Знаете куда — в парк, там есть такой Храм Воздуха!

Когда они вышли на улицу, уже смеркалось. Оглушительно трещали цикады, в теплом вечернем воздухе пахло немного пылью, немного бензином и какими-то неизвестными Тане цветами.

— Хорошо здесь, — вздохнула она, морща нос. — Это соединение, которым командует Дядяша, — оно большое?

— Порядочное.

— Ох какой он важный, — покачала головой Таня. — А дома — меня боится.

— Боится вас? — улыбнулся Виген. — А что, вы такая страшная?

Таня пожала плечами:

— Нет, конечно... но характер у меня мерзкий, это все говорят. Я — шkodливая, правда. Почему вы смеетесь? Честное слово, у нас во дворе так меня и называют, ну что я могу поделывать. У нас такая дворничиха — так она всегда: «То та шкода с десятой квартиры, що це за дивчина такая, було б ей повилазило» — это она по-украински, я точно не могу передать, но приблизительно так. Ну что вы всё смеетесь!..

На открытой полукруглой террасе, расположенной в самой высокой точке парка, почти никого не было. Прохладный ветер доносил снизу обрывки музыки, смех и голоса гуляющих.

Таня ела мороженое и рассказывала Сарояну о лагерной жизни. Он уже знал характеры и особенности всех вожатых, распорядок дня, меню завтраков, обедов и ужинов. Ему было сообщено также, что у нее, Тани, есть в

лагере подруга — приехала вместе с ней из Эйска — такая Люся Земцева, страшно умная и красивая, такая красивая, что если бы он ее увидел, то наверное влюбился бы; что Люся собирается быть физиком, а она сама — не Люся, а она сама — весной увлекалась машиностроением и даже хотела записаться в ДТС, а потом балетом, а сейчас увлекается минералогией, потому что познакомилась в лагере с одним членом кружка юных геологов из Микоян-Шахара и тот дал ей прочитать книжку академика Ферсмана. Этот юный геолог страшно умный — тоже, наверно, будущий ученый, — а вообще он смешной, ну вот взять хотя бы, что он устроил вчера на линейке...

Тут Таня осеклась и, держа в руке ложечку, сделала большие глаза.

— Ой, Виген, — прошептала она в ужасе, — который час?

Тот посмотрел на часы и зажмурился:

— Х-ха! Пропали мы с вами — уже четверть девятого!

— Четверть девятого! Ой, что же я теперь буду делать?.. Они меня просто съедят!

— А нельзя позвонить в лагерь? Соврем что-нибудь...

— Ой, я не знаю номера... да и потом, это уже все равно — линейка у нас ровно в восемь, меня уже нет, а что мы можем сказать? — Таня закусил губу и покачала головой. — Ох, что мне завтра бу-у-удет... вы себе представить не можете, как мне нагорит... а, все равно! — Она капризно прередернула плечиками и принялась доедать мороженое. — Я не маленькая. Ну, влетит, неважно — не в первый раз... мне и похуже доставалось.

— Уже бывало? — улыбнулся Сароян.

Таня пожала плечами.

— Еще как, — сказала она небрежно. — Меня страшно строго воспитывают. Не в лагере, конечно, — дома.

— Подумайте, ц-ц-ц. — Он сочувственно поцокал языком. — А вы же говорили, что Александр Семенович вас боится?

— Дядяша — да. Еще бы! Нет, я говорю про мать-командиршу...

— А, про нее я слышал.

— От Дядяши? Значит, тогда вы знаете. Я ее очень люблю, но... у нее такие отсталые методы воспитания, прямо ужас... прямо какие-то средневековые!

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись как по команде.

— Ничего, Таня,— сказал Виген,— это не так страшно. Ну, хотите еще мороженого — или поехали?

Таня в нерешительности посмотрела на стоявшие перед ней пустые вазочки.

— Н-нет, хватит, я думаю... Давайте уж лучше поедем. Seriously, Виген, я просто боюсь, правда. Пока мы еще доберемся...

На привокзальной площади на лейтенанта коршуном налетел милиционер,— что-то оказалось не в порядке, то ли машина стояла в неполюженном месте, то ли просто она стояла слишком долго. Они долго ругались и спорили, горячась и хватая друг друга за обшлага, с русского постепенно перейдя на какой-то непонятный, шипящий и гортанный. Таня слушала их, с тоской поглядывала на часы и с ужасом думала о том, что произойдет в лагере.

Обратный путь они сделали за сорок минут, так быстро Тане не приходилось ездить еще ни разу в жизни. Она хваталась то за сиденье, то за борт, то за рукав Вигена, газик прыгал и метался из стороны в сторону, звеня, вскрикивая и взвизгивая прямо по-человечески. Ночные бабочки пронеслись в искрящихся конусах света перед радиатором, справа — в кромешной тьме — вспыхивали и гасли красные и желтые отражатели дорожных знаков и, проносясь мимо, фыркали невидимые телеграфные столбы. Вообще, это была не езда, а какое-то сумасшествие. Когда машина с ревом пронеслась по основной просеке и затормозила перед воротами лагеря, Таня чувствовала себя окончательно одуревшей. «С приездом!» — громко сказал Сароян и с размаху ударил кулаком по рулю. Дикий, неприлично громкий, хриплый вопль вырвался из недр загнанного газика, где что-то продолжало еще булькать и пощелкивать. Подскочив от ужаса, Таня вцепилась в лейтенанта обеими руками.

— Вы с ума сошли!! — зашипела она отчаянно.— Что вы делаете, Виген, вы же всех перебудите — у нас после девяти говорить громко и то нельзя, а вы так дудите! Господи, ну теперь я уж совсем пропала! Виген, уезжайте скорее, пока никто не пришел...

— Как «уезжайте»? X-ха? — Он выскочил из машины след за Таней и воинственным жестом одернул пояс.— Я сейчас вашему начальству буду рапортовать — надо же объяснить, как было дело!

— Нет, нет, я сама все объясню, честное слово, так лучше... уезжайте скорее, правда, Виген, ну пожалуйста!

Таня торопливо затолкала лейтенанта обратно в ма-

шину и сама с треском прихлопнула за ним разболтанную дверцу.

— Да нет, вы послушайте, как же так... — растерянно попытался тот протестовать.

— Да Виген! — уже с отчаянием крикнула Таня, оглянувшись на решетчатые ворота. — Уезжайте, я вам говорю, — ну как вы не понимаете!

По-видимому, страх ее внезапно передался Сарояну. Он сунул ей в руки кулек с покупками, торопливо проворчал что-то насчет того, что в Энске они, возможно, еще увидятся, круто развернул машину и умчался по просеке с такой скоростью, будто за ним гнались черти. Не успела погаснуть вдали красная искорка стоп-сигнала, как за воротами вспыхнул фонарь. Спустя минуту послышался хруст гравия, — по аллее торопливо шел старший вожатый, за ним, не поспевая за его широкими шагами, почти бежала Ирма Брейер.

— Вы бы еще час копались! — запальчиво крикнула Таня, когда начальство подошло ближе. — Теперь-то уж он, конечно, уехал!

— Кто уехал? — Вожатый отпер калитку и пропустил Таню внутрь.

— Николаева, ты окончательно сошла с ума... — начала Ирма трагическим голосом, но Таня перебила ее, обращаясь к вожатому:

— Как кто — лейтенант Сароян, ясно! Он просто хотел объяснить, в чем дело. Вы бы еще через час пришли! Он ждал, ждал и уехал — он очень торопился в часть, его эта дурацкая история и так задержала, — а вообще он хотел сам все рассказать, потому что...

— Постой ты, не тарыхти! Какая история? Тебе когда было сказано вернуться в лагерь?

— Господи, ну к восьми, к восьми! Мы уже ехали назад — понимаешь? — так приблизительно в половине восьмого, как раз успели бы — и вдруг заднее колесо ка-а-ак отлетит, правда! Ой, Петя, я так перепугалась, ты себе представить не можешь — думала, перекинемся...

— Ух ты, страхи какие, — сказал вожатый, — Ну, и?

— Ну, и у нас не оказалось в машине домкрата, понимаешь? И как назло — никого на дороге! Наверно, часа полтора сидели и ждали, а потом ехала одна полторка, и они нам помогли. Ну вот, видишь...

— Да, вижу, — буркнул вожатый. — Это ты сама сочиняла или лейтенант помогал? Сказки мне будешь рассказывать — полтора часа они сидели на дороге и ни одной машины не увидели... в полвосьмого, говоришь? Ладно,

вот нарочно выведу тебя завтра в то же время на то же место, и посмотрим с часами в руках — сколько машин там за полчаса пройдет.

В молчании они дошли до девчачьего корпуса, и Таня обиженно сказала:

— У тебя никакого доверия к людям...

— Такие уж люди, — сказал вожатый. — Завтра Нина Осиповна с тобой побеседует, так что готовься заранее.

— Ну Петя, ну я-то при чем? — жалобно возопила Таня. — Я ведь тебе говорю — была авария, разве я виновата?

— Еще бы, ты никогда не виновата, ты ведь у нас ангел. Иди, иди, печего...

Пока Таня умывалась, Ирма Брейер стояла у нее над душой, словно подозревая преступницу в намерении снова удрать; потом с тем же ледяным видом надзирательницы довела до самых дверей спальни.

— Покойной ночи, Николаева, — сухо сказала она. — Не шуми, когда будешь раздеваться. Завтра мы поговорим.

— Ирмочка, я ведь уже все рассказала — зачем же еще? — Таня тяжело вздохнула. — Хочешь тянучку?

— Нет, спасибо, и сама не смей. На ночь, после чистки зубов, ничего сладкого. Ты, конечно, этого тоже не знаешь?

«Ой, ой, хоть бы Люся уже спала...» — думала Таня, на цыпочках пробираясь по спальне. Но Люся не спала. Едва Таня добралась до своей кровати и, затаив дыхание, начала раздеваться, рядом послышался шепот подруги:

— Что это ты так рано? Могла бы с таким же успехом приехать вообще утром.

— А, ты еще не спишь, Люсенька... я страшно рада... смотри — я тебе купила тянучек, тех самых...

Таня на ощупь сунула под подушку Людмилы хрустящий кулек.

— У тебя, Татьяна, отвратительная манера — набезобразничаешь, а потом лезешь со всякими тянучками. Ну, подожди, завтра у нас будет разговор.

— Кошмар, — вздохнула Таня, — это уже третий... вот тебе твоя юбка, в целости и сохранности, можешь радоваться. Я даже сложила ее по твоему способу, смотри. Если хочешь знать, то мы опоздали просто потому, что у Сарояна остановились часы. Видишь, как я тебя слушаюсь во всем, а ты вечно недовольна. Это просто черная неблагодарность, самая черная. И вообще очень интересно —

что я такого страшного наделала... подумаешь, немножко опоздала в лагерь...

Таня обиженно шмыгнула носом и полезла под простыню, предсложая что-то бурчать.

— Ах, ты не понимаешь, что в этом такого страшного, да? — вскипела Людмила. — Ты два часа заставляешь всех беспокоиться — заведующую, вожатых, меня — и потом еще спрашиваешь невинным тоном: «Что я такого сделала?» Знаешь — спи уж лучше, мне просто противно с тобой разговаривать!

— Ну и ладно, а мне еще противнее!

Едва успев задремать, Людмила опять проснулась — ее разбудил щекочущий шепот над самым ухом:

— Люся, ты слышишь... Лю-ся!

— Господи, ну что тебе еще? Не шипи в ухо! Танька!!

— Люсенька, я у тебя хочу спросить одну вещь, только ты не смейся. Смотри — если бы тебе нужно было сравнить с чем-то мои глаза, с чем бы ты их сравнила?

— Что? Твои глаза? Как сравнить?

— Ну, как ты не понимаешь... говорят же «глаза как незабудки» — это когда голубые, или «как фиалки» — знаешь, есть такие редкого цвета — ну, и вообще можно с чем хочешь сравнить — не обязательно с цветком... ну-у, не знаю там — глаза, как... как звезды, что ли, — это уж совсем глупо, правда?

— Ну конечно, — зевнула Людмила.

— Что «конечно»? Конечно, что как звезды, или конечно, что глупо?

— Ясно, что глупо. Так что ты хочешь, я не понимаю?

— Ах, ничего я не хочу, отстань, — сердито ответила Татьяна. — Я спать хочу!

4

Тридцатого августа Таня вернулась в Энск, и новости посыпались сразу со всех сторон, — можно было подумать, что нарочно дожидались ее приезда.

На вокзале их встретил тот же Вася, — Галина Николаевна была занята и не приехала.

— Как отдыхалось, девчата? — весело спросил он, засовывая в машину чемодан. — Женихов еще не понаходили? Значит, не так действовали, что ж это вы...

Таня хихикнула, забираясь на свое любимое переднее сиденье.

— А как нужно было действовать? — спросила она.

— Ишь, заинтересовалась, курносая.— Вася сделал вид, что хочет мазнуть ее по носу черным пальцем.— Рано еще! Пошутил, а она уж и обрадовалась... Люда, куда ехать-то — к вам или на Котовского сперва?

— К вам, Вася, мы еще должны разобрать вещи.

Вася сел на место и, трогая машину, подмигнул Тане. Она подумала вдруг, что все эти подмигивания и хватания за нос — не очень-то приятная штука. Почему-то вот с Люсей никто себе этого не позволяет! Странно, но даже в школе Таня не могла вспомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь дернул Люсю за косу; а мимо нее, Тани, ни один мальчишка не пройдет, не сделав какой-нибудь пакости: или потянет за волосы, или хлопнет линейкой, в лучшем случае хоть рожу скорчит...

Она смотрела на бегущие мимо пыльные акации и думала, что, хотя ее последняя зарубка на притолоке почти на два сантиметра выше Люсиной, все-таки, наверно, Люся производит более взрослое или более умное впечатление — иначе чем все это можно объяснить? Ее, взрослую, в сущности, девушку, которой через две недели исполняется шестнадцать лет — шутка сказать, шестнадцать! — ее, девятиклассницу, при всех называют курносой и запросто мажут ей нос пыльным пальцем. Хорошего в этом мало.

От грустных мыслей оторвал ее Вася, толкнув локтем и сказав, что теперь, значит, она и вовсе станет ходить в знаменитостях и что жаль, что он везет ее, а не самого майора, потому что тот наверняка пригласил бы его зайти обмыть награду.

— Какую награду? — рассеянно спросила Таня, ничего не поняв.

— Слышь, Люда... — засмеялся шофер, на секунду обернувшись к сидящей сзади Людмиле.— Растолкуй ей, а то она уже забыла.

— Не понимаю, о чем вы, Вася.— Люся пожалала плечами.

— Вы что, в самделе ничего не знаете? — изумился шофер.— Хотя верно, вы же ехали сколько! Э-э, Танечка, тогда с тебя магарыч. Дядька твой Героя получил, вот как! Сегодня в газетах список...

Таня не сразу поверила, что Вася говорит правду; поверив, она опалела от радости. Воспользовавшись тем, что машина только что пересекла бульвар Котовского, она попросила остановиться, чмокнула Люсю в щеку и выскочила на тротуар. Почему-то она решила, что Дядяша, украшенный новенькой Золотой Звездой, уже ждет ее дома.

Никакого Дядисаши, конечно, дома не оказалось. Вместо него Таню встретила Раечка, вчера вернувшаяся из отпуска и теперь занятая уборкой.

— А у нас тут новости-е-ей! — закричала она, схватив Таню в объятия и принимаясь кружить по комнате. — Кругом одни новости! Про Алексан-Семеныча уже небось слыхала?

— Ой, Раечка, ты меня задушишь!.. Да, мне уже сказали, а где газеты сегодняшние?

Номер «Красной звезды» лежал на Дядисашином столе; Таня замерла, пробегая длинный список на первой странице. «...Наградить званием Героя Советского Союза с одновременным вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда» — ого, целых тридцать два человека! Так... командарм Штерн, полковник Яковлев — о, вот — «майора Николаева Александра Семеновича».

— Ой, Раечка, — зачарованно прошептала Таня, не веря своим глазам. — Ой, я так рада за Дядюсашу, ты себе просто представить не можешь... а какие еще новости?

Следующая новость касалась матери-командирши, у которой родился в Днепропетровске внук; она стала от радости совсем как ненормальная и вчера уехала; Тане она оставила деньги и яблочный пирог, — только она, Раечка, этот пирог съела, потому что не знала, когда Таня приезжает, а ведь яблочный пирог как зачерствеет, так после хоть не ешь.

— Как же ты не знала, — с упреком сказала Таня, — занятия ведь начинаются первого! Яблочный, да? Как раз мой любимый. Все-таки хоть кусочек ты уж могла бы мне оставить, правда! Я бы съела и черствый, не такая уж я привереда...

— Ладно, не горюй, я тебе сегодня испеку. Еще вкуснее будет, вот увидишь!

С этими словами Раечка так хлопнула Таню по плечу, что та присела; потом неожиданно всхлипнула и сообщила, что в конце того месяца выходит замуж — не за шофера, с которым познакомилась на Первое мая, а за счетовода Андрей-Иваныча, который ухаживает за ней уже второй год.

Эта новость Таню ошеломила не меньше Дядисашиной Золотой Звезды. К Раечке она привыкла относиться как к приятельнице, почти как к сверстнице — и вдруг в конце следующего месяца с ней случится такое. Подумать — она станет замужней дамой!

— Поздравляю, Раечка... — Таня почувствовала себя совершенно растерянной. И что вообще полагается гово-

рять в таких случаях? — Раечка, я тебе желаю от всего сердца, чтобы ты была очень счастливой и... и чтобы у вас были хорошие дети, вот.

Они опять обнялись, и Раечка опять всхлипнула и засмеялась:

— А Петька мой говорит: дура ты, Райка, ну чего за старика выходишь, иди, говорит, лучше за меня, я и собой лучше, и заработок еще тот. Я, говорит, сделаю два рейса и на одних королях столько буду иметь, сколько твой дед за месяц пером не выскрипит. А какой же с него дед — ему ведь всего тридцать шесть... ведь не дед, а, Танечка?

— Ну-у, нет, конечно... — ответила Таня, в душе ужаснувшись древности жениха.

— Я ж и говорю, — обрадовавшись поддержке, горячо зашептала Раечка, — я ж и говорю, что он вовсе еще не такой старый, и потом жалко мне его — тихий он такой, вежливый, всё книжки читает. Бросила б я его — он так бы и остался холостяцтвовать... Петьку, того мне не жалко бросить, он себе найдет, и дня один не просидит — девчата до него, черта, так и липнут, я и в толк не возьму, чем он нашего брата приманивает, кобель веселый... ой, у меня там вода вся выкипит!

Раечка всплеснула руками и убежала в кухню. Таня огляделась. В комнате все было вверх дном, как всегда во время больших уборок; сейчас, после долгого отсутствия, даже этот беспорядок казался уютным. Уютным был и запах — неповторимый, чуть пыльный запах городской квартиры, пустовавшей целое лето. Жить на свете было чудесно. Забравшись с ногами в угол дивана, Таня вытащила из кармана жакетика маленькое теплое яблоко и так закусила его, жмурясь от удовольствия, что сок брызнул на щеку.

Новости, новости, новости...

В первый день учебного года они сидят за блестящими партами, обмениваясь летними впечатлениями, бродят группками по коридорам, пахнущим мастикой для полов и свежей побелкой, листают новенькие, тугие еще учебники, знакомятся с новыми преподавателями — и не знают, что в эти часы на мир уже обрушилась самая страшная из новостей. Свинцовый ветер уже метет по дорогам Польши, но в Энске еще ничего не известно. В одиннадцать часов утра, когда немецкие пикировщики прямым

попаданием обрушивают первый забитый беженцами мост через Варту, в 46-й энской школе идет большая перемена. Людмила откомандирована в буфет, а Таня сидит с Иришкой Лисиченко на скамье под пронизанными солнцем каштанами и, таинственно понижая голос и блестя глазами, рассказывает, как лейтенант Виген Сароян пил за ее здоровье вот из такого рога и как ей на другой день досталось в лагере за ту поездку.

Вторая мировая война уже началась, но Танины одноклассники пока ею не затронуты. Даже вечером, прослушав выпуск последних известий, они не придадут особого значения тому, что произошло в этот день в Польше. Они привыкли, что в мире всегда что-то происходит, чуть ли не каждый год. Если не в Абиссинии, то в Испании; если не на Хасане, то на Халхин-Голе...

Впрочем, на этот раз дело становится серьезным. Проходит еще два дня, и в войну вступают Англия и Франция — империалисты и поджигатели. На общешкольном собрании комсорг Леша Кривошеин объясняет, почему именно на англо-французских империалистах лежит вина за случившееся.

Каждый день, перед началом уроков и на переменках, мальчишки яростно переживают оперативные сводки — немецкие, английские, французские, польские. Взята Лодзь, в районе Кутно окружены десять польских дивизий, немецкие Ю-87 бомбят военные объекты в Северной Франции. Слово перед интересным матчем, вся мужская половина школы разделилась на спорщиков — кто кому наклепает. Таня на этот раз держится от них в стороне; ее вдруг почему-то перестали интересовать эти мальчишки с их спорами и их нелепыми затеями; сейчас они кажутся ей просто глупыми, и это тоже новость. Игорь Бондаренко — задавака противный! — первым в классе начал носить великолепный пробор, намазывая волосы бриллиантином. Некоторые преподаватели уже говорят девочкам «вы», и к этому никак нельзя привыкнуть, — всё кажется, что это относится вовсе не к тебе.

Вообще, ко многому трудно привыкнуть в этом сумасшедшем месяце — сентябре тридцать девятого года. Трудно привыкнуть к тревожному слову «война» в газетах, к ощущению себя девятиклассницей, к тому, что в «Энской правде» напечатали статью про Дядюсашу, где сказано, что «майор Николаев принадлежит к числу знатных людей нашего города»; трудно привыкнуть к телеграммам, к телефонным звонкам бесчисленных Дядисашиных знакомых, справляющихся, не вернулся ли герой; трудно

привыкнуть к ослепительной школьной славе племянницы человека, чей портрет повесили в пионерской комнате над макетом танка,— и к тому, что через несколько дней тебе исполняется шестнадцать лет...

Одиннадцатого, накануне своего дня рождения, Таня просидела весь вечер одна, не зажигая света, и на сердце у нее было тревожно, радостно и грустно от мысли, что вот прожита первая половина жизни (с завтрашнего дня нужно начинать хлопоты о паспорте, а с паспортом в кармане человек не может не чувствовать себя старым) и теперь начинается вторая — уже закат, спуск под горку. Это было печально до слез — сидеть вот так перед открытым окном в темной и пустой квартире, слушать автомобильные гудки и смех на бульваре и смотреть на высокую звезду, чистым неземным огнем дрожащую прямо над темным куполом здания обкома. Вечер был тих и прозрачен, недавно прошел короткий «слепой» дождик, и сейчас чудесно пахло мокрой листвой каштанов, прибитой пылью и просыхающим теплым асфальтом.

Таня смотрела на звезду и думала о чудесной и фантастической жизни далеких обитателей этой голубой планеты — а потом наверху, у Голощаповых, патефон заиграл «Ирландскую застольную». Затаив дыхание, вслушивалась она в серебряные переливы рояля, в голос певца, так удивительно выразивший вдруг ее собственное настроение. Полный легкой и просветленной грусти голос рассказывал о метели, роями белых пчел шумящей за окнами, о тесном круге друзей, о том, как огнями хрусталя светится любимый взгляд,— и о том, что за дверьми ждет смерть...

...миледи Смерть, мы просим вас
За дверью обождать...—

услышав эти слова, всегда приводившие ее в трепет, Таня легла щекой на подоконник и заплакала слезами такими же легкими и светлыми, как переполнившая ее сердце бетховенская музыка.

Закатная половина ее жизни началась, в общем, не так плохо. Утром — бывают же такие счастливые совпадения! — от Дядисаши пришли сразу письмо и посылка. Посылка ее удивила — что это может быть? — и она, читая письмо, машинально ощупывала загадочный мягкий пакет. Письмо было, как всегда, коротким — один листок, с обеих сторон исписанный твердым крупным почерком без наклона. Дядясаша поздравлял ее с днем рождения и вы-

ражал надежду, что вещица, отправленная им две недели назад, уже получена и одобрена. Возможно, писал майор, письмо это вообще опоздает, так как он сам надеется скоро быть дома. Если успеет вернуться до двенадцатого, то уж шестнадцатилетие они отпразднуют на славу, как и полагается праздновать великие события. В конце шли обычные вопросы относительно здоровья, времяпрепровождения и школьных дел.

При мысли о скором — может быть, даже сегодня! — возвращении Дядисаши Тани от радости захотелось стать на голову, но она вспомнила о пакете с загадочной «вещицей». Вооружившись ножом и закусив губу от нетерпения, она вспорола обшивку, разодрала оберточную бумагу и тихонько ахнула. В глаза ей блеснуло что-то золотое и зеленое. Подарок оказался китайским халатиком — настоящим, из чудесного ярко-зеленого шелка, по которому клубились золотые с чернью драконы, один страшнее другого.

Несколько минут она простояла перед зеркалом, не веря своим глазам. Ой — Люся когда увидит...

Справедливость требует сказать, что предстоящему приезду майора Таня обрадовалась все же больше, чем китайскому халатику. За лето она порядочно соскучилась по своему Дядесаше, а теперь, с наступлением школьных будней, одиночество стало особенно неприятным. Как назло, загостилась в Днепропетровске мать-командирша. Раечка уходила к шести, и на целый вечер Таня оставалась совершенно одна.

Очень страшно было по ночам — она прятала лицо в подушку, плотнее укутывала одеялом уши и лежала, боясь пошевелиться. Этой боязнью темноты Таня страдала с детства, и от нее не спасало ни ощущение себя девятиклассницей — почти-почти студенткой! — ни новые толстые учебники, от которых лопается по швам старенький портфель, не рассчитанный на такое количество премудрости. Она знала очень хорошо: от ночных страхов спасает только Дядяша (так же, как когда-то в Москве — Анна-Сойна). Когда он похрапывает у себя на диване, темнота не кажется такой угрожающей, она становится почти уютной.

Двенадцатого она весь день сидела дома, нарядная и торжественная, дочитывала «Войну и мир» и ждала поздравлений. Впрочем, из всего класса позвонили только две девочки; Таня была разочарована и немного обижена. Забежала Раечка — уже три дня она не работала, гото-

вилась к свадьбе,— придушила ее в объятиях и подарила дешевые красные бусы.

В половине четвертого пришла Люся с букетом белых астр.

— Поздравляю, Танюшка! — сказала она, передавая Тане цветы.— Ого, какая ты сегодня хорошенькая и акkuratная, прямо пионерка с плаката...

— Ну, ты скажешь,— скромно возразила Таня,— я всегда такая.

— Оптимистка! В первый раз в жизни вижу у тебя хорошо заплетенные косы. Кто плел?

— Жена одного капитана на пятом этаже... ой, Люсенька, что у меня есть! Хотя подожди — знаешь, наверно скоро приедет Дядяша, может быть даже сегодня! Представляешь? Вот уж мы попируем... а когда придут остальные?

— Ты знаешь, Танюша,— сказала Людмила,— тебе сегодня не повезло. Нет, правда, такая неудача! У Жени вчера вечером заболела мама, и ей теперь приходится сидеть с братиком. А эту Громову ты вообще напрасно приглашала, я же тебе говорила. Она ушла с мальчишками в кино, а мне знаешь что сказала? Я, говорит, никак не могу, у меня после кино кружок юннатов и нужно кормить амблистому — ее, говорит, без меня не сумеют покормить. Как будто это так уж трудно — покормить какую-то несчастную ящерицу!

— Ничего, Люсенька. Я ей припомню, паразитке,— со злобещим спокойствием отозвалась Таня, ставя цветы в банку из-под варенья.

— Татьяна! — Людмила выдержала возмущенную паузу.— Сколько раз я запрещала тебе употреблять это слово?

— Люсенька, я его вовсе не употребляю, но Громова все-таки самая типичная паразитка. Еще хуже, чем эта ее возлюбленная амблистома...

— Ах, так ты нарочно говоришь гадости, когда я тебя прошу этого не делать!

Ссора вспыхнула, как костер из соломы; через три минуты Таня уже объявила сквозь слезы, что теперь-то поняла, до какой степени никто ее не любит и никому она не нужна, иначе она, Люся, не защищала бы эту Громову. Потом солома сгорела, Таня утерла кулаком глаза и полезла в шифоньер за китайским халатиком, и мир был восстановлен.

До самого вечера они то шептались, сидя с ногами на диване, то хохотали до полусмерти, пекли на электроплит-

ке какой-то фантастический порог и по очереди примеряли халатик. Таня ждала звонка или телеграммы: а вдруг Дядясаша все-таки приедет, как обещал? Но он так и не приехал. «Ничего,— думала Таня, засыпая,— завтра-то уж обязательно...»

Дядясаша не приехал ни на следующий день, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу; а в воскресенье, около полудня, Таня выглянула в окно и увидела толпу вокруг столба с громкоговорителем; тотчас же включив радио, она услышала незнакомый хрипловатый голос, медленно говоривший:

— ...безопасность своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению...

Когда зазвонил телефон, у Тани оборвалось сердце.— таким зловещим показался ей вдруг этот привычный звонок, загремевший как сигнал боевой тревоги. «Алло»,— почти шепнула она, поднося к уху трубку.

— Татьяна? — послышался тревожный голос Людмилы.— Ты слушаешь радио?

— Только что включила... Люсенька — что же это такое? Я ничего не...

— Да... кажется, мы тоже будем воевать! Не уходи вонкуда, я приду!

Линия щелкнула и разъединилась. Таня присела на край дивана, держа в руке трубку и остановившимися глазами глядя в черную тарелку громкоговорителя. Голос продолжал говорить так же медленно и невыразительно, словно с трудом разбирая написанное:

— ...ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии...

Когда на другой день Таня пришла в школу, невыспавшаяся и с красными глазами,— первым, что она увидела, был листок на доске объявлений в вестибюле, перед которым толпилась вся первая смена. Кто-то читал вслух, слегка заикаясь:

— ...Барановичи и Снов. Н-на юге — в Западной Украине — наши войска заняли города Ровно, Д-дубно, Збараж, Т-тарнополь и Каломья. Наша авиация...

По коридорам гулко раскатился звонок, толпа стала редеть. Таня протискалась к доске. Простая вырезка из газеты, наспех наклеенная на двойной лист из тетрадки в клеточку. Крупный заголовок: «Оперативная сводка Генштаба РККА. 17 сентября». Оперативная сводка — так ведь говорится только во время войны?

Оставшись одна, она долго стояла перед черной доской в вестибюле, забыв о начавшемся уроке алгебры. Что же теперь будет? Сумеет ли приехать домой Дядяша, или... И как вообще все это теперь получается: неужели мы будем теперь воевать вместе с Германией против Англии и Франции? Ведь они — союзники Польши... А мы — разве мы стали теперь союзниками фашистов? Да нет, этого и вообразить себе невозможно... просто нельзя было оставить на произвол судьбы украинцев и белорусов, в этом все и дело, конечно же!

5

Модель электровоза ЭДТС-Д-1 заняла на республиканском конкурсе третье место. Если учесть, что Сережка никогда раньше не занимался моделизмом, а в конкурсе участвовали наряду с ним такие светила этого дела, как сам знаменитый Виктор Харченко из Запорожья, третье место было очень хорошим результатом, и это окончательно примирило Сережку с провалом на экзаменах.

Неприятные стороны второгодничества обнаружили только первого сентября, когда он очутился в окружении сорока молокососов, которые еще недавно были восьмиклассниками, мелочью, а сейчас сравнились с ним самым обидным образом. Лучший друг, Валька Стрелин, исчез в недостижимых далях десятого класса, переменяв к тому же и школу, и Сережка чувствовал себя как старый одинокий волк, попавший в щенячью стаю.

Соблюдая традицию, он поселился на последней парте крайнего ряда, вместе с единственным товарищем по несчастью — Сашкой Лихтенфельдом. Сашка был неплохим парнем, но каким-то легкомысленным, и Сережка никогда раньше с ним не сближался; теперь же он обрадовался, увидев Сашку, как можно только обрадоваться земляку на чужбине.

Скоро он убедился, что Сашкино легкомыслие приняло за это время опасные размеры. Уже в прошлом году

Сашка вечно вертелся около девчонок и охотно провожал их домой — то одну, то другую, оказывая всем равное внимание и совершенно пренебрегая общественным мнением; а сейчас он, видно, и вовсе решил стать записным сердцеедом. В первый же день, на втором уроке, он за какие-нибудь десять минут дал Сережке подробную характеристику каждой из их новых одноклассниц. Вначале тот слушал просто от скуки — очень уж нудным был вводный урок математики, — а потом вдруг изумился:

— Тю, да откуда ты их всех знаешь? На переменке, что ли, перезнакомился?

— Чудак, я же знал, что не перейду, — мне класрук еще в конце третьей четверти сказал: «Ты, — говорит, — Лихтенфельд, на этот раз определенно будешь второгодником», — так я их заранее всех и изучил, ну просто чтобы знать. Так кто еще остается... ну, Ленка Удовиченко — вон, в голубом платье, — эта ни то ни се. Задаваться особенно не задается, и на том спасибо. Да! — кто задается, так это вон там, на третьей парте возле окна — видишь? Черненькая такая, с косами, а рядом с ней еще рыжеватая, растрепанная — галстук у ней набок съехал, видишь? Так вон та зверски задается, черненькая.

— А кто это такие? — спросил Сережка, глядя в затылок рыжеватой, растрепанной. Эти рыжеватые волосы ему определенно что-то напоминали. Вернее, кого-то. Что за черт, где он мог ее видеть... ну, разве что просто в прошлом году встречал на переменках, если она занималась в той же смене... да нет, с ней — с этими растрепанными косами — связано какое-то совсем особое воспоминание, и что-то неприятное...

— ...неразлучные подруги, — увлеченно объяснял Лихтенфельд, — прямо неразлучные; их, говорят, водой не разольешь. Черненькая — это самая красивая в классе, такая Люська Земцева, страшная педотрога и вообще умнее всех. У нее мать — знаменитый физик, в нашем НИИ работает...

— Да? — заинтересовался Сережка.

— Гад буду. А другая, так это же племянница майора Николаева, про которого вот в газетах писали — ну, Герой Советского Союза...

— А-а, тот самый... слышь, Сашка, в ту зиму не он приезжал доклад делать на двадцать третье февраля?

— Точно, он и есть. Так вот эта Танька — его племянница, у него и живет...

Сережка усмехнулся:

— Елки-палки, какие всё знаменитости... ну, а она сама как?

— Да ничего, ребята говорят — не вредная...

В этот момент рыженькая повернулась к подруге, шепча что-то ей на ухо и давясь от смеха. Едва только Сережка увидел ее профиль с коротким носом и по-детски припухшими губами, как он сразу вспомнил, где и при каких обстоятельствах они встречались.

— Вот что-о-о,— прошептал он, ошеломленный своим открытием.— Так это, значит, она, зараза... Говоришь, не вредная? — ехидно спросил он у Лихтенфельда.— Знаешь, Сашка, ты уж лучше усохни с такой информацией! Тоже мне, «я их всех заранее изучил»... много ты ее изучил, эту Таньку!

...Случилось это весной, в самый разгар работы над злополучной моделью. Было уже поздно, и он сидел один в пустой ярко освещенной лаборатории, торопясь закончить обмотку статора, чтобы успеть сегодня же его прошеллачить и поставить на ночь в сушилку. Внезапно дверь распахнулась с таким треском, будто в нее ударили сапогом, и в лабораторию ворвалась незнакомая долговязая девчонка, командным тоном потребовавшая «немедленно говорить с товарищем Попандопулом». Сережке надолго запомнился этот картавый, нездешний какой-то говор.

За полчаса до этого он поругался со своей бригадой и сейчас был в самом собачьем настроении, со взвинченными от куренья нервами. При шумном появлении девчонки он вздрогнул и сбился со счета витков.

— На кой тебе с ним говорить? — грубо спросил он у посетительницы, подавив желание запустить в нее тяжелым статором.

Девчонка независимо прищурилась, морща короткий нос.

— Это мое дело!

— Ну и проваливай, раз твое. Я — помощник завлаба, понятно?

— А-а, помощник.— Посетительница сразу приняла мирный тон.— Ну, так бы и сказал! Хорошо, тогда я могу разговаривать с тобой. Дело в том, что мне нужно записаться в лабораторию...— Она осмотрелась и неуверенно спросила: — Это ведь энергетическая, правда? Турбины здесь строят?

— Турбины? — с удивлением переспросил Сережка.— А тебя что, турбины интересуют?

Он недоверчиво посмотрел на девочку, ответившую на его вопрос энергичным кивком. Турбостроение считалось одной из самых трудных областей моделизма, оно требовало большого навыка и терпения; неужто эта курноса...

— Да ты сядь,— смягчился Сережка,— вон табуретка в углу. Бутылъ составъ на пол, только осторожнее — там кислота.

Турбостроительница притащила табурет и уселась напротив Сережки, сразу же завладев его карандашом и листом с расчетами статорных катушек. Тот не протестовал, решив, что она хочет набросать ему эскиз какой-нибудь новой конструкции, и даже со стыдом подумал о своем невежестве в вопросах турбинной техники.

— Ты понимаешь,— сказал он почти с уважением,— у нас сейчас из турбинистов нет никого, да и вообще здесь как-то по тепловым двигателям никто не работает. Все больше по электрике. А ты с турбинами давно дело имеешь?

— Нет, не очень, собственно совсем недавно,— затараторила девочка,— но только они меня очень интересуют, правда! А вообще недавно. Позавчера я пошла к сапожнику забирать туфли, и он их завернул в газету, и я пока ждала автобуса — прочитала о турбине Капицы. Это чтобы получать жидкий — ну, как его... чем надувают стратостаты!

— Гелий,— подсказал Сережка.

— Угу, гелий. Я знала, только забыла. Ты читал про эту турбину?

— Ну, читал когда-то,— кивнул он, совершенно не понимая, какое отношение имеет турбина Капицы к их разговору.

— Страшно интересно, правда? Ну вот, я когда прочла, то мне тоже захотелось построить что-нибудь вроде этого.. .

Только тут Сережка заметил, что лист с расчетами украсился какой-то куклой с сердечком вместо рта и длинными загнутыми ресницами. Скрипнув зубами, он придвинул бумагу к себе и выдернул карандаш из девчонкиных пальцев, измазанных фиолетовыми чернилами.

— Так, значит, тебе тоже захотелось построить турбину для сжижения гелия? — спросил он со зловещим спокойствием, сразу все поняв.

— Угу. Ну, конечно, такую точно не удастся — это ведь, наверное, страшно трудно, правда? Там написано, что у Капицы зазор между кожухом и той штукой, что

крутится, равен одной сотой миллиметра — так я ведь и не собираюсь получать жидкий гелий, правда?

Несколько секунд Сережка молчал, чувствуя, что внутри весь накаляется, как только что включенный триод.

— Это жалко, что ты не собираешься получать жидкий гелий,— процедил он наконец сквозь стиснутые зубы.— Тогда нет смысла строить и турбину, это для тебя слишком плевое дело. Если уж ты хочешь тянуться за Капицей, так у него есть вещи поинтереснее, чем какая-то затруханная турбинка...

— Ой, правда? А я и не знала. Ты мне расскажи, я страшно люблю про всякие машины. Что, например, у него еще есть?

Девчонка навалилась на стол, подперла кулачком щеку, приготовившись слушать, и улыбнулась Сережке. Эта улыбка его и взорвала.

— Например, циклотрон!! — бешено заорал он, уже не владея собой.— Для бомбардировки атомного ядра!! Начиная уж лучше строить себе циклотрон, псиша ты несчастная! А покамест катись отсюда к батьке лысому, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!

— А ты, пожалуйста, не кричи на меня! — обиженно завопила турбостроительница, на всякий случай отъезжая от стола вместе со своим табуретом.— От психа слышу!

— А я тебе говорю — выкатывайся! Ходит тут, язва, людей от работы отрывает!

— Ах, какие красивые выраже-е-ения...— иронически протянула девчонка и упрямо тряхнула косами.— Не уйду! Я хочу говорить с Попандопулом!

— Если ты сейчас же отсюда не ушьешься,— с тихой яростью прошипел Сережка,— то я тебе сейчас такого всыплю попандопула, что ты год будешь помнить...

Фанерная перегородка, разделявшая две лаборатории — энергетическую и авиамodelьную,— не доходила даже до потолка. Как назло, в тот памятный вечер в авиамodelьной тоже засиделось несколько энтузиастов, готовивших что-то к июльским состязаниям в Коктебеле. Когда девчонка, испугавшись Сережкиной угрозы, вскочила и с грохотом опрокинула табурет, в перегородку постучали молотком и ломающийся басок крикнул:

— Эй вы, энергетики! Нельзя ли не так энергично? Что вам здесь — Лига Наций, что ли?

— У них семейная сцена,— пояснил второй голос.— Энергию девать некуда...

Вмешательство авиации только подлило масла в огонь.

— Вас только тут и не хватало, коккинали недоделан-

ные! — заорал Сережка, обернувшись к перегородке. Турбостроительница, стоя посреди лаборатории, заразительно рассмеялась, закидывая голову; Сережка, приняв смех на свой счет, вылетел из-за стола с намерением дать вредной девчонке по шее — будь что будет! — но ту как ветром сдуло, только мелькнули в двери рыжеватые косы и синяя плиссированная юбка.

Выждав за дверью несколько секунд, девчонка крикнула громким голосом:

— Жду на улице! — Это была обычная школьная формула вызова на драку. — погоди, выйдешь только — я так тебя отделаю! — И вихрем понеслась по гулкому коридору, топая как жеребенок.

Ошеломленный неслыханной наглостью, Сережка стоял, буквально разинув рот. За перегородкой тихонько посмеивались, потом первый голос пробасил ободряюще:

— Слышь, энергетик... не дрейфь, мы тебя проводим!

Решив не связываться, Сережка мысленно послал в нехорошее место всех авиамоделистов, с особым чувством присовокупив к ним плиссированную турбостроительницу, и со вздохом уселся перематывать испорченную катушку...

Вся эта неприятная история вспомнилась ему сейчас, как только он увидел знакомый профиль. Так вот оно что... значит, это и была племянница знаменитого майора!

Сережка искренне пожалел беднягу, вынужденного постоянно терпеть такую язву у себя дома, а потом ему стало жаль самого себя. Мало того что второгодник, еще и сиди теперь в одном классе с этой... а все этот чертов грек со своим конкурсом!

— О ком это ты размечтался? — шепнул Лихтенфельд, толкнув его локтем. — О Николаевой, да? А что такого ты про нее слышал? Не знаю, мне говорили, что она ничего...

Сережка посмотрел на него рассеянно и возмутился. В самом деле, какого черта он о ней думает? Нашел о ком думать — о какой-то язве-турбостроительнице! Да ну ее в болото, в самом деле. Не стоит она того, чтобы из-за нее расстраиваться. Подумаешь, велика беда — в одном классе! Не обязан же он здороваться с ней за ручку. Не будет ее замечать, и дело с концом. Просто постарается не сталкиваться...

Столкнуться им пришлось очень скоро.

На этот раз Сережкина судьба избрала своим орудием Сашку Лихтенфельда. Помимо легкомыслия Сашка обла-

дал еще и тем недостатком, что всех вокруг себя считал такими же легкомысленными. Поведение Дежнева в тот день, когда он рассказал ему про Николаеву, заставило его заподозрить, что тут что-то неладно. Не были ли они знакомы раньше и уж не поссорились ли из-за какого-нибудь пустяка? А сердце у Сашки Лихтенфельда было доброе, и он очень любил мирить поссорившихся и вообще улаживать всякие недоразумения. Поразмыслив, он не нашел ничего лучшего, как подойти однажды на перемене к Земцовой, когда та была одна, и сообщить ей, что его друг Дежнев, физик и вообще замечательный парень, очень хочет познакомиться когда-нибудь с ее матерью.

Сам Сережка, естественно, ничего об этом не знал; однажды, на второй неделе после начала занятий, обе подружки подошли к нему во время большой перемены, и черпенькая сказала с приветливой улыбкой:

— Слушай, Дежнев! Лихтенфельд мне говорил, что ты хочешь познакомиться с мамой?

Сережка опешил. Он никогда не высказывал Сашке подобного желания, и сейчас первой его реакцией было заподозрить в этом очередной подвох со стороны рыжей шалавы, которая стояла тут же с независимым видом, утрамбовывая песок носком туфли.

— Ничего подобного! — грубо отрезал он, едва не добавив: «На кой мне с ней знакомиться». Удержался он от этого не столько из вежливости, сколько из уважения к ученому званию Земцовой-старшей (наука была единственной областью человеческой деятельности, в которой он с патяжкой признавал женское равноправие). Увидев, что черпенькая почувствовала себя неловко после такого ответа, он пробурчал:

— То есть, может, я и хотел бы с ней познакомиться, факт, но только Сашке я об этом не говорил. Прибредилось ему, что ли, заразе... А она ведь наверняка человек занятой — твоя мать?

— Да, маме вообще приходится работать очень много, — кивнула Земцева, — но если у тебя какой-нибудь важный вопрос, то ты всегда можешь зайти как-нибудь в выходной, утром. К маме часто приходят на консультацию.

— Да нет, ничего такого важного у меня нет... чего я буду человека от дела отрывать, — проворчал Сережка. — Если когда понадобится...

— Да, конечно, — приветливо сказала Земцева. — Если понадобится, то, пожалуйста, не стесняйся, мама будет рада...

В этот момент кто-то с крыльца заорал, что класрук девятого «А» ищет Людмилу Земцеву, и та убежала, на прощанье еще раз улыбнувшись Сережке. Он надеялся, что следом за ней уберется и рыжая шалава, — в мыслях он уже и не называл иначе майорову племянницу, — но Николаева устала на него, морща нос и, видимо, что-то соображая.

— А я ведь тебя знаю! — заявила она таким довольным тоном, словно в этом заключалось невесть какое счастье. — Ведь это ты хотел меня тогда вздуть в энергетической, правда?

— До сих пор жалею, что не вздул, — мрачно ответил Сережка. — Ты как, турбину свою еще не построила?

Она засмеялась, и Сережка подумал с огорчением, что вот смех у нее хороший, не придерешься, — открытый и на редкость заразительный.

— Нет, что ты! Знаешь, я потом все думала: чего это он на меня вдруг так взъелся? Может быть, думаю, я какую-нибудь глупость ему сказала, потому что у меня это часто — возьмешь и скажешь, а потом сама и думаешь — ох и ду-ура! Правда. Ну вот, и я тогда спросила у Дядясаши — он тогда еще был дома, — можно ли самой построить в кружке такую турбину, как у Капицы, ну, может, чуть похуже...

— Что ж он тебе ответил, твой дядька? — иронически спросил Сережка.

— Не дядька, а Дядясаша. Он ответил, что это бред и что в моем возрасте можно бы таких вопросов не задавать. Правда, так и сказал!

— Это еще мягко сказано. Ему, верно, образование не позволило выразиться.

— ...а мне в ДТС так понравилось, прямо ужас! — продолжала тарыхтеть рыженькая шалава. — Всякие машины, так все интересно — ой, я страшно люблю машины! — и потом так приятно пахнет, каким-то лаком или эмалью, да? Ну вот, я тогда на другой день еще хотела пойти к самому Попандопулу, а потом испугалась — там, думаю, этот помощник, ну его, еще поймает и отлупит в самом деле, так я пошла к авиамоделистам. Помнишь, как ты их тогда назвал? Недоделанные коккинаки? — Она опять рассмеялась, закидывая голову. — Да, так вот — пришла я к этим коккинкакам, и они меня тоже поперли. Ты представляешь, что они меня спросили? Считаешь, говорят, хорошо? А я говорю: что я, считать сюда пришла? Они сразу и поперли.

— Правильно сделали. Ну, я пошел.

— Погоди! — Рыженькая доверительно понизила голос. — Это правда, что про тебя рассказывает Лихтенфельд?

— А что он рассказывает? — насторожился Сережка.

— Он рассказывает, — таинственно зашептала она, — что ты нарочно остался на второй год, отказался держать экзамены. Говорит, завуч к тебе три раза на дом приезжал, уговаривал, и директор тоже.

— Ясно, факт, и завуч приезжал, и директор, и завгородоно, и нарком просвещения. Интересно, с какой это радости Сашка так разбрехался, зараза, морду ему набить, что ли...

— Не нужно, он хороший. Правда! И еще знаешь, что он говорит? Он говорит, что самое главное — это почему ты отказался держать экзамены. Он говорит, что ты отказался потому, что строил рекордную модель паровоза...

— Электровоз я строил, — брюзгливо поморщился Сережка, — какой там паровоз... стал бы я возиться с паровиком.

— Ну, неважно, не все ли равно! Он говорит, что ты сознательно пожертвовал учебным годом, чтобы побить рекорд. Знаешь, Дежнев, по-моему, это героизм. Правда!

— Кой черт героизм, просто дурость, — возразил внутренне польщенный Сережка. — И потом, я ж тебе говорю, ни от каких экзаменов я не отказывался — кто бы мне позволил отказываться... и рекорда я никакого не побил, третье место взял.

— Ну-у-у, как жалко!

Она заглянула ему в лицо с искренне соболезнующим выражением, как смотрят на человека, наступившего на осколок бутылки или схлопотавшего «плохо» по математике. Сережку это немного обидело.

— Что ж, третье место — это не так уж и плохо, — буркнул он. — Конкурс-то был республиканский, это тебе не жук на палочке...

— Вообще да, — подхватила Николаева, — я как раз только что об этом подумала! Конечно, это совсем не плохой показатель. Ничего, следующий раз ты уж выйдешь на первое место.

— Вот разве что ты мне поможешь, — насмешливо кивнул он.

— Я с удовольствием, Дежнев, только я ничего не умею. Ты мне покажешь? — Простодушная шалава явно приняла это всерьез. — Послушай, а почему у тебя такая фамилия? Тот, который открыл что-то на Севере, — он не твой родственник?

— Елки-палки, так это двести лет назад было!

— Ну, мог быть предок,— высказала она предположение.— Только почему тогда тебя называют Дёжнев? Географ говорил, что правильно говорить «мыс Дежнёва». Дежнёв! — это даже еще красивее, если ударение на последнем. Вообще мне нравится твоя фамилия. А моя — нет. Ох, ужас, терпеть ее не могу!

— Чего там, фамилия как фамилия...

— Да-а, знаешь сколько кругом этих Николаевых!

— Ну и что с того. Слышь, а ты там больше ни в каких кружках не работала?

— Нет. Хотя да — в одном! Когда меня выгнали от кокинаков, то я пошла и назло всем записалась в балетный...

— Во, самое для тебя занятие — дрыгать ногами. Тото, я вижу, они у тебя здорово длинные.

— Правда? — обрадовалась шалава, выставляя ножку.— А я из-за этого в лагере заняла первое место по прыжкам в длину. Я была на Кавминводах. А ты куда ездил?

— Никуда, тут был. С ребятами на Архиерейские пруды ходил купаться. Ну, я пошел — звонок.

— Ой, уже? Погоди, нам же вместе, вот чудак! Идем. Архиерейские пруды? — задумчиво переспросила она, шагая рядом с ним и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу.— Я никогда не была. Где это? Хорошо там?

— Да это в Казенном лесу... ничего, купаться можно — есть места, где по шейку, а есть здорово глыбоко. Раков там миллион, я по полсотни каждый день домой приносил — весь двор ел.

— Раков я люблю,— вздохнула она,— только варить их мне жалко, я бы никогда не могла...

— Эх ты,— снисходительно покосился на нее Сережка.— Ты что ж, до сих пор там дрыгаешь?

— Где дрыгаю? А-а, в балетном... нет, что ты. Я тогда скоро ушла, надоело. Сейчас я думаю записаться в геологический.

— Знаешь, ты просто того.— Сережка выразительно постучал себя по лбу.— Я таких еще не видал, честное слово!

— Я тоже не встречала таких, как ты,— сказала Николаева,— только ты издеваешься, а я говорю серьезно. Слушай, Дежнев, ты хоть и собирался тогда меня вздуть, но это ничего, я тебе прощаю. Будем дружить, хорошо?

В эту минуту они подошли к самым дверям класса, и обычная давка разделила их, избавив Сережку от необходимости ответить.

Ошеломленный, он направился к парте и сел, ероша волосы. «Я тебе прощаю» — и таким это милостивым тоном, скажите на милость! И это после всего того! Он покраснел, вспомнив, как после злополучного происшествия в лаборатории по всей ДТС долго разгуливала сплетня, пущенная, очевидно, авиамоделистами: будто к Дежневу в энергетическую раз вечером пришла одна девчонка, устроила дикий скандал и наклепала ему по морде. А теперь — дружить она захотела, ах шалава...

Как ни странно, его отношение к Николаевой сильно изменилось после этого разговора. Казалось бы, никаких оснований к этому не было, потому что окружающих его людей он оценивал прежде всего по их уму, а уж как раз в этом она показала себя с самой неприглядной стороны, — шутка сказать, спутать электровоз с паровозом, это же нужно быть просто курицей — заявить такую вещь.

Нет, умом она определенно не блистала. Но было в ее манерах что-то настолько подкупающее, что Сережка, злясь на самого себя, стал находить все больше и больше удовольствия в разговорах с ней, всегда нетехнических и очень, в общем, бестолковых. О чем они болтали? Трудно даже сказать; болтала всегда она, рассказывая то прочитанную книгу, то приключившийся с ней случай — с ней вечно что-то случалось, — то фантазируя о будущем. Сережка больше молчал, посмеиваясь, и наблюдал за постоянной сменой выражений на ее потешной круглой рожке. Слушать ее было приятно, и еще приятнее было смотреть. Шалавой он про себя больше ее не называл.

А потом он увидел ее плачущей — на другой день после того, как было объявлено о вводе наших войск в Западную Украину и Белоруссию. В тот памятный понедельник Николаева, не постучав, вошла в класс после звонка, с припухшими красными глазами, — и даже свирепый математик, взглянув на нее, не сделал обычного замечания и молча уткнулся в журнал. С пол-урока она просидела за своей партией тихо и безучастно, — Сережка видел, как Земцева несколько раз принималась шептать ей что-то на ухо, поглаживая ее по руке, и математик снова сделал вид, что ничего не замечает, — а потом вдруг упала лицом в ладони и отчаянно разрыдалась на весь класс. Поднялся переполох, дежурный бегал за водой, девчонки требовали вызвать «скорую помощь». Впрочем, скоро ее успокоили.

Сережка смотрел на все это со своей «камчатки» и испытывал странное чувство. С одной стороны, он ясно видел во всем этом лишнее проявление обычной девчачьей

глупости, — мало ли что у нее дядька военный, никакой войны пока нет, и нечего заранее лить слезы, этак половина класса должна реветь в голос, — ведь в случае чего из каждой семьи кто-то уйдет на фронт. Так рассуждал его обычный трезвый мужской рассудок. А другая его часть — новая и мало еще знакомая, та самая, что в последнее время заставляла его тратить перемены на болтовню с не разбирающейся в технике девчонкой, — эта незнакомая еще часть Сережкиной души подсказывала ему, что сейчас нужно было бы не рассуждать, должна ли Николаева плакать или не должна, а просто подойти и утешить ее, чтобы она не плакала. Подойти, провести ладонью по пушистым каштановым волосам и сказать что-нибудь такое, от чего у нее сразу высохли бы слезы...

Разумеется, он не подошел и не положил руку ей на голову. Поймав себя на этом желании, он покраснел. Докатился, нечего сказать! Вот так и связывайся с девчонками — пропадешь, обабишься в два счета, и охнуть не успеешь.. .

6

Итак, новый учебный год начался для нее приобретением новых друзей. Прежде всего — Дежнев, приобретение самое ценное и самое интересное. Впрочем, о ценности его Таня пока не думала. Она думала лишь, что Дежнев очень симпатичный, что с ним почему-то весело — хотя сам он больше молчит, вот чудак! — и что с ним как-то особенно хорошо себя чувствуешь. Обо всем этом она думала довольно часто, чаще всего по вечерам, засыпая; может быть, даже чуточку чаще, чем следовало бы.

И еще один новый друг появился у Тани в девятом классе — Ира Лисиченко, или, как она ее называла, Аришка. Они были одноклассницы и в прошлом году, но как-то не интересовались друг другом. Таня знала только, что у Лисиченко чудесный голос, и немножко завидовала ей по этому поводу, а Ира знала, что у Николаевой какой-то знаменитый родственник и «посредственно» по поведению, но не завидовала ни тому, ни другому.

В начале этого года Лисиченко, услышав, что Таня купила по случаю юбилейное издание Пушкина, попросила одолжить ей на несколько дней том с черновиками и вариантами и сама зашла за книгой. Потом она пригласила Таню к себе. Тане у Лисиченко так понравилось, что она стала забегать к Аришке почти каждую неделю, иногда вместе с Людмилой. Скоро у них вошло в привычку гото-

вить домашние задания втроем, а дальнейшему сближению способствовали и некоторые особые обстоятельства.

Две недели спустя после Таниного дня рождения у нее случилось еще одно важное событие — переезд на новую квартиру. О новой квартире майор хлопотал уже давно; его все больше стесняла необходимость жить в одной комнате с племянницей, которая довольно быстро превращалась из ребенка в подростка и грозилась вообще превратиться во взрослую девушку. Он написал заявление с просьбой обменять его комнату на две «хотя бы меньших по суммарной площади» и стал регулярно, раз в месяц, наведываться в приемную начальника гарнизонной КЭЧ. То ли у него не хватало сноровки в этих делах, то ли действительно так трудно было удовлетворить его просьбу, но только ему всякий раз рассеянно-сочувствующим тоном говорили, что не он один в таком положении, и предлагали продолжать наведываться. Так и тянулось это дело почти год. А в последних числах сентября (трудно сказать, что тут помогло — счастливый случай или высокая награда) к Тане явился сияющий комендант и предложил немедленно перебраться этажом ниже, где только что освободилась двухкомнатная квартира одного многосемейного командира, переведенного в другой округ.

Отдельная квартира из двух комнат — это была действительно удача. К тому же она оказалась по соседству — на одной площадке, дверь в дверь с квартирой матери-командирши. Комнаты были хорошие, светлые, но отчаянно неуютные из-за разношерстной казенной мебели; Таня, которая привыкала к насиженному месту как кошка, чувствовала себя просто ужасно. Единственное, что ее радовало в новой квартире, была люстра — великолепная хрустальная люстра, которую прежние жильцы не взяли с собой, так как она тоже была казенной. Если сильно прищуриться и поводить головой из стороны в сторону, вокруг хрустальных подвесок начинали играть снопы разноцветных лучей. Но ведь не станешь целый вечер щуриться на люстру и вертеть головой! А все остальное вокруг было слишком непривычным и неуютным, включая и новую домработницу, которую Таня, откровенно говоря, просто боялась. Пожилая и, по-видимому, в чем-то обиженная жизнью особа, эта Марья Гавриловна с первого же дня повела себя так, как если бы Таня была ее личным врагом, виновником всех ее бед. Правильнее всего было бы ее уволить, но Таня не знала, как это делается; к тому же Люся, человек куда более опытный и рассудительный, говорила, что это вообще далеко не так просто.

Оставался единственный выход: не бывать дома в те часы, когда там хозяйничает Марья Гавриловна. Таня так и делала. Вернувшись из школы, она спешно и боязливо съедала свой обед (с тех пор как ушла Раечка, она вообще забыла, что значит вкусно поесть у себя дома) и убегала, сказав, что идет к подруге делать уроки.

До сих пор самым надежным убежищем от всех неприятностей была квартира Земцевых, но сейчас, как нарочно, и там все пошло вверх дном. К Галине Николаевне приехала погостить дальняя родственница из Ленинграда с тремя детьми противного дошкольного возраста, которые в первый же день уничтожили Людмилин гербарий и залили чернилами ее письменный столик. Не то что готовить уроки — просто посидеть и поболтать стало невозможно в чинной «профессорской» квартире, где теперь каждую минуту что-то рушилось и разбивалось.

Гонимые обстоятельствами, подруги начали все чаще появляться у Ариши Лисиченко. Принимали их всегда как своих. Они втроем готовили уроки, а потом просто болтали — о школьных делах, о фильмах, о прочитанных книгах.

Что особенно привлекало Таню в этом доме, так это та атмосфера семейственности, которой она сама была совершенно лишена и которая отсутствовала и у Земцевых. Это чувствовалось сразу, как только она попадала к Лисиченкам. У них было как-то особенно, по-домашнему уютно. Жили они тесно, в одной комнате, и у Аришки не было даже своего места для занятий; книги она держала на высокой бамбуковой этажерочке, затиснутой в угол за кроватью, а уроки готовила за обеденным столом, вместе с братом-третьеклассником. Была у нее еще и сестричка, чудесная толстая девчонка пяти с половиной лет, с которой Таня очень любила возиться. И все они ухитрились жить в двадцатиметровой комнате на редкость мирно и не мешая друг другу.

Аришкина мама все время возилась тут же по хозяйству, но делала это совершенно бесшумно и тоже уютно, а когда по вечерам возвращался с работы Петр Гордейч (он работал на оптическом заводе, кем-то вроде мастера — Таня в этом не особенно разбиралась), то в комнате становилось еще веселее. Впрочем, Таня и Людмила после его прихода обычно исчезали. После восьми им можно было безбоязненно возвращаться по домам, так как Марья Гавриловна к этому времени уходила, а юные ленинградцы укладывались спать.

Тане становилось до слез грустно, когда, вернувшись от Аришки, она входила в свою необжитую квартиру и видела эту гнусную канцелярскую мебель, на которой, казалось, не хватало лишь жестяных инвентарных номерков. Дело было, конечно, не в качестве мебели; Аришкина была ничуть не лучше, но там даже старая клеенка со стертыми от частого мытья узорами, даже треснувшая гнутая спинка венского стула, аккуратно обмотанная шпагатом,— там все это было обжитым, семейным...

Впрочем, Таня была слишком жизнерадостным существом, чтобы долго задерживаться на этих переживаниях. У Лисиченок, например, не было такой отличной хрустальной люстры. Она забиралась с ногами в уголок дивана и, морща нос, щурилась на люстру до тех пор, пока не начинали болеть глаза. Или просто сидела и думала о чем-нибудь приятном. Например — о Дежневеве.

В этот вечер они засиделись с уроками дольше обычного. В половине восьмого пришел Петр Гордеич, поздоровался в своей обычно добродушно-хитроватой манере и отправился в сенцы — фыркать и стучать рукомыльником.

— Люська, хватит тебе над нами издеваться,— решительно заявила Таня, принимаясь заталкивать в портфель книги.— Ты дождешься, что Полина Сергеевна не станет пускать нас на порог.

— Что ты, Танечка,— отозвалась Аришкина мама,— занимайтесь спокойно, кто вас гонит.

— А мы уже кончили, мамуля. Сейчас уберу это и накрою на стол. Девочки, оставайтесь обедать, а?

— Ой, нет, Ира,— сказала Людмила,— нам уже пора. Меня еще просили пораньше сегодня прийти, спроси вот у Татьяны...

— Правда, ее просили,— без энтузиазма подтвердила Таня.— Но я думаю, Люсенька, минут пять мы еще можем посидеть...

— Господи, вечно у вас какие-то дела,— сказала Аришка, убирая со стола тетради.— Все равно, Люда, ты уже опоздала — ну чего убегаешь?

В комнату вернулся Петр Гордеич, в расстегнутой рубашке и с мокрыми от умыванья волосами. Услышав последние слова дочери, он хитро посмотрел на вставших из-за стола подруг.

— То, дочкá, ясное дело — чего они убегают,— сказал он сокрушенным тоном.— Оттого убегают, что у батьки твоего голова сивая. Полюша, а Полюша,— обернулся он

к жене.— А расскажи ты им, чи бегали от меня девчата годков тому пятнадцать, га?

— Ладно тебе, расхвастался! — шутиливо прикрикнула на него Полина Сергеевна.— Проси вон лучше, чтобы обедать оставались. Людочка, Таня, куда вам торопиться и в самом деле? Пообедали бы с нами хоть раз, я борщ какой сегодня сварила...

Таня нерешительно вздохнула, подумав о еде, ожидающей ее дома. Наверное, опять эти ужасные котлеты из рыбы. А разогревать их придется на примусе, и уж конечно примус окажется пустым и нужно будет самой наполнить его из тяжелющего ржавого бидона. Конечно, если бы не Люся...

— Серьезно, Полина Сергеевна,— убеждающе начала та,— мы бы с большим удовольствием у вас пообедали и благодарим за приглашение, но сегодня как раз...

— Вот сегодня как раз вы и останетесь,— перебил ее Петр Гордеич, грозя пальцем,— бо когда старшие просят за стол, то молодым отнекиваться не положено.— Он устранив подмигнул и забрал оба портфеля.— А теперь, дочка, подай им чистый ружничок, нехай руки помойут и за стол...

Положительно эта семья обладала способностью помещаться на любом пространстве. Маленькая Галка уместилась на отцовских коленях, а все остальные отлично расселись за столом, где, казалось, и четверым будет тесно.

Напротив Тани сидел единственный из Лисиченок, не вызывающий в ней симпатии,— одиннадцатилетний Анатолий. Впрочем, даже соседство мальчишки не могло отравить ей удовольствие от домашнего борща. Она съела целую большую тарелку, с восхитительной горбушкой свежего ржаного хлеба.

За столом было тихо. Разговор начался позже, когда Полина Сергеевна подала чай — с леденцами, за неимением сахара. Петр Гордеич поинтересовался, отчего это девчата запоздали сегодня с уроками; узнав, что они полдня проспорили о выборе профессии, он сказал, что это штука важная, и попросил Таню высказаться на этот счет. Трудно сказать, почему его заинтересовало именно ее мнение.

Может быть, спор и не разгорелся бы снова, обратись он, скажем, к своей дочери; но он спросил Таню. Людмила при этом усмехнулась. Заметив усмешку, Таня тотчас же закусила удила. Это очень трудно выбрать, заявила она, потому что есть столько интересных профессий — и киноактрисой можно стать, и капитаном дальнего плава-

ния, и полярником, и — ну, словом, кем хотите. Но только она твердо знает одно: что бы она ни выбрала, а уж во всяком случае не станет сидеть дома и воспитывать детей, как это считает правильным Люся. Потому что женщина, воспитывающая детей, — это самая настоящая мещанка...

Тут ей пришлось прервать поток своего красноречия, потому что Людмила лягнула ее под столом, и очень больно, по щиколотке. Смысл этого пинка Таня поняла секундой позже, когда Петр Гордеич сокрушенно покачал головой и, обратившись к жене, выразил сожаление, что им в свое время не пришлось слышать таких умных речей — тогда бы они сдали детей в детдом и Полина Сергеевна не прожила бы жизнь мещанкой. Все засмеялись — кроме Тани, которая покраснела как кумач. Как же тогда, спросил ее Петр Гордеич, нужно назвать воспитательниц в детских садах и в школах? Таня заявила, что это совсем другое дело — воспитывать детский коллектив; это уже общественно полезная деятельность.

— Ох, Танечка, — засмеялась Полина Сергеевна, — какая своего не воспитает, где уж той с коллективом справиться!

Таня долго еще горячилась и изворачивалась, пока Петр Гордеич не добил ее несколькими поставленными в лоб вопросами: согласна ли она с тем, что семья является первичной ячейкой общества? сможет ли существовать общество, если не будет семьи, и существовать семья, если мать не будет воспитывать своего ребенка?..

Шел дождь, когда они ушли наконец от Лисиченок. Как обычно после спора, Таня очень жалела теперь о многом из сказанного.

— А сегодня было очень интересно, — вкрадчиво заявила она, отшагав в молчании с полквартила. — Правда, Люся?

— Очень. Еще бы! Особенно интересно было Полине Сергеевне услышать, как ты назвала ее мещанкой. Татьяна, ты собираешься умнеть, в конце-то концов?

— Господи, конечно собираюсь! Что я, виновата, если у меня не получается?

— Нет, в этом виновата я, — язвительно сказала Людмила. — Или кошка из раздевалки. Уж она-то определено.

— Никакая не кошка! А условия! Что я, виновата, если у меня никого нет? Будь у меня такая семья, как у Аришки, наверно, я не говорила бы никаких глупостей! А то один Дядясаша, и тот... и тот куда-то... — Голос ее за-

дрожал, и она вдруг отчаянно расплакалась, прислонившись к забору.

— Вот несчастье,— вздохнула Люся,— что мне с тобой делать, просто не знаю. Ну, хватит. Слышишь, успокойся и идем. Смешно плакать на улице, кто-нибудь будет проходить мимо...

— Пожалуйста,— сквозь слезы отозвалась Таня,— можешь идти... если тебе смешно... я уже давно вижу... что никому не нужна!

— Ты просто ненормальная,— спокойно сказала Людмила, отобрав у нее портфель.— Вот, а теперь реви и утирай слезы обоями кулаками, как мой ленинградский племянничек. Тебя просто нужно под холодный душ или вздуть хорошенько. С истеричками так и делают. Почему ты сегодня врала, будто собираешься поступать в комсомол?

Таня уставилась на нее, судорожно всхлипывая:

— Ты... ты прекрасно знаешь, что я собираюсь!

— Кому ты там нужна, комсомол не для истеричек. А кто летом говорил, что хотел бы поехать в Германию на подпольную работу?

— Ну так что ж...

— А то, что ты вдобавок ко всему еще и притвора! Изображаешь из себя какую-то героиню, а потом закатываешь истерики из-за плохого настроения...

Шел дождь. Таня в темноте всхлипывала все реже и реже. Люся терпеливо стояла рядом.

— Ну, ты уже успокоилась?

— Немножко...

— Тогда бери свой портфель и идем. Он мне уже руку оттянул, можно подумать, что у тебя тут кирпичи...

Таня утерла слезы, послушно взяла книги и поплелась за Люсей.

— Идем скорее, уже поздно,— сказала та.— Хочешь, я буду у тебя сегодня ночевать?

— Угу...

— Господи, каким жалким голосом это говорится. Ноги не промочила?

— Нет, Люсенька...

— Только не ступай в лужи, а то промочишь. Сейчас сядем в трамвай. Ты только напомни мне, как только приедем — нужно позвонить домой.

— Хорошо, Люсенька... а твоя мама не будет сердиться?

— Мама? Не все ли ей равно, где я ночую. Я позвоню тете Наташе, чтобы не ждала меня ужинать...

Сегодня все не ладилось с самого утра. Будильник опять не зазвонил, и он опоздал на десять минут — едва пустили в класс. А на последнем уроке обнаружилось, что второпях забыл дома папку с чертежами, а срок сдачи — как назло — именно сегодня. И вредная же личность этот чертежник: говоришь человеку, как было дело, а он не верит!

Вернулся домой — опять сплошные неприятности. Мать ушла в очередь за керосином, обеда нет, в комнате не убрано. Странное дело с этой матерью — когда дома, то вроде ее и не замечаешь, а уйдет на полдня, и сразу все в доме вверх ногами...

— Что ж ты, Зинка, — проворчал он, вешая кепку на гвоздь возле двери, — расселась тут, как барыня, со своими тетрадками, а со стола не убрано, пол не подметен...

— Да-а, а если у меня уроки!

— Уроков тех... буковки всё рисуешь.

— Ты небось тоже рисовал, когда был во втором классе! — резонно заметила сестренка.

С ней тоже лучше не связываться — не переспоришь. Помолчав, Сережка отошел к стоявшему в углу рукомошнику и с сердцем поддал кверху медный стерженек. Пусто, чтоб те провалиться. И главное, руки уже намылил!

— Сережка, воды нет, — заявила Зина, не поднимая носа от тетрадки. — Я все в чайник вылила.

Пришлось брать ведра, коромысло, идти за водой — к колонке за полтора квартала. Вернувшись, Сережка принялся хозяйничать. Перемыл картошку, поставил ее вариться в мундире, грязную посуду со стола составил на кухонный шкафчик, замел пол, подтянул гирьку ходиков. Хорошо еще, что комната маленькая — тут тебе и столовая, и кухня, и спальня материна с Зинкой. А если б три таких убирать, ну их к лешему...

Потом он вспомнил, что мать утром просила наколоть щепок для растопки. Эта работа была приятной. Он пошел в сарайчик, выкатил к порогу изрубленный тяжелый чурбан, накидал рядом поленьев попрямее. В сарайчике приятно пахло пылью, углем, сухими дровами и — сильно и терпко — опавшими листьями каштана, которых ветром намело целый ворох под дверь, через кошачий лаз. Топор был хорошо наточен, сухие поленья раскалывались с одного удара, со щелкающим звоном, взблескивая на солнце белизной древесины.

Сложив наколотые щепки в ящик, Сережка всадил то-

пор в плаху и задумался, сидя на порожке и вороша рукой сухие листья. Уже несколько дней ему никак не удавалось поговорить с Николаевой, — она все переменки проводила либо с Земцовой, либо со своей новой приятельницей, беленькой Ирккой Лисиченко, и он не решался подойти. Подойдешь, а те потом станут смеяться...

То ли поэтому, то ли по какой другой причине, но эти последние дни у него было какое-то странное состояние. Все вокруг казалось не таким, каким должно быть; не то чтобы это раздражало, скорее от этого становилось как-то грустно — как будто чего-то хочется и в то же время не хочется ничего. Просто сидеть вот так, с закрытыми глазами, чувствовать терпкий и нежный запах осени и слабое — совсем уже не греющее — октябрьское солнце; и в то же время моментами его охватывало вдруг необыкновенно острое предчувствие чего-то огромного, невиданно яркого и счастливого, что должно случиться не сегодня завтра. Это было всегда как вспышка — ослепительная и короткая. Потом снова наступало странное выжидающее оцепенение.

Насколько все это было связано с Николаевой, он не знал.

Если бы ему сказали сейчас, что он все время думает о своей рыженькой однокласснице, он изумился бы совершенно искренне. Действительно, это было не совсем так: не то чтобы он о ней думал, он просто все время находился в ее присутствии. И когда он сидел в классе, а Николаева изнывала у доски, вся красная и растрепанная, с отчаянием в глазах и измазанная мелом до самого носа; и когда брел из школы — с папироской в зубах, размахивая портфелем и распхвывая ногами вороха листьев; и когда сидел у себя в комнатке над какой-нибудь популярной книгой по электротехнике. Он мог думать о чем угодно и делать что угодно — Николаева все равно оставалась тут же, рядом. Это было удивительно.

Вот и сейчас он ясно ощущал ее присутствие. Настолько ясно, что, наверно, не поразился бы, если бы она появилась тут и уселась рядышком на пороге... а как было бы здорово, случись это и в самом деле! Представить себе только — побыть с ней хотя бы несколько минут вот так, совсем вдвоем. На переменках что ж — это совсем не то... Кругом шум, крик, поговорить по-настоящему и то не успеешь. Интересно, что чувствуешь, когда остаешься с девушкой совсем вдвоем?

А на следующий день — он и сам не понял, как это получилось, — они договорились идти вместе в кино. Не то чтобы он ее пригласил, на это он, пожалуй бы, не отважился, а просто так вышло; на большой переменке заговорили что-то о фильмах, и Николаева сказала, что страшно любит ходить в кино, но что Люся ходит только на хорошие, а одной ходить неинтересно; потом оказалось, что в «Серпе и молоте» идет «Если завтра война» — старый фильм, который они оба видели уже по три раза и были не прочь увидеть еще. Короче говоря, как бы там ни было, а Сережка назначил первое в своей жизни свидание: в половине восьмого на площади Урицкого, возле магазина «Динамо».

Ровно в назначенный час он подходил к площади, замирая от мысли, что Николаева может не прийти — погода к вечеру испортилась, моросил дождик. Но тревога оказалась напрасной. Еще издали он увидел у освещенной витрины знакомое пальтишко с поясом и сдвинутый набекрень белый беретик. Николаева, видно, и сама беспокоилась: вставала на цыпочки, с озабоченным видом вытягивала шею, обводя взглядом толпу. Увидев его, она просияла и замахала рукой.

Когда они вошли в фойе, кругленький человечек в смокинге пел на эстраде, бодро притопывая лакированной туфлей:

...На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки,
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки...

Сережке стало смешно. Сев рядом с Николаевой, он нагнулся к ее уху.

— Скажи — ему только клинка и не хватает, а? — шепнул он. — Лихой был бы рубака, почище Котовского...

Николаева громко прыснула, словно весь день с нетерпением ждала случая посмеяться. Им тут же сделали замечание.

Потом саксофоны затянули что-то очень вкрадчивое — Николаева рядом вздохнула и завозилась в своем кресле. Человечек пел теперь о любви, о золотой тайге, о том, что «коль жить да любить — все печали растают, как тают весной снега». Как просто, насмешливо подумал Сережка, выходит — полюби только, и дело с концом, сразу тебе никаких печалей!

Впрочем, скоро красивая и немного грустная мелодия

примирила его с глупыми словами. Музыку он очень любил. А последний куплет понравился Сережке и своим содержанием. Певец исполнил его с особым чувством!

Так пусть же тебя обойдет стороною,
Минует любая гроза —
За то, что нигде не дадут мне покою
Твои голубые глаза...

На этот раз хлопали долго и от души. Николаева отбила себе ладошки, хлопал и он сам. Странно, как иногда чьи-то чужие стихи могут так точно выразить твои собственные мысли!

В последнее время ему все чаще приходило в голову, как, в сущности, хорошо, что у Николаевой такой знаменитый дядька, что ей никогда не придется жить в тесной комнатухе, бегать за водой и по очередям... Ему было приятно, что она так хорошо одета, что пальто ее сшито из дорогого материала, что она не рискует промочить ноги в своих новых закрытых туфельках добротной светлоричичевой кожи, на толстой «американской» подошве. Если у него самого нету галош, а старые футбольные ботсы — единственная его пара обуви — доживают последние месяцы, то на это все можно запросто наплевать. Он-то не растает, не сахарный. А вот она... как это цел тот тип — «так пусть же тебя обойдет стороною...».

Сережке вспомнилась вдруг призма, которую Архимед приносил в класс для занятий по спектральному разложению света, — сверкающий, отшлифованный с непостижимой точностью кристалл оптического стекла; Архимед дышать на нее не позволял — не то что хватать руками — и успокаивался только тогда, когда призма укладывалась в бархатное гнездо своего футляра. Факт, нельзя же обращаться с такой вещью как со слесарным молотком...

Он покосился на Николаеву — та, приоткрыв губы, слушала певца, который обращался теперь к какой-то «лучшей из женщин», называя ее своей звездой. Призма, именно призма — такая же чистая и ясная, без единого мутного пятнышка... Он заметил вдруг, какие у нее ресницы — длинные и загнутые вверх. Совсем как на том рисунке, которым она тогда так бесцеремонно украсила его лист с расчетами статорной обмотки двигателя. Нужно будет обязательно разыскать этот лист, обязательно. Он должен быть в папке со всеми чертежами и расчетами электрова. А вдруг он его выбросил — или порвал сдуру? Он ведь тогда зверски на нее разозлился. И чего, спрашивается? Что такого она сделала? Ну, просто проявила некоторую

техническую неграмотность... а он, вместо того чтобы похорошему разъяснить ее ошибку, разорался как псих, выгнал, грозил побить... Это ее-то, ее! Ох и гад. Но неужели не сохранился тот лист? Нестерпимое волнение охватило Сережку при мысли, что драгоценный рисунок мог пропасть...

Душевное равновесие он обрел только в зрительном зале, увлеченный знакомыми, но волнующими кадрами. Была захвачена ими и Николаева: когда на экране гибли в неравном бою пограничники, она поскрипывала креслом и сморкалась тихо, но с отчаянием. Слева от Сережки все время белел в темноте ее платочек.

Потом она успокоилась и затихла — все было хорошо: страна, оправившись от предательского нападения, вставала для сокрушающего ответного удара, население проявляло стопроцентный энтузиазм, мчались к границе эшелоны, с подземных аэродромов стартовали воздушные армады. Понятно, на войне не без жертв — один тяжелый бомбардировщик был подбит вражеской зениткой и загорелся. Кабина запрокинулась, заволочлась дымом; командир корабля, не вставая из-за штурвала, мужественным голосом диктовал радисту последнее сообщение на землю; Николаева громко вскрикнула, и горячие влажные пальчики судорожно уцепились в темноте за Сережкину руку, — он замер и перестал видеть экран. Впрочем, теперь уже ничто не могло спасти агрессора. Тяжело зарываясь в волны, шли к вражеским берегам ошестинившиеся орудиями тысячетонные утюги линкоров; уставя штыки, бежала пехота; танковые лавы стремительно разливались по земле врага; с экрана гремела и ширилась торжествующая мелодия известной всему Союзу песни. Николаева счастливо вздыхала, и глаза ее в полумраке влажно поблескивали отсветами ослепительной победы.

— Хорошо, правда? — спросила она, останавливаясь в подъезде кинотеатра. — Погоди-ка, я застегнусь. Брр, как холодно!

Таня обмотала вокруг горла белый пуховый шарфик и, потуже затянув пояс, зябко сунула руки в карманы пальто.

— А дождь кончился, смотри, я и не заметила... страшно рада, что им надавали по шее, — задумчиво говорила она, шагая в ногу с Сережкой (он немного укорачивал шаги) и щурясь на огни, отраженные в мокром асфальте. — Послушай, Дежнев, а кто это были все-таки? Ты заметил,

какие у них знаки на касках? — совсем как фашистский знак, только с тремя хвостиками...

— Ну, немцев изображали, факт, только нельзя же так открыто. Если прямо показать, как колотят немцев, — это же будет дипломатический инцидент. Да и потом, сейчас такой фильм просто бы запретили, как «Александра Невского»...

— А разве «Александр Невский» запрещен?

— Ну, там запрещен или нет, а только его не показывают. Ни одной антифашистской картины не показывают — ни «Семью Оппенгейм», ни «Болотных солдат», ни эту, как ее — про врача... а, «Профессор Мамлок»...

Некоторое время шли молча, потом Таня сказала:

— «Семья Оппенгейм» — очень интересный фильм, правда? Там этот Бертольд — такой симпатичный... я так ревела!

— Ну еще бы, чтоб ты да не ревела...

— Нет, серьезно, его так жалко. У, эти фашисты! Ты читал «Неизвестный товарищ» — кажется, Вилли Бредела? Я читала. Ты знаешь, я прямо читать не могла... какие ужасы эти штурмовики выделывают с заключенными! Как это можно? Я просто не понимаю, как могут быть такие люди...

— Люди бывают разные, — коротко ответил Сережка: — Ты не очень торопишься?

— Нет, что ты! Давай походим, мне сейчас уже не холодно, а потом ты меня проводишь. А в другой раз я тебя провожу — мы с Люсей всегда так делаем, по очереди.

— Придумала, — усмехнулся Сережка. — Только тебе и не хватало ночью по нашим местам ходить... у нас там знаешь сколько шпаны!

— Ах, подумаешь, испугалась я твоей шпаны. Что они мне сделают? Ты вот спроси у Тольки Гнатиюка, как я его поколотила в прошлом году. Знаешь, он такой противный, все меня за косы дергал и дергал, я ему сколько раз говорила — ну Толька, ну оставь, а он ничего, как мимо проходит, так непременно дернет. Так мне надоело, и он один раз дернул, а я ка-ак дам ему в ухо — он только глазами захолопал, такой дурак! Правда.

Сережка громко расхохотался:

— Так прямо и заехала в ухо?

— Честное слово, заехала! И знаешь — это было на большой перемене, в нижнем коридоре — прямо напротив двери в учительскую — и как раз в ту самую секундочку, когда я ему заехала, — открывается дверь, и оттуда, как назло, завуч, Нина Васильевна — она была в про-

шлом году наш класрук — и еще какой-то из горон! Ты представляешь? Вот мне влетело — уж-жас! Мне ведь из-за этого и сбавили четвертную по поведению...

Когда они проходили мимо подъезда обкома, Таня сказала:

— А вот тут я живу, вон напротив кирпичный дом, видишь? На третьем этаже четыре окна темные, это мои. Зайдем потом ко мне, хорошо? Хотя, знаешь, лучше пока не надо, лучше ты придешь потом, когда у меня все будет в порядке. Я сейчас устраиваюсь.

— Как так — устраиваешься?

— Ну понимаешь, нам дали другую квартиру — раньше мы жили на четвертом этаже, там была только одна комната — и я когда перебралась, мне так все противно стало, прямо не знаю. У нас ведь мебель казенная, какая-то такая безобразная, прямо ужас. В той квартире я как-то не замечала, правда, наверно, просто привыкла. А здесь прямо видеть этого не могла. Так я знаешь что придумала? Пошла к коменданту и сказала, не может ли он достать мне какую-то другую мебель — ну, может, купить где-нибудь, что ли, мебель, и потом что-нибудь, чтобы арку завесить. Там у нас две комнаты, а посредине двери нет, а такая арка — широко-окая! Так он мне сказал, что, может быть, сумеет достать из одного клуба часть занавеса. Со сцены, понимаешь. Там он немножко обгорел, и его списали, а остаток можно купить. Говорит, что как раз хватит на портьеру и еще на окна, сделать шторы. Красиво будет, правда? Темно-синий бархат.

— Красиво, факт. А сколько он за него хочет?

— Не знаю, — беззаботно ответила Таня. — Я даже не спросила, у меня ведь все равно нет денег. Дядяша высылает матери-командирше, та дает домработнице, ну и мне иногда — на всякие мелочи. А у меня у самой ничего нет.

— Так как же ты хочешь покупать мебель и этот занавес, елки-палки!

— А он сказал, что это ничего. Сказал, что он мне все достанет, а когда Дядяша приедет, он сам с ним это уладит.

— Он уладит, — зловеще сказал Сережка, — еще бы. Так уладит, что дядька твой за волосы ухватится! Послушай друга, Николаева, брось ты это, пока не поздно, — я этих управдомов знаю, они подметки на ходу рвут...

Таня растерянно захлопала глазами.

— Так это же не управдом, Дежнев, — робко сказала она. — Это комендант, от гарнизонной хозяйки...

— Все они хороши! Смотри, Николаева, влипнешь ты с этим делом.

— Но послушай, не могу же я жить в такой обстановке!

Сережка замолчал.

— Да, это верно... а что он — достал уже тебе что-нибудь?

— Да, конечно. Он уже привез стол, такой овальный, и потом буфет — очень красивый, резной, и еще фонарь.

— Какой еще фонарь?

— Ну, мне в комнату. У нас в первой комнате люстра, очень красивая, а у меня просто лампочка на шнуре, и он где-то достал фонарь — такой готический, с голубыми стеклами, на цепочках. Знаешь, какой свет теперь приятный — как будто в лунную ночь!

— Ишь ты, елки-палки. Ну что ж, валяй, Николаева. Если дядька тебе за это дело бубны не выбьет, то конечно...

— Ну, что ты! — Таня весело рассмеялась. — Что ты, никогда в жизни! И потом, знаешь, я ему купила такой столик, для шахмат. Это тоже комендант достал. Такой на одной ножке, полированной карельской березы. Дядя-саша очень любит играть в шахматы. А ты любишь, Дежнев?

— Люблю.

— Я тоже, только с Дядесашей играть неинтересно, он мне всегда ставит мат в четыре хода. Сыграем как-нибудь, правда?

— Ага, сыграем...

Они прошли по всему бульвару Кетовского, до памятника знаменитому комбригу. Таня спросила, нравится ли ему «Дума про Опанаса» и какое именно место; Сережка сказал, что больше всего нравится описание боя и перед этим — от слов «Где широкая дорога, вольный плес днепровский». Они поговорили о гражданской войне, Таня выразила сожаление, что время теперь очень неинтересное — никакого героизма, ничего; потом она сказала, что очень хотела бы поехать в Германию на подпольную работу — когда подрастет, конечно, — но что ей очень страшно попасть в гестапо.

Сережка сказал, что теперь-то он понимает, почему это немцы так запаздывают с революцией: оказывается, там не хватает именно ее — иначе дело было бы уже в шляпе. Таня обиделась и объявила, что он может смеяться сколько влезет, а про нее, Николаеву, еще услышат. Сережка страшно растерялся. «Так ведь я это не всерь-

ез,— пробормотал он,— ну чего ты, в самом деле...» Мир был восстановлен.

Таня рассказала, что недавно они с Люсей спорили у Аришки Лисиченко о том, мещанство или не мещанство для женщины сидеть дома и воспитывать детей, и спросила его мнение на этот счет. Сережка сознался, что никогда не думал об этом и что вроде бы это и мещанство, но, с другой стороны, нужно же кому-то их воспитывать— иначе будет шпана, а не дети. «А тебя строго воспитывали?» — спросила Таня. Сережка сказал, что еще как. Когда был дома отец — потом он их бросил, уехал на Дальний Восток,— то ему доставалось ремнем чуть не каждый день, вообще-то за дело. Ну и потом от мамыши тоже, но уже не так — мамыша у него добрая.

«Ты вот к нам как-нибудь зайдешь, познакомишься, ладно?» — сказал он. Таня сказала, что придет с удовольствием и что ей тоже очень хочется, чтобы он скорее познакомился с Дядесашей.

Они брели по уже совершенно безлюдному бульвару и говорили, и говорили, и говорили. Стало еще холоднее, в разрывах туч — над голыми ветвями каштанов — едва угадывались мелкие осенние звезды, тусклые, словно съездившиеся от холода. Когда они дошли до здания обкома, светящийся циферблат над подъездом показывал без десяти час.

8

Осень была затяжной, слякотной. Целыми днями падал мелкий тоскливый дождь, все выпцвело, уже не верилось, что в природе существуют какие-нибудь другие краски, кроме грязно-ржавой и серой всех оттенков.

Обычно такая погода наводила на Сережку смертную тоску: он любил солнце, огненный летний зной, а если уж мороз, то градусов на двадцать пять, чтобы в носу крутило. Но памятная осень тридцать девятого года стала для него особенной, неповторимой и не похожей ни на что пережитое им до или после.

Невидимое солнце, которое он теперь носил в себе, озаряло и согревало для него пасмурные дни того на всю жизнь запомнившегося холодного ноября. Еще никогда не чувствовал он в себе такого огромного запаса бодрости, такой кипящей энергии — и такой ясности ума, такой сосредоточенной воли, чтобы направлять этот поток по нужному руслу. Все стало легким, понятным, достижимым — стоит лишь протянуть руку.

Учился он теперь, как тренированный гимнаст испол-

няет хорошо отработанные упражнения — легко и свободно, с особой щегольской четкостью. Ему доставляло удовольствие, выйдя к доске, быстро и ясно доказать сложную теорему, сделать аккуратный чертеж — чтобы, небрежно бросив мелок и обернувшись лицом к классу, на секунду перехватить взгляд золотистых глаз с третьей парты возле окна, увидеть в них откровенное восхищение.

По существу, уже не было ни одного дела, приступая к которому он не подумал бы — как отнесется к этому она. С радостью думал он о предстоящем открытии сезона на катке «Динамо», потому что заранее знал, что сумеет блеснуть перед нею и в этом, — он пользовался заслуженной славой хорошего конькобежца, и его длинные никелированные «пурмисы» (предмет зависти всего квартала) были призом одного выигранного состязания. Узнав, что ее любимыми предметами являются история и литература, он взялся за них так же, как в прошлом году за физику и математику; скоро и историк Халдей, и преподаватель литературы Сергей Митрофанович — единственный, пожалуй, оставшийся почему-то без прозвища, — стали приятно разочаровываться при каждом его вызове.

«Молодец, — сказал однажды Сергей Митрофанович, с особым удовольствием вписывая ему в дневник жирное «отл», — эх, Дежнев, Дежнев, если бы ты знал, как нам помогает в жизни литература, — ты бы не потерял того, что уже потеряно. А впрочем, если всерьез взяться за ум, то наверстать никогда не поздно...»

Вспоминая, он так и не мог установить — когда, в какой именно момент это началось. Может быть, даже там — в тот весенний вечер в лаборатории? Или когда их вторично познакомил Сашка Лихтенфельд? Или когда они в первый раз пошли вместе в кино? Хотя нет, он ведь и пригласил ее потому, что уже было это.

Но зато ему хорошо запомнился день, когда он почувствовал вдруг всю силу этого, когда он впервые понял — до чего может это довести человека. На ноябрьской демонстрации он познакомил ее с Валькой Стрелиным и его приятельницей, и они провели день вчетвером. Сначала он был очень доволен тем, что Лариса не выдерживает никакого сравнения с Николаевой, — недаром же Валькина подруга так здорово разбирается в электронике, — видно, девчатам это даром не проходит! — но потом стал замечать, что Николаева что-то слишком внимательно поглядывает на Вальку и слишком охотно смеется, закидывая голову, в ответ на каждую его шутку. Конечно,

Валька в тот день был в особенном ударе — красивый, широкоплечий, в модном джемпере с оленями на груди, он мог произвести впечатление на любую девушку; но Сережке-то вовсе не хотелось, чтобы этой девушкой оказалась Николаева!

Вечером, молчаливый более обычного, он проводил ее на Пушкинскую, где жила Земцева, коротко отказался от переданного приглашения и вернулся домой туча тучей. Николай ушел с матерью в заводской клуб; Сережка заперся в своей комнатке, достал из стола бритвенное зеркальце — бриться он начал уже полгода назад, по субботам, — посмотрелся в него с отвращением и бросился на койку не раздеваясь. Конечно, непонятно, чем он сам мог бы понравиться такой девушке, как Николаева. Плечи у него довольно узкие — только и радости, что рост длинный, — лицо малоприятное, худющее и черное, как у цыгана. А волосы совсем неопределенного цвета — то ли черные, то ли коричневые — и такие жесткие, что никаким чертом их не причешешь и не пригладишь...

На другой день он немного успокоился и решил даже, что все это ему просто показалось, — Николаева вообще веселая и любопытная, почему бы ей и не смотреть на нового знакомого и не смеяться! Лучше, что ли, как эта Лариса — за весь день ни разу не улыбнулась. Но когда девятого он пришел в школу и на большой перемене спросил у Николаевой, как ей понравился Валька Стрелиц, то сразу понял, что дело плохо. Таня и не думала ничего отрицать: очень понравился, еще бы, сказала она с жаром, он страшно симпатичный и такой умный, начитанный! Это уж было просто бесстыдство — заявить ему в лицо такую вещь.

Два дня он был буквально болен. Страшная вещь — ревновать девушку к своему лучшему другу! А на третий день к нему прибежал Валька с таким встрепанным видом, что можно было вообразить себе невесть что; оказалось, что Валькиного отца посылают директором школы в Западную Украину. И Вальке теперь неясно — как быть: то ли ехать с предком, то ли остаться и получить аттестат здесь. С одной стороны, интересно поехать, колоссальная ведь штука, но с другой — вроде и глупо прерывать занятия в последнем классе. Сережка сказал, что он лично поехал бы не задумываясь. Потерять месяц на переезд ничем не грозит, тем более что это может быть зачтено ему на новом месте, наверняка дадут какую-нибудь поблажку при экзаменах. А вообще такому почти отличнику, как Валька, пожалуй, никакой поблажки и не по-

требуется — сам все догонит. «Вот и я так думаю», — задумчиво сказал Валька.

Так и кончилось это дело. Через неделю Валька уехал, и, когда он сказал об этом Николаевой, та похлопала глазами, сказала, что это, должно быть, страшно интересно — побывать в освобожденных областях, и тут же принялась рассказывать о каких-то открытках с видами Львова, которые прислал одной капитанше ее муж. Потом она рассказала еще про какую-то командирскую жену, получившую оттуда же посылку — двенадцать пар туфель, — и горячо заявила, что это позор, что таких людей нужно лишать звания, это просто какое-то мародерство, что потом будут о нас думать те же поляки!

— Ну прислал бы одну пару, ну две, — сказала она возмущенно, — а то двенадцать! Прямо думать о таких противно. Так, значит, Стрелин уехал... а почему же ты ничего мне не сказал? Мы бы его проводили вместе!

— Конечно, — не выдержал Сережка, — тебе хотелось бы повидать его еще раз, факт! Еще бы, он ведь такой умный и начитанный!

Таня посмотрела на него изумленно, потом покраснела и прикусила губу.

— Ты с ума сошел, — быстро сказала она, — неужели ты мог подумать, что... как тебе не стыдно!

— Это тебе должно было быть стыдно, не мне!

— Значит, если мы с тобой дружим, то я ни на кого не могу смотреть, да?

— Можешь смотреть на кого хочешь, меня это не касается!

— Ну и пожалуйста, — сказала Таня дрогнувшим голосом и пошла прочь.

Полминуты Сережка выдерживал характер, потом махнул рукой, догнал Таню и принялся что-то бормотать. После уроков они опять ушли вместе.

Не мог он на нее сердиться! Всякая обида испарялась, как только он встречался с ней, видел ее большущие золотистые глаза и чувствовал в руке пожатие ее крепкой горячей ладонки. Ладонки, которую ему всегда так хотелось подольше задержать в своей...

В кино они бывали теперь регулярно, каждую неделю. Почти ежедневно — кроме тех случаев, когда она отпрашивалась куда-нибудь с Земцовой или Лисиченко, — он провожал ее домой, хотя нужды в том не было: их класс «А» занимался в первую смену. Всякий раз она уговаривала

его зайти победать — ну пожалуйста, ну что ему стоит, а ей одной неинтересно,— но соглашался он неохотно, по многим причинам.

Прежде всего он не особенно ловко чувствовал себя в такой обстановке, какая была теперь у Николаевых. Он часто спрашивал себя — не хватит ли удар беднягу майора, когда тот приедет домой и встретится с комендантом. В одном комендант оказался честным человеком: он действительно достал очень неплохую мебель, притащил знаменитый списанный из клуба занавес и даже прислал женщину, которая шила из него портьеру и шторы на окна. Вопрос только — сколько он потом за все это потребует!

Паркет у Николаевых был всегда натерт до блеска, на обеденном столе лежала белоснежная скатерть. Скатерть эта буквально лишала Сергея аппетита. На него удручающе действовал вид белой поверхности стола, слишком большого для двоих, где каждая пролитая капля супа должна оставить след. А когда режешь мясо, то просто страшно себе представить: вот сейчас вылетит из-под ножа и, как есть, в коричневом жирном соусе — хлоп на скатерть!

Чувствуя необходимость все время быть начеку, Сережка тосковал, и кусок становился у него поперек горла. Он с завистью поглядывал на сидевшую напротив приятельницу, недоумевая — как она может держаться за столом так свободно, болтать и жестикулировать и крошить хлеб на эту проклятую скатерть.

Была и еще одна причина того, что он обычно отказывался от приглашений к обеду. Марью Гавриловну он невзлюбил с первого взгляда и в мыслях называл ее драконом и старой ведьмой. Возможно, это чувство было взаимным; во всяком случае, каждое его посещение домработница воспринимала как личную обиду. Наверное, ни один тюремный надзиратель не совал заключенному его миску баланды с таким пренебрежительным видом, с каким Марья Гавриловна подавала тарелки Тане и Сережке. Совершая свои путешествия из столовой в кухню, она всякий раз так хлопала дверью, что Таня испуганно взмаргивала, а над столом начинали нежно звенеть хрустальные сосульки. Обедать в такой обстановке было не особенно приятно.

Вдобавок ко всему дракон еще поразительно плохо готовил. Сережка только молчаливо изумлялся: дома все вкусно, что бы мать ни приготовила, хотя бы простую картошку,— а здесь всегда обед из трех блюд, а суп какой-

то пресный, мясо всегда пережарено или пересолено, а компот или кисель — хуже, чем в последней нарпитовской столовке. «Вот зараза, продукты только переводит», — сокрушенно думал Сережка, глядя, как Николаева безуспешно расковыривает вилкой какую-нибудь обугленную котлету. Ему было очень жаль ее, вынужденную так скверно питаться, хотя и на белой скатерти и под хрустальной люстрой.

Однажды он засиделся у Николаевой до вечера, помогая ей разобраться в логарифмической премудрости. Около шести Марья Гавриловна бесцеремонно вошла в Танину комнату, где они занимались, и стала неторопливо повязывать перед зеркалом головной платок.

— Завтра я не приду, — бросила она, покончив с туалетом и направляясь к выходу, — дела есть.

— Хорошо, Марья Гавриловна, — кротко ответила Таня.

Когда домработница удалилась, по обыкновению громыхнув дверью в столовой, она беспомощно посмотрела на Сережку.

— Вот видишь, какая она! Значит, завтра мне опять нечего есть. Ведь у нее и так есть выходные, и все равно почти каждую неделю вот так — возьмет и не придет один день. И хоть бы тогда готовила мне накануне... так нет, нарочно ничего не оставит. Даже хлеба не купит...

— А так тебе и надо! — взорвался Сережка. — Так тебе и надо, поняла? И мало тебе еще, подожди вот — пускай она еще с месяц поживет, так ты еще работать на нее станешь!

Вскочив с места, он прошелся по комнате, держа руки в карманах.

— Нашла себе домработницу, нечего сказать! — добавил он, фыркнув от ярости.

— Так что я, по-твоему, должна делать? — жалобно закричала Таня. — Ну что, что?

— Что? Да очень просто — выгнать ее завтра же к чертовой матери, вот что!!

— Да, выгнать! Попробуй ты ее выгнать! Как я это сделаю?

— Ну и сиди со своим драконом на шее! А то ты без домработницы прожить не могла, верно? Глядеть на тебя совестно — сама за собой убрать не можешь!

Таня покосилась на него и вздохнула.

— Я могу за собой убрать, — сказала она тихо, виноватым тоном, — я и постель даже свою сама стелю, по го-

товить я не умею... а кто будет кормить Дядюсашу, когда он придет?

— А ты думаешь, она будет кормить, да? Так он же ее, сатану, на второй день пристрелит — пусть только она ему подаст такой обед, как тебе сегодня!

Таня опять тихонько вздохнула — на этот раз это было явно вздох сожаления о несбыточной мечте.

— Ну ладно, мне пора, — сказал Сережка и кивнул на раскрытый учебник тригонометрии. — Разобралась теперь?

— Д-да, кажется, теперь да...

Он молча собрал книги.

— Тебе что, завтра и в самом деле есть нечего?

— Наверное, нечего! — Таня засмеялась. — Не знаю, до сих пор она никогда мне ничего не оставляла, назло.

— Тогда пойдешь обедать к нам, — решительно сказал он. — Прямо из школы.

— Да нет, зачем же, Дежнев? Спасибо большое, но только я ведь могу пообедать с Люсей в институте — там хорошая столовая, я уже несколько раз там ела...

— Еще чего, по столовкам ходить... в столовке сроду так не поешь, как дома. Ты вот увидишь, как мамаша готовит, — с гордостью сказал он, — это тебе не твой дракон. Я сегодня скажу, что ты будешь.

— Ну хорошо, — сдалась Таня. У нее никогда не хватало силы воли сопротивляться, когда с ней начинали говорить таким решительным тоном.

Узнав, что придет обедать Сереженькина одноклассница — девушка из какой-то знатной семьи, — Настасья Ильинична решила не пожалеть трудов и уменья. Обед и в самом деле удался на славу; хорошо, что Коля накануне принес получку и можно было не ударить перед гостьей лицом в грязь.

А вот гостья опаздывала, хотя Сергей сказал, что придут прямо из школы, никуда не заходя. Было уже почти три часа, обед переставался, а молодежь все не шла.

Явиться они изволили только в половине четвертого — сын и вместе с ним девушка. Высокая, глазастенькая, в белом пушистом беретике и сером пальто из дорогого драпа.

— Ну вот, мама, — сказал Сергей немного смущенно, — вы тут знакомьтесь... это вот Николаева, Татьяна... Настасья Ильинична вытерла руку фартуком.

— Милости просим, — сказала она с достоинством, по-

давая ладонь дощечкой.— Раздевайтесь, Танечка, обедать будем. Я уж думала, и вовсе не придете.

— Ой, вы, пожалуйста, извините! — затараторила гостья, расстегивая пальто.— Мы собирались раньше, но зашли в зверинец — это я затащила, там новые обезьяны,— ой, что они выделывают, это просто...

Рассовав по карманам перчатки, берет и шарфик, она стащила пальто и, не глядя, сунула стоявшему тут же Сергею; тот бережно понес его к вешалке. Гостья, оставшись в синей плиссированной юбке и белой — под стать берету — пушистой фуфаячке, продолжала оживленно рассказывать про обезьян.

«Хотя б спасибо сказала», — с неожиданным уколом обиды подумала вдруг Настасья Ильинична, тотчас же ревниво подметившая и необычное внимание сына, и небрежность гостьи, принимавшей это внимание как должное. И вообще — разве так годится... культурная вроде девушка, из хорошей семьи, а получилось некрасиво. Ждут ее обедать, тут с ног сбиваешься — угостить Сереженькину приятельницу как положено,— а она вот тебе, обезьянов отправилась глядеть. Да и сын тоже хорош. Не знал будто, к какому часу она их ждала. Ясно, мать теперь что! Мать и обождать может, ничего ей не сделается...

Нужно сказать, что гостья — словно догадавшись о произведенном ею неблагоприятном впечатлении — всячески старалась загладить свою вину и не очень в этом преуспела. Вызвавшись помочь накрыть на стол, она ухватилась за это с таким рвением, что тут же разбила тарелку. Настасья Ильинична только вздохнула про себя. Дело было, понятно, не в стоимости старой тарелки; просто Настасья Ильинична не любила белоручек, не умеющих ни за что взяться. Что это за девушка, которая в шестнадцать лет и на стол подать по-человечески не умеет! Хуже всего было то, что сын (мать-то сразу это заметила) смотрел на это иначе. Это больше всего и не понравилось Настасье Ильиничне.

Ничем не проявляя своих чувств, она наблюдала за девушкой, и та нравилась ей все меньше и меньше. Красивая она, это верно; даже не то что красивая, а просто из тех, что заткнет за пояс любую раскрасавицу. Румяная — кровь с молоком, большеглазая, и все заливается-хохочет. Знает, видно, что зубки — один к одному, вот и хвалится. Нет, такие вертушки никогда не были Настасье Ильиничне по душе.

Когда сели за стол, хозяйка почувствовала было себя польщенной завидным аппетитом гостьи, но скоро разо-

чаровалась и в этом. Не съев и тарелки супа, Танечка потеряла к угощению всякий интерес, стала баловаться ложкой и крошить хлеб. Болтала она не переставая — и про книжки какие-то, и про своего дядьку-командира, и про этих обезьянов, не к ночи будь помянуты. Зина (про Сергея-то и говорить нечего!) глаз не спускала с гостью, так и ловила каждое ее слово.

— Ты ешь лучше,— строго сказала дочери Настасья Ильинична.— Что это за мода такая, чай не в театре сидишь...

Если веселая гостья и поняла, что сказанное относилось главным образом к ней самой, то, во всяком случае, это очень мало на нее подействовало. «Правда — поддакнула она хозяйке,— про еду-то мы и забыли!» — и спустя минуту, кое-как управившись с супом, снова завела свою болтовню.

Она больше рассказывала, чем расспрашивала, и это тоже не понравилось Настасье Ильиничне. «Только собой и интересуется,— подумала она, подавляя вздох.— И чего в ней Сереженька нашел...» Что сын в этой легкомысленной болтушке нашел для себя очень многое, уже было для матери совершенно ясно; и это-то заставляло ее с ревнивым пристрастием изучать Таню, не упуская ни одной мелочи и совершенно не замечая главного.

После обеда Зина убежала к подружке готовить уроки. Настасья Ильинична начала убирать со стола.

— Разрешите вам помочь,— с жаром сказала Таня,— я ничего не разобью, честное слово!

— Чего тут помогать, Танечка,— улыбнулась хозяйка,— уборки этой на пять минут... Сереженька, ты бы покамест занял гостью, развлек чем. Скоро Коля придет — может, куда сходите, в кино, что ль...

Сережка не заставил себя упрашивать, увел Таню в свою комнату и стал развлекать.

— Я тебе сейчас такое интересное покажу,— сказал он, разворачивая на койке громадный истрепанный чертеж.— Смотри, это вот монтажная схема автоматического винторезного станка... Помнишь, я тебе про него говорил? Ты тогда так ничего и не поняла... Ну, ничего, сейчас мы тут во всем разберемся. Верно?

— Конечно,— кивнула Таня без особой уверенности.— Я... надеюсь.

— Ладно, тогда садись.— Сережка вытащил из-под стола табурет и хлопнул по нему ладонью.— Только сюда, а то еще на схему усядешься, с тебя станет...

Таня послушно села на табурет и сложила руки на

коленях. Сережкина компата, которой он страшно гордился (елки-палки, собственный кабинет!), напоминала скорее железнодорожное купе. Напротив двери — окно, под ним маленький столик, а справа и слева, вдоль боковых стен, — две узенькие железные койки, его и Колина. Справа над изголовьем висела прочная самодельная полка, где в большом порядке стояли учебники, техническая литература и комплекты журналов; слева, над койкой старшего брата, соответствующее место занимала гитара и два выходных костюма, серый — Сережкин и синий — Колин. Костюмы были аккуратно зашпилены в «Энскую правду». Таня нашла все это очень уютным, хотя и тесноватым.

Ей вообще понравилось у Дежневых. Обед был просто замечательный — так вкусно кормили только у Лисиценок, да и то не всегда. И сестренка у Сережи такая симпатичная! О нем самом говорить нечего — Сережа есть Сережа. Даже сейчас, когда выяснилось, что развлеченный-то у него бывают довольно бесчеловечные. Ну что ж, в конце концов всякий развлекается по-своему. Например, Филипп Испанский, король, тот в юности любил мучить кошек. Сережа, мучающий ее с помощью этой своей схемы, в сравнении с Филиппом — просто ангел. Сережа, Сергей — какое хорошее имя, раньше она почему-то никогда этого не замечала... а как было бы хорошо называть его просто по имени, без этой дурацкой школьной манеры — «Дежнев», «Николаева»...

...Да, вот только его мама. Маме его она не понравилась — хотя странно, почему бы это. Уж кажется, она очень следила все время, как бы не сделать чего-нибудь такого, что могло бы не понравиться Сережиной маме.

— Ты слушаешь?

— Да, да, слушаю!

— ...так вот, — вдохновенно бубнил Сережка, водя пальцем по разложенной на столе громадной схеме, — ты вот здесь сама видишь — когда резец доходит до конца, то этот кулачок делает пол-оборота, и тогда срабатывает вот этот конечный выключатель, — видишь, кулачок давит на его шток, и тогда вот эта катушка... какой же у нее номер... ага, «10-2», видишь?.. тогда эта катушка оказывается под напряжением. А раз напряжение подано на эту катушку, то ты сама понимаешь, что...

Она торопливо кивала, соглашаясь, но на самом деле не понимала ни единого слова. Что будет, если напряжение подано на катушку? И как оно вообще там очутилось, это напряжение? И что это за катушка? Станок, о

котором Сережка говорил с такой нежной любовью, оставался для Тани чудовищным и бессмысленным нагромождением каких-то реле, прерывателей, пускателей и разных других штук, названий которых она даже не могла запомнить. В довершение всего ее начало вдруг клонить ко сну: ночью она дочитывала «Саламбо», а здесь в комнате было натоплено, да и обед оказался очень уж сытным.

— Да ты слушаешь?! — свирепо окликал ее Сережка, и она снова испуганно встряхивалась и изо всех сил старалась не пропустить ни слова из его объяснений.

Это издевательство кончилось только с приходом Николая. Тот поздоровался с Таней очень вежливо и немного смущенно; он, видимо, боялся взять неверный тон и вообще чувствовал себя не совсем ловко. Но скоро это прошло. Через полчаса он уже играл на гитаре и пел песенки из фильмов; голос у него был приятного тембра, и играл он хорошо, — Таня, ожив, слушала его с удовольствием. Она подумала, что Николай, наверно, желанный гость на всех вечеринках и что у него много знакомых девушек, которые, как выражалась Раечка, «сохнут по нем». Жалко только, что он так неправильно говорит, ну как Сергей не скажет ему, что нельзя говорить «вы уважаете гитару!» Это вроде как — «я ужасно уважаю вареники». Ужас просто, ей нехорошо становится, когда она слышит это «уважаю»...

В девятом часу Николай попрощался с Таней, попросил не забывать и ушел вместе с гитарой, заботливо укутав ее в старый шерстяной платок. Так и есть — его уже ждали у одного приятеля. Таня тоже собралась было домой, но в комнатке, похожей на вагонное купе, было тепло и уютно, а на стеклах сверкал дождевой бисер, и за окном уныло поскрипывала под ветром голая акация. Подумать только — идти сейчас по неосвещенным окраинным улицам, брр! Она охотно согласилась на уговоры посидеть еще.

— Только слушай, Дежнев, я пересяду на твою кровать, можно? На табуретке ужасно неудобно...

— Да садись, чего спрашивать...

Она сбросила туфельки и уселась на кровати, в самом углу, поджав под себя ноги.

— Ты знаешь, у тебя замечательный брат.

— Чего? А-а... да, братуха у меня хороший.

— Очень. Только не говори «братуха», это какое-то безобразное слово. Прямо как из «Республики Шкид».

— Из какой республики? — переспросил Сережка.

— Из «Шкид», я же тебе говорю! Есть такая книга, ты не читал?

— Что-то не помню....

— Ну, ясно. Послушай, Дежнев, ты вообще читаешь что-нибудь, кроме своей техники?

— Что нужно, то читаю,— огрызнулся задетый за живое Сережка.— Уж во всяком случае не про поделульки! Таня вздохнула с сожалением.

— Ты вырастешь односторонним человеком,— сказала она убежденно,— вот увидишь. Как камбала. Ты видел? Это такие морские рыбы, у них на одном боку глаза, а другой бок совсем белый и служит пузом. Фу! Ты бы лучше переделывался, пока не поздно.

— Ты уж зато вырастешь многосторонней,— съязвил он,— прямо Леонардо да Винчи в юбке!

— Про человека не говорят «многосторонний». Нужно говорить «разносторонний» — эх, ты! У нее такая богатая, разносторонняя натура.

— У кого это?

— У Николаевой Татьяны Викторовны,— скромно ответила Таня.

Сережка презрительно фыркнул:

— Расхвасталась, дальше некуда. Да и потом, чего ты вообще учить меня взялась! «Так говорят», «так не говорят»! Тоже мне, учительница...

Сказал он это вовсе не потому, что действительно рассердился на замечания; просто ему захотелось вдруг позлить Николаеву, вызвать ее на спор. Ему всегда приятно было смотреть на нее, когда она спорила и горячилась, размахивая руками и от возмущения еще больше картавя. И хотя обычно Николаева заводилась с пол-оборота, на этот раз провокация не удалась.

— Но я ведь не хотела тебя обидеть,— с неожиданным смирением сказала она,— честное слово. Мне ведь просто хочется, чтобы ты говорил совсем правильно, потому что... ну, я просто не люблю, когда говорят неправильно. Правда, ты меня извини.

Она загнулась, чуть было не назвав его по имени. Ей очень хотелось это сделать. И еще — ей захотелось вдруг прикоснуться к нему. Ну, просто пожать ему руку или погладить по щеке. Но пожать руку она сможет только когда будет прощаться, а погладить по щеке — хотя бы кончиками пальцев — вообще едва ли удастся когда бы то ни было. Ей стало невыносимо грустно.

— Чего там извинять,— буркнул Сережка.— Я и не обиделся вовсе...

Он покосился на нее — она сидела поодаль от него, на другом конце койки, и оставалась в тени. Дверь в соседнюю комнату, где мать занялась шитьем, была прикрыта, а лампочка под картонным колпаком освещала только стол. На затененном лице девушки глаза казались больше обычного и выражение их было печальным.

— Какого цвета у тебя глаза? — спросил он вдруг, и сердце его замерло, как перед прыжком с вышки.

— Карие, — негромко ответила она, помедлив секунду. — И немножко золотистые. Хочешь посмотреть? Подними лампу.

Он протянул руку к лампе, висевшей низко над столом на длинном шнуре. Таня подалась вперед, упираясь кулачками в одеяло, и приблизила лицо к Сережке. Моргая от яркого света, она старалась не щуриться.

— Видишь теперь?

Сережка опустил лампу, и она закачалась как маятник, бросая свет то на стену, то на Танины колени.

— Да, вижу, — сказал он и встал с койки. — Они какие-то рыжеватые...

Таня ничего не ответила и снова отодвинулась в угол. Сережка постоял, потом сел к столу на табурет. Тане вдруг неудержимо захотелось плакать и тут же вспомнилось, как Настасья Ильинична посоветовала им сходить вместе с Николаем куда-нибудь в кино. «Ей просто хотелось, чтобы я поскорее ушла, — подумала она с горьким чувством собственной ненужности. — Как я до сих пор не поняла!» Она пересела на край койки и сбросила на пол ноги, нашаривая туфлю вытянутой ступней.

— Ты чего? — удивленно спросил Сережка.

— Знаешь, уже очень поздно, — ответила она не глядя. — Пока доберусь домой, а еще уроки...

— Да посиди еще, куда тебе торопиться! Чаю сейчас поьем...

— Нет, я... уже поздно, понимаешь, и потом у меня немного болит голова — здесь так жарко... Если хочешь, мы лучше не будем садиться на трамвай, а пройдем пешком, немного подышим. Ты ведь меня проводишь?

Когда они добрались до центра, дождя уже не было. Ветер разогнал тучи, и в черпильном небе, затмеваемая молочными шарами фонарей, несмело проглянула маленькая ущербная луна.

— ...я очень люблю дождь, — задумчиво говорила Таня, размахивая портфелем. — Вернее, не самый дождь, а когда вот так — асфальт весь мокрый, блестит, и все в

нем отражается... именно ночью, когда огни. Я еще в Москве любила смотреть — мы жили возле Арбата, знаешь? Ах, ты в Москве не бывал... А днем люблю тоже, чтобы туман — такой, знаешь, не очень сильный. В парке — вот прелесть! Я, если туман, по парку могу просто часами ходить... так всегда тихо-тихо, и потом этот запах — знаешь, совсем такой особый — завялой травы, сухих листьев, когда они уже подмокли и начинают гнить, и потом не знаю, что там еще, в этом запахе, — наверно, древесная кора, потом просто земля мокрая, немножко тоже грибами пахнет...

— Я понимаю, — серьезно кивнул Сережка.

— Ну конечно, я знала, что ты поймешь. Когда будет туман, нарочно пойдем с тобой в парк, понюхаем. Прямо из школы, хорошо? Хотя нет, что я! — вот дура-то, уже ведь поздно. Это нужно в сентябре, в конце, или в самом начале октября, а потом уже нет. Ну, ничего. На тот год, правда? Только ты мне напомни, если я забуду, а то придется откладывать еще на год.

— Тогда уже не придется, — улыбнулся Сережка. — Это на сорок первый? Не выйдет, в сентябре сорок первого я ведь уже буду в армии.

— Почему это в армии? Ты что, не собираешься в институт?

— Факт, что собираюсь, только мне после школы придется сначала призываться. Призывной-то возраст снижен теперь, забыла? А в институт — это уж после, как отслужу.

— Ой, пра-а-ава, — протянула Тania и задумалась. — Ну, ничего, может, к тому времени все это изменится! Я сейчас вспомнила: недавно мы с Люсей встретили одного майора, Дядисашиного приятеля, и он как раз спрашивал: как, говорит, ваши ребята теперь себя чувствуют, наверно им не очень весело идти вместо институтов в казармы? И он как раз сказал, что это только временная мера, из-за войны в Европе. Ну хорошо, не могут же они столько воевать — до сорок первого года! К лету, наверно, уже все закончится. Как тебе кажется?

— Да кто его знает, — неопределенно отозвался Сережка. — Думаю, что должно кончиться, а там...

— Я тоже так думаю, — кивнула Тania.

Некоторое время они шли молча. Тania усердно вышагивала в ногу с Сергеем. Потом она спросила:

— Дежнев, скажи... твоя мама на меня за что-нибудь сердита?

Сережка изумленно на нее покосился:

— С чего это ты взяла?

— Я видела,— упрямо сказала Таня.— Я это заметила сразу. Даже еще до того, как я разбила тарелку...

— Да брось ты с этой тарелкой! — возмутился Сережка.— Нашла о чем говорить!

— А я о ней и не говорю. Я о ней просто упомянула. Я знаю, что это не из-за тарелки. Наверное, из-за того, что мы опоздали. Правда? Я потом — уже после зверинца — подумала, что не нужно было заходить... твоя мама, наверное, ждала к определенному часу...

— Да с чего ты взяла, что она на тебя вообще рассердилась! Я ничего не заметил, если хочешь знать.

— А я заметила,— упрямо сказала Таня.— Мужчины вообще никогда ничего не замечают. Понимаешь? Ничего-ничего. Они всегда как слепые. Ничего не видят и ничего не замечают.

— То, что нужно, мы замечаем, не беспокойся.

— Ну конечно! Ты просто самый настоящий эгоист! Понимаешь?

— Интересно, почему это я эгоист? — Сережка неуверенно пожал плечами.— Смешно!

— Вот потому и эгоист, что тебе сейчас только смешно...

— О чем спор, друзья мои? — окликнул их вдруг знакомый голос.

Таня ахнула и испуганно рассмеялась:

— Ох, Сергей Митрофанович! Как вы меня напугали! Добрый вечер...

— Добрый вечер, Сергей Митрофанович,— пробормотал и Сережка.

— Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер...

Преподаватель, посмеиваясь, смотрел на них чуть боком, по-птичьи.

— Гуляете? Это полезно. Ба, Николаева, ты еще с портфелем! Неужели до сих пор не была дома?

Румянец на Таниных щеках стал еще ярче.

— Нет, Сергей Митрофанович, мы... я была вот у Дежнева, потому что... мы готовили задания, вместе.

— Это хорошо,— одобрительно кивнул преподаватель.— Но сейчас пора бы уже домой, иначе завтра опять проспишь. Кстати! Дружок мой, я тебя убедительно прошу исправить будильник. Скажу по секрету, что о твоих вечных опозданиях уже шла речь на педсовете, так что тебе стоит побережться.

— Хорошо, Сергей Митрофанович, я... я постараюсь.

— Непременно постарайся, непременно. Дядя еще не вернулся?

— Еще нет...

— Так, так. А пишет?

— Редко очень, Сергей Митрофанович...

— Ага. Ну ничего, приедет. Так я вам пожелаю хорошей прогулки, только не затягивайте ее, время позднее...

Молодые люди торопливо попрощались с преподавателем и быстро пошли прочь, явно удерживаясь от желания припустить бегом. Поглядев им вслед, Сергей Митрофанович прищурился и покачал головой.

— Дежнев! — позвал он высоким старческим тенорком. — Поди-ка на минутку сюда! Нет, ты один!

Сережка оставил Таню и бегом вернулся к преподавателю. Тот взял его под руку доверительным жестом.

— Вот что я хотел тебе сказать, друг мой, — сказал он негромко, — и на этот раз уже не как учитель ученику, а просто как мужчина мужчине. Видишь ли, если ты идешь с девушкой и она несет что-то в руках — ну, я, понятно, не говорю про сумочку или какой-нибудь там явно уж легкий пакетик, — то полагается освободить ее от ноши. Иначе что же получается — ты вот идешь налегке, руки в карманах — тоже, кстати, непохвальная привычка, — а Николаева тащит набитый книгами портфель. Это, друг мой, просто не по-товарищески, даже оставляя в стороне все прочее...

Сережка густо побагровел и кашлянул, не зная, куда девать глаза. Преподаватель ободряюще сжал его локоть.

— Ну вот, друг мой, это, собственно, и все, что я хотел тебе сказать. А спутнице своей ты скажи, что я-де велел напомнить ей про «Обрыв» из школьной библиотеки, он у нее давно. Понимаешь? Ну, до свидания.

— До свидания, Сергей Митрофанович... спасибо!

На другой день он снова провожал Таню домой. Инициатива в этом давно уже перешла в ее руки — она просто ловила его в раздевалке и заявляла: «Люся и Аришка опять куда-то удирают, так что нам вместе». Так было и сегодня. Получив от Тани очередное приглашение — или приказание? — Сережка молча кивнул и, забрав у нее номерок, отправился получать пальто. Протолкавшись к барьеру, он отдал жетоны техничке. Пока та долго и бестолково искала оба пальто на длинных рядах вешалок, он обдумывал деликатный вопрос. Вчера, после разговора наедине с преподавателем, он догнал Николаеву, сказал ей про «Обрыв» и через несколько шагов, про-

бурчав что-то невразумительное, забрал у нее портфель. Она приняла это как должное и поблагодарила довольно небрежно. Девчата — это ведь такой народ: сделаешь ей одолжение, а она сразу решает, что так и быть должно...

Как же поступить сегодня? Можно вообще не брать у нее этот портфель. А можно и взять, но только не сразу, а, скажем, за углом, чтобы ребята не видали. Тогда она подумает, что вот, мол, свинья этот Дежнев: в темноте строит из себя кавалера, а днем небось не решается. И факт, что будет права, если так подумает...

Одевшись, он стоял возле двери с двумя портфелями под мышкой, искоса поглядывая, как Таня возится перед зеркалом со своим беретом. Наконец, оглядев себя со всех сторон и потуже затянув пояс, она подошла к двери.

— Я готова, идем? — бросила она, протягивая руку за портфелем. Вот и наилучший выход — прикинуться рассеянным и отдать портфель тем же машинальным движением. Сережка пережил короткую — всего в полсекунды — схватку противоречивых стремлений. Победила честность. Он молча отвел руку в пестрой шерстяной варежке и толкнул перед Таней тяжелую стеклянную дверь.

— Валай живее, — грубовато сказал он.

Как назло, самые заядлые женоненавистники девятого «А» — Толька Свириденко, Колька Улагай, Женька Косыгин, Володька Бердников — толклись на крыльце, кого-то поджидая. Может, драться, а может, и просто так. Сережка увидел их еще изнутри, сквозь стекла тамбура. Сцепив челюсти, он вышел следом за Таней и рядом с ней стал неторопливо спускаться по широкой лестнице, держа под мышкой оба портфеля — свой черный и Танин светло-коричневый. Хотя бы уж одного цвета, не так в глаза бросается! Шпана наверху выразительно умолкла. Сережка даже кожей затылка чувствовал, что все смотрят им вслед. И как раз в эту минуту нечистая сила угораздила Таню оступиться — Сережка едва успел свободной рукой подхватить ее за локоть. Это уж было слишком. Наверху засвистали, заулюлюкали.

— Возьми ее под ручку! — заорал Колька. — Крепче!!

— Гля, ребята! — подхватил Женька Косыгин. — В носильщики записался!

Сережка не шевельнул ни одним мускулом лица и не выпустил Таниного локтя до самой нижней ступеньки. Они медленно пошли к воротам по бетонной дорожке. Вслед им продолжали орать.

— Какие дураки! — Таня пожала плечиками. — Не обращай внимания, Сережа...

Настасья Ильинична заглянула в комнату и принялась, бросив на сына подозрительный взгляд.

— Опять курил, несчастье ты мое, — сказала она. — Ну что мне с тобой делать, а?

— И не думал вовсе, — ворчливо отозвался Сережка; не то чтобы он всерьез надеялся убедить мать в противном, а просто по привычке. Когда тебя в чем-то обвиняют, лучше отрицать все, а там видно будет. — С чего это ты взяла, что я курил...

— Всю комнату прокоптил своим табачищем и еще спрашивает — с чего взяла! Хоть форточку бы открывал, а то заперся и сидит. Поглядеть страшно, на что похож стал — желтый, худющий, хоть в больницу тебя ложи... Уж я и не знаю, чего это Коля смотрит! Ну обожди, обожди — вот поговорю с ним, он тебе пропишет...

— Ну ладно, ма, — сказал он примирительно, — сколько я там курю...

«Расквохталась мамаша», — подумал он с добродушной насмешкой; бесконечные материнские заботы о его здоровье казались ему смешными. Лениво поднявшись с койки, он открыл форточку и, высунув руку наружу, сгреб с рамы горстку снега. Обкатав его в ладонях, он с наслаждением провел снежком себе по лбу.

— Зинка, а ну поди сюда, что я тебе покажу!

Любопытная Зинка мигом появилась в комнате брата.

— Что покажешь, Сережа?

— А вот гляди сюда, в кулаке у меня. — Сережа поднял левую руку. Зинка секунду поколебалась, опасаясь очередного подвоха, но любопытство взяло верх, и она, уцепившись за Сережкин рукав, начала всматриваться в просвет неплотно сжатого кулака.

— И вовсе ничего нет... — сказала она разочарованно.

— Да как нет — ты поближе посмотри, на свет!

Сережка поднял кулак еще выше — сестренка привстала на цыпочки, вытягивая шею. Тогда он опустил обтаявший снежок ей за шиворот. Зинка завизжала и вылетела из комнаты.

— Ма-ма, ну чего он мне опять снегу за шиворот напихал!! Дурак несчастный!

— Ну-ну, ты там потише! — прикрикнул Сережка. — Будешь орать, так я тебе хуже сделаю, вот увидишь. Поймаю мышь и брошу за шиворот, тогда попрыгаешь!

Возня с сестренкой развлекла его на минуту, сейчас в голову снова полезли те же мысли.

Серезка взял с полки крайнюю книгу и вынул заложённые между страницами листки бумаги, исписанные зелеными Валькиными чернилами. Где же здесь это место...

«...У меня отношения с окружающими в основном хорошие, хотя... довольно сильное влияние буржуазных националистов, и на приезжих из СССР некоторые смотрят...» Ага, вот оно! «...потом хочу сообщить тебе — как своему лучшему другу — одну вещь, о которой я еще не сказал даже своим старикам. Мы с Ларисой решили расписаться, когда будем на первом курсе, сразу после вступительных. Ждать окончания вуза слишком долго, а мало, что ли, студентов, которые поженились и учатся? Конечно, нужно быть готовым к некоторым трудностям материального порядка, но это ерунда, кто из нашего брата к ним не привык...»

Хмурясь, Серезка сложил письмо и задумчиво похлопал листками себя по носу. Ну что ж, Валька пишет как взрослый человек, по-мужски. Просто и ясно — решили расписаться на первом курсе. А ведь они с ним одноклассники... хотя даже нет, Валька ведь на год моложе!

В самом деле, лучше бы он совсем не писал, ну его в болото. Как только Серезка прочитал сегодня это письмо, перед ним тотчас же встал совершенно новый и никогда до этого момента не приходивший ему в голову вопрос — а к чему, собственно, может привести его дружба с Николаевой? Странно, казалось бы, что восемнадцатилетнему парню могла не прийти в голову такая вещь, но Серезке она действительно не пришла. До тех пор, пока он не прочитал вчера это письмо. Он сразу же увидел свои отношения с одноклассницей в совершенно новом свете. Хорошо, она замечательная девушка, и ему приятно с ней встречаться, бывать вместе в кино и провожать ее домой; а дальше?

Не думал он и о том, как смотрит на все это сама Николаева. Надо полагать, ей тоже приятно с ним бывать — никто ведь ее не принуждает. Но не приходила ли ей в голову та же мысль, которая мучает его со вчерашнего дня? Как быть дальше?

Как точно назвать то, что сейчас с ними происходит? Дружба? Но хорошо, девятый класс — это уже не совсем детский возраст. Дружить, ни о чем не задумываясь, можно в пионерском лагере, когда тебе четырнадцать — пятнадцать лет. Правда, Николаевой только недавно исполнилось шестнадцать... но ему-то самому уже семнадцать, и потом все говорят, что девушки в этих делах на-

чинают разбираться гораздо скорее, чем их сверстники. Что, если сама Николаева уже думала об этом, и теперь смотрит на него и ждет: а ну-ка, Сережка Дежнев, что ты теперь будешь делать?

А если это и есть любовь? Что же тогда должен он делать? Очевидно, если любишь девушку, то нужно сразу же с ней поговорить начистоту — вот как Валька с Ларисой. Я, мол, тебя люблю, давай поженемся тогда-то и тогда-то. Это нужно сказать прямо, иначе выходит как-то несерьезно. Правда, он никогда еще не слышал, чтобы в его возрасте кто-нибудь заводил речь или хотя бы думал о женитьбе. Но черт с ними, тут ему никто не указ. В таких делах каждый поступает так, как считает правильным; и вот он, Сережка Дежнев, считает, что тут нужно говорить сразу и начистоту. А как там поступают другие, ему наплевать. Мало ли кто как поступает!

В самом деле: почему бы им не пожениться, если они друг друга любят? После школы и после того, как он вернется из армии. Конечно, это еще не скоро, но решать-то нужно заранее!

Но как это — вдруг прийти и сказать: «Я тебя люблю». А если она его просто высмеет? И потом будет говорить этой своей Земцевой — вот, мол, Дежнев шутку какую отмочил. Дурак, скажет, по возрасту уже первокурсник, а сам сидит в девятом классе и туда же, в любви вздумал объясняться! Но если это не так? Если она и сама... ну, если немножко он ей нравится, скажем, и если она ждет, чтобы он сам об этом заговорил? Факт, не девушке же начинать такой разговор! Хотя, если равноправие...

Чувствуя, что голова окончательно идет кругом, Сережка решительно вскочил и вышел в соседнюю комнату.

— Уходишь куда? — спросила Настасья Ильинична, видя, что сын взялся за пальто. — А я хотела, чтобы ты кастрюлю мне запаял...

— После, ма, — отмахнулся Сережка. Вечно эта мамаша что-то придумает. Тут такие вопросы приходится решать, а она с кастрюлей. — Я запаю, только после. Я пройду с полчаса, а то голова болит.

— А ты кури, кури побольше! — накинулась на него мать, но Сережка уже хлопнул дверью.

На крылечке он остановился, похлопал по карманам — не забыл ли папирсы и спички. Над городом стыли медленные зимние сумерки, крепчал мороз, приятно пощи-

пывая ноздри. Что ж, пора — завтра уже декабрь! Снегопад кончился всего несколько часов назад, и сейчас нетронутая белизна чудесно изменила неприглядный вид перед крыльцом. Обшарпанный флигелек в глубине двора, мусорный ящик, покосившийся от старости дощатый сарай — все это казалось сейчас не таким убогим, как обычно.

Сережка несколько раз глубоко, по-физкультурному всей грудью вдохнул морозный воздух, проветривая от дыма легкие, и медленно пошел к калитке, с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами. За воротами он столкнулся с Николаем.

— Здорово, Сереж. В кино?

— Нет, просто пройтись. Новостей нема?

— Да так... митинг вот у нас был, обсуждали последние события.

— А-а! — Сережка рассеянно кивнул, глядя по сторонам. — Я о них еще и не читал, надо будет прочесть...

— Слышь, Сереж... а ты вообще как смотришь на эти дела?

— А что?

— Да нет, ничего такого. Я просто подумал... Так, у нас там сегодня разговоры были разные. Может, конечно, народ просто зря тревожится...

— А чего тут тревожиться? — удивленно спросил Сережка.

— Да вообще-то вроде и нечего, — согласился Николай. — Знаешь, как у нас — чуть международное положение обострится, сразу думают — как бы воевать не пришлось.

Сережка засмеялся:

— Ну, Коль, ты и скажешь! Это с Финляндией-то?

— А что Финляндия... Ты не смотри, что она маленькая, у ней за спиной силы стоят побольше... Ну, да, я думаю, обойдется, ничего не будет.

— Факт, что не будет. Так я пойду, Коля. Слышь, ты скажи мамаше, я, может, задержусь...

— Ну-ну.

За водоразборной колонкой — там, где улица начинает полого спускаться к Мельничному Яру, — слышался гомон ребячьих голосов. Остановленный воспоминаниями, Сережка долго стоял и смотрел на галдевшую толпу.

Еще три-четыре года назад он и сам не пропускал ни одного такого вечера: прыбежал из школы, пообедал, кое-как приготовил задания и — кататься, до самой темноты, пока не начнут сходиться к колонке матери, высматривая

каждая своего и оглашая улицу пронзительными криками: «Юрка-а! Вовка-а-а!! Ступай домой — вот погоди, отец тебя выпорет!..»

Мальчишка в истертой тюленьей курточке пробежал мимо, прижимая к груди маленькие салазки, добежал до спуска, ловко упал и поцесся вниз, раскинув ноги ласточкиным хвостом. Сережка смотрел ему вслед со странным чувством. Не то чтобы он завидовал, нет... тут что-то другое, сразу даже и не определишь. Раньше все было интереснее, ярче как-то. Любая мелочь блестела, как бутылочный осколок на солнце. Выменял у приятеля интересную марку — радость, достал в библиотеке «Таинственный остров» — радость, да еще какая! Первый снег переживался как событие мирового значения, новогодним каникулам начинал радоваться с начала декабря... а первая оттепель? А когда в первый раз выходишь на улицу налегке, без надоевшего зимнего пальто, слушаешь звон капель и жмуришься от солнца, сияющего в каждой луже?

А сейчас все как-то уже не так. Правда, интереснее стало жить в другом смысле, это верно. Вот, скажем, такие вопросы приходится решать... На эти несколько минут, вспоминая детство, он забыл о Тане, и сейчас вернувшаяся мысль о ней обдала его волною тепла. «Таня», — шепотом сказал Сережка, впервые — даже в мыслях — называя ее по имени. Как она тогда, на лестнице, сказала ему: «Сережа» — тоже в первый раз, нарушая школьную традицию. Одно это слово сблизило их больше, чем мог сблизить год знакомства...

Сережка выкурил папиросу, стоя на одном месте. Стали замерзать ноги. Ребятишки начали расходиться по домам — шли мимо в синих сумерках, волоча салазки и ковыляя на коньках, громко шмыгали носами, перекрикивались, кого-то дразнили. Сережка нашел в кармане гривенник, потряс в сложепных кузовком ладонях. Решка — пойду, орел — не пойду... нет, не так — пойду, если орел. Вышла решка. Он озлился и зашвырнул гривенник в чей-то сад. Вот назло пойду! Тоже, гадать вздумал... Валька посмотрел бы!

Решимости хватило только до угла бульвара Котовского. Там он задержался возле афишной тумбы и сделал вокруг нее полный круг, внимательно прочитав все — от анонсов городского драматического театра до призыва нести деньги в сберкассу. Когда с чтением было покончено, он решительно повернулся и пошел к знакомому дому.

В подъезде стоял какой-то военный; Сережка прошел мимо, не повернув головы, наискось пересек бульвар и

только тогда оглянулся. Военный ушел. Ее окон не было видно — мешали ветви, гнущиеся под тяжестью снега. Перед зданием обкома стоял сверкающий черный «ЗИС-101». Сережка полюбовался нарядной машиной — такие были еще редкостью. Внутри горел свет, шофер читал газету, развернув ее на баранке. «Интересно, кого он возит, — думал Сережка, переходя бульвар. — Наверняка первого секретаря, не меньше. Еще бы — такая машина! Посмотрю, как Таня примет. В случае чего, скажу просто, что потерял таблицы логарифмов — может, у нее остались...»

— ...чудесно, что ты пришел, я тут просто умираю от скуки, правда! Сидела и слушала пластинки, одна, понимаешь? — а это нельзя, одной слушать музыку — страшно грустно получается, я и сама не знаю отчего, правда. Я уже думала идти ночевать к Люсе, а потом раздумала — такой холод на улице, ужас, а у нас наконец исправили кочегарку, так что тепло и уютно. Ты очень замерз, Сережа? Раздевайся скорее, сейчас чай будем пить. Знаешь, к Люсе приехала в гости ее нянюшка — Трофимовна, мы у нее были летом в Новоспасском — и привезла мне банку меда. Как раз самый мой любимый, гречишный. Только ты можешь починить чайник? А то примус придется разводить.

— А что с ним, с чайником?

— Ой, из него такие искры сыплются, прямо подойти страшно!

— Тащи сюда. Отвертка и плоскогубцы есть?

— Угу, я достану у соседей. Я сейчас!

Сергей присел на диван, зажав ладони между колен. Как странно! Стоило только ему услышать ее голос, как все сразу стало на свои места. Зря он ломал себе голову, пытаясь найти какое-то немедленное решение, — все будет хорошо, все устроится само собой... Им овладело чувство большого доверия ко всему на свете. Услышав за дверьми торопливый голосок Тани, разговаривавшей с кем-то на площадке, он на секунду прикрыл глаза и счастливо улыбнулся.

Чайник он починил, и они долго чаевничали. Хлеба у Тани не оказалось, они намазывали гречишный мед на сухие, как камень, галеты. Таня грызла их, морща от усилий нос, и возмущалась провокационным обстрелом майнилской заставы. Ужасно противные эти буржуи. Ну почему на нас вечно все нападают — то японцы, то финны, прямо житья нет от этих агрессоров...

После чая перешли в Танину комнату. На кушетке

стоял раскрытый патефон, валялись пластинки. Сережка поднял одну, другую — всё какая-то ерунда: «Цыган», «Калифорнийский апельсин», «Дождь идет»...

— Охота тебе слушать всякое барахло, — пренебрежительно заметил он, подходя к письменному столу, где Таня рылась в ворохе писем.

— Почему же барахло, — возразила она, — если я люблю... Я люблю и Бетховена, но нельзя же все время слушать только серьезную музыку... легкая мне очень нравится, конечно не всякая... например, от песенок Вадима Козина меня просто тошнит... ага, вот эти снимки! Это Дядяша прислал мне из Москвы, он сам снимал в Монголии...

Сережка с интересом нагнулся к столу. Снимки были любительские, не совсем удачные, многие явно передержаны. К его разочарованию, ничего боевого в них не оказалось — он надеялся, что майор догадается заснять хотя бы танковую атаку. Видно, не догадался.

На снимках были скучные песчаные холмы, люди в халатах, улыбающиеся танкисты в комбинезонах, грузовик, палатки, два танка. Так, ничего особенно интересного.

— Видишь, эти холмики там называются барханами, — объяснила Таня над его ухом. — Я тебе не рассказывала? Ко мне в лагерь приезжал один Дядяшин лейтенант, так он много рассказывал про Монголию. Там такая жара, прямо ужас — они все время мечтали о зиме. Ты представляешь — в пустыне, без воды? В общем, вода, конечно, была, но только очень мало, по норме. Я ему сказала, что я это хорошо понимаю — когда летом бывает слишком уж жарко, то я тоже начинаю мечтать о зиме. Хотя я вообще люблю зиму. Лето я тоже люблю, и осень, вот весну не так, но зиму как-то особенно. По-моему, зима — это самое красивое время года, правда? Вот я сейчас покажу тебе одну штуку, ты увидишь. Раздерни-ка штору на окне, я выключу свет. Ты вот увидишь, какой у нас бульвар красивый, когда снега много. Летом никогда такой не бывает!

Бульвар был действительно красив. Заиндевелые, густо опушенные снегом ветви, резко освещенные белыми фонарями, сияющим сказочным узором были врезаны в угольно-черное небо.

— Какая красота, смотри... — шепотом сказала Таня, стоя у окна рядом с Сережкой. — Похоже, будто смотришь на негатив, правда?

Сережка молча кивнул головой. Повернувшись к Тане, чтобы что-то сказать, он замер, пораженный вдруг

прелестью ее профиля, прозрачно освещенного снежным отблеском из окна. Не отдавая себе отчета в происходящем, одепенев от немислимого и ни на что не похожего чувства, он обнял Таню за плечи и прикоснулся губами к ее щеке.

В памяти его остались два ощущения: горячая упругость бархатистой кожи и запах гречишного меда — словно повеяло летним полднем. Несколько секунд они стояли не шевелясь, все так же тесно друг подле друга; потом она мягким кошачьим движением выскользнула из-под его руки и неслышно отошла к столу. Вспыхнула настольная лампа.

— Сережа,— сказала Таня изменившимся голосом, — пожалуйста, включи радио... в это время бывает музыка...

Рука его так дрожала, что он не сразу попал вилкой в штепсельную розетку. Музыка не было, говорил что-то Левитан. Прошла минута, пока до сознания обоих дошел смысл того, что они слушали: в ответ на непрекращающиеся провокации со стороны финской военщины войска Ленинградского военного округа сегодня в восемь часов утра перешли государственную границу и ведут бои на территории Финляндии.

10

Неделю он проходил как во сне, ничего не видя и не слыша. Весь девятый «А» был занят событиями на Карельском перешейке — для Сережки Дежнева они не существовали. Одноклассники, уважающие его за высокую техническую осведомленность, несколько раз пытались получить исчерпывающие сведения относительно линии Маннергейма, но он только отмахивался. Какие там, к черту, линии! Единственное, что его сейчас занимало, — это то, что он уже четвертый день не может побыть с ней наедине хотя бы полчаса, хотя бы пятнадцать минут...

Все складывалось против них, решительно все. Несколько девушек из класса, готовившихся к вступлению в комсомол, в порядке нагрузки прикрепили к малышам из первой ступени, отдых и развлечения которых они должны были организовывать на каждой переменке; разумеется, в их число попала Таня. Получил нагрузку и он сам: Архимед попросил его присмотреть за шестиклассниками, взявшимися изготовить реостат для физкабинета. Из-за этого Сережка должен был каждый день оставаться после уроков на час-другой и, таким образом, потерял возможность провожать Таню.

Не мог он и прийти к ней домой. Приехала знаменитая «мать-командирша» — свирепая старуха, что-то вроде Таниной воспитательницы, которая не далее как в прошлом году собственноручно выдрала ее за какое-то разбитое стекло, — Таня сама призналась ему в этом. С такой страшной старухой Сережка предпочитал не иметь никакого дела, ну ее в болото.

Шестиклассники, работавшие в физкабинете под его присмотром, не обращали на него никакого внимания, как и он на них. Архимед просил только присмотреть, чтобы они ничего не сожгли и никого не убило током. Сережка приходил в физкабинет, садился за стол в самом верхнем, последнем ряду амфитеатра и безучастно смотрел на возню строителей реостата. Архимед объяснил ему, что никелиновой проволоки они не достали, и спирали придется вить из нейзильбера; а нейзильбер, по упругости почти равный стали, очень неудобен в работе. Поэтому проволоку пришлось отжигать: ее резали кусками по двадцать метров, каждый кусок протягивали через весь кабинет и концами включали в осветительную сеть. Проволока мгновенно накалялась докрасна, тогда ее отключали и, дав остыть, сматывали на катушку; теперь она была мягкой, из нее можно свить что угодно. Сережка смотрел на все это, подперев щеку кулаком, и думал о Тане.

Уже третий месяц с младшим сыном творилось неладное. Хотя веселая глазастая Танечка и не появлялась у них в доме после того памятного обеда, безошибочное материнское чутье сразу же подсказало Настасье Ильиничне истинную причину происходившего с Сереженькой. А происходили с ним странные вещи: начал задумываться, читать за едой бросил, но ел все равно кое-как и курил теперь у себя в комнате совершенно открыто. Видя все это, Настасья Ильинична тревожилась за здоровье сына; и еще больше тревожило ее то, что виновата во всех этих напастях была та самая любительница обезьян.

В том, что Сереженька потерял голову из-за этой хохотушки, не было ничего удивительного. С первой минуты, когда Настасья Ильинична ее увидела, она поняла, что именно к этому дело и идет (если еще не пришло). Коля в таком возрасте терял голову куда чаще, и матери никогда не приходилось беспокоиться по этому поводу. Не беспокоилась бы она и теперь, будь младший сын хоть немного похожим на старшего; но сходства между ними — если говорить о поведении и образе жизни — было

совсем мало. Судя по всему, Сергей переживал свое увлечение слишком уж всерьез, чего никогда нельзя было сказать в отношении Николая.

Мысль о том, что дружба между сыном и хохотушкой будет продолжаться и рано или поздно перейдет в другое чувство,— эта мысль все больше и больше беспокоила Настасью Ильиничну. Пусть они еще дети и ни о чем наперед пока не задумываются — но время-то идет, а сердце в эти годы как солома. Займется вдруг, сразу, и ничем уже его не погасишь.

Она то успокаивала себя, доказывая, что о таких вещах и думать-то пока смешно, то снова пугалась, вспоминая, в каком возрасте выходили замуж ее сестры и она сама. А теперь молодежь и вовсе самостоятельная — взбредет что в голову, так и совета ни у кого не спросят. В конце концов, решив, что в таком деле ум хорошо, а два лучше, Настасья Ильинична поделилась своими тревогами со старшим сыном.

Николай сначала посмеялся над материнскими страхами. Да чего об этом думать — школу еще не кончили ни он, ни она, а после школы Сережке в армию призываются,— все это еще сто раз перемелется!

К тому же, признаться, он не разделял такого уж нетерпимого взгляда на братишкину приятельницу. В Тане ему как раз понравились те самые качества, что испугали мать. Нарядная да веселая? Жизни не знает? Ну так что ж, не в старое время живем, Сережка вон сам вуз окончит и кем хочешь станет!

Однако, поразмыслив на досуге над словами матери, он не мог не признать, что кое в чем права и она. Факт, что Таня очень приятная девушка — чтобы с ней поболтать, сходить разок-другой на танцы или в кино. Сам он именно этим и ограничил бы свои с ней отношения, если бы был на месте братишки. А вот ограничит ли Сережка — это еще как сказать. Может, да, а может, и нет. Тут ведь вся беда в том, что Сережка — он же странный какой-то, с девушками до сих пор не бывал, все с книжками сидел, а такие, как он, тихие,— народ в этом отношении опасный. Сегодня он тихий, а завтра, втихаря, такое вдруг отмочит, что после сам не рад будет. Кто его знает, этого Сережку,— возьмет да через год-два с ней и расписется! А это уж плохо будет, факт.

Николай вспомнил одного своего приятеля, хорошего токаря, женившегося на дочери инженера, начальника цеха. Николай сам гулял в позапрошлом году у них на свадьбе. Любовь между ними была большая, не могли

налюбоваться друг на друга, а года вместе не прожили. Она начала говорить, что он загубил ее жизнь, что она, мол, училась, а теперь стала женой простого рабочего, и пошла у них такая мура, что посмотрели-посмотрели, да и разошлись. А ну, как и с этой такое будет? Факт, что Сережка простым рабочим не останется, но на инженера учиться — долгое дело. И если они поженятся через пару лет, так сколько это времени придется им жить на стипендию да на его, Николая, заработок. А Таня к такому не привыкла. И сама будет маяться, и Сережке жизнь покалечит...

Вечером Николай поплотнее притворил дверь и пошел к брату на кровать.

— Слышь, Сереж,— начал он нерешительно,— я тут с тобой поговорить хотел... Тебе как, Таня эта — очень нравится?

Сергей почувствовал, что краснеет.

— Ну, нравится,— сказал он храбро.— А что?

— Да нет, я ничего такого,— заторопился Николай,— ты не думай, она мне и самому здорово тогда понравилась. Слышь, Сереж... я просто как старший брат хотел с тобой поговорить... ну, понимаешь, посоветовать! Ты с девушками до сих пор не очень как-то, верно, так что сейчас это тебе вроде бы в новинку — ну, там проводить, целоваться, все такое...

— Вот еще,— пробормотал Сережка каким-то чужим голосом,— очень мне это надо, целоваться...

— А чего такого,— возразил Николай,— очень просто, законная вещь! Я в твоём возрасте только этим и... да, так я вот что хотел сказать. На твоём месте, Сереж, я бы все это всерьез не закручивал. Точно тебе говорю, я бы не закручивал. С первого раза никогда всерьез не бывает, это я тебе точно говорю. Я против Тани ничего не имею, ты не думай, но только ведь это у тебя первая девушка, верно, а будет еще много, и, может, после тебе какая еще больше понравится,— а если ты с Таней всерьез закрутишь, так потом оно вроде некультурно получится, идти на попятную...

— А я никогда не пойду на попятную,— сказал Сергей.

— Выходит, всерьез?

Сережка помолчал и потом сказал, будто нехотя:

— Вроде бы так...

— Ну, что ж. Тебе, конечно, виднее,— сказал Николай.— Я, Сереж, понимаю,— в таких делах лучше без советчиков. А только я бы на твоём месте всё ж таки поду-

мал бы еще и подумал... Ты вот помнишь, я тебе про Петю говорил, что на дочке инженера Куховаренки женился? Тут, понимаешь, в оба нужно смотреть... ты-то не Петя, я понимаю, ты токарем не останешься, но я к тому, что если бы вы, скажем, поженились раньше, как ты вуз кончишь, так это ей здорово будет трудно... Ты вот сам говорил, как она живет, да и видно по ней. Дочка Куховаренки не жила так, а все равно не по вкусу ей пришлось рабочая жизнь. Таня, она ведь уже к другому привычна... вот оно что. А так она девушка мировая, это я ничего не говорю! Так что ты, Сереж, подумай — прикинь мозгами, как оно лучше... а то после вскинешься, да поздно...

Почти всю эту ночь Сережка не спал. Сначала он был просто возмущен, хотя и не винил Николая. Он ведь не знает Таню — поэтому так и говорит! Факт, она привыкла к богатой жизни. Так что с того? Воц, Сергей Митрофанович читал Некрасова — про жен декабристов, которые в Сибирь поехали добровольно. Те еще хуже были, аристократки на все сто, а ведь поехали! Любили, потому и поехали.

Самое правильное — это как Валька, жениться на первом курсе. До вступительных нельзя — много мороки. А как вступительные сдал — тогда женись спокойно, чего там. Ну, трудно будет, факт, так ведь если любишь — разве этого побоишься? Да нет, чего там, просто он не знает Таню так хорошо, как я...

Но дело в том, что у Сережки был слишком трезвый ум — несмотря ни на что. Слишком логичный, слишком требующий ясности во всем до конца. Случайно промелькнувший довод — «не знает ее так, как я», — тотчас же вызвал ответную мысль: «А как, собственно, я ее знаю?» За этой мыслью, как нить из клубка, потянулись другие, не менее тревожные. Сережка лежал на спине, глядя в темноту широко открытыми глазами, и сердце его капля по капле наполнялось тоской и беспокойством.

За высоким окном, в занесенном сугробами саду, мальчишки из младших классов швырялись снежками. Таня следила за ними с завистью.

— Люся, а может, выскочим — побесимся немножко в снегу? Мне так хо-о-очется...

— Пожалуйста, не выдумывай. Ты мне лучше отвечай па вопрос.

— О чем это? А-а-а, насчет этой Ани... но, Люся, что

я могу; если мне вовсе не хочется никуда с ней ходить. Что за удовольствие показываться куда-то с таким чувством: она одевается как колхозница, я просто умерла бы, если бы мне пришлось так одеваться. Очень нужно...

— Повтори-ка, что ты сейчас сказала! — вспыхнула Людмила.

— Что, Люсенька?

— Что ты сказала насчет колхозниц?

— Ну,— Таня покраснела,— что они плохо одеваются, но это я не в том смысле...

— Ты что, окончательно сошла с ума? Ты, завтрашняя комсомолка! Ты соображаешь, что ты сейчас сказала?

— Люсенька, ты ведь меня не так поняла. Люсенька, я сказала не в том смысле, что бедно, а просто что безвкусно, ты понимаешь? Ты помнишь, нас в прошлом году посылали приветствовать съезд передовиков сельского хозяйства, и там еще была одна передовица — или передовичка, как это правильно сказать,— из какого-то колхоза-миллионера, ты помнишь — на ней еще было пестрое крепдешиновое платье, наверное очень дорогое, с такими вот оборками, а поверх — серый жакет от костюма, английского покроя,— и ты еще сама сказала, что это просто немислимо — такое сочетание, помнишь? Люсенька, я ведь только в этом смысле, просто она мне очень запомнилась, да ведь пойми: Аня ведь тоже совсем не бедная, только у нее нет никакого вкуса, а платьев у нее много, куда больше, чем у меня...

— Так ты в таком случае изволь выражать свои мысли более членораздельно,— сказала Людмила, меняя гнев на милость.— Послушал бы тебя кто-нибудь со стороны!

— Люсенька, ну я больше не буду, честное слово, я всегда буду очень-очень хорошо обдумывать каждое свое словечко! Вот, а на тот вечер я не пошла с Аней только потому, что была в кино с Дежневым. Ну и, конечно, еще потому, что мне с ней действительно неприятно ходить вместе...

— Вот с этого и нужно было начать, что ты была в кино! А то наговорила глупостей... смотри, у меня в кармане нашлась завалящая ириска. Хочешь половинку? На, кусай — только не пальцы. Так ты признавайся, что там у тебя с Дежневым?

Таня покраснела:

— Да так, ничего...

— Слушай, Танька! Ты что думаешь — я слепая?

Таня, зардевшись еще ярче, обняла подругу за плечи и стала что-то торопливо шептать ей на ухо.

— О-о-о,— протянула Людмила,— так вот он какой! А ты его?..

Таня энергично замотала головой:

— Нет, нет, но только...

— Что «только»?

— Теперь я страшно жалею, правда!

— О чем жалеешь?

— Что «нет»...

Архимед поймал Сережку в нижнем коридоре.

— Послушай, Дежнев! Как там с реостатом?

— Ничего, Архип Петрович, отжиг сегодня кончат. Наверно, завтра начнут вить спирали.

— А, это хорошо. Все благополучно? Ты присмотри там, будь ласков, у меня ни минуты нет времени. Что я хотел у тебя спросить... ах, да! Ты принес справочник, что я тебе давал?

— Принес, Архип Петрович, он у меня в парте. Хотите, сейчас принесу?

— Будь ласков, он мне сегодня понадобится. Принесешь в учительскую, я буду там.

Сережка побежал вверх за справочником. В полупустом верхнем коридоре стояли возле окна Таня с Земцевой. Подойти? — с замершим сердцем подумал Сережка. Нет, лучше после. Отнесу Архимеду справочник, он там ждет. Отнесу и вернусь. А у нее волосы красивее, чем у Земцевой, и вообще она лучше. Тоненькая такая, как тростиночка. Таня, Танюша... Как он только мог думать о ней такое — сегодня ночью? Всегда он был перед ней сволочью, с самого первого раза. Сейчас пройду — не окликну, а после вернусь. Чего уж теперь стесняться Земцевой! Таня, Танюша, Танечка...

Девушки стояли к нему спиной, увлеченные разговором. Проходя мимо, он отчетливо услышал Танины слова:

— ...одевается как колхозница, я просто умерла бы, если бы мне пришлось так одеваться...

Войдя в класс, он уже не помнил, зачем пришел. Дежурная, Лена Удовиченко, накинулась на него:

— Дежнев, пожалуйста, убирайся из класса! Сколько раз говорили — не входить в класс на переменах, а ему хоть бы что...

Он молча прошел мимо нее и опустился за свою парту. Ну вот, теперь все ясно. Все ясно. Значит, Николай сразу это увидел, а он сам просто ничего не замечал, не видел, как мальчишка... Ясно — если она может так говорить...

Он вдруг с беспощадной ясностью, словно со стороны, увидел самого себя — свое порыжевшее по швам пальто с заплатами на локтях, свои потерявшие уже всякую форму футбольные бутсы, свой новый мешковатый костюм, которым так гордится мать. Как же она должна тогда смеяться над ним! Он ведь тоже, на ее взгляд, одевается «как колхозник»!

Но почему же тогда она ходила с ним в кино? Почему делала вид, будто ей с ним приятно и интересно? И зачем приглашала к себе?

Простая вещь — со скуки. От нечего делать. Ясно! А он-то думал...

Думал! Что ты там думал — ничего, ни вот на столько — просто смотрел на нее и любовался, и ничего не соображал. Помнишь, с каким выражением она тогда сказала, когда первый раз были в кино: «Но разве я могу жить в такой обстановке?» И ты тогда ничего не понял, даже тогда, и даже подумал сам: конечно, мол, ей это и в самом деле не пристало. «Я бы умерла, если бы мне пришлось так одеваться!» Как же она должна была смеяться тогда над ними, над их квартирой! А ведь ему сказала: «Мне у вас страшно понравилось, правда, ужасно мплая у тебя семья, и комнатка такая уютная — прямо купе». Земцовой этой своей наверняка после говорила: «Живут, как колхозники, я бы просто умерла, если бы мне пришлось так жить»...

Это ведь подумать только — такая на вид... и так врать каждым своим словом, каждым поступком! Ну, ладно. Довольно теперь — поиграли и хватит...

— ...что же из того, что некрасивый, зато он очень мужественный. Ты разве не находишь? По-моему, это главное...

— Ну чего ты ломишься в открытые ворота? Можно подумать, что я с тобой спорю! Я тоже считаю, что он в общем интересный.

— Угу, очень. И потом он страшно умный! Ты же видишь, по математике он идет впереди всего класса. По физике тоже, по химии... ой, знаешь, он мне рассказывал, что хочет стать инженером-электриком — строить за-

воды-автоматы, правда! Ты представляешь, как интересно?

— Представляю. Тебе, конечно, тоже сразу захотелось строить заводы-автоматы?

— Конечно, захотелось. Потом у него ужасно симпатичный брат — такой простоватый, знаешь, но очень симпатичный. И мама, и сестра — все симпатичные, очень. А ты действительно не можешь завтра пойти?

— Ну слушай, Трофимовна уезжает послезавтра утром, не могу же я в последний вечер отправиться в театр!

— Ага, конечно... ну, хорошо, я тогда пойду с Сережей. Я с удовольствием с ним пойду, правда! Вот беда, звонок... идем в класс, Люся, я тогда сразу и скажу ему про билеты...

Таня удивилась, увидев Дежнева, уже сидящего на месте: первым входить в класс после звонка не в его обычае. На соседних партах еще никого не было.

— Здравствуй, Сережа! — Она подошла к нему с сияющим лицом. — Что это у тебя за такой вид — надутый, ужас прямо. Слушай, Сережа, обязательно пойдем сегодня вместе домой, я тебя подожду, если ты задержишься, и потом я хотела сказать — у меня есть билеты в драмтеатр, на завтра, на «Разбойников» — знаешь, Шиллера. Это Люсиной маме дали, она-то сама никогда в театр не ходит, а Люся завтра занята, так что мы пойдем с тобой вместе — вот здорово, а? Ой, Сережа, и что еще я...

— Никуда я не пойду, — сказал Сережка.

— Почему? — удивилась Таня. — Да что это у тебя за вид? Ты что, плохо себя чувствуешь?

— Я больше никуда с тобой не пойду. Ясно? Ни в кино, ни в театр.

— Да что с тобой, Сережа... — прошептала Таня, глядя на него с испугом. — Я просто не понимаю — шутишь ты, что ли... или... или, может быть, ты на меня обиделся за что-нибудь? Хотя я просто не знаю, что я такое могла сделать... Ну хорошо, все равно — тогда прости меня, хотя я просто не знаю, за что! Правда, Сережа, ну скажи мне, в чем дело! Если ты обиделся, что я после уроков ни разу не зашла к тебе в физкабинет, — так я хотела зайти, честное слово, только потом подумала, что, может быть, это тебе будет неприятно — там эти мальчишки еще начнут говорить всякие глупости... а на переменах, ты же сам знаешь...

— Ладно, хватит! — грубо перебил ее Сережка. — Оби-

жаться мне на тебя не за что, а только мне все это надоело! Ясно?

— Как надоело...— Вокруг них, галдя и хлопая крышками парт, рассаживались одноклассники; кто-то оглянулся, она оглянулась машинально, невидящими глазами, и снова уставилась на Сережку.

— Внимание,— закричал кто-то,— на горизонте показался Халдей!

— ...как «надоело», Сережа, я просто не понимаю, что с тобой сегодня делается...

— А вот так и надоело! Пошутили — и довольно. И давай этот разговор кончать, понятно?

— Пошутили? — Таня покраснела до ушей, потом вся кровь отхлынула от ее щек.— Значит, для тебя это была шутка! Ну, хорошо! Только ты напрасно думаешь, что я буду плакать, вот что!

Сережка криво усмехнулся:

— Факт, что не будешь. Такие, как ты, не плачут!

— Что с тобой? — всполошилась Людмила, увидев ее лицо.— Что случилось? Татьяна, отвечай немедленно, слышишь!

— Ничего,— вздрагивающим голосом ответила Таня, кое-как овладев собой.— Пожалуйста, успокойся, совершенно ничего не случилось...

— Как — ничего не случилось? Татьяна, ты у меня дождешься! Вы идете завтра в театр?

— Земцева!! Николаева!! — раздался дикий вопль с учительского места, где уже уместился маленький старичок в остроконечной тубетейке, со сморщенным лицом смугло-желтого цвета и необыкновенно черными и густыми бровями. Халдей славился вспыльчивостью и пронзительным голосом.

— Сколько времени я буду ждать, пока вы соизволите прекратить свой базар?! — кричал он, стуча по краю стола высохшим кулачком.— Не я один, сорок человек вас ждут! А ты, Николаева, особенно поберегись! Ты уже третий раз пытаешься сорвать мне урок! Не думай, что я ничего не замечаю!

Пронзив Таню свирепым взглядом из-под кустистых бровей, он снова уткнулся в журнал, ставя птички,— устной переключки он никогда не делал. Таня входила в число немногих его любимцев, а к ним он относился с особой свирепостью.

Людмила, которая в обычное время служила для все-

го класса образцом благонаправия, на этот раз была слишком взволнована состоянием подруги, чтобы отложить расследование до перемены. Переждав грозу, она снова повторила вопрос — шепотом и не поднимая глаз от раскрытого учебника. Таня отрицательно мотнула головой.

— Он не может? — прошептала Людмила. — Так ты из-за этого так расстроилась? Господи, у тебя был такой вид, будто тебе дали пощечину. Вот чудачка, Танюша, ну пойдете в другой раз...

— Никуда я с ним не пойду, — ответила Таня. — Я не хочу больше ничего о нем слышать, вот. И я так ему и сказала!

— Вы что, поссорились? Почему? Что он сделал?

— Он ровно ничего не сделал. А просто мне надоело, понимаешь! Пошутили — и хватит.

— Татьяна, подумай, что ты несешь! Я с тобой серьезно разговариваю...

— А я серьезно отвечаю! — Таня повысила зазвеневший слезами голос. — Он мне просто надоел, вот и все...

— Николаева! — Весь класс вздрогнул от Халдева вопля. — Опять?! Выйди из класса! Немедленно выйди из класса и стой в коридоре до окончания урока, а после звонка пойдешь со мной в учительскую! На этот раз ты так легко не отделаешься!

Таня вскочила, рванув из парты портфель.

— Книги оставь здесь! — взвизгнул Халдей. — Куда ты собралась?!

Едва удерживая рыдания, Таня с портфелем под мышкой прошла мимо него и выскочила из класса, бросив двери настежь. Все слышали, как она побежала по гулкому коридору и вниз по лестнице, прыгая через ступени.

— Девчонка! — кричал Халдей, потрясая костлявым пальцем. — Истерики мне закатывать! Демонстрации устраивать! Закрывать дверь, дежурный!

Дверь закрыли. В классе было очень тихо.

— Итак, — сказал Халдей, обведя пронзительным взглядом ряды парт. — Андрищенко, вам что-то очень весело, очевидно, вы на этот раз выучили урок. Прошу вас. Что было на сегодня?

— Политика Священного Союза, — уныло сказал Андрищенко, поднимаясь с места. Веселость его как рукой сняло.

— Отлично. Мы слушаем! Прежде чем говорить о его политике, расскажите нам о самом Священном Союзе. Прошу вас!

Халдей вылез из-за кафедры и, заложив руки за спину, пробежался перед доской — от двери к окну.

— Итак, Андрющенко? — крикливо спросил он, стоя возле окна. — Когда, кем и с какими целями был основан Священный Союз?

Андрющенко тяжело вздохнул:

— Ну, Священный Союз... это была такая организация королей... то есть императоров.

— Не только императоров, Пруссия в то время империей не была. Так. Какие же императоры вместе с королем Пруссии основали Священный Союз?

Андрющенко, скосив глаза на соседа, мучительно напрягал слух.

— Ну, эти, как их... императоры Священной Римской империи, — сказал он наконец с облегчением, расслышав подсказку.

Несколько человек в классе рассмеялись. Халдей безнадежно махнул рукой и уселся за кафедру:

— Хватит. Дневник, прошу вас.

— Андрей Никодимыч, за что ж «плохо»? — обиженно возопил Андрющенко, глянув на вписанную Халдеем отметку.

— За нежелание думать! Вот за что!

Серезка сидел словно окаменевший, ничего не видя и не слыша. Перед его глазами стояло ее лицо с закушенными как от боли губами — когда она пробежала мимо Халдея... и этот звук — быстрый топот легких каблучков, удаляющийся в сопровождении гулкого эха... где это он слышал, точно такое вот... да — это ведь в тот вечер, во Дворце пионеров. «Жду на улице! Погоди, выйдешь только — я так тебя отделаю!» — и такой вот, точно такой же топот по коридору, все дальше и дальше... Серезка моргнул и с трудом проглотил подкатившийся к горлу комок.

Марья Гавриловна осторожно постучалась к матери-командирше.

— Зинаида Васильевна, вы бы посмотрели зашли, с Танечкой чтой-то не ладно...

— А что с ней?

— Уж и не знаю, — развела руками домработница, — со школы прибежала раньше обычного, кушать не стала ничего, а сейчас лежит — слезами заливается... и в толк не возьму, что за причина такая может быть.

Мать-командирша нахмурилась. Тень влорядного любопытства, скользнувшая по озабоченному, с постно под-

жатыми губами лицу Марьи Гавриловны, очень ей не понравилась.

— Вот что, мать моя, — решительно сказала она, начиная развязывать передник, — иди-ка ты сейчас домой, отдыхай. Если что нужно будет, я сделаю.

— У меня обед варится, Зинаида Васильевна, — недовольно отозвалась домработница, еще больше поджимая губы.

— Ничего, я доварю. Ступай, Гавриловна, — добавила она более мягким тоном, — отдохнешь лишних полдня, небось уж набегалась. Годы наши с тобой уже не молоденькие. Чего нам тут вдвоем толочься... а у Татьяны это уж до вечера. Я ее знаю: как в школе плохую отметку получит, так сейчас и в рев...

Марья Гавриловна ушла с оскорбленным видом, унося с собой многозначительную усмешку — знаем мы, мол, эти «плохие отметки».

Таня лежала ничком, уткнувшись лицом в подушку, вся судорожно дергаясь от рыданий. Мать-командирша посмотрела на нее, решительно нагнулась, подхватила под мышки и, рывком поставив на ноги, повела в ванную. Там она пустила в душ холодную воду, без церемоний взяла Таню за шиворот, нагнула и сунула головой под ледяные струи. Та, захлебнувшись от неожиданности, попробовала было вырваться, но могучие руки матери-командирши держали ее крепко.

Закончив процедуру, мать-командирша отпустила свою жертву и закрыла кран.

— На, утрись! — сказала она, протягивая Тане полотенце. — Утрись, да пойдём-ка, мать моя, ко мне — потолкуем.

У себя в комнате мать-командирша зачем-то заперла дверь на ключ, спрятала его в карман и приступила к допросу.

— ...я вам ничего не скажу, — повторяла Таня, вся мокрая и несчастная, дрожащим от холода и переживаний голосом, — совсем ничего со мной не случилось... просто я себя плохо чувствовала... у меня болела голова...

Но от матери-командирши не так просто было отделаться. Потеряв терпение, она застучала по столу ладонью и крикнула, что если она, Татьяна, сию же минуту не расскажет ей все, как есть, то она выдерет ее, Татьяну, как сидорову козу, даром что за ней уже кавалеры бегают. Неизвестно, что больше подействовало — угроза или упоминание о кавалерах, — Таня опять расплакалась и, между стонами и всхлипываниями, честно рассказала

всю историю — от первой их встречи в апергетической до сегодняшнего разговора. Выслушав до конца, мать-командирша помолчала.

— Это и все? — строго спросила она наконец.

— Все, Зинаида Васильевна...

— Только раз тогда тебя и поцеловал, а, Татьяна? Глянь-ка мне в глаза...

Таня, краснея, открыто посмотрела ей в глаза.

— Честное слово, Зинаида Васильевна, один раз... потом начали говорить про Финляндию...

— Ну ладно, ладно... ох, горе ты мое, ну поди сюда.

Мать-командирша обняла Таню и притиснула ее мокрую растрепанную голову к своей обширной груди. Таня снова затряслась в беззвучных рыданиях.

— А реветь нечего, — сказала старуха. — Эка беда, подумаешь! Ну, поругались и поругались, сто раз еще помиритесь...

— Да, а если он... если он сказал, что я ему надоела!

— Ладно, ладно, будет тебе. Платок хоть возьми, рёва. Мало что он сказал... может, ты еще и не поняла как следует. А если и сказал? С чего тут нюни-то распускать? Эка беда, в самом деле. Да мало ли что говорят, как осерчают! Мужики народ такой, это уже дело известное, — иной и прибьет сгоряча, и за косы оттаскает...

— Пусть только попробует, — угрожающе сказала Таня сквозь слезы.

— Да не про него я, горе ты мое, это я к примеру. В старину как говорили? — не бьет, мол, значит, не любит. А уж без ссоры не проживешь! Тут, Татьяна, дело простое: любит он тебя — все у вас наладится, пересердится он, поостынет и сам же придет с повинной. А коли и вправду ты ему надоела, так нечего по нему реветь, по поганцу. Радоваться надо, что вовремя себя показал!

Мать-командирша погладила ее по голове своей широкой ладонью и вдруг, совершенно неожиданно, сердито закричала:

— А ты сама смотри, Татьяна! Пусть-ка я тебя еще где с парнем каким увижу, — приведу домой за ухо и выпорю, ей-богу выпорю! Бесстыдница тоже, семнадцатый год только пошел, а она воп чем занимается! Ты не думай, что на тебя управы не найдется: дядька твой как уезжал, так он мне все полные полномочия предоставил! Приедет, так хоть на голову ему садись, а покамест нет его — я за тебя в ответе. Теперь так будешь — в школу да домой, за уроки, а больше ни ногой никуда! Хватит разных этих кино! Еще если с Людмилой куда пойти —

это можно, только пускай она сама всякий раз позволения у меня спрашивает. А если, не дай бог, хоть один поганец надумает опять в гости к тебе явиться — вот те крест, Татьяна, — приду, выволоку за шиворот и спущу с лестницы! Ты меня знаешь, я коли чего сказала, то так оно и будет. Довольно! Вот придет Семеныч, разрешит — тогда гуляй на здоровье. А покамест и думать про веселье забудь! Ступай помойся, волосы расчеши, обедать будем. Ишь, мать моя, обревелась вся как есть...

Сережка едва дождался конца уроков, — уйти раньше помешало упрямство и какая-то озлобленная гордость. Но эти три часа дались ему нелегко. Выйдя наконец на улицу, он чувствовал себя совсем больным. Ему хотелось только одного — прийти домой, каким-то чудом избежать расспросов матери и замкнуться на ключ у себя в комнате.

Тяжело поднявшись на крыльцо, он прошел темные сенцы, толкнул дверь — и сразу понял, что случилось что-то плохое, очень плохое. У Зинки были красные, заплаканные глаза, мать стояла у плиты, согнувшись более обычного, и даже не оглянулась, когда он вошел в комнату. За обеденным столом сидел Николай, прямо в своем рабочем, лоснящемся от машинного масла ватнике, сдвинув на затылок кепку, и барабанил по столу пальцами. Все это Сережка увидел сразу, еще не успев приотворить за собою дверь.

— Что случилось? — громко спросил он с заколотившимся от непонятного испуга сердцем. — Ты что, Коль?

— Здорово, Сереж. — Николай улыбнулся и снял кепку, словно дожидался для этого возвращения брата. — Такое, понимаешь ты, дело... придется мне повоевать маленько с белофиннами...

— Тебе? — Сережка стоял, ничего не понимая. — Почему? Мобилизация, что ли? Призвали тебя?

— Какая там мобилизация... Да раздевайся ты, ну чего стал! Чего вы, в самом деле, панику все разводите...

Сережка бросил портфель, снял пальто и нацепил на гвоздь. Разделся и Николай. Повесив ватник рядом с Сережкиным пальто, он подошел к рукомоЙнику и стал намыливать руки.

— Дело, видишь, тут такое... ты вот объясни тут маме и Зинке, а то они и слушать не стали — сразу в слезы... Был у нас сегодня митинг. Общезаводской. Ну, директор, понятно, выступил — разоблачил англо-французскую политику... финны-то не сами полезли, это факт...

Николай говорил неторопливо, согнувшись над руко-

мойником и позвякивая стерженьком. «Ну, так что же случилось!» — хотел крикнуть Сережка.

— Ну, после парторг наш говорил, насчет помощи фронту... словом, приняли резолюцию послать на фронт нескольких коммунистов. Стал народ записываться. А я, Сереж, это дело так понимаю...— Николай выпрямился и, с силой отряхнув руки, потянулся за полотенцем.— ...Тут ведь что греха таить — есть у нас такой народ, что ему партбилет заместо совести. На партсобрании выступить или там в цеху насчет стахановских методов и производительности — это он умеет, а чуть что... ну, да пес с ними. А с меня какой оратор? Я и кончил-то всего шесть классов, даже семилетку не осилил... Секретарь наш, Алексей Палыч, сколько раз, бывало, мне говорил: ты, говорит, Дежнев, больно уж какой-то пассивный, только с тебя и прибыли, что членские взносы регулярно платишь. Так вот, я говорю, я так понимаю, что если уж быть в партии — так это нужно как-то оправдывать...

Сережка сел за стол, расставив локти, и уткнулся лбом в сплетенные кисти рук. Он почувствовал вдруг такую страшную усталость от всего случившегося в этот день, что не было даже мыслей.

— В общем, ты записался добровольцем,— сказал он негромко, не поднимая головы.

— Ну факт, записался,— подтвердил Николай и тоже подсел к столу.— Я ж тебе объясняю, Сереж,— нельзя было иначе... и так уж коммунист из меня не ахти какой, а если бы я еще и тут сдрейфил... да как бы я тогда ребятам в глаза глядел, пойми ты!

— Я понимаю,— тихо отозвался Сережка.— Еще бы. Раз нужно — нужно, что об этом говорить...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Из дневника Людмилы Земцевой

14.XII.39

Мне все-таки кажется, что В. Г. немного ко мне равнодушен. Сегодня нужно было начертить на доске структурную схему Верховного Совета, и я не знаю, что со мной случилось — совсем забыла, как расположены Совет Союза и Совет Национальностей, рядом или один над другим. Хорошо еще, что наш учитель сидел, как всегда, уткнувшись носом в книгу, а в классе сразу все уви-

дели, что я плаваю. В. Г. засуетился больше всех и сразу стал рисовать шпартгалку, но, пока он рисовал, Т. просто открыла книгу и показала мне схему. Мне кажется, В. Г. очень огорчился тем, что не успел подсказать.

До сих пор не выяснила, за что С. Д. так обиделся на Т. Я ее уже расспрашивала раз сто, и она мне рассказала совсем подробно — до деталей — последнюю их встречу. Действительно, ничего нельзя понять. Единственное объяснение — клевета. Кто-то наклеветал ему на Т.

С одной стороны, это ужасно, когда любовь гибнет из-за клеветы (пример — Ф. Шиллер, «Коварство и любовь»), но, с другой стороны, это показывает, что любовь эта была ненастоящей, потому что настоящая большая любовь сильнее всякой клеветы. Я все время утешаю Т. этим тезисом. Бедная, она так переживает! Но вот сейчас, когда я написала это на бумаге, мне вдруг пришло в голову, что это не всегда так: иногда клевета может погубить и самую огромную, настоящую любовь (пример — В. Шекспир, «Отелло»). Ужасно все это.

А в общем, С. Д. — просто дурак. По-моему, это очень не по-мужски — за что-то обидеться и молчать, ничего не объясняя. Я ведь очень хорошо вижу, что он и сам тяжело переживает эту историю. А когда я к нему раз подошла и хотела поговорить по-хорошему, то он не стал меня слушать и грубо сказал, чтобы я к нему с этим не лезла. Разве так должен поступать настоящий мужчина? Если когда-нибудь у меня получится что-нибудь подобное с человеком, которого я люблю, то я приду к нему и за один разговор выясню все до конца. Иначе может быть так, что порвешь, а потом начнешь думать: вдруг это было просто недоразумением? (Много примеров в литературе.) Мне их обоих очень жалко. Конечно, Т. — больше, девушка всегда в таких случаях оказывается в худшем положении. Если она начнет добиваться выяснения, то про нее начнут говорить — навязывается, вешается на шею.

У С. Д. старший брат записался добровольцем в Финляндию. Т. боится, чтобы не послали туда Александра Семеновича, от него давно нет писем.

Как только началась война, появились очереди за хлебом. Все очень удивляются. Дают по килограмму в одни руки, и обычно приходится стоять несколько часов. Некоторые девочки из нашего класса сразу из школы идут занимать очередь. Тем, у кого нет сестры или брата, чтобы сместить, приходится иногда стоять до шести или даже до восьми часов вечера, и это сразу заметно снизило

успеваемость в классе — не остается времени на домашние задания. Я в институтском распределителе беру хлеб для Наташи, а Т. как-то ухитрилась устроить в военторге «блат» для Иры Л. Я только сейчас поняла, как это неприятно — пользоваться привилегиями, когда другие их не имеют. А с другой стороны, отказаться тоже было бы глупо, потому что так я хоть могу помочь одной Н., а то не помогала бы никому.

18.XII.39

Только что вернулась с катка. Ташила Т. к себе ужинать, но она побежала домой — вдруг там уже пришло письмо от Александра Семеновича. На катке был В. Г. и проводил меня до нашего угла, но потом ушел. Господи, какой он чудак! Просил найти покупателя на хорошие беговые коньки: оказывается, это продает С. Д.

25.XII.39

Сегодня в школе объявили о проведении во время новогодних каникул военизированного лыжного кросса в честь Красной Армии. Эта ненормальная Т., конечно, сразу же записалась, хотя на лыжах ходит не так уж хорошо. Говорит: «Ничего, научусь!» В принципе это правильно, но все-таки она ненормальная, я так ей и сказала. А она говорит: «Ну и пусть, а я не стану сидеть дома, когда наши бойцы дерутся на Карельском перешейке при сорокаградусном морозе!» Как будто она поможет им этим своим участием в кроссе.

Между прочим, учиться она теперь совсем бросила, я просто не знаю, что с ней делать. Завуч просил на нее повлиять. Я, говорит, не хочу принимать пока никаких мер исключительно из-за ее дядюшки, — да, я ведь совсем забыла написать, что от него пришло письмо, и из письма можно понять, что он тоже в Ф. Завуч так и сказал: «Человек сейчас на фронте, не хотелось бы огорчать его еще и этим». Мне и самой уже за нее стыдно: за прошлую неделю она умудрилась нахватать четыре «пос» и целых два «плохо». Сейчас уже все равно ничего не получится, а после каникул я за нее возьмусь.

У мамы в институте арестовали дворника. Говорят, что он был финским шпионом. Мама этому не верит.

27.XII.39

Сегодня нас — шесть человек — приняли в комсомол. Я только что вернулась из райкома. Было очень торжественно — в общем, писать об этом как-то трудно. С бед-

ной Т. чуть не получилась история из-за ее безобразной успеваемости, но она дала торжественное обещание, и за нее поручились, так что все сошло благополучно. Когда возвращались, Т. спросила, можно ли теперь торжественно сжечь наши пионерские галстуки. Я сказала, что, по моему, нельзя.

30.XII.39

Ура, ура, ура — начались каникулы! Мама, как всегда, встречает Новый год со своими сотрудниками, у кого-то на квартире, а мы с Т. решили пойти на школьный бал. Девятиклассницы, комсомолки — шутка сказать! Т. то плачет, вспомнив про Ал. Сем., то сияет при мысли о новогоднем бале. Хотела обрезать косы, я ей не дала.

Сегодня я много думала о ее характере. Трудно придумать что-нибудь более (слово вымарано) — в общем, я даже не знаю, как его определить. Противоречивый — не совсем точно. Это даже не то что противоречия: все ее качества очень хорошо прикладываются одно к другому. Просто я иногда чувствую, что не смогла бы сразу ответить на вопрос — является ли Т. образцом девушки нашего времени. То есть не в смысле типичности, нет, конечно, а просто в смысле того, можно ли безусловно ставить ее в пример, хотеть быть такою, как она.

Это получается как-то странно. С одной стороны, у Т. целая куча таких качеств, которые никак не назовешь положительными: она и немного легкомысленна, и приврать может, даже есть в ней что-то вроде эгоизма, только не совсем, а в мягкой форме — просто она иногда совершенно искренне считает, что все должно делаться именно так, как лучше и удобнее ей. Я уверена, что если бы какой-нибудь писатель взял и описал девушку с такими качествами, то получилась бы отрицательная героиня. А Т. совсем не отрицательная, даже наоборот. Как это у нее получается, я не знаю, но это факт. Какой все же дурак С. Д.!

Вчера разговаривала с Лихт-ом. Они ведь дружат, и я недавно попросила его, чтобы он выяснил причины ссоры. Так вот, вчера он мне сказал, что пытался два или три раза, но что Д. не хочет на эту тему разговаривать, а в последний раз даже сказал, что если Л. будет еще приставать к нему с этим делом, то получит в ухо. Просто с ума сошел.

1.1.40

С Новым годом, с новым счастьем! День сегодня просто изумительный — мороз и солнце, совсем как у Пуш-

кппа в «Зимнем утре». Только что вернулась домой, провожала Т. на лыжную станцию, откуда начался этот знаменитый кросс. Как она выглядела в последнюю минуту перед стартом — в полном снаряжении, на лыжах, с рюкзаком и скатанным одеялом через плечо, — лучше не описывать, это было печальное зрелище. Она ведь совершенно не выпалась после нашей новогодней оргии.

Теперь о самой оргии. Сначала мы были на балу в школе. Я надела свое коричневое бархатное, а Т. была в новом шерстяном темно-синем, с беленькими мапжетами и беленьким воротничком. Сарра Иосифовна едва успела дойти, Т. очень волновалась. Она оказалась в этом платье такой хорошенькой, что я даже удивилась. Ей вообще больше идут вещи закрытые, такого строгого английского стиля. Ну, в школе все было как всегда: преподаватель пения играл на пианино, потом десятиклассники притащили радиолу и танцевали под грамзапись. Главным образом вальсы и немного фокстротов. Некоторые преподаватели были с женами. Халдей тоже явился, в своей тубетейке, и даже пригласил Т. на вальс — только затем, чтобы лишний раз за что-то отчитать.

После окончания бала мы отправились к Т. вчетвером, с Ирой и В. Г. Она, конечно, блеснула: когда пришли, оказалось, что есть нечего, домработница ничего не приготовила. Хорошо еще, что нашелся хлеб и банка мясных консервов. Зато было вино — Т. купила бутылку какого-то вина, которое, по ее словам, любит Ал. Сем. Не знаю, мне его вкус не понравился, какое-то кислое. В. Г. говорит — «настоящее сухое», подумаешь, какой зва-ток. В общем, мы эту бутылку благополучно распили вчетвером. Т. достала в своем военторге «мишек», так что кислота была не так заметна. В пять часов утра В. ушел, а мы болтали еще целый час, пока не заспули, а в восемь уже нужно было вставать, потому что старт был назначен на десять часов.

Удивительное совпадение — В. Г. тоже был в коричневом костюме. Мне он *определенно нравится*.

Ура, ура, ура — впереди целых двенадцать свободных дней! Ничего не буду делать, даже писать дневник. Только читать. В. спросил меня, буду ли я бывать на катке, и на каком — «Динамо» или пищевиков. Я ответила, что каждый день, на «Динамо».

Сегодня, вернувшись домой, я нашла у себя на столе мамин подарок — крошечные дамские часики, как раз о таких я и мечтала! Бедная мама, кажется, угадала в первый раз, вообще мне с маминими подарками страшно не

везет. Никогда не забуду ее подарка к моему тринадцатилетию: мне тогда так хотелось получить хороший альбом и ящик акварели, а мама подарила мне турник. Специальный динамовский турник, с никелированной штангой и растяжными тросами. Из института приходили двое рабочих, устанавливать его в саду. Там он до сих пор и торчит, я ни разу к нему не подошла. Вообще, никогда нельзя знать, что маме придет в голову.

14.1.40

Не бралась за дневник ровно две недели. Занятия, к сожалению, вчера начались. Самое печальное время — конец зимних каникул. Когда кончаются летние, то уже успеваешь соскучиться по школе, и потом вообще все интересно: новый класс и т. д. А сейчас отдохнуть по-настоящему не успеешь, праздники окончены, впереди целая зима безо всякого просвета и самая противная четверть — третья. Почему-то преподаватели больше всего свирепствуют в третьей четверти, это все знают.

Т. вернулась с кросса благополучно. За эту неделю она ужасно похорошела. Я ее прямо не узнала! Наверное, от мороза и свежего воздуха. Хотя это и не педагогично, но я не удержалась и сказала: «Какая ты стала хорошенькая!» А она в ответ только пожала плечами и сказала, что для нее это никакая не новость, потому что во время кросса ей целых три человека объяснились в любви: Игорь Б., физрук (правда, этот не совсем, а только пытался) и секретарь комсомольской ячейки в Ново-змиевке. Я только хлопнула глазами, а потом сказала, что Игоря можно не считать, потому что он объясняется в любви решительно всем. Т. подумала и сказала: «Ну хорошо, тогда два. Но все равно, за одну неделю!» Потом она взяла лист бумаги и карандаш и принялась что-то считать и наконец заявила, что выходит сто с чем-то поклонников в год. Я сказала, что для того, чтобы получилось столько поклонников, нужно, чтобы ей в течение всего года два человека объяснялись в любви еженедельно, а она на это возразила, что С. Д. объяснял ей, как высчитывается скорость гоночного самолета: если он достиг скорости 500 километров в час, то это вовсе не значит, что он действительно летал целый час и пролетел 500 километров; он летит всего пять минут, а потом это подсчитывается, умножая на 12. Поэтому она и может говорить, что у нее в год бывает сто четыре поклонника. Вот логика!

Нам везет в этом году на ленинградских гостей — три

дня гостил Алексей Аркадьевич Б. Он говорит, что в Л. много раненых. А. А. разговаривал с некоторыми из них в одном госпитале. У финнов сильная оборона, дороги минированы, и у них есть снайперы, которых называют «кукушками», потому что они прячутся на деревьях. Я рассказала об этом В., но просила, чтобы он не вздумал сказать Т., иначе будет истерика на целую неделю. А. А. пригласил меня приехать на лето к ним в Ленинград, если к тому времени кончится война.

Вчера вечером был убийственный разговор с мамой. Когда она позвала меня в свой кабинет, я сразу догадалась, что будет экстренное сообщение. Мама села за письменный стол, меня усадила напротив и стала говорить о том, что я уже почти (хм, хм!) взрослая девушка и что она, будучи в основном довольна моим умственным развитием пропорционально возрасту, считает нецелесообразным продолжать скрывать от меня некоторые вещи, о которых всякая девушка рано или поздно должна узнать. Тут она торжественно отперла средний ящик и достала толстую книгу. Я ее, конечно, сразу узнала. Мама протянула мне ее и сказала совсем уже торжественным тоном: «Люда! Прочитай это внимательно, правильное сказать — проработай, и потом мы с тобой побеседуем». Я не знаю — может быть, лучше было бы умолчать, но у меня просто язык не поворачивается врать маме. Никого нельзя обмануть так легко, как маму. Разве вот еще Т. — та тоже страшно доверчивая. В общем, я сказала: «Мамочка, ты, пожалуйста, не обижайся, но мы с Таней эту книгу проработали ровно год тому назад, и все это слишком противно, чтобы перечитывать опять». У бедной мамы чуть пенсне не свалилось от неожиданности. Она молча смотрела на меня несколько секунд и потом с горечью сказала: «Я никогда не допускала мысли, что моя дочь может читать такие книги, не поставив меня в известность!» Я хотела ответить, что эти медицинские книги, по-моему, всегда читают без разрешения родителей, но вместо этого почему-то сказала совсем уже глупо: «Я тебя и поставила сейчас в известность». Мама, конечно, совсем обиделась: «Об этом нужно было подумать год назад. Повторяю — от тебя я этого не ожидала. Двое суток с тобой не разговариваю». Я попросила прощения, но мама осталась неумолима. Впрочем, двое суток — это еще не так страшно. В прошлом году, когда я разбила этот несчастный потенциометр, мама объявила мне молчание на девятнадцать суток — почему-то именно на девятнадцать, такое странное число.

Нужно кончать, в шесть зайдет В. — на каток. В своих чувствах к нему я еще и сама не окончательно разобралась (несколько слов густо зачеркнуты). Т. уверяет, что это по-настоящему. После истории с С. Д. она стала относиться ко мне в таких вопросах прямо снисходительно — с высоты своего огромного опыта. Сама она считает, что в ее жизни любви больше не будет, потому что любить можно только один раз.

2

Глушко жили на северной окраине города, где с незапамятных времен селились зажиточные рабочие, ремесленники и мелкие лавочники. Революция, сильно изменившая социальный состав населения Замостной слободки, почти не затронула ее внешнего облика: остались те же кривые переулочки с лебедой и пышными лопухами, те же козы на привязи возле канав, те же крытые железом домики в два-три — с геранями и занавесочками — окна на улицу, с застекленными галерейками, с серебрястыми от старости дощатыми заборами, из-за которых свешивается черемуха и каждую весну метет по узеньким тротуарам бело-розовая метелица вишнего и яблоневого цвета.

Правда, слободку электрифицировали, понаставив по улицам столбов с зелеными, бутылочного стекла, изоляторами — вечными мишенями беспощадных рогаток слободской ребятни, да на перекрестке двух мощных улиц, Красноармейской и Жертв Революции, воздвигли гипсовую статую Ленина.

Статуя и столбы надолго остались единственными зримыми приметамы нового в Замостной слободке; год за годом цвела и отцветала черемуха, дома на Красноармейской ветшали без капитального ремонта, и на блеклых вывесках артелей и торговых точек все явственнее проступали яти и твердые знаки, затейливо выписанные прочными старорежимными колерами. Большой конфуз получился с местной ячейкой Осоавиахима. Ячейка занимала на Красноармейской какое-то бывшее торговое помещение с витриной, еще от бурных времен батек и гетманов хранящей лучистую пулевую пробойну, заделанную деревянной розеткой. В витрине красовались пыльные макеты фугасных и зажигательных бомб, похожий на маленькую сеялку дегазатор, противогаз, два пожарных топора и желтый противоопритный костюм, вызывавший вожделения прохожих добротностью непромокаемого ма-

териала. По фасаду здания шел лозунг: «Обеспечим противоздушную оборону нашего города», а ниже совершенно отчетливо проступала странная надпись: «Торговля църковной утварью Фьоктиста Артамоновича Протопопова съ сыновьями». Феоктист Протопопов с сыновьями, призывавшие обеспечить противоздушную оборону Энска, были постоянным развлечением посетителей пивной через улицу. Когда осовахиимовцам это надоело, они устроили воскресник и забелили семейство Протопоповых известкой, которую им для этой цели пожертвовал трест коммунального хозяйства.

Когда несколько лет назад было разрешено — официально или полуофициально — частное домостроительство, в слободке то тут, то там стали появляться плоды личной инициативы. Среди старых домов, потемневших от времени и уютно обросших сарайчиками и курятничками, они выделялись блеском новой штукатурки, белизной этернитовых крыш и сливочной желтизной некрашенных окон и дверей. Лишенные, как правило, заборов и ставень, белые домики производили впечатление почти неприличной оголенности.

В одну из таких новостроек вселилась прошлой осенью семья бухгалтера Василия Никодимыча Глушко. В свое время Василий Никодимыч успешно справлялся с обязанностями главбуха довольно крупного треста, а все последующие годы работал в незаметных, но уютных организациях, в наименования которых обычно входили слова «сбыт» или «снаб». Верный своему безошибочному чувству меры, Василий Никодимыч был очень осторожен и манной небесной, которую провидение так щедро посылает работникам товаропроводящей сети, пользовался ровно настолько, чтобы не впасть в другую крайность и не прослыть человеком подозрительно честным. Поэтому семья Глушко жила очень скромно — ничем не лучше, чем семьи других служащих с семисотрублевой ставкой.

Единственное, в чем Василий Никодимыч позволил себе использовать до какой-то степени свои многочисленные связи и знакомства, это была постройка собственного домика. Не нужно, впрочем, думать, что здесь имели место какие-нибудь махинации с фальшивыми накладными или списанными налево материалами, — на это он никогда не пошел бы. Просто он ухитрился раньше других застройщиков получить ордерок на лес, на этернит, на оконное стекло или гвозди дефицитного размера.

Все это стоило больших хлопот и больших денег. Наконец, осенью тридцать девятого года дом был черне го-

тов, и из коммунальной квартиры на четвертом этаже жилмассива Глушко перебрались в Замостную слободку, на улицу с непривычным названием Подгорный спуск.

Конечно, жизнь в собственном доме имела свои неудобства. Не было асфальта, не было канализации, за водой приходилось бегать к колонке на угол, не было радио, первые два месяца не было даже электричества. Но Глушко-старшие не унывали: главное — иметь собственный дом, а все остальное устроится.

И действительно, постепенно все устроилось. Провели радио, одна из соседок согласилась взять на себя ежедневную доставку воды, и даже дощатая будочка в глубине двора сделалась чем-то совершенно привычным. Труднее было со светом: многие застройщики ждали подключения по полгода, а то и дольше. Но Василий Никодимыч заскочил в управление горэлектросети, наметанным взором оценил обстановку и поговорил с нужным лицом. На следующий день домработница нужного лица отправилась с записочкой Василия Никодимыча на один из сельхозснабовских складов, где ей было отпущено десять кило жидкого мыла (с мылом в городе было в этот период очень трудно), и еще через неделю в доме Глушко засияли новенькие лампочки.

В конце концов, все устроилось настолько, что даже старший из трех отпрысков Глушко — Вовочка по-маминому или Володька-шалопай по-папиному — примирился с перспективой жить в собственном доме.

Произошло это не сразу. Отнюдь не разделявший собственнических наклонностей своих родителей, Володя Глушко воспринял переселение в Замостную слободку как большую личную трагедию. Шутка сказать — добровольно уйти из жилмассива в самом центре города, в двух шагах от площади Урицкого! Все кино — рядом, до школы — рукой подать, Дворец пионеров — в двух кварталах... и все это бросить — ради чего? Ради «собственного дома» где-то у черта на куличках. И это через месяц после вступления в комсомол! Правда, Лешка Кривошеин, к которому он обратился за советом, к его удивлению, сказал, что если бы жизнь в собственном доме противоречила общественной этике периода строительства социализма, то — надо полагать — партия и правительство не разрешили бы гражданам обзаводиться домами. На данном этапе, сказал Кривошеин, пока государство не может еще обеспечить всех граждан коммунальными квартирами, частное домовладение не противоречит социалистической морали. Все это так, но Володю Глушко продолжал

грызть червяк сомнения. Комсомолец — и вдруг домовладелец! Или даже «сын домовладельца» — это почему-то звучит еще гнуснее...

Было и другое обстоятельство, делавшее для него невозможной мысль о переселении, — соседи по жилмассиву. Володя знал, что в слободке у него уже не будет таких знакомых, как радиолюбитель инженер Зеленский, обладатель роскошного девятилампового СВД-9, к которому можно было зайти в любой час суток — послушать за границу, или как братья Аронсоны с третьего этажа, заядлые филателисты и вообще замечательные ребята, или, наконец, как ближайшая соседка по коридору Талочка Ищенко. Та самая Талочка, с которой он однажды очутился в застрявшем между этажами лифте, потеряв при этом полчаса драгоценного времени и собственное сердце.

Короче говоря, Володя Глушко решил, что пора начинать самостоятельную жизнь. Старики с Олегом и Ленкой могут перебираться на свой Подгорный спуск, а он отлично заживёт и один. Большую комнату обменяет на меньшую в этом же корпусе, питаться будет в столовке. А стариков можно навещать по выходным, в чем дело?

Всесторонне обдумав план, Володя довел его до сведения стариков. Мама заплакала, так ничего и не ответив, а разговор с папой получился коротким, но бурным.

— ...Это просто черт знает что такое! — крикнул в конце концов Василий Никодимыч, не попадая в рукава пальто (объяснение происходило утром, и он опаздывал на службу). — Уму непостижимо — дожить до такого возраста и остаться дурнем! Я в семнадцать лет взводом командовал, у меня люди были на ответственности! Постыдился бы! — И хлопнул дверью.

— Конечно! — петушиным голосом закричал вслед Володя. — Ты командовал взводом, а мне нельзя остаться жить одному!! Съедят меня тут без вас, еще бы!!

«Вечная проблема, будь она проклята, — думал он, ожесточенно закидывая в портфель учебники. — Отцы и дети! Хоть бы капля понимания...»

Делать нечего, пришлось переезжать на Подгорный спуск. Произошло это в конце октября, когда дожди превратили немощные слободские улицы в реки жидкой грязи. Ходить можно было кое-как только по тротуарам, а на перекрестках приходилось, балансируя руками, перепрыгивать с одной кочки посуше на другую. Володя злорадствовал от всей души. На третий день после переселения, вечером, он демонстративно явился домой без правой галоши, до колен заляпанный грязью.

— Можете радоваться, — мрачно заявил он старикам, — одну уже потерял. Засосало как трясинной, просто что-то потрясающее...

Заняв непримиримую позицию, Володя пребывал в ней, пока не ударили морозы. Зимой слободка выглядела не так удручающе, соседние ребята оказались достойны внимания, среди них нашелся даже один филателист. Володя стал понемногу смиряться. Окончательно же преимущества домовладения стали ему ясны, когда отец заключил с ним договор: он, отец, весной дает ему средства на оборудование мастерской-лаборатории, а сын обязуется за лето соорудить в огороде ирригационную систему по последнему слову техники. Перед ним открылось широчайшее поле для изобретений и экспериментов, о котором, разумеется, в жилмассиве нечего было и мечтать. Вспомнив Генриха Четвертого, Володя решил, что если Париж стоил мессы, то и собственная лаборатория стоит переселения на окраину.

Что же касается Талочки Ищенко, то ее место в Володином сердце было теперь прочно занято Людмилой Земцевой.

Он никак не мог понять — почему это случилось так внезапно. До этого они были знакомы уже давно. Четыре года сидели вместе в одном классе — ничего; позапрошлом лето провели вместе в одном лагере — тоже ничего; выполняли вместе нагрузки и общественные поручения — опять-таки ничего; просто в числе сорока одноклассников и одноклассниц была такая Земцева — довольно симпатичная девочка с черными внимательными глазами, круглая отличница, всегда отвечавшая без запянки, правильно строя фразы своим аккуратным, неторопливым голоском.

Рядом с ней всегда неотлучно находилась ее неугомонная подруга — вечно что-то жующая, или болтающая, или просто хохочущая во всю глотку — курносая москвичка, которую судьба так не по заслугам сделала племянницей кумира 46-й школы майора Николаева. Отсвет славы героя Халхин-Гола, в лучах которой, как воробей на солнце, купалась взыбалмошная племянница, падал и на ее подругу. Про Земцеву часто говорили: «Да ты ее знаешь — это та самая, что дружит с Танькой Николаевой, у которой дядька...» Не замечать Николаеву было невозможно, и, может быть, только благодаря этому Володя Глушко и обращал иногда внимание на Земцеву — почти всегда в

связи с какой-нибудь очередной выходкой ее отчаянной подружки.

Но однажды, в начале декабря, случилось странное происшествие. Впрочем, это даже нельзя было назвать происшествием — так незаметно и до странности обычно это получилось. Володя отвечал у доски; взглянув на благополучно решенное им уравнение, математик кивком головы отпустил его на место и тотчас же, видимо торопясь закончить опрос, громко сказал: «Земцева, к доске». Земцева встала, вынув из парты дневник. Володя задержался на секунду возле стола, чтобы не столкнуться с девушкой в узком проходе между партами; проходя мимо, она положила дневник перед преподавателем и бросила на Володю короткий внимательный взгляд. Ему показалось, что она чуть покраснела, и уж во всяком случае он ясно успел заметить, как — словно испуганные — дрогнули и быстро опустились ее ресницы. Все это произошло в течение одной секунды, — потом Земцева прошла к доске, а Володя сел за свою парту и ошеломленно уставился в окно, за которым беззвучно кружили снежные хлопья. Он все еще не мог прийти в себя, пораженный только что сделанным открытием: ему еще ни разу не приходилось видеть такой красивой девушки, как Земцева. Почему же он не замечал этого раньше — не могла же она похорошеть так вдруг, сразу? А впрочем... он определенно видел где-то похожее лицо... где бы это могло быть?

— Глушко! Ты что — заснул? — резко окликнул математик. Володя вскинулся — преподаватель, хмурясь, смотрел на него, держа дневник в протянутой руке.

Он пробормотал какое-то извинение, вернулся к столу, взял дневник и, даже не глянув на полученную отметку, сунул в парту. Земцева, деловито постукивая мелом, писала на доске формулу за формулой. Володя смотрел на нее не отрываясь. Даже такая простая вещь, как стоять у доски, и то выходит у нее красиво... Как он не замечал всего этого раньше! Но где, где он мог видеть похожее лицо?

На большой перемене его вдруг осенило. Он помчался в библиотеку и потребовал альбом итальянской живописи эпохи Возрождения. Перекидывая плотные страницы, он в нетерпении закусил губы. Ну конечно — вот оно!

Девушка — или очень молодая женщина — сидит в кресле, положив на подлокотник левую руку с перстнем, уронив правую на колени, на раскрытую книгу. Голова поднята гордо и спокойно, и такое же выражение таинственного, немного холодноватого покоя — в прямом яс-

ном взгляде чуть усталых глаз, в складке полудетских губ, в прелестном овале продолговатого лица. И лицо увенчано каким-то средневековым убором, до странности похожим на прическу Людмилы Земцевой — на ее уложенные короной косы...

Маленькая комнатка библиотеки наполнилась шумной толпой учеников, стремящихся успеть обменять книги до звонка. Володю толкали со всех сторон, оттеснив к самому концу барьера, а он все стоял и, затаив дыхание, всматривался в портрет девушки, жившей во Флоренции четыреста лет назад, пораженный ее сверхъестественным сходством с Земцевой.

Ну да, конечно, совершенно то же лицо... можно подумать, что старшая сестра. Только у Земцевой чуть короче нос, а так, в остальном, те же черты, прямо потрясающе... и, конечно, другое выражение глаз, больше жизни в лице. Эта, на портрете, очень уж холодная, прямо мрамор и лед... а в остальном...

Альбом на дом не выдавался. На всякий случай Володя попробовал подсыпаться к библиотекарше — на один только день! — но та осталась неумолимой. Вздохнув, он вытащил блокнот и записал: «Поиск. у бук. репрод. — Бронзино, портрет Лукреции де Пуччи».

Занятия полетели к черту. Он не мог думать ни о чем, кроме Земцевой, — таинственное ее сходство с прелестной флорентинкой шестнадцатого столетия не давало покоя его уму, сумбурному от природы и от массы проглоченных без разбора книг. Нет ли здесь какой-нибудь чертовщины — перевоплощения, переселения душ, какого-нибудь там метампсихоза?

Однажды утром, подходя к школе, он размышлял над тем, насколько вера в метампсихоз совместима с материалистическим мировоззрением, как вдруг, уже на ступеньках, услышал за спиной торопливый скрип снега и рассеянно оглянулся. Очувтившись лицом к лицу с Земцевой, он так смутился, что даже не сообразил толкнуть перед ней тяжелую дверь.

— Добрый день, Глушко! — приветливо сказала она. — Ну и мороз, прямо ужас. А почему у тебя такой несчастный вид, опять, наверное, проспал и не успел позавтракать?

В этот же день, на уроке, Земцеву вызвали к доске — начертить схему государственного устройства СССР. До чертиков почти до конца, она вдруг взяла тряпку, стерла верхнюю часть схемы, начертила заново и, подумав, опять стерла уже неуверенным движением. Окончательно запу-

тавшись, Земцева уронила мелок и обернулась к классу с растерянным и смущенным выражением лица, — уж кому-кому, а ей, первой ученице, было совсем непривычно оказаться в положении мореплавательницы.

Володино сердце неистово заколотилось. «Сейчас — или никогда!» — подумал он, выдирая страницу из первой попавшейся тетради. Однако, когда, торопливо набросав шпаргалку, он взглянул на Земцеву, та уже обрадованно кивала кому-то головой в знак того, что подсказка понята. Ревность вскипела в его груди; свирепо посмотрев в направлении ее взгляда, он увидел, как Николаева, отчаянно жестикулируя и шевеля губами, показывает что-то из-под парты своей подруге.

Племянницу героя он всегда почему-то недолюбливал, а после этого случая просто возненавидел. Особенно противной стала ему ее картавая скороговорка. Своей непрошеной подсказкой Николаева отняла у него блестящую возможность, — просто так подойти и заговорить с Земцевой без определенного повода он не решался, хотя с другими одноклассниками чувствовал себя и держался совершенно свободно.

Нездоровый интерес к эпохе итальянского Возрождения овладел душой Володи Глушко. Благодаря знакомству с букинистами он перерыл полки всех трех магазинов, целый вечер просидел над каталогами городской библиотеки, наконец нанес домашний визит самому Халдею, выслушал полуторачасовую лекцию об Италии XVI века и унес под мышкой два раззолоченных тома «Истории Ренессанса». Все было напрасно: ни одна из дюжины книг, проглоченных им за эти две недели, ни словом не обмолвилась о прекрасной Лукреции де Пуччи. Очень много и очень неодобрительно говорилось о ее знаменитой тезке — сестрице герцога Валентино, Цезаря Борджиа, — но та Лукреция его не интересовала.

К концу декабря Глушко сильно похудел. Глаза его лихорадочно светились, и он окончательно перестал понимать, в кого же из двух он влюблен — в ту, что сидит на третьей парте возле окна, или в ту, что четыреста лет назад позировала флорентийскому мастеру Анджело Бронзино. Что касается этой последней, то подозрительным было упорное молчание историков на ее счет. Существовала ли она на самом деле или родилась в воображении художника? Или это была какая-нибудь суккуба, явившаяся ему и потом снова исчезнувшая, чтобы через четыре столетия вынырнуть вдруг в советском городе Эниске?

Володина голова кружилась. Он дошел до того, что однажды, читая о приключениях Жака Турнеброша, поймал себя на желании самому подзаняться демонологией, поближе познакомиться с инкубами и суккубами. И это через три месяца после вступления в ряды Ленинского комсомола!

Наваждение кончилось на новогоднем балу. Володя отважился пригласить Людмилу-Луcretию на вальс, и тогда на месте суккубы оказалась самая обыкновенная девушка в бархатном платье. Во время танца она жаловалась на какую-то свою подругу, которая, несмотря на ее уговоры, записалась на участие в кроссе, и неизвестно, что с ней теперь будет. О ком именно шла речь, Володя так и не понял, потому что эта «обыкновенная девушка» была все же необыкновенной и удивительной, и чуть слышный запах фиалок, веявший от ее коричневого платья, нанес последний удар Володиным умственными способностями. Их хватило еще только на то, чтобы узнать, на каком катке она собирается бывать во время каникул, и украсть с ее плеча зацепившуюся за бархат зеленую змейку серпантина.

3

Дежнев и Глушко подружились по-настоящему только за время новогодних каникул, после происшествия на стадионе пищевиков. До этого их отношения были просто приятельскими, не больше; правда, Глушко помог Сергею продать его знаменитые беговые коньки, но, кроме этого, им почти не приходилось иметь никаких общих дел. По правде сказать, Володя не внушал Сергею особенного доверия — слишком уж он был «романтик» даже своей внешностью, этот рассеянный паренек с отсутствующими глазами и вечно запущенной гривой светлых волос, мягких и вьющихся, как у девчонки. Конечно, у Вальки Стрелина волосы тоже были светлые и вьющиеся, но Валька был настоящим мужчиной...

В тот день на катке Глушко совершенно неожиданно проявил себя с новой стороны. Стадион спортивного общества «Пищевик» пользовался неважной славой, там часто толклись угреватые личности с жирными косыми челками, выпущенными из-под сбитой на затылок крохотной кепочки, и Сергей стал бывать там именно потому, что в таком месте он был хорошо застрахован от встречи с Николаевой. Да и не только с нею — вообще никто из его одноклассников не бывал на катке пищевиков, а как раз

встреч с ними ему и хотелось избежать. Всякий, оставшись с ним хотя бы на четверть часа, непременно начинал допытываться — что у него произошло с Николаевой, да как, да почему, да отчего. Особенно этот Сашка Лихтенфельд, — Сергей просто готов был убить его за постоянные расспросы и озабоченно-соболезнующий вид.

Глушко тоже был завсегдаем «Динамо»; поэтому Сергей очень удивился, встретив одноклассника у пищевилов. Торопливо поздоровавшись, он попытался скрыться, но Глушко увязался за ним. Хорошо хоть, что не спросил ничего о Николаевой! Вместо этого он принялся с восторгом рассказывать Сергею о новом авиационном моторе, выпущенном итальянской фирмой «Альфа-Ромео», — совершенно потрясающая штука, двойная звезда в восемнадцать цилиндров, полторы тысячи лошадиных сил на взлете, литраж — 48,2, степень сжатия — 6,6...

Это был хороший мужской разговор, и Сергей уже не спешил отделаться от «романтика», который проявил вдруг такую техническую осведомленность. Потом они разбежались в разные стороны, договорившись встретиться у раздевалки. И тут Сергей влип в неприятную историю.

Какой-то тип с челкой, в шикарно выпущенных на хромовые сапожки брюках, стал приставать к девушке и на глазах у Сергея — случайно или намеренно — сбил ее с ног. Сергей помог ей подняться и проводил до скамейки. Вернувшись на ледяное поле, он увидел того же парня, по-видимому высматривавшего новую жертву. Лучше всего было бы не связываться, но этот хорошо ему знакомый тип «блатаря» Сергей ненавидел до глубины души — той традиционной ненавистью, с какой русские мастеровые люди, воспитанные на уважении к труду, относятся к представителям презирающего труд уголовного мира. На этот раз он просто не удержался.

— Ты что, в отделение захотел? — спросил он, чувствуя, как под давлением растущего комка злости тяжелеет и замедляется ритм сердца. — А ну мотай отсюда!

Парень посмотрел на него с нахальным изумлением.

— Да ты на кого хвост поднимаешь, сявка, — ласково сказал он, ощерив в улыбке мелкие испорченные зубы и холодно прищурившись. — С кем разговариваешь, мальчик?

— Я тебе, бандит, покажу мальчика, — негромко сказал Сергей. Вокруг них, почуяв скандал, уже собирались зрители, и это придало ему уверенности. — Также герой на-

шелся, ножку девочкам подставлять. Видно, давно морду не били? Я тебе сказал — уходи с катка!

Вокруг стало очень тихо, потом очень шумно. Парня с челкой успокаивали и удерживали за руки его дружки, — видно, они имели достаточно веские основания не желать драки с неизбежным вмешательством милиции. Наконец тот дал себя увести, оборачиваясь и рыдающим голосом угрожая Сергею рассчитаться с ним за воротами.

— Что случилось? — обеспокоенно спросил подоспевший Глушко, когда Сергей выбрался из кольца зрителей. — Чего это он на тебя?

— Да ничего, — ответил тот. — Пускают тут всякое дерьмо... стрелять таких надо, а с ними нянчатся...

Они пробыли на катке еще минут двадцать. Настроение у Сергея было испорчено, — честно говоря, он немного побаивался, так как хорошо знал, чем иногда кончаются подобные истории. Глупо было ввязываться, но ничего не поделаешь — так вышло.

— Ну ладно, Володька, — сказал он наконец, присев на скамейку и начиная отвязывать сточенные «ледянки», купленные на толкучке за шесть целковых. — Я пошел, сейчас наверняка придется подраться с той сволочью...

— Придется, — согласился Глушко, тоже отвинтив коньки.

Сергей туго связал свои ремешком и взвесил на руке.

— Все-таки оружие. — Он криво усмехнулся. — Слышь, Володька, хоронят пускай за счет комсомольской организации, с музыкой. Ну, я пошел.

— Пошли, — сказал тот, тоже поднимаясь. — Как ты думаешь, сколько их там будет? Все равно — если стать спиной к спине, то можно отбиться от дюжины. Я о таких случаях читал.

Сергей посмотрел на него удивленно и с минуту молчал.

— Ты брось, Володька, — сказал он наконец. — Чего тебе в это дело лезть. Видел ты этого типа?

— Видел. Типичный деклассированный, прямо что-то потрясающее...

— То-то, «потрясающее». Нет, Володька, ты катай один, не надо. Мне не впервой, а ты... словом, за моральную поддержку спасибо, и давай расходиться.

Но Глушко расходиться не захотел. Поняв, что «романтика» не переубедишь, Сергей не стал настаивать и ограничился тем, что дал ему несколько технических указаний — как и куда бить в каком случае. Они дошли до

ворот стадиона, вышли на улицу, огляделись. Никого подозрительного не было.

— Ясно, они увидели, что нас двое,— пожал плечами Глушко.— А жаль, у меня сегодня настроение подражаться...

Сергей с облегчением рассмеялся:

— Жаль, говоришь? И чудак же ты, Володька, ну откуда только ты такой взялся!..

Они пошли к трамваю. На остановке Сергей внимательно посмотрел на приятеля и протянул руку:

— Дай пять, Володька. Ты заходи когда-нибудь, а? Адрес знаешь?

— Нет. А мой у тебя есть? Давай обменяемся, как-нибудь наведаюсь. И ты заходи тоже, у меня книг до черта...

Выбрался к нему Сергей только через месяц, уже в середине февраля. Все как-то было не до этого, слишком много забот свалилось на него после отъезда Николая.

Главной заботой были деньги. Он всегда знал им цену, так как вырос в семье, где деньги зарабатывались тяжелым трудом, но сам он никогда их не зарабатывал и, в общем, мало заботился, есть в семье деньги или нет. Были деньги — он позволял себе купить лишнюю книгу, лишний раз сходить в кино; не было денег — обходился без этого. И только.

Теперь же денежный вопрос стал для Сергея каким-то проклятием, навязчивой идеей, от которой он никак не мог освободиться. Его не покидало неприятное ощущение того, что мать — пусть подсознательно — ждет от него помощи. Что ж, Коля в его возрасте уже содержал семью. А он сам за десять лет даже среднюю школу не успел окончить! Но что же — бросить ее теперь и уйти на производство? Тоже ведь глупо, из-за временных трудностей калечить себе будущее. Да и мать никогда на это не согласится...

Сергей, где только мог, узнавал насчет возможности подрабатывать хоть немного в свободные часы, но ничего так и не попадалось. Правда, преподаватели достали ему нескольких учеников, которых нужно было натаскивать по физике и математике; но репетиторство давало больше неприятностей, чем заработка.

Все это было очень невесело. Тревога за брата, тяжелая обстановка дома, наконец, его личное горе, которое, несмотря на все доводы рассудка, до сих пор не теряло своей остроты,— все это, вместе взятое, за какой-нибудь

месяц превратило Сергея в другого человека, сделало его мрачным, раздражительным, способным из-за любого пустяка терять над собой контроль. Что-то в нем вышло из строя, разладилось, и, по-видимому, надолго; с другой стороны, он чувствовал себя теперь бесконечно более взрослым, чем был еще недавно, осенью. Вспоминая те недолгие месяцы своего призрачного счастья, Сергей испытывал чувство какой-то огромной невозвратимой потери — потери чего-то такого, что бывает у человека всего раз в жизни и, окончившись, никогда не повторяется.

Дверь открыл сам Володя, одетый по-домашнему — в линялой ковбойке и коротковатых брюках с заплатами на коленях.

— Аа-а, Сергей! — обрадовался он. — Наконец-то выбрался, вот здорово! Легко нашел?

— Да как сказать... далеко ты забрался, ничего не скажешь.

— Что ж делать, — вздохнул Володя, распахивая перед приятелем дверь в комнату. — Это уж на совести моих стариков, их идея. Раздевайся, сейчас чай будем пить, я как раз собирался.

Сергей разделся и подошел к печке погреть руки.

— Это не помешает, — согласился он. — Здорово подмораживает... днем не так было, а сейчас закрутило всю.

— Двадцать семь градусов, — с удовольствием сообщил Володя, — я только что смотрел. А предсказывают еще большее похолодание, просто что-то потрясающее! Воображаю, как сейчас на перешейке, а?

— Да, там сейчас будь здоров. Ты один дома?

— Старики пошли с Ленкой в кино, а Олег спит. Садись, Сергей, я тебе наливаю. Будем пить с медом, ничего? Я не особенно люблю, но больше ни шиша нет... ты скажи мне, что у нас делается — хлеба нет, сахара нет, мыла нет — и это из-за такой войны, а? Просто что-то потрясающее! А если придется воевать по-настоящему?

— По-настоящему? — Сергей усмехнулся. Зачерпнув меду себе на блюдце, он передал банку Володе. — Придется, так повоюем и без мыла... А вообще, Володька, я тебе дам совет, как другу. Ты поменьше трепись об этих вещах, понял? У нас на улице один такой докритиковался...

— Что значит «поменьше трепись», я тебя не понимаю, — э, что с тобой? — тревожно спросил Володя, увидев, как Сергей вадрогнул и быстро опустил ложечку с

медом, почти уронил ее, едва поднеся к губам.— Тебе что — плохо?

— Ничего... зуб проклятый схватило,— не сразу ответил Сергей.— Все никак выдрать не соберусь, ну его в болото. Слышь, что это у тебя за мед.. не гречишный?

Володя пожал плечами:

— А шут его знает, что я — пчеловод... Сильно болит? Погоди, сейчас я тебе дам одно потрясающее средство, как рукой снимет...

Сорвавшись с места, он бросился к стенному шкафчику.

— Брось, Володька,— сказал Сергей.— Не надо, я эту всякую муру не принимаю. Сейчас пройдет, ничего. Курить у вас можно?

— Ясно, что за вопрос, отец мой ведь курит! Вон пельница, возьми. Ну что, не лучше еще?

— Да, теперь ничего...

Из-за закрытой двери послышался плаксивый зов: «Во-о-ов-ка-а-а!»

— Проснулся на мою голову,— вздохнул Володя,— я сейчас, минутку.

Сергей подальше отодвинул от себя блюдо с медом и несколько раз подряд глубоко затынулся. Так вот оно, оказывается, как устроено... почти три месяца, день за днем, убеждай себя в том, что поступил правильно, а потом такая вот мелочь, и все летит к черту... и тогда хоть плачь — все равно не вернется и не повторится... «...Похоже, будто смотришь на негатив, правда?» И никогда, никогда больше — хоть проживи до ста...

...Он нерешительно поднимался по лестнице, покусывая кожу на губе, и прикидывал — как бы это так спросить насчет таблиц логарифмов, чтобы она ничего не заподозрила... дескать, не забыл ли здесь прошлый раз. А потом громко, как ему показалось — на весь дом, загреметь звонок, и знакомый летящий перестук легких каблучков, а когда она сама появилась перед ним в светлом прямоугольнике распахнутой двери — в странном, до полу, зелено-золотом платье, делающем ее совсем высокой и тоненькой — зеленая в золоте тростиночка,— то все приготовленные слова оказались ненужными и сразу забылись. «...Ничего, что я в таком виде? Ты не думай, я вовсе еще не собираюсь ложиться, я так рано никогда, а просто я этот халатик ношу дома — это от Дядисаши, из Монголии, правда! А я как раз сейчас думала о тебе — это просто чудесно, что ты пришел, я тут просто умираю от скуки, правда...»

Володя вошел в комнату, осторожно притворив за собою дверь.

— Заснул! — сказал он торжествующе, сел за стол и придвинул свой стакан. — Как твой зуб?

— В порядке вроде...

— Ну, видишь. Так что ты там начал мне говорить насчет критики?

— Насчет чего? — Сергей посмотрел на него непонимающе. — А, да... я тебе говорю, трепаться надо поменьше, вот что. Не маленький уже, сам понимаешь.

— А что я должен понимать? — вспетушился Володя. — Что я, Советскую власть критикую, да? Я тех дураков критикую, которые ее же и дискредитируют, вот кого! Что, у нас в Союзе хлеба не хватает, что ли? Или мыло разучились варить? Ничего подобного: просто сидит где-то дурак, от которого зависит наладить доставку или там производство, не знаю уж что, сидит и в носу ковыряет, а люди должны в очередях стоять! Я понимаю, если бы действительно не было этого, если бы неурожай был или что-нибудь такое... а то просто из-за головопятия...

— Да ты погоди, чудак человек, чего орешь. Я тебе не говорю, что ты власть критикуешь, понял? Я тебя только предупреждаю, что о таких вещах трепаться нечего...

— Ладно уж... пей свой чай! А ты чего ж без меда?

— Боюсь, ну его в болото, еще опять разболится...

— Ну, смотри. Налить еще?

— Налей, пожалуй. Слышь... ты чем сейчас занимаешься, во внешкольное время?

— Да так, особенно ничем. Читаю, на каток хожу.

— С Земцевой?

— Ага...

Сергей помолчал, щурясь от дыма, бесцельно болтая ложечкой в стакане.

— А Земцева... одна там бывает?

— Ну, как одна? — удивился Володя. — Со мной, я же говорю.

— Ага... — Сергей опять замолчал. — Слышь... а ты с Николаевой не встречался ни разу?

— А ты что, сам с ней каждый день не встречаешься в классе, что ли?

— Да нет, я говорю не в классе...

— А-а, нет. Вне школы не встречался ни разу. На каток ее не пускают, а иначе где же я мог...

— Кто не пускает?

— Люд... то есть Земцева не пускает, и потом эта ее

воспитательница — не знаю, кто она там такая, мне Земцева говорила.

— Ага... а из-за чего?

— Из-за ее отставаемости, из-за чего же еще. Ее ведь чуть не исключили, знаешь?

Рука Сергея со стаканом задержалась в воздухе.

— Как то есть?

— А вот так! Ее директор вызывал к себе, такую снял стружку — что-то потрясающее. Мне Людмила рассказывала. Дир ее спросил, зачем она на кросс ходила, а та говорит — из солидарности с теми, кто в Финляндии. Представляешь дуреху? А он ей говорит: ага, говорит, значит, пойти на кросс покрасоваться своей солидарностью вы можете, а хорошо учиться вам представляется скучным делом? А вы подумали, говорит, о том, что ваш дядя дерется сейчас на фронте за то, чтобы вы имели возможность спокойно приобретать знания? Ну и пошел, и пошел. Знаешь нашего дира — он уж сумеет пропесочить так, что будь спокоец! Вышла от него эта дуреха вся зарёванная...

— Ты потише, — буркнул Сергей, — заладил — «дуреха, дуреха»... вовсе она не такая уж...

Володя смутился:

— Да нет, я ведь так, не со зла. Вообще-то Николаева мне очень не нравится, скажу прямо, но, конечно, она девочка неглупая. Просто сейчас она ведет себя по-дурацки, это ты и сам не станешь отрицать...

— Ничего я не отрицаю... я только говорю, что это еще разобраться надо, почему человек ведет себя так, а не иначе. Со стороны-то оно все просто.

— Да, вообще-то конечно. Послушай, Сергей... а ты что — поссорился с ней? Вы ведь дружили осенью — ребята еще смеялись, что ты всегда ее провожал. Что у вас там такое получилось?

На этот раз Сергей почему-то не разозлился и не оборвал приятеля. Он молча, с угрюмым видом, допил стакан и поболтал оставшиеся на дне чайники.

— Черт его знает, Володька, — медленно сказал он, глядя в стол. — Сам не знаю, что у нас получилось... может, я и дурака сваял, не знаю... а может, и прав был. Понимаешь... она мне такой казалась... что я на нее смотрел, как... ну, не знаю с чем это сравнить — ну, вроде вот как мамаша моя на икону смотрит. Верил, понимаешь, что в ней вот ни на столечко никакого изъяна быть не должно... а она, наверное, просто человек, как и все... с

хорошим, с плохим. Скажи вот, Володька, за что она тебе не нравится? Ведь не нравится ж, говоришь?

— Потрясающе не нравится, — кивнул Володя. — У меня к ней просто антипатия. Какая-то она длинная, нескладная... Знаешь, жеребята такие бывают. Я летом в колхозе видел — дурацкий вид, ноги длинные...

— Ну ладно, при чем тут ноги, — отмахнулся Сергей. — А по-настоящему чем она тебе не нравится?

Володя добросовестно подумал.

— Манерой говорить, голосом, — сказал он наконец. — Невероятно противный голос — картавый какой-то, и все скороговоркой. Да, это, пожалуй, главное.

— И дурак же ты, — с внезапным облегчением вздохнул Сергей. — Ты вот и есть жеребенок, самый форменный. Я тебя про ее характер спрашиваю, а он плетет про ноги да про голос! Характер тебе ее нравится или нет?

— Характер? Ну, характер у нее, кажется, ничего. Но ведь для девушки характер не важен. — Володька пожал плечами с бывалым видом. — Важна внешность, манера держаться и так далее.

— Ишь ты, какой мудрец, — прищурился Сергей. — Хорошую ты себе жинку выберешь, можно заранее поздравить.

— Дурак я, что ли, чтобы жениться, — важно сказал Володя. — Я за свободную любовь, если хочешь знать.

— А Земцева про это знает?

— Не думаю, вряд ли. — Володя смутился. — Мы как-то с ней на эту тему не говорили...

— А ты поговори. Может, схлопочешь по уху, тебе это не помешает. Так ты, выходит, за свободную любовь, вот оно что. А комсомольская твоя совесть против этого не протестует?

— Понимаешь, это вообще очень сложный вопрос, потрясающе сложный. Можешь мне верить на все сто — я, конечно, убежденный комсомолец и все такое, но меня все время тянет к анархии...

— К анархии? — изумленно сказал Сергей. — Вот те раз! Ты что ж это, товарищ Глушко? По Махно соскучился?

— Брось ты, я с тобой серьезно говорю. Я не про такую анархию — что ты, сам не понимаешь? Я говорю об анархии социалистической. Ну, в общем, чтобы за основу взять наше, только немного разбавить анархией.

— А ты потрепись, потрепись побольше. Тебя так разбавят, что мама родная не узнает. Знаешь, мне с тобой даже говорить об этом неохота, все равно ничего ум-

ного не скажешь... тоже, анархист нашелся. А что эта Земцева из себя представляет? Толковая дивчина?

— Еще бы! Знаешь, она кажется старше своих лет. Почему бы это, как ты думаешь?

— Вы что с ней, одногодки? Девчата ж вообще раньше умнеют, Володька, это факт.

— Пожалуй, верно,— задумчиво сказал Володя.— Тебе-то хорошо, Николаева моложе тебя на два года...

— А что мне с того... моложе она или старше.— Сергей опять закурил и нервным движением погасил спичку, махнув ею в воздухе.— Все равно это дело конченное, чего там...

— Ничего оно не кончено,— сказал Володя.— Вот увидишь, она тебя еще возьмет на бордаж. Я это не в плохом смысле говорю, сам понимаешь. Я вот сейчас смотрю на тебя и вижу, что непременно возьмет. Могу спорить. Сергей пожал плечами:

— Да спорь, мне-то что. Я-то знаю, что говорю, мне уж это виднее... ну ладно, довольно об этом. На Западе там какие новости? Я давно не читал.

— А ничего. Разведывательные действия патрулей. Интересно, долго они будут так стоять... как ты думаешь, кто начнет наступление — немцы или французы?

— Кто их знает... Потенциал у союзников, конечно, больше, но немцы вообще действуют более активно...

— Слушай, Сергей, а ведь в Финляндии мы уже два с половиной месяца воюем, а?

— Ну так что?

— Да ничего. Просто как-то странно — страна такая маленькая...

— Маленькая,— хмуро сказал Сергей.— У них там оборона знаешь какая! На линии Маннергейма доты — как на Мажино... те же инженеры строили, что ты хочешь, Да и вообще это одно только название, что Финляндия... А на самом деле мы разве с одними финнами воюем? Слышал вон, как поется — «белые финны, английские мины», — так оно и есть на самом деле. Разве Финляндия сама решила бы на такую войну, шутишь! А потом учти, что дерутся они здорово — даже девчата у них на фронте. Ясно, у них там пропаганда тоже работает — будь спокоен, небось говорят своим, что вот, мол, на нас Советский Союз напал, хочет, дескать, захватить. А народ и верит.

— Интересно, разобьют их до весны?..

— Разобьют, факт. Во Дворце пионеров недавно была лекция — один выступал, говорил, что...

— Черт возьми! — всполошился вдруг Глушко. — По-
дожди, я и забыл совсем... Ты там знаешь завлаба энер-
гетической, черный такой одессит?

— Ну, знаю. А что?

— Он же мне записку для тебя передавал, вот черт —
совсем из башки вылетело... куда я ее сунул?

Вскочив, он бросился к своему столу и принялся пе-
рерывать книги, бормоча что-то себе под нос.

— Потрох ты, — укоризненно сказал Сергей, подойдя
к нему, — черт-те что у тебя в голове делается. Да и на
столе не лучше, такой же ералаш. Куда это годится, ра-
бочее место держать в таком виде...

— Это все Олег, холера... а, вот она!

Записка была составлена в знакомом Сергею теле-
графном стиле:

«Дорогой Сережка! Чего не заходишь, подозреваю что
у тебя не осталось совести. Заходи немедленно есть хал-
тура. Жму пять заходи Поп».

— Когда это он передал? — спросил Сергей, пряча за-
писку.

— Кажется... во вторник.

— Небось в позапрошлый?

— Нет-нет, в этот вторник, что ты. А что, здорово
снешное что-нибудь?

— Да нет, так просто...

— Ну, тогда ничего. — Володя раскопал еще одну гру-
ду, извлек из-под книг шахматную доску и лихо щелкнул
по ней костяшками пальцев. — Ты как насчет того, чтобы
сразиться?

Обнадеживающая записка вернула Сергею хорошее
настроение — во всяком случае, впереди показался хоть
какой-то просвет.

— Давай-давай, — весело сказал он, придвигая стул. —
Мы ведь с тобой еще ни разу не играли, а? погоди, я те-
бя разделаю под красное дерево... ладно уж, давай ле-
вую. А, видишь?

Глушко начал расставлять фигуры.

— Что «видишь»? Я тебя и черными побью, не бой-
ся... Ох, ты не слышал, что твоя Николаева натворила на
школьном турнире во время этих каникул? Слушай, это
что-то потрясающее! Она после кросса взяла и записалась
на участие в турнире... ну, все думали, что она и в самом
деле играет, еще удивлялись — единственная девчонка, —
а она ходит нос задравши. Ну ладно. Первую партию она
проиграла в самом дебюте, но ничего. Я ее в тот день
встретил, она говорит: «Ничего, вы все еще обо мне услы-

шите!» А вторую партию она села играть с Димкой Осадчим из девятого «Б» — а он же категорник, сам знаешь, — так он ее как прижал, а она тогда взяла и говорит вдруг: «Ой, Дима, смотри, кто пришел»; он оглянулся, а она украла у него ладью и поставила своего ферзя...

— Иди ты! — засмеялся Сергей.

— У кого хочешь спроси! Скандал вышел классический. Димка орет: «Откуда здесь ферзь, только что ладья стояла!» А она вопит, что никакой ладьи тут никогда и не было. Представляешь? Ну давай, тебе начинать...

4

Во Дворце пионеров все было по-прежнему: те же грудастые кариатиды в подъезде, тот же обшитый панелями вестибюль с высокими резными дверьми — в библиотеку и в зрительный зал; черная классная доска с припшпленными объявлениями и расписаниями кружковых занятий, волосатые пальмы в кадках, истертая красная дорожка на лестнице на второй этаж... все как в прошлом году, никакой перемены.

Наверху, в холодном коридоре ДТС, Сергея встретил знакомый волнующий запах эмалита и грушевой эссенции. Перед дверью с синей стеклянной табличкой «Энергетическая лаборатория» он остановился. Из-за двери несся высокий напряженный вой механизма, запущенного на большие обороты. «Что-то испытывают», — подумал Сергей. Ему вдруг захотелось оттянуть разговор с Попандуло. Повинуясь этому необъяснимому, но настойчивому желанию, он медленно прошел дальше, мимо дверей с такими же синими табличками.

Дойдя до окна в конце коридора, он повернулся и еще медленнее пошел назад. Холодно поблескивали таблички, за закрытыми дверьми слышались приглушенные разговоры и разнообразные звуки работы — размеренный скрип напильника, постукивание, визг ножовки. На третьем этаже, где помещались художественные кружки, медленно играли на рояле и женский голос резко командовал нараспев: «Ра-аз, и два-а, и три-и, че-ты-ре...»

Сергей усмехнулся. Еще три года назад он с такими же отчаянными дружками любил пробраться потихоньку на третий этаж и, подкравшись к двери балетного класса, распахнуть ее неожиданным ударом, заорать пострашнее — и пуститься наутек, топая как можно громче. Вслед несся визг девчонок, ради которого и затевалась вся экспедиция:

В то время он еще не интересовался ни физикой, ни математикой, ни вообще чем-нибудь из того, о чем можно было услышать в классе. Его интересовали только приключения и подвиги, и кружок героев его детства был небольшим, но избранным: Чапаев, Шерлок Холмс, капитан Немо, Чкалов и Человек-невидимка. Позже к ним присоединился еще и Тарас Бульба.

Из всех кружков, существовавших тогда во дворце, Сережкино внимание привлекали только два: балетный — по уже указанной причине и юных натуралистов — потому что там жил в аквариуме роскошный тритон, которого худенький паренек в очках вечно кормил какими-то крошками, взвешивая их на аптечных весах. Полюбовавшись на тритона и попутно совершив очередную вылазку к голоногим девчонкам, Сережка забирался в читальный зал и просиживал там часами.

В «Пионерской правде» печатали тогда из номера в номер «Гиперболоид инженера Гарина» — увлекательнейший роман, который читался с трепетом и потом эпизод за эпизодом пересказывался приятелям из соседних дворов: «...только он поджег, а тут этот Утиный Нос в окно лезет, с финкой в зубах. Ну, он, конечно, сразу за аппарат — и ка-ак урежет его лучом, тот так и развалился напополам...»

В ежемесячниках «Пионер» или «Костер» тоже было много интересного. Там можно было прочитать о Ютландском бое, или о том, как римские рабы восставали против своих буржуев — патрициев, или как молодежь за границей борется с фашистами, — рассказы об этом нравились Сережке больше всего другого, и его мечтой тогда было попасть в Испанию, в Интернациональную бригаду...

Вернувшись к окну в конце коридора, Сергей подышал на заиндевелое стекло и протер рукавом круглую лунку. Внизу во дворе, рядом с занесенным снегом автомобильным шасси, лежало на козлах длинное зеленое крыло планера и двое ребят без шапок и пальто обмеривали его рулеткой. Закончив обмер, один начал писать в блокноте, а другой стоял рядом, приплясывая от мороза и согревая руки дыханием; потом оба о чем-то яростно, судя по жестам, заспорили и снова схватились за рулетку.

«Простынут, дурачье», — подумал Сергей, отходя от окна. Легкая, едва уловимая печаль, охватившая его сегодня здесь во дворце, и это необъяснимое желание повременить с разговором, ради которого он пришел, — все эти неясные ощущения вдруг усилились и сгустились в очень определенную мысль: сам он, Сережка Дежнев, никогда

уже не будет таким, как эти двое, выскочившие раздетыми на мороз из своей лаборатории...

Зябко сунув руки в карманы пальто, он медленно спустился по лестнице, постоял в вестибюле, заглянул в библиотеку, в зрительный зал. Со сцены на него повеяло холодом и печальным запахом пыли и декораций. В позапрошлом году здесь на областном смотре самодеятельности выступал Валька Стрелин, читал «Балладу о синем пакете». Читал он хорошо, умело подчеркивая своеобразный ритм тихоновских стихов:

...Ударило в небо
 четыре крыла,
И мгла зашаталась,
 и мгла — поплыла,
Ни прожектора.
 Ни луны.
Ни шороха поля,
 ни шума волны...

Сергей вздохнул, притворяя за собой тяжелую дверь, и решительно направился к лестнице.

Попандопуло в окружении своих «африканских тигров» стоял перед столом, на котором шипел маленький спиртовой котел. Соединенная с котлом резиновой трубкой, тут же стояла небольшая металлическая коробка с выпуклой, почти полукруглой крышкой, притянутой болтиками.

— Сергей! — обрадованно завопил завлаб. — Вот здорово, вовремя пришел! Скажи мне прямо: ты такое видал?

Он указал на коробку негодующим жестом.

— Турбинка? — догадался Сергей.

— Где турбинка? — подскочил завлаб. — Не вижу никакой турбинки! Это — я извиняюсь — ночной горшок, а не турбинка!!

Один из тигров виновато покосился на Сергея и шмыгнул носом.

— Всё, ша. Сейчас сам увидишь. Дай пар! —скомандовал Попандопуло, отодвигая модель на середину стола.

Тигр с виноватым взглядом открыл вентиль. Из-под выпуклого кожуха со свистом ударила струйка пара, внутри что-то загудело, будто там сидел большой сердитый шмель. По мере того как турбина набирала ход, звук ее все повышался, достигнув наконец раздражающе высокой, напряженной ноты — это и был тот самый вой, что Сергей слышал полчаса назад.

— Сколько оборотов? — спросил он заинтересованно.

— При чем тут обороты? Ты лучше посмотри, что сейчас будет!

Действительно, с турбинкой начало теперь твориться странное — медленно, но упорно она поползла к краю стола, имевшего, по-видимому, небольшой уклон в ту сторону.

— Видал? — иронически спросил Попандопуло. — Да ты рукой попробуй, не бойся!

Сергей положил руку на горячий кожух — сразу щеко-чуще побежали к плечу мурашки. Модель продолжала ползти. Он с силой прижал ее к столу, и вся ее поверхность загудела, как огромная мембрана.

— Да, вибрация зверская, — сказал он озабоченно, убрав руку. — Плохо сбалансировано, видно...

— Да я балансировал, — тихо, виноватым голосом отозвался тигр.

— Бабушку ты свою балансировал, — уничтожающе сказал Попандопуло. — Ладно, кончай этот цирк! Снимай ножух, вытаскивай ротор. Сейчас я вернусь, тогда увидим, что ты тут набалансировал. — Он напялил пальто с облезлым каракулевым воротником и достал из шкафа что-то похожее на завернутую в газету линейку. — Идем, Сергей!

В знакомой пивной он заказал пива и соленых бубличков.

— Ну, Сергей, рассказывай. Как житуха?

— Да что рассказывать, Поп... ноганые у меня дела, — сознался Сергей. Он отпил пива и разломил в пальцах бубличек, шершавый от крупных кристаллов соли. — Сам знаешь... Колю забрали, на что жить теперь — и сам не знаю. Дядька нам тропки помогает, но у него своя семья шесть душ... прямо хоть бросай школу — и на производство...

— Ну вот, — сказал Попандопуло, выслушав его до конца. — Школу тебе бросать нечего, это всякий дурак сумеет. Мне когда от тебя передали насчет работы, то я так понюхал тут и там, но вроде ничего подходящего покамест не намечается. Но тут вот есть такое дело — верь Попандопуло, на этом можно зашибить монету. Гляди-ка сюда...

Он развернул принесенный с собою предмет, оказавшийся полуметровой полоской тонкой латуни, сантиметров в пять шириной. Вдоль полоски шел, повторяясь, сложный сквозной узор в виде звездочки.

— Как по-твоему, что это такое?

-- Это, пожалуй... использованная заготовка, из-под штампа?

-- Точно. Сразу видно, что голова у тебя работает технически. С этих лент на оптическом штампуют какую-то деталь, но это неважно. Теперь смотри! Ты берешь эту ленту и по одному краю сверлишь дырочки — ну вот так, на расстоянии миллиметров семь одна от другой. После сворачиваешь ее в кольцо и спаиваешь — вот таким манером. Слухай дальше. В аптеках есть такие стеклянные трубочки, через них минеральную воду пьют — знаешь?

— Ну,— кивнул Сергей, все еще ничего не понимая.

— Стекло паять умеешь, на спиртовке?

— Факт что умею, в химкабинете сколько раз паял.

— Ясно, я же всегда говорил, что у тебя золотые руки. Значит, так: в такую стеклянную трубочку, в один конец, ты впаиваешь проволочный крючок и навешиваешь такие сосульки по всему кольцу, в эти вот дырочки, что насверлил по краю. А после цепляешь сверху три цепки, и что мы теперь имеем? Мы имеем роскошный абжур, который можно загнать за полсотни хрустов.

— Вон что,— изумленно сказал Сергей.

— А ты думал? Ну что, пригодился Попандопуло? — Небритое лицо завлаба светилось простодушным торжеством.— Я ж тебе всегда говорил, за Попандопуло не упадешь! Видал? Полсотни верных, ну нехай материал тебе обойдется в червонец — трубки там, цепки, потом сама заготовка тоже денег стоит, верно? На улице ее не подберешь, это же надо через проходную вынести,— так что парень рискует, сам понимаешь... Нехай тебе останется сорок целковых чистого заработка с одного абжура, а его же можно за день сделать, и то без отрыва от...

— Подожди, Поп, что-то я не понимаю...— В голосе Сергея было сомнение.— Это что ж — ходить по домам и продавать, что ли?

— Чего ради? Я тебе устрою штук пять заказов, а те расскажут знакомым, те еще своим, так и пойдет. Будешь красиво работать, так у тебя отбою не будет от заказов, верь Попандопуло. У меня корешок в Одессе только этим и живет, верный кусок хлеба имеет. Да еще и с маслом.

Сергей нахмурился, помолчал, допил пиво.

— Нет, Поп...— Он покачал головой.— Не стану я этим заниматься, ну его к черту. Не по мне это, у нас в семье никто сроду не халтурил... да еще если бы дело чистое, а то этот парень заготовки ворует... Не люблю я такого. И Коля бы мне этого не позволил. Я вон, помню, раз попросил его болт с завода принести — позарез нужен был,—

так он так на меня глянул, даже не сказал ничего, я потом день ходил как оплеванный. Нет, Поп, за хлопоты тебе спасибо, но лучше не надо. Я сейчас с ребяташками занимаюсь — натаскиваю по алгебре, по физике... может, еще уроков достану, мне обещали. Ничего, не пропаду.

— Удивляюсь на твою детскую невинность, — немпого обиженно сказал Попандопуло. — Ну, как знаешь, Сергей, дело твое...

Может, и в самом деле судьба иногда премирует человека за хорошие поступки. Через два дня после разговора с завлабом Архимед устроил Сергею еще троих учеников; теперь он был занят до ночи, но заработок увеличился, и дышать стало легче. А главное — его не оставляло приятное сознание того, что он не поддался искушению, сумел удержаться и поступить так, как подсказывала совесть. Это было самое утешительное.

В начале марта пришли первые оттепели. Над городом ползли низкие разбухшие тучи, сугробы в школьном саду осели и стали ноздреватыми, в вершинах голых каштанов тревожно шумел сырой ветер.

Зима кончалась, и вместе с нею шла на убыль война. Линия Маннергейма была прорвана, бои шли уже на Выборгском направлении. Вечером одиннадцатого сводка сообщила, что части РККА, завершив окружение Выборга, ворвались в город с востока и севера. На следующий день в Москве был подписан мир: военные действия прекращались в полдень тринадцатого марта.

Не дождавшись последнего урока, Сергей убежал домой, чтобы сообщить новость матери, но та уже плакала от радости, узнав об окончании войны от соседок.

Мысль о том, что Коля скоро будет дома, ни на минуту не оставляла Сергея в течение всей недели. После долгих размышлений о подарке, который он приготовит брату, он решил уже сейчас начать откладывать часть своего заработка, а через несколько месяцев купить баян. Баян был всегдашней мечтой Николая, но инструмент стоил очень дорого, а деньги шли на семью. В частности на него, Сережку. «Эх, сволочью я был перед Колей, — думал Сергей, — так и тащил с него каждый рубль... ну, ничего, теперь в лепешку расшибусь, а к Новому году куплю ему баян...»

О подарках думал не он один. Настасья Ильинична — великая рукодельница в прошлом, когда глаза были помоложе, — купила у спекулянта новую полотняную ко-

соворотку, чтобы вспомнить молодость и вышить рубаху необыкновенным, одним ей известным узором. Проводив детей в школу, она садилась за вышиванье, и узор то и дело расплывался в ее глазах от счастливых слез, когда она представляла себе старшего сына в этой рубахе. Даже Зинка и та готовила что-то брату, держа свой подарок в большом секрете.

Восемнадцатого, в День Парижской коммуны, Сергей проснулся под шум дождя — первого в этом году. Матери уже не было дома, Зинка спала. Сергей насвистывал, плескаясь под рукомойником. «Дежневы — письмо!» — крикнул из сеней почтальон и затопал вниз по ступенькам. Сергей выглянул — угол конверта со штемпелем левой почты торчал из-под входной двери.

— Наконец-то! — радостно заорал он, торопливо вытирая руки. — Зинка!! Вставай, чего спишь — письмо от Коли!

Швырнув в сестренку полотенцем, он выскочил в сени, выдернул из щели конверт и, возвращаясь в комнату, разорвал его, даже не взглянув на лицевую сторону.

Сердце его ударило вдруг глухо и тревожно — раз, другой. Вместо разлинованной тетрадной странички, на каких обычно писал Коля, в конверте оказался маленький — в четвертушку — листок шершавой бумаги. Застыв на пороге, Сергей пробежал глазами написанное чужим почерком — всего несколько строк бледными фиолетовыми чернилами — и почувствовал, как страшно и неправдоподобно начинает мертветь кожа на лице.

— Ну читай же, — закричала торопливо одевавшаяся Зинка, — скоро приезжает? Слышишь, Сережка!

Он посмотрел на нее остановившимися глазами и ничего не увидел. Потом снова впился взглядом в бумажку, которая теперь плясала в его обессиленных пальцах, — в эти шесть строчек, сообщавших о чем-то невообразимом, о чем-то, чего нельзя было ни представить, ни понять, ни осмыслить. Да нет же, нет... это не может быть! Это же просто ошибка. Это ошибка, слышишь, не могло же это случиться за два дня до окончания войны... Не могло, слышишь ты, не могло!!

5

Зиму Таня прожила тихо и незаметно, как мышь в норе. Неудивительно — поневоле станешь мышью, когда с тебя не спускают глаз! В школе — Люся, дома — мать-командирша. Уроки, библиотека и раз в две недели те-

атр, кино или филармония, разумеется с Люсей. Еще бы не стать мышью от такой жизни!

Ее не пускали даже на каток. «Ты небось ходишь сама,— горько упрекала она подругу,— развлекаешься, крутишь романы! Не думай, мне все известно!» Но на Людмилу это не действовало нисколько. Сердце у нее оказалось каменное, теперь-то Таня в этом убедилась. На все упреки Людмила отвечала, что никаких романов она не крутит, а даже если бы и крутила, то ее, Татьяну, это аб-со-лютно не касается. Ей нужно думать о ликвидации своей неуспеваемости, а не о чужих романах. Отговорка хитрющая, еще бы.

Делать печего — хочешь не хочешь, а приходилось ликвидировать неуспеваемость. Шестнадцатого февраля ее опять вызвал директор.

— Итак, Николаева,— сказал он, приятно улыбнувшись,— вы, я вижу, решили взяться за ум. Очень рад, что наш последний разговор не прошел для вас даром. Надо полагать, так будет и впредь?

— Надеюсь, Геннадий Андреевич,— вежливо ответила Таня, распухая от гордости.

Директор перестал улыбаться и погрозил ей желтым от табака пальцем.

— Меня ваши девичьи надежды не интересуют, вы извольте не надеяться, а быть уверенной. Понимаете?

— Понимаю, Геннадий Андреевич,— вздохнула Таня.— Только это очень трудно, быть в чем-то увереной...

Улыбка шевельнула прокуренные усы директора.

— Ну-ну, не будьте пессимисткой, это комсомолке не к лицу. Подумаешь, трудно! Запомните раз и навсегда, Николаева, что куда труднее отставать и подтягиваться, нежели поддерживать свою успеваемость на одном уровне. Авральный метод, знаете ли, годится только, чтобы бетон укладывать... да и то не всегда. А знания в голову таким способом не уложишь. Вот так. Советую это хорошенько запомнить, иначе в институте вам придется туго. Ну, а пока я вами доволен, это я и хотел сказать. Спасибо, что не обманули и сдержали свое слово...

Этот разговор да еще коротенькое письмецо от Дяди-саши, полученное в начале февраля,— вот и все радостные события за последнее время. А в остальном жизнь была мрачной. Война оказалась гораздо труднее, чем Таня предполагала, в городе появились раненые — участники декабрьских боев под Териоками — и рассказывали даже, что из окрестных колхозов берут на фронт трактористов. Таня догадывалась, что это вызвано потерями в тан-

ковых войсках, и страх за Дядюсашу все чаще охватывал ее с такой силой, что она плакала по ночам и утром шла в школу невыспавшаяся, с головной болью.

Впрочем, именно в эти суровые февральские дни Таня как-то приучилась держать себя в руках. Она не пропускала уроков, перестала даже опаздывать, отвечала всегда на «хорошо» и «отлично» и прилежно читала классиков по составленному Людмилой списку. Услыхав от мальчишек, что холодные обливания очень укрепляют нервы и волю, она поспешно — чтобы не передумать — дала себе слово каждое утро, пока не вернется Дядюсаша, принимать холодный душ. Чтобы не быть снова обвиненной в «показном героизме», она никому не сказала о своем обете, даже Люсе. Вначале это было очень страшно, и по утрам Таня, дрожа всем телом, шла в ванную комнату, как в застенок, но потом немного привыкла и постепенно даже стала находить в этом удовольствие.

Кроме войны было еще много разных других обстоятельств, которые нагромождались в кучу только для того, чтобы сделать ее жизнь как можно сложнее и хуже.

Разрыв с Дежневым все еще оставался для Тани загадкой. В свое время это было настоящим большим горем, потом острота его, казалось, утихла, но время от времени она все-таки зарывалась лицом в подушку и горько плакала — то вспоминая свое незаслуженное унижение при последнем их разговоре, то от мысли, что Сережа, может быть, вовсе не такой плохой, каким тогда показался. Она ведь видела, что он и сам тяжело переживает ссору, и думать об этом было особенно больно.

Мать-командирша опять уехала в Днепропетровск к заболевшей невестке. Без нее Таня чувствовала себя совсем незащищенной перед домработницей, и та, почуяв это, развернулась во всю ширь своего ужасного характера; в конце концов Таня попросту начала бояться, что в один прекрасный день Марья Гавриловна поколотит ее веником.

В довершение всего испортилось центральное отопление и целую неделю в квартире стоял арктический холод. Людмила уговаривала переселиться на это время к ним, Таня каждый день обещала прийти ночевать, а когда наступал вечер, не могла заставить себя уйти из дому: а вдруг телеграмма от Дядюсаша...

Людмила опаздывала. До начала сеанса оставалось еще полчаса, но они договорились прийти пораньше — по-

слушать музыку. Вот так с этой Люськой и договаривайся!

Таня стояла на углу, разглядывала прохожих и грызла длинную тонкую сосульку, держа ее в кулаке как кинжал. Очень интересно наблюдать людей и отгадывать, что они собою представляют. Вот эта, в пепельной беличьей шубе и с накрашенными губами, наверное, жена какого-нибудь ответработника. Наверное, у нее под шубой крепдешинное платье и большая овальная брошка из яшмы, и, наверное, она кричит на свою домработницу, как майорша Пилипенко. Таня вздохнула: ей очень хотелось бы тоже уметь покричать хорошенько на Марью Гавриловну. Этот, в барашковой шапке, ничего интересного, наверно, счетовод или бухгалтер. А вон тот, в очках и шляпе, изобретатель, недаром у него такой толстый портфель. Или диверсант, это тоже возможно. Что-то у него тип лица не совсем русский, даже подозрительно.

Задумчиво сморщив нос, Таня посмотрела вслед изобретателю-диверсанту и, увидев Люсю, поспешно спрятала руки за спину.

— Татьяна! Ты опять грызла сосульку? — строго спросила Люся.

— Какую сосульку? — удивилась Таня, делая большие невинные глаза.

— Пожалуйста, не прикидывайся. Что это лежит позади тебя?

Таня оглянулась через плечо и удивилась еще больше — действительно, сосулька.

— Люсенька, это она, наверное, упала с крыши, только что, — высказала она предположение. — Сейчас всюду падают, утром одна упала мне прямо на...

— Пожалуйста, не выдумывай, я все видела. Ты же ее сама только что выбросила! Дай мне честное слово, что ты ее не грызла.

— Кого не грызла?

— Татьяна!

— Ну хорошо, я ее грызла. — Таня развела руками. — Я успела отъесть только самый-самый кончик. Вот столечко, правда. Что в этом страшного?

— А то, что ты только вчера перестала чихать и кашлять!

— Во-первых, не вчера! А на прошлой неделе! А во-вторых, я чихала и кашляла вовсе не от сосуллек, а потому, что у нас не работало отопление, — ты же сама знаешь. Ты вот лучше скажи, почему опоздала. Знаю я тебя:

всегда сделаешь гадость и потом первая же и накидываешься, чтобы тебя не ругали. Идем скорее, уже поздно!

— Я слушала радио. Ты уже знаешь?

— О чем? Я пропустила известия. Что-нибудь интересное?

— Так ты ничего не знаешь? Ведь наши взяли Выборг!

Таня замерла посреди тротуара и недоверчиво взглянула на подругу.

— Выборг взяли... Люська!! Ведь это значит, что теперь кончится война! Ну что ты за человек — у тебя такая новость, а ты целый час читаешь мне нотации из-за каких-то несчастных сосулук!

— Пожалуйста, не визжи и веди себя прилично, ты на улице. Откуда это ты взяла, что война теперь кончится? Много ты в этом понимаешь...

— Да не я вовсе, — отмахнулась Таня, — это капитан Петлюк с пятого этажа — знаешь, у которого жена так чудно заплетает косы, — так он мне говорил, что если финны потеряют Выборг, то им крышка. Уж он-то понимает, верно? Тогда уж, говорит, им ничего не останется, как только капитулировать...

— Посмотрим, — сказала Людмила. — Хорошо, если бы твой капитан оказался прав.

На другой день действительно объявили о перемирии с Финляндией. Таня торжествовала так, словно предсказание исходило не от капитана Петлюка, а от нее самой. На радостях она устроила торжественное чаепитие, пригласив Люсю и Аришку Лисиченко. К счастью, Марья Гавриловны в этот день не было, и они отлично провели время до самого вечера.

Около одиннадцати Людмила с Ирой отправились по домам, Таня вышла проводить их до угла и, возвращаясь, встретила в подъезде рассыльного с телеграфа.

— Николаева? — узнал ее тот. — Распишись-ка, телеграммка тебе есть.

Расписавшись, Таня с тревожно колотящимся сердцем взлетела по лестнице и только у себя в комнате распечатала сложенный вчетверо бланк. Тревога оказалась напрасной — телеграмма была от Дядисаши: «Все отлично зпт скоро увидимся заказывай подарки пиши Ленинград до востребования тчк целую дядька».

Радость ее в эти дни омрачалась только тем, что нельзя было поделиться ею с Сережей. Она уже думала, не подойти ли к нему первой, тем более что для этого имел-

ся хороший предлог: у него ведь брат тоже был в Финляндии, и из всего класса только один он, Сережа, мог вместе с ней по-настоящему порадоваться окончанию войны.

После долгих колебаний она, наконец, решила, что завтра же поговорит с ним на первой перемене; но на завтра Дежнев не пришел в школу. Увидев его пустую парту, Таня едва не расплакалась от огорчения: теперь, когда решение было принято, ей казалось немыслимым отложить разговор хотя бы на сутки.

На другой день, войдя в класс перед самым звонком, она сразу почувствовала, что случилось что-то очень серьезное. Не было обычных криков и шума, и все мальчишки, столпившись вокруг Глушко, слушали его с угрюмыми лицами. Обеспокоенно оглянувшись, Таня направилась было к нему — тоже послушать, о чем он там рассказывает, но в этот момент Людмила, протолкнувшись сквозь толпу, торопливо подошла к ней.

— Танюша, — сказала она негромко, и от интонации ее голоса у Тани мгновенно пересохло во рту, — у Сергея ужасное несчастье, его брат убит под Выборгом...

Таня почувствовала, что колени ее отвратительно слабеют — как в страшном сне, когда хочешь бежать и не можешь.

— Как убит... — прошептала она, опираясь на парту, — не может быть, Люся... ведь война уже кончилась...

— Пойдем сядем па место. — Людмила крепко взяла ее за локоть. — Сейчас придет математик. Да, его убили в последний день или в предпоследний, извещение пришло только вчера... Володя был у них вчера вечером...

Вместе с хмурым преподавателем в класс вошла класрук Елена Марковна. Поздоровавшись, она махнула рукой — садиться — и, кашлянув, сказала своим отчетливым суховатым голосом:

— Товарищи, вы уже, очевидно, знаете о несчастье, постигшем семью вашего товарища. Сегодня я с Кривошеиным пойду к Дежневым, чтобы выразить им соболезнование от комсомольской организации и преподавательского состава. Нужно, чтобы кто-нибудь из вас сделал это же от лица учащихся. Те, кто решит идти вместе с нами, пусть соберутся после шестого урока в пионерской комнате.

Когда дверь закрылась за Еленой Марковной, Людмила обернулась к Тане:

— Ты пойдешь?

Таня отрицательно качнула головой:

— Я не могу, Люся... ты понимаешь — если бы это случилось раньше, когда... когда Дядяша был еще на фронте... наверное, Глушко уже рассказывал ему про телеграмму, ему теперь будет еще хуже, если я приду...

Математик — высокий лысеющий человек с бледным одутловатым лицом — постучал карандашом по кафедре.

— Не будем терять времени, — сказал он угрюмо. — На сегодня у нас свойства логарифмов чисел при основании, меньшем единицы. Прежде всего, вспомним определение логарифма. Прошу к доске, Николаева. Утрите слезы, когда вы идете отвечать! У вас что, нет платка? Дайте ей платок, Земцева...

Когда Сергей три дня спустя появился в классе, Таня его почти не узнала, так страшно изменилось его лицо. Окаменевшее, с резкими мужскими складками возле рта, это было теперь лицо взрослого человека. Она уже не искала случая с ним поговорить, прекрасно понимая, что сейчас ему не до нее и даже не до ее сочувствия.

Случай пришел сам. Через несколько дней, разыскивая Людмилу во время большой перемены, она забежала в пустой гимнастический зал и увидела Дежнева, который стоял возле окна, ссутулившись и держа руки в карманах. Услышав стук распахнувшейся двери, он быстро обернулся и встретился с Таней глазами, и в ту же секунду она поняла, что повернуться и уйти просто так, молча, уже нельзя.

Притворив за спиною дверь, она быстрыми шагами подошла к Сергею, чувствуя, как замирает и проваливается куда-то сердце.

— Сережа, — начала она торопливо, — я хотела тебе сказать, — я знаю, тебе это все равно, — но я все равно должна тебе сказать: я тебе сочувствую от всего сердца, Сережа, и... я не знаю — это так трудно сказать словами, то, что чувствуешь...

Окончательно сбившись, она беспомощно замолчала. Сергей поднял голову, на мгновение встретившись с ее широко открытым взглядом, в котором дрожали слезы, и снова отвернулся к окну.

— Спасибо... — произнес он безжизненно.

— Сережа... Глушко говорил, что твоя мама плохо себя чувствует... я хочу сказать — нездорова... Это что-нибудь... серьезное?

Сергей кашлянул, не сводя глаз с какой-то точки за окном.

— Лежит она,— ответил он, помолчав.— Она, как про это узнала...

Таня шагнула вперед, став теперь вплотную к Сергею, едва не касаясь его плечом.

— Сережа,— заговорила она опять, и умоляющие нотки непривычно послышались в ее голосе,— ну послушай, Сережа... если ты хочешь, может быть, нужно чем-нибудь помочь... я могу прийти, если нужно... может быть, нужно готовить — я возьму у Люси поваренную книгу, у них есть старая... если ты хочешь, Сережа, ты ведь знаешь...

Она робко дотронулась до его рукава:

— ...ты ведь знаешь, Сережа, что...

— Не надо,— отозвался он.— Чего тебе приходится... там соседка одна приходит, помогает... а Зина сейчас у дядьки. Все равно, спасибо за...

Оборвав фразу, он повернулся и, не глядя на нее, вышел из зала.

Таня медленно пошла следом за ним. Не дойдя до двери, она присела на пыльный ковер и заплакала, уткнувшись лицом в колени.

Несколько человек, стуча каблуками и громко разговаривая, прошли по коридору мимо дверей, и кто-то, дурчась, запел фальшивым ломающимся тенором:

Как много де-е-евушек хоро-о-ших,
Как много ла-а-асковых имен...

Таня подняла мокрое от слез лицо и прислушалась, судорожно всхлиывая. Как раз эту песенку пел тогда Сережкин брат — в тот вечер, когда она обедала у Дежневых... Она вспомнилажатие его большой шершавой ладони — осторожное, словно он боялся сделать ей больно,— и то сосредоточенно-довольное выражение его добродушного лица, с каким он, наклоняя ухо к грифу, вслушивался в треньканье своей гитары. Все Тапино существо противилось чудовищной мысли о том, что этот человек, еще недавно разговаривавший с нею и развлекавший ее своими песенками, лежит сегодня — может быть, страшно и неузнаваемо изуродованный — в братской могиле под Выборгом, в чужой, холодной земле...

В середине апреля вернулась мать-командирша, строго оглядела свою воспитанницу и осталась ею недовольна.

— Ты что же это, мать моя, опять тут без меня за свое принялась? Ишь, хороша — бледная, под глазами си-

няки, глядеть на тебя тошно. Ну, говори же — что еще случилось?

— Со мной ничего, Зинаида Васильевна, — тихо ответила Таня, стоя перед ней с опущенной головой. — У Сережи брата убили в Финляндии...

— Ну, царствие ему небесное, — просто и печально сказала старуха. — Ты что ж, всерьез его любишь?

Таня еще ниже опустила голову.

— Я ничего не знаю, Зинаида Васильевна... если бы вы знали, как мне его жалко... Сережу... как у меня все болит!.. — Она закусила губы и прижала руки к груди, и этот жест не получился у нее ни надуманным, ни театральным. — У меня сердце останавливается, когда я его вижу!

— Ох, девка, девка, горе ты мое горькое, — покачала головой мать-командирша, обняв ее за талию. — Что мне с тобой делать, и ума теперь не приложу... Угораздило же тебя заневеститься спозаранку, и в кого только ты такая пошла — с молодых, да ранняя...

Таня подняла глаза и посмотрела на нее прямо и печально, без смущения.

— Да, выросла, мать моя, — вздохнула Зинаида Васильевна. — Да что ж, с вашим братом так всегда и бывает — сморгнуть не успеешь...

Таня и сама чувствовала, что во многом переменялась за этот месяц. Действительно ли она «заневестилась», как определила мать-командирша, или просто стала как-то серьезнее — но действительно, она уже не была прежней.

Ее потрясла гибель Николая Дежнева. Второй раз входила смерть в ее жизнь, и — странно, даже катастрофа с отцом не произвела на нее три года назад такого страшного, ошеломляющего впечатления. По ночам она долго лежала без сна, глядя в потолок, по которому пробегали короткие отсветы автомобильных фар, и думала, думала, думала...

Сергей Митрофанович сказал однажды, что у Пушкина можно найти ответ почти на любой вопрос. Вспомнив это, Таня несколько раз подряд перечитала «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», но стихотворение ее не успокоило и ничего ей не объяснило. У Пушкина смерть была простой и почти радостной, как заслуженный отдых после работы. То, о чем писал Пушкин, не имело ничего общего со страшной ледяной могилой под Выборгом, с непостижимым исчезновением живого и веселого человека, внезапно растворившегося в бездонном мраке биологической смерти...

Про эту «биологическую смерть» Таня слышала в классе неоднократно и всякий раз чувствовала в себе протест против того, что, оказывается, она, Татьяна Викторовна Николаева, живет на земле только для того, чтобы через столько-то лет превратиться в определенное, равное весу ее тела в момент смерти количество микроорганизмов, растительной клетчатки и минеральных солей.

Отчасти ей бы даже хотелось, чтобы из нее вырос потом куст роз — как из гроба Изольды. Но ведь вместо розы свободно может вырасти какая-нибудь гадость вроде базаровского лопуха, а главное — куда же денется все остальное: ее мысли, желания, надежды, даже просто привычки и манеры, которые из двух миллиардов людей на земном шаре присущи только ей одной и никому больше? Очевидно, все это исчезнет вместе с нею и никогда больше не повторится. Никогда — ни через тысячу лет, ни через миллион, ни через сто миллиардов!

Людмила ее просто не поняла, когда она решила поделиться с нею своим отчаянием. Нечего об этом думать, сказала она, это у нее просто какой-то психоз: ведь когда человек умирает, то он перестает сознавать и время для него прекращается. Значит, выходит, совершенно все равно — одно мгновение или вечность. И зачем вообще ломать над этим голову?

Если Таня и излечилась постепенно от этого «психоза», то ей помогли не трезвые рассуждения подруги, а ее собственная любовь — нестерпимое, рвущее сердце чувство жалости к Сергею. Когда страдает любимый, не станешь размышлять о том, что ждет тебя после смерти и как будет выглядеть эта самая вечность. Важно не то, что произойдет с нею через миллион лет, а то, что происходит с Сережей сейчас, сегодня...

После разговора в гимнастическом зале их отношения приняли какой-то новый характер. Впрочем, отношения эти существовали только для них самих — посторонние вообще никаких отношений не видели. Они, как и всю эту зиму, никогда не бывали вместе, ни о чем не говорили, не обращались друг к другу. Встречаясь с Таней, Сережа здоровался торопливо и как-то неловко и быстро проходил мимо. До того разговора они вообще не здоровались, так что это было уже много — почти примирение. А большего и нельзя было пока ожидать, Таня это прекрасно понимала.

Наступил май — горячая предэкзаменационная пора. Людмила не давала ей теперь ни минуты отдыха, кроме регулярных ежедневных прогулок в парке. Уж кто-кто,

а Людмила умела организовать занятия таким образом, что на посторонние переживания просто не оставалось времени! По вечерам, одурев от зубрежки, Таня заваливалась в постель и засыпала мгновенно, не успев натянуть на себя простыню, а утром снова повторялся замкнутый цикл: школа — обед — занятия — прогулка в парке — занятия — ужин — занятия — холодный душ — сон.

6

В конце мая, за несколько дней до начала экзаменов, Таня проснулась однажды ночью от света и негромкого разговора за портьерой. Не успев даже как следует испугаться, она услышала знакомый хрипловатый голос, звук осторожно притворенной двери и поскрипывание паркета под крадущимися на носках шагами.

— Дядяша!! — закричала она, выскочив из постели и путаясь в рукавах халатика. — Дядяша, здравствуй! — И пулей вылетела в соседнюю комнату, прямо в объятия Дядяси, пахнущие чужим дорожным запахом каменноугольного дыма и дезинфекции.

— Ну вот... ну вот, — повторял Дядяша, поглаживая ее спину, — ты, Татьяна, оказывается, как была плаксою, так и осталась... сразу в слезы, даже не хочешь толком поздороваться. Ну, здравствуй, сударыня!

Он вскинул Таню на воздух и расцеловал в обе щеки.

— Э, да ты, брат, выросла! — засмеялся он, опуская племянницу на пол. — Мне теперь тебя и не поднять — разве только вот так, на радостях. А ну, ну, покажись...

Держа Таню за локти, он отодвинул ее от себя и изумленно присвистнул.

— Вон ты кака-а-ая... — протянул он. — Теперь-то я, брат, понимаю, что значит год не быть дома! Уезжал — была просто пигалица, а теперь гляди ты! Взрослая ведь девица, и какая... ну, Татьяна, этим ты меня порадовала, молодец, брат. Только вот я не сказал бы, что вид у тебя здоровый... ты не болела?

— Нет, а что?

— Да понимаешь, какая-то ты, э-э-э... — Дядяша поиграл пальцами, подбирая слово. — Вид у тебя усталый, вот что.

— А я действительно устаю, скоро ведь экзамены...

— Да, это причина веская, — согласился он. — А вообще молодец — выросла и похорошела. Покажись-ка еще раз!

— Ну, Дядяша! — запротестовала Таня. — Ты лучше сам покажись, я ведь тоже не видела тебя целый год... А ты загорел, и похудел — ужас, и... Дядяша! — воскликнула она вдруг, увидев его петлицы. — Что это — ты уже...

— Так точно! — смущенно крикнул Дядяша, вытянувшись и щелкнув каблуками. — Полковник Николаев прибыл в ваше распоряжение.

— Дядяша, поздравляю! — Таня опять повисла у него на шее. — Ох как я рада! А ты рад?

— Что вижу тебя, — улыбнулся он, щелкнув ее по носу. — А носишко-то не растет, а?

— А ну его, — отмахнулась Таня. — Не-ет, а этому ты рад? — Она провела пальчиком по его новеньким шпалам, отсвечивающим рубиновой эмалью.

— Этому? И этому рад, а как же. Полковник — это, брат, птица важная, — просипел Дядяша чужим голосом, подмигнув ей и делая мрачное лицо.

— Ой, Дядяша, а это что? — испуганно спросила Таня, заметив на его щеке небольшой шрам, которого раньше не было. — Ты был ранен? Как это случилось, Дядяша? Только честно!

— Тебя это так интересует? — Полковник улыбнулся и приподнял ее лицо за подбородок. — Ничего интересного рассказать не могу, уж не обессудь. Машина получила прямое попадание, в башню, а в таких случаях от брони в этом месте — с внутренней стороны — откалываются мелкие кусочки стали, их как бы разбрызгивает. Вот такой штукой меня и царапнуло. Теперь все ясно?

Таня привстала на дылочки и поцеловала его в беловатый рубец, резко выделявшийся на бурой от ветра и загара коже.

— Дядяша, бедный! Тебе было очень больно?

— Какая же это боль, что ты. Ну как от пореза, скажем так.

— Ох, сомневаюсь. Это разбрызгивает, если попадает маленький снаряд?

— Именно.

— А если большой?

— Тогда и результаты соответствующие. Хорошо, довольно об этом. Как ты тут жила?

— Ничего, Дядяша. Меня тоже ранило, оселью. В начале учебного года.

— То есть? — удивленно спросил полковник.

— Ну, на уроке, в химкабинете... Ты понимаешь, меня химик вызвал и дал выкачать воздух из колбы — а у

пас там есть такой маленький компрессор, ручной, у него такое колесо и ручка, и нужно крутить. И потом там два краника, всасывающий и нагнетающий, а я их перепутала и подсоединила колбу к нагнетающему — и кручу, и кручу. А химик еще говорит: «Довольно, Николаева, не усердствуйте». И только он это сказал, а колба взяла вдруг да ка-ак лопнет! Я так и села, правда! Вот химик перепугался: он думал, что мне глаза выбило, а меня только всю обсыпало — потом и в волосах были стекла, и на платье, а один кусочек даже сюда воткнулся, в краешек уха. Его вытащили пинцетом.

Полковник пожал плечами:

— Поразительное дело, Татьяна. Я ведь тебе миллион раз говорил, что в обращении с лабораторным оборудованием нужно быть крайне осторожной... еще после того случая, когда ты ухитрилась включить амперметр в штепсельную розетку! Ну подумай сама — что было бы, если бы стекло попало тебе в глаза?

— Было бы плохо,— вздохнула Таня, соглашаясь.— Ой, на меня потом наша класрук так кричала! Ты, говоришь, представляешь себе, если бы с тобой случилось несчастье? Ну, ничего, я теперь всегда буду закрывать глаза, если мне еще когда-нибудь придется обращаться с этими штуками...

— Нет уж, сударыня! Я просто пойду в школу и поговорю с твоими преподавателями физики и химии, чтобы они и близко тебя не подпускали к опытам! Не хватает только, чтобы ты и в самом деле начала производить их с закрытыми глазами...

— Да нет, это я так. Вообще-то меня уже не подпускают, так что тебе можно не ходить. Дядяша, я так по тебе соскучилась! — Таня опять прижалась щекой к его груди, закрыв глаза.— Как я все ждала, что ты вот-вот приедешь, а тут то одна война, то другая... А теперь уже никаких войн больше не будет?

— Теперь уже не будет. Теперь мы с тобой будем отдыхать — а, Татьяна? Какие у тебя планы на лето?

— А у тебя?

— Вот завтра поговорим. Сейчас я прежде всего хочу помыться. Ты писала, что у тебя тут есть ванная... Да, кстати, как тебе вообще нравится квартира? Кажется, ничего?

— Ой, еще бы. Ты будешь купаться? Я сейчас приготовлю, подожди минутку!

Таня выбежала из комнаты. Когда она вернулась, полковник рылся в своем чемодане, поставив его на стул.

— Ты знаешь, есть даже горячая! — весело объявила она. — Как странно, никогда нельзя понять, что с этой водой — то по целым дням только холодная, то вдруг появляется горячая, и тогда уже круглые сутки... даже когда не надо. Ой, а у нас целую неделю в феврале не работало отопление — такой был мороз, ужас! Дядяша, а это правда, что в Финляндии было сорок градусов?

— Случалось, — ответил тот, доставая из чемодана пакетик. — Случалось и сорок. Вот, Татьяна, тут я тебе кое-что привез... Хотел было не отдавать до окончания экзаменов, ну да уж...

— Дядяша, я ведь тебе писала, что никаких подарков мне не нужно!

— Да, но ты ставила условием, чтобы я возвращался поскорее... А поскольку мне пришлось задержаться... впрочем, если ты отказываешься... — Он улыбнулся, делая вид, что хочет спрятать пакет обратно.

— Ну-у, нет! Раз уж привез, то теперь поздно. А что это?

— А это вещь сугубо практическая, так что тебе может и не понравиться...

Таня растеребила бумагу.

— Ну... я просто не могу представить себе, что это может быть, — озадаченно прошептала она, разглядывая кожаную коробочку, на крышке которой блестела вытисненная греческая буква, отдаленно ей знакомая. — Что же это за закорючка?.. Кажется, это было в физике — когда проходили электричество... Ах да! Это же единица сопротивления! Ой, — сказала она немного разочарованно, наморщив нос, — знаю... ты привез мне амперметр — вместо того, что я тогда сожгла.

— Нет, — улыбнулся Дядяша, — этой штукой измеряется не ампераж. Ладно уж, открывай, все равно не догадаешься.

Таня отколопнула крышку, сделала большие глаза и тихо ахнула: в коробке лежали квадратные золотые часики на чешуйчатом браслете. Несколько секунд она смотрела на них, не решаясь тронуть, потом вытащила и с тем же зачарованным видом надела на левую руку. Браслет легко и плотно оковал запястье.

— Дядяша... — прошептала Таня, поворачивая руку под светом люстры и щурясь на теплые вспышки золотых граней. — Дядяша, ну зачем такое...

Она счастливо вздохнула и, закрыв глаза, потерлась щекой о полковничьи нашивки на рукаве.

— Ну-ну, — пробормотал он, отстраняясь, — что это

еще за кошачьи манеры — человек прямо с дороги, а ты лицом...

— Ничего... Дядяша, спасибо... спасибо... и спасибо,— проговорила Таня, целуя полковника по очереди в одну щеку, в другую и — в заключение — в кончик носа.

— Ну, отлично. Рад, если тебе понравилось. Я пошел мыться.

— Приготовить чай, Дядяша? В военторге вчера давали копченую колбасу — как раз твою любимую...

— Отлично, приготовь. Да, Татьяна, там у меня в чемодане какая-то курица, вытащи ты ее, она мне уже две газеты промаслила, будь она неладна...

Через полчаса полковник вернулся, насвистывая куплеты тореадора, довольный, с еще более красным лицом, в свежей гимнастерке с залежавшимися складками. Таня стояла посреди комнаты, вертя в руках его ТТ; широкий ремень с кобурой, съехавший на бедра, был нацеплен поверх ее халатика. Полковник нахмурился и оборвал свист.

— А вот за это, сударыня, вы в следующий раз получите этим самым ремнем,— сказал он, ловко отобрав у нее пистолет.— Тебе миллион раз говорилось — не смей прикасаться к оружию. Ясно?

— Господи! — Таня капризно сморщила нос, растягивая пряжку.— Уже и посмотреть нельзя. И потом, что ты грозисься, ты меня и пальцем не тронешь, что я, не знаю...

— Мать-командирша тронет, по моей заявке.

— Она тоже не тронет,— хвастливо заявила Таня.— Уже не тронет, я теперь уже взрослая!

— Вот разве что... нашла себе спасение,— проворчал полковник.— Ну, как там насчет чаю?

— Садись, Дядяша, все готово. А куру есть будешь?

— Нет, я поужинал в вагоне-ресторане. Мне покрепче, пожалуйста.

— Я знаю, Дядяша! Этого-то я еще не забыла...

— Довольно, спасибо...

— На здоровье. Так ты не хочешь? А я съем ногу, вот что я сделаю... м-м-м, чудная кура, правда! Ужас, я уже полгода не ела ничего вкусного...

— Что, плохо со снабжением?

— Нет, не в том дело... Вообще-то в городе неважно, но в военторге, кажется, пока ничего. Нет, просто у нас новая домработница. Раечка ведь вышла замуж, я тебе писала? Ну, а эта... словом, ты сам увидишь.

— Скверно стряпает? — улыбнулся полковник. — Попи другую, в чем дело. А вообще на такие вещи не стоит обращать внимания. Ну, хорошо, расскажи, как ты тут жила. Как школа? По-прежнему опаздываешь? Смотри, Татьяна, ты теперь с часами...

— Нет, Дядяша, я теперь уже не опаздываю, и вообще я теперь стала такой хорошей — прямо самой не верится! Ты понимаешь... я осенью — вернее в начале зимы — так плохо стала учиться, просто ужас, самой было противно, и тогда директор вызвал меня и сказал, что меня исключат...

— Какое безобразие, Татьяна, — поморщился полковник. — Просто позор — тебе, и еще плохо учиться...

— Ну да, вот и директор то же сказал. Другие девочки, говорит, должны помогать дома, стоять в очередях и все такое, и учатся лучше меня. Мне так стыдно стало, я даже разревелась, правда. Ну, он дал мне месяц срока, подтянуться. Я и подтянулась. То есть не я сама, конечно... Это меня Люся тянула-тянула, как репку, знаешь? И наконец вытянула.

— Позор, Татьяна, — повторил полковник.

— Был, — поспешно сказала Таня.

— Допустим. А если повторится?

Таня энергично замотала головой, продолжая объедать куриную ногу.

— Честное слово?

— Угу...

— Ну, посмотрим. Как Людмила?

— Хорошо, Дядяша. Страшно красивая стала, ты представить не можешь...

— «Страшно красивая» — нелепое выражение, Татьяна.

— Ну, это так говорится, а вообще, конечно, нелепое. И потом она такая умная, степенная — знаешь, прямо как взрослая. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не Люся, правда.

— Охотно верю. — Полковник улыбнулся и закурил папиросу. — Да, Людмила — замечательная девушка, редкая.

У Тани вдруг загорелись глаза, она даже забыла о своей курице.

— Дядяша! А почему бы тебе на ней не жениться? Через год, правда! Ой, вот бы мы чудно зажили втроем...

— Блестящая мысль, — кивнул полковник. — Теперь я и в самом деле вижу, что ты выросла и поумнела.

— Тебе все смешно! — с обидой сказала Таня. — А я

всерьез! Помнишь «Евгения Онегина»? Почему-то моя тетка могла выйти замуж за Гремина, а между ними тоже была большая разница... в возрасте. Дядясаша!

— Я слушаю.

— Дядясаша, а вообще можно выйти замуж после десятого класса?

Левая бровь полковника полезла кверху.

— А за кого это вы, сударыня, собрались выходить замуж, позвольте вас спросить?

— Ну, Дядясаша! — Неожиданно для самой себя Таня вспыхнула вдруг до самых ушей. — Ну как ты можешь! Я ведь просто спросила, вообще...

— Ах так, так, — кивнул полковник. — «Просто вообще», безотпосительно к себе...

— Ну конечно же!

— Я понимаю. Увы, ничего не могу тебе сказать. Это уж тебе придется сбегать навести справки в загсе, мне этими вопросами как-то не случалось заниматься. Пока не случалось!

— Ну вот, — сказала Таня, — чего ради я пойду в загс, очень нужно. Значит, ты не согласен жениться на Люсе. Как жалко! Но такую племянницу, как Люся, ты хотел бы иметь, правда?

— Я просто хотел бы, чтобы моя племянница обладала Людмилиными качествами. Уяснила?

— Так точно. Но только это трудно — обладать Люсиными качествами! Ну ничего, я обладаю другими. И вообще, Дядясаша, ты не думай — я вовсе не такая уж плохая, правда. То есть я, конечно, плохая, но я хорошая уже тем, что сознаю, какая я плохая. Это мне пришлось в голову на прошлой неделе.

Полковник засмеялся:

— Ты, Татьяна, становишься казуисткой. Катай-ка ты лучше спать, «плохая-хорошая», уже поздно.

— Спать? Что ты, Дядясаша, скоро уже светает... посмотри, который час!

Таня потеряла браслет рукавом халатика.

— Ой, прямо не верится, что это мой, — вздохнула она. — Где ты их достал, Дядясаша? У нас таких нет...

— Кунил в Ленинграде.

— Какой ты счастливый, Дядясаша, всюду едешь, то ты в Монголии, то в Москве, то в Финляндии... а я тут сижу и сижу!

— Ну, моим путешествиям завидовать не стоит, — усмехнулся полковник. — И потом, не все же время ты тут сидишь, вот прошлым летом едила в Минводы...

— Да, но это совсем неинтересно... Дядяша, пожалуйста, поговорим сейчас насчет лета, зачем ждать до завтра? Люся — такая счастливица! — уезжает в Ленинград, ее пригласили знакомые. Ты представляешь? Я ей уже сказала, что приду провожать и назло ей лопну от зависти прямо на перроне и отравлю ей все удовольствие...

— Ну, это уже крайняя мера, к таким лучше не прибегать. Чем лопаться, сдавай поскорее экзамены, и махнем с тобой куда-нибудь на побережье — скажем, в Сочи. Согласна?

— Ой, Дядяша! Еще бы! Надолго у тебя отпуск?

— На месяц.

— У-у, только... — Таня сделала разочарованную гримаску.

— Служба, брат. Мы можем сделать вот что — проведем там июль, потом я вернусь, а ты оставайся на весь август. Если такой вариант тебя устраивает, то я закажу путевки.

— Конечно, Дядяша! Хотя...

Радость вдруг сбежала с ее лица. Она растерянно взглянула на дядю и, закусив губу, молча опустила голову.

— В чем дело, Татьяна? — удивленно спросил он.

— Не знаю... я сейчас подумала, что, возможно, не смогу поехать, Дядяша...

Не поднимая головы, Таня сняла с руки браслет и принялась щелкать замочком.

— Дядяша... я должна рассказать тебе одну вещь...

Полковник, нахмурившись, смотрел на нее с тревогой и недоумением.

— Что... что-нибудь серьезное? — тихо спросил он.

Таня, не глядя на него, закивала головой.

— Ну что ж... я тебя слушаю. — Он кашлянул. — Если ты считаешь нужным рассказать это мне, то... словом, я постараюсь тебя понять, о чем бы ни шла речь.

— Конечно, Дядяша, — сказала Таня. Она помолчала еще, потом начала рассказывать вполголоса, нервно вертя в пальцах свой браслетик. Полковник молча сидел напротив, курил, за все время не проропив ни одного слова. Когда рассказ был окончен, за неплотно задернутыми шторами уже розовело утро.

— ...так что вот, — так же тихо сказала Таня, — и я просто думаю, что с моей стороны это было бы просто нехорошо... уехать сейчас и оставить его одного... А ты как думаешь, Дядяша?

Полковник раздавил в пепельнице шестой окурок и вдохнул.

— Что-то мне не нравится во всей этой истории,— сказал он, барабанив пальцами по столу и вскинув левую бровь.— Ты так и не выяснила, за что он тогда на тебя обиделся?

— Нет...

— Но все же? Что ты предполагаешь? Он мог тебя ревновать к кому-нибудь?

— Нет...

— Ты не встречалась ни с кем из молодых людей?

Таня посмотрела на него удивленно:

— Ну, в классе... а кроме школы — ни с кем абсолютно, у меня нет ни одного такого знакомого мальчишки, чтобы с ним встречаться. В кино я бывала только с Люсей...

— Д-да...

Он встал, прошелся по комнате и сел на диван, поглаживая расставленные колени.

— Видишь ли, дружище... прежде всего — спасибо тебе за то, что ты нашла возможным рассказать мне все это. Меня это... просто тронуло. Тронуло твое доверие, ты понимаешь. Так вот... если уж доверять друг другу, то говорить надо откровенно. Верно, Татьяна?

— Конечно, Дядяша... — тихо отозвалась Таня.

— Так вот. Если хочешь мое откровенное мнение, — я бы тебе посоветовал не думать больше об этом... молодом человеке.

— Не думать я не могу, — так же тихо, но твердо сказала Таня.

— Татьяна, тебе ведь еще нет семнадцати.

— Я знаю...

— И у тебя еще впереди минимум шесть лет учебы.

— Я знаю. Но при чем это, Дядяша?

— Странный вопрос. Ты хочешь выйти за него замуж?

— Не знаю... Я об этом никогда не думала!

— Но в таком случае...

— Дядяша, я его просто люблю. При чем тут замужество?

— То есть, Татьяна? — Полковник пожал плечами. — Ты понимаешь, что говоришь?

— Ну... конечно...

— Да ничего не «конечно»! Сейчас-то я вижу, что ты еще настоящий ребенок!

— Никакой я не ребенок,— упрямо сказала Таня, крутя бахромку скатерти.— И замуж я никуда не собираюсь, просто я его люблю.

— Человека, который тебя оскорбил?

— Он меня не оскорблял... в общем, это было недоразумение, я уверена.

— Даже не попытавшись выяснить? Ну, что ж, Татьяна...— Полковник развел руками.— Если ты так в нем уверена...

— Конечно, Дядяша, как же иначе?

— Хорошо, допустим. На эту тему, я вижу, говорить бесполезно.

Таня встала из-за стола и приблизилась к нему.

— Ты на меня сердисься, Дядяша? — спросила она робко.— Но ведь я же не могу иначе, не стану же я тебе врать...

— Глупое ты существо, кто на тебя сердится? Я просто хочу тебе помочь, Татьяна, раз уж ты решила поделиться со мной своей проблемой. Давай теперь рассуждать логично. Ты уверена, что он достоин твоей любви...

— Я не могу так говорить, я сама хотела бы быть достойной его...

— Хорошо, это, по существу, одно и то же. Значит, этот вопрос отпадает, и обсуждать сейчас качества Сергея нечего. Следовательно, тебе нужно решить, как вести себя в дальнейшем, чтобы с ним примириться. Так?

— Угу...

— Ну что ж, я думаю таким образом... Прежде всего, не нужно торопить события. Пойми одну вещь, Татьяна. Если он тебя любит, он сам с тобою помирится. Сейчас у него семейное горе, ему не до этого, а через несколько месяцев все станет на свои места и вы сможете спокойно разобраться в том, что там у вас произошло. Это, я повторяю, если он тебя действительно любит. Ну, а если нет... Во всяком случае, я надеюсь, что у тебя хватит гордости, Татьяна.

— Конечно, Дядяша...

— Безусловно. Итак, ты согласна, что пока вам лучше не встречаться?

Таня вздохнула.

— Не вздыхай, это будет лучше и разумнее во всех отношениях. Я все же предлагаю тебе пока уехать, Татьяна. Поверь мне, это лучше. Тебе, я вижу, тоже нужно отдохнуть, а здесь ты, не встречаясь с ним, будешь чувствовать себя совсем скверно и вовсе изведешься. Ему-то ты пока ничем не поможешь, верно? Ни ему, ни себе...

— Это правда,— печально сказала Таня.

— Ну, видишь. Словом, подумай, и давай съездим на море. Подумай об этом хорошо.

— Я подумаю, Дядяша... Да, пожалуй, так будет лучше...

— Именно лучше, поверь мне. А теперь тебе пора собираться в школу, уже восьмой час.

— Я сегодня не пойду, Дядяша!

— С какой это радости? Нет уж, брат, перед экзаменами пропускать не годится. Меня ведь все равно целый день тоже не будет дома, наговоримся еще вечером...

Оставшись один, полковник отдернул штору и распахнул окно. Солнечное утро хлынуло в комнату, ветерок шевельнул развернутый лист бумаги на столе, тронул край портьеры. Таня копошилась у себя, хлопала дверцей шифоньера, стучала ящиками письменного стола.

...Такая вот свежая, весенняя зелень мерещилась ему тогда в Монголии, когда бригада совершала свой знаменитый марш-бросок через пустыню. Такая вот зелень, и еще запотевший кувшин с ледяной водой, только что из-под крана. Росистая зелень и холодная чистая вода без лимита. Его водитель умер в полдень на вторые сутки от теплового удара. Человека отодрали от рычагов, обжигаясь о броню, вытащили через узкий люк, и от человека не осталось ничего — ни знака, ни надписи, только песчаный холмик, и рядом — рубчатые следы гусениц, которые исчезнут через час, занесенные тем же песком. А потом — на спинке сиденья еще не успел просохнуть пот погибшего — за рычаги сел другой, и снова, отщелкивая километры, ползли и бежали цифры в черном окошке счетчика, ревел за стальной переборкой готовый расплавиться мотор, нестерпимым жаром полыхала броня, по-госпитальному окрашенная белой масляной краской, снова и снова и снова хрустел на зубах песок и, тяжелая, как жидкий свинец, била в виски кровь...

Полковник стоял у открытого окна. Пронизанная солнечными бликами и празднично убранная белыми пирамидками цветов, перед ним шелестела листва каштанов, но его глаза видели другое — смотровую щель, пыльный зеленоватый триплекс, за которым взлетали и проваливались рыжие барханы под раскаленным добела небом...

— Дядяша! — крикнула Таня из своей комнаты. — А как тебе понравился шахматный столик? Это ведь мой тебе подарок, я и забыла сказать!

— Отличный столик, Татьяна, я уже обратил внимание. Вот за это спасибо, я о таком давно думал...

Полковник покривил душой: он уже много лет довольствовался разграфленным куском клеенки, который можно было таскать свернутым в планшете.

— Я рада, что тебе понравилось, Дядяша! Ты знаешь, это ведь настоящая карельская береза, правда! Дядяша, а как выглядит эта береза, ты же их там видел? Это вроде нашей подмосковной?

— Я, Татьяна, что-то не обратил внимания...

Он подошел к столику и провел пальцем по его полированной доске, инкрустированной темными и светлыми квадратами с прихотливо переплетающимся узловатым узором древесины. Да, красиво. Но там, по правде сказать, было не до березок...

Опустив голову и поигрывая за спиной сцепленными пальцами, полковник прошелся по комнате и остановился перед большой картой Финляндии. Услышав его тяжелые шаги, Таня закричала из своей комнаты паническим голосом:

— Дядяша, не вздумай ко мне, я голая!

— Такие подробности можно дядьке не сообщать, — отозвался он, вглядываясь в низ карты, густо утыканной булавками с красными флажками. Очевидно, Татьянина работа. Интересно, обозначена ли здесь та деревушка... как ее — Куоккаярви... а, вот она.

...Здесь было единственное танкоопасное направление, и финны это знали. А когда заранее знаешь, с какой стороны пойдут танки противника, то не так трудно их остановить. Разумеется, если есть технические средства. У финнов они были. Противотанковые мины, скорострельная противотанковая артиллерия, бронебойные 37-миллиметровые снаряды с начальной скоростью 700 метров в секунду. У финнов всего этого было много — отличная французская продукция. И каждый квадратный метр заранее пристрелян. Единственным решением там могла быть мощная артподготовка или хотя бы предварительный бомбовый удар с воздуха — хотя бы один. Но ничего этого не было, был только приказ. Танки БТ-7 с противопульным бронированием — 20 миллиметров лобовой брони и по 15 с бортов — и приказ: прорвать оборону в указанном секторе.

...Впрочем, Шеболдаев был весел. Он тогда или не понимал, на что идет, или делал вид, что не понимает. Накануне получил из Смоленска письмо — родился сын, первенец, фотография которого прилагалась. За ужином счастливый отец держал карточку перед собой, прислонив ее к солонке, и показывал каждому входившему в

столовую: «Нет, сходство-то какое, сходство, а? Тут уж гарантия на все сто, никаких, братцы, сомнений — нос папин, глаза мамыны, так что прошу, братцы, не шутить! Сам Шеболдаев-младший, наследник! И калибр подходящий — три кило четыреста, во как!..»

Утром, за минуту до атаки, он еще раз включился в сеть батальона и вызвал Шеболдаева: «Как самочувствие, комбат?» В шлемофоне запищал голос, забиваемый переключкой абонентов: «...Выше среднего, я же говорил... всю ночь снился, сегодня подарю... это самое «ярви» — как это... говорится, на зубок?..» Они обменялись еще несколькими шутливыми фразами, — все серьезные были уже переговорены, оставалось только шутить или ругаться, — а потом в ясное утреннее небо всплыла ракета — и танки пошли, быстро набирая ход, выбрасывая изпод гусениц сверкающие фонтаны снежной пыли. Танк Шеболдаева подорвался первым, и финские артиллеристы расстреляли неподвижную машину аккуратно, как на полигоне, — от первого же попадания сдетонировала боеукладка; а ровно через шесть секунд — он машинально засек время — загорелась машина сержанта Осьмухина, первого в батальоне гармониста. Сержант вместе с заряжающим остались внутри, а водитель выбросился из переднего люка, с ног до головы облитый неярким коптящим пламенем, и стал кататься по снегу, разрывая на себе комбинезон...

Таня стояла перед раскрытым шифоньером, нерешительно теребя бретельку. Ей очень хотелось надеть приготовленную с вечера белую блузочку с короткими рукавами, но оставить часы дома было свыше ее сил, а выставлять их напоказ в первый же день было бы отвратительным хвастовством. Вздохнув, она вытащила синее платье, сшитое к Новому году. Ничего, оно ей тоже идет, это говорят все. Правда, левый накрахмаленный манжет немного помялся, ну да неважно...

Через несколько минут она вышла в соседнюю комнату уже с портфелем под мышкой и шутливо присела перед полковником.

— Ну, и как?

Тот оглядел ее с ног до головы, одобрительно кивая:

— Отлично, отлично...

— Угу. Хорошо, правда? Дядясаша, тот лейтенант, что приезжал от тебя, Виген — а фамилию не помню... Где он сейчас?

— Сароли? Здесь, где же ему быть. Мы приехали вместе.

— О... он страшно симпатичный, правда. А куда ты девал карту, Дядяшапа?

— Снял. Зачем она тебе?

— Да так, я хотела, чтобы ты мне все рассказал...

— Это неинтересно, Татьяна. Ну, ступай, опоздаешь.

— Угу. Я побежала, а ты смотри не засиживайся там до самого вечера!

Таня посмотрела на часики, звонко чмокнула полковника в щеку и вылетела из комнаты.

Полковник постоял у окна, увидел, как племянница пересекла бульвар, обернувшись и помахав ему рукой, потом достал из чемодана початую бутылку коньяку и сел за стол. «Так-то, товарищ полковник», — пробормотал он, выплеснув в полоскательницу остатки чая и на треть наполнив стакан коньяком. В конце концов, эти приказы — приказы атаковать танками через минные поля без артподготовки — отдавались не вами. От вас требовалось их выполнять, что вы и делали. Не потому, что хотели поскорее заработать лишнюю шпалу или боялись за свое положение. И даже не потому, что вас всю жизнь — еще со школы прапорщиков — приучали к мысли о том, что боевой приказ подлежит не обсуждению, а выполнению. Их нужно было выполнять во что бы то ни стало, те приказы на перешейке. Да, пусть — Шеболдаев. Пусть — Осьмухин. Пусть еще многие и многие. Но вы-то, полковник, сами понимаете, что означала граница в тридцати километрах от Ленинграда...

Покосившись на скомканную карту в углу, он одним духом опорожнил стакан и, не закусывая, потянулся за папиросой.

Так. Об этом больше не думать. Теперь нужно думать, что делать с Татьяной. Кто бы мог ожидать... девчушка, совсем еще девчушка — год назад. Да, полковник, это тебе не тапки водить...

7

Лето пришло, опередив сроки, жаркое, пыльно-зеленое, с толчеей у окошек городской кассы, с колеблющимся зыбким маревом над раскаленным асфальтом и короткими грозами, не успевающими принести прохладу.

Кончились экзамены. Сергей сдал их в среднем на «хорошо», без особого блеска, но и без провалов. Впрочем, в этом году они его не волновали: он был уверен в се-

бе, хотя эта уверенность не доставляла никакой радости. Теперь уже все это было не так важно.

Курс средней школы он, разумеется, все-таки закончит. Уходить сейчас, из девятого, было бы просто глупо. А с институтом придется подождать, — не матери же идти работать! Попробуй прожить на стипендию да на пенсию, да еще живя в разных городах...

Да, все его планы полетели к черту. Все было теперь совсем не так, как он представлял себе еще полгода назад. Тогда все казалось ясным: окончить школу, отслужить свои три года в армии — и в вуз. Таня к тому времени была бы уже на четвертом курсе, и уже никто не сказал бы, что ей, мол, еще рано выходить замуж...

Теперь же все изменилось совершенно. В армию его не возьмут по семейной льготе. В институт он не пойдет сам — нет денег. Значит, придется пока работать. А с Таней...

Да, все это было бы куда проще, если бы не Таня. Диплом — ну что ж, пес с ним, люди становятся инженерами и в тридцать лет, а если до института еще поработать год-другой, так это только лучше. Труднее было примириться с другой потерей. И самое страшное заключалось в том, что всякий раз, вспоминая ссору, Сергей чувствовал свою неправоту. В чем он тогда ошибся, он не знал, но ошибка была совершенна. И она была непоправимой. Не станет же он мириться с Таней теперь, после того как сам прогнал ее от себя!

В последний раз они виделись на письменном экзамене по литературе. Тема попалась легкая, и он уже через два часа сдал комиссии свою работу и спустился в сад. На скамейке под гипсовой статуей пионерки с горном сидела Ирка Лисиченко; Сергей сел напротив, поодаль. Минут через пятнадцать вышла и Таня. Лисиченко подозвала ее к себе и стала расспрашивать. Таня, явно волнуясь, отвечала короткими фразами и старательно избегала смотреть в ту сторону, где сидел Сергей. Он же не сводил с нее глаз, не обращая внимания на снующих вокруг одноклассников и не думая о том, что со стороны это должно выглядеть просто смешно — торчать вот так на самом солнцепеке и таращиться на сидевшую напротив девушку. Не все ли ему было равно, что о нем скажут, что о нем подумают...

Таня была в тот день очень печальной и вообще выглядела плохо. Она как-то осунулась за последние месяцы, круглая ее рожица похудела, глаза стали еще больше; Сергею тогда впервые пришлось в голову, что ее ведь

не назовешь красивой. Не говоря уже о Земцевой — даже беленькая Ирка Лисиченко выглядела рядом с Тапеей куда более миловидной. Но для него не существовало и не могло существовать в мире ничего прекраснее этого большеглазого личика с выступающими скулами и редкими крапинками веснушек на переносице...

После этого они больше не виделись. Двадцать восьмого июня он встретил Земцеву на площади Урицкого, возле треста «Электромонтаж», куда ходил насчет работы. Людмила несла только что купленный чемодан и рассказала, что едет погостить в Ленинград и что Таня уехала на побережье вместе со своим дядей и еще каким-то лейтенантом с армянской фамилией. Он даже не спросил, куда именно.

Инженер из «Электромонтажа», с которым его познакомил Архимед, и в самом деле оказался замечательным парнем. Все устроилось очень просто и быстро. Двадцать восьмого Сергей побывал в тресте, на следующий день съездил на стройплощадку ТЭЦ к мастеру двенадцатого участка и уже в понедельник, первого, вышел на работу.

Конечно, практически он не знал ни шипа. Если бы не разговор с инженером, во время которого тот ловко прощупал его знания по теории электричества и, видимо, остался доволен, Сергея никогда не взяли бы на должность младшего монтера. Мастер тоже устроил ему небольшой экзамен: начал с закона Ома, а кончил довольно заковыристой задачей на расчет индуктивного сопротивления цепи. Быстрота, с которой Сергей ее решил, по-видимому, произвела впечатление. Правда, мастер тут же не упустил возможности поставить «мальца» на место, спросив его, чем гнут бергмановские трубки. Когда Сергей чистосердечно сознался в своем невежестве, мастер поднял палец и сказал, что вот то-то и оно, на одних формулах далеко не уедешь.

— Ты что ж это, совсем школу бросил? — спросил он, выписывая Сергею направление в отдел кадров.

— Нет, — ответил тот, — я к вам на два месяца, пока занятия начнутся.

— А-а, вроде, значит, на практику... Что ж, дело хорошее. Деньжат подработаешь, подучишься... А может, понравится у нас, так и вовсе останешься. Работы тут еще года на два верных...

Два года — это, пожалуй, было бы слишком; но что за

эти два месяца он не успеет освоиться с электромонтажным делом хотя бы в самых общих чертах, стало для Сергея очевидным уже через неделю работы. Великолепные схемы, на бумаге вызывавшие восхищение своей стройной логикой, здесь — среди котлованов и строительного мусора — превращались в немыслимую путаницу кабелей, тонких и толстых, воздушных и подземных, разных марок и разного сечения; десятки километров кабеля, который нужно было укладывать в траншеи, подвешивать на опорах, протаскивать через бетонированные туннели и колодцы. Работа была тяжелой и грязной, кабельщики, в бригаду которых попал Сергей, ходили в грубых брезентовых спецовках, измазанные, как черти, глиной, суриком, битумом, изоляционным маслом; они вовсе не были похожи на тех монтеров, которых Сергеем приходилось видеть в городе. А самое главное — для этой монтажной работы его знания оказались малопригодными. Что толку разбираться в теории трехфазного тока или уметь с закрытыми глазами вычертить схему релейной защиты, если ты не знаешь, скольким диаметрам равен минимальный допустимый радиус изгиба силового кабеля, не умеешь определить на глаз сечение жилы или правильно разогреть битум для заливки в муфту...

Но Сергей был доволен. Его радовала и повизна обстановки, и обилие новых познаний, уносимых каждый вечер с монтажной площадки, и товарищеские отношения в бригаде, и даже самая тяжесть работы, которая отвлекала его от невеселых мыслей.

Огорчало только одно — что нельзя выкроить в рабочее время часок-другой и обойти всю территорию строящейся ТЭЦ. Он работал уже месяц, а общей картины у него в голове еще не сложилось; он знал, где расположена котельная, где агрегатный зал, где подстанции; но интересно было бы увидеть все это своими глазами, самому облазить все закоулки.

Однажды бригадир послал его в кладовую за мегомметром. В кладовой прибора не оказалось, его забрали монтажники главного распределительного устройства, и Сергей, очень довольный, отправился в главный корпус. Здесь, в сердце электростанции, уже можно было угадать, как все это будет выглядеть через несколько месяцев. Панели главного щита, еще оранжевые от сурика, в белых мазках шпаклевки и зияющие круглыми и прямоугольными отверстиями для приборов, плавной дугой охватывали зал. Сергей прошел за щит. Эх, вот бы где поработать! Он с любопытством поглядывал на развешенные по сте-

не монтажные схемы, завидуя тем, кто оставил на этих листах следы пальцев и карандашные пометки.

Меггер был еще занят; Сергею велели обождать минут десять, пока закончат проверку. «Ничего, мне не к спеху»,— сказал он и прошел дальше, к смонтированным панелям. Здесь уже не было путаницы разноцветных проводов: выглаженные и связанные в аккуратные жгуты и гребенки, изгибающиеся под прямыми углами, нервы электрического мозга в стройном и радующем глаз порядке разбегались к местам будущих приборов, шунтов и трансформаторов. Здесь уже все было понятнее. Да, вот бы поработать в таком месте хотя бы недельку!

Получив наконец свой меггер, Сергей с сожалением ушел из контрольного зала. Бригадир встретил его сдержанным матом и пообещал записать прогул: где его носит, тут нужно муфты заливать, дождь собирается, а кабели не проверены!

— Я за ним аж на главный щит ходил,— ответил Сергей, откинув крышку прибора и вставляя ручку.— Успеем, Григорий Иванович, время еще есть...

— Тебе всё есть,— проворчал бригадир.— А про концевую на девятом фидере забыл? Еще и разделять не начали, холера его забодай... а спрашивать с меня будут, мастер мне уже плешь проел за этот фидер. Ладно, давай крути. Леший его знает, что с ним делать... Просил сегодня Петра на сверхурочные остаться — не может... а я к завтраму обещал сдать вместе с этими и девятым...

Сергей крутил жужжащий индуктор, следя за стрелкой, которая колебалась возле значка «бесконечность»; потом она вдруг упала на ноль, и он сразу почувствовал, как исчезло тугое сопротивление рукоятки.

— Короткое, Григорий Иванович! — крикнул он.— Вы что, на землю пробуете?

— Иди ты,— испуганно отозвался тот,— у меня сейчас между фазами... А ну, крутани еще, что за черт!

Сергей крутнул ручку — стрелка не двинулась с нуля.

Бригадир замысловато выругался и спшиб кепку на затылок:

— Что за хреновина... мы ж его проверяли перед раскаткой, еще на барабане! Ну-к, Серега, будь другом, сбегай на тот конец — может, там что закоротило!

Сергей убежал. Через пять минут он вернулся и еще издали крикнул:

— Точно, Григорий Иванович! Там какой-то лопух бросил обрезок швеллера, прямо на выводы!

Григорий Иванович покрутил головой и опять выругал-

ся, на этот раз уже весело. Воспользовавшись моментом, Сергей закинул удочку:

— А знаете, может, разделаем сегодня девятый? Я мог бы остаться с Гавриленко, если Петро не хочет... а, Григорий Иванович? Мы его часа за четыре распатропили бы, честное слово.

Бригадир посмотрел на него подозрительно:

— Ты бы распатронил... Квалификации у тебя нет на фидерах работать. Кабель на десять киловольт, понимать надо.

— Так я ж не один буду! Разделять-то все равно будет Гавриленко, мое дело помочь. Ну, да как хотите, Григорий Иванович... Я думал, вас этот фидер и в самом деле режет.

Тот промолчал, обдумывая предложение. Они закончили проверку изоляции, Сергей отправился греть массу. К пяти часам — дождь так и не собрался — заливка муфт была окончена. Уже перед самым концом работы, когда Сергей собрался отнести мегометр в кладовую, бригадир остановил его:

— Оставь это, понадобится. Если хочешь, оставайся с Гавриленкой на сверхурочные, будете девятый разделять.

Сергей торжествовал. Работа интересная — это раз: он еще никогда не имел дела с кабелем, рассчитанным на напряжение в десять тысяч вольт. А главное — ему уже доверяли, ему, пришедшему сюда месяц назад!

Он сбегал в столовку, раздобыл полбуханки хлеба, десяток помидоров, зеленого луку.

— Зákусь что надо, — кивнул Гавриленко, подсаживаясь к опрокинутому ящику, на котором Сергей разложил ужин. — Сейчас бы сюда еще за три пятнадцать, и можно было б жить...

Сергей осторожно разломил помидор.

— А я не пью, — сказал он. — Попробовал раз с ребятами... на Первое мая. Голова после болела, ну се к аллаху...

— Это точно. Нет, я-то тоже не очень чтобы... так, с получки когда зайдешь с приятелями — граммов по двести. А так не употребляю. Это вот наш Григорий Иванович, этот любит заложить... Но, между прочим, мужик он толковый. Знающий мужик, этого у него не отымешь.

— Вы б на него подействовали насчет ругани, — сказал Сергей, кромсая хлеб монтажным ножом. — Навалились бы всей бригадой — и готово. А то что ни слово, то

матюк... Хорошая бригада, работаете стахановскими методами, а от бригадирского языка лошади шарахаются...

— Верно,— согласился Гавриленко.— Ругнуться он любит, это точно.

После ужина Сергей наладил освещение, притащил со склада тяжелую чугунную муфту — плоскую треугольную коробку с растопыренными белыми рожками изоляторов. Гавриленко тем временем измерил кабель, взвалил его на козелки, наложил первый бандаж.

— Значит, так,— сказал он Сергею,— джут сымешь от этих вот пор и начинай резать броню. Напильник достал? Боже тебя упаси ножовкой, в два счета можно свинец запороть. Бандаж только не забудь поставить — так, пальца на два от этого. А я пока за парафином схожу, может, у ребят есть на центральном...

Сергей остался один в пустой, ярко освещенной трансформаторной будке. На монтажной площадке было теперь совсем тихо, строительство затихло; справа, из-за главного корпуса, слышался шипящий треск электросварки и вспыхивали трепещущие фиолетовые зарницы. Напильник был старый, стальная бронелента поддавалась туго, но Сергей трудился, насвистывая от удовольствия. В будке, стены которой еще пахли сырой штукатуркой, было прохладно, никто не стоял над душой, никто не мешал, работать было приятно. И ведь какое ответственное задание ему доверили — шутка сказать, разделку высоковольтного фидера...

К тому времени, когда вернулся напарник, броня была уже снята, двухметровые спирали ленты, черные и блестящие от гудрона, валялись в углу, и Сергей, размотав нижний слой джута, мыл бензином свинцовую опрессовку кабеля.

— Уже? — удивился Гавриленко.— Смотри ты, по-стахановски дал. Свинец-то цел? Ну ладно, сейчас обмоешь и сядишь перекуривай, пока я землю буду паять. Лампа у тебя далеко?

Он взял паяльную лампу, отошел в угол и стал ее разводить.

— ...А я там с одним парнем поговорил... дружок мой, мы с ним еще на оптическом монтировали подстанцию, в тридцать пятом году. Молодой парень, а уже женился... в техникуме учится, на вечернем. Сейчас тоже гонит сверхурочные, зимой-то ему нельзя, вот он летом и наверстывает...

— Трудно, наверное? — спросил Сергей, отдирая прилипшую к свинцу бумагу.

— Да нет, не жалуется... Это же знаешь как — когда человеку чего захочется, так тут уж на трудности не смотришь. Может, оно со стороны и трудно, а тебе одна радость... потому интерес в этом видишь. Мишка-то доволен, еще как! А чего — два года еще поучится, будет техником... Главное — видеть в деле интерес, тогда все легко...

— Это верно, — вздохнул Сергей. — Ну ладно, можно паять, что ли? Давайте, а я пока муфту повешу.

Кронштейн сделали высоким — муфта приходится на уровне груди, заливать будет неудобно. С ящика, что ли, еще обварись, не ровен час. А Гавриленко прав, конечно. Все можно сделать, если есть цель, — и работать, и учиться по вечерам, и... эх, да разве в этом главная трудность...

Он укрепил муфту на кронштейне, снял переднюю крышку, вынул изоляторы. Потом закурил и подсел к Гавриленко, ловко орудовавшему паяльной лампой и лоскутом кожи, пропитанной парафином. Подчиняясь его движениям, олово ложилось вокруг кабеля ровным кольцевым напльвом, намертво соединя медный канатик заземления со свинцовой опрессовкой фидера. Золотые руки у человека, жаль только, что он не пошел дальше семи классов. Научиться вот так работать и еще иметь теоретические знания — что может быть лучше! Нет, может, оно и есть самое правильное — поступить на будущий год без отрыва от производства...

К десяти часам кабель был разделан, длинные двухметровые «усы» забинтованы тремя слоями полотняной ленты, муфта закрыта. Сергей развел огонь в переносной печке, поставил разогреть массу. Гавриленко принес из будки ворох пропитанного битумом джута.

— Кидай его туда, — сказал он, присаживаясь возле Сергея, — гореть будет как порох. Ну, вроде всё, сейчас только залить — и по домам. Быстро управились, верно?

— Вторую заливку сделаем утром?

— Ясно. Не ждать же, пока осядет! Ничего, сегодня сухо, не отсыреет. Сколько там набежало?

Сергей достал большие карманные часы, наклонился к огню:

— Четверть одиннадцатого.

— Ну вот, в одиннадцать и пошабашим. Луковица у тебя знатная, откуда такую выкопал?

— От брата остались, — не сразу сказал Сергей. — Брат у меня погиб в Финляндии...

— Вон что-о... — Гавриленко смутился. — Да, оно конечно... У тебя курева не осталось? Ничего, я к сторожам схожу — может, стрельну парочку...

Гавриленко ушел. Сергей затолкал в топку слипшийся комок джута и растянулся на траве, закинув руки под голову.

Где-то далеко — на сортировочной — деловито пере-кликались маневрирующие паровозы. Из котельной, где монтажники работали в две смены, доносились пронзительный визг электродрели и гулкие удары кувалдой по железу. Да, дождя сегодня не будет — ишь как вывездило...

Сергей никогда не считал себя чувствительным человеком и даже подсмеивался в свое время над Таниной «сентиментальностью». Но почему-то сейчас эти звезды и эти мирные звуки человеческого труда действовали на него как-то странно успокаивающе, словно близость друга. Даже упоминание о брате не вызвало обычной боли.

Что ж, в конце концов человеческое сердце свыкается со всякой болью и примиряется со всяким несчастьем. А полученное Сергеем воспитание — далеко не сентиментальное — еще больше способствовало тому, что горе его скоро начало постепенно отступать куда-то на задний план, заслоняемое житейскими заботами. Уезжая, Коля дал ему наказ — в случае чего быть главой семьи, крепкой опорой для матери и сестренки; в том, что сумеет выполнить Колино завещание, Сергей ни минуты не сомневался, и эта уверенность помогала ему переносить страшное сознание потери...

К тому же в последнее время воспоминания о брате начали все чаще переплетаться с мыслями о Тане. Может быть, потому, что именно в ту последнюю осень, проведенную Колей дома, сам он переживал удивительное и ни на что не похожее состояние своей первой любви; и кончилось все это тоже вместе, в один день — когда он, поссорившись с Таней, пришел домой и узнал о том, что Коля записался добровольцем.

Невольное это сопоставление иногда казалось ему почти оскорбительным для памяти брата, иногда же он думал, что Николай бы его понял; хуже всего было то, что с гибелью брата он примирялся все больше и больше, а другая рана не заживала и, наоборот, временами становилась как будто еще более мучительной. Сколько он ни убеждал себя в правильности тогдашнего своего поступка, ничто не помогало, уверенности не было. В отчаянных попытках вырвать из сердца эту любовь Сергей до-

ходил иногда до того, что мысленно наделял Таю всеми самыми плохими качествами, всеми пороками — и тотчас же, опомнившись, чувствовал только отвращение к самому себе, сознавая, что окончательно теряет всякое право на примирение с любимой. А то вдруг, как вспомнятся ее золотисто-карие доверчивые глаза, приходила большая и радостная уверенность в том, что Тая все ему простит, простит даже те мысли. Ведь она не может не простить человеку, который любит, по-настоящему любит...

Теплая волна этой уверенности хлынула на него и сейчас. Он лежал на спине, слушал далекие паровозные гудки, и перед его открытыми глазами, обещая счастье, плыл огненный чертеж созвездий.

Послышались шаги, ругательство споткнувшегося человека.

— Сергей! — позвал из темноты Гавриленко. — Как там твоя кухня, не готово еще?

Сергей встал, приподнял крышку и железным прутом помешал расплавленную массу:

— Вроде густовата... пусть прогреется еще минут десять.

— Закурить хочешь? — Гавриленко подошел к огню, прихрамывая. — Заразы, покакидали на площадке всякой дряни, пройти нельзя... На, держи, разжился по одной. Так ты давай шуруй, я пойду все приготовлю. Крикнешь тогда, я подсоблю нести.

Сергей подбросил в огонь еще несколько чурок, закурил и снова лег. Он искал взглядом Полярную звезду, а потом ему вдруг неожиданно ярко и отчетливо, словно распахнули дверцу, представилась Тая на пляже, щедро облитая южным солнцем. Он никогда не видел ее в купальном костюме, но сейчас она стояла перед ним, совсем близко, и была похожа на ту статую, что возле пруда в Парке культуры и отдыха — такое же гибко вытянутое, словно взлетающее тело подростка, сжатые колени и плавная линия узких бедер, несмелое, едва еще намеченное очертание девичьей груди. Она стояла так близко, что он почти чувствовал излучаемое ее кожей тепло и аромат гречишного меда. Нестерпимое желание обожгло его вдруг — дотронуться до этой кожи, ощутить ладонями ее ласкающую упругость, теплую и бархатистую, как кожица спелого персика, — желание настолько острое, что он зажмурился, словно от внезапной вспышки перед глазами, скомкав в кулаке папиросу.

Ожог тотчас же вернул его к действительности. Он вскочил на ноги, сделал несколько шагов в сторону, вер-

нул. «Черт... ч-черт, этого только не хватало», — шептал он вздрагивающими губами. Так ему никогда еще не думалось о Тане — и в мысли не приходило, — да разве можно думать так о девушке, которую любишь! Чем же она тогда отличается для тебя от всякой, которую увидишь на улице, с которой иногда окажешься вдруг рядом в переполненном трамвае...

«Сволочь, — выругался он сквозь зубы, помешивая прутом расплавленный битум и отворачивая лицо от жара. — Как ты после этого сможешь смотреть ей в глаза, говорить с ней... мордой бы тебя в этот битум за такие вещи...» Не думая, что делает, он выдернул из бачка прут, стряхнул черные тягучие капли и приложил конец к левой руке — повыше запястья. Нестерпимая боль расплосовала руку от плеча до кончиков пальцев, отдалась даже где-то в груди; Сергей бросил прут и заморгал, сразу ослепнув от слез. Он еще дул на обожженное место, пританцовывая от боли, когда подошел Гавриленко.

— Ты чего, — испуганно спросил он, — ошпарился? Мать честная...

— Да вот, — сквозь зубы выжал Сергей, — на прут напнулся...

— Форсишь все, рукавчики подкатываешь! — закричал Гавриленко. — Работать еще не научился, а туда же — фасон давит!

— Ладно... на бюллетень не пойду от этого. Поболит и перестанет, не содохну... А вы не бойтесь, я завтра с перевязкой приду, а Иванычу скажу, что дома покалечился... Понесли, что ли, готово уже... на себе попробовал, — усмехнулся он, надевая брезентовые рукавицы.

Они проделали отрезок трубы через ручку бака и медленно понесли его к трансформаторной будке. Сергей чувствовал себя скверно, мучительно болел ожог, всю руку ломило, а главное — было стыдно за дурацкий мальчишеский поступок. Несмотря на все это, он вдруг фыркнул сквозь зубы. «Ты чего?» — удивленно покосился на него Гавриленко.

— Так... книжку одну вспомнил, — отозвался Сергей.

Точно! Вот уж действительно «отец Сергей» — прямо смех... Нужно уж было палец туда сунуть. Дурак ты, дурак... это в шестом классе пацаны волку себе испытывают — руки прижигают. Тоже мне, первокурсник по возрасту... Вот Таня смеялась бы, если б узнала! Спит уже сейчас, наверное... спит или, наоборот, веселится где-нибудь на танцплощадке... Таня, Танюша...

Как раз в этот момент Таня не спала и не веселилась. Она просто отчаянно скучала — сидела за бамбуковым столиком на террасе маленького приморского ресторанчика, общипывала губами веточку каких-то белых цветов и упорно старалась не слышать разговора между Дядесяшей и костлявым, длинным, как жердь, летчиком с нарубцованным ожогами лицом и двумя шпалами на петлицах.

Конечно, два месяца назад все это было интересно. Она и сама, сдав очередной экзамен, не бежала сразу домой набираться сил для следующего, а задерживалась в школе, где перед большой картой Франции постоянно толпились мальчишки и можно было услышать много нового. Но потом Петэн постыдно капитулировал, экзамены кончились и можно было бы забыть обо всем этом. Как бы не так! Попробуй забудь, когда город переполнен отдыхающими военными всех родов оружия, и всюду — на пляже, в любом кафе, не говоря уже о самом доме отдыха, — она слышит одно и то же: Седан — Аббевиль — Дюнкерк — Браухич — Вейган — форт Эбен-Эмаэль — Гудериан — Аббевиль — Дюнкерк, — с ума можно сойти, три недели одно и то же, одно и то же... как будто нет более интересных тем! Таня с сердцем куснула веточку и, бросив ее на стол, принялась лениво доедать мороженое.

— ...тут я не могу с тобой согласиться, — говорил Дядесяша. — Гитлер наобум не шел, пора это понять. Если некоторые отдельные операции и были тактически рискованными, то стратегия в целом... не знаю, боюсь, что мы с этой стороны немцев недооцениваем. Давай посмотрим: рискованный сам по себе рывок к морю с рассечением фронта надвое преследовал очень важную политико-стратегическую цель — расколоть англо-французские силы. Удалось это Гудериану? Безусловно. Англичанам в Дюнкерке было уже не до спасения Франции, важнее стало спастись самим. Вторжение в Бельгию — совершенно правильный стратегический шаг, позволивший обойти линию Мажино. Быстрый захват Голландии парашютными десантами — мера необходимая для обеспечения правого фланга бельгийской группировки. Так что, брат, это не просто авантюра. Это, скорее всего, план Шлиффена в новом издании, а Шлиффен далеко не был авантюристом. И потом, ты совершенно напрасно думаешь, что Гитлер не был осведомлен о степени обороноспособности Франции... знал он все это великолепно, будь спокоен. Знал и о продажности правительства, знал и о слабости бомбар-

дировочной авиации, знал и о том, что у французов за все эти годы не было создано ни одного типа современного скоростного танка. Их «рено» и «сомуа» делают по десять километров в час. Ты думаешь, немцы этого не знали?

— Ладно, пускай,— сказал майор.— Допустим, он все это знал. Ты вот говоришь, что гитлеровская стратегия была безупречной...

— Я этого не говорю,— перебил его Дядясаша.— Я только сказал, что французская кампания была проведена немцами по очень продуманному стратегическому плану,— это в ответ на твое утверждение, что они якобы рванули туда очертя голову и победили просто так, случайно. Я не утверждаю, что у них не было ошибок! Мне, например, до сих пор неясно, почему Гудериан не нанес удара от Аббевиля на север. Он бросился к югу. Почему? Непонятно! Действуя одновременно с группой армий фон Бока, он мог бы легко раздавить в клещах всю дюнкеркскую группировку. Почему этого не случилось — мне, повторяю, до сих пор непонятно. Загнать в мышеловку четырехсоттысячную армию и в последний момент не захлопнуть дверцу...

Таня обреченно вздохнула и подперла щеку кулачком. И про мышеловку она уже тоже слышала. И не раз. Про эту самую мышеловку вчера за обедом говорил ее сосед по столу, артиллерист, и отравил ей все удовольствие от пирожного. Кончится тем, что она попросту сойдет с ума и станет бегать по городу босиком и с распущенными волосами, как Офелия. И петь песенку про Аббевиля и про мышеловку, из которой убежало четыреста тысяч англичан.

— ...меня вообще очень серьезно беспокоит заметная у нас тенденция недооценивать стратегические способности немцев,— говорил полковник, покручивая в пальцах ножку бокала.— Их стратегические способности, их тактику и вообще... их силу. Хуже всего то, что отсюда один шаг до шапкозакидательских настроений... со всеми вытекающими из них последствиями. Воевать, дескать, будем малой кровью и на чужой территории... сплошное «ура». Как будем воевать — это еще вопрос... «малой кровью» пока еще никто и никогда не воевал. Тем более в наше время! Но воевать мы будем, вот что самое серьезное...

Майор, хмурясь,пил вино. Таня сидела с печальным видом.

Дядюсашу просто страшно слушать, всегда он говорит мрачные вещи. И вообще все складывается очень мрачно.

Послезавтра она останется здесь в одиночестве еще на целый месяц. Что Виген тоже уезжает — это и плохо (будет скучно без него и без его приятелей-лейтенантов), и вместе с тем хорошо: очень неприятно себя чувствуешь, когда за тобой ухаживают, а ты ничем не можешь ответить, кроме дружбы. Получается, будто ты невольно обманываешь...

И еще больше месяца остается до встречи с Сережей. Доживет ли она до первого сентября, совершенно не известно. А что будет потом? Как вообще сложатся их отношения после встречи? Просто с ума можно сойти от всего этого. Забраться бы куда-нибудь в глубокую-глубокую норку — и проспять до тридцать первого августа...

8

Энск встретил Людмилу ее любимой погодой — теплым «слепым» дождиком. Было воскресенье. Позвонив на всякий случай в институт и узнав, что доктора Земцовой еще нет, она сдала чемодан в камеру хранения и отправилась домой пешком.

Вспоминая серое небо над мокрыми асфальтами Ленинграда, сумасшедший день в пыльной и раскаленной Москве, Людмила чувствовала желание запеть от радости. Все в родном городе казалось ей чудесным: и мягкое украинское произношение дежурной секретарши, говорившей с нею по телефону, и сверкающие под утренним солнцем лужицы в выбоинах ярко-красного кирпичного тротуара, и омытая дождем лакированная зелень акаций на Пушкинской...

Войдя в прихожую, она прежде всего посмотрела на вешалку — мамина старомодная шляпка с синей лептой была на месте. В картонке, которую Людмила принесла с собой, была новая, купленная в Москве. Прислушавшись, Люда сняла шляпу с вешалки и сунула ее за нагроможденные в углу старые чемоданы; проще всего сделать так, чтобы мама на месте прежней нашла новую — тогда замена пройдет легко. Но распаковать картонку она не успела: с чемоданов свалилась кипа старых газет, и из комнат послышался рассеянный голос доктора Земцовой:

— Кто там?

— Я, мамочка! — крикнула Люда, запихивая картонку под вешалку. — Это я приехала, не пугайся!

Галина Николаевна, как обычно, сидела за заваленным книгами письменным столом. Услышав скрип двери, она подняла голову и с изумлением отложила перо:

— Ты, Люда?

— По-моему, — засмеялась Людмила, — а тебе как кажется? Здравствуй, мамочка.

— Здравствуй, Люда... осторожнее — не сломай пенсне. — Галина Николаевна подставила дочери щеку и в свою очередь коснулась губами ее лба. — Я ничего не понимаю. Какое сегодня число?

— Восемнадцатое. Я знаю, что рано, но я просто ужасно соскучилась...

— Неразумно. До начала учебного года еще две недели, глупо было прерывать отдых из-за эмоций. Какие-нибудь другие причины?

— Никаких, мамочка...

— Сомневаюсь. Во всяком случае, не одобряю. Впрочем, говорить об этом уже поздно. Ну, рассказывай. — Галина Николаевна кивнула дочери на кресло и снова взялась за перо. — Хорошо отдохнула?

— О да! Дача у них в Петергофе, там чудесно. И сам Ленинград... я в него прямо влюбилась! Правда, потом он стал казаться мне каким-то печальным... очень уж там много дождей...

— Влияние моря. В Эрмитаже побывала?

— Еще бы, почти каждый день!

— Каждый день не стоило, но ознакомиться полезно. Как Бахметьевы?

— Ничего, передают приветы. Алексей Аркадьевич сказал, что на днях напишет...

— Это будет через полгода. Тебе у них понравилось?

Людмила поглубже забралась в кресло, поджав под себя ноги, взяла со стола костяной нож и принялась старательно расковыривать лопнувшую обивку на подлокотнике.

— Как сказать, мамочка, — задумчиво отозвалась она. — У них такой странный образ жизни... Когда человек нигде постоянно не работает, это и называется представителем свободной профессии?

— Да. Или бездельник, это короче и гораздо точнее. А в чем дело?

— О, я просто спросила. Понимаешь, у Бахметьевых всегда бывало на даче много народу, особенно по выходным, и это всё люди, которые нигде не работают. То есть они, конечно, что-то делают — один нештатный журналист, другой критик, третий литконсультант, — но постоянного места работы нет почти ни у кого. Как странно, правда?

Галина Николаевна пробежала глазами исписанную

страницу и промакнула ее стареньким деревянным пресс-папье.

— Что же тут странного. Было бы странно, если бы эти Алексеевы приятели где-то работали.

— Ну, в общем-то они работают,— возразила Люда.— Они работают у себя дома. Разве писатели тоже бездельники?

— Убеждена, что в большинстве случаев это так.

Людмила вздохнула и погладила себя по щеке костяным ножом.

— Ну да, если не признавать за литературой вообще никакой ценности... Но это неправильно, по-моему. Ты-то, я знаю, вообще не признаешь искусства. В этом я просто не понимаю тебя... сколько уже раз мы об этом говорили, и я все-таки не понимаю.

— Чего же тут не понимать? Одни любят искусство, другие — нет.

— Правильно, мама. Но нелюбовь к искусству обычно объясняется просто отсутствием культуры. А как это у тебя — я не понимаю.

Пожав плечами, Людмила вытащила из-под обивки длинный пучок конского волоса. Галина Николаевна вздохнула и покачала головой:

— Беда мне с тобой, Люда. К чему запутывать простой вопрос? Есть люди, склонные — фигурально выражаясь — к метафизике. И есть люди, ум которых прежде всего и во всяких случаях требует предельной точности и ясности во всем. Ум, не терпящий никакой дымки, ничего не принимающий на веру и не способный мириться ни с какой недоговоренностью. Могу сказать, что я принадлежу к числу таких людей. И в этом не раскаиваюсь, хотя многие убеждены, что женщине такой склад ума не может принести ничего хорошего. Не знаю, Люда, лично я благодарю судьбу за то, что она создала меня именно такой. И думаю, что всякая нормальная женщина на моем месте скажет то же. Подчеркиваю — нормальная женщина, а не наседка... что?

— Ничего, мамочка, я только вспомнила,— вздохнула Людмила.— Софья Ковалевская не была наседкой, а в своей личной жизни она была очень несчастна. Как раз из-за этого. Наверное, ей хотелось быть просто женщиной... а не первой в мире женщиной-профессором. Не знаю, всегда ли она это чувствовала, но такие периоды у нее были. Я сама читала отрывок из ее письма в одном старом журнале.

— Да? Не знаю, возможно. Дай бог всякому сделать для науки столько, сколько сделала Ковалевская. Ради этого можно заплатить минутами хандры. Так вот, Люда. Очевидно, это свойство моего ума заставляет меня очень и очень критически относиться к искусству и к его объективной полезности. Тебе вот показалась интересной и необычной жизнь Бахметьевых и вообще их круга, а я тебе сейчас расскажу любопытную вещь. Когда Алексей был у нас зимой, он однажды стал мне жаловаться: «Сумбурная у меня работа, литературоведение у нас как-то не отстоялось, твердых критериев нет, сегодня мы хвалим одно, завтра другое, послезавтра начнем ругать то, что еще вчера казалось незыблемым эталоном», и далее в том же духе. Как это тебе нравится? А ведь Алексей Бахметьев — это не какой-нибудь начинающий критик, он посвятил этому всю жизнь, его ценят, это человек большой и разносторонней культуры! И вдруг оказывается, что его любимая работа — часто блуждание на ощупь. А сама литература? А само искусство как таковое? Да ведь оно прежде всего условно с начала до конца! Это как опера, — я нарочно беру крайний пример, — знаешь, что так в жизни не бывает, а все-таки слушаешь. «Нас возвышающий обман», что ж делать! Нет, Люда, я невысокого мнения об искусстве...

Галина Николаевна покачала головой и снова взялась за перо.

— Я тебе мешаю, мамочка? — помолчав, спросила Людмила.

— Я бы тебе сказала. Сиди, это просто письма. Ну, а твое мнение на этот счет?

— Об искусстве?

— Люда, не задавай глупых вопросов. Насколько я понимаю, мы говорили об искусстве.

— Это очень трудно — спорить с тобой... — задумчиво сказала Людмила. — Все, что ты говоришь, в отдельности правильно... но в чем-то ты ошибаешься. Ну и что из того, что в искусстве много условного? Не знаю... меня, например, это вовсе не отталкивает. По-моему, это нужно принимать как неизбежное...

— Неизбежное зло? — улыбнулась Галина Николаевна, пробегая глазами написанное.

— Ну, почему... просто неизбежное условие. Может быть, это даже так нужно? Ведь смотри, мамочка, если, например, литература должна учить людей чему-то хорошему, то в книгах обязательно будет больше хороших героев, чем плохих... вернее даже, не то что больше или

меньше, а просто герои будут всегда немножко лучше, чем в жизни, — более благородные, с более сильными чувствами, даже внешностью герой или героиня всегда выделяются. В жизни это не совсем так, мне кажется. Но это и правильно! Иначе книги были бы невероятно скучными, ведь правда? Вот у Бахметьевых часто об этом говорили — ну вообще о том, должна ли литература отражать жизнь такой, как она есть, или такой, как она должна быть. Ты понимаешь? Не то чтобы ее исказить, это нет, но просто... как бы это точнее выразиться...

— Я тебя понимаю. Но это бесплодный спор, Люда. Насколько я понимаю, литература и не может — органически не может — отображать жизнь с фотографической точностью, иначе это не было бы искусством. Значит, остается все же условность. Большая или меньшая — это уже зависит от автора. А вообще, Люда, я советовала бы тебе поменьше думать о таких вещах. Какое тебе до этого дело? Подобные размышления о ненужном я вообще считаю просто умственной недисциплинированностью, разболтанностью. И это опасно, это может вообще убить в тебе способность к концентрации мысли, сделать тебя неспособной к научной деятельности.

— Мамоchка, я совершенно не уверена, что гожусь для нее, — тихо сказала Людмила.

Галина Николаевна подняла брови и молча посмотрела на дочь, нашаривая на столе папиросную коробку. Закурив, она помахала горячей спичкой и, бросив ее в пепельницу, снова пожала плечами:

— Час от часу не легче. Для чего же ты, в таком случае, годишься?

— Я? Не знаю... мне очень хотелось бы воспитывать детей, по-моему это лучшее занятие в мире...

— Воспитывать детей и жить согласно формуле «трех К», — иронически сказала Галина Николаевна. — Могу тебя поздравить, Люда, это блестящая жизненная программа.

— По-твоему, посвятить себя воспитанию детей — мещанство?

— Почему мещанство? Мещанкой можно быть не имея детей. Это не мещанство, а ограниченность.

— Я с тобой не согласна. Лучше хорошо воспитывать детей, чем кое-как заниматься наукой...

— Безусловно, — кивнула Галина Николаевна. — Я и не хочу, чтобы ты занималась наукой кое-как. Я хочу, чтобы ты посвятила ей жизнь.

— Ради чего? — почти выкрикнула Людмила. — Мамочка, ну как ты не понимаешь — если у меня нет склонности к научной работе!

— Люда, прошу тебя. Не нужно кричать, учись разговаривать спокойно. Тебе кажется, что я не права? Отлично! Я ни к чему тебя не принуждаю, ты это знаешь. Решать свою собственную судьбу будешь, в конечном счете, ты сама, а я могу лишь советовать, всецело оставляя за тобой последнее слово. И поверь, у меня много причин советовать тебе именно научную деятельность. Не работать человек не может — ты согласна? А если уж ему нужно работать, то естественно стремиться к тому, чтобы твоя работа приносила максимальную пользу людям и максимальное удовлетворение тебе самой. Согласна? Ну вот, а наука — в данном случае физика — полностью отвечает этим двум основным требованиям, которые человек может предъявить к своей профессии. Будем рассуждать трезво. Чем вообще ты могла бы заняться в будущем? Воспитанием детей? Ну, — Галина Николаевна улыбнулась, — я все же не могу верить, что у тебя всерьез могут быть такие планы на жизнь. Есть две прекрасные, благородные профессии — медицина и педагогика, но для обеих нужно особое призвание. Этого призвания у тебя нет. Призвания к искусству — тоже. Значит — повторяю, будем рассуждать трезво, — тебе остается либо наука, либо одна из бесчисленных технических профессий. Едва ли тебя заинтересует последнее: инженер редко бывает творческим работником. По большей части он лишь исполнитель. Знаешь, Люда, я очень не люблю ученого чванства и надеюсь, что у меня никогда и тени его не было, но, при всем моем уважении к производственникам, я все же никогда не сравню лабораторию с заводом или конструкторским бюро. Когда-нибудь ты сама поймешь, какую творческую радость может дать человеку наука, и тебе покажутся смешными все твои прошлые сомнения. Думаю, что ты испытаешь эту радость. У тебя, Люда, есть необходимые задатки — ясный ум, выдержанность и внутренняя дисциплина. Разумеется, пока еще рано судить о том, обладаешь ли ты главным — той искрой таланта, без которой не бывает настоящего ученого... но это не всегда проявляется сразу. Единственное, что меня в тебе беспокоит, — это внешность... пожалуйста, не смейся — для женщины-ученого привлекательная внешность часто оказывается, как это ни странно, очень большим препятствием. Если не ошибаюсь, за лето ты умудрилась похорошеть еще больше?

Поправив пенсне, Галина Николаевна внимательно посмотрела на дочь и с неодобрением покачала головой:

— Просто не понимаю, что с тобой делается... Ты меня просто огорчаешь! И в кого только ты могла пойти? Отец твой далеко не был Аполлоном... и сама я, скажу не хвастая, никогда не блистала красотой...

Людмила, рассмеявшись еще громче, соскочила с кресла и, подойдя к матери, обняла ее и поцеловала в макушку:

— Mamочka, ну ты у меня просто прелесть!

— Бог с тобой, Люда, ты меня задушишь... Ты всегда выражаешь свои восторги как-то неумеренно, учись быть сдержанной...

— Да вовсе я не хочу быть сдержанной! И так уже Танюша называет меня деревяшкой...

— Эта Танюша...— Галина Николаевна вздохнула и покачала головой.— Если я никогда не протестовала против вашей дружбы, то только потому, что надеялась, что ты будешь на нее влиять. Получается, кажется, наоборот: ты начинаешь перенимать от этой пустышки все ее манеры.

— Неправда, Таня вовсе никакая не пустышка!

— Предоставь мне разбираться в людях, у меня для этого больше опыта. Таня, может быть, и не плохая девочка, но это воплощенная женственность в самом чистом виде...

— Ну и что плохого быть женственной?

— ...а женственность часто проявляется в худших человеческих качествах — кокетстве, нелогичности, способности к необдуманным действиям. Она несовместима со сколько бы то ни было серьезной деятельностью, помни это. Ну иди, иди, ты не даешь мне писать.

Людмила уселась на место и снова принялась за добывание конского волоса из-под обивки.

— Как твое здоровье, Люда? — спросила через минуту Галина Николаевна, продолжая быстро писать и придерживая бумагу левой рукой с дымящейся папиросой, зажатой между средним и указательным пальцами.— Все нормально?

— Все нормально, мамочка.

— Ты соблюдаешь все мои инструкции?

— Ага...

— Тебе стоило бы поговорить с Таней.

— Я уже говорила...

Некоторое время в комнате было тихо — слышался только чирканье воробьев за открытым окном, торчали-

вый порох бегающего по бумаге пера и поскрипывание кресла.

— А знаешь,— сказала Людмила,— я тебе купила новую шляпу.

— Какую шляпу? — удивилась Галина Николаевна.

— Очень красивую, английского стиля — немножко похожа на твою, но только модная. Такая с небольшими полями, так, так, и потом спереди немного вот так — знаешь, немного примято. Ты в нее влюбишься с первого взгляда, вот увидишь...

Галина Николаевна улыбнулась:

— Спасибо за внимание, Люда, но вряд ли я стану ее носить, говорю сразу.

— Но почему?!

— Странное дело! Во-первых, я привыкла к старой. А во-вторых, я и в твоём возрасте не была кокеткой, не меняться же мне теперь, на старости лет.

— Господи, ну какое в этом кокетство? — горячо протестовала Люда.— Твоя старая — это уже просто гриб! И вообще ее больше нет, понимаешь? Ее просто нет, так что тебе волей-неволей придется носить новую...

Она соскочила с кресла и направилась к двери.

— Люда! — строго сказала Галина Николаевна.— Что случилось с моей шляпой?

— Со старой? — Людмила, уже стоя на пороге, задумалась.— Я ее отдала нищенке. Не веришь? Правда, отдала, нищенка подошла к калитке вместе со мной, и я ей сразу вынесла. Подожди, сейчас я покажу новую...

Галина Николаевна пожала плечами и подозрительно прислушалась к шуршанию бумаги в прихожей.

Вернулась Людмила, с торжественным выражением неся шляпку на вытянутой руке.

— И у тебя хватит духу сказать, что не нравится? Мамочка, это создано специально для тебя! Надень, сейчас увидим. Ну, надень!

— И не подумаю,— решительно сказала Галина Николаевна, бросив взгляд на подарок и снова пожав плечами.— Я не хочу стать посмешищем для всего института. Тоже, скажут, старая дура, еще пытается соблазнять.

— Ну знаешь, мамочка! Ты просто сошла с ума!

— Отнюдь. Когда ты, наконец, научишься элементарной вежливости?

Людмила пропустила замечание мимо ушей.

— По-твоему, надеть новую шляпку — это значит кого-то соблазнять? — спросила она тем же возмущенным тоном.

— Боюсь, что да,— подумав, сказала Галина Николаевна.— Шляпка — это наряд. А функция всякого наряда общеизвестна.

— Мамочка! Но это же зависит от того, кто его носит! Неужели ты считаешь, что я тоже одеваюсь с этой целью?

— Люда, Люда,— примирительно заговорила Галина Николаевна,— это недостойный и демагогический прием... Ты отлично знаешь, что я не имела в виду тебя. Ступай мыться, сейчас пойдем завтракать.

— Так, значит, это правило относится не ко всем? — торжествующе спросила Люда.— Вот и к тебе никто его не применит. А если ты откажешься от моего подарка, то я обижусь совершенно серьезно, так и знай!

Люда водрузила злополучный подарок прямо на загромождающие стол книги и отправилась умываться. Когда она вернулась в кабинет матери, та сидела за столом в новой шляпке и задумчиво разглядывала свое отражение в застекленной дверце книжного шкафа.

— Ага, мамочка! Ведь идет?

— Гм... не знаю, идет ли. Но я готова признать, что легкомысленным это и в самом деле не назовешь. Когда это я успела стать старухой? Странно. Ты готова? Идем, уже поздно, неудобно заставлять ждать официанток...

На следующий день Людмила отправилась в дом комитета, разузнать о Тане. Полковника, как и следовало ожидать, дома не оказалось, и она зашла к матери-командирше. Та встретила ее со своим обычным грубоватым радушием, распекала за раннее возвращение и усадила есть арбуз. Пока Людмила ела, мать-командирша сидела напротив и ругательски ругала все на свете — жару, базарные цены, немцев, которые продолжают бомбить английские города, коменданта, вторую неделю не присылающего водопроводчика починить кран в кухне, Татьяну, от которой не дожدهшься писем, и «старого дурня» полковника, которого черти умудрили оставить девку одну-однешеньку в чужом городе.

— Мне она тоже не пишет,— сказала Людмила, парезая аккуратными столбиками истекающую соком крупитчатую арбузную мякоть.— То есть я получила всего одно письмо. А что рассказывает Александр Семенович?

— А что он будет рассказывать,— отозвалась мать-командирша, сердито обмахиваясь сложенной вчетверо га-

зетой.— Чуть, слышь ты, не потопла наша Татьяна, вот что он рассказывает...

— Каким образом?

— А шут ее знает каким... плавать вздумала, поганка! Не знаю уж, куда ее нечистая сила понесла... а только заплыть сумела, а назад стала ворочаться — только пузыри и пошли...

— Господи,— со страхом сказала Людмила, отложив вилку.— Ну, и что?

— Что... вытащили, ясно дело. Кавалеры всем скопом и вытаскивали... небось еще передрались, кому первому. После оживляли, дыхание какое-то делали. А он, слышь ты, после этого и уехал, оставил ее там. Господи прости, и дурень же этот Семеныч... до седых волос дожил, четыре шпалы таскает, а ума ни на грош... Она, говорит, мне обещала далеко не плавать!

— Ну... в конце концов, Таня уже взрослая девушка.

— Какая там она, к шутам, взрослая! Ты не гляди, что вы с ней одноклассники. Ты-то, может, и разумная девочка, а Татьяну эту учить еще и учить... И вот что я тебе скажу: что Семеныч в ней души не чаёт, это ладно, потому она и мне все равно как родная дочь, а вот что он потекает ей во всем — так к этому, прямо тебе говорю, Людмила, не лежит у меня сердце и не лежит. Что она ему — кукла какая, чтобы с ней только и знать что цацкаться? А что он ее еще в люди должен вывести — про это он думает? Ты вот гляди, ей через какой месяц восемнадцатый год пойдет, такие в мое время уже к венцу шли, домом своим обзаводились... а эта? Как была дитем, так и осталась — только и есть на уме, что шкоды разные да кино, да книжку какую позанятнее прочесть... вот и все ее заботы. А все потому, что живет как у Христа за пазушкой... и, главное дело, привыкла, что ей все с рук сходит...

Идя домой по тенистой стороне улицы, Людмила думала о Тане и о словах матери-командирши. Отчасти верно — в Танюше действительно еще слишком много детского. С другой стороны, этот ее роман с Дежневым... Она чувствовала, что эта история несколько не похожа на обычные школьные влюбленности. Сама она, например, была влюблена в Володю Глушко почти месяц, но от этого ничего не осталось. Было немного забавно вспоминать, и только. Они «разлюбили» друг друга как-то сразу, и никто не страдал, и отношения между ними остались самые товарищеские.

Конечно, Володя еще мальчишка, самый настоящий

щенок с горячими ушами. Дежнев не только старше его на два года — он вообще производит впечатление совершенно взрослого юноши. Может быть, дело объясняется именно этим? Но в их с Таней любви есть что-то очень серьезное... В школах такого обычно не бывает, о таком пишут в книгах со взрослыми героями. А с Танюшей это случилось в девятом классе. Какой же она после этого ребенок? Но и Зинаида Васильевна тоже права — кое в чем (и очень во многом) Таня действительно осталась самым настоящим «дитем». Интересно будет с ней встретиться — наверное, изменилась за лето, повзрослела...

Вот теперь-то она отдыхала по-настоящему! Строго говоря, ее путешествие в Ленинград вовсе не было отдыхом — это была скорее экспедиция в жизнь, интересная, но утомительная. Теперь же Людмила отдыхала в полном смысле слова.

Вставала она рано, вместе с Галиной Николаевной, делала обязательную пятиминутную зарядку, готовила чай, убирала в комнатах. После завтрака и ухода мамы она доставала из тайничка томик Платона и отправлялась в сад — в самый его тенистый угол, где возле заросших лопухами развалин дедушкиной оранжереи был вкопан в землю покосившийся одноногий стол и висел гамак. Здесь она проводила целые дни, выходя из дому только на обед в институтскую столовую.

Интерес к Платону появился у нее в Ленинграде. Однажды за обедом у Бахметьевых, как обычно многолюдным, зашел разговор о теории любви, изложенной в одной из работ этого философа. Людмила слушала с интересом, мало что понимая, и очень боялась, чтобы не спросили ее мнения, — она никогда и в глаза не видела ни одной строчки Платона. К счастью, ее так и не спросили; но ей очень запомнилось неприятное чувство стыда за свое невежество. Вернувшись домой, она на другой же день дождалась ухода Галины Николаевны и принялась рыться в книжных шкафах. Не может быть, чтобы Платон отсутствовал в дедушкиной библиотеке! Действительно, ей удалось отыскать один потрепанный томик «Диалогов» — «Тимей» и «Критий». Она решила тайком от мамы проштудировать хотя бы это. Тайком, потому что можно себе представить, как отнеслась бы к такому занятию Галина Николаевна.

Теперь она раскачивалась в гамаке и упорно грызла страницу за страницей. Втайне она была разочарована,

но боялась в этом сознаться. Что ж, Платон был забавен, но никакой особенной мудрости, которую так превозносили у Бахметьевых, она в нем пока не открыла. «Критий» был интереснее — там, по крайней мере, рассказывалось про Атлантиду; а в «Тимее» Платон решил, по-видимому, просто положить все знания того времени. Там говорилось и об астрономии, и о геометрии, и о происхождении Земли, и об анатомии и физиологии человека, и о том, откуда берутся разные животные. Оказалось, это просто-напросто души умерших людей, принявшие тот образ, которому больше всего соответствовал характер человека при его жизни. Людмилу очень развеселило утверждение, что птицы, «покрытые перьями вместо шерсти», получают из людей незлых, но легкомысленных и легковверных. «Вот что ждет Танюшку», — думала она, поглядывая на купающихся в пыли воробьев.

Когда надоедало читать, она просто лежала, закинув руки под голову, и глядела в сияющее сквозь листву небо, от яркой синевы которого успела отвыкнуть на севере; иногда, устав от бездействия, отправлялась под громадный старый орешник за домом и, вооружившись жердью, сбивала орехи с нижних ветвей. Орехи еще не совсем созрели, и их приходилось очищать от зеленой кожуры. От этой работы пальцы ее были теперь несмываемо окрашены в коричневый цвет. Каждый день, обедая в столовой НИИ, Людмила стыдилась своих рук и при малейшей возможности прятала их под стол, — ей казалось, что все смотрят на ее пальцы, коричневые от орехового сока.

Двадцать седьмого, придя на обед, она столкнулась с матерью в дверях столовой. Галина Николаевна коротко поцеловала ее в лоб, осведомилась, не было ли писем, и сказала:

— Чтобы не забыть — сегодня мне звонил Николаев...

— Александр Семенович?

— Разумеется, Люда, никакого другого знакомого с этой фамилией у нас нет! Он получил от Тани телеграмму, но сам должен уехать на несколько дней и просит тебя встретить ее завтра в пятнадцать тридцать, она приезжает сочинским скорым. Номера вагона она, разумеется, не сообщила, тебе придется поискать ее вдоль поезда. Я просто отказываюсь понять, что у этой девочки в голове...

Людмила не ожидала, что Таня придет раньше тридцатого. Она очень обрадовалась новости, хотя и было обидно, что подруга не подумала известить ее о своем приезде. За обедом, нехотя цепляя на вилку кружочки жареного картофеля, — жара отбивала всякий аппетит, —

она окончательно обиделась и уже придумывала всякие колючие фразы, чтобы распечь Татьяну за невнимание. Прислать за все время одно письмо и даже не потрудиться отправить телеграмму! Свинство со стороны этой Тапки, просто свинство. Еще неизвестно, действительно ли ей суждено превратиться в птицу. Если так будет продолжаться, то она запросто превратится в поросенка. Именно в поросенка, «покрытого щетиной вместо перьев». Так ей и надо!

Дома Людмиле пришлось убедиться в своей несправедливости: соседка принесла полученную в ее отсутствие «молнию» из Сочи. Телеграмма была длинной и очень бестолковой и кончалась вполне в Танюшином духе: «Целую зпт целую зпт не сердись страшно по тебе соскучилась зпт люсенька тчк татьяна тчк». Нет, все же из нее получится птица!

9

На следующий день Людмила опоздала, не рассчитав время, и примчалась на вокзал в двадцать семь минут четвертого. Но оказалось, что сочинский скорый поезд опоздал еще больше. Почти полчаса, изнывая от жары, встречающие бродили по перрону и привычно поругивали порядки на транспорте. Наконец закаркал громкоговорятель, возвещая о прибытии долгожданного поезда — почему-то не на второй путь, как было объявлено раньше, а на пятый. Обгоняя других, Людмила спустилась вниз и побежала по прохладному подземному коридору. Когда она снова выбралась на поверхность, скорый уже вкатывался в вокзал.

Мимо нее, сотрясая перрон и медленно, словно усталый бегун, двигая стальными локтями, прогрохотал окутанный паром локомотив. Заслонив ладонью лицо от обдавшей ее волны горячих машинных запахов, Людмила вематривалась в плывущие навстречу запыленные в долгом пути вагоны, из окон которых уже торчали цветы, головы и жестикулирующие руки. Началось шумное столпотворение; Людмила со страхом подумала, как ей разыскать Танюшу в толчее.

В этот момент мимо нее торжественно проплыл междугородный вагон, тускло отсвечивая золотом букв и широкими окнами, наглухо закрытыми в отличие от шумных — душа нараспашку — остальных вагонов состава. Увидев за пыльным зеркальным стеклом знакомую рожицу с озабоченно сморщенным носом, Людмила сначала не

поверила своим глазам, но сомнения тотчас же рассеялись — Таня, тоже увидев ее, просияла и отчаянно замахала рукой.

Возле международного образовалось пустое место — какая-то девушка в очках, трое военных и Людмила, больше никого. Первым важно сошел некто в орденах и ромбах — трое на перроне вытянулись и взяли под козырек; потом, пересмеиваясь и гомоня, высыпала кучка иностранцев, человек пять. Девушка в очках, очевидно переводчица из «Интуриста», подошла к ним и заговорила на незнакомом языке. За иностранцами показался человек с толстым портфелем и, наконец, Таня — какая-то совсем не похожая на себя, очень стройная и очень длинноногая, в белом платье, по-модному узком и коротком. Было в ней и еще что-то незнакомое, но Людмила не успела определить, что именно, — прямо с подножки Таня бросилась ей на шею, торопливо поцеловала и зашептала трагически, делая большие глаза:

— Люсенька, я в кошмарном положении. У тебя есть какие-нибудь деньги?

— Деньги? — удивилась Людмила. — Не знаю, рублей пять... А что такое?

— Ой, я тебе сейчас все объясню, подожди...

Таня схватила деньги и вернулась к двери, из которой проводник уже выносил ее чемодан. «Не извольте беспокоиться, — говорил тот, — я вам сейчас найду носильщика...» — «Нет, нет, пожалуйста», — бормотала Таня, почти насильно отбирая у него чемодан. Проводник сдался, она сунула ему деньги и стала пожимать руку: «...Очень вас благодарю, правда... так обо мне заботились... очень приятно...» Кончив прощаться, она по-мальчишески поклонилась проводнику и, подхватив чемодан, с помощью Людмилы поволокла его к выходу.

— А где же Дядяша?

— Его сейчас нет в городе, он приедет завтра или послезавтра. Слушай, ты сошла с ума — ездить в международных...

— Господи, что я, виновата, если так получилось... Идем тогда, сдадим его на хранение. Я тебе все расскажу...

— Татьяна! — воскликнула вдруг Людмила, только сейчас заметив главное новшество в облике подруги. — Где твои косы?

— Ой, Люсенька, я их обрезала, правда... только ты не сердись. Так ведь лучше, правда?

Людмила выразительно пожала плечами. Они сдали

чемодан, потом Таня долго причесывалась в туалетной комнате, поглядывая на себя то справа, то слева.

— ...Это кошмар, ты понимаешь — не было никаких билетов, я два дня проторчала на городской станции... Наконец какой-то тип предложил мне достать, я дала деньги, и он на другой день приносит — в международный вагон... Ну ладно, я даже обрадовалась — все-таки интересно, ни разу не ездила в международных... ну, и больше не поеду никогда в жизни! Не знаю уж, за кого этот проводник меня принял — или за интуристку, или за дочь наркома, не знаю... Он меня терзал всю дорогу — то принесет чаю, то букет цветов... и за все нужно платить, правда? Неудобно, ведь международный... кошмар! У меня в конце концов не осталось денег даже вышить фруктовой воды! Люсенька, как я выгляжу?

— Как на картинке, — улыбнулась Людмила.

— Правда?

Таня порозовела от удовольствия и, в свою очередь, выразила восхищение внешностью Людмилы, которая за лето «стала гораздо красивее и совсем выросла».

— Ну ладно, это уже получается кукушка и петух. Идем, довольно тебе любоваться...

Выйдя из вокзала, Таня задумчиво сморщила нос, оглядывая залитую солнцем площадь.

— Значит, Дядисаши нет? — спросила она глубоко-мысленно.

— Нет, он собирался вернуться завтра.

— А мать-командирша есть?

— Мать-командирша есть, — улыбнулась Людмила.

— Хм... ох и достанется мне сейчас. Знаешь, поедем немножко позже. Вечером она добрее, когда не так жарко...

— За что же тебе достанется?

— Так... — ответила Таня уклончиво. — Ну, вот за косы... этого она мне никогда не простит.

Людмила сочувственно покачала головой:

— Да, Танюша, я тебе не завидую.

— Мне никак нельзя завидовать, — согласилась Таня. — У меня просто кошмарное положение, правда. Косы — это еще ничего... я там немножко тонула и забыла сказать Дядесаше, чтобы он не рассказывал. Если он рассказал матери-командирше, то...

— Он рассказал, это я знаю точно, — улыбнулась Людмила.

— Правда? О нет, я не еду. Я лучше пересажу до вечера у тебя, а потом приду жалкая и несчастная. Скажу,

что у меня болит голова,— она разжалобится. А сейчас пойдем, мне страшно пить хочется... У тебя еще осталось что-нибудь?

Людмила пересчитала деньги:

— Осталось, хватит даже на мороженое. Хочешь мороженого?

— Угу...

Усевшись за столиком на веранде знакомого кафе, подружки заказали мороженое и, переглянувшись, рассмеялись как по команде.

— Почему ты смеешься?

— А ты почему?

— Я просто так.

— И я тоже.

— Неправда, ты на меня посмотрела особенным образом. Скажи-и-и, Люся...

— Я тобой люблюсь. Понимаешь?

— Ну конечно. Вечно ты издеваешься!

— Ничего я не издеваюсь. Знаешь, Танюша, ты очень загорела. И потом у тебя томные глаза, честное слово.

— Ничего подобного. У меня появились веснушки, несколько штук. Вот здесь на переносице, и еще немножко около глаз — видишь? Ровно одиннадцать штук, я считала.

— Это-то и забавно,— засмеялась Людмила.— Веснушки и томные глаза, вот так сочетание. Но тебе идет, честное слово!

— Если томные, то это от жары,— вздохнула Таня.— А платье?

— Очень хорошо...— Таня действительно очень хорошо выглядела в своем новом платье, гладком, с рукавами выше локтей и нагрудным карманом, из которого торчал платочек.— Это ты тамшила?

— Да, мне посоветовали хорошую портниху. Яшила это и еще костюм — тоже белый, летний, из такого же материала. Это вроде рогожки, да? Понимаешь, такой жакетик с широкими отворотами и большими накладными карманами — так сейчас шьют в мужских пиджаках — и плечи чуть-чуть на вате. А сзади вместо хлястика приспособлено изнутри на резинке. В общем, такого спортивного вида, немного мужского.

— Тебе пойдет,— одобрила Людмила.

— Ты думаешь? Портниха тоже сказала. А прическа?

— Мне-то больше нравятся косы. Но вообще хорошо... Только, может быть, слишком коротко?

— Коротко? Нет, что ты, не думаю. Как тебе отдыхалось, Люсенька?

— Не очень. Я тебе расскажу потом — это долгая история. Кстати, спасибо за письма.

Таня покраснела.

— Люсенька, я...

— Я знаю, что «ты». За все время прислать одно письмо — это называется подруга, да? И еще с кляксой. У тебя совершенно нет стыда: мало того, что посадила кляксу, так еще пририсовала к ней лапки...

— Лапки — это чтобы ты не сердилась, — быстро сказала Таня. — Смотри, нам несут мороженое.

— Ты не изворачивайся, пожалуйста.

— Я не изворачиваюсь, Люсенька. Понимаешь... мне нужно было очень много тебе сказать, а в письме этого не скажешь. Поэтому я и не писала... А Сережа так мне и не написал, ни разу...

Людмила промолчала. Официантка поставила перед ними две запотевшие вазочки.

— Ешь, Танюша. А ты перед отъездом заходила на почту?

— Еще бы...

— Ну, ничего. Мало ли почему люди не пишут...

— Ты уверена, что он получил адрес?

— Должен был получить. Ну, как ты себя в общем чувствовала все это время?

— Очень плохо...

— Ну, ничего, — повторила Людмила. — Через четыре дня вы уже увидите.

— Нет, не только из-за этого... вообще. Из-за этого тоже, конечно. Но вообще все очень плохо...

— Что же именно, Танюша? Ты говоришь это таким тоном, будто с тобой стряслось что-нибудь страшное. А вид у тебя такой цветущий, что никак не скажешь...

— Что я могу поделать со своим видом? Не говори глупости, — сердито сказала Таня. — При чем тут мой дурацкий вид?.. Если бы меня вели на расстрел, он бы, наверное, все равно оставался таким же «цветущим»... Ну, давай уплетать, а то растает.

— Давай. Но ты все-таки расскажи, что это у тебя «все очень плохо»?

— Все, буквально все. Во-первых, Виген, по-моему, окончательно ко мне равнодушен. Это очень приятно, да? Он был с Дядесашей до начала августа, потом уехал. Я просто не знаю — он буквально угадывал каждое мое желание. Один раз начали говорить про Кубачи, — зна-

ешь, это такой аул, в Дагестане, что ли, он славится своими серебряными изделиями — ну, вроде нашего Палеха, старинное кустарное производство... кавказское серебро с чернью... Так вот, я сдуру и скажи, что мне очень нравятся кубачинские изделия! А он на следующий день дарит мне серебряный блокнотик — вот такой маленький, чуть побольше ладони, настоящий кубачи... переплет серебряный, весь в черной насечке, а внутри вставляются листки, их можно менять. И внутри на переплете — выгравированы мои инициалы. Я тебе завтра покажу, он у меня где-то в чемодане. Ну как это тебе нравится? Знаешь, как неприятно! За тобой ухаживают, а ты сама... ну просто хорошо относишься, по-товарищески. И что я ему скажу?

— Да, это неприятно... а ты бы поговорила с Александром Семеновичем...

— Мне просто как-то стыдно даже говорить об этом, Люся! Я скажу, а Дядяша вдруг начнет смеяться: откуда это ты взяла, скажет, что он в тебя влюбился? Может, это вообще так принято — оказывать девушке знаки внимания... Не знаю, меня это просто измучило. Хорошо еще, что он очень скромный человек и никогда не намекал ни о чем, ни одним словом... И потом еще, там были два других лейтенанта — я тебе про них писала, — и мы как-то всегда бывали вместе. А когда вдруг останешься с Вигеном вдвоем, так я просто не знала куда деваться... хотя он держался совершенно спокойно. Просто иногда чувствуется, что ли...

Таня вздохнула и принялась скоблить ложечкой уже начавший обтаивать розовый шарик.

— Это, значит, первая причина твоего плохого настроения, — сказала Людмила.

Таня помотала головой. Проглотив мороженое, она возразила:

— Это вторая. Первую ты знаешь.

— Ну хорошо. А другие?

— Ой, их так много...

— Например?

— Лучше как-нибудь потом, — уклончиво ответила Таня. Людмиле показалось, что в ее глазах промелькнуло смущение.

— Татьяна, ты от меня что-то скрываешь.

— Нет, что ты... Знаешь, мне расхотелось мороженого, правда.

Таня отодвинула от себя вазочку, упорно избегая Людминого взгляда.

— Ну что ж,— сказала та.— Как хочешь. Теперь я, по крайней мере, буду знать, какая ты подруга. Тебя никто не просит откровенничать, но тогда люди молчат вообще и не делают многозначительных намеков!

Таня покраснела.

— Ну хорошо, я делала намеки... я ведь все равно собиралась тебе сказать, Люся! Просто я хотела немного потом, но... я дала слово, что расскажу тебе, так что все равно...

Она сделала паузу, словно не решаясь продолжать, и посмотрела на Людмилу с выражением почти испуганным.

— Понимаешь, Люся, я обнаружила страшную вещь. Я боюсь, что... что из меня получится совершенно развратная женщина, правда...

Людмила едва не выронила из пальцев ложечку.

— А повышенной температуры ты у себя не обнаружила? — спокойно спросила она через несколько секунд.

— У меня нет никакой температуры, и вообще ты совершенно напрасно относишься к этому так иронически! Если я это говорю, то у меня есть основания...

— Какие же это основания?

— Всякие! Всякие мысли...

— Слушай, Татьяна. Если ты решила рассказывать, то говори и не заставляй тянуть из тебя каждое слово!

— Люся, я тебе все расскажу, я дала слово. Ты вот сама увидишь, что это серьезно. Ты веришь, что я люблю Сережу?

— Верю.

— А что я не люблю Вигена — тоже веришь?

— Ну, допустим.

— Так вот, я тебе сейчас расскажу страшную вещь... подожди, я все-таки съем это мороженое. А в общем, оно уже растаяло... Ты понимаешь, Люся... мы там несколько раз бывали на танцплощадке, с Вигеном и этими двумя лейтенантами. Ты знаешь, я больше всего люблю вальс... Фокстрот мне никогда не нравился, он какой-то дурацкий...

Рассказывая, Таня уже дважды поправила волосы каким-то нервным жестом, который, по-видимому, уже вошел у нее в привычку и которого раньше Людмила никогда не замечала.

— ...ну, и... я всегда танцевала вальс. А другим вальс не особенно нравился, и они раз начали протестовать, чтобы вальс больше не играли. Тогда оркестр стал играть западные танцы — фокстрот, румбу, танго...

Таня говорила теперь непривычно медленно, словно с трудом подыскивая слова, глядя куда-то мимо Людмилы.

— Я должна рассказать все — я себе дала слово, в наказание... В общем, мы танцевали танго — лейтенанты меня учили, я ведь раньше почти не умела. Я очень быстро его освоила, правда... А ты знаешь, когда танцуешь танго, то партнер держит тебя не так, как в вальсе... ну, гораздо ближе. И когда мы танцевали с Вигеном Сарояном... то я вдруг почувствовала, что мне очень хочется, чтобы он прижал меня к себе еще крепче... Люся, мне даже захотелось тогда, чтобы он меня поцеловал... ты понимаешь? Ведь я его не люблю, это... это так страшно унижительно! Я сразу ушла с танцев, сказала, что плохо себя чувствую... Мне было так стыдно — казалось, что мои мысли видны всем. Потом это не повторялось, я уже как-то сумела... ну, перебороть это, что ли. Но все равно — это было. Почему именно со мной? Люся, неужели у меня такая испорченная натура? Или что? Ведь с тобой никогда не было такого, ведь никогда?

Людмила долго молчала, обдумывая ответ.

— Знаешь, — сказала она наконец, — я думаю, что тебе этого совершенно не нужно пугаться... тут, по-моему, дело вовсе не в испорченности природы, а в чем-то другом. Ведь ты же сразу это заметила, верно? И это тебя испугало. А если бы у тебя была испорченная натура, то ты отнеслась бы к этому иначе... Я так думаю.

— Ну хорошо, а книги? Когда уехал Дядясаха — Виген тоже вместе с ним уехал, — то я сняла комнатку у двух таких старушек. У них было много книг, целый шкаф. Больше стихи, старые, еще дореволюционные — ну, перед самой революцией. Я много их читала. Ты вот скажи, Люся, ты можешь управлять своими мыслями? Или своим... ну, воображением, что ли? Понимаешь, там были такие стихи... не то что неприличные, а просто — какие-то соблазнительные. Я потом не могла спать. Ну что это такое, Люся? Почему я такая развратница, ну скажи?

— Глупости! — оборвала ее Людмила. — А читать всякую гадость тебе не нужно было, это ясно. Погоди, теперь ты у меня ни одной книжки не прочтешь без моего ведома.

— Хорошо, Люсепька, я тебе даю честное слово...

— И все у тебя из головы выветрится сразу, не беспокойся. Ты никакая не развратница, а просто глупая, вот что...

— Ты думаешь? — с надеждой спросила Таня.

— Конечно!

Таня подперла кулачком щеку, печально глядя на Людмилу, которая с задумчивым видом рассматривала свои коричневые пальцы. Мороженое таяло в вазочках, превращаясь в бело-розовую жидкость.

— Орехи уже ничего? — грустно спросила Таня.

— Ничего, уже можно есть... немного еще терпкие.

— Сейчас придем к тебе — я полезу. Я за все лето не влезла ни на одно дерево, правда. А лето уже прошло... Слушай, Люся, а как же мы теперь будем заниматься — тоже шесть дней в неделю? И выходной по воскресеньям? Страшно неудобно как-то...

— Почему неудобно?

— Ну, раньше выходные дни были известны заранее — шестого, двенадцатого, восемнадцатого, а теперь заглядывай каждый раз в календарь. И потом, заниматься лишний день!

— Ах ты лентяйка. Ты и в десятом классе собираешься бездельничать?

— Какое уж теперь безделье, с семидневной неделей... — Таня вздохнула. — Да, а лето уже кончилось. Люся, я просто не могу представить себе, что через четыре дня я его увижу...

— Слушай, Татьяна. Ты хорошо проанализировала свое чувство? Мы ведь договорились, что за лето ты это сделаешь.

— Ничего я не проанализировала... И ничего не хочу анализировать! Я просто хочу видеть его и быть с ним... если бы только я знала, что и он...

Таня не договорила и низко опустила голову, пряча лицо.

— Я тебя очень прошу, — встревоженно сказала Людмила. — Нечего демонстрировать свои переживания перед всеми...

— А я их вовсе не демонстрирую, — обиженно отозвалась Таня, по-детски — кулачком — утирая слезы. — У меня просто уже рефлекс, как у павловской собаки... плакать, когда подумаешь о Сереже. Никаких анализов я не делала, я только знаю, что сейчас я люблю его еще больше, чем тогда...

— Хорошо, идем. Об этом можно поговорить дома.

Они вышли из кафе, перешли на теневую сторону улицы. В своих белых сандалетках на полувысоком каблучке Таня была теперь заметно выше подруги. Людмила уже раза два заметила взгляды, которыми прохожие окиды-

вали высокую загорелую девушку с короткой прической цвета начищенной красной меди.

— Танюша,— сказала она,— тебе не кажется, что у тебя платье переужено?

Таня посмотрела на нее рассеянно:

— Что? А, платье... да, оно немного неудобное, мне трудно было войти в вагон по ступенькам. Не знаю, она сказала, что так носят. Я попрошу Сарру Иосифовну немножко расширить юбку... Ты знаешь, о чем я сейчас думала, Люся?

— Нет, не знаю.

— Я сейчас смотрю на эту улицу, и она какая-то совсем не такая, как была раньше. Или я не такая, не знаю. У меня впечатление, что все сейчас меняется, что нет ничего-ничего определенного... У тебя нет такого чувства?

— Не знаю, Танюша... пожалуй, нет.

— А у меня есть. Понимаешь — всё... как будто все чего-то ждут. Я заметила еще в Сочи... так, из всяких разговоров. Как будто что-то должно случиться... А может быть, это просто потому, что я сама жду? Ты понимаешь, Люся, это как если бы ты шла до сих пор по ровной улице... по такой знакомой, где ты знаешь каждую витрину, каждый дом... а теперь у тебя впереди перекресток — и ты совершенно не знаешь, что за ним будет, куда ты повернешь, что окажется на твоём новом пути... это какое-то очень странное чувство, правда.

— Ну...— Людмила пожала плечами.— Всегда, каждый день случается что-то новое...

— Да нет же, я говорю совсем про другое! Что-то совершенно новое, понимаешь? Такое, чего до сих пор не было...

— Это у тебя предчувствие,— улыбнулась Людмила.

— Да, но чего?

— Может быть, любви?

Таня посмотрела на нее очень серьезно и опять поправила волосы своим новым жестом.

— Не знаю, Люся... может быть. Но это не только у меня. Я говорю про то, что сейчас чувствуется в воздухе. Дядяша встретил там одного своего старого друга — летчика, он получил какой-то испанский орден за Барселону... Мы часто бывали вместе. Один раз он что-то сказал насчет будущего отпуска, а Дядяша так задумался и говорит: «Да, что еще с нами будет к тому времени...» Ты понимаешь, меня это прямо поразило — значит, он чувствует то же самое!

— Почему же, так вообще часто говорят. Человека

приглашают в гости, а он отвечает — спасибо, приду, если буду жив.

— Нет, Люся! Дядяша сказал это совсем по-другому. В общем, я не знаю... это очень трудно передать. Как будто все меняется и должно измениться еще больше, как будто мы все подходим к незнакомому перекрестку...

10

Сергей притворил за собой калитку и огляделся. Усадьба Глушко имела теперь совсем обжитой вид: высаженная вдоль ограды сирень прижилась и окрепла, а последнее Володькино изобретение — легкий навес из жердей, прикрывающий всю площадку перед домом, — уже густо затянулось повитью, в тени которой было приятно посидеть в такую жару.

— Володька! — крикнул Сергей, не видя вокруг признаков жизни.

На крыльцо, щурясь от солнца, вышла Лена Глушко, босиком и в выцветшем сарафанчике.

— Здравствуйте, — сказала она по-взрослому. — Вы к Володьке? Он сейчас вернется, пошел к соседям за укропом. Заходите!

В комнате с прикрытыми ставнями было прохладно, приятно пахло недавно вымытыми полами. Сергей бросил кепку на подоконник, с удовольствием сел, вытянул ноги.

— Ты что же это, Елена, — сказал он. — Старшего брата гонять за укропом не годится, сама бы сбегала.

— А он сам вызвался, — ответила Лена и нерешительно замолчала. — Сказать вам одну вещь? Только по секрету, и Володьке не говорите, что я вам сказала!

— Ну, валяй.

— Он влюбился, — таинственно понижая голос, сказала Лена с заблестевшими от любопытства глазами. — Там есть одна девочка, куда он пошел за укропом, и он в нее влюблен — так я думаю...

— Одна девочка? — рассеянно переспросил Сергей.

— Ну да, то есть она уже совсем взрослая, она перешла в девятый... и она в него тоже, в Володьку.

— Что ж, правильно делает, — одобрительно кивнул Сергей, думая о своем.

— Только вы ему не скажете, ладно?

— Не скажу, не бойся...

— Ленка-а! Получай свой укроп! — послышался со двора Володькин вопль.

Лена выскочила из комнаты, на прощанье еще раз знаком напомнив Сергею о молчании.

— Раньше не мог вернуться? — закричала она за дверьми. — Там тебя Сережа уже целый час ждет!

— Здорово, Сергей! — виноватым голосом воскликнул Володя, входя в комнату. — Давно ждешь, да? А я, понимаешь, задержался там с проклятым укропом — пока навалили...

— Да нет, это тебя сестренка подначивает, я только пришел. Пяти минут нет. Как живешь-то?

— Да ничего, вот через два дня начинаем трудиться. Десятый класс! Ты как, рассчитался уже на своей стройке?

— Уже всё. Я до двадцать пятого поработал и взял расчет... Хотел дотянуть до конца месяца — до тридцать первого, как раз суббота, — да мамаша шуметь начала. Как это, говорит, прямо не отдохнувши — и в школу. Ну ладно, я спорить не стал...

— Черт, завидую я тебе, — сказал Володя, присаживаясь к столу и вынув из кармана пачку «Красной звезды». — Все-таки проработать все лето на монтаже...

— Кто же тебе самому мешал, чудак, — усмехнулся Сергей. — А ты уже, я вижу, и дым пускать научился?

Володя небрежно пожал плечами, скрывая смущение.

— Кто мешал... Никто не мешал, конечно, просто как-то не собрался... Ну как — ничего уже? — спросил он, кивнув на Сергееву руку, наискось перехваченную широким розовым шрамом. — Ты тогда так и не рассказал, как это тебя угораздило?

Сергей нахмурился:

— Чего рассказывать... ну, обварился массой, я ж тебе говорил.

— Какой массой?

— Смола такая — битумный компаунд для заливки кабельных муфт. У нее температура зверская. Плеснуло на руку, так лоскут кожи и слез...

— Черт, для меня все это как китайская азбука, — вздохнул Володя. — Кабельные муфты, компаунд... черт его знает, как нас учат, — физику проходим, а потом пробку заменить не умеем. Ну ничего, один год остался. А здорово, Сергей, а? Представляешь — летом сорок первого мы уже свободный народ! Аттестат в зубы и хвост трубой. Здорово? Обидно только, что в вуз сразу нельзя. Ну ничего, что ж делать. В армии, если в технические войска попасть, тоже кое-чему можно научиться. Тебя-то по семейной льготе теперь не возьмут...

— Меня не возьмут,— задумчиво подтвердил Сергей, глядя в окно.— Но в вуз я все равно раньше вас вряд ли попаду... жить-то надо, Володька, зарабатывать надо, вот какое дело. Я вот только не знаю, что лучше... или вообще отложить все это на какой-то срок, или сразу поступать на заочное, без отрыва... Так вроде скорее, а что-то не хочется... все думается, что заочное — это что-то ненастоящее.

— Ерунда, по-моему,— сказал Володя.— Почему это ненастоящее? Наоборот, это, может, даже удобнее — поступишь куда-нибудь на монтаж, вот тебе и получится одновременно теория и практика...

— Так-то это так,— вздохнул Сергей.— Ну что, сможемся в школу, посмотрим списки? Говорят, уже вывели.

— Идем. Я только матери скажу, что уходим.

Сергей вышел на крыльцо, нахлобучил кепку. Эх, жарит-то как! На Архиерейские бы пруды сейчас... Так за все лето и не собрался. Пролетели каникулы — и оглянуться не успел. Через два дня...

Ольга Ивановна Глушко — полная моложавая блондинка с покрасневшимся от жары миловидным лицом — вышла из-под навеса летней кухоньки, вытирая руки передником.

— День добрый, Сережа,— приветливо сказала она, произнося слова с сильным украинским акцентом.— Извините, не вышла к вам — завозилась тут с обедом. Как дома у вас — здоровы?

— Здоровы, Ольга Ивановна, спасибо...

— Маме привет от меня не забудьте. Вы куда это с Володей собрались? И не выдумывайте, Сережа, мы обежать сейчас будем...

— Спасибо, Ольга Ивановна, я, пожалуй, не буду, очень уж жарко.

— А у меня сегодня крошечка — холодная, с погребка. Оставайтесь, все равно я вас не пущу, и не думайте. Ленусь, накрывай-ка на стол, живенько!

— Придется остаться,— сказал Володя,— приказ есть приказ. Пошли, я тебе на руки полью...

В просторном вестибюле 46-й школы было жарко от бьющего в окна послеобеденного солнца и пахло свежей олифой, побелкой и мастикой для натирания полов. Ребята толпились перед доской объявлений, бродили по залу, переходя от одной группы к другой, шумно приветствуя

приятелей, обмениваясь новостями и летними впечатлениями.

Протиснувшись к доске вместе с Володей, Сергей затаил дыхание, обегая глазами длинные отпечатанные на машинке листы списков. Восьмые, девятыые... десятый «А»... а, вот оно, десятый «Б»: Абрамович, Андрющенко, Арутюнова... и Бердников Володька тоже здесь — переполз-таки, прямо не верится.

— Значит, мы теперь в «Б», — разочарованно заметил рядом Володя. — Плохо наше дело. Во второй смене заниматься, весь день пропадает...

— Какая разница, — отозвался Сергей, — зато утро свободно...

Он все еще перечитывал первый десяток фамилий, не решаясь опуститься ниже. Глушко, Дежнев. Это все правильно. А вдруг она теперь в параллельном? Скажем, не хочет заниматься во второй смене... взяла и перевелась, — простое дело... Нет, Земцева здесь — тогда все в порядке! Ну конечно...

— Ты, Глухарь, ничего не понимаешь, — раздался из-за плеча ехидный голос Женьки Косыгина, — во второй заниматься — самое хорошее дело... Скажем, проводить кой-кого в темноте лучше, чем среди бела дня. А, Дежнев здесь! Здорово, ты чего ж это старых друзей не узнаешь?

— Здорово, — обернулся Сергей. — На этот счет можешь не беспокоиться, тебя за километр узнаешь. Как был трепачом, так и остался — извилин за лето, видно, не прибавилось?

— А на шиша мне извилины? Жил без них и проживу. Ну, а ты как? Как там делишки насчет... того самого которого?

— А ну, точнее, — прищурился Сергей.

— Во, ему еще растолкуй! — Косыгин заржал. — Как там твоя капитанская дочка поживает — опять под ручку ходите? Или еще не помирились?

— Слушай, ты, трепло! Если хочешь получить по морде, то скажи прямо, не стесняйся. Я тебе это дело устрою по благу, вне очереди. А трепаться довольно. Понял?

— Подумаешь, герой, — обиделся Женька, но Сергей уже отвернулся от него к доске.

Никифорова Зоя... Никодимов Степан... Николаева Татьяна! Сергей едва сдержал вздох облегчения.

— Ну, пошли! — заявил он радостно, с размаху хлопнув Володю по плечу — тот даже присел. — Какого еще рожна вынюхиваешь?

— Погоди ты, — рассеянно отмахнулся тот, — я новеньких ищущу... Вот, интересно, кто такая Вернадская Инна? Может быть, родственница?

— Еще чего! — решительно возразил Сергей. Его возмутила мысль, что в классе, кроме Тани, может появиться родственница еще какой-нибудь знаменитости.

— А что, может быть... фамилия довольно редкая...

— Ладно тебе... редкая фамилия! Небось уж примериваешься, как бы это влюбиться. Смотри, Володька, станешь как Сашка Лихтенфельд...

Они вышли на крыльцо. В саду Володя задержался возле группы одноклассников. Сергей, кивнув в ответ на их приветствия, отошел к калитке и стал закуривать, присев на низкий цоколь ограды.

Трудно было привыкнуть к мысли, что еще два дня — и он увидит ее наяву. После семидесяти пяти дней разлуки. Шутка сказать — семьдесят пять дней... и столько же ночей, с такими снами, что наутро не знаешь — то ли смеяться от радости, что можно пережить это хотя бы во сне, то ли плакать от того, что этого нет на самом деле...

Таня, Танюша... нелепая долговязая девчонка, давним весенним вечером шумно вломившаяся в его жизнь и перевернувшая все вверх дном. Как странно это получается... Его самого сделала за год другим человеком, а сама превратилась в... трудно даже определить, во что именно. Во что-то такое, что даже не посмеешь поцеловать, а просто хочется взять на руки, укрыть собою от ветра и непогоды и нести далеко-далеко — через горе, через трудности, через годы, через всю жизнь...

С озабоченным видом подошел Володя.

— Понимаешь, — сказал он, — потрясающая новость... У одного Витькиного друга батька в облоно служит, так он говорил, что на днях будет опубликован новый указ о введении платы за обучение, начиная с восьмого... Но это ерунда, там этой платы всего рублей сто в год, что ли, а вот хуже то, что стипендии в вузах, кажется, накроются...

— Иди ты, — сказал Сергей, вставая на ноги. — Ты что, серьезно?

— Ну не знаю, Витька говорит — точно. Вроде какие-то будут персональные — только для отличников, что ли...

Сергей долго молчал.

— Да... ну ладно, идем, Володька. Поживем — увидим...

— Конечно, может, еще и трепня все это, — поспешно согласился Володя, увидев, как огорчила приятеля эта

повость.— Я лично думаю, что это трепня. Слушай, не махнуть ли нам с тобой на выставку моделизма, а? Послезавтра она закрывается, а там, говорят, есть интересные вещи. Ты же вроде увлекался раньше, даже сам участвовал...

— Пойдем, что ж,— хмуро сказал Сергей.

После выставки Володя предложил ехать к нему — играть в шахматы. На трамвайной остановке приятели обсуждали достоинства заинтересовавшей их модели реактивного глиссера, потом заспорили о будущем ракетного двигателя вообще. Глушко оказался большим энтузиастом и знатоком этого дела: заваливая Сергея цифрами, фактами и именами — Циолковский, Оберт, Годдард, — он стал доказывать, что еще в наше время ракетный двигатель проявит себя самым потрясающим образом. Сергей только посмеивался — что взять с романтика...

— Смотри, на Луну не улети,— подмигнул он приятелю.— Буза все это, Володька. Будущее техники — в электричестве. Автоматика, телемеханика — это да. А твои ракеты... пока это игрушки. Может, через сто лет что и будет, не знаю.

— Через сто лет?! — завопил Володя.— Да ты после этого темная личность, реакционер ты, вот кто ты такой! Через пятьдесят — да что через пятьдесят, через двадцать пять лет! — в авиации вообще не будет другого двигателя!..

Они так увлеклись спором, что не заметили, как из подошедшего трамвая выскочила Людмила Земцева и остановилась в двух шагах от приятелей, выжидая, пока те отвлекутся от своей высокой темы. Так и не дождавшись, Людмила засмеялась и окликнула их сама.

— А-а, Земцева... — растерялся Сергей.— Ну, здорово... Когда приехала?

— О, я уже давно, восемнадцатого. А Таня — позавчера,— добавила она не без лукавства, успев перехватить настороженный взгляд, которым Сергей окинул толпу. Очевидно, он подумал, что Таня, как всегда, должна находиться рядом с подругой.— Я сейчас еду к ней — мы договорились идти сегодня в кино, на «Большой вальс». Хотите вместе? Пойдемте, правда — вчетвером веселее!

Сергей окончательно пришел в смятение. Увидеть ее сейчас, через десять минут! Но нет — что за удовольствие встретиться в компании, когда и поговорить-то нельзя...

— Нет, Земцева, я не пойду... Неудобно как-то в та-

ком виде.— Он указал на свои старые, вытянутые на коленях брюки и одетые на босу ногу тапочки.

— Господи, какой ты чудак! Ведь лето же, да и потом...

— Нет, нет, Людмила, мы не пойдем,— тоном арбитра ваявил Володя.— В конце концов, у нас есть дела поважнее, чем таскаться по кино. И потом, «Большой вальс» я уже видел два раза.

— Мужская логика! — засмеялась Людмила.— Ну, как хотите. А хороший фильм?

— Ничего, смотреть можно. Там поет эта Милица Корьюс — эффектная особа, ничего не скажешь. А в общем рассчитано на уровень женского ума.

— Спасибо, ты очень любезен. А о чем это вы тут так спорили? Я стояла около вас целые две минуты. Какие-нибудь мировые вопросы, Дежнев?

— Да нет... Володька тут разные фантазии разводил, насчет ракет и межпланетных полетов.

Людмила снова засмеялась:

— Опять? Ой, Володенька, а ты помнишь, как обещал прокатить меня на Марс?

— А, да что там с вами говорить,— пренебрежительно бросил Володя.— Прав был Ницше: женщина — это игрушка мужчины, и ничего больше. Сергей, наш трамвай! Пока, Людмила, увидимся в классе. Пошли, Сергей...

Работая локтями, он стал проталкиваться поближе к рельсам. Людмила сразу стала серьезной.

— погоди, Дежнев! — Она поймала Сергея за рукав и понизила голос: — Останься на пять минут — нужно поговорить... очень серьезно...

Сергей побагровел:

— Может, после...

— Господи, я тебе говорю, это важно!

— Ну, ладно... Володька! — крикнул он приятелю, уже взобравшемуся на площадку.— Езжай сам, жди меня дома — я подъеду следующим!

— Да какого дьявола!.. — заорал тот, но трамвай уже тронулся, увозя возмущенного романтика.

— Хорошо,— улыбнулась Людмила, посмотрев на часы,— у меня есть ровно пятнадцать минут. Давай сядем там на скамейке...

— Да ну, чего на скамейке,— буркнул Сергей. Только и не хватало — сидеть с девушкой на глазах у всех! — Пошли лучше выпьем чего-нибудь, вон напротив...

Людмила согласилась. Они зашли в магазинчик «Соки — воды».

— Тебе чего заказать? — хмуро спросил Сергей.

— Давай выпьем помидорного соку, я к нему так привыкла в Ленинграде, теперь всех агитирую. Холодный, с солью, очень вкусно. Ты не пробовал?

Сергей взял два сока. Они сели в углу, за маленьким круглым столиком.

— Верно, приятная штука, — сказал он, отпив из стакана. — И придумают же...

— Ну, хорошо, — решительно прервала его Людмила. — Ты догадываешься, о чем я хочу с тобой говорить?

Сергей опять мучительно покраснел.

— Да собственно... — пробормотал он.

— Догадываешься, — кивнула Людмила. — Так вот, Дежнев. Ты, конечно, извини, что я вмешиваюсь в твои дела, но... это дело также и Танино, понимаешь? А Таня для меня не просто подруга, она мне больше чем сестра. И я не могу больше видеть, как она страдает. Послушай, неужели ты до сих пор не понял, что она тебя любит?

Щеки Сергея, за секунду до этого почти не отличавшиеся цветом от стоящего перед ним стакана, вдруг побелели.

— Ты брось, Земцева, — сказал он глухо, — такими вещами не шутят...

— Господи, — вздохнула Людмила, — ну что это за человек! Слушай, Сергей, я тебе даю честное слово — понимаешь? — честное слово, что она тебя любит. Клянусь моим комсомольским билетом. Неужели ты считаешь меня способной сказать такую вещь, не имея на это оснований? Я повторяю: Таня тебя любит, и она до сих пор не понимает, за что ты мог тогда на нее обидеться, и ей это очень больно. Она хочет с тобой помириться. Не думай только, что я говорю это по ее поручению, у нее хватит смелости объяснить самой, не думай! Но, конечно, если ты опять встретишь ее ежом, то из вашего примирения ничего не получится. И уже окончательно. У всякой девушки есть свое самолюбие, верно? И вообще, гораздо приличнее именно тебе, а не ей, сделать первый шаг. Тем более что ты ее оскорбил незаслуженно. Ты ведь начал ссору? Так вот, я тебе советую — пойди к ней домой, завтра или послезавтра. Понимаешь? Поговори попросту, объясни, за что именно ты на нее обиделся. Ведь даже если она и в самом деле чем-то провинилась, то нужно ей об этом сказать! Я тебе даю слово, что она даже не догадывается, за что ты мог на нее обидеться... А дуться молча — это уж совсем глупо и не по-мужски. Как Танюша может понять свою ошибку, если она даже не

знает, в чем дело? Подумай сам! Приди к ней — можешь даже придумать какой-нибудь предлог, хотя это и не нужно, — и я уверена, что вся эта ваша ссора окажется недоразумением...

Сергей кашлянул, все еще избегая смотреть на Людмилу.

— Так ведь все равно, — начал он нерешительно, — мы через два дня увидимся в школе...

— Я тебе говорю, — настойчиво повторила та, — иди к ней завтра или послезавтра! В школе мы все увидимся, а если ты придешь сам, раньше, то это будет выглядеть совершенно иначе. Пойдешь завтра?

— Лучше уж послезавтра... А она будет дома — скажем, вечером?

— Вечером? Хорошо, будет — я это устрою. Значит, послезавтра вечером?

— Да, но только... ты ей лучше не говори про этот наш разговор, знаешь...

— Разумеется, не скажу! Кстати, как тебе не стыдно, неужели ты ни разу не мог ей написать за все лето? Она, бедная, каждый день бегала на почту...

— Да ты сдурела! — Сергей изумленно вытарашил глаза. — Куда бы я ей стал писать, если ты мне даже адреса не сказала? Ты же помнишь, мы с тобой тогда виделись возле «Динамо», — ты только и сказала, что она уехала...

— Знаю! Адрес я перед своим отъездом оставила Володе, чтобы он передал тебе. В тот день я и сама еще его не знала — Таня прислала позже...

— Вон оно что-о-о... — ошеломленно протянул Сергей. — Так это значит он, псища лохматая... Ты и в самом деле оставила ему адрес?!

— Он что, ничего тебе не говорил? — Людмила пожала плечами. — Ну, знаешь, действительно... А я еще на него понадеялась!

— Так разве ж на такого можно! — с отчаяньем сказал Сергей. — Это же невероятный лопух... Ну что мне теперь с ним сделать, ну скажи? Навешать ему по шее? Так он же и драться по-человечески не умеет, чертов романтик! Тоже мне звездоплаватель, о ракетных двигателях толкует...

— Ну ничего, — засмеялась Людмила, — ты только не вздумай и в самом деле с ним подраться, с тебя станет. Ничего, я Тане объясню, как это вышло. А еще лучше — если ты сам, послезавтра. Договорились? Ну, а теперь я побежала, Танюша мне голову оторвет за опоздание...

— До свиданья.— Сергей крепко пожал Людмиле руку, она даже сморщилась.— Спасибо, Земцева...

— Тебе спасибо — за Танюшу... заранее!

Романтик явился к нему чуть ли не на рассвете и яростно забарабанил кулаком по раме окна.

— Ишак ты!! — заорал он, когда окно распахнулось, показав взъерошенную со сна голову Сергея.— Кто ж такие вещи делает: ждешь его, как дурак, шахматы расставлены, а он так и не приходит! Три часа тебя вчера ждал, спать не ложился! Потрох ты самый настоящий, в жизни тебе этого не прощу!

— Ах ты лопух,— зловеще сказал Сергей, усевшись на подоконник и свесив наружу босые ноги.— Ах ты звездоплаватель, куриная твоя голова. Это ты-то собираешься мне прощать?

— Как раз наоборот — не собираюсь!

— Так, так...

Сергей задумчиво улыбнулся, почесывая ступню о ступню.

— Послушайте, гражданин Глушко, а куда это вы задевали адресок, который два месяца назад был передан вам свидетельницей Земцевой? Не помните? Может, вам мозги прочистить?

Романтик оторопело смотрел на него спизу вверх, разинув рот. Потом вдруг сморщился и схватился за лоб растопыренной пятерней.

— Черт возьми, Сергей! — простонал он.— Я ведь и в самом деле... черт возьми!

— Да, да, ты в самом деле, так оно и есть.

— Слушай, Сергей,— убитым тоном сказал Володя.— Ты так ей ни разу и не написал?

— А куда мне было писать? На деревню дедушке?

— Сергей, ну я не знаю... ну вот что хочешь со мной теперь сделай — ну хочешь, морду набей?

— На что мне твоя морда,— вздохнул Сергей,— ты ж от этого все равно не поумнеешь...

Володя в отчаянии сел на камень под акацией, положив рядом удочки.

— Ну хочешь... хочешь, я сам к ней схожу и объясню всё, как было?

— Ну, ну,— нахмурился Сергей,— тебя только там и не хватало! Без тебя объяснят. Ты что, на рыбалку собрался?

— Ага... Может, вместе пойдем? — нерешительно предложил окончательно убитый романтик.

— Нет, я рыбалку не люблю. Плюнь, идем лучше на Архиерейские пруды раков ловить.

— Понимаешь, Сергей, я еще позавчера с ребятами договорился... Они меня там ждут, а черви все у меня. А завтра за раками не хочешь?

— Завтра?.. что ж, можно и завтра. Только чтоб к шести часам вернуться, у меня вечером дела.

— Идет. Где встретимся?

— Могу к тебе зайти, от тебя ближе. В это время, как сейчас.

— Ясно...

Володя встал и подобрал свою снасть.

— Слушай, Сергей... так ты на меня не очень в обиде?

— Ладно уж,— снисходительно сказал тот.— Что толку на тебя обижаться... Так я завтра к тебе зайду. У вас там чувала покрепче не найдется? У меня есть, только дырявый, все к чертям повывлазят. Ты поищи, слышь?

Сразу после чая мать уехала к Зинке в лагерь, расположенный под городом, в Казенном лесу,— там сегодня устраивался прощальный праздник, и родители были приглашены с утра.

Оставшись дома, Сергей очень скоро пожалел, что не пошел с Володькой на рыбалку. Промаявшись до обеда, он разогрел суп, нехотя поел, вымыл посуду, сходил за водой. Вспомнив, что мать жаловалась на ходики, которые взяли вдруг привычку останавливаться ни с того ни с сего, он обрадовался — все-таки занятие!

Ходики были сняты со стены, выпотрошены, продукты, промыты бензином и смазаны костяным маслом. Теперь они снова бодро затикали, но минутная стрелка двигалась с той же проклятой веторопливостью, что и стрелка будильника. Было всего два часа. Черт, напрасно он не пошел хотя бы на рыбалку...

В который раз взявшись за чтение, Сергей бросил книгу, так и не одолев первой страницы, и, нахлобучив кепку, выскочил из квартиры.

Куда убежать от этой лихорадочной тревоги ожидания, которая с каждым часом растет в сердце, грозя разорвать грудную клетку? Как научиться ждать? Сергей долго бродил по сонным, притихшим от зноя окраинным улочкам, каждые десять минут доставая из кармана большие Колины часы. Когда впереди показался мороженщик со своим голубым фанерным возком, он обрадовался этому как большому и интересному событию.

Сняв крышку с луженого цилиндра, мороженщик почти по плечо засунул туда руку и долго орудовал ложкой, извлекая свой товар и запрессовывая его в круглую жестяную формочку. Рукав белой куртки был далеко не первой свежести, но Сергей отнесся к этому просто — рабочий человек, чего там. Наполнив формочку, рабочий человек припечатал мороженое клетчатой вафельной облаткой, выдал и протянул Сергею.

— Ну и жарынь,— покачал он головой, смахнув мелочь в ящичек.— Давно такой не было... а все, слышать, потому, что земля сместилась.

— Как сместилась? — не понял Сергей.

— А так вот и сместилась,— повторил мороженщик, рукавом утирая со лба пот.— По всей Европе небось днем и ночью бомбы кидают — вот она от сотрясений-то и того... сместилась, стал быть. В газете давеча было, что на полюсе и то лёду почитай что не осталось, во как.

— Невозможно это,— покачал головой Сергей.

— В наши времена, гражданин, все возможно,— зловеще возразил мороженщик.— Моррожена-а-а! — затынул он ленивым голосом, покотив дальше громыхающий по булыжникам возок.

Сергей, посмеиваясь, перешел на теневую сторону улицы. Доев мороженое, он выбросил облатки и, сполоснув пальцы у водоразборной колонки на углу, снова достал часы.

Что за черт — всего пятнадцать минут?.. Ему казалось, что прошел уже целый час. Горячий ветер гнал по мостовой пыль и сухие листья, закручивая свою добычу в тощие смерчи. Сергей смотрел на них, вертя в пальцах истертый часовой ремешок, и думал о том, что непременно нужно его сменить, этот ремешок, иначе потеряются Колины часы. Вдруг он сообразил, что нечего и думать — прождать так до завтрашнего вечера. Еще целые сутки? Да он просто сойдет с ума! Еще раз взглянув на часы, Сергей спрятал их в карман и почти бегом направился к дому.

Надев чистую рубаху и заботливо разутюженные матерью брюки, Сергей долго наводил глянец на ботинки, поплеывая на щетку. Его охватило вдруг буйное веселье. «Эх, хорошо в стране советской жить! Эх, хорошо свою страну любить!» — запел он во весь голос, размахивая щеткой. Правильно, брат, не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня!

По пути он избегал думать о предстоящей встрече. Как войдет, что будет говорить... все эти предварительные

размышления ни к чему не приводят, он это уже знал по опыту. Когда нужно, слова сами приходят в голову — как раз те, что нужно...

Защитного цвета «эмка» стояла перед знакомым подъездом. Сергей озабоченно поглядел на ничего не говорящие цифры, белой краской отпечатанные на двери машины. Военная, это видно. Но чья? Ему вспомнилось: Таня рассказывала, что дядька любит ездить без шофера. Неужели это его машина?

Возможность застать дома самого Николаева до сих пор как-то не приходила ему в голову. «Как же быть?» — подумал он, охваченный внезапным смятением. Не объясняться же при дядьке... А зайти и, в случае чего, отделаться выдуманым предлогом — слишком уж глупо. Вот черт, как неудачно... Впрочем, может быть, он скоро уедет — иначе не оставил бы машину перед подъездом.

Решив немного выждать и заодно обдумать, как поступить в том или ином случае, Сергей перешел на бульвар и сел на скамейку — так, чтобы видеть машину и подъезд в просвете между деревьями.

Им опять овладела мучительная нерешительность. Как все-таки войти, как заговорить? Он слишком долго и слишком жадно ждал этой минуты, чтобы теперь, когда она наступила, сохранить ясность мыслей. Сердце его колотилось неистово, так оно никогда еще не билось. Чтобы немного успокоиться, он закурил и несколько раз подряд глубоко затянулся, в этот момент из подъезда послышался так хорошо знакомый ему смех.

Таня, вся в белом, вышла из дому в сопровождении двух военных. Того, кто шел справа, Сергей сразу узнал по фотографиям. Кроме того, он видел полковника два года назад на школьном вечере — память на лица у него была хорошая. Другой Танин спутник, шедший слева на полшага за ее плечом, — высокий молодой человек в такой же серой форме танкиста, затянутый пироким блестящим поясом, — был Сергею незнаком. Всмотревшись в его смуглое лицо с резкими кавказскими чертами, он подумал, что это, наверное, и есть тот самый «Дядисашиин лейтенант», что приезжал к ней в лагерь в прошлом году.

Полковник негромко что-то говорил, удивленно пожимая плечами, лейтенант сдержанно улыбался. Таня смеялась, закидывая голову. Потом все трое остановились, и теперь говорила Таня, давясь смехом и оживленно жестикулируя. До Сергея долетели ее слова, торопливый картавый говорок: «...ты меня неправильно понял, правда, я вовсе не про это...» Полковник, добродушно рассмеяв-

шпись, махнул рукой и пошел к машине. Лейтенант опередил Таню и распахнул перед ней заднюю дверцу. «А он сам куда?» — с ревнивым уколом в сердце подумал Сергей, но лейтенант устроился на переднем сиденье, рядом с севшим за руль полковником.

Сергей слышал, как заскрежетал стартер, потом мягко взвыл мотор, и машина, присев на задние колеса, рванула с места, словно выброшенная из катапульта, тускло блеснув защитной окраской. Перед подъездом осталось тающее облачко голубого дыма.

Ну, вот и все. Собственно говоря, теперь можно было попросту встать и уйти, но Сергей не трогался с места, испытывая почти блаженное состояние покоя, которым сменилось вдруг лихорадочное напряжение последних часов. Покой и огромную усталость.

Он откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза, просидев так довольно долго. Что ж, в общем, ничего не случилось, — не удалось поговорить, но это еще впереди, зато он видел ее, слышал ее смех и голос...

Конечно, она не виновата, что он сидел в этот момент здесь за деревьями. Откуда ей было знать, что он надумает прийти именно сегодня... Земцева ведь должна была задержать ее дома завтра вечером — не сегодня. Но завтра он уже не пойдет. Нет, конечно. Потому что от такой встречи тоже ничего не выйдет — придешь, а тут дядька или этот лейтенант.

Нет уж, проще подождать еще один день...

Черт возьми, сегодня ведь уже тридцать первое. Проклятый календарь виноват в том, что они не увидятся завтра, — в этом году первое сентября падает на воскресенье. Если бы не это, то уже завтра...

Да, завтра начинается сентябрь. А потом начнут желтеть и осыпаться каштаны, воздух по утрам станет холодным и тонким, будто разреженным, и в парке установится хмельной аромат прелых листьев и тумана, смешанного с горьковатым осенним дымком дворничьих костров. «Когда будет туман, нарочно пойдём с тобой в парк, понюхаем... на тот год, правда? Только ты мне напомни, если я забуду...» Сергей крепко зажмурился и стиснул зубы, весь вздрогнув от рванувшейся в груди спазмы.

Кончив одеваться, Таня осмотрела себя в зеркале и осталась довольна, но потом вспомнила вдруг Сережины слова, сказанные однажды про какую-то девушку во всем

белом: «Вот не люблю такое, ходит как докторша в халате...»

Она торопливо стащила с себя жакетик, сняла белую блузку и достала из шифоньера другую, бледно-зеленую. Может быть, так будет лучше — белое с зеленым, не так однообразно... А вдруг ему не нравится зеленый цвет? Но что же делать, ей так идет...

Господи, просто не верится, что это уже сегодня, что перечеркнута последняя клеточка в ее секретном календаре... что через какой-нибудь час произойдет то самое, о чем она каждую ночь мечтала в Сочи, лежа без сна в своей наполненной шумом приборя комнатке.

— Татьяна, мы опаздываем, — позвал из соседней комнаты Дядясаша. — Поторопись, если ты хочешь ехать со мной.

— Я сейчас...

Расстегнув верхнюю кнопку, Таня расправила воротничок блузки, отложив его поверх жакета, потом подошла к столу, выбрала в букете маленькую полураспустившуюся белую розу и срезала ее вместе с верхней парой листочков. Да, так хорошо — тоже белое и зеленое... пожалуй, вот так, чуть наискось... Приколов розу к петлице, она сунула в карман вечное перо и вышла из комнаты, мимоходом еще раз оглядев себя в зеркале.

— Ничего так, Дядясаша? — спросила она жалобным голосом.

Полковник пожал плечами:

— По-моему, ничего. Я в таких делах не знаток. Садись за стол, иначе опоздаешь, да и я не могу тебя ждать.

Таня присела на стул и с отвращением посмотрела в тарелку:

-- Дядясаша, я ничего не хочу...

-- Позволь, Татьяна, — полковник возмущенно положил вилку. — Что это, в конце-то концов, за безобразие? Ты утром завтракала?

-- Нет, Дядясаша...

-- Отлично! Сейчас ты тоже отказываешься. Вокруг глаз у тебя уже синие круги. Я хочу знать — до каких пор будет продолжаться эта история?

— Откуда я знаю, до каких пор она будет продолжаться. — У Тани задрожали губы. — Ты думаешь, мне самой...

В комнату вошла домработница — новая, взятая на место дракона.

— Опять не кушаете? — укоризненно обратилась она к Тане.

— Нет, Анна Прокофьевна... пожалуйста, налейте мне чаю, только очень крепкого...

Полковник, хмурясь, покосился на племянницу и свирепо крикнул.

— Не знаю, как нужно было тебя воспитывать,— сказал он, когда домработница вышла,— но, очевидно, не так, как это делалось до сих пор. Ты потеряла всякое представление о том, что прилично и что неприлично для девушки... в твоём возрасте. Так вести себя из-за какой-то ссоры, из-за глупого школьного романа...

— Для меня это не «глупый школьный роман»! — воскликнула Таня уже почти со слезами.— Почему никто не хочет это понять!

— Ну хорошо, хорошо,— забормотал полковник,— я не хотел сказать ничего такого... э-э-э... обидного для тебя и для твоих чувств... Но ты слишком рано даешь им волю, этим своим переживаниям! — снова вспыхнул он и встал из-за стола, резко отодвинув стул.— Вчера мне попались твои прошлогодние черновики по тригонометрии— просто позор! Вот чем нужно заниматься, а не... всякими глупостями...

Таня низко опустила голову, часто моргая. Полковник покосился на нее и запягал по комнате, сцепив за спиной пальцы.

— Ну ладно, ладно,— сказал он примирительно.— Успокойся, Татьяна. Допивай свой чай, и едем. Или ты и в первый день собираешься опоздать?

За квартал до школы полковник протянул руку и молча тронул шофера за плечо — машина замерла как вкопанная, резко клюнув радиатором. Перегнувшись через Танины колени, он сильным толчком распахнул дверцу:

— Прошу... Подождите здесь, Лядов.

— Слушаю, товарищ полковник.

Выйдя из машины, полковник молча прошел несколько шагов и взял Таню под руку.

— Ты на меня сердиться, Дядяша? — робко спросила она, подняв к нему ресницы.

— За то, что ты объявила голодовку,— ответил он деланно шутливым тоном.

— Нет, правда... Я ведь чувствую...

— Ничего, ничего.— Он успокаивающе похлопал ее по запястью.— Ты сама должна понимать, что меня тревожит вся эта история.

Возле угла школьной ограды они остановились.

— Ну вот. Надеюсь, ты обдумала... э-э-э... линию своего поведения?

Таня, вдруг побледнев, жалко улыбнулась:

— Я столько об этом думала, что сейчас уже ничего не соображаю...

Полковник помолчал, потом сказал решительно:

— Ну, катай. Сегодня я вернусь поздно.

Таня привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку.

— Я, может быть, тоже, Дядяша... так что ты не беспокойся...

— Ну-ну.

Поглядев вслед племяннице, полковник опустил голову и пошел к машине несвойственной ему усталой походкой. Да, трудно все это... как там сказано: «Что за комиссия, создатель...»

В калитке она остановилась и, справившись с мимолетным приступом головокружения, посмотрела на часы. До звонка оставалось пятнадцать минут. Шум голосов доходил до нее как-то странно — волнами, то оглушая, то становясь едва различимым, словно ей на голову опускали звуконепроходимый шлем. Нет, Дядяша прав, нужно было есть вовремя. Превозмогая неприятную слабость в коленях, Таня медленно шла по выложенной бетонными шестиугольниками дорожке, не поднимая глаз.

...Эти плитки ей определенно что-то напоминают. Нет, не соты. Что-то именно такое — серое, из бетона... ах да, конечно — взлетная дорожка Тушинского аэродрома. Или Внуковского? Только там они больше. Намного больше — раз в десять или в сто. А как вычисляется площадь многоугольника, она не помнит. Дядяша сказал бы: просто позор, Татьяна. Конечно... именно позор... зато она помнит греческие названия многоугольников. Тригон — откуда тригонометрия, — потом тетрагон, пентагон, гексагон... значит, это вот гексагоны. И потом еще есть какой-то гексоген... интересно, что значит это слово. Про это говорил что-то тот артиллерист в Сочи. Как давно это было, сто лет назад...

— На горизонте Танечка Николаева! Музыка, туш!! — неистово завопил кто-то совсем рядом.

Таня вздрогнула и оглянулась: в нескольких шагах от нее стоял Сергей вместе с Глушко, Анатолием Гватуком и Сашкой Лихтенфельдом. Тоже, по-видимому, испуганный неожиданным Сашкиным выкриком, Сергей рывком

повернул голову и, встретившись с нею глазами, стиснул зубы так, что на скулах у него проступили сквозь загар красные пятна. Секунду или две они молча смотрели друг на друга — внешнего мира для них не было.

— Здравствуй, Николаева! — удивленно сказал Гнатюк. — Чего это ты — не хочешь здороваться, что ли?

— Да, конечно, — опомнилась наконец Таня. — Я очень рада вас видеть, правда...

Она подошла к группе и обменялась рукопожатиями с Володей, Анатолием и Сашкой. Последний, пожав ей руку, дурашливо поклонился в пояс, приложив ладони к груди:

— Салям, о прекраснейшая из учениц средней школы, выражаясь языком великого ибн Хоттаба... Нет, вы только посмотрите на нее! Модная прическа, костюмчик по последнему крику, каблучки — прямо звезда экрана! На мой взгляд, куда лучше Зои Федоровой!

— Да, конечно... — опять подтвердила Таня полуобморочным голосом. — Ты что-то сказал, Лихтенфельд?

— Ладно, хлопцы, — решительно сказал Глушко, — чего тут торчать на солнце. Пошли, надо хоть глянуть, что там у нас теперь за класс...

Гнатюк и Лихтенфельд ушли вместе с ним. Теперь они были, наконец, вдвоем.

— Ну, мы с тобой даже поздороваться забыли, — криво улыбнулся Сергей. — Как дела-то?

— Сережа...

Таня мучительно старалась теперь припомнить то главное, что нужно было сказать в самом начале, самое важное из всех тех воображаемых разговоров, которые она вела с ним на протяжении всего этого последнего месяца. Может быть, именно потому, что их было так много, ни одно из самых важных слов не приходило сейчас на ум.

— Сережа... я хотела сказать... ты не знаешь, что такое гексоген?

Сергей удивленно поднял брови:

— Гексоген? Ну, это такая взрывчатка, вроде гремучей ртуты... для детонаторов. А что?

— Нет, я просто... Сережа...

Одна из одноклассниц, проходя мимо, поздоровалась с Таней и спросила что-то насчет Люси. Таня посмотрела на нее непонимающими глазами и, ничего не ответив, снова повернулась к Сергею. Тот стоял хмурясь и безуспешно пытался приладить на место полуоторванный металлический уголок своего портфеля.

— Сережа... — Таня закусила губу и тыльной сторо-

ной приложила руку к пылающей щеке.— Я хотела сказать... если бы ты хоть немножко знал, как я по тебе соскучилась... я никогда не думала, что можно за два месяца... за два с половиной...

У нее прервался голос и на ресницах заблестели слезы. Быстро взглянув на нее, Сергей еще ниже опустил голову. Он оторвал уголок, повертел его и сунул в карман.

— Ты думаешь, мне легко было...— сказал он глухо.

— Сережа, я знаю,— заторопилась Таня, еще сильнее картавя от волнения,— я прекрасно знаю, что тебе было очень трудно, правда... Если бы я знала все это время, что ты хорошо себя чувствуешь, то мне было бы совсем не так тяжело... понимаешь — это было бы совсем другое, а то ведь когда знаешь, что человек, которого ты... что твой самый-самый лучший друг в это время страдает и ты ничем не можешь помочь — это самое страшное, правда! Сережа, я все время ждала, что ты мне напишешь,— но только ты не думай, что я на тебя за это обиделась... что ты не писал. И вообще, Сережа, если ты думаешь, что я тогда на тебя обиделась, в декабре... то есть я очень обиделась вначале, правда, а потом нет — потому что я все время верила, что ты не мог сделать это просто так и что я действительно перед тобой чем-то виновата... только я думаю, что было бы лучше, если бы ты мне сказал, в чем дело, потому что...

Сергей кашлянул и погладил ладонью залохматившуюся от ветхости кожу портфеля.

— Да нет, чего там,— сказал он таким же глухим, словно сдавленным голосом.— Я вот пасчет этого и хотел с тобой поговорить... понимаешь, я тогда просто дурака сваял. Я потому и молчал потом, что нечего было сказать. Думаю, как я пойду после такого... с какими-то объяснениями... на черта, думаю, я ей теперь сдался. Ну, а после — когда погиб Коля,— так мне, правду сказать, не до того было. Я уж потом — когда припомнил, как ты ко мне тогда подошла в спортзале,— ну да ладно, что об этом... Ты лучше расскажи, как там на море? Плавать не научилась? Вид у тебя просто...

Откровенно любуясь, он посмотрел на Таню и улыбнулся — в первый раз с момента встречи — широкой восхищенной улыбкой.

— И одеваться стала... верно Сашка сказал — прямо артистка. И волосы так лучше...

Таня покраснела еще больше.

— Я очень рада... если тебе нравится... Сережа, но только как ты мог подумать, что я... что я оттолкнула

бы тебя, если бы ты пришел мириться... Неужели ты считаешь, что я могла бы — после того, что было...

Звонок не дал ей окончить фразу.

— Уже? Как же это, — сразу растерявшись, сказал Сергей. — Мы ведь и поговорить не успели...

— Сережа, слушай — я думаю, нам не удастся на переменах, в первый день всегда такое сумасшествие... Ты можешь проводить меня сегодня домой?

— Ладно... — не сразу ответил Сергей.

Таня с Людмилой, по-кошачьи привыкнув к месту возле окна, и теперь заняли третью парту крайнего ряда; Сергей и Глушко устроились на четвертой, в среднем. Это совсем близко. Стоит ему повернуть голову, и в каких-нибудь полутора метрах от него — мягкий извив медно-каштановой волны волос, зеленый на белом воротничок, краешек нежно очерченной загорелой щеки. Нужно обладать большой силой воли, чтобы сидеть вот так — упрямо не поднимая глаз от черного зеркала заново отлакированной парты.

Тригонометрия, украинский, история, физика — ради первого дня и урок физики проводится тут же, в классе. Вообще, занятий, по существу, сегодня еще нет, каждый преподаватель ограничивается своего рода вступительным словом, пытаясь внушить слушателям страх перед ответственностью положения десятиклассников. Все это не ново, все это давно известно и только наводит скуку. Сорок пять минут тянутся нескончаемо долго, и чем чаще поглядываешь под партией на часы, тем медленнее движутся стрелки. На переменах — скорее в уборную, покурить. Если затягиваться не торопясь, то папиросы хватает минут на десять, а оставшиеся пять проходят совсем быстро, если задержаться с кем-нибудь в коридоре — ругнуть фашистов или высказать свои соображения насчет плохих дел Англии, оставшейся без союзников...

На пятом уроке — литературы — Сергей сидел уже в невменяемом состоянии, машинально рисуя овалы на выдранном из тетради листе и заштриховывая их жирными косыми линиями. Из речи Сергея Митрофановича, по своему обыкновению расхаживающего в проходе между партами, до него не доходило ни слова.

За четыре с половиной часа он так и не успел разобраться в своих мыслях. С чувствами — другое дело, тут нечего было даже разбираться; чувства эти — вернее, од-

но-единственное — образовали в его душе огромный сияющий фон, ослепительный, как утренняя заря летом в степи. Копытающиеся на этом фоне темные мысли тонули в его спокойном торжественном сиянии, и, может быть, поэтому так трудно было рассмотреть их поодиночке. Но и не замечать их нельзя, они все равно здесь, и они бегают и ползают, словно большие мухи на стекле залитого утренним солнцем окна.

Собственно, это даже не мухи, а какие-то другие насекомые — пазойливые и опасные. Хорошо еще, что их немного и что они кажутся тем мельче, чем выше встает и разливается золотое сияние... то самое, которое тогда, после дурацкого Сашкиного выкрика, вдруг затопило его, хлынув из ее глаз... Но как глупо все это получилось!..

Сергей даже зубами скрипнул, вспомнив свое сегодняшнее поведение с Таней и свои слова. Что-то плел, пытался объяснять, а толком даже не извинился, хотя начать нужно было именно с этого. Хотя конечно — увидеть вдруг такие глаза, это... тут потеряешь всякое равновесие, еще бы.

Сергей покосился на третью парту слева и, очертив еще один овал, принялся штриховать его в обратном направлении.

Да, и это вот тоже... все одно к одному. Небось тот герой, что дверцу перед ней распахнул, — уж он-то, наверное, за словом в карман не лезет. Такие говорить умеют, этот, видать, из тех, что больше по штабам околачиваются. А ты? Встретился с девушкой и не сумел связать двух слов... Хорошо — она тебя полюбила, неизвестно за что. Но надолго ли хватит такой любви, если она постоянно будет замечать разницу между тобой и такими вот своими знакомыми?

Сергей подавил вздох и осторожно обмакнул перо в чернильницу-неразливайку, вставленную в гнездо парты.

Черные мухи выросли и оживились, они мелькали теперь так часто, что почти затмевали золотое сияние. В этом-то все и дело, что с какой стороны на это ни помотришь — а она все-таки не для таких, как ты. «Хороша Маша, да не наша», — подумалось вдруг ему пошлой фразой. Позавчера на бульваре он просто не успел ее рассмотреть, но зато сегодня насмотрелся за все время разлуки.

От него не укрылась ни одна деталь происшедшей с Таней разительной перемены. За одно это лето из нескладного и забавного даже в своей миловидности долговязого подростка она превратилась в почти взрослую девушку, окруженную победным сиянием расцветающей

юности. Исчезла прежняя мальчишеская угловатость: движения, хотя и не утратив своей всегдашней порывистости, приобрели какой-то неуловимый оттенок женственности и стали чуть сдержаннее, словно Таня сама втайне стыдилась своего нового облика, смущенная его непривычной прелестью. Волосы ее, раньше всегда убранные кое-как, были теперь тщательно, по-новому причесаны, оставляя слева аккуратный пробор, а ногти — Сергей всегда помнил их вымазанными в чернилах и коротко, небрежно обрезанными, — ногти эти выглядели теперь совсем необыкновенно: миндалевидные и хорошо обработанные пилочкой, они сохраняли свой естественный цвет и в то же время блестели, как лакированные...

И вся она была какая-то чистенькая, блестящая, словно повенская игрушка в целлофане. Он вдруг представил себе ее, в таком вот до блеска отглаженном белоснежном костюме, входящей в его квартиру, где нельзя повернуться, не задев за рукомоynyк, за покосившуюся, с треснувшими конфорками плиту, за потемневший от жира и копоти кухонный шкафчик, — тут, пожалуй, как ни люби, а невольно мелькнет в голове мысль: «В каких условиях он живет? Куда я попала?»

Сергей закусил губу и скомкал исчерченный лист. Преподаватель, оказавшийся рядом в этот момент, поправил старомодное с дужкой и шнурочком — как у Чехова — пенсне и удивленно уставился на Сергея, нагнув голову, словно собираясь боднуть, — но ничего не сказал.

Через минуту раздался звонок. Сергей Митрофанович неторопливо собрал книги и, выйдя из класса, величественным шагом отправился по коридору, выставив живот. В тот момент, когда Сергей пробежал мимо него, он, не оборачиваясь, протянул руку и неожиданно ловко ухватил его за локоть.

— Нервы, нервы, мой друг, — пробормотал он, с любопытством разглядывая свежую побелку потолка. — А чего ради? Нервничать полагается перед экзаменами, а с первого дня не стоит... н-да-а... странно, что у тебя нервы не в порядке — никогда не сказал бы по внешнему виду. Замечательный у тебя вид, Дежнев, скажу без лести. Ты очень возмужал за это лето. Мне говорили — ты работал? Ах да, на строительстве электроцентрали... так, так... это заметно. Возмужал, очень возмужал. И лицо у тебя стало такое... хорошее, мужественное, лицо волевого человека. Да-а, Дежнев, ты теперь держись — девушкам нравятся такие лица, вот в чем беда... боюсь, что ты окончательно забросишь литературу. Кстати вот, о девушках...

Он доверительно покосился на Сергея, продолжая крепко держать его за локоть, и рассмеялся коротким хитрым смешком:

— ...Ты никогда не замечал, Дежнев, на какие ухищрения они иногда пускаются? Любопытно, друг мой, очень иногда любопытно за ними понаблюдать. Дома она тебе бегаёт в линялом сарафанчике, в тапочках на босу ногу... так, попросту... Но уж зато если ей, голубушке, предстоит встреча с кем-нибудь, кому она хочет понравиться, да еще, скажем, после известного перерыва, — то уж тут, братец ты мой, разоденется принцесса принцессой... смотришь на нее и робеешь подойти ближе. Ну что ж, Дежнев... это тоже понятно — любовь, друг мой, любовь...

Сергей Митрофанович извиняющим жестом наклонил голову и отвел от тела пачку книг, которую нес в левой руке.

— Поразительные вещи делает иногда с людьми эта любовь, — помолчав, заговорил он негромко, словно думая вслух. — Ты вот не читал у Толстого... Алексея Константиновича... был такой простой викинг — Гаральд Гардрад... Да-а... Влюбился он в киевскую княжну Ярославну, но девица оказалась слишком разборчивой. Другой на его месте отступился бы: шутка ли сказать — дочь великого князя Ярослава Киевского! Но Гаральд был настоящим мужчиной, поэтому он решил иначе. Собрал дружину, отправился в поход — и наделал переполоху по всей Европе, прославляя имя любимой девушки. Он дошел до Пирея и там своим мечом насек имя Ярославны на знаменитом изваянии льва... А все для того, чтобы добиться взаимности...

— И добился? — заинтересованно спросил Сергей.

Преподаватель пожал плечами:

— А ты как думаешь? Когда он вернулся в Киев, там уже гремела слава о великом воине Гаральде Гардраде. Где уж тут было устоять этой княжне! Вот, Дежнев, что делает любовь. Если это, разумеется, любовь настоящего мужчины... а не тряпичного воздыхателя. Те-то никогда ничего не добиваются, и поделом. Впрочем, что это я с тобой заболтался — даже учительскую миновал... увы, становлюсь стар и болтлив. До свиданья, Дежнев...

— До свиданья, Сергей Митрофанович...

Преподаватель скрылся за дверью учительской. Сергей задумчиво постоял на месте, потом нащупал в кармане папиросы и отправился покурить в последний раз. Почти следом за ним в уборную ворвался Женька Косыгин.

— Что ж ты делаешь, жлоб ты несчастный, — зашептал он, отозвав Сергея в сторонку, — ты сам знаешь — я к бабам отношусь отрицательно, но в данном случае ты просто жлоб! Николаева там сидит одна, вот с такими глазами, а он из курилки не вылезит! Дурак, иди к ней, а мне дай докурить...

Не дожидаясь ответа, Женька выхватил папиросу из его пальцев.

— А где она? — нахмурился Сергей. — Без Земцевой, что ли?

— Земцеву класрук увел, — кивнул Косыгин, торопливо затягиваясь. — А капитанская дочка сидит в верхнем коридоре, в самом конце... вид у нее такой — вот-вот разревется, иди к ней, я тебе говорю...

Таня и в самом деле была уже на волосок от истерики. На первом же уроке она, как могла, пересказала Людмиле свой разговор с Сергеем, и Людмила не сумела в первый момент скрыть недовольства странным поведением Дежнева. Правда, она тут же спохватилась и стала уверять, что это совершенно нормально, но было уже поздно. Таня заметила ее первую реакцию; еще раз вспомнив весь разговор, она ужаснулась Серезиной холодности и объяснила ее только одним: он ее больше не любит, а выслушивал просто из вежливости. Недаром он не писал, недаром он даже не сразу согласился проводить ее домой...

Людмила утешала ее, говоря о всем известной неловкости влюбленных, и ссылалась на многочисленные литературные примеры; но Таня с каждым уроком все глубже погружалась в пучину отчаяния. От предстоящего разговора она уже не ждала ничего хорошего — весь ее запас храбрости был уже израсходован; на уроке литературы она объявила Людмиле, что жить больше не стоит. Неизвестно, дошел ли до стоявшего неподалеку преподавателя мрачный смысл ее шепота, но он сердито посмотрел на Таню и погрозил ей пальцем. Таня ответила ему отчаянным взглядом утопающей.

Сейчас, увидев идущего по коридору Сергея, она побледнела и вцепилась в края подоконника, словно боясь упасть. Губы ее вздрагивали, во всем ее виде было столько самого неподдельного отчаяния, что Сергей сам с трудом проглотил подступивший к горлу комок. Не думая уже о том, как нужно себя вести и как сложатся их отношения в будущем, он шагнул к Тане и положил руку

на ее пальцы, судорожно стиснутые на доске подоконника.

— Таня...— сказал он негромко, в первый раз произнося вслух ее имя.— Что с тобой — тебе что, нехорошо?

Вместо ответа она часто заморгала и вдруг, выдержав пальцы из-под его руки, закрыла ладонями лицо и затряслась в беззвучных рыданиях.

В этот момент звонок известил о начале последнего урока. На лестницах послышался топот ног. Сергей беспомощно оглянулся, кусая губы. На свою репутацию ему было наплевать, но если Таню увидят в таком состоянии... Схватив за локти, он почти грубо толкнул ее в дверь напротив — в кладовую завхоза, где хранились швабры, тряпки, мел и бутылки с чернилами.

— Обожди здесь,— шепнул он,— я сейчас...

У двери в класс он поймал Володю:

— Слушай, Володька, скажешь Земцевой, я Таню увел, ей пужно уйти, слышишь? Книги мои заberi, а она пусть возьмет ее...

Глупко вытаращился на него изумленно, но Сергей уже убежал.

Таня, все еще судорожно всхлипывая, сидела на опрокинутом ящике. При виде Сергея она утерла слезы и несмело улыбнулась.

— Кто-то чуть не вошел...— сказала она вздрагивающим еще голоском.— Я так испугалась...

— Сейчас выйдем, погоди,— озабоченно сказал Сергей, прислушиваясь к шуму в коридоре.— Сейчас все разойдутся...

Когда стало тихо, он вывел ее из убежища. Едва удерживая желание бежать, они прошли вдоль дверей классов, спустились вниз и вышли через черный ход — подалее от окон учительской. Только на боковой тенистой улочке они почувствовали себя в безопасности.

Некоторое время постояв молча, Сергей широко улыбнулся и взглянул на Таню:

— Ну, так как же? Куда теперь?

— Все равно, Сережа...— Она еще раз по-детски всхлипнула, и Сергею показалось, что непросохшие слезы на Таниных ресницах засияли от ее улыбки, словно капли росы на солнце.— Мне ведь совершенно все равно, правда... куда ты хочешь...

Они долго ходили по улицам — молча, словно каждый боялся произнести первое слово, — потом очутились в во-

ротах парка. Шумно толпились люди, неистово гремел танцевальной музыкой рупор громкоговорителя, но они были одни — совсем одни вдвоем.

Пройдя по центральной аллее, они молча переглянулись и свернули в одну из боковых, уже наполненную сумерками летнего вечера. Сергей шел рядом с Таней; вспомнив позавчерашнего лейтенанта, он смутился и придержал шаги, пропустив ее чуть вперед — на полшага.

Скамеек было много, но людей — еще больше. Уже совсем стемнело, когда им удалось наконец отыскать свободную скамью в самом глухом и безлюдном уголке парка.

— Хочешь — сядем здесь? — смущенно предложил Сергей.

Таня молча кивнула головой.

Неловко опустившись на скамью, он оказался слишком близко от Тани, коснувшись ее плечом и ногой, и тотчас же подумал, что нужно отодвинуться. Но что-то приковало его к месту. Он остался сидеть, боясь шевельнуться и утратив все внешние ощущения, кроме одного — милого и доверчивого тепла, исходящего от той, что сейчас (вопреки всякой логике и всякому здравому смыслу) сидит рядом с ним и тоже не отодвигается.

Таня не отодвигалась, хотя слева от нее было много свободного места, но она продолжала молчать, и Сергей вдруг испугался этого несвойственного ей молчания. Очевидно, она все же обиделась на него за сегодняшнее...

— Таня... — тихо сказал он, кашлянув от сухости в горле. — Скажи правду — ты очень на меня сердиться? Я действительно сегодня так себя повел... да и вообще — за прошлое... ты меня прости, если можешь... я не знаю, что сейчас дал бы, чтобы этого не было...

— Этого уже нет, Сережа, — еще тише отозвалась Таня. — И я на тебя совсем не сержусь... я ведь тебе уже говорила...

Она искоса посмотрела на него, чуть повернув голову, и едва слышно вздохнула.

Далеко, на главных аллеях, светляками мелькали сквозь заросли огни фонарей, от танцевальной площадки иногда доносило какую-то развеселую музыку, но вокруг них было все так же тихо и безлюдно.

— Сережа, — продолжала Таня окрепшим вдруг голосом, почти строго. — Я тебе уже все сказала, но я думаю, что я еще должна сказать... я думаю, это так принято говорить — иначе это не настоящее объяснение. Сережа, я тебя люблю, и я думаю, что ты тоже меня любишь, иначе

ты вел бы себя совсем по-другому... Ведь правда, ты меня любишь?

— А ты разве не видишь сама? — шепнул Сергей. — Я ведь тебя так люблю, что...

Он беспомощно замолчал, не находя нужных слов. Да и какими словами можно было передать то, что он сейчас чувствовал?

Нерешительно, словно ребенок, оробевший при виде неожиданно подаренной долгожданной игрушки, он обнял Таню за плечи и привлек к себе, и она прижалась к нему с доверчивой и нежной покорностью. И он опять сидел, боясь пошевелиться, отказываясь верить тому, что с ним происходит. Любимая, только что признавшаяся ему в своей любви, была с ним, и его ладони ощущали тепло ее тела, и ее теплое дыхание он чувствовал сквозь рубашку на своем плече. Прошло какое-то время, прежде чем он наконец понял, что все это не во сне, что все это происходит наяву, в действительности; и только тогда — смытая все преграды — в сердце его хлынул вышедший из берегов поток счастья.

Испытывая легкое головокружение и странное чувство невесомости и одновременно сжатой до предела энергии во всем теле, он нагнулся к Тане, зная, что уже следующее мгновение переломит его жизнь навсегда — навечно...

Их первый поцелуй получился неловким и торопливым, но они не заметили этого, оба одинаково перепуганные. Боясь открыть глаза и взглянуть на Сергея, Таня уткнулась лицом ему в грудь; он сидел растерянный и оглушенный мимолетным прикосновением любимых губ, вздрагивающей рукой робко приглаживая ее волосы.

— Сережа... — еле слышным шепотом позвала Таня.

— Что, Танюша?

— Ничего... я просто хотела услышать твой голос...

Помолчав еще, она опять спросила:

— Сережа... ты, наверное, очень добрый, правда?

— Добрый? Да нет... я думаю — не очень... А что?

— Неправда, ты добрый... Я это сразу поняла по тому, как ты меня сейчас назвал... Знаешь, меня никто так не называет — только Люся... и теперь — ты...

Приподняв голову и немного отстранившись, она несколько секунд смотрела на Сергея без улыбки, с серьезным и почти строгим выражением — потом легко вздохнула и, опуская ресницы, обняла его за шею...

— ...я очень испугалась в первый раз, — медленным шепотом говорила она через минуту, лежа головой на его

плече и широко открытыми глазами глядя на звезды в просветах между темными кронами тополей.— Я иногда думала раньше... старалась представить себе, что чувствуешь, когда тебя целуют... Я почувствовала страх и еще большое-большое доверие... к тебе... правда — как странно, что это можно чувствовать вместе, страх и доверие... Сережа, по-твоему, что такое любовь? По-моему, это — доверие, правда?

Сергей долго молчал, осторожно перебирая Танины пальцы.

— Не знаю...— покачал он наконец головой.— Я, правду сказать, никогда об этом не думал...

Он поднес ее руку к лицу и стал медленно гладить себя по щеке отполированными ноготками.

— ...Как-то не приходило в голову... ну, искать определение, что ли... любовь — это и есть просто любовь, я так думаю. Когда любишь, когда хочешь все сделать так, чтобы тому, кого любишь, было хорошо... когда защитить хочешь — от всего, что может случиться. Вот это, пожалуй, и есть любовь, кто ее знает...

Таня прижалась к нему еще теснее и, счастливо улыбаясь, закрыла глаза.

— Сережа, я хочу спросить у тебя одну вещь... Скажи, когда ты заметил в первый раз, что ты меня полюбил?

Сергей подумал.

— А я и сам не знаю... я и сам вот недавно как-то думал: когда это все вдруг началось? Пожалуй, что еще в тот раз — в энергетической... только я сначала не понял, а полюбил, пожалуй, сразу... Но только и злился же я тогда на тебя!

— И я тоже думаю, что полюбила тебя с самого начала... ты мне тогда страшно понравился,— чуть меня не поколотил, помнишь?

Она засмеялась тихим счастливым смехом и потерлась щекой о его щеку. Их губы опять встретились и на этот раз задержались дольше, и Сергей вдруг почувствовал, как ее тело на мгновение обессидело в его руках, и тотчас же она, словно испугавшись чего-то, уперлась ладонями в его грудь.

— Танюша... ты меня боишься?

— Тебя — нет... Понимаешь, Сережа, иногда вдруг чувствуешь такое, что... чего никогда до сих пор не чувствовала... такое, о чем пишется в книгах... и тогда становится очень страшно, но сейчас — нет, потому что это с тобой, и я тебя люблю. Ничего нельзя бояться, когда ты с человеком, которого любишь...

Она подняла руку и нежно — кончиками пальцев — провела по его щеке.

— ...только ты обними меня еще крепче... изо всех сил. Как мне сейчас хорошо... я хотела бы пробыть так целую вечность. Я всегда этого боялась — вечности... а теперь с тобой мне не страшно даже это. Я не понимаю — я читала, что когда очень любишь, то бывает страшно за то, чтобы эта любовь вдруг не исчезла... Я этого не понимаю: разве можно бояться, если любишь по-настоящему? Ты ведь не боишься, что я тебя разлюблю? Я совсем не боюсь, что ты меня разлюбишь...

— Танюша, я тебе клянусь, что всегда, что бы с нами ни случилось...

Фраза осталась недоговоренной, потому что Таня быстро прикрыла ему губы теплой ладонью, которую он так же быстро поцеловал.

— Нет! С нами ничего не может случиться, Сережа. Ничего не может случиться с теми, кто любит...

Полковник хмурился, медленно поднимаясь по лестнице. Подходя к дому, он первым делом посмотрел на окна третьего этажа — света не было. Если в одиннадцать Татьяна уже спит, значит, дела обстоят неважно. Он отлично знал ее особенность — терять сон от радости и мгновенно, как сурок, засыпать от огорчения. Неужели она могла так ошибиться?

Войдя в квартиру, он на носках прошел к письменному столу и включил лампу. Бедная девчужка, пережить неудачную любовь в таком возрасте...

Покачав головой, полковник отогнул край портьеры и, всмотревшись в темноту, громко и изумленно свистнул. Вот оно что... Он сразу повеселел. Так, так, все понятно... ну что ж, значит, судьба!

Насвистывая куплеты тореадора, он прошелся по комнате, закурил. Стукнув в дверь и не дожидаясь ответа, вошла мать-командирша:

— Это ты, Семеныч? А я услышала — думаю, может, разбойница наша пришла...

— Заходите, Васильевна, заходите. Татьяна, оказывается, еще не вернулась. Я тоже думал, что она уже дома.

— Дома, — добродушно усмехнулась старуха. — Дома, Семеныч, она теперь к завтраму утру будет.

— Ну, что вы, — нахмурился полковник. — В ее возрасте...

— Самый как раз и возраст до петухов гулять... Я вот помню: идешь, бывало, с гулянки, а уж дома папаша покойный с вожжами дожидается. А мне все нипочем — вечером опять гармонику как заслышу — куда там, разве меня удержишь... я ж и бедовая была в девках, не приведи господи! Идем-ка ко мне, Семеныч, чайком побалуемся. Тебе нынче все одно не спать...

Ночь, звезды, шорох сонного ветра в облитых серебром тополях, звенящая тишина. Или, может быть, это звенит счастье?

— ...а знаешь, мое счастье все-таки больше твоего...

— Нет, Танюша... мое больше. Дай мне руку...

— Возьми обе, они же все равно твои...

— Это ведь для нас никогда не кончится, верно?

— Конечно нет! Знаешь, Сережа... мне кажется, что скоро будет война — просто я слышала всякие такие разговоры летом... Дядяша разговаривал с другими военными, я иногда слышала. Они так прямо не говорят, но все думают об этом, я заметила. Так вот, сейчас мне не страшно даже это... хотя это самое страшное, что может быть... но любовь — это сильнее всего, ведь правда, Сережа? Если любить так, как мы, то тогда ничего не страшно... даже война...

— Танюша... скажи мне совсем серьезно... ты будешь меня любить, что бы ни случилось?

— Ну как тебе не стыдно, как ты можешь спрашивать такие вещи!..

На Дальнем Востоке уже утро. Из рыбацких поселков на берегах Японского и Охотского морей, деловито тархтя моторами и болтаясь на свежей волне, выходят навстречу восходящему солнцу флотилии кунгасов. Лучи, уже озарившие края Сихотэ-Алиня, миллионами проснувшихся птичьих голосов оглашают тайгу, тесня предрассветный сумрак дальше на запад — к Байкалу. Но девять десятых необъятной страны еще погружены в ночь, багровое зарево полыхает над бессонными домами Магнитки и уральскими мартенами, в темных молчаливых берегах плывут по Волге сияющие огнями белые пароходы, и над Москвой — портом пяти морей — широко разлитое шестое — холодное голубое море электричества. На Спаской башне размеренно бьют куранты.

На Украине тоже ночь, огромная и тихая под мерцающими южными звездами. Переливая в себе лунный свет,

струится старый Днепр, в селах лениво перебрехиваются собаки, начинают редеть россыпи городских огней. Одно за другим гаснут окна — желтые, голубые, оранжевые. На танцплощадке энского парка уже не играет музыка, из рупоров мощно гремит облетающая земной шар мелодия «Интернационала». Девушка в белом удивленно поднимает голову, прислушивается и снова наклоняется к уху юности с ласковым шепотом:

— Слышишь, Сережа... уже двенадцать, подумай. А мне все кажется, что еще так рано...

— Танюша, а тебе дома не влетит?

— Конечно, влетит, — счастливо смеется она. — Еще как влетит, прямо хоть не возвращайся домой... но мы знаешь что можем сделать? Можно ведь вообще не возвращаться, правда? Мы просто уйдем в Казенный лес и там потеряемся. Как Тристан и Изольда, понимаешь? Питаться будем грибами и ягодами, это очень вкусно. И никто-никто нас не пайдет...

— Найдут! — смеется он. — От твоего дяди так просто не удерешь — подымет бригаду по боевой тревоге, окружит лес и начнет прочесывать квадрат за квадратом. Нет, с этим мы пока подождем. Танюша, а кто были эти... ну, ты вот сейчас назвала...

— Тристан и Изольда? Ты не знаешь? Ну как же, это один такой французский роман, средневековый. Страшно интересно, правда... я так плакала! Хочешь, я тебе расскажу?

— ...Все это так, Васильевна... все это так. Но думать — одно, а чувствовать — это уже труднее...

Мать-командирша сочувственно вздохнула:

— Не говори, Семеныч... это уж я по себе знаю. Только что ж, тебе-то еще рано печалиться... как-никак, а пару годков посидит еще с тобой твоя разбойница. Ну, а уж там...

— Да, все это так... ну что ж, Васильевна, спасибо за чаек, пойду спать.

— Да полно те брехать, Семеныч... спать он пойдет! До свету небось сидеть будешь, разбойницу поджидать...

В комнате племянницы полковник включил свет и опустился в качалку, задумчиво поглядывая по сторонам и барабанив пальцами по подлокотнику.

Что ж, время идет. В твоём возрасте это не так заметно, но оно идет. Еще совсем недавно Татьяна была смеш-

ной курносой девчушкой, — кто бы мог подумать, что пройдет всего каких-нибудь полтора года, и... что ж, в этом есть своя печальная закономерность. Для кого печальная, а для кого счастливая... глупо же было думать, что племянница так и останется для тебя чем-то вроде домашнего котенка. Всему свое время.

Тяжело поднявшись, он прошел к себе, сел за письменный стол и вынул из портфеля тонкую зеленую папку.

— ...и их похоронили возле капеллы — это такая маленькая церковь, — по обеим сторонам, чтобы не вместе. А на другой же день из ее могилы вырос куст роз, а из могилы Тристана — куст шиповника, и они росли все выше и выше, очень быстро, пока не доросли до крыши и там переплелись ветвями. Их приказали срезать, но они сразу опять выросли, и так повторялось два раза, а на третий раз король Марк приказал больше не трогать, и так они и остались, сплетенные вместе... и круглый год были покрыты цветами, даже зимой. Вот такой должна быть настоящая любовь, правда, Сережа?

— Да... — задумчиво произнес Сергей. — Красиво... Ты смотри, а я ведь и не слыхал никогда про такую книгу. Где ее можно достать, Танюша?

— Она есть у Люси, я тебе достану.

— Ага, достань. Мне вообще, понимаешь, побольше всяких таких вещей читать... а то я до сих пор больше технические читал, а они человеку мало культуры дают. Да вообще никакой. Я вот по себе знаю — сколько я этих технических книг перечитал, а сказать что-нибудь такое — и язык не ворочается. Чувствуешь, а слов не хватает. Я, Танюша, если правду сказать, за классиков серьезно только этим летом и принялся... Толстого вот читал, Тургенева. Я в городскую библиотеку запишусь, вот что.

— Угу. Будем ходить вместе, я там беру на два абонемента — свой и Дядисашин. Не знаю, я без книг просто не могла бы жить... ой, Сережа, знаешь, что мне сказал Сергей Митрофанович? Я его встретила позавчера в городе, он меня начал спрашивать, куда я собираюсь поступать после окончания, что думаю делать, а потом говорит: «Я тебе советую идти в университет, на филфак. Имей в виду, что у тебя вообще есть литературные способности, я это давно понял еще по твоим сочинениям. Даже если ты не будешь писать сама, что вообще я считаю возможным, то, во всяком случае, филологическое об-

разование тебе получить не мешает, из тебя может получиться литературовед или редакционный работник». Так и сказал, представляешь? Я как-то никогда об этом не думала, а теперь вижу: конечно, что может быть интереснее литературы! Сережа, а вдруг из меня получится писательница, какая-нибудь такая знаменитая! Вроде Ольги Форш, правда?

Сергей, улыбаясь, прижал ее ладони к своим щекам.
— Конечно, Танюша...

— Ой, мы с тобой будем когда-нибудь такой знаменитой парой! Ты изобретешь что-нибудь такое, что все ахнут, а я возьму и напишу книгу... Представляешь — вдруг мы идем по улице, и в витрине выставлена книга, а на обложке стоит: «Татьяна Дежнева»...

Сергей крепко зажмурился, по одному целуя теплые пальчики с отполированными ноготками.

Полковник вздрогнул и рывком поднял голову. Положив на стол очки, каким-то чудом не свалившиеся с пояса, он потер лицо ладонями, сгоняя дремоту, и глянул на часы. Что ни говори, а это уже переходит всякие границы...

Сдунув с разложенных перед ним листов табачный пепел, он собрал их в папку, встал из-за стола и принялся шагать из угла в угол. Ну хорошо, можно засидеться, опоздать на часок-другой, но не так же... В конце концов, кто его знает, этого Сергея... что он за человек...

Постепенно им начала овладевать тревога.

— ...И потом есть другие, очень тоже красивые... он вообще чудесно писал. Я не понимаю, почему его у нас теперь не печатают? Мне еще страшно понравилась такая строчка: «Ведь отрадней пения птиц, благодатней ангельских труб нам дрожанье милых ресниц и улыбка любимых губ»... Как хорошо, правда?

— Правда. У тебя тоже «милые ресницы». Дай я их поцелую, можно?

— Конечно!

«...Внимательное и всестороннее изучение боевого опыта финской кампании поможет бойцам и командирам в кратчайший срок по-большевистски овладеть могучей боевой техникой, которой наша промышленность, неуклонно

и капризно сморщила нос: «Сереза, если бы ты знал, как мне хочется есть... я просто умира-а-аю...»

В подъезде дома комсостава они долго оглядывались по сторонам, долго прислушивались, нет ли кого на лестнице, и наконец еще раз торопливо поцеловались.

— Ну вот, Сереза... теперь ты иди. Я сегодня приду в школу раньше, к часу. Встретимся на углу, хорошо?

— Хорошо, Танюша. На углу, в час. Только я ведь сейчас подымуь с тобой — падо же объяснить, в чем дело...

— Ой нет, лучше не падо,— пускай уж лучше достанется мне одной...

— Да нет, ну как это так — привел тебя, а сам удрал! Идем.

Когда дверь открылась, Таня впервые в жизни увидела своего Дядюсашу небритым. Впрочем, услышав робкий звонок, полковник сразу же напустил на себя всегдашнее невозмутимое спокойствие и сейчас поклонился молодым людям с большим достоинством.

Сергей выступил вперед и оттеснил Таню плечом.

— Добрый вечер, товарищ полковник... — произнес он, багровея.

Полковник вскинул левую бровь:

— Во-первых, в данном случае уместнее сказать «доброе утро», а во-вторых, меня зовут Александр Семенович. Ну что ж, рад с вами познакомиться. Если не ошибаюсь — Сергей? Прошу заходить.

— Да нет... Александр Семенович... я ведь, собственно, только сказать, чтобы вы не очень на Таню... Понимаете — это все я... Она — Таня то есть — много раз собиралась домой...

— Я — собиралась? — возмущенно воскликнула Таня. — Как не стыдно!

Полковник, посмеиваясь, поднял руку:

— Хватит, друзья. Виноваты — совершенно явно — обе стороны, так что спорить ни к чему. Вы все же заходите, Сергей.

— Да нет, Александр Семеныч, я, если можно, в другой раз... Я ведь дома еще не был, мамаша там, верпо, уж беспокоится...

— Да, это соображение резонное. В таком случае разрешите проводить вас до уголка. Татьяна, а ты немедленно под душ. Никаких возражений. Минутку, Сергей...

Оставив их в прихожей, полковник вошел в комнату. Перед тем как выйти снова, он долго и угрожающе откашливался за дверью.

— Ну-с, молодой человек, — сказал он, пройдя в молчании с полквартала. — Повторяю — рад с вами познакомиться. Как говорили в старину, много о вас наслышан... чрезвычайно много...

Говоря, он время от времени бросал на Сергея быстрые внимательные взгляды — словно фотографировал.

— ...так вот, я хотел сказать следующее. Я отнюдь не против того, чтобы вы встречались с Татьяной, поскольку между вами уже возникла... э-э-э... столь прочная дружба. Правда — в этом я буду с вами откровенен — я предпочел бы, чтобы это случилось несколько позже. Но приходится мириться с фактами. Попрошу, однако, учесть: ей через две недели только исполняется семнадцать лет. В таком возрасте, насколько я понимаю, девушке не совсем пристало проводить ночь вне дома. Разумеется, пойти в кино, в театр, наконец, скажем, потанцевать... часов до двенадцати, самое позднее — до часу... но до утра — согласитесь сами, это уже переходит всякие границы...

— Товарищ полковник... — опять покраснел Сергей.

— Без званий, без званий, молодой человек. Это вам еще успеет надоесть, когда будете в армии. Так вот, Сергей. Оправдания ваши мне не нужны, я вас ни в чем страшно и не обвиняю. Попрошу только впредь сдавать мне племянницу не позднее часу. А в остальном вы свободны располагать вашим временем по собственному усмотрению. Я доверяю вашему... благоразумию. И в этом вопросе лучшей гарантией для меня является... то чувство, которое питает к вам Татьяна. Ну, отлично.

Полковник остановился и пожал Сергею руку:

— Попрошу бывать почаще, по вечерам я обычно дома... Правда, не раньше одиннадцати.

— До свиданья, Александр Семеныч... Так вы на Татьяну не очень нападайте — серьезно, это мой промах. Больше этого не будет, даю вам слово...

— Отлично, Сергей, отлично...

Возвращаясь, полковник насвистывал куплеты тореадора. Парнишка производит хорошее впечатление. Глаза серьезные — даже и не по возрасту, улыбка тоже хорошая, немного застенчивая. И по лицу видно, что есть воля. Ну что ж... посмотрим, чем это кончится.

Впрочем, чем кончится — можно сказать заранее. Все такие истории кончаются одинаково, хотя очень не одинаковы человеческие характеры и человеческие судьбы...

Да, самые разные люди в определенных обстоятельствах ведут себя одинаково. Рано или поздно. Наивно было думать, что Татьяна окажется исключением из прави-

да, наивно было на это надеяться. А ты на это надеялся?

Пожалуй, нет. Ты просто никогда не задумывался над этим до сих пор, настолько все это казалось тебе далеким. Татьяна была девочкой, школьницей. Тебе и в голову не могло прийти, что ее может интересовать что-либо помимо школьных дел, подруг, чтения, кино и, может быть, какого-нибудь пустякового школьного флирта. Ты ведь так это и воспринял, как очередной «школьный роман», когда она рассказала это тебе тогда, в мае. А поди ты, что получилось...

Получилось то, что скоро ты опять останешься один, старый пень. Через год они кончат школу, потом каких-нибудь пять лет вуза, и... Конечно, за пять-шесть лет много утекает воды; если бы только о Татьяне шла речь, то можно было бы и не тревожиться вовсе. У девиц в этих делах сам черт ногу сломит — поди разбери, что у нее всерьез, а что «просто так». Но Сергей дело другое, этот, пожалуй, слов на ветер не бросает. Ни слов, ни поступков, ни чувств. И откуда только они берутся — эти до изумления серьезные молодые люди, которые даже за одноклассницами не умеют ухаживать, не возводя это в степень любви до гроба. У нас, когда-то, это получалось проще и легче. Для себя и для окружающих, черт возьми!

Да, полковник, а ведь — если взглянуть на все трезво и беспристрастно — ты просто ревнуешь племянницу к этому пареньку. Потому что знаешь, что рано или поздно он ее у тебя заберет, и ты опять останешься один. Один, как до тридцать шестого года...

Уже на площадке полковник принял строгий вид.

— Ну-с, сударыня,— произнес он, входя в комнату.— Очередь за вами.

Таня, уже успев принять душ, очень скромно сидела на полковничьем письменном столе, в своем монгольском халатике и чалме из полотенца. Взглянув на него, она вздохнула и опустила глаза, сложив руки на коленях.

— Рапортуйте, сударыня,— мрачно сказал полковник.

— Ты очень его ругал, Дядяша?

— Это тебя не касается. Рапортуй, я жду.

— Ну, хорошо. В общем, мы убежали с последнего урока...

— В первый день года это особенно похвально. Дальше.

— И мы пошли в парк.

— Дальше.

— Ну, и там объяснились в любви...

— Оба?

— Угу.

— Дальше.

— Потом мы еще немного поговорили и пошли домой.

— Только и всего?

— Н-пу, да... — Таня вздохнула и посмотрела на полковника: — Мы поцеловались, Дядясаша...

— Неужели? — проворчал тот. — Кто бы мог подумать. Мне только кажется, что приставка «по» здесь совершенно ни к чему.

Таня опять вздохнула. Полковник подошел к ней, взял за подбородок и заглянул в глаза:

— Итак, Татьяна... Признавайся — счастлива?

Таня положила голову ему на плечо:

— Дядясаша... я так счастлива, что... как ты думаешь — можно устать от счастья? Я, по-моему, устала... я сейчас так устала — я совершенно не чувствую своего тела, мне кажется, что меня вообще нет...

— Почаще бы устраивала голодовки! — Полковник поцеловал ее в лоб и, сняв со стола, поставил на пол. — Немедленно иди питайся — в буфете есть холодные котлеты. Иди, я поставлю чай.

Полковник вышел. Таня подошла к буфету, отломилла горбушку и начала жевать, глядя перед собой отсутствующими глазами.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Пожалуй, самым удивительным во всей этой истории было то, как отнесся к ней коллектив десятого «Б». Тридцать шесть человек, словно усвоив вдруг главное правило английского воспитания, восприняли скандальный случай так, как если бы вообще ровно ничего не случилось, или, во всяком случае, как если бы произошло нечто обыденное и не заслуживающее внимания.

Это внешне. Под поверхностью, конечно, некоторое время кипели страсти. Девушки, за исключением Людмилы, Ариши Лисиченко и еще двух-трех, безоговорочно осудили столь бурно развернувшийся перед ними роман и только иронически пожимали плечиками, когда разговор заходил о Николаевой. Зато вся мужская половина класса заняла в отношении влюбленных определенно со-

чувствующую позицию; проявлялось это в полном отсутствии насмешек (а какие были теперь великолепные поводы!) и в особенно усердных подсказках — когда Николаева очертя голову пускалась в свое очередное плавание у доски. Сергея никто теперь не беспокоил больше техническими разговорами ни на переменках, ни после уроков, когда он с двумя портфелями под мышкой терпеливо поджидал в вестибюле охорашивавшуюся перед зеркалом подругу.

Мужское мнение по этому вопросу лучше всего было сформулировано Женькой Косыгиным: он заявил однажды, что хотя Серега и пропал для коллектива, но это понятно, потому что таких девчонок, как Николаева, встретишь не часто. Как-никак, она всегда была хорошим товарищем. Когда Игорь Бондаренко однажды позволил себе диничную шуточку по поводу Тани и Сергея, его обругали гадом и пообещали набить морду.

С большим шумом и гамом прошло в школе отчетно-выборное комсомольское собрание. Обсудили решения Одиннадцатого пленума, переизбрали руководство. Людмила оказалась на высоком посту секретаря комсомольской группы десятого «Б», в состав бюро вошла и Ариша Лисиченко. Таню почему-то никуда не избрали, и это ее немного обидело.

Вспомнив, что на собрании много говорилось о недочетах в пионерской работе, она отправилась к комсору Леше Кривошеину и в категорической форме потребовала дать ей отряд.

— У меня уже почти годичный стаж в комсомоле, — горячилась она, — а мне еще ни разу не дали ни одной серьезной нагрузки! Почему это, интересно, другие работают, а я должна сидеть? Леша, ну дай мне второй отряд, ну что тебе стоит? С четвероклассниками я справлюсь, вот увидишь!

Кривошеин отнесся к ее энтузиазму несколько недоверчиво, но обещал подумать и поговорить в комитете. На другой день он согласился, — так или иначе, второй отряд остался без вожатого и нужно было кого-то туда назначить. Таня была на седьмом небе.

Вообще, так удачливо — во всем — начался для нее новый учебный год, что она чувствовала иногда даже какой-то суеверный страх: не может же быть, чтобы человеку так везло! И действительно, предчувствие ее не обмануло. В воскресенье, восьмого, они пошли с Сережей на выставку одного местного художника, и там он вдруг рассказал ей о своих домашних неприятностях. Оказыва-

ется, его мама, узнав об их примирении, устроила скандал и потребовала, чтобы они больше не встречались. Таня была ошеломлена. За чувства Сергея она не боялась, он был достаточно взрослым человеком, чтобы решать такие вопросы самостоятельно, но она просто не могла понять, как это мог найтись кто-то, кому мешало бы их счастье!

Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Настасья Ильинична пришла к Николаевым на Танин день рождения, двенадцатого. Правда, накануне Таня попросила Сергея еще раз попытаться поговорить с мамой, но тот мрачно ответил, что нечего и пробовать.

Сам он очень тяжело переживал неожиданный разлад с матерью. Главное, ему тоже было это непонятно. Ну хорошо, раньше так было принято, и вообще раньше такие дела решали родители. Мнения детей тогда не спрашивали, если судить по литературе. Но чтобы теперь, в советское время...

И хуже всего то, что мать совершенно твердо убеждена в своей правоте, в том, что она этим спасает сына от большой беды, и еще в том, что он, Сергей, ее не любит и «ни во что не ставит», тогда как она желает ему только добра. Вот и пробуй после этого до чего-то договориться! И что у нее против Тани? Да ничего ровно, ерунда какая-то: «Вот не лежит у меня к ней сердце, вот чую, что не доведет она тебя до добра...» Черт возьми, в конце-то концов, да его-то собственное сердце имеет тут право голоса или не имеет? Ну и все!

Так-то оно так, но положение от этого лучше не стало. Он жил теперь какой-то двойной жизнью — одна в школе и по вечерам с Таней, а другая дома. Невольно получилось так, что дома он старался быть как можно меньше. Из школы они отправлялись или в библиотеку, где долго просиживали у стола с каталогами, бестолково роясь в карточках и замирая от каждого соприкосновения пальцев, или бродили по улицам, или заходили в парк — послушать оркестр в раковине и посидеть часок на «той» скамейке. Несколько раз Таня зазывала его к себе ужинать: она исполняла роль хозяйки неумело, но очень старательно — разливала чай, намазывала масло на хлеб и то и дело спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь еще. Эти ужины вдвоем, в пустой, ярко освещенной квартире — полковника они никогда не заставляли дома, — были для Сергея едва ли не самыми блаженными

из проводимых с Таусей часов. Он машинально ел, не замечая вкуса, не видел ничего, кроме сидящей напротив него любимой, и время от времени мысленно ужасался — как это он смеет так просто съесть приготовленные ее руками бутерброды...

А после этого приходилось возвращаться домой — в тяжелую атмосферу взаимного непонимания и нелепых обид. Когда Сергей отказывался от ужина — просто потому, что не хотелось есть, — мамаша обижалась еще пуще. Двенадцатого, уже собираясь в школу, Сергей рискнул все же еще раз передать Танино приглашение; Настасья Ильинична только губы поджала: «Чего мне там делать...» Сергей нахлобучил кепку и молча вышел, хлопнув дверью.

На большой перемене он вдруг вспомнил, что па день рождения полагается что-то дарить. Вот так история! Сергей понятия не имел, что дарят в таких случаях. Володя, к которому он обратился за советом, долго и глубокомысленно молчал и наконец спросил, собирает ли Таня марки.

— Не знаю, — пожал плечами Сергей, — а что?

— Понимаешь, — торжественно объявил Володя, — у меня есть потрясающая марка Южно-Африканского Союза, в прошлом году братья Аронсоны давали мне за нее целый альбом канадских. Мне она уже не нужна, я решил покончить с филателистикой, так что могу ее принести, а ты подарить Николаевой. Это будет подарок еще тот — редкий и изысканный...

Сергей плюнул с досады и отправился советоваться к Сергею Митрофановичу.

Хитрый старик по обыкновению ухватил его под локоть и, словно ни о чем не догадываясь, стал долго пространяться о том, что выбор подарка — дело серьезное и зависит главным образом от личности того, кому подарок предназначен: ну, скажем, бабушке можно подарить домашние туфли или палку, приятелю — галстук или футбольную покрышку, а мамам полагается дарить вещи практичные, которые могут пригодиться в хозяйстве... Только порядком помучив Сергея, он вспомнил о подарках для знакомых девушек и сказал, что можно подарить хорошую книгу — если это просто знакомая. Ну, а если это не просто знакомая, а, так сказать, нечто большее, то тут уж остается единственное — цветы. Да-да, только цветы! А какие — э, вот тут-то и проявляется внимательность мужчины: заранее знать, какие цветы она предпочитает. Скажем, некоторым девушкам нравятся белые

розы — он, Дежнев, никогда этого не замечал? Потом Сергей Митрофанович припал серьезный вид:

— И еще одна деталь. Если уж идти в гости с букетом роз — ты сам понимаешь, что такой подарок кое о чем говорит, — то в таком случае, поздравляя, стоит поцеловать руку. Да, разумеется, при посторонних! Теперь это не особенно принято, но лишней вежливостью дела не испортишь... Деньги у тебя есть?

— Нет, — сказал Сергей. — Да это неважно, я займу. Сергей Митрофанович полез за бумажником:

— Чтобы не ходить далеко, возьми-ка пока у меня. Ну-ну, брось, Дежнев, я лучше тебя знаю, удобно это или неудобно. Я сейчас при деньгах, так что не беспокойся, отдашь, когда сможешь...

После шестого урока Сергей, попросив Володю занести домой его книги, кинулся по цветочным магазинам. Белые розы нашлись только в одном, и он купил их на все три червонца, полученные от преподавателя. Букет вышел таким огромным, что неловко было идти с ним по улице — Сергею казалось, что на него оборачиваются все прохожие.

Таня просила его прийти раньше других, и теперь это оказалось очень кстати, принимая во внимание неприличные размеры букета. Кроме того, Сергея очень смущал предстоящий обряд целования руки; он твердо решил последовать совету преподавателя, но не был уверен, хватит ли в последний момент решимости сделать это на глазах у всех...

«Хоть бы и в самом деле никого еще не было», — со страхом думал он, поднимаясь по лестнице. На цыпочках подойдя к двери, он прислушался и позвонил.

Таня, распахнув дверь, счастливо просияла и тотчас же, увидев ворох цветов, сделала большие глаза и вспыхнула от смущения.

— Сережа, ну зачем столько... — прошептала она радостно и недоверчиво.

— Поздравляю, Танюша. — сказал Сергей чужим голосом. Мешковато поклонившись, он где-то внизу ухватил Танину руку и храбро потащил к губам.

Таня зарделась еще ярче.

— Спасибо, Сережа, пойдем в мою комнату, я хочу пока поставить их там... потом перенесу сюда. Минуточку — я возьму кувшин...

Одета она была точно как тогда — белая юбка, перетянутая широким поясом белой кожи, и светло-зеленая блузочка с короткими рукавами, — только на этот раз по-

домашнему, без жакета. Сергей смотрел на нее и чувствовал головокружение — может быть, от крепкого запаха роз, сразу наполнившего всю квартиру. Поставив букет на своем столе, Таня подошла к Сергею и обняла его за шею прохладными легкими руками.

— Спасибо тебе большое, Сережа... — шепнула она. — Знаешь, я ведь загадала: если ты принесешь мне цветы, то все будет хорошо... даже еще лучше, чем сейчас. Сережа, как я по тебе соскучилась сегодня...

Они успели поцеловаться только дважды, а потом раздался звонок, и Таня, вздохнув, выскользнула из его рук.

В странном состоянии, словно охмелевший от счастья, Сергей провел весь вечер. Комнаты наполнились девичьими голосами и смехом, потом с шумом начали вваливаться приглашенные ребята — Глушко, Гнатык, Лихтенфельд, очкастый приятель Иры Лисиченко из параллельного класса. Приехал полковник в сопровождении двоих лейтенантов, все трое нагруженные бутылками и пакетами. Потом все сидели за столом под председательством торжественной и нарядной матери-командирши, потом танцевали — а Сергей находился все в том же блаженном состоянии полуопьянения-полуотрешенности, не видя и не замечая ничего и никого, кроме Тани — блеска ее глаз, ее звенящего смеха, неправдоподобной прелести всех ее движений.

Сам он не танцевал — не умел. Людмила и еще какая-то девушка пытались научить его вальсу, но после нескольких неудачных попыток сказали, что он совершенно безнадежен, и оставили его в покое. Он видел, как танцевала Таня — то с Лихтенфельдом (Сашка-то оказался заправским танцором!), то с лейтенантами, то с самим полковником; но удивительно — он не ревновал ее даже к Сарояну. Если ей доставляет удовольствие танцевать — ну и прекрасно, а ему самому даже приятно видеть, каким успехом она пользуется...

Около часу стали расходиться — утром всех ждали занятия. Полковник партиями развозил гостей в своей машине. Когда уехала последняя группа, Таня с Сергеем остались в пустой квартире, среди беспорядочно сдвинутой мебели, разбросанных патефонных пластинок и обрывков серебряных бумажек.

— Теперь мы должны выпить по-настоящему, вдвоем, — шепнула она тоном заговорщицы. — За наше счастье, правда?

Сергей кивнул. Перебрав бутылки, он нашел одну, в которой оставалось вина больше чем наполовину.

— Давай-ка бокалы,— весело сказал он,— мой — вот там, смотри, на письменном столе... вот так. Теперь держи, не пролей. Так за счастье, говоришь?

Таня, сияя глазами, усердно закивала.

— Тогда уж нужно до дна...

— Сережа, а мне не слишком много? Еще опьянею.

— Может, и опьянеешь, кто тебя знает. Ну, Танюша, за счастье!

Стоя рядом, они чокнулись. и Таня начала старательно пить до дна, большими испуганными глазами глядя на Сергея поверх своего бокала. Сергей лихо опорожнил свой одним махом. Допив, Таня перевела дыхание и посмотрела на него лукаво, искоса:

— Сережа...

Она подняла руку и разжала пальцы — падая, бокал вспыхнул отраженными огоньками и с хрупким звоном разлетелся по паркету.

— Ты что? — успел только воскликнуть Сергей.

— Как «что»? — удивилась Таня. — Так полагается, если пьешь за счастье, — ты разве не знал? Ну, бросай же свой — скорее!

Сергей секунду поколебался — как-никак, бить посуду в чужом доме, — потом глаза его блеснули, и он, широко размахнувшись, словно на занятиях по гранатометанию, швырнул бокал о стену — так, что осколки брызнули по всей комнате. Таня испуганно моргнула и засмеялась, закидывая голову.

— Вот, теперь правильно, — сказала она удовлетворенно, — жаль только, что эти бокалы были не мои. Это матери-командирши, знаешь?

— Ага, — злорадно сказал Сергей, — ну ничего, теперь она тебе покажет, как пить за счастье.

Таня пожала плечиками:

— Неважно, я ей куплю. В комиссионных бывают иногда хорошие бокалы, старинные. Я ей куплю даже лучше, чем эти. Если бы у меня было много денег, то я ходила бы по комиссионным и покупала всякие красивые вещи. И еще по букинистам. Смотри, я вчера заходила к тому, у которого мы тогда спрашивали «Органическую химию», и у него есть «Орлеанская девственница» Вольтера... Ты Вольтера что-нибудь читал?

— Ничего, — смутился Сергей.

— Ну, я тоже ничего. И я уже думала ее купить — всегда любила читать про Жанну д'Арк — любимая моя героиня, — но потом оказалось — там такие картинки... странно, что я все время натываюсь на всякие неприлич-

ные книги, именно я, как назло... Знаешь, пойдём ко мне, послушаем музыку.

Только сейчас Сергей заметил в углу Таниной комнаты новый предмет — большую радиолу, размерами с хорошую тумбу.

— Откуда это?

— О, это Дядисашин подарок, — гордо ответила Таня. — Привезли сегодня утром. Хорошая, правда?

— Толковая штука. Это что, не наша?

— Кажется, откуда-то из Прибалтики, не знаю. Сережа, поищи что-нибудь хорошее...

Она забралась на кушетку, сбросив туфельки и поджав ноги под себя. Сергей сел возле радиолы, быстро разобрался в незнакомой системе управления, стал вертеть ручку настройки. Красная струна индикатора поползла по шкале, посвистывая и с треском продираясь сквозь мешанину звуков, волоча за собой ключья музыки и обрывки разноязыких голосов.

— Ой, оставь это! — сказала Таня, когда в комнату ворвалась бурная мелодия. — По-моему, это «Полет валькирий», Вагнера, мы с Люсей слушали прошлой зимой в филармонии. Сделай только потише и садись сюда...

— Нравится? — спросил Сергей, приглушив радио и пересев на кушетку.

— Очень. А тебе?

— Черт, что-то пока не пойму... вроде ничего. Так что про Жанну ты не купила... И по-прежнему, значит, мечтаешь о подвигах? Я помню, как ты в прошлом году говорила — помнишь, когда в первый раз были в кино? На счет гражданской войны.

— Угу, помню. Ну конечно, тогда было интереснее жить, правда. Сейчас какое-то время совсем неинтересное...

— Да ну, чего там... всякое время по-своему интересно, нужно только найти, чем заниматься.

— Конечно... нет, я говорю просто так, вообще. А мне то самой очень интересно жить, особенно теперь. Как подумаешь, сколько интересного у нас с тобой ещё впереди, — просто дух захватывает!

Сергей улыбнулся и забрал ее руки в свои. Вагнеровская музыка кончилась, из приемника слышалось только слабое потрескивание разрядов.

Ее пальцы шевельнулись в руках Сергея, словно сделав нерешительную попытку высвободиться, потом она затихла, придвинувшись еще ближе. В комнате, залитой голубоватым светом фонаря, было очень тихо; внизу по

улице промчалась запоздавшая машина, коротко просигналив на перекрестке; шипело и чуть потрескивало радио; потом тишину вспорол режущий звук фанфар — медный, исполненный какого-то безжалостного торжества. Таня вздрогнула и посмотрела на Сергея. Когда фанфары пропели и смолкли, заговорил мужской голос — с теми же торжествующими интонациями, бросая тяжелые рубленые фразы.

— Немцы, — шепнула Таня, опять глянув на Сергея. — Ты что-нибудь разбираешь?

Он прислушался.

— «Оберкомmando» — что это, верховное командование? Это я разобрал... а вообще-то они совсем не так говорят, ни черта непонятно. Наверное, сводка какая-нибудь... вот, «Энгланд» — это значит Англия. Факт, сводка. Послушаем еще, может, что-нибудь разберем.

— Нет, выключи. — Таня быстро выдернула свои пальцы и почти выкрикнула: — Скорее!

Сергей вскочил и повернул щелкнувшую рукоятку, шкала погасла.

— Может, поискать что-нибудь веселое?

— Нет, не нужно. Иди ко мне, садись...

Сергей вернулся. Таня обняла его и прижалась щекой к его плечу.

— Сережа, мне вдруг стало страшно... Неужели мы тоже будем воевать?

— Ну вот, с чего ты взяла...

— Да, а почему Дядясаша и вообще военные так в этом уверены... конечно, прямо никто этого не говорит, но все равно — это ведь все время чувствуется! Ты не заметил, как Виген начал сегодня что-то говорить, а Дядясаша посмотрел на него, и он сразу замолчал...

— Какой Виген?

— Ну, Сароян!

— А-а... нет, не заметил. Так что ж с того, Танюша... они ведь народ военный, каждый говорит про свое. Мы вот тоже, как соберемся — только про свое и говорим, кто чего не выучил, кто куда собирается поступать... ну, и они так же. Не думай ты об этом, Танюша, чего голову зря ломать. Пока-то ведь еще ничего страшного нет?

— Пока нет...

— Ну вот, а ты заранее боишься.

Таня вздохнула и коснулась губами его щеки.

— Я больше не буду, правда... Сережа, если бы ты знал, как я тебе благодарна за эти цветы... Для меня се-

Таня сбросила на пол ноги, глядя на него с недоумением.

— Пошел я, Танюша, — сказал он неповинующимся голосом. — Пора, да и вообще... на завтра заданий много..

— Сережа, ну посиди еще пять минуточек, ну что тебе стоит, правда? — жалобно сказала Таня.

— Нет, пора. Ты тоже ложись, а то не выспишься. Не могу я, понимаешь? — Он вернулся к ней и, взяв руку, прижал к губам теплую ладонь. — Приведи себя в порядок, — шепнул он, — волосы поправь, слышишь? Я пошел. Нет, не провожай, не нужно...

2

В воскресенье они устроили вылазку на Архиерейские пруды, решив воспользоваться остатками лета. Собралась целая компания, весь их кружок — Земцева, Лисиченко, Глушко, Гнатюк, Лихтенфельд, увязался даже Женька Косыгин. Как полагается для экскурсии, Таня оделась попроще: на ней были мальчишеская ковбойка с засученными рукавами, старенькая коротковатая юбка и измазанные в зелени тапочки, и Сергей не мог оторвать от нее глаз.

Они расположились в отличном месте, на втором пруду, подальше от рачьих норок, которых Таня боялась панически. Девушки расстелили на траве принесенные с собой одеяла, Гнатюк с Косыгиным затеяли бороться. Сергей насвистывал от удовольствия, радуясь всему — Таниному виду, чудесной золотой осени, предстоящему купанью. Потом им вдруг овладели смятение и мрачность — когда Таня, продолжая болтать с Глушко, преспокойно расстегнула юбку, переступила через нее и осталась в ковбойке и черном трикотажном купальнике. Он насутился и стал смотреть в сторону, борясь с желанием надавать Володьке по шее.

— А ты чего не раздеваешься? — окликнул его Косыгин. — А ну давай, маханем до того берега и обратно — кто кого, а? Я тебя обставлю как миленького, не я буду...

— Ты меня? — снисходительно покосился на него Сергей. — Подрости еще на пару сантиметров...

Женьку он, конечно, обставил. Ненамного, всего на несколько секунд, но обставил; ему даже похлопали.

— Ага, ага, хвастун, так тебе и надо, — сказала Таня, показав Косыгину язык. Потом она обернулась к Глушко и заговорила с жаром, очевидно продолжая какой-то спор: — Ты как хочешь, а я считаю, что писать такие

вещи — просто непорядочно! Это уже донос какой-то получается! Если он не прав, то нужно ему возразить, нужно объяснить, в чем он ошибается, а писать так, как там написано, — это уже просто гадость!

— Ладно, послушаем вот сейчас, что наш группорг скажет, — ответил Володя. — Ну-ка, Людмила, изреки свое веское слово.

Сергей присел на край одеяла и провел ладонями ото лба к затылку, приглаживая волосы и отжимая из них воду.

— О чем это вы?

— Ой, ну вот скажи сам, Сережа, — накинулась на него Таня, — ты читал эти статьи в «Комсомольской правде»?

— Это про Горького, что ли? — Сергей вспомнил, что действительно были в газете какие-то статьи на литературную тему; к стыду своему, он так и не собрался их прочитать. — Нет, я, правду сказать, еще не успел... А что там такое?

— Понимаешь, — сказал Володя, — там началась целая полемика — между «Комсомолкой» и «Литературной газетой». Один там написал какую-то чушь насчет «На дне» Горького...

— Это совершенно неважно, — вспыхнула Таня, — чушь он написал или не чушь! Ты вот уже даже сейчас подходишь к этому нечестно — тебе обязательно хочется с самого начала внушить, что написал чушь, а ведь дело вовсе не в этом!

— Подождите, — сказала Людмила, и ее спокойное вмешательство, как обычно, сразу утихомирило противников. — Сначала объясните человеку, в чем дело! Понимаешь, Сергей, один критик выступил в «Литературной газете» с разбором пьесы, и в частности образа Сатина. Ну, он дал ему несколько необычное толкование — не такое, что ли, революционное, как дается обычно. А в «Комсомольской правде» ему возразили, он тоже ответил, ну и началась целая дискуссия. Мы говорим о тоне статей в «Комсомольской правде». Там было написано, что автор, дескать, и раньше уже, анализируя Горького, протаскивал всякие чуждые идейки, и что он потом вроде и каялся, но на самом деле не осознал своих ошибок, и что вообще странно, как это «Литературная газета» под видом свободной полемики дает место таким политически двусмысленным высказываниям...

— Ну что это, не гадость? — опять закричала Таня. — Ну скажи сам, Сережа! Это все равно что показывать на

человека пальцем и говорить: «Посмотрите на него, а ведь он враг народа, как это вы до сих пор не заметили?» Это донос, вот что это такое!

— А если он и в самом деле враг народа? — спросил Глушко.

— Сам ты враг народа! А в «Литературной газете» не нашлось никого, чтобы увидеть врага, правда? Или там вся редакция из врагов народа? Если хочешь знать, я тоже считаю, что он ошибается, я даже Сергея Митрофановича спросила, и он тоже сказал, что значение образа Сатина у него недооценено. Так разве из-за ошибки можно губить человека! А ты, Володька, просто дурак, самый стопроцентный!

— Юпитерша, ты сердисься,— высокомерно отозвался Глушко.— А что говорили древние греки? Сердишься — значит, не прав.

— Кстати, это были римляне,— улыбнулась Людмила.— Ты спрашивал моего мнения? Я скажу, только не как секретарь группы, учти, а просто как частное лицо. По-моему, и ты прав, и Таня права...

— Эх ты, соглашательница! — фыркнула та.

— Ничего подобного, я тебе сейчас объясню. Володя прав в принципе: если ты видишь действие врага, то ты обязана обратить на него внимание, хотя бы это и выглядело доносом...

— Да какое же это «действие врага» — ошибиться в литературном анализе?

— Никакое,— согласилась Людмила.— Поэтому я и говорю, что ты тоже права. Володя прав в принципе, но в данном случае ошибается.

— То-то же,— сказала Таня победоносно.— А в общем, ну вас, вы мне надоели. Лезем в воду, Аришка!

— Иди, иди, там тебя уже давно раки поджидают,— сказал Глушко.

— Типун тебе на язык! Идем, Аришка.— Таня встала, одергивая купальник, и натянула черный резиновый шлемик, сразу сделавшись еще более похожей на загорелого длинноногого мальчишку. Встретившись глазами с Сергеем, она улыбнулась и сделала мгновенную гримаску, морща нос.

— А ты со мной не согласен? — спросила Людмила у Глушко.

— Ты уклонилась от прямого ответа. «В принципе», «в данном случае»... Тут нужно ставить вопрос ребром.

— То есть?

— А вот так. Нужна бдительность или не нужна? По

твоей теории выходит, что сначала нужно убедиться, действительно ли это действие вражеское, и только потом действовать...

— Ну, а ты как думаешь? — прищурился Сергей. Вытерев мокрые руки об одеяло, он взял у Лихтенфельда папиросу и закурил, прикрываясь от ветра. — Может, наоборот нужно — сначала огреть человека дубиной, а после решать — стоило или не стоило?

— Я говорю, — закричал Володя, — что когда обстановка требует особой бдительности, то не всегда есть время раздумывать и взвешивать!..

— Господи, какие глупости ты говоришь, — вздохнула Людмила.

— Его еще, как говорится, петух не клюнул, — сказал Сергей. — А у других эта твоя бдительность уже вот тут сидит, понял? Ты спроси у Сашки, за что его отец целый год баланду хлебал...

Людмила посмотрела на Лихтенфельда:

— Разве твой папа был репрессирован?

— Ага, еще при Ежове. Его летом тридцать седьмого вызвали и говорят: расскажите о своих связях с гестапо. Факт, елки-палки! А он говорит: так я и в Германии роду не был, я же из колонистов, здесь родился. А ему тогда говорят: ну что ж, тогда расскажите, за что вы получали деньги от японской разведки...

Сергей сидел, попыхивая папироской, и щурясь смотрел на середину пруда, где обе девушки и Гнатюк с Косыгиным перебрасывались надутой футбольной камерой. Стало совсем жарко, ослепительно сверкали на солнце брызги, и звенел долетающий до него Танин смех. Ему вспомнились вдруг замерзшие слова-леденцы барона Мюнхгаузена; если бы можно было материализовать эти звуки, то, наверное, именно так они и выглядели бы — летящими в небо каплями воды и солнца...

— ...так он и отсидел, ровно четырнадцать месяцев, — рассказывал Сашка. — А потом ничего, выпустили. Говорят, ошибка произошла.

— Чего ж, по Володькиной теории — так и должно быть, — жестко усмехнулся Сергей. — Бдительность, чего там! Лучше загрести десяток невиновных, чем упустить одного виноватого...

Глушко совсем рассвирепел:

— Да катись ты к черту, знаешь! Что я тебе — оправдываю перегибы?! Как вы все простой вещи не понимаете, это же прямо что-то потрясающее: ведь если исказе-

ние принципа выглядит уродливо, то это же совершенно не значит, что плох сам принцип!

— Ладно, замнем,— сказал Сергей, снова отвернувшись к воде.

Людмила, стоя на коленях, задумчиво вертела в руках резиновую шапочку.

— Ты в чем-то ошибаешься, Володя...— сказала она негромко, словно думая вслух.— Здесь вообще получается что-то очень сложное и... и не совсем понятное. Взять эту же полемику... Я считаю, что Таня возмутилась справедливо, таким тоном нельзя вести литературный спор. Почему-то у нас слишком уж часто любое несогласие объявляют чуть ли не диверсией. Зачем в каждом нужно непременно видеть притаившегося врага?

— Ты не разбираешься в механике классовой борьбы,— надменно заявил Володя.— Иначе не задавала бы дурацких вопросов.

— Но до каких же пор будет продолжаться эта борьба? — Людмила пожала плечами.— Я тебя просто не понимаю. У нас уже восемнадцать лет строится социализм. Оттого что существует капиталистическое окружение, нельзя же подозревать сто восемьдесят миллионов человек. А у нас получается именно так...

— Восемнадцать лет, да? — крикнул Глушко.— А Бухарин, Зиновьев — когда все это было? А откуда ты знаешь, что сегодня — вот сейчас, в сентябре сорокового года, у нас на ответственных постах нет какого-нибудь просочившегося предателя?

Людмила собралась что-то ответить, но тут Сергей снова повернулся лицом к спорящим:

— Я тебе вот что скажу, Володька! Что там наверху делается,— не нам с тобой судить, там и без нас разберутся. А вот что в народе у нас нет предателей, так в этом я тебе головой могу ручаться, понял? Если там забросят или завербуют десяток гадов, так это еще не народ. Ты вот про бухаринцев вспомнил — так я тоже читал эти материалы, не беспокойся! Имели они поддержку в народе? Ни черта они не имели и иметь не могли! Она права на сто процентов,— он указал пальцем на Людмилу,— у нас народ еще в семнадцатом году выбрал, по какой дорожке идти, понял? А сейчас что получается? Я когда на ТЭЦ постунал, так мне сто анкет пришлось заполнять! Не было ли родственников в белой армии, нет ли связи с заграницей, чем дед с бабкой занимались... а Коля, помню, рассказывал — еще в тридцать седьмом году,— как у них в цеху собрание было. Выступил один такой и

кричит: «Выше бдительность, товарищи! Выше бдительность! Враг не дремлет, враг в наших рядах — вот здесь!» — и пальцем туда-сюда тычет, в слушателей. Это что, по-твоему, доверие к рабочему человеку? Да разве ж это не обидно, когда тебя на каждом шагу подозревают?

Подошедшая шумная — с гармонистом — компания стала располагаться на берегу недалеко от них.

— Ладно, довольны о политике, — сказала Людмила, вставая. — Идемте купаться, жарко...

— Идите, я пока тут покараулю, — отозвался Сергей. — Пусть там потом Женька подойдет, что ли... Он уже целый час ныряет.

Оставшись в одиночестве, он лег и стал наблюдать за колонной муравьев, хлопотливо перебрасывающих куда-то нехитрые свои стройматериалы. Протяжный гром моторов внезапно обрушился с неба тугой лавиной, похоронив под собой переборы гармошки и плеск и крики купающихся. Сергей повернулся на спину — три коротких ширококрылых истребителя в крутом вираже прошли над прудами, разворачиваясь в сторону города, и скрылись за деревьями. Наверное, с нового военного аэродрома, который — недавно говорили в школе — расположился за Казенным лесом. Да, а война-то, пожалуй, будет. Конечно, если с такой точки зрения — может, и оправдана в какой-то степени вся эта подозрительность. Но все равно, подозревать каждого тоже не годится. Главное ведь — анкеты против настоящих шпионов не помогут, те-то начучены, что и как отвечать. А честным людям обидно...

Он закрыл глаза, потом незаметно вздремнул и не услышал, как подкралась Тая, неся перед собой, как кастрюлю, резиновый шлемик. Вода угодила ему прямо в лицо, Сергей испуганно вскочил, протирая залитые глаза и по-собачьи трясая головой. Тая ликовала в двух шагах от него, приседая и складываясь пополам от хохота.

— Ага, лентяй, соня! — кричала она, хлопая в ладоши. — В другой раз не будешь спать, когда... ай!!!

Взмахнув руками, она потеряла равновесие и с размаху села на траву: Сергей схватил ее за щиколотку, молниеносно распластавшись по земле, как вратарь, берущий низкий мяч.

— В другой раз не будешь нападать исподтишка, поняла? А теперь идем-ка. — Он поднял ее, отбивающуюся, и понес к воде. — Я тебе сейчас покажу, где зимуют раки. Вернее, где они лето проводят.

— Подумаешь, какая принцесса, — сказал выбравшийся на берег Косыгин, — сама дойти не может. Куда это ты ее тащишь?

— Ракам хочу скормить, вот куда, — мрачно ответил Сергей. — Слышь, Женька, ты тут прошлое воскресенье ловил, — где их тут больше, не помнишь?

— А, это дело, — одобрил тот. — Неси туда, где свая торчит, там их до черта.

— Сережа, меня нельзя скармливать ракам, — убеждающим голосом и заискивающе сказала Таня, — я их боюсь, правда!

— Ничего, зато они тебя не испугаются...

— Серезенька, ну отпусти, я больше не буду! Я сейчас начну визжать, вот увидишь.

— Завизжишь, факт. Тебя рак никогда не кусал? Ничего, вот попробуешь...

Он вошел в воду и, увязая в топком иле, медленно побрел со своей ношей к указанному Женькой месту.

— Мне нравится так, — сказала она, умильно морща нос. — Только не нужно туда, где раки. Я просто не верю, что ты можешь сделать со мной такую гадость.

— Одной тебе разрешается делать гадости, да?

— Какая же это гадость? Я думала, что тебе жарко...

Воды было теперь почти по грудь — ноша стала совсем легкой и приятной.

— И вообще в этом пруду раков нет, ты же сам говорил. — Таня обняла его за шею и, по-видимому, чувствовала себя вполне комфортабельно. — Ты меня только пугаешь, правда... ой, что с тобой?

Сергей изобразил на лице гримасу боли и принялся приплясывать, словно стряхивая с ноги башмак.

— А, ч-черт! Один, кажется, уже вцепился...

Таня неистово завопила и забилась, поднимая фонтаны брызг, Сергей потерял равновесие. Когда он вынырнул, отплевывая воду, Таня уже удирала от него, отчаянно работая руками и ногами и с ужасом оглядываясь. Он догнал ее в несколько взмахов, снова нырнул, захватив со дна большой ком ила и водорослей, и поднял руку, показывая Тане добычу.

— Гляди! — крикнул он. — Я его еле от пятки отдрал — гляди какой здоровенный! На, лови!

Брошенный ком шлепнулся Тане прямо на спину — она испустила совсем уже душераздирающий вопль и исчезла под водой. Помогая ей вернуться на поверхность, Сергей заметил, что она дрожит всем телом.

— Ты чего? — спросил он. — Что ты, Танюша?

Стоя в воде по плечи, он прижал Таню к себе и взглянул ей в лицо — испуганное, с прилипшими к щекам прядями волос, оно было теперь совсем несчастным.

— Как не стыдно, — сказала она прерывающимся голосом, — я ведь тебе говорила, что боюсь... а ты бросил на меня такого огромного — он успел меня немножко уку- сить, только я его сразу стряхнула...

— Кто успел укусить?

— Рак! Еще спрашиваешь, как не стыдно... Я тебе никогда этого не прощу...

— Так ведь никакого рака не было, — засмеялся Сергей, — это я в тебя водорослями бросил!

— Неправда, он меня укусил, — сердито повторила Таня, убирая за уши мокрые волосы, — ты просто садист, вот ты кто... теперь сам носи меня к берегу, я не поплыву. Или, может быть, тебе не хочется?

— Хочется, что ты, — быстро сказал Сергей.

— Кстати, Николаева, — сказал Глушко, когда они все уселись в кружок на одеяле, уписывая яблоки с хле- бом, — как ты — познакомилась уже со своим отрядом?

— Угу... — Таня закивала с набитым ртом. — М-м-м... ой, они такие замечательные! Я уверена, что хорошо с ними сработаюсь, правда. Им сейчас скучно — никакой работы с ними не вели, ничего совершенно. Я, когда при- шла в первый раз, спрашиваю, кто у них председатель совета отряда, а они отвечают: «У нас нет председателя». Представляете — отряд есть, а председателя нет! Потом наконец встает чудесная такая девочка — глаза, косички вот такие, в стороны! — я, говорит, председатель. Я го- ворю — как же так, а они все сказали, что нет предсе- дателя, и ты сама почему до сих пор молчала? А она — ой, ну такая чудесная девчонка! — говорит, мне стыдно, все равно у нас с конца прошлого года никакой работы не ведется, даже звенья не собираются. И на все лето — ой, ну вот ты скажи, Ариша, разве это правильно — пре- кращать на лето пионерскую работу? Ну хорошо, в ла- герях есть работа, но ведь не все же охвачены лаге- рями...

— Ты ешь, — сказала Людмила. — Пока ты ораторст- вуешь, от яблок ничего не останется.

— А вы мне оставьте, как не стыдно! Тоже, обжоры несчастные. Гнатюк, ну разве порядочные люди столько едят?

— Посчитай, сколько сама слопада, — возразил Гнатюк. Выбрав два яблока, самое крупное и самое маленькое, он закусил большое, а маленькое бросил Тане на колени. — Держи, и хватит с тебя.

Таня покачала головой:

— Самое зеленое выбрал, и еще бородавчатое. Ох и свинья же ты, недаром я тебя тогда поколотила...

— Подумаешь, поколотила! Просто связываться не хотелось.

— А что случилось? — заинтересовался Лихтенфельд.

— Ха-ха, он в восьмом классе схлопотал от меня по уху. Запросто, в присутствии представителя горono, — небрежно сказала Таня. — Наверное, я уже тогда чувствовала, что он со временем выродится в пожирателя яблок.

Гнатюк, коренастый и большеголовый юноша, покосился на обидчицу и неторопливо, со смачным хрустом, выгрыз добрую половину яблока.

— Шкода, мы тогда не знали, во что выродишься ты, — сказал он, прожевав.

— А во что это я выродилась, интересно?

— А как тебя прозвали во время кросса, интересно?

Таня покраснела:

— Это Игорьь Бондаренко прозвал, а он просто дурак!

— А ну, ну! — заинтересовались остальные.

— Гнатюк, только посмей... — угрожающе начала Таня.

— Говори, говори! — захлопала в ладоши Лисиченко. — Какое прозвище ей дали?

— Пожирательница сердец, — медленно, наслаждаясь эффектом, с расстановкой произнес Гнатюк и снова принялся за свое яблоко.

Раздался дружный взрыв смеха.

— Просто глупо. — Таня пожала плечиками. — Чье это сердце я там пожрала, ну скажи?

— А ты не помнишь, Танюша? — лукаво спросила Людмила. — Я могу напомнить. Физрука — раз...

— Люська!!

— Это точно, — подтвердил Гнатюк. — Физрука она соблазнила во все лопатки, уж так старалась. Крепление у нее раз испортилось, так она — нет того, чтобы самой поправить, — уселась на пенек и говорит: «Товарищ физрук, посмотрите, что у меня с креплением, пожалуйста...» — Гнатюк так похоже передразнил вдруг картавый Танин говорок и умильную интонацию, что все снова захохотали. — Вот так, Николаева. Поэтому лучше замнем, кто там чего пожирает...

— Ладно вам, посмеялись — и хватит, — сдержанно сказал Сергей. Разломив большое яблоко, он молча протянул Тане половинку и обратился к Лисиченко: — Ты что-то начала насчет пионерской работы?

— Я? Нет... а-а, это Таня меня спросила насчет отрядной работы во время каникул. Вообще, конечно, я считаю, что это получается глупо. Ребята, которые никуда не едут, на все лето выпадают из-под контроля организации...

— Есть ведь форпосты, — заметила Людмила.

— Сколько их там! Все это на бумаге. Серьезно, Дежнев, я на август ездила в один лагерь работать вожатой, так перед этим специально интересовалась, даже в горькоме была. Летом действительно никто ничего не делает, прямо безобразие! И это всегда заметно в начале года в младших классах — в третьем, четвертом. Конечно, ребята за лето страшно распускаются, потом их не так просто ввести в рабочий ритм...

— Потому что дураки этим делом занимаются! — воскликнула Таня. — Сажают на пионерскую работу каких-то... не знаю, каких-то прямо схоластов! А потом требуют от ребят пионерской дисциплины. У меня в отряде рассказывали: проводили первый сбор в этом году, пришел какой-то осел и целый час долбил доклад о международном положении. Это четвероклассникам, представляете! На сборе, посвященном началу учебного года!

— Татьяна! — одернула ее Людмила. — Ты за своим языком думаешь, наконец, следить или нет? С ума ты сошла, что ли, — то у нее «дурак», то у нее «осел»...

Таня сердито сверкнула на нее глазами:

— А что я должна — видеть перед собой лопух и называть его розой?

— Дело твое. Но если ты начнешь таким же языком говорить у себя в отряде, то...

— Я всегда говорила и буду говорить именно то, что думаю! — отрезала Таня. — Этому меня учили с того дня, как я надела пионерский галстук!

— Речь идет о твоих выражениях, — помолчав, сказала Людмила. — Только. Понимаешь?

— Хорошо, понимаю... Это и в прошлом году было то же самое — мне девчонки из пятого «А» рассказывали! Как только отрядный сбор, так и начинается проработка решений Десятого пленума ЦК ВЛКСМ или еще чего-нибудь такого же. Ну, все это нужно, я понимаю, но ведь нельзя же только на этом строить всю пионерскую ра-

боту! А потом удивляются, почему это ребятам скучно на сборах...

— Воображаю, у тебя им будет весело,— ехидно заметил Гнатюк.

— У меня им будет очень весело, можешь быть уверен! Что ты вообще в этом понимаешь, ты, чревоугодник!

— Хорошо сказано,— подмигнул Сашка Лихтенфельд.— Выражаясь языком великого ибн Хоттаба, ты могла бы еще добавить: «Сын греха, гнусный бурдюк, набитый злословием и яблоками, да покарает аллах твое нечестивое потомство»...

— Если оно вообще у него будет,— засмеялась Таня.— Ну скажите, девочки, кому нужен муж-чревоугодник?

— Жене-чревоугоднице,— подсказал Володя.

— Вот разве что!

— ...но у поэта сказано,— продолжал он, подняв палец,— «души, созданные друг для друга, соединяются — увь! — так редко». А это значит, пан Гнатюк, что твое дело труба! Ничего, мы с тобой организуем потрясающую холостяцкую коммуну, я ведь тоже не собираюсь...

— Володя! Чьи это стихи ты прочитал? — спросила Таня.

— Не знаю, кого-то из старых.

— А как они начинаются? «По озеру вечерний ветер бродит, целуя ошастливленную воду» — так?

— Правильно. А ты откуда знаешь?

— А я тоже их читала, только не знаю чьи,— они были переписаны от руки, в тетрадке. Красивые, правда?

— Только и думаешь о поделуях, пожирательница,— лениво сказал Гнатюк, встав и потягиваясь.— Ну что ж, айда еще искупаемся? Уже, верно, часа три, как раз будет время обсоднуть...

В небе снова проревело звено истребителей. Сделав широкий круг, они сразу забрали круто вверх и ушли из виду, словно растворившись в синеве. Все проводили их взглядом.

— Маневренные «ишачки», — одобрительно сказал Глушко.— А вот со скоростью у них неважно...

— Вам об этом уже докладывали, товарищ генеральный конструктор? — почтительно осведомилась Людмила.

— Чего докладывали... Это любой летчик знает: машина старая, не засекреченная. Мы еще в Испании на И-16 дрались.

— Сколько он выжимает? — спросил Сергей.

— Что-то около четырехсот пятидесяти. Читал в «Комсомолке»? Американская фирма «Локхид» выпустила новый перехватчик, максимальная — восемьсот. Класс, а?

— Брехня, наверное. Английский «спитфайр» считается лучшим истребителем в мире, а он больше шестисот не дает.

— Значит, уже не лучший, — сказал Володя. — Возьми почитай сам, если не веришь, недели три назад была заметка. Идешь в воду?

— Немного погоды.

Все ушли, кроме Сергея и Тани. Уже в воде Гнатюк обернулся и крикнул:

— А может, искупаемся, людоедка? «Товарищ физрук, что там у меня с креплением, пожалуйста...»

Таня, стоя на коленях, подобрала яблочную кочерыжку и неожиданно метко запустила в Гнатюка, попав ему прямо между лопаток. Выполнив этот акт мести, она покосилась на Сергея и тихонько вздохнула. Тот, не замечая ее, щурился на узорчатую крону ближнего дуба, уже тронутую желтизной и словно вчеканенную в бледно-голубую эмаль неба.

— Пойдем поищем желудей? — предложила она несмело. — Иногда попадаются такие крупные...

Сергей движением плеч дал понять, что желуды ему теперь ни к чему, даже самые первосортные. Потом он отказался от предложенного Таней яблока, несмотря на то что она долго выбирала его и до блеска начистила собственным шарфиком. Таня совсем пала духом.

— Сережа, ты на меня сердишься, — сказала она, отважившись подсесть ближе. — Правда? Но ведь я тогда вовсе никого не соблазняла, честное слово... Правда, я попросила физрука исправить крепление, но просто было очень холодно и у меня озябли пальцы. Разве это называется соблазнять?

— Я не знаю, что называется соблазнять, — ответил он, не глядя на нее. — Никогда этим не занимался.

— Но ведь я тоже не занималась, Сережа! — умоляюще воскликнула Таня. — Я тебе клянусь, что я никогда никого не соблазняла, и я совершенно не знаю, как это делается! Ведь я же не виновата, что этот физрук вдруг почему-то решил за мной немножко ухаживать, хотя он совершенно ничего такого не говорил и... и вообще. А разве я виновата, что новозмиевский комсорг тоже решил вдруг объясниться мне в любви...

— А, еще и новозмиевский комсорг, — со зловещим спо-

койствием кивнул Сергей.— Может быть, и еще кто-нибудь? Какой-нибудь техрук? Или худрук?

— Никакой не худрук! — уже почти со слезами возразила Таня.— А Игорь Бондаренко! Я ему еще чуть по физиономии не дала, а он тогда обозлился и нарочно выдумал это дурацкое прозвище... а я никого не соблазняла! Я не умею соблазнять и никогда не умела, я только читала в книгах — этим занимаются всякие непристойные особы. Ты, значит, думаешь, что я могу вести себя как непристойная особа, да? Скажи прямо — все равно я вижу, что ты меня уже ни капельки не любишь!

— Я просто не могу слушать, когда тебя — понимаешь, тебя! — начинают высмеивать и называть всякими прозвищами... Я не говорю, что ты вела себя как-нибудь... ну, как-нибудь не так, как нужно! Но ты должна вести себя так, чтобы никому и в голову не могло прийти зубоскалить на твой счет! Почему никто никогда и не подумает сказать такое Земцевой?

— Потому что Люся лучше меня, вот почему, — всхлинула Таня.— Я не понимаю, почему ты влюбился в меня, а не в нее!

— Вот влюбился!

— Вот и не нужно было!

— Тебя не спросил! Это мое дело, в кого влюбляться!

— А меня это не касается, правда?!

— А если тебя это касается, то меня касается твое поведение! Ты и сегодня целый час просидела в воде с Косыгиным и Гнатыком!

— Мы играли в мяч. Не хватает, чтобы ты начал ревновать меня к Гнатыку!

— Я вообще не ревную! Я комсомолец, а не феодал какой-нибудь, чтобы ревновать...

— Вот ты и есть самый настоящий феодал! — крикнула Таня уже сквозь слезы.— Ты с удовольствием запер бы меня в башню, я знаю!

— Ты только не плачь,— сказал Сергей,— вовсе я тебя не собираюсь запираť ни в какую башню... но слушать такую вот трепню на твой счет — не могу я этого!

С минуту он сидел отвернувшись, не глядя на Таню. Та не поднимала головы. Наконец Сергей обернулся и спросил уже другим тоном:

— Ты что, обиделась на меня?.. Ну, Танюша... — Он протянул руку и осторожно погладил ее по плечу.— Я ведь не хотел тебя обидеть, честное слово... Просто я так тебя люблю, понимаешь, что мне такие вот разговоры про тебя — это как ножом по сердцу...

Из дневника Людмилы Земцевой

3.X.40.

Новости сегодня «совершенно потрясающие», как говорит В. Г. В газетах опубликован указ о создании государственных трудовых резервов, постановление Совнаркома о призыве (мобилизации) молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения и, наконец, постановление Совнаркома об установлении платности обучения в старших классах средних школ и вузах и об изменении порядка назначения стипендий.

В школе только об этом и говорят. Плага за обучение теперь: в Москве, Ленинграде и республиканских столицах — 400 рублей в год в вузах и 200 в школах (8, 9 и 10 классы). В прочих городах — 300 и 150. А стипендии будут получать только отличники. Бедный С. ходит совсем мрачный, — я его понимаю, ему будет очень трудно. Я спрашивала у Т., на какие средства, собственно, Дежневые живут. Его мама получает алименты на дочь и еще пенсию за погибшего сына, около 300 рублей (45% его средней месячной зарплаты). При теперешней дороговизне это очень мало, их ведь трое, а С. своими уроками почти ничего не зарабатывает. Я знаю по себе: мама получает в общей сложности почти две тысячи, и у нас все равно никогда нет свободных денег.

6.X.40

Вчера вышел приказ № 1 Главного управления трудовых резервов: о распределении контингентов призываемых по областям. На нашу область падает 15 тысяч — 7000 человек в ремесленные училища, 700 в железнодорожные и 7300 в школы фабрично-заводского обучения. Все гадают — кто попадет в число тех «пятнадцатитысячников». Впрочем, призывать будут, кажется, гл. обр. шести- и семиклассников. Девочек тоже!

Вечером мы с Сергеем и Володей были у Николаевых. Таня начала говорить, что это жестоко — призывать насильно таких детей, не считаясь с их планами на будущее, и т. д. В конце концов Алекс. Сем. на нее накричал — я еще никогда не видела его таким возмущенным. Он сказал, что нужно же хоть немного понимать, чем это вызвано. Мы живем сейчас как на вулкане, оборонной промышленности нужны миллионные кадры специалистов, и вообще это не идет ни в какое сравнение с тем,

что переживает сейчас молодежь в Западной Европе. Мне от его слов стало жутко. Я действительно до сих пор просто и не подумала, что эта мера вызвана подготовкой к войне, и вообще совершенно не думала о том, что война может захватить и нас. Теперь я понимаю, почему Т. говорила тогда о «перекрестке» и что именно она имела в виду. Неужели этот кошмар и в самом деле случится?

Вообще все как-то очень грустно. Т. рассказала по секрету, что Сергей почти рассорился с мамой. Таню особенно мучает, что это в какой-то степени из-за нее, я ее очень понимаю.

Как это печально, что человеческое счастье до сих пор зависит от такого количества внешних факторов. Казалось бы, трудно найти более счастливую пару, чем Т. и С. Вернее — пару, более подходящую для того, чтобы быть счастливой. А на самом деле у них все время какие-то трудности! Вчера я смотрела на них и вдруг подумала: ну что, если и в самом деле будет война? Я просто не представляю себе, что будет с Т., если она расстанется с Сергеем. А ведь это может произойти, так же как происходит во время войны с миллионами других любящих друг друга людей. И я тогда почему-то особенно ясно вдруг поняла, что именно при коммунизме — и только при коммунизме — возможно полное человеческое счастье. И в самом деле: в наши дни счастье слишком зависит от внешних общественно-политических факторов — таких, как война, материальные трудности (я не считаю этого главным, но ведь и это тоже часто играет большую роль в жизни человека!), наконец, недостаточная сознательность и отсталые взгляды (пример с мамой С.). В условиях коммунистического общества ничего этого не будет — следовательно, счастье человека будет зависеть только от его личных качеств, т. е. внутреннего фактора. А так как бытие определяет сознание и изменившиеся к лучшему условия жизни не смогут не изменить к лучшему качеств нормального человека, то, следовательно, в условиях коммунистического общества всякий нормальный человек непременно будет счастлив.

Ну вот, написала целый доклад. Нужно будет как-нибудь на комсомольском собрании поставить вопрос о счастье: интересно, все ли думают об этом так, как я?

23.X.40

Присутствовала на одном сборе Таниного отряда. Как это ни странно, у нее действительно явные способности организатора и даже в какой-то степени педагога. Это

выше моего понимания, но факт остается фактом. Дело в том, что четвертый «А» считается трудным классом, и пионерская работа там действительно была невероятно запущена. Собственно, ее вообще не велось. Теперь же — за какой-нибудь месяц — у них даже кривая успеваемости пошла кверху. Класрук четвертого «А» прямо в восторге от Т. и ее методов.

Кстати, об этой самой кривой. График висит на виду у всех, в пионерской комнате; сначала, когда Т. повела меня показывать свое гениальное изобретение, я ничего не поняла — обычная координатная сетка, ось абсцисс разбита на тридцать делений, ось ординат — на семьдесят. Что же оказалось? Наша мудрая Татьяна изобрела формулу подсчета ежедневного коэффициента коллективной успеваемости: оценки от «оч. плохо» до «отлично» переводятся в цифры по пятибалльной системе, суммируются, полученное число делится на количество выставленных в день оценок и результат (он и есть «коэффициент коллективной успеваемости») откладывается на графике по оси ординат. А внизу просто дни. Получается кривая — очень наглядно и убедительно. Занимается этим счетоводством староста вместе с выборной комиссией, и весь четвертый «А» каждый день первым делом мчит в пионерскую комнату посмотреть на график — поднялась или упала вчера красная линия. А с первого ноября они собираются вызвать на соревнование параллельный класс и вычерчивать успеваемость на одной диаграмме двумя линиями разного цвета — красной и синей, на первый раз по жребию, а в дальнейшем красный цвет будет присваиваться победителям предыдущего месяца. Действительно, очень просто и увлекательно!

Кроме того, она ввела новую систему групповых домашних занятий. До сих пор у нас обычно к группе отстающих прикрепляли одного отличника, и из этого мало что получалось; а Т. совершенно правильно учла, что в классе, в общем, меньше отстающих, чем хороших учеников. Поэтому она разбила на группы этих последних и в каждую группу сунула одного отстающего. Вот тебе и Танюшка!

8.XI.40

Вот и праздники прошли. Как всегда — грустно. Я раньше думала, что это только в детстве грустишь, когда кончается праздник. Особенно это всегда было заметно после Нового года и школьной елки.

На демонстрацию я не пошла — болит нога, ушиб-

лась, когда делала предпраздничную уборку (обметала паутину, а стремянка оказалась поломанной, и я загрела).

Мама достала пропуска на трибуну. Жаль, что со мною не было Т. — она так хотела посмотреть танки, но должна была идти в колонне со своим отрядом. Парад был, как всегда, красивый. В Москве и Киеве, очевидно, бывает лучше, но тех мне видеть не приходилось. Видела танки — на первом проехал с большим шумом и громом Александр Семенович, он стоял, высунувшись из башни, и выглядел очень импозантно — в шлеме и громадных черных перчатках с раструбами. Он вообще очень интересный — такое худое волевое лицо и всегда чуть прищуренные глаза, — я, наверное, определенно влюбилась бы в него, будь он моложе. Или я — старше. Во всяком случае, я понимаю, почему при виде военных «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали».

Потом видела и Т., которая очень гордо вышагивала своими длинными ногами во главе второго отряда. Под барабан, вот как! Знаменитый график они воспроизвели на большом транспаранте и несли его с собой, этакие хватушники. А в общем, конечно, молодцы.

С. на демонстрации не был. Кстати о нем. Я догадываюсь, что в семье у Дежневых произошло то, что в наше время становится в какой-то степени типичным для многих семей: дети становятся интеллигентнее своих родителей. Иногда это трудно для обеих сторон. В самом деле, судя по тому, что я знаю через Т., мама Сергея протестует против их любви именно потому, что не способна отделаться от своих нелепых старых представлений о «социальном неравенстве». Разумеется, в ее время действительно трудно было вообразить себе счастливый брак между сыном рабочего и девушкой из офицерской семьи. Но теперь — какая глупость! А она не может этого понять. Она не видит, что С. уже сейчас такой же интеллигентный юноша, как, например, сын ответработника Бондаренко, с той единственной разницей, что И. Б. — начитанный и хорошо одетый пошляк, а С. — человек в полном смысле слова. Он удивительно изменился за последний год. Еще прошлой осенью я обращала Танино внимание на его язык, он за каждым словом говорил какую-нибудь грубость или просто злоупотреблял «блатным» жаргоном. А теперь говорит совершенно нормально, только изредка прорвется вдруг неправильное слово.

В общем нужно сказать, что праздники прошли не очень весело. Мы даже не потанцевали — я из-за своей

поги, а Т. из-за отсутствия С. Вчера вечером она пришла ко мне с Ируськой, и мы втроем сидели как старые девы, пили чай и вспоминали молодость. И. пела наши песни: свою коронную «Ой не свиты, мисяченьку», «Стоит гора высокая» и другие. Я даже заплакала. Какой у нее голос! Мы с Т. уговариваем ее в консерваторию, а она, глупая, еще колеблется. Я бы с таким голосом и ни минуты не думала бы.

15.XI.40

Только что вернулась от Аграновичей — наконец выбралась их навестить, хотя обещала Алексею Аркадьевичу сделать это сразу по возвращении. Откровенно говоря, мне не особенно хотелось к ним идти: я боялась, что они окажутся похожими на остальных бахметьевских знакомых. Оказались очень симпатичными людьми. Борис Исаакович — режиссер драмтеатра, вот откуда мне была знакома их фамилия! Просто я ее постоянно видела на афишах. Очень культурные люди. Масса книг, гл. обр. по искусству. Нужно будет привести к ним Т., ей, наверное, тоже понравится. И обязательно И. — пусть послушают ее голос и хорошенько намылят ей голову. Это просто преступление — зарывать такой талант!

Вчера немцы подвергли страшной бомбардировке один английский город — сейчас нет под рукой газеты, называется что-то вроде Коунтри, по радио звучало приблизительно так. Налет продолжался одиннадцать часов! По немецким сообщениям, зарево от пожаров видно за 200 километров. Страшно думать обо всем этом. Борис Исаакович очень мрачно смотрит на перспективы нашей «дружбы» с Гитлером.

19.XI.40

Бедная Т. потерпела первое серьезное поражение на пионерском фронте. Боюсь, что очень серьезное. После разрушения этого английского города (оказывается, правильное его название — Ковентри) она не нашла ничего лучше, как выпустить со своим отрядом специальный номер стенгазеты. Сама написала передовую статью «Новое преступление воздушных убийц Геринга», поместила в выпуск старую вырезку о бомбардировке Герники, и вся газета вышла под лозунгом «Привет героической борьбе английского народа» — по-русски и по-английски, английский текст написал Глушко (у него новая мания — английский язык; занимается по системе «Лингафон», выписал себе набор пластинок и целыми днями шипит и бор-

мочет, как одержимый). Газету вывесили утром, и, к несчастью, Кривошеина целый день не было в школе — заметить он сразу, все это было бы проще. А так газета провисела с этим лозунгом целый день. Вечером он вернулся и пришел в ужас. Выпуск сняли немедленно, а Т. была вызвана к нему в кабинет и получила такой нагоняй, что до сих пор не может опомниться.

Конечно, виноваты мы все. Во-первых, этот дурень В. должен был не хвастаться своими английскими познаниями, а сказать Т., что такого писать нельзя ни в коем случае; а во-вторых, ни я, ни С. тоже не обратили никакого внимания — словно затмение какое-то на нас нашло. Господи, как глупо! Хоть бы эта история не вышла из стен школы. Боюсь, что может выйти — слишком уж долго висел этот злосчастный выпуск на глазах у всех.

27.XI.40

Выпал снег. История с «английским выпуском», кажется, сошла на нет. Во всяком случае, никаких ощутимых последствий пока не было, и Т. по-прежнему возитя со своим отрядом — в свободное от занятий и любви время. Удивительно все же, как она ухитряется успевать и с тем и с другим! Я обычно считала, что она совершенно не умеет организовать свое время.

Я сказала об этом маме — она ведь всегда была о Т. невысокого мнения. Мама сначала отнеслась к этому скептически, но факты — вещь упрямая: Т. и учится хорошо, и с пионерами работает, и еще выкраивает время встречаться с С. Наконец мама вынуждена была признать, что любовь является иногда неплохим стимулятором, и, значит, Т. просто нашла, как говорится, свое место в жизни и любит по-настоящему. Вот уж действительно открытие Америки!

А в общем, я за Т. боюсь. Боюсь, что она еще наделает глупостей. Недавно были с ней у Аграновичей, а там, как назло, оказался один гость, их знакомый из Москвы, тоже еврей, который недавно разговаривал с беженцем из оккупированной Польши. Немцы совершают там страшные зверства над евреями, — он рассказывал такие вещи, что волосы дыбом становятся и просто как-то не веришь. Но Т. верит всему, может быть, она, к несчастью, и права. Когда мы вышли, она сказала мне: «Ты все слышала? Так вот запомни! А мне еще говорят, что я не имею права вести в отряде антифашистскую пропаганду!» Я долго объясняла ей особенности сложившейся в связи с пактом ситуации, но Т., когда речь за-

ходит о фашистах, становится просто неменяемой. Не знаю, чем это все кончится.

Видели новый фильм «Музыкальная история», с Лемешевым и Зоей Федоровой. Сюжет — ничего особенного, а музыка хорошая.

4

— ...Тореадор, смелее в бой... ту-ру-ру-ру... смелее в бой... Ну что ж, придется двинуть фланг?

— Вон вы куда...

— А ты, брат, как думал... тореадор, ту-ру-ру-ру... Кури, Сергей, все равно проветрим.

— Спасибо, Александр Семеныч, накурился уже... Ладно, я вот так...

— Не торопись — открываешь королеву.

— Ух, черт! Тогда сюда.

— Это дело другое. Тореадор... тореадор... Это дело другое. Хитер, брат, ну и хитер... ту-ру-ру-ру, смелее в бой...

— Александр Семеныч...

— М-м?

— Как вы думаете, немцы все-таки высадятся в Англии?

— Кто ж зимой-то высаживается, чужак-человек...

— Нет, а на тот год? Зимой-то, факт, не высадятся.

— На тот год? До того года еще, брат, сколько воды утечет... не до самого года, конечно, — до года две недели осталось, а до оперативного сезона... мм-да. Я пошел, прощайся со своим слоном. Что-то наша общественница задерживается...

Сергей глянул на часы, вздохнул и углубился в обдумывание хода. Полковник опять замурлыкал своего «Тореадора».

— Куда-то вы меня загнали, — покачал головой Сергей. — Не везет мне сегодня... Прошлый-то раз я у вас хоть одну выиграл...

— А ты раньше времени рук не поднимай, воевать нужно со злостью. И поменьше отвлекаться. А то ты вот планировал вторжение в Англию, а собственного слона прозевал.

— Тая к шести обещала вернуться?

— Ну, знаешь, Татьянины обещания... ого, решил, значит, идти напролом. Так, так... А что, собственно, у нее за дела сегодня такие?

— Да она собиралась идти со своим отрядом на лыжную базу.

— Ах, так... девица на полевых тактических занятиях... Сергей, ты невнимательно играешь, получай за это шах.

— Ух ты... Как же это я... Александр Семеныч, да это не только шах!

— Разве? Ну, тем хуже для тебя, не лови ворон.

Сергей ошеломленно уставился на доску, с досадой дернул себя за ухо и смешал фигуры.

— Вот так, брат.— Полковник подмигнул ему и встал из-за столика, потягиваясь и сдерживая зевок.— Извини, Сергей, устал я что-то...

— Так я, может, пойду? — смутился Сергей.

— Сиди, сиди. Я ведь отдыхать не собираюсь, мне все равно скоро уходить.

Он взял с буфета чайник и включил его, потом посмотрел на часы.

— Ну, если Татьяна не явится, будем ужинать без нее. Ты как же думаешь планировать теперь свое будущее, а, Сергей?

— Да как, Александр Семеныч, что тут особенно планировать... Решил я идти в вуз сразу, не откладывая. На вечернее отделение, если удастся. Ну, и работать.

— М-да... Это трудно, Сергей.

— Знаю,— отозвался тот.— Все оно трудно, Александр Семеныч... Мамаша моя говорит, что жизнь, мол, прожить — не поле перейти... Я вот подумал недавно: а ведь как верно! Такие кругом трудности, ну куда ни глянь... а может, скучно было бы жить без этого, кто его знает. Я вот, когда думаю о том, как придется в вузе учиться и работать, так мне даже как-то невтерпеж становится — скорее бы...

Полковник прошелся по комнате и сел на диван, зябко сунув руки в карманы и положив ногу на ногу.

— Да,— сказал он,— в трудностях есть своя... э-э-э... привлекательная сторона. Тем более в твоем возрасте. В какой институт ты думаешь идти?

— Думаю — в Ленинградский электротехнический. Мне наш Арх... ну, преподаватель физики — он сам там учился — советует поступать именно туда. Знаменитый, говорит, институт, старый. Между прочим, там до революции директором был Попов, изобретатель радио.

— Вот как,— сказал полковник, разглядывая блестящий носок своего сапога.— Значит, ты хочешь именно в Ленинград...

— Да. У меня там и друг учится, на первом курсе кораблестроительного.

Полковник кивнул:

— Теперь-то я начинаю понимать, почему это Татьяна последнее время все пытается меня убедить, что лучше Ленинградского университета нет в мире.

— Ну да,— смутился Сергей,— она, Таня то есть, она действительно думает поступать в Ленинградский, на фил-фак...

— Ну, еще бы. Было бы странно, если бы она теперь думала поступать куда-нибудь... э-э-э... в Казанский.

Сергей совсем побагровел.

— Плохо, брат, твое дело,— сочувственно сказал полковник.— Но от такой оказии, как говорится, не застрахован никто.

— Александр Семеныч! — Сергей собрался с духом.— Я вот как раз насчет этого хотел с вами поговорить...

— Со мной? Давай, брат, я слушаю.

— Понимаете, Александр Семеныч... мы с Таней решили, что нам пужно пожениться.

Полковник высоко задрал левую бровь.

— Вот как,— сказал он после недолгого молчания.— Надеюсь, не завтра?

— Нет, что вы,— заторопился Сергей,— потом, уже в Ленинграде, когда поступим...

— Не закончив образования?

— Нет, почему, среднее-то у нас уже будет!

— Разумеется. Разумеется. И ты считаешь, что среднего образования достаточно, чтобы обзавестись семьей?

— Так при чем это, Александр Семеныч? — тихо спросил Сергей.— Для этого не образование нужно, а...

— Любовь, ты хочешь сказать? Правильно, Сергей, любовь, разумеется, главное. Но я тебе скажу откровенно: мне не думается, что в вашем с Татьяной возрасте любовь может быть настолько уже зрелой и... э-э-э... серьезной, что ли, чтобы на таком фундаменте строить семью. Не знаю, брат, не знаю... Я вот помню себя в реальном училище... Ну, все мы увлекались в старших классах, благо женская гимназия была рядом, и думали, конечно, что эта любовь — самая настоящая и до гроба. А теперь смешно вспомнить. Да что теперь! — через два уже года все эти гимназические романы были наглухо позабыты. Так что я просто не советовал бы ни тебе, ни Татьяне торопиться с таким важным делом. Дело ведь очень важное, Сергей, ты об этом не забывай.

— Вы не знаете, насколько это серьезно... у нас с Таней,— глухо сказал Сергей, глядя в сторону.— Это только словами не расскажешь, а если бы...

В прихожей металлически щелкнул замок.

— Вот и Татьяна.— Полковник встал и посмотрел на Сергея, как тому показалось — немного растерянно.— Сергей, я тебя попрошу — не будем пока продолжать при ней этот разговор...

Робко вошла Таня в лыжном костюме, поправляя прямые шапкой волосы и держа у глаза платок.

— Что еще случилось? — строго спросил полковник.

Таня улыбнулась Сергею, потом дядьке.

— Ничего, Дядяша, не пугайся... может, будет немножко синяк, я не знаю: я заходила к Людмиле, она что-то прикладывала...

Она отняла платок — на скуле, под самым глазом, действительно намечался уже основательный синяк.

— Кто тебя? — вскочил Сергей.

— Ой, это снежком — мы проводили военные занятия, просто снежком. Ничего страшного, уже совсем не болит, правда... Дядяша, я купила пудру — нарочно для этого, — достать, пожалуйста, она осталась в кармане куртки...

— Черт знает что! А еще собирается... — не договорив, полковник возмущенно крикнул и вышел из комнаты.

— Страшно по тебе соскучилась — целуй скорее, — шепнула Таня, подставляя ушибленное место.— Давно сидишь?

— С пяти. Действительно не болит?

— Болит, конечно... еще раз, пожалуйста...

Сергей едва успел выполнить просьбу, как вошел полковник.

— Татьяна, мне нужно уходить, так что поторопись с чаем.

— Сейчас, Дядяша!

С помощью пудры синяк был приведен в более пристойный вид. Таня переделалась, быстро накрыла на стол.

— Дядяша, объясни мне такую вещь! Что, в конце концов, мы должны говорить пионерам по поводу наших отношений с немцами? — спросила она, разливая чай.— Получается ведь какая-то нелепость: с одной стороны, фашисты есть фашисты, ребятам это внушали с первого класса. А с другой — Гитлера теперь и обругать нельзяшний раз, потому что тебя сразу ущучат. Мне за эту стенгазету несчастную так влетело...

— Мало влетело, если ты до сих пор ничего не поняла,— полковник пожал плечами.— Неужели так трудно разобраться в обстановке? Неужели так трудно найти в этих условиях правильную линию поведения? Фашизм

остаётся наиболее враждебной нам политической системой и наиболее вероятным нашим противником в будущей войне. Вернее, в той войне, которая уже идет. Но твердить об этом сейчас, когда мы в силу обстоятельств вынуждены были заключить с Германией пакт, твердить об этом сейчас было бы глупо и... нетактично. Есть вещи которые всем понятны, но о которых все же принято умалчивать. Точнее, их принято не касаться...

— Все это я прекрасно знаю,— возразила Таня.— Но это все теория, она всегда легче всего. А вот на практике, когда сталкиваешься с тем, что ребята не понимают — враг нам Германия или союзник...

— Ну, это уж тыхватила,— сказал Сергей.— Не такие уж они дураки, эти твои ребята.

— А вот представь себе! Да и чего ты от них хочешь, если сейчас в газетах чаще ругают Англию, чем Германию... невольно такое впечатление и создается. Я все-таки считаю, что никакие временные обстоятельства не должны оправдывать прекращения антифашистской пропаганды среди пионеров. Именно среди них. Ты понимаешь — нас-то уже пропагандировать нечего, вообще всех старших. А пионерам, особенно младших возрастов, нужно, наоборот, твердить об этом как можно чаще...

— Ты дотвердишься,— со зловещим спокойствием сказал полковник.— Я вообще советовал бы тебе отказаться от своего отряда, пока ты там не натворила дел.

— Ну уж нет!

— Ну, как знаешь.— Полковник допил стакан и встал из-за стола.— Может быть, тебе требуется еще одна хорошая взбучка, не спорю. Так я вас покину, Сергей...

Когда полковник ушел, Таня пересела поближе к Сергею.

— Дядяшапа сегодня бьет себя хвостом по ребрам. С чего бы это?

— Бьет чем? — не понял Сергей.

— Господи, хвостом. Как тигр, понимаешь? Это я так говорю, когда он сердится. Вы с ним не поспорили о чем-нибудь?

— Да нет, я... я, знаешь, говорил с ним..

— О чем? Не о Финляндии? Дядяшапа не любит, когда его расспрашивают про Финляндию.

— Да нет, я... я говорил о наших делах. О том, что мы с тобой решили.

— Ты с ума сошел! — Таня сделала большие, испуганные глаза.— Сережа, ты просто сошел с ума: я ведь столько раз говорила тебе, что сама скажу это Дядесаше...

— Вот именно — столько раз! Ты уже полтора месяца собираешься!

— Ну так что же, просто я боялась. Ты думаешь, это так просто...

— Факт, что не просто. Поэтому я и решил поговорить сам, не сваливая это на тебя.

Таня вздохнула и замолчала, не решаясь спросить, чем же кончился разговор. Молчал и Сергей, машинально помешивая давно остывший чай.

— Господи, ну что ты как язык проглотил! — вспыхнула наконец Таня. — Не можешь сказать, что ли! Что ответил Дядясаша?

— Да что... — Сергей неопределенно пожал плечами. — В общем, знаешь, ничего не ответил. В общем-то он считает, что еще рано. Слишком, дескать, вы оба молоды, чувство еще незрелое, и вообще эти школьные романы скоро забываются...

У Тани глаза наполнились слезами.

— Я так и знала, — сказала она с тихим отчаянием. — У меня было предчувствие, что должно случиться что-то плохое. Только я думала, что это насчет контрольной по украинскому. Сережа, ну как это так получается, что нас никто не понимает из старших? И даже Дядясаша!

— Что ж делать, — отозвался Сергей. — А ты, Танюша, не расстраивайся из-за этого слишком сильно... Конечно, это жаль, что так получается, но... ты понимаешь, мне кажется, расстраиваться из-за этого не стоит. Ну, раньше это действительно было необходимо, без согласия вообще не женились, а теперь что ж...

— Господи, я знаю, что можно жениться без согласия. Мы, например, так, наверное, и поженимся. Но мне это очень тяжело, понимаешь? Твоя мама против, Дядясаша тоже против...

— Он не то чтобы против, — поправил Сергей. — Он просто советует не торопиться...

— Ну да, так всегда говорят, когда не хотят сказать прямо. Ты понимаешь, Сережа, это вот самое обидное, такое непонимание... — Таня громко вскрикнула. — Когда любишь, то хочется, чтобы все вокруг желали тебе счастья и чтобы все поздравляли и радовались вместе с тобой... А получается, что никто и слушать не хочет!

— Да ты успокойся... Ну что ты, в самом деле, а, Танюш...

— Я уже... успокоилась, — дрожащим голосом сообщила Таня. — Просто мне так вдруг стало обидно! Знаешь, Сережа, я вот твою маму совсем не виню, потому

что я понимаю: ей просто страшно за тебя, что я не сумею быть хорошей женой. Я ведь прекрасно знаю, что произвожу на всех несерьезное впечатление...

— Да ну, глупости.

— Ничего не глупости, я знаю! Мать-командирша еще недавно мне сказала, что мой муж — если, мол, я когда-нибудь выйду замуж — так он будет самым несчастным мужем на свете. И вообще пилила меня полдня. А все из-за того, что я молоко поставила и пошла звонить Люсе насчет уроков, а оно убежало. Так что я вовсе не думаю випить твою маму за то, что она меня не любит и что вообще она против. Но почему Дядясаша!

— Может, по этому самому и он, — улыбнулся Сергей. — Пожалуй, я тоже произвожу на него несерьезное впечатление.

— Ну, что ты! Нет, Сережа, здесь это тоже из-за меня, я уж чувствую, — печально сказала Таня. — Просто Дядясаша считает, что я еще щенок. И вообще я уверена, что люди моего возраста для Дядясаши просто не существуют. Они для него как мошकारа. Конечно, разве можно по-настоящему любить в какие-то несчастные семнадцать лет! Вот если бы нам было хотя бы по тридцать — тут Дядясаша не возражал бы, ясно!

— Ну-ну, хватит тебе злиться. — Сергей успокаивающим жестом тронул ее руку.

— Да я и не злюсь, мне просто плакать хочется.

— Ну, поплачь и успокойся.

— А ну тебя! Ты тоже какой-то бессердечный, знаешь.

— Какой же я бессердечный? Просто я не впадаю в панику, а смотрю на вещи более спокойно. Ничего ведь страшного сегодня не случилось, верно? Я, если хочешь знать, и не думал никогда, что Александр Семеныч так с первого захода и согласится. Вот он теперь все это обдумает, взвесит, потом мы еще раз поговорим, уже втроем. Я почему-то думаю, что мы его в конце концов уломаем. Вот мамашу мою — ее труднее...

— Сережа...

— Да?

— А может быть, мне стоило бы поговорить с твоей мамой, как ты думаешь?

— Да ну-у, нет... — Сергей подумал и решительно мотнул головой. — Ничего не выйдет, вы с ней просто общего языка не найдете.

— Глупости ты говоришь, не может этого быть. Как это так — не найдем общего языка?

— А вот так. Нет, Танюша, лучше не пробуй... Я ведь знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет.

— Ну, смотри,— задумчиво сказала Таня.— А мне все-таки кажется...

5

Шибалин прошелся по комнате и, подойдя к висящему возле двери календарю, оторвал листок «25 декабря». Кривошеин искоса взглянул на него и снова опустил голову, покручивая в пальцах забрызганную чернилами линейку. Фигура инструктора, молодцевато затянутая в гимнастерку без петлиц, вызвала в нем приступ внезапного раздражения. «Подыгрывается под комсомольца двадцатых годов, под такого Павку Корчагина,— подумал он.— А что в нем самом комсомольского... типичный аппаратчик...»

— Вообще я должен сказать, что в горкоме организация сорок шестой школы стоит не на высоком счету,— продолжал Шибалин, прочитав текст на обороте листка и смяв его в кулаке.— Распустился ты, товарищ Кривошеин, здорово распустился... нужно смотреть в глаза фактам. Я не уверен, что самокритика у нас на высоте. А что наша печать говорит о самокритике? В беседе с...

— Погоди, Шибалин,— сказал Кривошеин, с трудом удерживая раздражение и неосторожно оборвав готовую прозвучать цитату.— Я хотя и на низовой работе, но знаю все это не хуже тебя. Конкретно, в чем нас обвиняют?

— В расхлябанности комсомольской работы. Ясно? Будем говорить прямо — ваш комитет до сих пор не сделал еще должных выводов из решений Одиннадцатого пленума ЦК ВЛКСМ. А на что делался упор в этих решениях? В этих решениях основной упор делался на усиление...

— ...работы с комсомольским активом, знаю,— опять прервал Кривошеин.— Мне не совсем ясно, Шибалин, что ты понимаешь под «должными выводами». А я тебе скажу, что наша школа дала по успеваемости чуть ли не самые высокие показатели в городе. Не веришь — справься в гороно. Это как, по-твоему, не заслуга комсомольской организации?

Шибалин подошел к столу и, опершись расставленными ладонями на его край, перегнулся к Кривошеину:

— Успеваемость? Я тебе одно скажу: если ты считаешь, что успеваемость можно поднимать за счет комсомольской работы, так это, Кривошеин, здорово порочная

теорийка, от которой пошакивает правым уклоном. Поэтому, выходит так: пускай не ходят на комсомольские собрания, пускай не несут нагрузок, лишь бы учились? Какая же тогда разница между советской школой и старорежимной гимназией, а? Смотри, Кривошеин, кое-кому могут очень не понравиться такие разговорчики!

— Ты меня не так понял,— быстро, примирительным тоном сказал Кривошеин.— Я хотел только сказать, что у нас наблюдаются и положительные явления... Я не отмечаю критику начисто, я и сам вижу недостатки в нашей работе, но нужно же брать факты в их совокупности...

— А что за ералаш у вас делается в пионерской работе? — не слушая его, продолжал Шибалин.— Вожатые меняются чуть ли не каждый месяц, кружков нет, стенгазеты выходят нерегулярно! А когда выходят, получается еще хуже! Что это за история у вас была месяц назад с газетой второго отряда? И почему в горькоме узнают об этом стороной, а не от тебя?

Кривошеин мысленно выругался. Черт, разболтали-таки!

— Да ничего страшного, по существу, не произошло,— сказал он.— Ну, ошиблись немного ребята... вопрос политический, сложный, тут и взрослые комсомольцы не всегда разбираются. Выпустили газету с лозунгом «Привет героическому английскому народу...»

— Не так это было! Не «привет народу», а «привет героической борьбе» — вот как они написали! Как это понимать, Кривошеин? Преступная бойня, затеянная англо-французскими империалистами, объявляется в пионерской стенгазете «героической борьбой»! Не слишком ли далеко это заходит, товарищ комсорг? Ты политический смысл этого выступления понимаешь? Эт-то, знаешь, не просто опечаточка! И нечего делать скидку на то, что это, мол, ребята, что они, мол, запутались и все такое... тут не ребята запутались, а запутался их вожатый! А вместе с ним запутался и ты, который поручил ему отряд! А комсомольская организация контролировала его работу? Или у вас это дело пущено на самотек?

Шибалин возмущенно фыркнул и прошелся по комнате, сунув пальцы за ремень.

— Кто у тебя вожатый во втором отряде? — буркнул он, не останавливаясь.

— Ну, вожатая там замечательная,— бодро сказал Кривошеин.— Такая Николаева Татьяна, племянница Героя Советского Союза полковника Николаева...

— А ты мне полковника не тычь в нос,— грубо отозвался Шибалин.— У нас в партии, когда с тебя стружку снимают, так и на личные заслуги не смотрят... а на дядюшкины и подавно!

— К слову пришлось, вот и сказал,— огрызнулся Кривошеин.

Разговор этот начинал доводить его, что называется, «до ручки».

— У нее и свои заслуги есть, помимо дядюшкиных!

— Вроде того лозунга? — насмешливо прищурился Шибалин.

— Нет, не вроде того лозунга! — крикнул уже вышедший из себя Кривошеин.— Вроде того, что она за два месяца вывела из прорыва отстающий класс! Можешь спросить у класрука четвертого! И вообще я тебе скажу — у нас в школе не много таких вожатых, как Николаева! Знаешь, как она проводит сборы,— ребята в пионерскую комнату идут охотнее, чем в кино. Я понимаю — сейчас она ошиблась. Но заслуги-то у нее есть? Постой, у нас сегодня что, двадцать шестое? — Он листнул настоящий календарь и ударил по нему пальцем.— Идем! Она сегодня проводит сбор, посвященный окончанию второй четверти. Пойдем, постоим у дверей и послушаем. А если ты присутствовал вообще на пионерских сборах, то ты мне сам скажешь, лучше это у нее получается или хуже...

— Идем,— хмуро пожал плечами Шибалин.

Они вышли в коридор, необычно пустой и тихий, ярко освещенный круглыми молочными плафонами, с белыми бюстами мудрецов в простенках. Крутя на пальце ключ от своего кабинета, Кривошеин привычно поглядывал по сторонам — не обнаружится ли где какой беспорядок. Елки точеные, сколько километров истоптано им по этому коридору... нет, а все-таки низовая работа — хорошая вещь! Когда-то он мечтал попасть «наверх», а теперь ни за что не ушел бы отсюда по своей воле. А вот такой Шибалин и дня бы здесь не усидел. Тоже, тип!

У двери пионерской комнаты он остановился.

— Входить не будем, я думаю? Зачем мешать? Я просто хочу, чтобы ты послушал... Настроение сбора чувствуется сразу.

Он осторожно повернул ручку и приоткрыл дверь. Хорошо смазанные петли не скрипнули. В тишину коридора выплеснулся чуть картавый, звенящий от волнения девичий голос:

— ...в Испании, потом они убивали в Польше, убива-

ли во Франции, а сейчас продолжают убивать в Англии — тех же женщин, тех же детей — таких, как ваши мамы и сестры, как вы сами! Смотрите сюда, перепишите с доски эти названия — Герника, Варшава, Роттердам, Ковентри, Лондон, — запомните на всю жизнь имена этих городов, имена преступлений немецкого фашизма — самой страшной из политических систем, которые когда-либо появлялись на земле!..

Кривошеин мысленно схватился за голову. Но закрывать дверь было уже поздно. Черт возьми, дернуло же его явиться сюда с инструктором!

Шибалин рывком обернулся к нему.

— Ну как, доволен? — спросил он зловещим шепотом. — Доигрался? Давай закругляй сбор и приходи к себе — мы будем там...

Распахнув дверь, он вошел в комнату, изобразив на лице широкую улыбку.

— Сидите, ребята, — махнул Кривошеин, когда собрание хором прокричало «Всегда готовы!» в ответ на его приветствие.

— Николаева, это вот товарищ Шибалин, из горкома ЛКСМУ...

По его тону Таня сразу поняла, что случилось что-то нехорошее. Растерянно глянув на Шибалина, она по-мальчишески поклонилась, тряхнув головой. Ответив ей небрежным кивком, тот прошел к столу и сгреб в пачку пожелтевшие газетные вырезки — статьи о фашистских зверствах в Испании — и несколько листков, неровно исписанных круглым полудетским почерком — тезисы ее выступления.

— ...Товарищ Шибалин хочет с тобой поговорить, — продолжал Кривошеин, избегая смотреть ей в глаза, — ты пойдй с ним, я тут сам закончу...

— Хорошо, Леша... А в чем дело?

— Ну, он тебе скажет...

— Готово? — спросил Шибалин, подойдя к ним.

Таня, ничего не понимая, взяла со стола свой портфель. На пороге она обернулась и привычно, по-пионерски, вскинула руку, но на этот раз без надлежащей бодрости.

— Вы что-то хотели мне сказать? — несмело спросила она, тихонько притворив за собою дверь.

— Поговорим в кабинете комсорга, — бросил Шибалин. — Идем!

Таня шла за ним торопливыми шагами, теряясь в предположениях, чем вызван такой резкий тон предста-

вителя горькома. Что она могла сделать? Неужели это из-за того выпуска? Но ведь Леша обещал не давать хода этому делу... Ей стало вдруг очень страшно.

Плотно прикрыв двери кабинета, Шибалин прошел к столу и сел, принявшись раскладывать вырезки. Таня осталась стоять перед столом. От страха она чувствовала неприятную слабость в коленях и ей очень хотелось сесть, но она не решилась сделать это без разрешения сердитого начальства.

Шибалин внимательно просмотрел вырезки, снова собрал их в аккуратную пачечку, положил сверху листки с тезисами и придавил чернильницей. Покончив с этим, он поднял голову и посмотрел на Таню.

— Ну, Николаева? — спросил он тихо, поигрывая пальцами. — С каких это пор ты занимаешься такими делами?

Таня удивленно подняла брови:

— Какими делами? Я вас не понимаю...

— Да ты брось ломаться! — крикнул вдруг Шибалин. — Нечего из себя невинную цацу строить! Вести разлагающую работу в пионерской среде она умеет, а тут вдруг простых вещей не понимает! Ты брось!

— Разлагающую работу... — прошептала Таня ошеломленно, — что вы, товарищ Шибалин... какую же разлагающую работу я веду?

— Какую работу? Вот какую! — Он ткнул пальцем в вырезки. — Дискредитировать в глазах пионеров внешнюю политику Советского правительства — это, по-твоему, не разлагающая работа? Что же это тогда такое? — выкрикнул он еще громче, ударив по столу кулаком. — Что это такое, я тебя спрашиваю?!

— Но, товарищ Шибалин... — Таня шагнула вперед и сделала беспомощный жест. — Товарищ Шибалин, я ведь ничего не дискредитирую, просто некоторые ребята не совсем ясно представляют себе, как мы должны относиться теперь к фашизму, — и я сочла своим долгом — вы же видите, я пользовалась только материалами наших газет... то, что всегда писали о фашистах...

— Когда писали? — продолжал кричать Шибалин. — Когда это все писалось, а? Два года назад? Ты что же, не заметила изменения международной обстановки? Ты чем думаешь, когда выступаешь перед пионерами со своей пропагандой, — головой или седалищем?

Таня вспыхнула, и тотчас же лицо ее побелело.

— Выбирайте выражения, когда вы со мной разговариваете! Вы не на базаре!

— А ты мне не указывай, иначе с тобой в другом месте поговорят! Обидчивая какая! Нужно еще выяснить, по чьей указке ты ведешь в отряде пропаганду в пользу англо-французских империалистов...

Секунду или две Таня смотрела на него, не веря своим ушам.

— Еще бы! — почти спокойно сказала она наконец. — Мне ведь платят в фунтах стерлингов, вы разве не знали? Ну и дурак же вы, товарищ инструктор!

Она взяла со стула портфель, повернулась и вышла из кабинета, грохнув дверь.

На углу она остановилась и застегнула шубку, стараясь дышать глубоко и медленно — чтобы успокоиться. О том, что с ней произошло, она даже не могла думать сколько бы то ни было связно; все это — и брошенное ей в лицо обвинение в разлагающей деятельности, и оскорбления, которым она подверглась, было настолько чудовищным, что просто не укладывалось в привычные рамки реальности. Ей показалось вдруг, что все это сон, страшный и нелепый.

Но нет, все было в действительности — она стояла на знакомом перекрестке возле школы, мороз покалывал щеки, торопились по своим вечерним делам прохожие. На дуге трамвая сверкнула ослепительная фиолетовая вспышка. Зеленый огонь светофора сменился оранжевым, потом красным; две машины, нетерпеливо пофыркивая, затормозили в нескольких метрах от нее. Редкие снежинки кружились в воздухе, словно не решаясь опуститься на землю. Все это было действительностью — и такой же действительностью были еще звеневшие в ее ушах крики Шибалина. Комсомольский руководитель позволил себе оскорбить ее, бросить ей в лицо самое страшное из обвинений, кричать на нее, стуча кулаком, — за что? Только за то, что она хотела воспитывать свой отряд так же, как воспитали ее, — в отвращении к войне, к фашизму, к агрессии...

Она попыталась успокоиться, доказывая себе, что ничего страшного, в сущности, не произошло. Шибалин — просто нервный человек, может быть, у него был трудный день и он устал. Завтра он сам поймет, что был не прав. Не может же он всерьез думать, что... А за «дурака» она перед ним извинится, конечно. Она и сама прекрасно понимает, что не полагается называть дураком работника горкома. Но ведь у нее тоже есть нервы! Конечно, все это просто недоразумение, и оно уладится.

Но потом она вспомнила глаза Шибалина и вдруг по-

пяла: нет, так просто это не уладится. Ею внезапно овладела паника. Что делать? Нужно увидеть Сережу — сейчас же, сию минуту!

Не обращая внимания на сигнал светофора, она паисось перебежала улицу перед самым носом взвизгнувшей тормозами машины. Шофер распахнул дверцу и крикнул ей вслед что-то обидное, но она уже подбегала к трамвайной остановке. Трамваи на Старый Форштадт ходили редко, и она простояла минут пятнадцать, кусая губы и затравленно оглядываясь в поисках зеленого огонька такси. Наконец показался «Д»; вагон еще двигался, когда Таня вскочила на заднюю площадку.

— До Челюскинской я на этом доеду? — задыхаясь, спросила она у кондукторши, выгребая из кармана мелочь.

— Доедешь, коли без ног не останешься, — сердито ответила та. — Учат их, учат... а еще барышня! Заворотить бы тебе юбочку да по круглому-то месту, чтобы на ходу не сигала...

Трамвай шел медленно. Таня стояла в углу площадки, стиснув пальцами медный холодный прут. Проскобленная пятяком лунка то и дело запотевала от ее дыхания и подергивалась игольчатым ледком, и она снова протирала стекло варежкой. Высокие дома сменились одноэтажными, желтели сугробы под тусклыми фонарями, потянулись глухие дощатые заборы. «Следующая — Челюскинская», — лениво выкликнула наконец кондукторша.

Добежав до знакомого приземистого домика, Таня отчаянно забарабанила в ставню, потом толкнула калитку и поднялась на крылечко. Сергей остолбенел, увидев ее.

— Танюша! — воскликнул он испуганно. — Ты что?

Он вошел в комнату вслед за ней, торопливо вытирая руки посудным полотенцем. Тазик с горячей водой и только что вымытые тарелки стояли на столе — Сергей хозяйничал.

— Сережа... — Таня уронила портфель и судорожно уцепилась за его плечи. — Сережа, у меня такое несчастье!

Сергей испугался так, как не пугался еще никогда в жизни.

— С Александром Семенычем что-нибудь? — шепнул он одним дыханием.

— Нет, — всхлипнула Таня, — это со мной... Сережа, меня, наверно, исключат теперь из комсомола...

— А-а...

Он осторожно снял ее меховую шапочку и, погладив по голове, начал расстегивать шубку.

— Ничего, Танюша... не волнуйся, сейчас все расскажешь. Ты раздевайся, здесь жарко. Знаешь что, ты полежи пока у меня в комнате, отдохни, я тут сейчас уберу. Полежи в темноте, это хорошо успокаивает. Сейчас я тебе воды дам, погоди...

Он уложил ее на свою койку, выключил свет и, прикрыв двери, быстро покончил с хозяйственными делами.

— Ну вот, — сказал он нарочито беззаботным тоном, вернувшись к Тани и присаживаясь на край койки, — я свое задание выполнил. Мамаша, понимаешь, с Зинкой ушли к дядьке на именины, а я не захотел, так они на меня хозяйство свалили. Ну, так рассказывай, что там с тобой стряслось. Я света не зажигаю, ладно?

Таня начала рассказывать прерывающимся голосом. Сергей слушал угрюмо, опустив голову, пальцем приглаживая на колене отпоровшуюся заплатку.

— ...и тогда я его назвала дураком и ушла. Конечно, я не должна была этого делать! Но как можно стерпеть, когда тебе в лицо говорят такую вещь! И за что, что я такого сделала? Я ведь все, буквально все делала, чтобы отряд стал лучшим в школе. — Голос ее дрогнул, Сергей успокаивающе погладил ее по руке. — А теперь... теперь меня обвиняют чуть ли не в измене!

— Ты успокойся, Танюша. Ничего страшного не будет...

— Я не за себя даже, пойми ты! Конечно, мне и за себя обидно — ведь если бы я действительно сделала что-нибудь плохое! Я ведь вовсе не дискредитировала... никакую внешнюю политику... — Подступившее рыдание помешало ей говорить, потом она справилась с собой и продолжала сдавленным голосом: — Самое страшное — я не понимаю, как могут быть такие люди среди комсомольских руководителей! И как вообще может быть такое... ведь это страшно, Сережа! Дома тебя учат, что врать нехорошо, потом ты идешь в школу, поступаешь в пионеры, и тебя начинают учить товариществу, чтобы любить свободу, чтобы всегда быть готовой к борьбе за освобождение всех угнетенных, чтобы быть честной, смелой — ну, настоящей коммунисткой, — а потом ты вырастаешь и вдруг сталкиваешься с такими вещами! Как это все можно совместить? И как жить можно после этого, Сережа, пойми!

— Ну, Танюша... Ты ужхватила! Если все принимать так близко к сердцу...

— А ты хочешь, чтобы я, комсомолка, была к этому равнодушна? И не потому, что это меня касается! А вообще! Равнодушный человек — это хуже всего, это хуже всякого врага, если хочешь знать. Я не для этого поступала в комсомол!

— Ты успокойся, Танюша. Не думай пока об этом, отдохни... Подумаем завтра. Посоветуешься дома с Александром Семенычем...

— Что мне Дядяша может сказать... Он только ругать меня начнет. Он мне всегда твердит: если ты вступила в организацию, то должна прежде всего подчиняться дисциплине...

Таня замолчала. Молчал и Сергей. Что он мог ей сказать?

Свет из приоткрытой двери падал только на заваленный книгами стол, комнатка оставалась в полутьме, Танино лицо сливалось с подушкой — выделялись лишь более темные волосы и широко открытые глаза.

— Танюша, чуть подвинься, — шепнул Сергей.

Она отодвинулась к самой стене, он осторожно прилег на край койки, просунув руку под Танины плечи. Койка была узкая, подушка — совсем маленькая, «думка»; они лежали тесно, бок о бок, и он слышал запах ее волос, самый родной на свете, чуть отдающий свежестью туалетного мыла. В соседней комнате посвистывал на плите чайник и громко, с резким металлическим звоном, тикали ходики.

— Если хочешь знать, — сказал Сергей после долгого молчания, — еще неизвестно, что представляет собой этот тип... Я-то не смотрю на жизнь так, как ты, всякого уже навидался, но таких я в комсомоле все-таки не видел.

— Так это вообще никакой не комсомолец, — горячо подхватила Таня, повернув к нему голову. — Для меня это ясно, Сережа! Но почему другие этого не видят? Как может такой работать в комсомольском аппарате? Ведь он же инструктор горкома, ты подумай!

— М-да...

Звонко роняя секунды, текло время. Двое молчали и не шевелились, лежа рядом на узкой неудобной койке, — так могут отдыхать супруги после трудового дня, влюбленные после объятий или солдаты на случайном ночлеге в канун боя.

— А что же теперь будет со мной? — тихо спросила Таня, и в голосе ее опять промелькнул страх. — Ты дума-

ешь, меня могут исключить... даже если я перед ним извинюсь?

— Ты не должна извиняться перед ним, пусть сначала он извинится.

— Ну разумеется...

— А насчет исключения — не думаю. Вызовут на комитет, расскажешь все, как было... В комитете у нас ребята хорошие, они поймут. Ну запишут выговор для порядка.

— Для порядка... Какой же это порядок, Сережа?

— Какой есть...

Да, она лежала здесь рядом с ним, как может лежать жена, подруга и соратница, лежала так близко, что он, не шевелясь, ощущал ее плечо, руку, легкий изгиб бедра; и это ощущение доверчиво прижавшегося к нему тела наполняло Сергея непривычным и грозным сознанием ответственности. Да, теперь это так — на каждом шагу и до конца жизни...

Привстав на локте, он в полутьме заглянул в ее глаза, словно желая еще в чем-то удостовериться, и коснулся губами ее щеки. Потом поднялся, осторожно высвободил руку. Часы показывали одиннадцать. Сергей заслонил ладонью Танины глаза и включил свет.

— Пора, Танюша. Трамваи у нас сейчас ходят только до полдвенадцатого, как раз захватим последний...

6

Из дневника Людмилы Земцовой

28.XII.40.

Разбор Таниного дела назначен на понедельник. Трудно предсказать, чем это кончится. Если Ш. вел себя безобразно, то Т., к сожалению, попросту глупо. И в отряде вообще, и при разговоре с Ш. Не знаю, впрочем, как бы я повела себя на ее месте. Страшно все это неприятно. И еще в канун Нового года. Вот уж подарок!

30.XII.40

Только что вернулась с заседания комитета. Все прошло как-то странно. Присутствовал сам Ш. — очевидно, в качестве прокурора. Это уже неправильно само по себе. Выступление свое он провел в совершенно погромном тоне; я еще никогда не слышала, чтобы на комитете так говорили о комсомолке. Можно подумать, что Т. действи-

тельно учила своих пионеров не верить Советской власти и вообще проповедовала контрреволюцию!

Т., к моему приятному удивлению, выступила лучше, чем мы с С. ожидали. Ошибку свою она признала (вернее, не ошибку, а ошибки: самоуправство, анархические методы в работе и прочие смертные грехи), по объяснила тем, что вообще не может оставаться спокойной и рассудительной, когда речь идет о фашистах. Потом она использовала свое главное оружие, напомнив комитету о том, что за два неполных месяца вывела четвертый «А» из прорыва и сделала его одним из лучших классов в школе. Все это смягчило впечатление от слов Ш. и вообще как-то их затерло. Он тогда выступил еще раз и очень кричал на Т., называя ее демагогом, спекулирующим на антифашистских настроениях, разлагательницей и уклонисткой. Счастье Т., что слишком уж он перехватил в своих нападках и тем самым сделал их малоубедительными в глазах комитета. Будь он умнее, он мог бы, используя Танины ошибки, добиться более сурового наказания. В общем, ей записали выговор и отстранили от пионерской работы.

А Шибалиным все возмущены. Мы с ребятами решили пойти в горком и поговорить там относительно его методов. Не знаю, когда лучше это сделать. Очевидно, после каникул — сейчас там будет запарка, а поговорить нужно обстоятельно.

1.1.41

Итак, еще один Новый год — последний в «школьном состоянии». Тысяча девятьсот сорок первый! Господи, как летит время. Сегодня я перечитывала старые тетради своего дневника и изумлялась собственной глупости. А ведь в то время это не замечалось! Обидно думать, что так будет продолжаться и впредь: каждый год будешь перечитывать старые записи и думать: «Какая же я была глупая!» Иными словами, человек глуп все время. Как говорила Трофимовна, «учись, учись, а дураком помрешь». Веселенькая сентенция!

Встречали у нас — только молодежь, обычный наш кружок. Мама в Москве на совещании, а Алекс. Сем. тоже куда-то выехал на несколько дней. Было весело. Даже гадали по рецептам Пушкина и Жуковского, но так ничего и не поняли.

А в общем интересно! Такой переломный для всех нас год. «Перекресток», как говорит Танюша. Последние месяцы школы, переезд в другие города, университет. Та-

нюша выйдет замуж — это известно даже без помощи ярого воска, двух зеркал и прочего колдовского инвентаря. Я поступлю на физико-математический и начну медленно, но верно превращаться в мамин идеал — ученую женщину. Господи, я даже сейчас вдруг всплакнула. Вот дура-то. Кончается юность — самое лучшее, может быть, время жизни. Здесь я могу быть совершенно откровенна. Не знаю вообще, нужно ли этого стыдиться. Я так завидую Танюше! И не только ей. Ира сидела за столом рядом со своим Мишкой — видно, что она влюблена даже в его очки, так же, как и он в нее. Через три месяца мне будет восемнадцать, а меня еще никто не любил. Впрочем, я тоже не любила — не знаю только, можно ли назвать это утешением. Очевидно, сказывается мамино воспитание — «никаких эмоций»... Что это у меня сегодня глаза на мокром месте?

7.1.41

Были с Т. в театре, на «Отелло». Как раз в прошлом году мы видели его в другой постановке — приезжала труппа из Д-ска, — и сразу заметна разница. Агранович ставит куда тоньше и глубже. Там Яго был просто обычный вульгарный интриган и негодяй, а у Агр. он даже приобретает какое-то величие — величие зла, разумеется. Это фигура трагическая по преимуществу. Настоящий макиавеллист, типичный продукт эпохи Борджиа. Чувствуется, что он сам не всегда волен в своих поступках, что Зло (именно с большой буквы) овладело им и лишило свободы выбора. Не знаю, конечно, это ли имел в виду сам Шекспир, но, во всяком случае, такая трактовка оригинальна и интересна. Ведь такие авторы тем и велики, что созданные ими образы по-новому понимаются каждым новым поколением, будят какие-то мысли, толкают на поиски. В конце концов, и Дон-Кихот в разные эпохи понимался по-разному.

Т. меня насмешила. Весь четвертый акт она, как обычно, проплакала (на нас даже оглядывались), а потом в антракте говорит мне: «У меня теперь тоже есть свой мавр, ничуть не хуже. Какой он мне вчера устроил скандал! Заехал Виген — просто взять какую-то Дядисашину книгу, — а потом уходит и в подъезде встречается с Сережей. А я не знала, что они встретились. Сережа пришел, а у меня, как назло, лежит на столе тот блокнотик, серебряный, что мне подарил Виген. Я ведь им не пользуюсь, ты сама знаешь! Ну, просто лежал. Сережа спросил, что это, я ему сказала, что это подарок Вигена, а он,

видимо, почему-то сопоставил это с его визитом. Просто мавр какой-то!» Я все эти ее слова записываю почти буквально, по памяти. Комедия, да и только. Он еще когда-нибудь прибудет ее сгоряча.

Мне не нравится, как Таня восприняла решение комитета по ее делу. Виду она не подает, но явно, что в душе переживает очень. Это понятно: не так важна степень наказания, как сознание того, что ты наказана несправедливо и незаслуженно. Кроме того, Т. действительно любила пионерскую работу и отдавалась ей всей душой. Понятно, что все это ее в какой-то степени травмировало. Но плохо, что она приняла сейчас какой-то наплевательский тон — дескать, мне еще и лучше, обойдусь и без этого. И главное, в ней появилась черточка, которой никогда не было раньше, — какая-то неприятная ирония, вроде той, что отличала все бахметьевское общество. Может быть, это у нее и самозащита, не знаю, но такое противоядие скорее отравляет, чем лечит. Я пыталась говорить с ней на эту тему, но она помалкивает или делает невинные глаза. Тяжело это. После каникул сразу же пойдем с ребятами в горком. Я чувствую, что если Ш. получит по рукам, на Таню это сможет подействовать лучше всяких нотаций. Плохо, что она, по-видимому, в какой-то степени отождествляет его с руководством вообще.

18.1.41

Непрерывные налеты на Англию. Бомбят гл. обр. Лондон и некоторые портовые города — Бристоль и др. Зимой это должно быть, по-моему, как-то особенно страшно. Вдобавок ко всем ужасам еще и холод.

У нас тоже морозы. Ввели дополнительный урок военного дела — изучаем ПВО и системы стрелкового оружия. Не могу сказать, чтобы меня это очень интересовало, хотя понимаю, что нужно. Зато Татьяна, разумеется, в полном восторге. Как это ее угораздило родиться девочкой!

О ребятах и говорить не приходится. Занимаемся мы этим на последнем уроке, но уже после большой перемены все думают и говорят только о винтовках и прочей гадости. Оружие я не люблю, да и кто может его любить, если подходить к этому вопросу серьезно. Знаешь ведь, что это все для войны. Кстати, Сергей тоже со мной согласен.

А у меня получился конфуз с ручным пулеметом Дегтярева. Это вроде винтовки, только больше и весь желез-

ный, а наверху такая круглая штука вроде конфорки и в пей пули. Инструктор показывал, как разбирать и собирать, вроде все было понятно, а потом дал мне — я сдуру села из любопытства на первую парту. Я разобрала и даже собрать сумела кое-как, правда вся перемазалась в масле, но потом оказались лишние детали. Наверное, их нужно было позасовывать куда-то внутрь, потому что снаружи все выглядело прилично. Инструктор мне сказал: «Стыдно, девушка! А кто в случае чего родину будет защищать?» Надеюсь, что в «случае чего» у нас найдутся все же более компетентные защитники.

Были в горькоме относительно Ш. Разговаривал с нами сам Прохоров, обещал вызвать Т. и вообще разобраться и принять меры. Когда это будет — не знаю. Они там сейчас авралят в связи с подготовкой к всесоюзному комсомольскому кроссу.

25.II. 41

Все реже берусь за дневник, одолевает лень. Впрочем, я по-настоящему устаю сейчас. Задают много, едва успеваешь все сделать и все выучить. И потом я как-то охлаждаю к своему дневнику. Тоже «примета роста»? Недаром никто из взрослых этим в наши дни не занимается. Раньше у людей было больше свободного времени. Пожалуй, наша современная жизнь вообще мало располагает к уединению со своими переживаниями.

Кстати, по этому поводу недавно был интересный разговор с С. М. Он сказал, что коллектив — это одно из величайших изобретений нашей эпохи, позволившее осуществить все то, что сейчас осуществляется у нас в стране. Но, сказал он, подобно тому как в природе не встречается химически чистых веществ, так же и любое явление общественной жизни может, будучи совершенно и неоспоримо положительным, таить в себе некоторую долю отрицательного и даже известную опасность. Коллективизм, по его мнению, при не совсем правильном и утрированном подходе может иногда оказывать на человека плохое влияние в том смысле, что (несколько слов вымараны). В общем, правильнее передать его мысль так: человек, постоянно вращающийся в коллективе и слишком привыкший коллективно развлекаться, коллективно думать и даже коллективно переживать, в известной степени неизбежно нивелируется и утрачивает какие-то особенности своего «я». Тут же С. М. оговорился, что это выглядит обычным и далеко не новым индивидуалистическим тезисом и что так бы оно и было, если поставить

здесь точку. Дальше он сказал вот что. Индивидуалист, исходя из вышесказанного, проповедует вообще отказ от коллектива и призывает человека наглухо замкнуться в самом себе; но это, как известно, может привести только к гибели этого самого «неповторимого „я“», о котором индивидуалисты так нежно и трогательно заботятся. Человек — «животное общественное», и жизнь его вне коллектива немыслима вообще, а в условиях социалистического общества и подавно. Однако существует упомянутая опасность нивелировки; для того чтобы ее избежать и выбить главное оружие из рук идеологов буржуазного индивидуализма, советский человек обязан особенно тщательно развивать и оттачивать свои индивидуальные качества. Идеальным коллективистом является не тот, кто не способен принять ни одного самостоятельного решения без одобрения общего собрания и не представляет себе выходного дня без культпохода и «организованного отдыха», идеальный коллективист — это тот, чье душевное богатство позволит ему не скучать даже на необитаемом острове, кто даже там будет ощущать себя членом далекого коллектива и кто даже в одиночестве примет всегда именно такое решение, которое будет отвечать интересам не одного, а многих. Я потом долго думала об этом, и мне кажется, что С. М. абсолютно прав.

Я почему-то вспомнила этот разговор, когда написала, что «современная жизнь не располагает к уединению». Может быть, это и есть то, о чем говорил Серг. Митр. Действительно, сколько раз я замечала — например, со знакомыми девчонками, — что многие сейчас и в самом деле не могут побыть наедине с собой и одного часа. Одной ей «скучно». Возьмет книгу, почитает час-другой, а потом бежит хотя бы играть в волейбол, лишь бы быть в компании. Мальчики, как правило, другие. У тех почти у каждого какие-то свои интересы — ну, скажем, техника. Он и будет сидеть, с чем-то возиться, что-то мастерить. Сергей — так тот вообще способен забыть обо всем на свете, дай ему только в руки технический журнал с интересной статьей. Я один раз видела их осенью у киоска: он во что-то впился, а Танюшка стоит рядом с несчастным видом и переминается с ноги на ногу.

Они, кстати, сейчас видятся только в классе и по воскресеньям — очень чинно. Дело в том, что он, бедняга, нахватал себе уроков и мечется по городу как угорелый заяц. В. ехидствует — «генеральная репетиция роли обремененного отца семейства». Но тот, судя по всему, предстоящей ролью очень доволен. Хотя и отощал. А по-

кинутая Танюша зачастила к Аграновичам. Очередной психоз — искусствоведение. Ведет она себя там непристойно — явится, выберет книгу потолще и сидит до ужина. А потом ест и терзает Б. И. вопросами: почему то, почему это, в чем принципиальное различие школ Мейерхольда и Станиславского, и почему нельзя возродить античный театр, и правда ли, что Гамлет — это просто гнилой интеллигент и ничего больше. Невероятно, по факт — ее там любят, несмотря на все это.

Учится она сейчас почти с блеском. Непонятное существо — никогда не знаешь заранее, что она выкинет. Еще возьмет и окончит с отличием!

Дневник я все-таки доведу до конца уч. года. А там будет видно. Может быть, сделаю перерыв до того времени, когда придет пора писать мемуары. Как они будут называться — «Сорок лет служения Науке»? Ох, тошнехонько мне, молодешенькой. Или — коротко и скромно — «Записки физика». А наверху — еще скромнее — «Л. А. Земцева. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР». Или лучше «действительный член», на меньшее я не согласна ни за какие коврижки. Вот так. Смейся, паяц, что тебе еще остается.

9.III.41

Отвратительная гнилая погода, туман. Обидно, когда такое воскресенье. Но это уже весна, и на моем столе стоит в рюмке букетик подснежников. Это вчерашний сюрприз С. М. Вчера его урок был первым, и он пришел с чем-то завернутым в газету. Переключку он всегда делает вслух. Спросил Абрамовича, Андриющенко, потом Машу Арутюнову. Та, как и все, с места отвечает: «Здесь», а он говорит: «Прошу вас подойти», — разворачивает свою газету и вручает ей букетик. Та ничего не поняла сразу, даже покраснела. Дошел до Инны Вернадской — и ей тоже. В общем, у него оказалось ровно семнадцать штук — по числу девушек в классе. Потом он встал, торжественно нас поздравил и говорит: «Надеюсь, молодые люди не обидятся? Собственно, это вы должны были бы дарить сегодня цветы своим одноклассницам, но, коль скоро никто из вас не догадался, я позволил себе взять это на себя. Будем считать, что цветы преподнесены мужской половиной человечества». Мальчишки сидели все красные!

Какой милый старик. Вот о чем я буду больше всего жалеть, вспоминая школу, — о наших чудесных преподавателях. Какие мы, в сущности, все к ним невниматель-

ные, даже неблагодарные. Поговорить с препом полчаса на школьном вечере — и то уже считается чуть ли не великим подвигом. А ведь они всегда с такой охотой посещают школьные вечера, так рады каждому случаю поговорить со старшим учеником попросту, вне класса, подружески. А мы? Я уж не говорю о младших классах — там учителей зачастую просто травят. Но даже мы все отпосимся к ним в лучшем случае только терпимо. Терпим до поры до времени как нечто неизбежное. И свиньи же!

На его уроке писали сочинение. Тема несколько банальная — «Мои планы на будущее», но в нашем положении не лишенная злободневности. С. М. сказал: «Тема эта слишком обширна, чтобы исчерпать ее за сорок пять минут. Поэтому не думайте о литературных достоинствах на этот раз, просто излагайте свои мечты и свои планы. Неважно, каким слогом это будет изложено. Задание общее, но сегодня восьмое марта, и я особенно интересуюсь тем, что напишут девушки. Не забывайте, что вы уже взрослее своих одноклассников, для некоторых из вас аттестат станет окончательной путевкой в жизнь и, пока ваши сверстники будут продолжать свое образование, вы уже начнете самостоятельную жизнь. Вот об этой жизни и пишите. Разумеется, это в равной степени относится и к тем, кто собирается в вузы. Планы на будущее у вас всех должны уже быть, так или иначе».

Я сдала пустой лист — сослалась на головную боль. Писать о тех планах, которые созданы для меня помимо моего желания, я не могла. Не могла лгать преподавателю, которого я бесконечно уважаю. А что другое я могла написать? Что меня совершенно не тянет наука, что мне больше всего хотелось бы просто иметь семью и воспитывать детей — воспитывать их так, как, на мой взгляд, должны воспитываться будущие граждане коммунистического общества? Напиши я правду — с какими же глазами я потом сказала бы С. М., что иду в науку? Я ведь все равно не могу объяснить ему, что иду туда только потому, что так было решено с детства, что такова традиция моей семьи, что мой отказ был бы для мамы катастрофой всей ее жизни. Но какое право имеет человек становиться ученым без призвания!

16.III.41

Буду теперь записывать сюда по воскресеньям, все равно в другие дни некогда. Записывать, кстати, почти нечего — обычные «школьные будни». Что ж, скоро будем вспоминать о них как о чем-то невозвратном. Что-то

я хандрю последнее время, нужно взять себя в руки. Глупо ведь, в самом деле! Столько впереди интересного, нового. А вдруг физико-математическая премудрость так меня захватит, что я только посмеюсь над своими теперешними настроениями? Может быть.

Но что мне делать с Татьяной? Вызывали ее в горком. Я ведь видела, как она туда собиралась, с каким волнением и какой надеждой! Вовсе ей это не «все равно», видно же! А зашла оттуда ко мне — опять ироническая улыбка. Спрашиваю: «Ну что?» «Все то же. Разумеется, Шибалин не прав, он перегнул, все это так, мы понимаем, но и ты должна понять, что допустила серьезные промахи в своей работе, кроме того, дисциплину ты нарушила совершенно явно» и т. д. и т. п. «А Шибалин, конечно, не прав, мы ему поставим на вид, проследим, чтобы таких случаев больше не повторялось» и т. д.

Я говорю: «Ну и прекрасно, Танюша, ты ведь сама понимаешь, что большего тебе и не могли сейчас сказать. Важно, что его поступок осудили и что это, очевидно, больше не повторится». А она мне насмешливо: «О да, для меня это огромное утешение. Человек, который назвал меня вредительницей, конечно, не прав, но он остается инструктором горкома, а я остаюсь вредительницей. И меня не подпускают к пионерам, как зачумленную!»

7

Важный старик с зелеными с золотом петлицами на черном форменном пиджаке проводил полковника до учительской. Поблагодарив его, тот нерешительно постучался.

— Простите, товарищ Вейсман еще не пришла? — спросил он, приоткрыв дверь.

— Я здесь, — отозвалась из угла классная руководительница. — Ко мне? А-а, Александр Семенович, пожалуйста...

— Приветствую вас, Елена Марковна. Я получил ваше...

— Да, да, я очень хотела вас видеть. — Елена Марковна сложила в шкаф кипу старых классных журналов и поздоровалась с полковником. — Может быть, мы пройдем в кабинет Геннадия Андреевича? Его сейчас нет, там удобнее будет побеседовать без помех... С самого начала хочу вас успокоить, — улыбнулась она, входя вместе с полковником в директорский кабинет. — Родители обычно воспринимают всякое приглашение в школу как прелюдию к жалобам на плохое поведение или неуспеваемость...

Садитесь, Александр Семенович, здесь можно даже курить. В данном случае вы их не услышите, я хотела поговорить с вами о другом. Таня сейчас, кажется, окончательно выправилась.

— Несколько поздновато, — улыбнулся полковник.

— Ну, это никогда не бывает поздно. Лучше плохо начать и хорошо кончить, чем наоборот. Нет, я Таней очень довольна. И не только я одна, вообще она сейчас молодец. Позавчера прочитала отличный реферат по литературе, Сергей Митрофанович был просто в восторге — разумеется, он высказывал его в учительской... Таню вообще в глаза хвалить не рекомендуется. Вы этого не замечали?

— Собственно, я... мой принцип — вообще никого в глаза не хвалить, никого и ни за что. Ну, высказать... э-э-э... одобрение — это другое дело. Тем более с Татьяной.

— Да, это правильный принцип. Не знаю, разумеется, насколько он оправдывает себя в армии — очевидно, да, если вы его применяете, но в школе безусловно. Так вот, Александр Семенович, в некоторой связи с этим... Скажите, вам, очевидно, приходится иногда писать характеристики подчиненных вам командиров? Не знаю, как это у вас делается. Можно написать более или менее формально — ну, что человек исполнительен, соответствует занимаемой должности, хорошо справляется со служебными поручениями и общественными нагрузками и так далее. Можно, очевидно, дать характеристику более углубленную — с известным анализом характера человека, исходя из этого — с прогнозами относительно того, как он поведет себя в тех или иных обстоятельствах, — словом, это будет уже характеристика психологическая. Не так ли? Этим вам приходилось когда-нибудь заниматься?

Полковник улыбнулся:

— Видите ли, Елена Марковна... Если я правильно вас понимаю, то этим нам приходится заниматься всегда и в первую очередь. Речь всегда идет именно о том, как человек поведет себя в тех или иных обстоятельствах. Если нет полной уверенности в том, что он поведет себя правильно, то — согласитесь сами — только преступник или дурак может доверить ему командование.

— Именно, именно... — Елена Марковна сняла очки и быстро пощелкала дужками. Полковник сдержал улыбку, — жест был знакомый: Таня часто вооружалась его очками и с важным видом изображала свою классную руководительницу. — Ну хорошо, Александр Семенович. Вот вы служите с командиром икс в течение двух лет. После

этого вас просят дать ему характеристику. Сумеете ли вы ее написать? Успеваете ли вы за два года изучить психологию своего подчиненного?

— Как правило, для этого не нужно двух лет. Если, разумеется, товарищ икс не скрывает каких-либо особенностей своей психологии сознательно.

— Конечно. Теперь такой деликатный вопрос, Александр Семенович. Таня живет у вас четыре с половиной года. Она ведь, если память мне не изменяет, приехала из Москвы осенью тридцать шестого? Ну, вот видите, это в два раза больше того срока, о котором мы сейчас говорили. Если я попрошу вас сесть за стол и написать подробную психологическую характеристику вашей племянницы, — вы сумеете это сделать?

Полковник нахмурился. Он рассеянно похлопал себя по карманам, достал непечатую коробку «Казбека» и ногтем взрезал бандероль. Закурив, он улыбнулся несколько растерянно:

— Признаться, вы меня просто захватили врасплох...

— Врасплох? После четырех с половиной лет?

— Хм... законный упрек, Елена Марковна, вполне, к сожалению, законный... но, видите ли, психология ребенка...

— Бог с вами, мы говорим о взрослой девушке.

— Тем более. Я сказал, что двух лет достаточно, имея в виду людей общей со мной профессии, ну и... словом, хорошо известных мне людей.

Классная руководительница подняла брови:

— Я полагаю, что собственная племянница тоже в какой-то степени вам известна, Александр Семенович. Впрочем, здесь мы все виноваты в равной мере. Этот разговор должен был произойти по крайней мере год назад. Да, я знаю — весь прошлый учебный год вы отсутствовали. Может быть, нужно было поговорить с вами еще раньше; в конце концов, характер Тапи начал формироваться лет с пятнадцати...

— У вас есть какие-нибудь прямые опасения по этому поводу? — негромко спросил полковник, забыв о своей папиресе, которая продолжала дымиться в его пальцах.

— Как вам сказать... — медленно отозвалась Елена Марковна, пощелкивая очками. — Опасения — это, может быть, слишком уж сильно сказано... впрочем, в какой-то степени — да. Это сложный вопрос, Александр Семенович. Я давно думала о разговоре с вами, была к нему готова, а сейчас я как-то даже не могу сразу сформулировать, что

именно меня как педагога беспокоит в Тане. Видите ли... прежде всего, в данном случае мы имеем дело с незаурядной натурой. Это явно. Незаурядной и в хорошем, и в том, что — при известном стечении обстоятельств — может оказаться плохим. Вы, очевидно, хотите задать вопрос, в чем конкретно. Я повторяю, что ответить на это не так просто. Прежде всего, у девочки несколько не по возрасту развита эмоциональная сфера. Высокая восприимчивость, склонность к неограниченной фантазии, бесконтрольное чтение — очевидно, все это сыграло свою роль. Это качество не совсем желательно, хотя само по себе оно не дает еще серьезного основания для опасений. Но у вашей племянницы к этому прикладывается еще и явный недостаток самоконтроля. Александр Семенович, Таня избалована не только материально. Это еще полбеда, от такой избалованности обычно излечивает сама жизнь, и урок идет только на пользу. Гораздо опаснее избалованность другого порядка — избалованность, я бы сказала, душевная. Вы меня понимаете?

— Д-да... — Полковник бросил в пепельницу погашую папиросу и покачал головой. — Боюсь, что понимаю.

— Бояться не стоит, я вам говорю, ничего страшного. Поверьте, что если бы у нас были действительно серьезные опасения относительно Тани, то я все-таки поговорила бы с вами раньше. Дело не в этом, Таня ничего плохого не делает и, надеюсь, не станет делать. Но... она нуждается в очень твердом руководстве. Такая натура, будучи предоставлена самой себе, может легко свернуть в любую сторону. Достаточно, чтобы ей захотелось пойти именно в эту сторону, а не в другую, и она свернет. Не задумываясь над тем, куда это может привести. Опять-таки повторяю: это вовсе не значит, что это непременно случится. Однако мы обязаны предусматривать все возможности, не правда ли... Таня не привыкла считаться с тем, как на ее поступки смотрят окружающие. Раньше это выражалось в шалостях, она даже щеголяла своей славой этакой сорвиголовы. Что ж, мы, педагоги, привыкли смотреть на такие вещи снисходительно. Но если это качество не проходит с возрастом, то в дальнейшем оно начинает проявляться в вещах более серьезных. Вы, очевидно, в курсе тех неприятностей, которые она имела не так давно со своим отрядом...

— Конечно. Я с ней говорил, осудил ее поведение, но, между нами должен сказать, на мой взгляд, Татьяна не заслужила того взыскания, которое было на нее наложено.

— Пожалуй, — согласилась Елена Марковна. — Видите ли, комсомольская организация принимает решения самостоятельно, без консультации с нами. Вы это, очевидно, знаете. Скажу вам больше: руководительница того класса, в котором Таня вела пионерскую работу, была очень огорчена ее отстранением. Но факт остается фактом — в проведении этой работы Таня очень мало считалась с обстоятельствами момента и вытекающими отсюда требованиями. Она сама сочла правильным поступать так, и она так и поступала. Другой вопрос — была ли она объективно права. Допустим — да. Но ведь в ее возрасте можно понимать, что кроме объективной правоты есть еще и целый ряд других факторов, с которыми нельзя не считаться. А Таня не считается ни с чем. И я боюсь, Александр Семенович, что для нее вообще не существует понятия дисциплины. Если она сейчас хорошо учится, то это не потому, что так нужно, а только потому, что ей так хочется. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в учебе Таня ищет сейчас утешения после своей неудачи с пионерской работой. А ведь в дальнейшем — ну, хотя бы в вузе — у нее могут быть и более серьезные неудачи, и опасные способы утешения...

Полковник, хмурясь, барабанил пальцами по краю стола. За дверьми кабинета зазвонил звонок, минуту спустя коридоры затопил обычный шум начавшейся перемены.

— Мне очень тяжело все это слышать, — сказал полковник. — Те качества Татьяны, о которых вы сейчас говорили, в общем, не являлись для меня тайной... Откровенно говоря, я не придавал им такого серьезного значения. Конечно, какой из меня воспитатель... Детей я вообще не знаю, но дети слишком уж тихие мне всегда казались какими-то малосимпатичными. Поэтому я был даже рад, что Татьяна росла сорванцом. Разумеется, учитывая я возможные последствия... впрочем, что я вообще мог сделать? По сути дела, единственным ее воспитателем дома была наша соседка — простая женщина, пожилая уже... знаете, есть такие женщины из народа, которые не имеют образования и до всего доходят своим умом, причем доходят как-то удивительно здраво и верно. Я знаю ее уже много лет... Ее сыновья служили со мной. Когда я привез Татьяну из Москвы, Зинаида Васильевна приняла ее буквально как родную — обещала мне присматривать за ней и так далее. Как-то получилось так, что я с тех пор вообще воспитанием Татьяны не занимался. Во-первых, я этого не умею, во-вторых, у меня никогда не хва-

тало на это времени, а в-третьих, у меня постепенно сложилось такое представление, что Татьяну воспитывают и без меня... в школе, прежде всего, и затем вот наша мать-командирша. Мы ее зовем матерью-командиршей. Очевидно, здесь был какой-то промах... Мне только сейчас пришло в голову, что Татьяна вряд ли вообще принимала всерьез все то, что говорила Зинаида Васильевна. Молодежь ведь вообще относится к старшим снисходительно, а тут еще чужая женщина, и женщина к тому же необразованная... Тут могло даже появиться чувство собственного превосходства, особенно в свете того, что вы сейчас сказали. Надо признать, что свою незаурядность Татьяна, по-видимому, прекрасно сознает. Правда, я никогда не замечал, чтобы это проявлялось в форме какой-нибудь такой заносчивости, высокомерия к окружающим. Но вполне возможно, в глубине души она сознавала себя выше Зинаиды Васильевны и, следовательно, не считала себя обязанной полностью следовать ее указаниям... хотя она никогда не обижалась на выговоры... Иногда даже, как мне стало известно, Зинаида Васильевна наказывала ее... э-э-э... собственноручно и довольно чувствительно. — Полковник улыбнулся. — Что вы хотите, простая женщина, у нее свои методы. Даже на это Татьяна, насколько мне известно, не обижалась. Так что внешне, вы понимаете, все выглядело нормально. Да, вы мне сегодня сказали много нового... и неожиданного.

— Какую я сделала глупость, не поговорив с вами раньше, — помолчав, сказала Елена Марковна. — Как справляется Таня с домашними обязанностями?

— Насколько я понимаю, неплохо. У нас уже три месяца нет прислуги...

— Это мне известно. Таня сама решила обходиться без домработницы?

— Видите ли... мысль подала она, но я не уверен, что по собственной инициативе.

— По чьей же тогда?

Полковник пожал плечами:

— Мне показалось неудобным спросить ее об этом. Могу лишь догадываться: на Татьяну имеют большое влияние два человека — Людмила Земцева и... также известный вам Сергей Дежнев. Возможно, мысль подал кто-либо из них.

— Да, возможно. Кстати, Александр Семенович. Как вы относитесь к дружбе между вашей племянницей и Дежневым? Вам известно, что это уже, по сути дела, нечто большее, чем просто дружба?

— Да, я это знаю,— кивнул полковник.— Елена Марковна, в связи с этим я хочу задать вам очень серьезный вопрос. Он настолько серьезен, что я просто не чувствую себя вправе решать его, не посоветовавшись с педагогом. Дело в том, что несколько месяцев назад, точнее, в конце прошлого года, я узнал, что моя племянница и Дежнев решили... э-э-э... сочетаться браком. Разумеется, после окончания школы.

— Ну да,— спокойно сказала Елена Марковна.— Простите, я вас прерву. Вы узнали об этом случайно или Таня сама с вами говорила?

— Со мной говорил Сергей. Татьяна долго собиралась, но так и не отважилась.— Полковник подавил улыбку.— И молодой человек, так сказать, перехватил инициативу.

— Так. И что же?

— Ну... я пока не сказал ни да, ни нет. Вообще-то мое согласие не имеет в данном случае такого уж решающего значения, я это прекрасно понимаю. Молодежь в таких делах поступает по-своему. Но, в конце концов, мне важно решить этот вопрос для самого себя. Если я твердо сочту этот брак нежелательным, то, по крайней мере, постараюсь всеми доводами рассудка их отговорить. Трудность в том, что сам я ни к какому решению так и не пришел, хотя думал об этом много. Вот я и прошу вашего совета. Как поступили бы на моем месте вы? Скажем, будь Татьяна вашей дочерью?

Классная руководительница улыбнулась:

— Вы знаете, Александр Семенович, я почему-то давно уже чувствовала, что вы придете ко мне именно с этим вопросом. Поэтому пусть вас не удивит быстрота, с какой я на него отвечаю. Просто я тоже об этом думала, хотя ответ, по существу, был ясен мне с самого начала. Так вот: если бы Таня была моей дочерью, если бы она любила такого человека, как Сергей Дежнев, и если бы ей предстояло через полгода покинуть дом и начать студенческую жизнь,— я безусловно посоветовала бы ей начать эту жизнь с замужества. Не спорю, вообще восемнадцать лет — это очень, очень рано. Но здесь нет никаких правил, и в каждом отдельном случае все зависит от сопутствующих обстоятельств. В данном случае обстоятельства таковы, что этот брак можно только приветствовать.

— Вы думаете? — Полковник насутился. Сам он уже четыре месяца назад почти дал свое согласие, но сейчас был почему-то обескуражен. Он предпочел бы, чтобы Вейсман стала его отговаривать, чтобы она сказала, что

ничего хорошего не может получиться из такого скорострельного замужества; тогда можно было бы сослаться на ее мнение и попытаться уговорить их подождать с этим делом годик-другой.

— Да, я так думаю,— сказала Елена Марковна.— Повторяю еще раз: Таня не может жить без твердого руководства. Скажу вам совершенно откровенно, я просто не рискнула бы отпустить ее в университет одну. В ней еще слишком много детского, и это странным образом уживается с теми чертами характера, которые свидетельствуют о преждевременном развитии... А такая смесь бывает опасна.

— Но согласитесь — смешно все-таки выдавать племянницу замуж только для того, чтобы при ней оказался сторож...

— Александр Семенович, вы чудак. Прежде всего не вы выдаете Таню замуж, а она выходит сама. И выходит потому, что любит. Я только говорю, что эта ситуация, сложившаяся сама собой, к счастью, почти улаживает вопрос Танией самостоятельной жизни. А это, как я вам уже сказала, вопрос очень серьезный. Ну хорошо, она оказывается одна в огромном городе. Разумеется — общежитие, студенческий коллектив, все это так. Но не забывайте одного: высшее учебное заведение — это уже не школа, профессора не могут уделять студентам столько индивидуального внимания, сколько уделяем мы, педагоги средней школы. Как правило, отношения между профессором и студентом ограничены стенами аудитории. Студентка с самого начала оказывается предоставлена самой себе и коллективу. Но настоящий коллектив создается не сразу, и к тому же воспитательное влияние коллектива может быть сильно ограничено именно теми личными качествами, которые беспокоят меня в вашей племяннице. Чтобы коллектив тебя воспитал, нужно безоговорочно признавать его авторитет, это во-первых, а во-вторых, нужно уметь подавлять свои капризы. К сожалению, Таня не особенно склонна ни к тому, ни к другому. Нет-нет, не поймите меня неправильно — я вовсе не хочу сказать, что она не уважает коллектив или способна на антиобщественный поступок. Во все нет! Но коллективу она подчиняется скорее как-то умом, нежели сердцем. Коротче говоря, мы опять возвращаемся к тому же, с чего начали,— к выводу о необходимости твердого руководства. Я считаю, Александр Семенович, что для Тани трудно найти более подходящего руководителя в жизни, чем Дежнев. Учитывая, разумеется, что они любят друг друга. Мы

ведь давно следим за этой историей, во всех, так сказать, ее перипетиях... Дежнев — вполне взрослый юноша, он не только старше Тани на два года, он гораздо старше по своим взглядам, по жизненному опыту. Я могу сказать о нем, как о Земцовой, — это человек уже сложившийся.

— Да-а... — задумчиво протянул полковник. — Что ж, приблизительно эти соображения руководили и мной, когда я дал согласие на их брак. Может быть, я несколько иначе формулировал все это... для самого себя. Но я чувствовал, что Сергей может стать ей хорошим другом.

— Несомненно, — кивнула Елена Марковна. — За это я спокойна.

Полковник усмехнулся, поднимая левую бровь:

— Выходит, Елена Марковна, что весь этот разговор вы должны были бы, по сути дела, вести уже с Сергеем. Да-а... не вышло из меня воспитателя...

— Нет, это вы напрасно. Если я сейчас говорила о Таниных недостатках, то это не значит, что у нее нет положительных качеств. Впрочем, я ведь с самого начала оговорила, что их много. Знаете, что мне больше всего нравится в вашей племяннице? Она очень искренна и совершенно непримирима к фальши. А я знаю по опыту, что последнее качество обычно прививается ребенку дома, оно как бы впитывается вместе с тем воздухом, которым ребенок дышит в семье. Не забывайте, что воспитание заключается не только в том, чтобы делать выговоры и следить за тем, что воспитанник читает и с кем он дружит. Молодежь наблюдательна, она во многом воспитывается на примерах поведения старших, на высказываемых ими мыслях, на их самых незначительных поступках. Нет, я не думаю, что прожитые с вами годы прошли для Тани бесследно.

Полковник пожал плечами:

— Может быть, конечно... Мне-то самому трудно об этом судить. Ну что ж, Елена Марковна... Я вам чрезвычайно признателен за этот разговор. Может быть, вы дадите мне какие-нибудь советы — на тот срок, пока Татьяна еще остается со мной?

— Что же я вам могу теперь посоветовать? Только то, что мы всегда советуем родителям, — поменьше баловства подарками, побольше обязанностей дома. Другие советы были бы уже несколько запоздалыми. А в заключение, Александр Семенович, могу вам сказать одно — девочка у вас все-таки замечательная! Я хотела бы иметь такую дочь, говорю от чистого сердца. Пусть недостатки, пусть

противоречия и сложности в характере — все это в общем делает человека ярче, интереснее...

— Конечно,— согласился полковник. — Да я и сам Татьяной в целом доволен. Совершенно не закрывая глаза на ее недостатки. Кстати, мне кажется, за последние полтора-два месяца она сильно изменилась. Серьезнее стала, что ли. Вы не заметили?

Елена Марковна подумала и кивнула:

— Да, пожалуй. В таком возрасте девушки меняются быстро, меняются именно внутренне, переходят в новое душевное состояние. Может быть, в Тане это особенно заметно.

— Да, я вот недавно обратил внимание — никогда раньше не замечал,— как она держится. Появилась у нее такая, понимаете ли, выправка, достоинство какое-то особое в каждом жесте. Даже в манере нести голову!

Сухое и словно наглухо замкнутое лицо полковника скупое осветилось улыбкой. «Ох, беда с этими дядюшками,— подумала класрук.— Где уж тут воспитывать...»

— Что ж,— сказала она, разведя руками,— возраст есть возраст. Кто не чувствует себя королевой в семнадцать лет!

— Да, но,— полковник, продолжая улыбаться, поднял палец,— одно дело чувствовать, а другое... э-э-э... выглядеть!

Елена Марковна рассмеялась:

— Ну, воображаю, Александр Семенович, что бы вы сделали из своей племянницы, будь у вас больше свободного времени!

Полковник быстро посмотрел на часы и встал:

— Несправедливое обвинение, Елена Марковна, с Татьяной я всегда был скорее строг... Это уж я так, в ее отсутствие! Разрешите откланяться, к сожалению, я уже опаздываю. Так вы говорите, с успеваемостью у Татьяны все в порядке?

— О, вполне! — Елена Марковна тоже встала и вышла из-за стола.— В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны...

Уже у дверей она спросила:

— Скажите, Александр Семенович... эти последние события на Балканах могут иметь для нас какие-нибудь скверные последствия? В сущности, это со стороны Гитлера почти вызов — напасть на Югославию на другой день после того, как она подписала с нами договор о дружбе...

Полковник развел руками:

— Время сейчас тревожное, Елена Марковна, вы сами это видите. Что же касается непосредственно балкапских событий, то они опасны для нас лишь постольку, поскольку лишний раз свидетельствуют о стремлении Германии расширить конфликт. А в каком направлении он будет расширяться в дальнейшем — это уж нам знать не дано.

— Я так волнуюсь за своего мужа... Он в Кишиневе, это ведь совсем близко от границы... Ну, простите, не буду вас задерживать!

В середине апреля Настасья Ильинична получила письмо от сестры из Тулы. Клаша извещала о смерти бабушки Степановны и просила приехать хотя бы на это лето — помочь присмотреть за детьми. Детей у Клаши было шесть душ; сама же она, в отличие от старшей сестры, была женщина деловая, общественница и депутатка горсовета. Может быть, писала Клаша, они вообще захотят остаться жить в Туле: Зиночке все равно где учиться, а если Сережа поступит в вуз в Москве, то и ему будет ближе к дому.

Настасье Ильиничне предложение сестры пришлось по душе. Сейчас-то нужно было ехать так или иначе: не оставишь же Клашу без помощи; а над тем, чтобы вообще распрощаться с Украиной, тоже стоило подумать. Прожив в Энске почти два десятка лет, Настасья Ильинична не чувствовала привязанности к этому городу. Слишком многое напоминало здесь о старшем сыне. Мучительно было встречать на улицах Колиных приятелей по цеху, живых, здоровых, смеющихся; мучительно было слышать по ночам знакомый гудок мотороремонтного; мучительно было раз в неделю находить под дверью номер заводской многотиражки, которую продолжал высылать Дежневым завком. И если уж даже на могилку сына не могла она пойти в этом городе, то уж лучше, думала Настасья Ильинична, вовсе уехать отсюда, поселиться с Клашей.

Было и еще одно — едва ли не главное — соображение, заставлявшее ее стремиться к переезду в Тулу. Здесь, в Энске, жила эта девушка. Хотя учеба в школе и кончалась через какой-нибудь месяц и могло получиться так, что в вузы они поступят в разных городах, все-таки надежнее, если Сережа не будет встречаться с ней и на каникулах. Он собирается в Ленинград, а она, помнится, тогда осенью очень уж расхваливала Москву и вроде говорила, что учиться будет непременно в Москве. Хоро-

шо бы! И если еще и летом не будут они встречаться, то тогда уж за Сереженьку можно быть спокойной...

Сергей, когда мать рассказала ему о письме тети Клаши, тоже посоветовал ехать немедленно — как только у Зинки окончатся занятия.

— Раз нужно, ничего не поделаешь, — сказал он. — Конечно, ей сейчас одной трудно. Семья-то какая, шутка сказать. Ты напиши, что будешь к середине мая... А ты смотри — если нужно, и раньше выедешь, а Зинку я после к тебе отправлю. А чего бояться? Посажу на поезд, а там встретите.

— Да нет уж, — вздохнула Настасья Ильинична, — как это она сама в такую даль... лучше уж вместе. Лишние две недели Клаша подождет, я ей напишу. А ты после подъедешь, Сереженька, как сдашь свои испытания. У вас что они, до двадцатого июня?

Сергей рассеянно кивнул:

— Ну да, я съезжу позже... Только я ведь надолго не смогу, ма, ты же знаешь. Мне сразу документы нужно будет подавать, да и к вступительным подготовиться придется... На одни «отлично» у меня вряд ли выйдет, все равно придется держать.

Настасью Ильиничну так и подмывало спросить, в какой институт собирается подавать она, вернее, в каком это будет городе — уж не в Ленинграде ли? Но от вопроса она воздержалась. О хохотушке Танечке было говорено с сыном уже не раз, и всегда дело кончалось чуть ли не ссорой; постепенно эта тема стала в доме Дежневых какой-то запретной.

Она лишь спросила Сергея, не думает ли он, что им вообще лучше будет переселиться в Тулу, и тот сказал, что, пожалуй, да, а в общем-то это нужно решать ей самой. Ему-то, дескать, все равно, приезжать на каникулы в Энск или в Тулу. Разве что в Тулу билет дешевле. Так и остался этот разговор каким-то недоговоренным.

Происходил он в пятницу. На следующий день, в субботу, Сергей на большой перемене отозвал Таню в сторонку и предложил пойти завтра в цирк на дневное представление. Таня от изумления чуть не подавилась коркой — в этот момент она, по обыкновению, грызла горбушку — и сделала большие глаза.

— В цирк — на дневное? Сережа, ты что — решил накануне выпуска еще раз почувствовать себя первоклассником? На, кусай!

— Погоди ты. — Он машинально отломил кусок от протянутой ему горбушки и сунул в карман. — Я иду

с Зинкой, понимаешь? Они у меня скоро уезжают — мамаша с сестренкой, — так я на прощанье хоть в цирк ее свожу, она уже полгода пристаёт. Позже мне будет некогда, когда начнем готовиться к экзаменам, а сейчас как раз удобно. Пойдем?

— Постой, я что-то ничего не поняла, — сказала Таня, морща нос. — Зина и Настасья Ильинична уезжают? Ты мне ничего не говорил. Куда они уезжают?

— Ясно, не говорил, я только вчера сам узнал. Едут-то они не сейчас, а через месяц, ну через три недели. В Тулу. У нас там тетка зверски многосемейная — я все жду, когда ей «Мать-героиню» дадут, — нет, серьезно, шестеро детей — представляешь?

— Ой, как здорово! — воскликнула Таня в восторге. — Целых шестеро! Мальчики или девочки?

— Да там всего хватает. Вообще-то ты не прыгай, это только со стороны интересно... Попробовала бы ты с такой семьей. У них там жила одна старушка, а сейчас умерла, так эта самая тетя Клаша просит мамашу приехать. Она там депутатствует, вообще большая активистка, так что ей с детьми трудно. Вот мои туда и едут. Теперь поняла?

— Угу, теперь поняла... Нет, но шестеро детей — как здорово, а, Сережа! Люсины мечта. Так вы завтра идете в цирк? На дневное? Ой, я с удовольствием. Обезьяны будут?

— Будут, наверное. А я, впрочем, не знаю — разве они в цирке выступают? Ну, если не обезьяны, так какие-нибудь другие зверюги будут обязательно.

— Давай на скамейке посидим, — сказала Таня, глянув на часики, — еще пятнадцать минут. День-то какой, правда? Прямо в голове ломит от солнца. Я весной почему-то страшно устаю в такие дни, и так спа-а-ть хочется... Значит, завтра пойдем в цирк, смотреть каких-нибудь зверюг. Это ты хорошо придумал, по крайней мере отдохнем по-настоящему и даже об экзаменах не будем думать. Когда начало?

— В два. Встретимся прямо возле цирка, хорошо?

— Хорошо, — кивнула Таня. Лицо ее стало вдруг печальным, словно погасло.

— Ты что? — спросил Сергей.

— Я? Ничего. Просто я подумала: ну почему мы должны встречаться где-то возле цирка, будто тайком, если мне хочется зайти прямо к вам домой и пойти вместе с тобой и с Зиной прямо из дому? То есть я прекрасно

знаю почему. Но я не могу этого перепосить, Сережа! Почему тебе не попробовать еще раз поговорить с мамой?

Сергей помолчал.

— Я уже говорил сто раз,— отозвался он неохотно.— Это бесполезно, Танюша, ты же знаешь... как она на это смотрит. Мне самому, думаешь, легко? Мы ведь с мамашей раньше душа в душу жили, а теперь как-то вот не понимаем друг друга, и ничего тут не поделаешь. Верили ли, когда узнал, что они едут в Тулу, так мне — ты знаешь, Танюша, об этом даже говорить стыдно — я прямо какое-то облегчение почувствовал... Может, думаю, действительно лучше нам пожить какое-то время не вместе, хоть спорить не будем...

Таня выпрямилась, словно собираясь встать со скамейки, и обернулась к Сергею.

— Но послушай,— сказала она, глядя на него большими испуганными глазами,— послушай, это ведь ужасно, ведь получается, что я рассорила тебя с твоей мамой? Сережа, я никогда не думала, что это до такой степени...

— Да ну, брось,— прервал ее Сергей.— «Я рассорила!» Когда так вот друг друга не понимаешь, то рано или поздно это все равно всплывет... лишь бы предлог нашлся.

— Но пойми, мне вовсе не хочется быть этим предлогом! А уж, во всяком случае, твоя мама обвиняет во всем меня. Сережа, мне просто страшно подумать — как она должна меня не любить! Я тебе уже говорила: я вовсе твою маму не виню, я даже ее понимаю, если хочешь. Я ведь прекрасно понимаю, что я для твоей мамы совсем чужая... не потому чужая, что мы еще мало знакомы, а вообще — слишком уж мы с ней разные, ты понимаешь. Я это как-то не могу точно объяснить, но очень хорошо чувствую. Понимаешь, твоя мама, наверно, смотрит на меня и думает, что вот, мол, белоручка, принцесса на горошине... И вообще всякая мать немножко ревнует своего сына, если он вдруг влюбится,— я об этом часто читала, а особенно, если еще девушка кажется ей такой никчемной. Так что я все это прекрасно понимаю, не думай! Но только это слишком серьезно, чтобы относиться так спокойно...

— Хорошо,— нетерпеливо сказал Сергей.— А что предлагаешь ты? Ну, что?

Таня пожала плечами:

— Не знаю. Если бы я знала...

— Вот то-то и оно!

До конца занятий Таня оставалась задумчивой и молчаливой, ничего не сказав даже Люсе. Из школы они вы-

шли втроем, задержавшись на консультации по немецкому языку, но Людмиле стало холодно в надетом первый раз легком пальто, и она уехала трамваем. Сергей пошел проводить Таню до Фрунзенской. Апрельский вечер был тих и прозрачен, заморозок подсушил тротуары, небо казалось стеклянным, вымытым и протертым до блеска. Когда Таня поскользнулась на подмерзшей в углублении асфальта лужице, Сергей подхватил ее под локоть.

— Осторожнее, — улыбнулся он, — а то вывихнешь себе ногу и не на чем будет идти завтра смотреть обезьян.

— Угу, — согласилась Таня рассеянно и вздохнула. — Знаешь, я как раз хотела тебе сказать, что завтра у меня с цирком ничего не получится.

— Почему это? — Сергей сразу насторожился.

— Господи, ну так. Я завтра занята. Понимаешь... мы с Дядесашей должны ехать в одно место. Он мне уже давно сказал, я просто забыла. А сейчас вспомнила. То есть не сейчас именно, а на пятом уроке. Ты не очень сердисься?

— Да куда ты с ним должна ехать? — раздраженно спросил Сергей. — В гости, что ли? Вот нужно тебе! Скажи, что не можешь, и дело с концом.

— Нет, я должна. Это очень важно, правда.

Сергей помолчал, потом сказал сухо:

— Ну что ж, как хочешь.

— Сережа, не будь злоюкой. — Таня на секунду прижалась к его локтю. — Я очень хотела бы пойти, но завтра это невозможно.

— Еще бы, — сказал Сергей. — Ведь это не лейтенант Сароян тебя приглашает в цирк. С ним-то ты бы нашла время...

— Ну, знаешь! — Таня вырвала руку, вспыхнув от возмущения. — Я уже не могу переносить эту твою дурацкую ревность! Ты просто ненормальный какой-то, хуже всякого мавра! Ни с каким Сарояном я завтра не встречаюсь, и вообще я тебе уже говорила, что вижу его раз в месяц, когда он приходит к Дядесаше играть в шахматы. Что ты еще от меня хочешь?

— Я хочу знать, куда ты идешь завтра!

— Не скажу! Это не мой секрет, понимаешь? Но я тебе даю честное слово, что это вовсе не то, что ты думаешь. Да и какое ты вообще имеешь право меня в чем-то подозревать? Я еще ни разу не дала тебе повода для ревности!

— Ну, еще бы, — буркнул Сергей, уже остывая. — А сейчас тоже не даешь, да?

— Нет, конечно.— Таня пожала плечами.— Я ведь не виновата, что у тебя какая-то ненормальная подозрительность. Интересно, как ты вообще можешь меня любить, если ты мне ни капельки не веришь и вечно в чем-то подозреваешь?

На следующий день она пришла к цирку около часа. Наискось через площадь, у дверей обувного магазина, собралась толпа — говорили, что после обеда будут давать тапочки. Это было удачно. Таня заняла очередь и, спрятавшись за спинами, не спускала глаз с циркового подъезда. Ровно без четверти два появился Сергей, чинно ведя за руку сестренку; они подошли к кассам — Таня испугалась вдруг, что не будет билетов, — и потом вместе с другими вошли в подъезд. У Тани отлегло от сердца, и в то же время ей стало еще страшнее. Когда нужно прыгать в воду с большой высоты, втайне надеешься, что в последний момент что-то помешает.

На этот раз препятствия устранялись сами собой. У циркового подъезда стало пусто, в два часа пробежали последние опаздывающие; представление, очевидно, началось. Для верности Таня прождала еще десять минут и, выбравшись из очереди, быстро пошла к трамвайной остановке.

Сойдя на углу Челюскинской и Бакинских Комиссаров, она вдруг сообразила, что совершенно неизвестно, будет ли Сережина мама дома. Вчера она почему-то решила, что та, отправив детей в цирк, непременно останется хозяйничать. А если нет? Тогда все окажется напрасным — и вчерашний обман, который чуть не привел к ссоре, и потерянная возможность посидеть с Сережей в цирке и полюбоваться зверюгами. Главное, конечно, не зверюги. Главное — это то, что если не удастся поговорить сегодня, то уже такого удобного случая может и не представиться до самого отъезда Настасьи Ильиничны. А поговорить им нужно. Как бы ни смотрел на создавшееся положение Сережа, она, Таня, с этим мириться не может. То есть, возможно, в конце-то концов ей и придется примириться, но сначала она должна попытаться сделать все. Это ее долг перед Сережиной мамой, даже если сам Сережа этого не понимает...

Дядяша сказал однажды, вспоминая какой-то случай из гражданской войны: «Герой не тот, кому посчастливилось родиться с проволокой вместо нервов; настоящий герой — это тот, кто продолжает выполнять свою за-

дачу, хотя у него от страха и душа в пятки уходит». Тане сейчас невольно вспомнились эти слова, когда она свернула в переулок и увидела наискось через улицу знакомый приземистый домик. «Сейчас я, конечно, самая настоящая героиня», — подумала она, пытаюсь подбодрить себя шуткой. Это оказалось не так просто. Ноги сами пронесли ее мимо калитки, она прошла еще целый квартал и, совершенно обессиленная волнением, присела на кривую скамейку у чьих-то ворот.

Господи, если бы она могла сейчас вернуться домой и засесть за книги, не думая ни о каком разговоре... или если бы этот разговор был в эту секунду уже позади... Если бы, если бы! Что толку в этих «если бы». Неужели у всех любовь бывает такой же трудной? Столько трудностей, столько препятствий... Лет четырнадцати — в то время она уже думала о любви довольно часто, начитавшись запретных романов, — ей казалось, что стоит лишь полюбить — и мир вокруг станет сразу сияющим и радужным, словно глядишь на него сквозь хрустальную пробку. А что получается? Почему рядом с этим огромным счастьем, которое дал ей Сережа, обязательно идут всякие заботы и трудности, которых она никогда не знала раньше?..

Почему, например, она вообще должна идти сейчас к Настасье Ильиничне, переносить эту встречу и этот труднейший разговор? Если даже Сережа смотрит на это более спокойно... а уж она-то сама ни в чем перед его мамой не виновата, и оправдываться ей не в чем. Так зачем же добровольно — и безо всякой нужды — брать на себя такое трудное дело? Мало у нее, что ли, других забот и неприятностей: экзамены на носу, Сережа ревнует из-за всякого пустяка, Дядяша был в школе, и эта Вейсмап наговорила про нее уйму каких-то ужасных вещей...

Таня думала обо всем этом, неловко сидя на краешке покосившейся скамейки, щурилась от апрельского солнца и пыталась изо всех сил убедить себя в том, что новое решение — встать и уйти домой, ни к кому не заходя, — что это решение и есть самое правильное. И что вчера она просто не подумав поддалась ребяческому порыву. И что, конечно же, она ничем не виновата перед Дежневой...

Эти попытки убедить себя были, по существу, спором. Ей приходилось спорить — трудно даже сказать, с кем или с чем именно. То ли одна половина ума спорила с другой, то ли ум спорил с сердцем, то ли одно и другое вместе спорили с кем-то третьим. Ты перед его мамой не ви-

новата, говорил первый спорщик, а второй отвечал на это: ты не виновата, верно, но можно причинить горе и не будучи виновной. Ты ведь отнимаешь у нее сына, и не прикидывайся, будто не понимаешь этого. Так что виновата или не виновата, а ты перед нею в большом долгу...

Ей вспомнился вдруг последний разговор с Дядесашей, месяц тому назад. Он тогда опять не сказал ничего определенного, но видно было, что противиться уже не будет. Дядесаша был в тот вечер сдержан и спокоен, как обычно, но она не могла отделаться от ощущения, что эта сдержанность прикрывает очень большую печаль, и ей было стыдно и хотелось приласкаться к Дядесаше, как в детстве, но что-то удерживало ее, и она тоже говорила более или менее спокойно, не показывая своих трудно определенных, смятенных чувств. Уже после того как разговор был, по существу, окончен, Дядесаша сказал вдруг: «Да, вот оно как получается... А я ведь еще думал, Татьяна, что на следующее лето выхлопочу себе отпуск подольше и закатимся мы с тобой путешествовать... Среднюю Азию хотел тебе показать, Забайкалье, Приморский край... А то ведь, как подумаешь, нам с тобой и поговорить по-настоящему никогда особенно не удавалось — ну, я не имею в виду там о школе или о новостях, — а вот так, о жизни вообще. Ты ведь теперь взрослой становишься, я, бывало, всегда думал: Татьяна интересным будет человеком, когда вырастет, внутренне интересным... Ну что ж, ничего, брат, не поделаешь...» Он говорил обычным своим тоном, но ей от этих слов ужасно захотелось пореветь, уткнув нос в его гимнастерку, а она вместо этого — дура, дура! — заявила вдруг: «Так мы же сможем поехать теперь втроем»...

Бедный Дядесаша. И ведь нужно учесть, что Сережа ему очень правится. А если бы она полюбила человека, который казался бы ему никчемным — как кажется она Сережиной маме? Действительно, при чем тут — виновата, не виновата... Должна же ты понимать, какое горе причиняешь ей своим счастьем!

Посидев еще минуту, Таня встала и медленно пошла к приземистому домику.

Настасья Ильинична не высказала никакого удивления при виде гостьи.

— Здравствуйте, Танечка, — сказала она очень сдержанно, может быть даже чуть неприязненно. — Вы к Сереже? А его нет, не знаю даже, когда вернется...

— Да, — кивнула Таня, — он мне говорил вчера, что идет в цирк. Я не к нему, Настасья Ильинична, я при-

шла к вам. Мне нужно поговорить... если вы позволите.

— Поговорить? — переспросила та, на этот раз уже удивленно.— Ну, что ж... заходите. Раздевайтесь, у нас не холодно...

Таня сняла пальто. Утром, готовясь к этому разговору, она решила надеть самое свое строгое платье, черное с белыми манжетами и воротничком, которое Люся называла «монашеским». Платье это делало ее выше и тоньше; сейчас она стояла перед усталой пожилой женщиной, коротко причесанная и юношески стройная — странная смесь женственности и мальчишества, — и лихорадочно пыталась найти в голове те слова, с которых нужно было начать этот разговор.

— Садитесь, чего ж стоять, — сказала хозяйка, оставаясь у притолоки со сложенными на груди руками. Ровно полтора года прошло с тех пор, как Таня у них обедала; за это время Дежнева видела ее в городе всего два-три, да и то издали и мельком. Сейчас она разглядывала девушку с затаенным ревнивым любопытством — ее слишком аккуратно и не по-школьному причесанную голову, слишком тонкие чулки, слишком дорогое и словно обливающеее фигуру шерстяное платье. В таком можно в театр или на танцы куда-нибудь, а она среди дня надеда. Зачем — похвастать? Или просто покрасоваться лишний раз?

Видя, что сама хозяйка остается на ногах, Таня тоже не села, кивком поблагодарив за приглашение.

— Настасья Ильинична, — сказала она каким-то не своим голосом. — Вы, наверное, знаете, о чем я пришла с вами говорить. Я знаю, как вы ко мне относитесь, я еще Сереже об этом говорила, что это нормально и что во мне действительно нет ничего такого, что... что могло бы вам понравиться и... заставить относиться ко мне иначе. Но... — Таня перевела дыхание и судорожно глотнула воздух. — ...вы понимаете, Настасья Ильинична, нельзя же, чтобы это так и оставалось — наши отношения... Ведь если мы с Сережей любим друг друга, то нужно же... нужно же искать какой-то выход, ведь правда...

— Да вы сядьте, — опять пригласила Дежнева, но Таня не обратила на это внимания, продолжая говорить еще быстрее, сбиваясь и картавя:

— ...я прекрасно понимаю — я должна производить на вас отвратительное впечатление, и вы, конечно, думаете, что Сереже будет со мной плохо. Я, наверное, должна была бы вообще отказаться от Сережи, раз вы против... Я

как раз сейчас поняла, как трудно быть счастливой, если для этого нужно причинить кому-то горе,— но я не могу это сделать, Настасья Ильинична, поймите! Вы уверены, что я Сереже не подхожу, а я уверена, что подхожу только я и никто другой и что только я могу сделать его счастливым на всю жизнь...

— На всю жизнь,— усмехнулась Дежнева.— Что вы в ней знаете, в жизни-то...

Таня сделала шаг вперед, сложив руки умоляющим жестом:

— Поймите же, Настасья Ильинична, я, может быть, мало знаю, но я совершенно и абсолютно уверена, что у меня хватит сил, потому что никто еще не любил так, как мы с Сережей любим друг друга! И если вы думаете, что я белоручка и ничего не умею делать, то я теперь дома делаю все сама, только белье отдаю в стирку, а домработницы у нас уже давно нет, я сама не захотела...

Она беспомощно замолчала, поняв вдруг, каким смехотворным должен показаться Настасье Ильиничне этот ее последний довод и как он подтверждает сложившееся у той мнение о ней как о маменькиной дочке и белоручке,— и тут же добавила потерянным голосом, совсем уже неизвестно для чего:

— Я умею штопать носки, правда...

Дежнева подумала, что, для того чтобы выходить замуж да еще сделать мужа «счастливым на всю жизнь», нужно не носки уметь штопать и обходиться без домработницы, нужно быть готовой к тысяче всяких трудностей, больших и малых, нужно уметь жить на триста рублей в месяц, бегать по очередям и ухаживать за больными детьми, а первым делом — нужно понимать то, чего не понимает эта выхоленная и избалованная девочка: что замужество вообще — это не легкая и приятная жизнь с полюбившимся парнем, а труды и заботы, которые будут сменять друг друга, никогда не кончаясь, до самой смерти. Все это подумалось ей, и она уже собралась сказать это гостье — хотя трудно было найти правильные слова,— как вдруг случилось совсем неожиданное. Шагнув к столу, гостя как-то боком, будто сломавшись, упала на стоявший у стола табурет и расплакалась громко и с отчаянием, уткнув лицо и дергая по клеенке локтями.

Настасья Ильинична смотрела на нее ошеломленно, не зная, что делать.

— Ну ладно... будет тебе,— сказала она, не заметив в растерянности перехода на «ты». — Чего ж слезы-то распускать... тебе-то вроде и не с чего.

Таня рывком подняла лицо, искаженное и залитое слезами.

— Вы думаете, мне легко! — выкрикнула она с рыдающим.— Вы думаете, для меня это забава!

— Ну, ну, будет,— повторила растерянно Дежнева.— Никто про вас с Сережей такого не говорит. Ясно, не забава это для вас...

— Так почему же вы не верите, что я хочу ему счастья! Ведь я даже не о себе думаю, а...

Не договорив, Таня снова уронила голову в руки и зарыдала еще громче. Дежнева села рядом.

— Ну, чего ж убиваться-то так,— сказала она негромко.— Разлучают вас, что ли...

Она вздохнула, посмотрела на плачущую девушку и продолжила более мягким тоном:

— Ты небось думаешь, я против тебя зло держу? Нет, Танечка, никакого я против тебя зла не имею. За сына мне страшно — вот что ты должна понимать... да я ведь и о тебе тоже думаю! Не выйдет у вас с Сереженькой жизни — так ведь тебе же первой счастья не будет, так и загубишь свою молодость. Ему-то что, в этом деле нам, бабам, куда труднее приходится...

Таня вскинула голову, словно ее хлестнули.

— Я понимаю, вы боитесь за сына — я сама сразу это почувствовала! — крикнула она, отмахнув от виска прядь волос.— Но только не говорите обо мне! Что вы понимаете в моем счастье! Вы думаете, мне что нужно — чтобы муж был командующим округом или народным артистом? Я прекрасно знаю, что нам с Сережей будет, наверное, очень трудно, но какое это имеет значение, поймите же вы наконец! Когда любишь, все это совершенно никакого значения не имеет! Вы просто не понимаете, что значит любить!

Дежнева выпрямилась и поджала губы.

— А ты не думай, будто одна ты все понимаешь,— помолчав, отозвалась она с обидой в голосе.— Любить-то всякая умеет... невелика наука. Тебе, девушка, много еще горького в жизни нужно хлебнуть, вот что я скажу. Тогда, может, только и поймешь, как оно, счастье-то, добывается. А покамест, издаля, все оно легче легкого...

Наступило молчание. Таня долго сидела с опущенной головой, всхлипывая все реже и реже, потом встала.

— Можно у вас умыться? — спросила она вздрагивающим голосом, не глядя на Дежневу. Та налила в раковину свежей воды. Таня умылась, причесала растрепанные волосы.— Я пойду,— сказала она тихо, берясь за

пальто.— Простите меня, Настасья Ильинична... Я думала, мы сможем как-то понять друг друга. Так вот — если вы хотите, чтобы я оставила Сережу... — Таня помедлила, застегивая пояс, и подняла на Дежневу большие потемневшие глаза, выражение которых было в эту минуту почти суровым.— ...то этого я вам обещать не могу,— докончила она.— Вернее, я должна прямо сказать, что никогда не сделаю это сама. И еще я вам обещаю сделать все, чтобы он был счастливым... на всю жизнь. Я думаю, у меня это получится. Ну вот. И... я должна попросить у вас прощения, за все. Мне ужасно тяжело, что так... Простите, пожалуйста, я вас очень-очень прошу...

Она порывисто нагнулась и, схватив руку Дежневой, на секунду прижалась к ней всем лицом.

— Да что ты, господь с тобой,— опешив, пробормотала та почти испуганно. Таня отпустила руку и выбежала из комнаты.

Вернувшись из цирка, Сергей застал мать с заплаканными глазами.

— Ты чего? — спросил он с тревогой.

— Да так, сынок,— ответила она уклончиво. Настаивать он не стал: мать часто плакала, вспомнив вдруг Колю, и ничего необычного в ее слезах теперь не было.

После обеда, услав Зину играть к подружке, Настасья Ильинична рассказала сыну о посещении Тани. Сергей был поражен. Первое, что он почувствовал, был острый стыд за свою вчерашнюю ревность. Значит, вот куда собиралась Таня идти! А он-то, скотина...

— Она тебе-то сказала об этом? — спросила Настасья Ильинична.

— Что, ма? — Сергей не сразу оторвался от своих мыслей.— Нет, что ты! То есть она давно уже говорила как-то, что хотела бы с тобой поговорить обо всем... да я ей отсоветовал. Я, знаешь, думал, что это ни к чему...

Он прошелся по комнате, поглядывая на мать, сидящую с питьем у окна.

— Ну так как, ма? — спросил он наконец, не дождавшись продолжения разговора.— Ты вот теперь еще раз с Таней повидалась, говорила с ней. Ну, как она тебе кажется? Неужели ты до сих пор не видишь...

— Все я вижу, сынок,— негромко ответила Настасья Ильинична.— Ты уж думаешь, я слепая... Все вижу, а что тебе сказать — не знаю. Хорошая она девушка, верно...

Раньше я этого, может, и не видела... и крепко тебя люблю, это тоже верно. И это я теперь знаю, после сегодняшнего. Так что... ничего дурного про нее не скажешь, и если я когда худое про нее думала, так это мой грех... — Настасья Ильинична говорила медленно, не поднимая глаз от шитья. — ...И жалко мне ее сегодня стало прямо до слез... таким, как она, ох как трудно в жизни приходится... И не только им, сынок, а и тем, кто с ними рядом. У тебя счастья с ней не будет, Сереженька, это я тебе и раньше говорила и теперь говорю. Не оттого, что плохая она... этого-то про нее не скажешь... А силы в ней настоящей нету. Такие жарко горят, да быстро выгорают — вот что я про нее скажу. И не в укор это ей, избави Христос, — такая родилась, такая воспиталась. Так-то, сынок. И отойти от нее не отойдешь, теперь-то я это вижу... И как подумаешь -- жить вам вместе, так и за тебя страшно, и за нее. А так, что ж, решать ведь тебе, Сереженька, ты парень взрослый, материным умом жить не станешь...

8

Пятнадцатое мая, последний день занятий. В школьном саду цветут каштаны. Окна распахнуты настежь, и жаркое послеобеденное солнце заливает класс. Никаких занятий, впрочем, уже нет; консультации для желающих будут продолжаться вплоть до двадцатого, но повторение уже закончено, десятиклассники ознакомлены с программой испытаний, известно содержание билетов, заготовлены шпаргалки — крошечные листки папиросной бумаги, бисерно исписанные формулами.

— ...и я считаю, товарищи, что это просто стыдно, — говорит группорг Земцева на большой перемене. — Уж на выпускных можно было бы обойтись без этого! Ведь это наш отчет за все десять лет, неужели мы и здесь не можем быть честными?

За партами возбужденно шумят. Никто не вышел из класса — для них, десятиклассников, школьные законы уже не писаны, они уже взрослые люди и могут проводить переменку где им угодно. Слова секретаря комсомольской группы встречаются взрывом шума.

— Тебе хорошо, — заявляет Сашка Лихтенфельд, — ты ни шиша не боишься, отличница! А я вот с немецким зашиваюсь. Что же мне, из-за неправильных глаголов па второй год оставаться?

Взрыв смеха — немец Лихтенфельд зашивается с немецким!

— Так что ж с того, что немец, — обиженно огрызается Сашка, — вон в параллельном Димка Ставраки учится — что ж ему, Гомера прикажете в подлиннике читать? Мы и дома сроду по-немецки не говорили! Ты пойми, Земцева, я же не собираюсь отвечать по шпаргалке, но я себя увереннее буду чувствовать, если шпаргалка при мне. Ну, на всякий пожарный, понимаешь?

— Ничего я не понимаю! Тебя что беспокоит — спряжения? Прекрасно, еще есть время позаниматься. Вот у Николаевой с немецким все в порядке — вместе и поработайте!

— Конечно! — кричит Таня. — А кто со мной будет заниматься по математике?

— Ну вот, — вздыхает группорг, — опять за рыбу грóши. Что у тебя с математикой? Ты же говорила, что подготовилась!

— А теперь не уверена! В комплексных числах по алгебре — не уверена. — Таня начинает загибать перемазанные чернилами пальцы. — В исследованиях уравнений высших степеней — не уверена, в обратных круговых функциях по тригонометрии — тоже не уверена, а по стереометрии у меня вчера не вышел объем призмы...

— Ничего, Николаева, — ободряет кто-то, — похороним с музыкой! Гроб себе заказала?

— Ти-ше!! — кричит Земцева. — Дежнев! Таня ведь занималась в твоей группе — в чем же теперь дело? Ведь ты мне сам сказал, что группа к испытаниям готова!

— Так она и была готова! — с отчаянием в голосе отвечает Сергей и оборачивается к Тане. — Ведь мы же с тобой еще в воскресенье все это делали — и объем призмы, и объем пирамиды, и...

— Ну вот, а вчера у меня призма опять не вышла! — капризно отзывается Таня. — Тебе так трудно объяснить мне все это еще раз?

— Ладно, — машет рукой Людмила, — ну тебя совсем. Инна, ты можешь позаниматься с Лихтенфельдом?

Инна Вернадская, прозванная «профессоршей» не столько из-за громкой фамилии, сколько из-за отличной успеваемости и единственных в классе роговых очков, спокойно кивает. Конечно, почему бы ей не позаниматься, у нее-то самой отличный аттестат уже почти в кармане.

— В общем, товарищи, — кричит Земцева, — я вам все-таки не нянька — это уж вы и сами можете решить, кому с кем заниматься в остающиеся дни! Но только я, как группорг, категорически настаиваю на одном — ника-

ких шаргалок на испытаниях, по крайней мере у комсомольцев! Ваша комсомольская совесть...

Игорь Бондаренко снисходительно усмехается, держа руки в карманах и покачивая носком блестящей модельной туфли. Буза все это — со шаргалками, без шаргалок... взрослые люди, а устроили «на лужайке детский крик» из-за такой ерунды. Дурак он, что ли — идти на испытание незастрахованным и рисковать остаться без мотоцикла. Старик обещал твердо — мотоцикл в обмен на аттестат. Законная сделка, товарообмен по всем правилам. А мотоцикл — игрушка, новенький немецкий ДКВ, второго такого случая не представится. Адик достал его в Черновцах и продает теперь только потому, что позарез нужны «пяти-метки». Нет, комсомольская совесть пускай полежит в кармане, рядом со шаргалками. А Люд-ка-то дура -- какая девочка, пальчики оближешь, и не находит более интересных занятий...

— Послушайте, послушайте! — встает Лена Удовиченко. — Я вот что предлагаю: давайте в перерывах между испытаниями собираться как можно чаще. Назначим место — ну, хотя бы в парке — и будем приходить туда. Кто хочет — просто отдыхать, а у кого возникнут какие-нибудь трудности — так легче же вместе! Девочки, правда, давайте, чтобы это было организовано!

— А мальчикам с вами нельзя? — басит кто-то.

— Можно, если без футбола!

— А вы чтобы без сплетен!

Людмила смотрит на часы и хлопает в ладоши:

— Товарищи, мы болтаем уже десять минут! Я считаю, что Лена придумала замечательно, давайте так и решим...

— А что, «явка обязательна»?!

— Нет, зачем же! Просто кто хочет, кому это будет интересно. По-моему, так можно сочетать отдых с повторением, ведь правда? Давайте договоримся так: вот сегодня сдаем, а завтра с утра приходим в парк, ну, скажем, к оркестру. Там днем никого не бывает, есть скамейки — можно даже писать — и если дождь, то можно забраться в раковину...

Володя Глушко на минуту приподымает взлохмаченную голову, прислушивается рассеянно и снова наклоняется над партией. Перед ним целая пачка вырезок, одолженных одним парнем из девятого. Бормоча что-то, он переписывает себе в блокнот: «Англия — Хаукер «Тайфун», истребитель, скорость макс. 650 км/час, мотор Н-образный, «Нэпир-Сэйбр», мощн. 2400 л. с.». Он изум-

ленно ерошит волосы. Две с половиной тысячи, что-то потрясающее... что ж это — выходит, Мишка тогда был прав? А он сам доказывал, что двигатели внутреннего сгорания достигли уже своего потолка удельной мощности и авиационный двигатель больше полутора тысяч будет практически неприменим из-за своих габаритов, а следовательно, остается одно — переводить авиацию на реактивное движение. А вот англичане, собаки, построили теперь этот Н-образный «Нэпир». Хоть бы одним глазком поглядеть, как такая штука может выглядеть... Володя вздыхает и для практики бормочет по-английски: «Ту саузенд фор хандред эйч-пи...» «С-саузенд», — шипит он старательно, по всем правилам прижимая кончик языка к верхним зубам. Т-т-саузенд! Д-заузенд! Нет, пластинка произносит все же как-то иначе. Проклятый звук, никак его не отработаешь.

Косыгин с Улагаем виртуозно курят на «камчатке» — дым уходит куда-то под парту и потом в окно, и никто ничего не замечает. Впрочем, сегодня можно было бы покурить даже и не втихую, если бы не Земцева. Эта разье позволит!

— ...а я уже договорился, — рассказывает Улагай, — как сдам — сразу пойду оформляться. Идем вместе, лопух! Завод еще тот — чистенький, светлый, это же тебе оптика, а не жук на палочке. Освоишь профессию в два счета, может, через год будешь уже по шестому разряду получать!

— Сам ты лопух — мне ж в этом году призываться, не знаешь, что ли...

— Верно, тебе же призываться, — сразу остывает тот. Он с завистью посматривает на приятеля. — Слышь, Женька, а ты куда хотел бы попасть?

— Спрашиваешь! Буду проситься в бронетанковые, куда ж еще. Дурак ты, что с нами в воскресенье в лес не пошел — мы аж до танкодрома дошли...

— Так вас туда и пустили, — недоверчиво говорит Улагай.

— Чего, мы на самом танкодrome не были, я не говорю! А через овражек смотрели, никто нас оттуда не гнал. Танк видали — новый какой-то, ох и интересный! Такой, понимаешь, низкий, и башня грибом. А экипаж четыре человека, я видел, как вылазили...

— Так уж и новый! — Улагай явно не может примириться с мыслью, что Женьке удалось повидать новую технику, хотя бы через овражек. — Наверняка старый, просто ты раньше никогда таких не видал.

— Может, и старый,— неожиданно мирно соглашается Косыгин, хотя твердо убежден в обратном. Просто ему становится вдруг жаль приятеля: на танкодроме не был, ничего не видал, и вообще парню не везет. Все ребята уходят в армию, а ему придется работать. Чего уж лиш- ний раз огорчать человека!

— Знаешь,— говорит он,— мы вот с тобой, как осво- бодимся, сходим туда вместе. Когда-нибудь в выходные. Может, снова увидим. Слышь, Колька, а ты почему так уж уверен, что не пройдешь комиссию?

— Так мне сам врач и сказал. С таким зрением, гово- рит, в армию не берут. И слушать не хочет...

— Вот формалист, зараза,— сочувственно качает го- ловой Женька.— А жаль, скажи, нам бы с тобой в одну часть...

Таня присоединяется к группе девушек, обсуждающих объявленные темы сочинений. Идет спор, что легче — «Поэтическое мастерство Маяковского» или «Молодое по- коление в пьесе А. П. Чехова „Вишневый сад“».

— Самая легкая тема, девочки,— заявляет Маша Ару- тюнова,— это «Образ Давыдова в «Поднятой целине» Шо- лохова». Сколько мы этот образ разбирали — уж прямо по косточкам...

— Поэтому-то она и неинтересна,— говорит Таня.— А раз неинтересна — значит, и работать над ней будет труднее...

— Вот так так! — перебивает ее Галка Полещук.— Легче, а значит, поэтому и труднее?

— Именно так, Галочка,— с язвительной вежливостью отвечает Таня.— Для успеха творчества необходимо, что- бы оно прежде всего захватывало самого автора. Вы не согласны? Да вы поймите, девчонки, ведь это тоска — си- деть над скучной темой и тянуть из себя слово за словом. Правда! А если тема интересная, так у тебя столько мыс- лей сразу появится, что и шести часов не хватит их из- ложить!

— Дурочкой я была бы, сидеть над сочинением шесть часов.— Галка Полещук пожимает плечами.— Часа за два-три напишу, и хватит. Лишь бы на «хор». Да, вот ес- ли бы попался Давыдов...

— Знаешь, это с твоей стороны просто нечестно! — вспыхивает Таня.— Я понимаю, когда не можешь,— я вот по математике если и засыплюсь, так только потому, что действительно ни бельмеса не понимаю. А знать и не хотеть — это просто нечестно по отношению хотя бы к Сергею Митрофановичу! Ну, напишешь серенькое сочи-

нение, — ты думаешь, ему приятно будет? Для него ведь каждая отличная оценка — это радость! Человек на нас столько труда положил...

К Игорю подсел Володька Бердников. Это приятели, они всегда вместе не только по алфавиту в классном журнале.

— ...пластиночки у нее — закачаешься! Целый альбом, все из Прибалтики...

Бондаренко со скучающим видом — выпятив подбородок и брюзгливо опустив углы рта — поправляет галстук и прищуренными глазами обводит группу девушек у окна.

— Из Прибалтики? — спрашивает он. — Рижские пластинки бывают ничего... А Лещенко у нее есть?

— Лещенко? А кто это?

— Эх ты, дитя социализма... — Игорь подавляет зевок. — Забреди как-нибудь к Адику, он тебе прокрутит... Ему из Черновиц привезли, бухарестская запись. В субботу у него будешь? Заходи, не пожалеешь. Послушь, Волó, а Танька-то как цветет, а? Посмотри на нее и призови на помощь фантазию... С изюминкой девочка, скажешь — нет? Мне говорили, она собирается расписаться со своим пролетарием? — Бондаренко говорит негромко, скучающим тоном. — Жаль... Уж он-то ее окунет в советский быт. Вот уж действительно... «зачем плебея своего младая любит Дездемона?» Капризы жизни, Волó, капризы жизни... Вообще тоска берет. Скорей бы развязаться с этим балаганом, получить аттестат... а там я на мотоцикл — и в Крым, с какой-нибудь фифой на багажнике...

Бердников завистливо посматривает на своего блестящего приятеля: у него самого нет возможности ни получить мотоцикл, ни закатиться в Крым «с фифой на багажнике».

— Охота была покупать мотоцикл на одно лето, — говорит он. — В сентябре все равно забреют, там уж не покатаешься.

— Кого забреют, кого не забреют, — тем же ленивым тоном загадочно отзывается Бондаренко.

Сергей перечитывает полученное сегодня письмо из Тулы. Доехали благополучно, все в порядке. Мамаша зовет летом хоть на месяц — верно, не без умысла. Конечно, съездить нужно будет... Но только как с Таней? Шутка сказать — не видется целый месяц... Разве что поехать вместе — пожила бы там в гостинице... а мамаше ничего не говорить. Хотя нет, почему же не говорить?

Скрывать нечего — приехали и приехали, в чем дело... Нужно поговорить с Танюшей, она, конечно, не откажется.

Сергей прячет письмо в карман и подходит к группе девушек, но Таня слишком увлечена спором. Постояв рядом, он идет покурить в сад. Сегодня можно попросить огонька у самого завуча!

— ...ну правильно, Маяковский труднее, — скороговоркой картавит Таня, — но ведь я же сказала, что важно, прежде всего, чтобы тема была интересной! Если она просто трудная, но не интересная — кто же за нее возьмется? Конечно, Маяковский труднее, но эта тема, по моему, какая-то отвлеченная. Анализ поэтического мастерства! А о молодежи из «Вишневого сада» можно сказать гораздо больше, ведь у Чехова, пожалуй, во всем его творчестве один проблеск — Аня и Трофимов, понимаете? Трофимов говорит: «Пусть я сам не дойду, но по крайней мере укажу дорогу другим» — это же ключевая фраза, девчонки, это как раз то, на что надеялся Чехов! Ведь об этом можно столько интересного написать...

— Ой, девочки, что мы всё спорим сегодня, — вздыхает Ира Лисиченко, прищуренными от солнца глазами глядя в окно. — Ведь сегодня последний день, подумайте! Ну, до конца испытаний мы еще будем бывать в школе, но вот так — в классе — больше уже никогда в жизни...

Все затихают, словно эта мысль до сих пор не приходила никому в голову.

— А что, если отметить это как-нибудь? — предлагает Наташа Исакова. — Ну, собраться всем после уроков, всем классом, пойти куда-нибудь погулять, что ли...

— Правильно, девочки, — поддерживает Земцева. — Выпускной вечер — само собой, но отметить сегодняшний день тоже нужно...

— Чего отметить, а? — спрашивает подошедший Гнатюк. — О чем это вы, девчата? Если с выпивкой, то я — за!

— Не дурачься, пожалуйста, — строго говорит Людмила. — Лучше возьми и проведи опрос среди мальчиков — кто хочет собраться сегодня после уроков, будем провожать последний день учебного года. Хорошо?

Тридцатое мая. Кончилась первая декада экзаменов. Очень жарко, на улицах продают мороженое, белый возок дежурит у калитки 46-й школы, и толстая тетя Гапа

не жалуется на недостаток покупателей. В сквере на площади Урицкого зацвели тополя — еще несколько дней, и по асфальту закружится легкий пух июньских метелиц.

Да, послезавтра уже июнь, июнь тысяча девятьсот сорок первого года. Война еще далеко, но ее чадное пламя медленно расплзается по земному шару, ползет и ширится подобно кругам от камня, брошенного преступной рукой в сердце Европы. Гибнут люди и корабли в Атлантическом океане, днем и ночью режут под Тобруком пушки фельдмаршала Роммеля, в пустынях Ливии и Киренаики песок заносит рваное железо мертвых танков и тысячи могил — тысячи безымянных могил, в которых, не долюбив, не доучившись, не прожив и трети отпущенного человеку срока, лежат парни из Шеффилда и Тосканы, из Бремена и Мельбурна...

Война спущена с цепи, но пока еще повинуетя тому, кто это сделал; армии «Оси» наступают в Северной Африке, наступление в Греции завершено, окончательная ликвидация последних опорных пунктов англичан на Крите — вопрос дней; траурное знамя со свастикой реет над десятью покоренными столицами. Сейчас, в начале лета сорок первого года, пути и сроки войны определяет Берлин.

Фактически лето уже началось, хотя до солнцестояния еще целых три недели. Давящая, словно предгрозовая жара изнуряет и днем и ночью. В такую погоду только не хватает сдавать выпускные экзамены!

Таня совершенно извелась за эти дни, потеряла аппетит и сон, под глазами у нее опять появились синие тени, и уже злобные соседки посматривали на нее с подозрительным любопытством. К счастью, она находилась в таком ошалелом состоянии, что не замечала этих взглядов.

Сдав очередной экзамен, она плелась домой, принимала душ и заваливалась спать — днем заснуть еще удавалось. Около одиннадцати ее будил Дядяша, к этому времени он обычно успевал вернуться и приготовить чай. Проглотив стакан почти черного настоя — в этом отношении полковник привил ей свой вкус, — Таня обретала способность соображать и отвечать на вопросы. Да, на этот раз пронесло — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не слазить. Три вопроса, из них один очень трудный, но на него она ответила сразу, а с одним из легких почему-то немножко запуталась — но неважно, комиссия все равно поняла, что она запуталась не по незнанию, а просто от страха...

Угу, следующий через два дня. Нет, это не самый страшный — конечно, некоторые разделы механики ей казались очень трудными, но теперь Сережа ей объяснил, — а самый страшный это будет по стереометрии, тут она определенно окажется в собачьем положении. Да нет, это вообще никакая не грубость, это просто анекдот, и, наверное, очень старый: чем экзаменуемый похож на собаку? — тем, что тоже смотрит умными глазами, все понимает и ничего не может сказать. Вот это ей только и останется — смотреть умными глазами...

После чая она выходила на часок подышать воздухом на бульваре и усаживалась за работу, на этот раз уже до утра. Система была — хуже не придумаешь, но что поделывать, заснуть ночью ей просто не удавалось. Утром, когда приходил Сергей, Таня встречала его совершенно измученная, уже мало что соображая. От занятий с полковником — отличным математиком — она отказалась именно потому, что Дядяша не обладал должным терпением, но теперь оказалось, что терпения не хватает даже у Сережи. То ли его тоже утомили экзамены, то ли он просто беспокоился за нее — трудно сказать. Во всяком случае, занятия их часто прерывались совершенно неожиданными вспышками то с одной, то с другой стороны: стоило Тане чего-нибудь не понять, как он начинал на нее покрикивать, она отвечала тем же, сначала просто так, а потом уже и с горькой обидой.

Из коллективных занятий в парке по проекту Лены Удовиченко, разумеется, ничего путного не вышло. Задумано было хорошо, а на деле совместная подготовка превратилась в «хаханьки и вздоры», как говорила Таня, повторяя любившееся ей тыняновское выражение. При этих условиях заниматься математикой лучше всего было, конечно, отдельно, и именно с Сережей; но вот поodi ты — даже с ним занятия то и дело кончались слезами.

Впрочем, плакать она теперь была готова часто и по каждому пустяку. Не желающий разгораться примус, тетрадка, завалившаяся за тумбу письменного стола, или оторванный крючок на лифчике — все это были отличные поводы для маленьких истерик; проходили они очень быстро, но оставляли чувство глубокого отвращения к самой себе и еще большее предрасположение к слезам. А впереди было еще почти три недели экзаменационных мук.

Потом наступил перелом — сразу и неожиданно, как обычно случаются в жизни все крупные события. Сдав химию, Таня вдруг сообразила, что благополучно выдержала выпускные экзамены: три оставшихся — немецкий, история и география — ее совершенно не тревожили. Это было шестого июня. К тому же в этот день, как нарочно, изменилась погода и с самого утра было прохладно. Все складывалось теперь просто великолепно!

Они вышли из класса вместе, но Людмила сразу же убежала по общественным делам, — комиссия по организации выпускного вечера уже начала действовать, и сегодня предстояло совещание с девушками из параллельного. Сергей должен был освободиться минут через двадцать. Таня уселась на своей излюбленной скамейке и, злорадно улыбнувшись, раскрыла на середине толстый потрепанный учебник химии. Впрочем, корешок оказался еще довольно прочным. «Ах, так», — сказала Таня и дернула уже изо всей силы, книга с треском разодралась, обе половинки полетели в разные стороны, шелестя страницами. Таня расстегнула на блузочке еще одну кнопку и запрокинула голову, с наслаждением вдыхая прохладный ветер. Уже пахло близким дождем, лапчатые листья каштанов шелестели оживленно, словно вместе с ней радуясь всему тому, что делало жизнь такой прекрасной, — пасмурной свежести, окончанию экзаменов, только что полученному «хор» по труднейшей органической химии. Таня закрыла глаза и от избытка чувств сморщила нос. «Вот с вами — друзья — мы прощаемся вновь — ждем — вас — во Львове! — запела она вполголоса модную «Песенку львовского джаза», взявшись за края скамейки и раскачиваясь в такт мелодии. — Вас встретит — горячая наша — любовь — просим — во Львов!..» Если бы не возраст, обязывающий как-никак к известной благопристойности, она, кажется, пустилась бы сейчас в пляс прямо здесь, на аллейке школьного сада.

На крыльце показался Сергей. «Ау-у!!» — звонко крикнула Таня, сложив ладошки рупором. Сергей обрадованно махнул ей и сбежал по лестнице, прыгая через ступеньки.

— Ну, поздравляю! — сказал он, сев рядом. — Видишь, а ты боялась. Здорово ты им выдала! Знаешь, мне прямо расцеловать тебя хотелось.

— Я думала, тебе всегда этого хочется, — с упреком сказала Таня, — не только когда я сдаю эти углеводороды.

— Конечно всегда, — поправился Сергей. — Только кроме тех случаев, когда ты капризничаешь.

— Это было от нервов, правда. Я больше не буду, никогда-никогда.

— Так я тебе и поверил. Слушай, а ты заметила, что ошиблась в одном месте?

— Где ошиблась?

— Ну факт, с перестройками углеродного скелета. Твое счастье, что это было в самом конце и комиссия тебя уже почти не слушала. Они как раз в этот момент о чем-то стали шушукаться, я обратил внимание. Поэтому и не заметили. Смотри — он тебя спросил: «Что дает перестройка прямой углеродной цепи пентана в разветвленную и как этот процесс называется?» — и ты сказала, что это циклизация и она повышает октановое число на тридцать процентов...

— Ну, а что?

— Чудачка ты. Насчет октанового числа правильно, но только это будет изомеризация, понимаешь? А циклизация — это когда углеродистый скелет перестраивают таким образом, что прямая цепь превращается в кольчатую... — Сергей взял палочку и начал чертить на земле вытянутые шестиугольники. — Смотри, вот как из гептана получают толуол...

— Ой, ну их совсем, Сережа, слышать уже не могу про эти гептаны и изобутаны! — Таня отняла у него пруттик и затерла подошвой чертеж. — Довольно химии, я даже учебник свой предала казни...

Сергей оглянулся и покачал головой, увидев останки растерзанной книги.

— Тоже, сообразила, — сказал он неодобрительно, — ребята без учебников сидят, а ты дурачишься...

Он встал, подобрал обе половинки, сверил номера страниц.

— Ничего, можно еще склеить. У нас во дворе один парнишка есть, подклею вот и отдам ему. Как-никак у человека пятерка в кармане останется... — Он сложил учебник и аккуратно завернул его в газету.

Таня смутилась:

— Дай мне, я лучше сумею... давай, давай, я же своих пионеров учила перешлетать! Я просто не подумала об этом, правда... Слушай, а что Стрелин пишет?

— У него тоже сейчас сессия, полный аврал. А вообще он молодец, вот голова у человека! Ты послушай, я вот тебе прочитаю...

Сергей достал из кармана письмо, развернул густо исписанные листки.

— Где это, подожди... ага... вот, слушай: «...надеюсь, ты внимательно следишь за событиями. Как тебе понравилось то, что произошло 24—27 мая? Помнишь мою теорию о том, что крупные корабли уже отжили свой век? Теперь она подтвердилась блестяще. «Худ» и новый немецкий линкор «Бисмарк» считались самыми мощными боевыми кораблями в мире, и их первая встреча кончилась гибелью обоих. «Худ» погиб и вовсе глупо,— не знаю, известны ли тебе подробности,— от детонации артиллерийских погребов после первого же залпа главного калибра «Бисмарка» (380 миллиметров). Это мне сказал один наш профессор, он сам военный моряк и в курсе дела. Подробности гибели «Бисмарка» еще неясны, но факт остается фактом — эта махина тоже покоится на дне (туда ему, собаке, и дорога). Короче говоря, колоссальные затраты труда, миллионы марок и фунтов стерлингов — все это пошло к чертям за несколько часов. Чувешь вывод? Помнишь, я тебе всегда говорил, что основные задачи флота в современной войне (рейдерство на коммуникационных линиях, блокада и пр.) могут с успехом исполняться малыми единицами, в частности подлодками. Я уверен, что так в будущем и будет. А все эти огромные плавучие крепости уже представляют собой слишком удобную цель хотя бы для авиации (ходят слухи, что «Бисмарк» потоплен именно самолетами-торпедоносцами), и никакая самая мощная система ПВО тут ничего не сделает...» — ну, и так далее. Что ты скажешь, Танюша?

— По-моему, интересно, — не совсем уверенно сказала Таня. — Мне понравилось, как он написал «туда ему, собаке, и дорога», только обидно за собак. Конечно, я не говорю про людей — людей мне жалко всяких, хотя бы и немцев, если они не фашисты. Сережа, а что значит «рейдерство»?

— Ну, это когда корабль выходит в море с заданием топить все встречные торговые суда противника. Это такой морской термин. Нет, я почему тебе это прочитал — ведь ты посмотри, как у него работает голова, а? Понимаешь, Танюша, очень важно, когда человек из всего умеет сразу сделать правильный, важный вывод... Ведь вот я прочитал про это сражение — и не обратил никакого внимания, а Валька сразу смотрит какой вывод загнул!

— Ну пожалуйста! — обиделась за него Таня. — Ничего удивительного в этом нет, ты же сам всегда рассказывал, что Стрелин сходит с ума по кораблям! Неудиви-

тельно, что он обратил внимание, а ты — нет... Ты ведь интересуешься электротехникой, и я уверена, что если бы ты прочитал что-нибудь важное в этой области, то сразу сделал бы вывод не хуже стрелинского...

Сергей засмеялся.

— Ну чего ты смеешься! Я в этом совершенно уверена. А то, что ты интересуешься мирным делом, а не военным, так это и хорошо. Я уже слышать не могу про войну! Вот имей в виду: если бы ты любил всякие военные вещи — все равно что, корабли или танки или что угодно, — то я бы тебя не любила, вот так и знай! Дядя-саша — это другое дело, Дядясаша — это Дядясаша, и никем другим его себе не представишь. А тебя бы я не любила!

— Да ладно, Танюша, я и не собираюсь интересоваться военной техникой, ну ее к шутам. Это ты права, Валька всегда только об этом и думал — водоизмещение, скорость, огневая мощь, радиусы действия — все только применительно к военно-морскому делу. А у меня ведь интересы другие, ты сама знаешь... Я как подумаю, сколько еще нужно нам строить заводов, какие можно создавать автоматические системы, так просто жадность какая-то появляется, честное слово, жизни, кажется, никакой не хватает все переделать... Я, если бы можно было, в институте по два курса за год бы сдавал, лишь бы скорее за работу...

— Интересно, когда бы это ты в таком случае находил время для меня, — вздохнула Тania. — Раз в неделю, правда?

Засмеявшись еще громче, Сергей схватил ее руку и прижал к себе:

— Глупышка, да у меня на все нашлось бы время, как ты не понимаешь! Ты ведь знаешь, Танюша, чем больше уплотняешь время, тем больше его остается! А насчет этого ты не бойся, никогда я не буду интересоваться ни танками, ни самолетами, гори они все синим огнем... Я человек мирный. Ты знаешь вот... Ты только Алексан-Семенычу не рассказывай, хорошо? Так вот, я тебе сознаюсь. Мне ведь в этом году нужно было бы призываться — ну, если бы не семейное положение, а вообще по возрасту пора. Так я, знаешь, не очень с охотой пошел бы... Ты не думай, конечно, что я там трудностей боюсь или что-нибудь такое... Я как раз считаю, что армия этим и полезна — закаляет как-то, делает тебя выносливым. Но понимаешь... просто не лежит у меня сердце к военному делу! Учиться, стать специали-

стом на все сто, работать — для этого и так жизни никакой не хватит, а в армии что ж — сам понимаешь, что нужно это, а все равно время какое-то получается потерянное, эти годы, пока служишь... А теперь ты скажи честно — вот как я тебе сказал — ты меня презирать теперь не будешь?

— Честное слово нет, Сережа, — очень серьезно сказала Таня. — Как ты мог подумать! Ну как ты только мог подумать, скажи! Я ведь очень-очень хорошо тебя понимаю, правда...

— Ну, ладно... — проворчал Сергей, видимо сам смущенный своим признанием. — Вообще-то хорошего в этом мало...

По широким листьям каштанов над их головой тихонько забарабанили первые дождевые капли, темные крапины появились на дорожке. Шумная кучка одноклассников, обменивавшаяся впечатлениями на крыльце, укрылась в тамбуре.

— Идем? — спросил Сергей.

Таня, умильно морща нос, отрицательно замотала головой.

— Смотри, простудишься, Танюша... У тебя ведь еще здоровье сейчас распатано. Мне вчера Александр Семенович на тебя жаловался, говорит — погнал бы хоть ты ее к врачу, что ли, теперь это ведь и тебя касается... А ты что, Танюша, по-прежнему не спишь?

— Ну, сегодня-то я буду спать, как стадо сурков! Вот разве что не засну от радости, что одолела химию? Нет, засну, слишком я устала за это время. Ты чудак, это же все было от нервов! Ни к какому врачу я не пойду, так и знай... Дядясаша хитрый — меня уговорить не смог, так теперь за тебя взялся. Нет, ты вот теперь сам увидишь, как я буду выглядеть. Это все было временно, от нервов. А дождик совсем слабый, смотри... ой, как хорошо, меня эта жара просто измучила... да — вот тебе еще одна причина, пожалуйста!

Действительно, дождь по-настоящему так и не разразился. Скоро он перестал совсем, лишь отдельные капли запоздало падали с крайних веток. Запахло мокрой зеленью и землей. Группа других разделавшихся с химией счастливых прошла к калитке по бетонной дорожке, не заметив сидевших поодаль Таню и Сергея.

— Тебе уже не хочется меня расцеловать?

— Мне всегда хочется, — ответил он. — А что?

— Тогда пошли.

— Куда?

— Ну, куда-нибудь, я уж не знаю, хотя бы к нам. Здесь же нельзя, правда?

Сергей засмеялся, сорвал ее со скамьи и, обняв, с силой крутнул вокруг себя.

— Ой... — пискнула Таня. — Пусти, задушишь!! Сережа!

Он поставил ее на землю и взял со скамьи завернутый в газету учебник.

— Идем, Танюша. И пожалуйста, застегнись, — строго сказал он. — Ты что — и в классе так была?

— Что ты, Сережа... Я растегнула за минуту до твоего прихода, правда...

9

Итак, сдан последний экзамен. В вестибюле девушки расцеловывают Ивана Никитича, за десять лет отзвонившего им тысячи уроков и перемен; потом сторож, растроганный и прослезившийся, снимает фуражку — все видят вдруг, что он стал уже совсем-совсем седенький за эти годы! — и торжественным жестом распахивает перед десятиклассниками высокую стеклянную дверь. Таня вдруг всхлипывает — громко и очень по-детски. «Что с тобой?» — тревожным шепотом спрашивает Сергей. «Нет, ничего... — Она улыбается и смаргивает с ресниц слезы. — Просто так... Дай мне платок, скорее...»

В последний раз они проходят по наизусть знакомой дорожке, выложенной бетонными шестиугольниками и расписанной узорчатой тенью и шевелящимися солнечными пятнами. Правда, они еще вернутся сюда в субботу, но это будет уже выпускной вечер, а «официальная часть» окончена.

Сегодня среда, восемнадцатое. Отличная погода, снова жарко, но теперь это уже никого не беспокоит: жара мешает занятиям, но для того чтобы отдыхать, загорать, купаться — что может быть лучше! Впереди чудесное лето. До самой короткой ночи года остается ровно трое суток.

На улице они долго еще стоят перед школьной калиткой, хохочут, кричат, перебивая друг друга. Словно заражаясь их весельем, с улыбками оглядываются на них прохожие, — такие шумные компании можно видеть сегодня перед многими школами Энска. Наконец, выпускники расходятся группами, прощаясь друг с другом до субботы.

Уходит Ариша Лисиченко со своим очкастым приятелем. Людмила бежит в институт — сообщить Галине Николаевне о своих одиннадцати «отлично».

— Ох и счастливица, — морщит нос Таня, глядя ей вслед, — подумай, ей теперь не нужно держать вступительных!

— Ладно, мы с тобой выдержим и вступительные, — смеется Сергей. — Ну, Танюша, я тебя пока тоже покину. Нужно пойти отправить мамаше телеграмму, верно?

— Конечно, Сережа! Не забудь от меня большой привет. Хорошо, я тогда пойду посилю. Вечером — где? Может быть, придешь к нам?

— Слушай, Танюша, наверняка Алексан-Семенычу будет приятно, если ты этот вечер проведешь с ним. Все-таки окончание школы, сама понимаешь...

— Так я и не собираюсь никуда уходить сегодня! Но ты приходи, мы проведем его втроем...

— Не знаю, может, не стоит... Сделаем так, Танюша: я тебе вечером позвоню, часов в восемь. Ну, я побежал.

— Сережа! Привет не забудь смотри!

И вот она идет по проспекту Ленина под знойным июньским солнцем сорок первого года — выпускница средней школы, высокая тоненькая девушка с коротко подстриженными кудрями цвета начищенной темной меди, большеглазая и чуть веснушчатая. Ей очень хочется побежать вприпрыжку, но положение обязывает, и она идет с большим достоинством, держась, по обыкновению, очень прямо и слегка щурясь от солнца, — идет во всеоружии своих семнадцати лет и новенького аттестата.

У первой таксофонной будки она останавливается и выгребает из кармашка мелочь. Теперь уже можно — и нужно — купить себе сумочку. По правде сказать, она уже присмотрела одну — такую маленькую, продолговатую, сейчас это модно...

Как обычно, проходит некоторое время, пока телефонисты на коммутаторе соединяют ее с полковником. В будке очень жарко, Таня вздыхает, переминается с ноги на ногу и то и дело отбрасывает от щеки надоедливую, как муха, прядку волос. Наконец в трубке слышится знакомый голос.

— Дядяша! — кричит она, прижимая к уху горячий влажный кружок эбонита. — Дядяша, всё!! Понимаешь — четыре «хорошо» и целых семь штук «отлично!» Ура, Дядяша!!

— Ну, Татьяна... — Голос полковника становится вдруг совсем хриплым. — Татьяна, я тебя... э-э-э... поздравляю от всей души. Молодец, брат, молодец...

— Служу — Советскому — Союзу!! Ты очень рад, Дядяша?

— Согласись, Татьяна, вопрос несколько неуместен. Ну, отлично, отлично. Ты что делаешь сегодня вечером?

— Пока ничего, в восемь должен позвонить Сережа. А что?

— Я хотел тебя попросить уделить сегодняшней вечер мне. Если ты не возражаешь, конечно. Мне хотелось бы поужинать с тобой где-нибудь в городе. Или у тебя более интересная программа?

Нет, ну этот Сережа — просто колдун какой-то! Как он мог догадаться?

— Нет, Дядяша, никакой программы нет, правда. Хорошо, я тогда скажу Сереже, что сегодня не могу... Я очень рада, Дядяша!

— Разумеется, если у тебя действительно...

— Нет-нет, Дядяша, я же говорю! В котором часу ты будешь дома?

— Часов в девять, скажем лучше — в двадцать один тридцать. Постарайся быть готовой к этому времени.

— Есть быть готовой в двадцать один тридцать! Что ты мне посоветуешь надеть, Дядяша?

— Право, не знаю. Ну, мне нравится твое это — черное, что ли, с белым воротом...

— Слушаю, товарищ полковник! Хорошо, к половине десятого я тебя жду...

В настоящем ресторане она не была еще никогда в жизни. Интересно и немного страшновато, если судить по тому, что обычно пишется в книгах о подобных местах. Страх наводил уже швейцар, распахнувший перед ними входную дверь, — огромный, бородатый, в странном обшитом галунами длинном пальто с золотыми пуговицами до самого низа.

Впрочем, уже в вестибюле Таня расхрабрилась настолько, что даже пожалела об отсутствии какой-нибудь накидки — или что обычно надевают в таких случаях? — которую можно было «небрежным жестом» отдать гардеробщику. Поправляя прическу перед зеркалом, она смотрела не столько на себя, сколько на полковника, стоявшего за ее спиной. Дядяша был сегодня просто великолепен, — ради торжественного дня на нем была парадная серая форма, черный галстук подчеркивал белизну крахмальной сорочки, на груди блестели три ордена, юбилейная медаль и Золотая Звезда Героя. У кого еще в Энске есть такой Дядяша?

Смело вступив в зал, она опять притихла, немного оглушенная джазом и ослепленная блеском зеркал и раззолоченных капителей. Когда Дядяша передал ей меню, она только глянула на него испуганными глазами и спрятала руки под стол, отрицательно мотнув головой.

— Ладно,— сказал тот, раскрыв переплет и неторопливо водружая на нос очки,— будем считать, что ты доверишь моему вкусу...

Доверие оказалось оправданным. Все, что им подали, выглядело очень красиво и, надо полагать, было вкусно; впрочем, на этот счет у Тани определенного мнения так и не сложилось. Во-первых, ей из-за новизны обстановки было не до этого, а во-вторых, как известно, в ресторане полагается признавать вкусным все — даже устрицы. Если бы ей сейчас преподнесли устрицу, она, очевидно, должна была бы похвалить и этого мерзкого моллюска — или же сознаться в своем невежестве, а это никому не приятно.

— А шампанское пить будем? — заговорщицки спросила она у Дядяши, немного освоившись и почувствовав, что есть больше не хочется. — В таких случаях ведь полагается, правда?

— Разумеется, я уже заказал,— кивнул полковник.

Действительно, принесли и шампанское. Таня ожидала выстрела, но, к ее разочарованию, официант раскупорил вино совершенно бесшумно.

— Ну, что ж, Татьяна,— сказал полковник.— Выпьем, брат, за окончание твоих школьных лет. Скоро ты начнешь самостоятельную жизнь...

Он помолчал, глядя на быстро бегущие со дна пузырьки и, видимо, желая сказать что-то еще. Потом крикнул, так ничего и не сказав.

— Да... ну ладно. За твое большое счастье, Татьяна.

— Спасибо, Дядяша...— шепнула Таня, обеими руками, чтобы не расплескать, держа полный до краев бокал.

Морща от удовольствия нос, она маленькими глотками допила до дна покалывающее ледяными иголочками вино и пожалела, что в ресторане бить бокалы не полагается.

Полковник снова взялся за свой коньяк. Пил он не закусывая.

— Ну что ж, Татьяна...— сказал он, закурив.— Вот и подошла к концу наша с тобой совместная жизнь. Да, брат, пять лет почти...

— Ты говоришь так, словно нам предстоит расстаться навсегда...

— Во всяком случае, надолго. Целый год! Для меня это очень долго, Татьяна. Приемные испытания начинаются в августе? Видишь, значит, через какие-нибудь полтора месяца вам уже нужно ехать...

Таня косится на полковника и подавляет вздох. Правда, это ведь очень долго — целый год. Нет, у нее просто не повернется язык сказать Дядесаше о поездке в Тулу, — придется Сереже ехать одному, как это ни печально. Может быть, не на месяц, а недельки на три. А потом они встретятся уже в Ленинграде... Или договорятся о встрече в Москве. В Москве было бы лучше — все-таки она должна сама показать Сереже свой родной город.

— ...почти пять лет, — медленно говорит полковник, постукивая папиросой по краю пепельницы. — Не успеешь оглянуться... Ну что ж, Татьяна, я надеюсь — ты на меня не в обиде за то, что я не сумел создать для тебя более нормальную семейную обстановку...

— Дядясаша, милый...

— Погоди. Я не умел тебя воспитывать, я это знаю... И никогда не надеялся, что буду уметь. Тут уж, брат, не моя вина... Но, так или иначе, тебя воспитали — школа, Зинаида Васильевна, твои друзья, и я думаю, воспитали неплохо... в основном, хотя у тебя есть много недостатков. Я о них уже говорил, и ты обещала принять мои слова к сведению.

— Конечно, Дядясаша...

— Да... А сейчас я смотрю на тебя, и мне особенно... огорчительно, что твое воспитание обошлось в общем без моего участия. Я только совсем недавно понял, какое это огромное дело — из ребенка сделать взрослого, настоящего человека... Может быть, вернись мы сейчас назад, к тридцать шестому году, я вел бы себя совсем иначе... Может быть, я должен был бы посещать какие-нибудь курсы, принимать участие в работе родительских комитетов, что-нибудь в этом роде. Тогда у меня не было бы теперь этого печального сознания... непричастности к твоему воспитанию. Я ведь всегда смотрел на тебя как на свою дочь, Татьяна, с первого дня, когда увидел тебя в Москве. Впрочем...

Он улыбается Тане немного смущенно, твердым движением раздавливает в пепельнице папиросу и наливает себе еще коньяку.

— Дядясаша... не понимаю, зачем ты это говоришь, неужели ты думаешь, что я относилась к тебе как-то пна-

че все это время? Ты ведь знаешь, я папу плохо помню... едва-едва... И насчет воспитания — я не знаю, много ли во мне хорошего, но то, что есть... я знаю, что без тебя этого не было бы никогда. Зачем ты так говоришь об этом, Дядяша? И насчет разлуки... Неужели ты думаешь, что я... что я смогу когда-нибудь забыть о тебе?

— Ну, отлично, отлично... — бормочет полковник, залпом проглотив коньяк. — Я и не говорю, что ты забудешь...

— ...и как ты можешь говорить, что ты ничего для меня не сделал!

— Хорошо, будем считать, что сделал, — кивает он. — Так или иначе, а мы общими усилиями вывели тебя на дорогу. Отсюда, брат, тебе уже идти самой.

— Вывели на перекресток? — задумчиво улыбается Таня. — Да, это верно, Дядяша...

— Какой перекресток? Ну, если хочешь... э-э-э... аллегорически — пусть будет перекресток. Я все-таки рад, что помог тебе дойти до него. Так что, видишь, брат, — подмигивает он, — я вовсе не говорю, что ничего для тебя не сделал!

— Ты сделал для меня очень много, Дядяша, — тихо говорит Таня. — Очень-очень много...

В бокале, преломленные золотистой жидкостью, дрожат огоньки люстр. Оркестр, лихо расправившись с очередным фокстротом, вкрадчиво начинает вальс. Таня вопросительно улыбается Дядяше, подняв палец: «Один разочек?» Тот встает и одергивает китель.

С немного старомодной церемонностью предложив племяннице руку, полковник ведет ее к центру зала, где танцуют. Сидящие за столиками оглядываются на не совсем обычную пару. Таня чувствует эти взгляды, но на этот раз они ее не смущают. Пускай смотрят, пускай любуются ее Дядяшей... ну, и ею самою — если им угодно! В одном из зеркал она мельком улавливает свое отражение и остается вполне довольна. Да, Дядяша был прав — это платье, черное и совершенно закрытое, идет ей больше всего...

Полковник танцует хорошо — немного деревянно, но каждое его движение четко и отработанно. Впрочем, вальс — это ведь единственный танец, который Дядяша умеет. Откинувшись на его руке, Таня смотрит на него и улыбается, глаза ее уже чуть затуманены головокружением.

— Я хорошо танцую, Дядяша?

— Да, насколько я понимаю...

— Ты тоже, правда. Я уверена, что если бы ты поступил в свое время в балет...

На это полковник даже не находит что ответить.

— Ты видел Асафа Месерера? — не унимается Таня. — Ну вот, так ты был бы ничуть не хуже, я совершенно уверена!

— У тебя вечно какие-то странные идеи, Татьяна. Ты предлагаешь мне жениться на Людмиле Земцовой, то... э-э-э... поступить в балет...

— Теперь-то уж поздно, — с сожалением говорит Таня, — нужно было раньше — вместо академии, понимаешь?

— Нет, тебе все же слишком рано выдали аттестат зрелости, — качает головой полковник. К его гайному облегчению, вальс окончен.

— Ты хочешь чего-нибудь еще? — спрашивает он, усадив племянницу на место. — Мороженого?

— Н-нет, — не совсем решительно отвечает Таня. Вообще-то она не прочь, но стоит ли ронять свой престиж взрослого человека, улетая в ресторане мороженое подобно какой-нибудь девятикласснице? Нет, лучше воздержаться — положение обязывает. — Будем просто сидеть и пить. Тебе шампанское не нравится?

— Откровенно говоря, я к нему равнодушен.

— А мне нравится, правда. Только чем его полагаются закусывать?

— Можно взять пирожных, — пожимает плечами Дядяша.

— Нет, это слишком сладко...

— Возьми тогда какое-нибудь печенье, сухое и не слишком сладкое.

Официант приносит требуемое печенье. Таня пробует — да, это ничего.

— Я хочу одна допить эту бутылку, — говорит она важно. — Могу я позволить себе это по поводу сдачи последнего экзамена?

— Я бы не рекомендовал тебе напиваться ни по какому поводу.

— Разве этим напьешься. Оно ведь совсем слабое, как сидро.

— Ты уверена?

— Хорошо, — сдается Таня, — я выпью один или два бокала, неполных. Ты мне скажешь, если я начну пьянеть. А ты пей свой коньяк, я тебе в случае чего тоже скажу.

— При такой системе мы вряд ли доберемся до дому, Татьяна. Тебе-то хорошо, а у меня завтра служба.

— Ничего, — беззаботно говорит Таня.

Теперь она чувствует себя совсем хорошо. Непринужденно откинувшись на спинку стула, она грызет печенье и, морща нос, оглядывает золоченые коринфские капители.

— Тебе нравится такая обстановка, Дядяша?

Полковник пожимает плечами, наливая себе коньяк:

— Что значит нравится?.. Ресторан как ресторан... Что тут может нравиться?

— Мне — нет. Все это как-то безвкусно — люстры, позолота...

— Ах, в этом смысле. Очевидно, здесь был ресторан еще до революции, тогда это считалось красивым. Когда у вас выпускной вечер?

Таня отпивает глоток шампанского.

— В эту субботу, двадцать первого. Кстати, — спрашивает она, жуя печенье, — что это за опровержение было в прошлую субботу? Мне Сережа сказал, а я так и забыла прочитать с этим экзаменом. Что-то насчет передвижения немецких войск?

Полковник медленно закуривает.

— Видишь ли, в последние недели немцы начали перебрасывать к нашей границе некоторые части с Балкан. Очевидно, в связи с этим в зарубежной печати появились сообщения о том, что Германия предъявила к нам какие-то требования и подготавливает агрессию. По этому поводу и было опровержение.

— Но никаких требований к нам не предъявили?

— Ты меня спрашиваешь, словно я нарком. — Полковник пожимает плечами. — Если ТАСС опровергает, значит, их не было.

— Не понимаю, что за смысл этой зарубежной печати вечно выдумывать какие-то глупости, — говорит Таня и разглядывает на свет пузырьки, серебряным бисером осыпавшие изнутри стенки бокала. — Только людей пугают... Ой, ты знаешь, Дядяша, мать-командирша меня сегодня прямо растрогала. Она так меня встретила — начала поздравлять, сама даже всплакнула... Не особенно похоже на нее, правда?

— По-моему, Татьяна, очень похоже. Ты что же, не понимаешь, как она к тебе относится?

— Я не о том, Дядяша! Конечно, это я понимаю. Но внешне — она ведь всегда была такая суровая, скорее прикрикнет, чем похвалит. И вдруг такое!

— Значит, она особенно горячо переживает твой успех. Зинаида Васильевна — женщина редкого сердца.

— Да... очень редкого...

Таня отпивает из своего бокала и, удивленно приподняв брови, разламывает печенье.

— Ты говоришь — редкого, — говорит она задумчиво. — А мне сейчас пришло в голову, что я до сих пор как-то видела вокруг себя только хороших людей. Значит, их вообще больше?

— Я никогда не занимался такими подсчетами, Татьяна. Но одно могу сказать с уверенностью — тебе, несомненно, встретятся и другие люди...

Конечно, думает Таня, есть и другие. Собственно, она их уже видела... Шибалин, Бондаренко... Кто еще? Были, наверное, и еще, только они не запоминаются. Думать о плохих людях неприятно, поэтому о них и забываешь.

— Я бы не хотела с ними встречаться, — вздыхает она и сбрасывает упавшие на юбку крошки. — Надеюсь, что и не встречу...

Уже почти час ночи. У нее приятно кружится голова — совсем немножко, и если это и значит быть пьяной, то тогда можно понять, ради чего люди пьют.

— Да, но завтра тебе будет не так приятно, — говорит полковник. — От шампанского, говорят, обычно болит голова.

— Неважно, приму пирамидон, — беззаботно отвечает Таня. — Завтра... Дядяша, если ты не против, я хотела бы пригласить завтра к нам Сережу, и чтобы отпраздновать тоже и его аттестат. Он ведь совсем один, бедный!

— Разумеется, что за вопрос. Организуй все это, ты ведь уже свободна.

— Ой, мне просто не верится, что это так... Кто мог подумать, что я в один прекрасный день окончу школу!

— Ну, в какой-то степени я это подозревал. Для тебя, я вижу, это явилось неожиданностью?

Таня прикрывает глаза и тихонько покачивается в такт музыке.

— Угу... Понимаешь, Дядяша, когда очень долго чего-нибудь ждешь, то просто перестаешь в это верить... Ты знаешь, сейчас я совсем счастлива.

— Надеюсь, это не только от шампанского?

— Не-ет, что ты, я именно счастлива — по-настоящему, понимаешь? Все-таки ужасно хорошо жить на свете...

— Пора бы тебе спать, Татьяна.

граждан, которым дала знания, которых воспитала для долгой плодотворной работы на благо страны. Для вас, товарищи выпускники, этот день — единственный в жизни, для нас он повторяется каждый год, и каждый год все мы испытываем то же волнение и ту же радость. Упорно и кропотливо трудились преподаватели все эти десять лет, и ваше присутствие на сегодняшнем вечере — свидетельство того, что труд этот не пропал даром, что он уже дал всходы, которые со временем расцветут ярко и пышно. Вы не закончили своей учебы — по-настоящему она только начинается, будь то учеба в аудиториях институтов или в цехах промышленных предприятий. Пройдут годы, вы станете инженерами, учеными, прославленными передовиками производства, путешественниками, — кто знает, какие подвиги и открытия суждено вам вписать в историю своей страны? И если сегодня вы испытываете чувство благодарности к тем, кто готовил вас к жизни в этих стенах, — пусть каждый из вас сегодня даст себе слово: извлечь из полученных здесь знаний максимум пользы и отдать ее народу, сыновьями и дочерьми которого вы являетесь. Могу сказать от имени всего преподавательского коллектива: мы верим, что вы не останетесь в долгу перед страной...

Горло у директора слабое, и он говорит, не повышая голоса, словно беседуя с глазу на глаз, но в зале так тихо, что отчетливо слышится каждое его слово. Он произносит еще несколько фраз, потом поднимает стакан и улыбается в прокуренные усы:

— Ну что ж, молодые мои друзья, выпьем за лежащую перед вами широкую и ясную дорогу, за ваши будущие успехи, за ваше личное счастье. Счастливого пути, товарищи!

Все встают со стаканами в руках. Седой сторож смахивает слезу. Таня, крепко сжав пальцы Сергея, до последней капельки допивает терпкое кислотоватое вино и шепчет ему на ухо: «Я стану совсем пьяницей за эти дни, правда...»

С ответным словом встает секретарь комсомольской группы десятого «А» — бывший секретарь — Анатолий Шаповалов.

— Дорогие наши преподаватели! — говорит он ломким юношеским баском. — От имени всех нас, выпускников сорок шестой школы, я имею поручение поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали, и заверить вас в том, что — как сказал только что Геннадий Андреевич — ваша работа не окажется напрасной...

Деятнадцать часов. В нескольких сотнях километров западнее Энска, в шести километрах от грапицы, на плацу выстроен по тревоге личный состав батальона 129-го танкового полка, входящего в состав дивизии СС «Мертвая голова». Четыреста человек в коротких черных мундирах с серебряными эмблемами смерти на пилотках, стоя по команде «штильгештанден» — каблуки вместе, грудь вперед, чуть согнутые в локте руки прижаты ладонями к бедрам, — в гробовом молчании выслушивают приказ верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии. Этот же приказ зачитывается сейчас на полевых аэродромах, на кораблях военно-морского флота, во всех частях и подразделениях сухопутной армии Восточного фронта.

Деятнадцать часов тридцать минут. Из открытых настееж высоких окон актового зала льется в школьный сад мелодия вальса. Розовый закат гаснет над городом, обещаая на завтра отличную воскресную погоду: можно будет отправиться в лес, или на лодочную станцию, или на рыбалку.

— ...а вы бы пошли завтра с нами, — умильным голоском упрашивает Таня танцующего с ней преподавателя, — и почитали бы нам стихи. Например, Блока! Представляете, послушать Блока в лесу? Серге-е-ей Митрофанович, ну, пожа-а-алуйста...

— Ты над стариком не издевайся, и так замучила. Больше я не танцую, хватит с меня. Я-то уж было обрадовался — девица приглашает в лес... а ты, оказывается, вот для чего — чтобы Блока читать! Нет, голубушка, это уж пусть мой тезка тебе читает, да-да!

— Да ничего он не умеет, правда! — Таня вытягивает шею и через плечо своего партнера оглядывает зал: куда это девался Сережа? Ах, вон он где — сидит в самом углу с Еленой Марковной. Класрук читает что-то вроде нотации, Сережа слушает с ужасно серьезным видом. Ох, ох, как бы это не о ней шла речь...

Танец окончен. Таня по-мальчишески раскланивается с преподавателем и вдруг вспоминает:

— Ой, Сергей Митрофанович, я совсем забыла, давно хотела вас спросить: как, по-вашему, Грин — это настоящая литература или не совсем?

Тучный старик, запыхавшийся от танцев, прикладывает ко лбу платок и удивленно смотрит на свою вчерашнюю ученицу:

— В каком это смысле?

— Ну, вы понимаете — у нас Грина совсем не про-

ходят и вообще не издают, значит, он не считается писателем, заслуживающим внимания. Но ведь если ценность литературы заключается в силе ее эмоционального воздействия, то Грин...

— Постой, постой! — Сергей Митрофанович грозно хмурится. — Что-то ты, голубушка, плетешь несуразное. С каких это пор ценность литературы стала определяться силой ее эмоционального воздействия? Кто тебя этому учил? Ох, Николаева, Николаева, вижу я, что поторопился ставить тебе «отлично»...

Он грозит Тане пальцем, берет ее под руку и ведет с собой:

— Идем-ка, голубушка, побеседуем, идем-ка... Так ты, значит, умница ты моя, не видишь в литературе другой ценности? Ну хорошо, а вот...

Елена Марковна Вейсман, закончившая наконец читать Дежневу свои таинственные наставления, попадает в окружение целой стаи девушек.

— Елена Марковна, ну вот вы скажите! — вопит Галка Полещук. — Вот вы сами женщина — скажите нам, можно в нашем возрасте пудриться и красить губы? Вот теперь, когда мы уже не школьницы, а? Вот Земцева доказывает, что это чуть ли не разврат...

— Галка, бесстыдница, как не совестно переверять слова! — протестует Людмила. — Я просто говорила, что это свидетельствует о легкомыслии...

Сергей ищет глазами Таню. Так и есть — Митрофанович уволок ее под пальмы и что-то внушает.

— Ты почему не танцуешь? — валетает на него Ариша Лисиченко. — А ну-ка, приглашай меня!

— Да какой из меня танцор, выдумала тоже! Иди воп лучше со своим Мишкой танцевать, я не умею!

— Ничего, научишься! Михаил опять с Глушко из-за моторов сдешился, теперь им на целый час хватит... Идем, идем, это же совсем легко — фокстрот, смотри, просто ногами двигаешь...

Вспыхивает люстра. Вокруг нее, на ниточках разной длины, подвешены к потолку надувные шарики, сейчас они матово просвечивают, как огромные виноградины — красные, синие, зеленые, оранжевые. Раскручиваясь, взлетает первая ленточка серпантина, разноцветный дождь конфетти осыпает плечи танцующих. Актный зал расположен на втором этаже, и из окон видно, как за темнеющими кронами каштанов догорает вечерняя заря. Часы бьют восемь.

— О чем это ты с ним беседовала? — спрашивает Сергей, завладев наконец своей Таней. — Я за это время фокстрот научился танцевать...

— Правда? Сейчас посмотрим. А беседовали мы о литературе, о теории литературы, — важно заявляет Таня. — Ты думаешь, у меня не может быть серьезных интересов? А ты о чем с Еленой Марковной? О, слушай, фокстрот! Идем-ка, я проверю, как ты научился. Так что это она тебе такое говорила?

— Секрет, — подмигивает Сергей. — Строго секретные дела.

— Ну скажи-и-и! Ой, и противный же ты иногда бываешь, кошмар. Завтра в лесу скажешь?

— И в лесу не скажу...

— Ладно-ладно, я это тебе припомню... Ну что ж, у тебя уже выходит довольно прилично... только ты держи меня немножко ближе, это ведь не вальс. Я просила Сергея Митрофановича, чтобы он тоже пошел с нами завтра — почитал бы там стихи. Так он не хочет, говорит — куда мне с моей комплекцией в лес. А стихи, говорит, пускай тебе Сережа читает.

— А что ж, и прочитаю!

— Блока? — Таня насмешливо морщит нос. — Куда уж тебе! Опять начнешь подвывать, как своего Багрицкого... «Головами — крутят кони! Хвост по ветру — стелют! За Махной — идет погоня! Аккурат — неделю!» Ха-ха-ха-ха!

— Посмейся мне, посмейся...

— Ой, Сережа милый, ну ты же такой смешной, когда читаешь Багрицкого!

— Ладно тебе, Митрофанович еще не так подывает...

— Не говори глупостей, он читает очень хорошо! Сережа, а о чем ты разговаривал с класруком? — спрашивает она небрежно.

— Секрет, я же тебе сказал!

— Но ты мне его скажешь, ведь правда? — Таня привстает на цыпочках и на секунду прижимается щекой к его щеке. — Конечно, скажешь...

Быстро бегут часы короткой июньской ночи — самой короткой в году. Двадцать два тридцать. На полевом аэродроме бомбардировочной группы «Иммельман» машины подготовлены к боевому вылету. Тупорылые фугасные пятисотки надежно закреплены в захватах бомбосбрасывателей, доверху наполнены кассеты зажигательных, в магазинные коробки уложены сотни метров крупнокалиберных патронных лент. Еще засветло были за-

правлены баки, в последний раз проверены и опробованы моторы. Сейчас на аэродроме темно и тихо. Вдоль взлетной дорожки, тяжело ступая по утрамбованной земле, мерно шагает часовой в полном боевом снаряжении — в каске, с круглой гофрированной коробкой противогаса, с висящим под мышкой пистолет-пулеметом. Характерные очертания пикировщиков — горбатые, с высоким угловатым килем и хищно вытянутым вперед обтекателем втулки винта — четко вырисовываются на светлом ночном небе.

Через несколько часов десятки одновременно запущенных моторов превратят эту тишину в ревущий ад, но пока ее нарушают только шаги часовых, далекий тоскливый крик какой-то ночной птицы и негромкое пение губной гармоники, доносящееся от бараков рядового состава. Тишина. Из офицерского казино долетает взрыв хохота; гармоника поет о девушке, которую зовут Эрика. Умолкнув, она медленно, словно нерешительно, заводит другую мелодию, протяжную и печальную: «Heimat, deine Sterne...»¹ Часовой останавливается, потом идет дальше, мерно и глухо стуча коваными каблуками.

В казино шумно, хотя пьяных сегодня нет. В углу, вдавив спину в диван и вытянув скрещенные ноги, полулежит светловолосый юноша в узком щегольском мундире серо-стального цвета. На красивом лице обер-лейтенанта выражение безнадежной скуки. Ему действительно скучно. Тоску вызывает знакомая обстановка казино, припиленные над пианино фотографии Марики Рёкк и Цары Леандер², лица товарищей по оружию, их голоса и их остроты. Этот болван со шрамом на морде опять читает стихи, свои или чужие — неизвестно, но, так или иначе, дерьмовые. Вообще, тоску вызывает вся жизнь.

Обер-лейтенант подавляет зевок и смотрит на часы. Он ждет, но ждать ему нечего. Все равно ничего нового не будет. Жизнь все равно не может дать ему ничего нового. В свои двадцать два года он уже пресыщен и жизнью, и смертью. Ему было двадцать, когда он бомбил Варшаву и расчищал польские дороги от колонн беженцев. Потом он бомбил Роттердам. Потом — Седан и еще несколько французских городишек, названий которых не помнит. Над Дюнкерком он совершил подвиг — в один вылет сбил «спитфайр» и пустил на дно какую-то

¹ «Родина, твои звезды...» (Нем.)

² Немецкие киноактрисы, популярные в начале сороковых годов.

скорлупу, полную томми. За это ему дали Рыцарский Крест. Откровенно говоря, «спитфайр» — даже не его заслуга. Чистая случайность, каких много бывает на войне. Он увидел англичанина впереди — тот разворачивался, заходя для атаки, — и машинально нажал на гашетку курсовых пулеметов. Просто так, даже не пытаясь прицелиться — это все равно было бессмысленно; и по совершенно неправдоподобному совпадению обе трассы пересеклись с курсом истребителя... А впрочем, не все ли равно, случай или геройство. Недавно ему исполнилось двадцать два — но чего ждать от жизни? Повышения в чине? Дубовых листьев с мечами и бриллиантами?

Лейтенант со шрамом читает лающим голосом:

...Мы идем, отбивая шаг,
Пыль Европы у нас под ногами!

Ветер смерти свистит в ушах!
Кровь и ненависть! Кровь и пламя!..

Этому-то болвану, несомненно, интересно жить. Сейчас, например, он видит себя со стороны — этакая героическая сценка под названием «Ночь накануне Восточного похода». Всё дерьмо. Теперь они будут бомбить русские города. Если бы у него была хотя бы ненависть к неарийцам! Но у него нет ничего — кроме умения убивать и Рыцарского Креста, полученного в двадцать один год. Бомба попала прямо в скорлупу — бортстрелок видел со своего места, как томми летели в разные стороны. Наплевать. Ему наплевать и на русских, и на томми, и на французов, и на тысячелетний райх германской нации. Ему наплевать на все — в двадцать лет он уже убивал людей на дорогах Польши...

Время приближается к полуночи. Возле открытого в сад окна собралась целая группа вокруг Володи Глушко: двое с ним спорят, остальные просто слушают, посмеиваясь.

— ...Да что вы понимаете в этом, вы, невежды! — кричит красный и взлохмаченный Глушко. — Когда первый самолет должен был полететь, так тоже находились такие вот умники — «не полетит, где ему, разве что через сто лет!» Да что самолет — над Фультоном издевались, сам Наполеон обозвал его авантюристом!

— Ладно, ты не крути, — насаждает на него один из противников, — ты нам Наполеоном зубы не заговаривай, а скажи прямо: через сколько лет будут летать твои ракеты?

— Неважно, через сколько лет! Во-первых, они уже летают...

— Мы говорим о практическом применении!

— ...а во-вторых, срок тут не важен! Вы со мной в принципе не согласны. А вообще, я совершенно уверен, что это произойдет скорее, чем вы все думаете!

— А на Марс когда? — лукаво спрашивает Людмила. — Я уже давно жду!

Таня толкает ее локтем и хитро подмигивает.

— Сам ты невежда, Глушко! — кричит она. — Чем мечтать о межпланетных полетах, лучше бы учился все эти годы!

— А я что, не учился?! — огрызается тот.

— Да, но как? Ты как историю учил, а? Помнишь, тебя в восьмом классе спросили насчет чартизма — что это за движение и от какой хартии оно получило свое название, — а ты ляпнул: «От Великой хартии вольностей!» Кому ты такой на Марсе нужен!

Глушко не сразу находит, что сказать. Все хохочут.

— Ну, знаешь! — заявляет он наконец. — Это запрещенный прием. Ты же сама мне тогда и подсказала эту хартию вольностей!

— А ты и попался, да? Неандерталец ты, вот кто ты такой, а еще на Луну хочешь лететь! Идем, Люся. В конце концов, для чего мы сегодня сюда пришли — танцевать или спорить о дурацких ракетах? И музыки опять нет...

— Сейчас кто-нибудь сядет, подожди. А где Инна?

— Не знаю, я вот смотрю, где Сережа... опять, верно, курить отправился, вот горе! Может, запретить ему курить?

— Зачем? По-моему, у мужчины должны быть свои права. И вообще, знаешь, я терпеть не могу таких мужчин, которые сидят под башмаком у жены...

— Господи, — смеется Таня, — неужели ты думаешь, что Сережу можно посадить под башмак! Нет, про папирсы — это я просто так... А вообще, меня беспокоит его здоровье. Ты же видишь, какой он худой! А вдруг ему вредно курить?..

Ноль часов тридцать минут, двадцать второе июня, воскресенье. Жешувское шоссе. Тяжелыми черными глыбами, разделенные двадцатиметровым интервалом, стоят танки. Их много, хвост и голова бесконечной колонны теряются во мраке. Молчаливые машины кажутся покинутыми на этой безлюдной дороге, в нескольких километрах от границы. Но это только кажется, — экипажи на

своих местах, марш-приказ может последовать в любой момент.

Колонна стоит давно. Уже начинает чуть меркнуть звезда в светлом прямоугольнике раскрытого люка. Или это только кажется? Легкий порыв ночного ветра доносит с полей слабый и нежный аромат вянущего сена — такой неуместный в этой тысячецудовой стальной коробке, начиненной снарядами и механизмами и пропитанной горьким машинным запахом. В танке тихо, слышно лишь тяжелое дыхание четырех человек. Монотонно поет рация, настроенная на командирскую волну.

Час поль-ноль. Некоторые из преподавателей уже разошлись по домам, и приближающееся к концу веселье принимает хаотические формы. В одном углу Леша-Кривошип сколотил хор, на эстраде лохматый юноша из «А» добивает пианино, выколачивая на пари весь репертуар Эдди Рознера, посреди зала танцуют. Почти все шары полопались от жара люстры, на протянутых от нее гирляндах сигнальных флажков висит пестрая путаница серпантина. Таня гоняется за Сашкой Лихтенфельдом, высыпавшим ей на голову целый мешочек конфетти. С помощью Галки Полещук она загоняет его в угол и начинает колотить по плечу; Сашка вопит дурным голосом. В окружении стонущих от хохота зрителей Володя Глушко с серьезным видом исполняет соло — изобретенный им самим марсианский танец, потрясающий гибрид фокстрота и вальса. Любители футбола горячо обсуждают завтрашнюю встречу московских армейцев с киевским «Динамо», которой начнется спортивный праздник в честь открытия нового республиканского стадиона в Киеве.

Час тридцать. Попрощавшись со своими питомцами, уходят Сергей Митрофанович и Архимед. Завхоз опять просовывает в дверь круглую лысую голову и озабоченно посматривает на люстру — кому веселье, а кому нагоняй за перерасход энергии. Елена Марковна записывает для Людмилы адреса своих московских знакомых.

На Жешувское шоссе, осторожно ощущывая дорогу тусклыми лучами маскированных фар и мигая синими стоп-сигналами, выезжают грузовики с мотопехотой. Трехтонные «опели» один за другим разворачиваются и с глухим ревом уходят в сторону Перемышля — мимо ожидающих своего часа танков. Из открытых башенных люков их провожают взглядами. Сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый, пятидесятый, пятьдесят первый... Еще левее, уже по самой обочине, обгоняя машины, проносятся низкие темные тени мото-

циклистов. Уже не слышно аромата лугов, его сменили другие запахи — разогретого масла, пыли, едкого перегара синтетического горючего — знакомые каждому солдату тревожные запахи военных дорог, запах войны...

— Ты не устала еще? — спрашивает Сергей. — А то, может, пойдем?

— Ой, я уже совсем без ног, правда... Сейчас пойдем, Сережа, я только обещала этот танец Лихтенфельду — пять минуток, хорошо?

Таня танцует с Лихтенфельдом.

— Слушай, Сергей, — подходит Людмила, — я думаю, с утра завтра никто не соберется. Давайте назначим лучше на час — все ведь будут спать до обеда. А соберемся у меня, как и договорились. Хорошо? Ты зайди за Таней, и приходите так к половине первого. Вы еще не собираетесь уходить?

— Да, сейчас пойдем... Ты тоже идешь?

— Я задержусь еще на четверть часика, нужно здесь договориться. Так я жду к половине первого, слышишь?

— Ага. Мы, значит, потихоньку, не прощаясь.

— Да, конечно, все равно через несколько часов увидимся...

Тихие улицы, редкие запоздалые автомобили, угольно-черная лунная тень на тротуарах. Таня подпрыгивает, чтобы попасть в ногу, и заглядывает Сергею в лицо:

— Давай походим немножко, хорошо?

— Ты же устала, Танюша...

— Ничего, совсем немножко... Я танцевать устала, а идти так — ничего...

— Взять тебя на руки?

— Ну, что ты, вдруг еще какой-нибудь прохожий... Я очень хотела бы, но только здесь неудобно, правда... Ну, Сережа!!

— Тихо, а то уроню...

Таня послушно затихает. Он несет ее несколько шагов, потом из-за угла впереди показывается человек. Испуганно ахнув, Таня делает резкое движение, Сергей почти роляет ее, и они едва успевают укрыться в темной подворотне. Проходя мимо, человек удивленно и опасно приостанавливается — померещилось ему, что ли? Таня, сгибаясь от беззвучного хохота, обеими руками зажимает себе рот. Наконец прохожий удаляется.

— Бежим скорее, а то он еще милицию сюда пришлет!

Держась за руки, они мчатся прямо по мостовой — все равно светофоры уже выключены! Таня хохочет во все горло.

— Ой, я уже не могу, Сережа! У меня каблук сейчас отлетит, и юбка узкая, — с ума ты сошел, что ли!..

Два часа тридцать минут. Обер-лейтенант забирается в кабину, садится, уложив под себя парашютный ранец, натягивает шлем. За его спиной устраивается в своей турели бортстрелок. Привычным движением пилот поправляет на горле контакты ларингофона, проверяет контрольные приборы, управление, связь. Все готово, остается ждать сигнала к старту. Он сидит, закинув голову, равнодушно барабая пальцами в перчатках по целлулоиду пристегнутого к колену планшета. Колпак фонаря кабины еще раздвинут, свежий предрассветный ветер посвистывает в антеннах. Пахнет землей, бензином, росистыми травами. Впереди, за молчаливой вереницей выстроенных на взлетной дорожке пикировщиков, светлеет восточный край неба. В три часа пятнадцать минут они должны быть над целью.

— Так завтра в двенадцать? — спрашивает Таня шепотом. Шепот этот — скорее по привычке, это уже как условный рефлекс: последние слова в подъезде полагаются произносить шепотом. Сейчас можно было бы кричать во весь голос — все равно вокруг никого нет, дом спит от первого до четвертого этажа. — Хотя какое завтра, это уже сегодня... В общем, в двенадцать я тебя жду. Или знаешь — лучше в одиннадцать! Только не раньше, Сережа, я хочу наконец выспаться хоть раз в жизни. В одиннадцать точно-точно, ладно? Ну...

Потом она поднимается по лестнице, счастливо мурлыкая, тихонько возится с английским замком, входит на цыпочках. Дядяша мирно похрапывает на своем диване. На столе что-то приготовлено — нет, какая там еда, спать хочется до смерти...

Отчаянно зевая, она раздевается. Ужас — нужно еще стелить постель, умываться, причесываться... Кажется, вот сейчас свернулась бы прямо здесь на коврик и уснула. Завтра — спать до одиннадцати! Ну, по крайней мере — до половины одиннадцатого, потом придет Сережа...

Два часа сорок пять минут. Над городами и тихими селами генерал-губернаторства — бывшей Польской Речи Посполитой — режут в светлеющем небе сотни моторов. Режут моторы и на земле. По шоссе Жешув — Перемысль, окутанная дымом и пылью, движется гигантская бронированная змея. На берегу пограничной реки в легком рассветном тумане саперы стаскивают к воде первый

понтон. Автоматчики ударных соединений — «штротруп-пен» — занимают места в бронетранспортерах.

Небо уже совсем посветлело. Вот так штука — уже, оказывается, утро! Таня подходит к окну и, морща нос, вдыхает полную грудь воздуха. Какой чудесный рассвет! Потом она вспоминает, что забыла выключить свет в ванной. А, неважно, Дядяшапа встает рано, он погасит. Только бы ему не вздумалось разбудить, по обыкновению, и ее!

Таня берет лист бумаги, красный карандаш и, позевывая, пишет огромными корявыми буквами: «Прошу меня не будить. Да здравствует нерегулярный образ жизни! Т. Николаева, студентка I курса ФФ ЛГУ». В десяти километрах от советской погранзаставы, по ту сторону Буга, с тяжелым лягом входит в ствол 105-миллиметровый гаубичный снаряд.

Приколов объявление к портьеру, со стороны Дядяшиной комнаты, Таня срывает календарный листок. Ой, какое число симпатичное — круглое такое, и цифры красные, как и должно быть. Ведь всякое число имеет свой цвет, это всем известно... Выпутавшись из халатика, она швыряет его на стол и, как в воду, падает в прохладные простыни. Засыпает она мгновенно. Часы на ее руке показывают ровно три пятнадцать. В эту минуту на Брест обрушивается первый бомбовый удар.

10

«...Наши войска, отходящие на новые позиции, вели упорные арьергардные бои, нанося противнику большое поражение. В боях на Шяуляйском направлении наши войска захватили много пленных, значительное количество которых оказалось в состоянии опьянения. На Минском направлении войска Красной Армии продолжают успешную борьбу с танками противника, противодействуя их продвижению на восток. По уточненным данным, в боях двадцать седьмого июня на этом направлении уничтожено до трехсот танков тридцать девятого танкового корпуса противника. На Луцком направлении в течение дня развернулось крупное танковое сражение, в котором участвуют до четырех тысяч танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается. В районе Львова идут упорные напряженные бои с противником, в ходе которых наши войска наносят...»

Таня выбралась из толпы, — сводка была та же, утренняя, никаких новых сообщений не прибавилось. Перейдя

улицу, она зашла в аптеку и купила пакетик пирамидона, потом у киоска с газированной водой приняла две таблетки сразу. Вода была теплой, с неприятным резиновым привкусом. Таня ощутила мгновенный приступ тошноты. Она подумала вдруг, что с самого утра еще ничего не ела — очевидно, от этого и разболелась голова. Упорные арьергардные бои на всех направлениях — но это же значит, что мы продолжаем отходить...

Морщась от солнца и тупой пульсирующей боли в висках, она вернулась в скверик и осторожно — каждое резкое движение было мучительным — опустилась на скамейку в пегустой тени пыльной акации. Нестерпимо, в упор, палило солнце. Люди продолжали стоять плотной темной массой вокруг столба с громкоговорителем.

Сережи все нет. Правильнее было бы ждать его дома, конечно. И вообще «держат себя в руках и сохранять хладнокровие», как твердит Люся. Как будто она и так не держала себя в руках, даже позавчера ночью, когда уезжал Дядясаша...

Таня судорожно всхлипнула, до боли закусив губу. Нет, лучше проводить дни на улицах — видеть очереди, толпы у военкоматов, свежестрытые траншеи в скверах, камуфлированные увядшими ветками грузовики с настоженно глядящими в небо счетверенными пулеметами — лучше все это, чем сидеть в пустых комнатах, где каждая мелочь напоминает о жизни, так страшно и неожиданно рухнувшей неделю назад. И как вообще можно говорить о хладнокровии, когда произошло что-то невообразимое — что-то такое, чего никто из них не мог представить себе в самом худшем из предположений, — когда вместо «войны малой кровью и на чужой территории» уже восьмой день наши войска ведут упорные арьергардные бои, день за днем откатываясь к востоку...

Сидя с закрытыми глазами, она не заметила, как подошел Сергей.

— Ну что? — спросила она тревожно, когда он опустился рядом на скамейку.

— Ничего не выходит, — хмуро отозвался он. — Народу там миллион, и линии все перегружены... Говорят, что вообще междугородной связи больше не будет. Нет, ничего и пробовать. Напишу просто. Не понимаю, почему от них до сих пор ничего нет... Сводку слушала?

— Да, то же самое. Серьжа, а ты не тревожься, — сказала она тихо, погладив его по руке. — Ведь о налетах на Тулу ничего не сообщали...

— Так вообще не сообщают, где бомбят.

— Ну почему, в первый день сообщили же о Клеве и Одессе...

— Вообще-то я тоже думаю, что там все в порядке... Мы вон ближе, и то ни одного налета до сих пор. Правда, в Туле оружейная промышленность, вот это плохо... Чего у тебя вид такой, Танюша?

— Голова очень болит... Сейчас легче немного, я приняла пирамидон.

— А что такое? — встревоженно спросил он и приложил ладонь к ее лбу. — Ты не заболела?

— Нет, Сережа, что ты... Я просто не ела с самого утра, наверно поэтому.

— Ну вот, как с тобой еще говорить! — с досадой сказал он. — Как маленькая, честное слово... Нельзя же так, Таня, что это, в самом деле, за безобразие! Идем сейчас же, я знаю, где можно поесть.

— Где это теперь можно поесть, интересно...

— Идем, говорю. В кафе на Фрунзенской, вот где. Я там вчера ел.

Таня послушно встала и пошла за Сергеем.

Как ни странно, в кафе оказалось не так много народу. Выждав, пока освободился столик возле окна, Сергей усадил Таню, бросил на второй стул свою кепку и побежал к стойке. Таня безучастно смотрела в окно. Прошла колонна мобилизованных, с чемоданчиками и заплечными мешками. У газетного киоска терпеливо ждала длинная очередь. В доме напротив, на втором этаже, женщина оклеивала стекла косыми полосками бумаги.

Сергей принес два стакана чая и две небольшие порции пирога какого-то неопределенного вида.

— Только чтобы все съела, слышишь? — строго сказал он, ставя тарелку перед Таней.

— А ты?

— Чего я... Я уже поел, не бойся. Думаешь, как ты? Вот чаю я выпью, пить страшно хочется...

Чай был без сахара, пирог вязкий и со странным привкусом, но Таня съела одну порцию и заставила себя приняться за вторую. За соседним столиком трое небритых мужчин, по виду командировочные, громко обсуждали какие-то лимиты, репродуктор над входом рассказывал о подвиге двух бойцов в бою за населенный пункт А на реке Б.

— Почему ты так на меня смотришь? — спросила вдруг Таня удивленно и немного испуганно. — Ты узнал что-нибудь... нехорошее?

— Нет, что ты,— отозвался Сергей.— Просто смотрю. Вкусно, Танюша?

— Не слишком,— через силу улыбнулась она.— Но ничего, я съем...

Из репродуктора послышалась тревожная дробь барабанов, прозвучали трубы. Мужской голос зашел торжественно, в замедленном темпе:

Стелются черные тучи,
Молнии в небе сплужут,
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют...

— Вчера ко мне заходила капитанша Петлюк,— тихо сказала Таня, не поднимая глаз от стола.— Она совершенно не владеет собой. Вдруг, вообрази, начала плакать: «Как это могло получиться, столько лет мы себе во всем отказывали, все в стране шло на оборону — а теперь собственных границ удержать не можем».. Ну, я ей, конечно, сказала, что ведь смешно же думать, будто немцы и в самом деле сильнее нас! Просто у нашего командования такой план. Стратегический план. Ведь правда, Сережа?

Она подняла голову и смотрела на него с выражением и растерянным, и умоляющим, и в то же время каким-то требовательным.

— Ты ведь согласен, что это план? Кутузов ведь тоже...

— Допивай, и идем,— угрюмо сказал Сергей, отводя взгляд.— Откуда я знаю, план это или что. Да и что нам с тобой об этом гадать...

Они вышли. На улице, несмотря на ветер, было еще жарче, чем в кафе. Слепило солнце, на углу милиционер с противогазной сумкой и винтовкой за плечами пропускал колонну грузовиков защитной окраски, доверху нагруженных под брезентом.

— Сейчас об этом гадать нечего,— повторил Сергей, провожая взглядом громыхающие машины.— Поважнее есть дела...

— Но это же очень важно — понять! Вчера я видела Володю, у Люси, и он тоже считает, что это просто стратегический план — отходить на прежнюю границу, там ведь сплошная цепь укрепрайонов. Пока немцы дойдут туда, они потеряют половину армии, и там их совсем уничтожат...

Проехал последний грузовик. Таня с Сергеем перешли на другую сторону улицы, вышли на площадь. Когда они поравнялись с витринами «Динамо», дико и

утробно взревела сирена на крыше электромонтажного треста. Таня вздрогнула и ухватилась за Сергея. «Спокойно, Тавюша», — негромко сказал он, сжав ее руку. Вместе с другими они заскочили в туннель ворот. У входа в сквер, возле зенитного орудия, деловито суетились артиллеристы, сирена продолжала выть, то достигая душевраздирающего рева, то стихая, — и тогда было слышно, как вразнобой и разноголосо надрываются другие сирены и гудки фабрик. Потом все стихло. Люди переговаривались вполголоса, словно боялись, что их услышат приближающиеся к городу самолеты.

Через двадцать минут дали отбой. Таня посмотрела на Сергея и несмело улыбнулась.

— Видишь, опять их прогнали, — сказала она, — и пушка даже ни разу не выстрелила... А я так испугалась, прямо...

— Может, стороной прошли, — отозвался Сергей, — чего им сюда летать... Слушай, Танюша...

Выйдя из туннеля, они остановились у витрины — той самой, где когда-то были фотопринадлежности и возле которой состоялось два года назад их первое свидание. Таня взялась за поручень и нагнулась, выковыривая из туфли понававший туда камешек.

— Да? — переспросила она, подняв лицо и морща нос от солнца.

— Танюша... я должен тебе сказать — только ты не...

Пораженная его тоном, Таня замерла, забыв о камешке. Потом она выпрямилась, все еще держась за поручень, и увидела вдруг — никогда в жизни она еще не видела ничего подобного, — как бледнеет, приобретая какой-то сероватый оттенок, смуглое Сергеево лицо.

— Что случилось? — спросила она, как ей показалось, очень громко, на самом деле почти беззвучно шевельнув губами. Сергей смотрел ей прямо в глаза, горло его судорожно дернулось раз и другой, словно он пытался и не мог что-то проглотить.

— Я тебе должен сказать, — проговорил он наконец с видимым усилием, — что... мы сегодня последний день вместе. Завтра утром мне нужно явиться на пункт. Военкомат уже все оформил.

Таня ничего не поняла — может быть, только поэтому она не закричала и не упала здесь же на замусоренный горячий асфальт. Она не поняла его слов — понять и осмыслить их было невозможно, — но ее вдруг обдало каким-то странным мертвящим холодом, и все вокруг нее: Сергей, мерцающая на солнце листва седых тополей на

той стороне площади, выложенные стенкой мешки с песком и тускло отсвечивающие каски венитчиков,— все это вдруг словно померкло и поплыло куда-то. Она зажмурилась и прижалась спиной к поручню витрины, вцепившись обеими руками в горячее, отполированное многими прикосновениями железо. Как будто можно было, по-детски закрыв глаза, уйти от надвигающегося на нее ужаса!

— Танюша, тебе что, нехорошо? — услышала она голос Сергея. Нет, все это оставалось таким же, ничто не изменилось. И его осунувшееся худое лицо, и синее-синее, чуть задымленное зноем июньское небо, и обрывок газеты на асфальте, уже немного пожелтевший, с черными словами: «...ского Информбюро...»

— Я не понимаю,— сказала она, едва разлепив губы,— тебя же не могли еще призвать — ты ведь двадцать первого года, а призваны с пятого по восемнадцатый... Я ничего не понимаю...

Сергей кашлянул.

— Меня не призывали, Танюша,— ответил он совсем тихо.— Я сам, добровольцем...

Только теперь она, наконец, полностью осознала все. Теперь она могла бы кричать, плакать, цепляться за Сергея и умолять его о невозможном, но на все это у нее уже не было сил. Горе обрушилось на нее подобно электрическому разряду неслышанно высокого напряжения, испепелив все внутри и оставив пустую безвольную оболочку.

Сергей говорил ей что-то, крепко взяв за локти, потом он осторожно расцепил ее пальцы, все еще стиснутые на поручне, и куда-то повел. Уже на бульваре Котовского, в полуквартале от своего дома, она вдруг остановилась и посмотрела на Сергея, словно и не узнавая его.

— Ты не подумал обо мне,— с трудом выговорила она наконец слова, которые все это время бились у нее в мозгу, гася сознание.— Как ты мог... Ты ведь совсем обо мне не подумал...

В этот жаркий послеобеденный час на бульваре было тихо. Привычно шелестели каштаны, пожилая женщина вязала на скамейке чулок, то и дело поглядывая поверх очков на копошащегося неподалеку малыша. Таню снова обдало холодом от дошедшего до ее сознания чудовищного контраста между этой мирной сценкой и тем непостижимым, что уже отняло у нее самой все, составляющее обычную человеческую жизнь.

— Именно о тебе я и думал, — глухо сказал Сергей. — Именно о тебе. Может, я не так все это понимаю, как нужно... Но только я с самого первого дня думаю только о тебе. Кем бы я был, интересно, если бы остался сейчас в тылу, пока тебя кто-то другой защищает там, на фронте...

С первого часа войны Володя Глушко находился в состоянии лихорадочной активности. Отец еще накануне с вечера уехал на рыбалку и звал его с собой, но Володя собирался пойти в лес вместе с одноклассниками; он уже уходил, когда Лена включила радио и он услышал слова: «...Работают все радиостанции Советского Союза». Поколебавшись секунду, он бросил рюкзак на пол и стал ждать начала передачи, — похоже было, что предстояло важное сообщение. Таким образом, известие о войне застало его как бы в положении временно исполняющего обязанности главы семейства.

Он начал свою деятельность с того, что дал затрепичку Олегу, вздумавшему бурно изъявлять радость по поводу ожидающих их опасных и интересных приключений. Когда тот с ревом убрался из комнаты, Володя произнес энергичную речь, обращенную к матери и сестре, доказывая абсолютную неизбежность полного военно-политического краха Германии в течение ближайших сорока восьми часов, упомянул о Тельмане и великодушных революционных традициях немецкого пролетариата и решительно воспротивился намерению Ольги Ивановны бежать запастись солью и спичками. Кое-как успокоив женскую половину семейства, Володя Глушко натянул берет и рысью помчался по Подгорному спуску устанавливать контакты с приятелями.

На следующий день он с самого утра участвовал в осаде здания райкома ЛКСМУ. В кабинете секретаря, куда он наконец прорвался через кордон райкомовских девчат, уже дым стоял коромыслом.

— Что ж это получается, товарищ Поддубный! — кричал он, протолкавшись к самому столу. — В военкомате с нами и разговаривать не хотят, а тут тоже бюрократию разводят! Мы требуем, чтобы нам немедленно выдали направление к райвоенкому!

— А ты давай не бузи, — устало сказал секретарь, — и не наводи тут панику. Ясно?

От возмущения в голосе Володи Глушко появились петушиные нотки.

— Я — навожу панику?!

— Ты и наводишь,— подтвердил секретарь.— Ты мне две недели назад говорил, что собираешься поступать в МАИ. А что же выходит теперь? Или ты решил, что уже все кончено, и институтов больше не будет, и учиться теперь не нужно? Так, что ли? Зря, товарищ Глушко. А теперь иди и обожди меня в шестой комнате, у меня к тебе дело есть.

Володя явился в шестую комнату и закурил возмущенно и демонстративно, не обращая внимания на дивчину в акрихиново-желтом, пронзительного цвета беретике, которая старательно писала что-то, навалившись плечом на стол. Ждал он почти час, наконец явился Поддубный.

— Вот что,— сказал тот, усаживаясь рядом с Володей,— ты, помнится, хорошо в самолетах разбираешься?

— Разумеется,— важно ответил Володя.— Я могу и в авиацию, это даже лучше. Вы только дайте направление.

— погоди ты со своим направлением. Понадобиться на фронте — значит, пойдешь на фронт, а пока сиди и делай то, что от тебя требуется. Вот что, Глушко, нам сейчас нужны наглядные пособия, чтобы учить народ распознавать немецкие самолеты. Какие у них сейчас самые распространенные?

— Из бомбардировщиков — «Хейнкель-111», «Дорнье-217», «Юнкерс-88» — это все двухмоторные, затем одномоторный пикирующий «Юнкерс-87», а истребители — «Мессершмитт-109» и «Фокке-Вульф-190». Для десантных операций применяется обычно трехмоторный транспортник «Юнкерс-52»...

Дивчина в крашенном акрихином беретике подняла голову и с уважением посмотрела на столь компетентного авиационного специалиста. Одобрительно кивнул и сам Поддубный:

— Молодец, вижу, что знаешь. Так вот, все это нужно нарисовать покрупнее, силуэтами, в трех проекциях. Только побыстрее, а?

— А много нужно?

— Сколько сделаешь. Лучше бы побольше, ясно. Особавиахимовцы просили, потом здесь надо повесить, ну и вообще — в общественных местах. Скажем, в военкомате непременно.

— Ладно,— кивнул Володя.— Только как быть с бумагой? Хорошо бы и тушь достать — в магазинах ведь нигде нет...

— Это можно,— кивнул Поддубный, вставая.— Получишь плакаты, с оборотной стороны можно рисовать, бу-

мага там первый сорт, и тушь тебе дадим. Обожди здесь, я сейчас пришло. Ну, бывай.

Получив под расписку четыре флакона туши и рулон плакатов, посвященных методам борьбы с клопом-черепашкой, Володя отправился домой и сразу же засел за работу. У него была собрана вся выпущенная Воениздатом серия «Силуэты иностранных самолетов», в том числе и выпуск, посвященный самолетам Германии. Целый день он перечерчивал увеличенные силуэты на картон, потом вырезал их, и работа пошла как в типографии. Олег обводил контуры шаблонов, переносил их на бумагу, Лена закрашивала тушью, по указанию старшего брата оставляя просветы на местах остекления кабин, сам Володя делал окончательную доводку и крупным чертежным шрифтом вписывал под каждым типом самолета его основные данные: скорость, радиус действия, бомбовую нагрузку, вооружение, количество членов экипажа. За два дня весь запас бумаги был израсходован, и плакаты получились на славу; к большому недоумению Володи, за это время Германия не проявила еще никаких признаков военно-политического краха, а наши войска оставили шесть населенных пунктов: Кальварию, Стоянув, Цехановец, Кольно, Ломжу и Брест.

В райкоме его поблагодарили за отличное выполнение задания и тут же дали новое — провести несколько бесед о вражеских военно-воздушных силах в осоавиахимовской ячейке. Володя проводил беседы, вместе с другими рыл щели, помогал разгружать мешки с песком на площади Урицкого, где устанавливали зенитное орудие, дотошно расспрашивал артиллеристов и давал соседям массу полезных советов.

В пятницу он встретил Людмилу, которая шла на первое занятие санитарных курсов. Они поговорили о положении на фронте, об опасности налетов на Энск (уже три раза объявляли воздушную тревогу, но без последствий). Потом Володя спросил, что делают Сергей и Николаева. Узнав, что Николаева на курсы не записалась, он пожал плечами.

— Следовало ожидать, — сказал он. — Мне она никогда не нравилась, ты знаешь.

— Дурак ты! — вспыхнула вдруг всегда выдержанная Людмила. — Не все могут этим заниматься. Таня, например, не переносит вида крови, это было мне известно еще три года назад. И вообще хотела бы я на тебя посмотреть, если бы ты оказался на ее месте! Александр Семенович уезжает сегодня ночью, понятно тебе?

— Ну, это другое дело, — пробурчал Володя. — Откуда я знал, что он уезжает... А Сергей что?

— Завтра он, возможно, ко мне зайдет, с Таней. Приходи, если хочешь с ним повидаться.

— Ладно, может, найду, если выкрою время, — тоном делового человека сказал Володя. — Вообще-то сейчас не до того, чтобы по гостям ходить...

На другой день он побывал у Людмилы, но Сергея так и не увидел: Николаева сказала, что он все пытается добиться телефонного разговора с Тулой. Сама она имела такой жалкий вид, что Володя забыл о своей неприязни и долго успокаивал девушек как мог: развивал перед ними обширные стратегические планы, говорил о военных потенциалах и прочих утешительных вещах. Таня слушала его как-то безучастно, не прикасаясь к остывавшей перед нею чашке чаю; лицо ее, всегда такое оживленное и поминутно меняющее выражение, теперь словно окаменело, и только руки — Володя почему-то обратил на это особенное внимание — ни секунды не оставались в покое, то разглаживая скатерть, то хватаясь за ложечку, то судорожно кроша хлеб. Уходя, Володя сказал Людмиле, что ему состояние Николаевой очень не нравится, и решил завтра же поговорить об этом с Сергеем.

В воскресенье с утра пришлось отправиться с отцом на огород. Вернувшись только к шести часам, Володя побегал на Челюскинскую, но Сергея дома не оказалось. «Где его черти носят», — думал он, возвращаясь к трамвайной остановке. Тут ему встретился живший неподалеку Женька Косыгин.

— Что делается, а? — сказал Женька, поздоровавшись. — В сражении под Луцком участвуют четыре тысячи танков, это же подумать только...

— Что-то потрясающее, — покачал головой Володя. — Слушай, ты Сергея не встречал? Куда он, к дьяволам, подевался, второй день ищу...

— Так он, наверное, уже уехал, — удивился Женька. — Хотя нет, вроде завтра должен был.

— Куда уехал?

— Да ты что, не знаешь, что он добровольцем записался? Я его вчера в военкомате видел.

— Ты что, спятил? — вытаращил глаза Володя. — Нет, правда? Ах ты ч-черт...

Он закусил губу, что-то соображая, и вдруг, не прощавшись с Косыгиным, помчался за тронувшимся уже трамваем.

Высунувшись с площадки, щурясь от ветра и бьющего в глаза закатного солнца, он думал о Сергее с завистью и восхищением. Конечно, и он сам был бы уже добровольцем, если бы не формалисты из военкомата, — но одно дело «был бы», а другое — когда человек уже завтра надевает форму.

На знакомом перекрестке возле школы он соскочил с трамвая и пошел к бульвару Котовского. Что Сергей сейчас у Николаевой — не было никакого сомнения. Где же еще может быть человек накануне отъезда на фронт, как не у возлюбленной? Сам он, Владимир Глушко, поступил бы именно так — если бы уезжал на фронт и если бы у него была возлюбленная; он пришел бы в последний вечер и простился с ней сдержанно и чуть сурово — сдержанно-нежный в память прошлого и уже отдаленный от нее своим настоящим, славой будущих боев и походов...

А что он скажет Сергею? Просто пожмет ему руку — крепко, по-мужски. И скажет, что не ждал от него ничего другого и что, возможно, они еще встретятся с ним на Берлинском направлении, а пока он может заверить его от имени всех остающихся, что фронт не останется без поддержки тыла...

У двери Таниной квартиры — когда его палец уже нажал кнопку звонка — им вдруг овладела неуверенность. Может быть, не стоило ему приходить — именно в этот вечер? Но звонок уже прозвучал, уйти было поздно.

Дверь открыл — по-хозяйски — сам Сергей.

— А-а... Здорово, Володька, — сказал он глухим голосом и добавил (как тому показалось, после секундного колебания): — Ну, заходи...

В первой комнате было темновато из-за полузадернутых штор и замечался какой-то странный, не сразу определяемый беспорядок. Неубранная посуда на столе, разбросанные газеты, сдвинутое сиденье дивана, словно из него что-то доставали и не успели закрыть как полагається, — все эти мелочи делали сейчас неузнаваемой квартиру, которую Володя привык видеть всегда нарядной и прибранной.

— Садись, — сказал Сергей негромко, тем же странным голосом. — Здорово удачно, что ты зашел... Завтра мы бы уже не увиделись, я ведь с утра...

— Да вот, я как раз... — начал Володя. Его удивило вдруг отсутствие самой хозяйки; он уже собрался спросить о ней, когда увидел ее в соседней комнате, за раздернутой портьерой. Николаева лежала ничком, зарыв-

пись лицом в подушку и обхватив ее руками. Она не шевелилась, но ее поза не была позой спящего человека — Володя определил это сразу, с первого взгляда. Он растерянно перевел взгляд на Сергея — тот как раз в этот момент стоял лицом к окну, безучастно глядя на багровые от заката верхушки каштанов. То, что он увидел, испугало его еще больше, чем странная неподвижность лежащей девушки: он готов был поклясться, что глаза у Сергея покраснели и чуть припухли. Неужели он плакал — он, Сергей Дежнев, добровольно уходящий на фронт!

Вспомнив вчерашнее состояние Николаевой, Володя внезапно — в долю секунды — понял все, что происходило в этой комнате. Никогда в жизни не испытывал он еще такого жгучего стыда, какой хлестнул его в этот момент вслед за воспоминанием о мыслях, с какими он сюда шел.

— Я... я пойду, Сергей,— сказал он.— Я только попрощаться к тебе зашел... Ты извини, если некстати...

— Чудак, я же тебе говорю — хорошо, что пришел,— спокойно отозвался Сергей.— Ты что, идешь уже? Я-то еще здесь побуду, в Энке... может, недели две, пока обучат. Ты к Тане наведывайся, я через нее передам, где мы будем. Может, зайдешь когда.

Идя к двери, Володя еще раз бросил взгляд в соседнюю комнату. Таня продолжала лежать так же неподвижно, волосы ее и коричневая юбка слились с обивкой кушетки, лишь светлой линией выделялись ноги и ярко белело пятно блузки, и эта странная расчлененность неподвижной фигуры опять почти испугала его. Он быстро отвел глаза и вышел в переднюю следом за Сергеем.

Тот подал ему руку.

— Ну, спасибо, Володька,— сказал он, до боли стиснув его пальцы.— Передавай привет ребятам, кого увидишь. И еще я тебя хочу попросить... ради дружбы, хорошо, Володька? Если Тане будет очень трудно, вы ей здесь помогите, ты и Земцева. Даешь слово?

— Честное слово комсомольца! Будь спокоен, Сергей, я все понимаю. Будь спокоен. Ну...

Володя хотел добавить что-то еще, но ничего не сказал и, махнув рукой, выскочил на площадку.

Они расстались тридцатого. На следующий день наши войска оставили Львов, в Москве был образован Государственный Комитет Обороны; прошло двое суток, и за-

мершая у репродукторов страна впервые за одиннадцать дней войны узнала подлинные масштабы разразившейся катастрофы. Время иллюзий кончилось, наступил час жестокой действительности.

Передача застала Таню за хозяйственными делами. Когда она кончилась, Таня выключила радио и, постояв у окна, снова села на скамеечку перед ящиком с картошкой, разглядывая свои испачканные землей пальцы. Кроме не совсем еще осознанного страха перед новым, только что раскрывшимся ей характером войны, ею владело какое-то странное чувство, очень неопределенное и очень тревожное. Чувство или какие-то зачатки мыслей? Она не могла определить это даже приблизительно. Это было что-то связанное даже не со смыслом того, что она только что услышала, а скорее... с формой, что ли, в какой это говорилось.

Она долго сидела, сдвинув брови, машинально оттирая с пальцев присохшую грязь, потом, бросив недочищенную картошку, вышла из дому и стала бродить по жарким пыльным улицам. На бульваре шумели две длинные очереди у киосков — пивного и Союзпечати. Таня подумала, что нужно стать за газетами, но тут же сообразила, что вышла без копейки денег. Впрочем, все равно газетные новости отстают от радио. Как странно получилось с газетами в этом году: Дядяша обычно оформлял подписку сразу на двенадцать месяцев, а тут почему-то подписался на шесть. Как будто предчувствовал, что июль уже не застанет его дома...

Слезы обожгли ей глаза. Часто моргая, Таня остановилась перед щитом «Окна ТАСС». Сначала она ничего не видела, потом различила рисованный от руки плакат — яркий, еще не успевший выпцвести, видимо, только что наклеенный. Крошечный мерзкий фашистик извивался под гусеницей могучего танка, отвратительный и жалкий, похожий на гнусного старообразного эмбриона; придавивший его танк высился, подобно утесу, в ровных рядах заклепок, орудие изрыгало огонь, по башне шла надпись: «Смерть фашистским оккупантам!»

Как замороженная смотрела Таня на плакат, сдвинув брови, тщетно пытаясь уловить непонятную связь между этим рисунком и тем странным чувством, которое вызвала в ней сегодняшняя радиопередача. Связь эта ускользала от нее, но в то же время ощущалась совершенно реально, тревожащая и почти мучительная — как неожиданно забытая важная мысль, которую нужно вспомнить во что бы то ни стало...

«Не то, не то...» — повторяла она про себя, не отрываясь от плаката, и из груди, из сердца, откуда-то из самой ее души почти ощутимым криком рвался протест...

То, что врага изображают в виде бессильного гаденыша именно в тот момент, когда под его страшными ударами прогибается фронт и истекают кровью наши дивизии, — это можно понять. Очевидно, так нужно, чтобы поддерживать дух армии и населения. Но раньше? Зачем нужно было все это раньше?

Таня бродила по улицам как потерянная, не замечая ни голода, ни усталости. Уже вечерело, когда она очутилась в скверике на площади Урицкого и вдруг почувствовала, что ноги у нее буквально подкашиваются. Редкие скамейки были заняты. Таня присела на выступавшее из наката щели бревно и, прислонившись к насыпи, прикрыла глаза. Почти в ту же секунду взвыла сирена. Военные остались на скамейках, старики и женщины стали сходиться к щели. Таня смотрела на них равнодушно, страха она не чувствовала, а только усталость и полное безразличие ко всему; казалось, начнись сейчас бомбежка — она не тронулась бы со своего места.

Она вспомнила вдруг, как четыре дня назад тревога застала их с Сережей на этой самой площади. Только это было днем. Они спрятались в воротах «Динамо», а когда вышли, он сказал ей, что записался добровольцем. Она тогда совершенно не понимала — для чего он это сделал. Еще четыре дня назад она была глупой девчонкой, которая верила, что им совершенно нечего бояться и не о чем беспокоиться, потому что над ними есть сила, которая все знает, все умеет и все может...

Поодаль от щели, где расположилась прямо на вытоптанной траве группа военных, вдруг шумно заспорили. Несколько голосов забивали друг друга, потом выделился один:

— ...весь аэродром листовками засыпали — легчики у вас, пишут, отважные, а самолеты бумажные, — еще, гады, насмешки строят, издеваются! А нам что остается — локти с досады грызть? Нашим бы ребятам технику сейчас настоящую — с «мессеров» ихних только паленая шерсть летела бы... А так — что? Голыми руками его брать? Это мы в Испании на своих «ишаках» духу давали, а теперь с такой техникой много не навоюешь... Что? Да знаю я и без тебя, что ты мне лекции тут читаешь! «Маневренность», «увертливость»! А видал ты, как горят наши ребята? «Мессер» этот живуч, как гадюка, — глядишь, у него уже плоскость в решето, а он только посвяти-

стывает... Пока в винтомоторную не залепишь — не сбить его, заразу! А нашего «ишачка» куда зажигательнее ни чиркнет — так и запылал, как спичечный коробок... Техника! Через полюс зато летали, шумели — на весь мир хвастали!

Голоса спорщиков заглушили говорившего, но Тане казалось, что она продолжает слышать слова летчика — слова, полные огромной горечи. Она дрожала как в ознобе, чувствуя, что вот-вот разрыдается.

...Сереза, конечно, понимал все это уже тогда. Он-то понимал, что никакого «плана» в отступлении нет и что истина гораздо проще и страшнее. Он знал — или чувствовал, — что нападение застало нас врасплох, что мы так и не сумели вовремя к нему подготовиться.

Быстро стемнело. Отбоя не давали, но все было тихо; Таня, откинувшись на земляную насыпь щели, смотрела в небо. Черное кружево акации, звезды, разгорающиеся почти на глазах. И — где-то под звездами — немецкие бомбардировщики.

Может быть, в этот вечер они и не летят к Энску, может быть, это опять только учебная, но где-то — в ста километрах, или в пятистах, или в тысяче — где-то в этот вечер, в этот самый момент падают бомбы. Идет война — борьба не на жизнь, а на смерть, борьба с врагом настолько жестоким, что его даже трудно вообразить себе в каком-то человеческом облике...

Это нашествие можно скорее представить себе одной из тех страшных сил природы, которые всегда поражают человеческое воображение своей чудовищной тупой мощью. Таня вспомнила вдруг, как учитель географии когда-то объяснял им, что такое сель — грязевой поток в горах, страшная лавина жидкой грязи, мчащая в себе валуны и обломки скал, — лавина, сметающая все на своем пути — сады, возделанные поля, человеческое жилье...

Такая лавина обрушилась сейчас через наши границы. И самое главное теперь — остановить ее во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало и любой ценой преградить путь, поставить заслон. А когда строят плотину, ни один камешек не должен оставаться в стороне, даже если он сам по себе ничего не весит...

Утром началось хождение по военкоматам. Сначала в районный — там было не протолкаться, в коридоре сизыми пластами висел махорочный дым, люди сидели на скамейках, на лестнице, прямо на полу вдоль стен; когда Тане удалось наконец найти дежурного, тот раздраженно огрызнулся, что без комсомольского направления

с нею никто говорить не станет и вообще лучше ей не болтаться здесь под ногами и не мешать работать. Идти в райком комсомола было совершенно бесполезно, об этом говорил не только Володя Глушко: формалистов райкомовцев ругали в те дни все кому не лень. Таня побежала в горвоенкомат. Там оказалось поспокойнее: дежурный говорил с ней более обстоятельно, вежливо разъяснил, что городской военный комиссариат такими делами не занимается и что ей следует добиваться своего именно в районном — по месту жительства, только лучше постараться попасть к самому военному. У нее что, Фрунзенский? — там такой капитан Званцев, вот прямо к нему и нужно.

Сердитый дежурный, на ее счастье, уже сменился к тому моменту, когда Таня снова появилась в райвоенкомате, раскрасневшаяся от торопливости, а новый сказал, что капитана Званцева нет и когда будет — никому не известно. Может, через час, а может, и к вечеру. Таня потопталась по коридору, вздыхая и поглядывая на часы, и тоже устроилась на лестнице, подстелив газету.

Люди, сидевшие вокруг нее, дымили махоркой, обсуждали фронтовые новости, говорили о карточках и о пайках. Наверху, за одной из дверей коридора, разболтанно щелкала пишущая машинка и кто-то кричал по телефону: «Алё, алё!»; внизу у выхода на улицу стоял часовой в кепке, с подсумками поверх пиджака, — красная повязка на рукаве и очень длинная винтовка с примкнутым штыком делали его похожим на красногвардейца из «Истории гражданской войны в СССР»; еще недавно при всем богатстве своей фантазии Таня и во сне не смогла бы представить себя в такой обстановке.

...Через несколько дней всякая другая обстановка вообще перестанет для нее существовать. Она будет все время находиться среди бойцов, делать что велют, есть что дадут и спать где укажут. Она не будет принадлежать самой себе — ни днем, ни ночью, ни во время сна, ни во время занятий. Наверное, это будет очень трудно. Но неважно, главное — сознавать, что ты теперь делаешь то же, что и Сережа, что и Дядяша...

В половине второго пришел наконец военком. Едва увидев капитанскую шпалу на петлицах, Таня почему-то сразу решила, что этот маленький сухощавый человек и есть Званцев. «Товарищ военный комиссар!» — закричала она, вскочив со ступеньки, когда капитан был уже в коридоре. Тот обернулся, выразив на лице удивление, Таня подбежала и начала торопливо говорить, расстеги-

вая нагрудный карман блузки, где лежали паспорт и комсомольский билет. «Нет-нет, не нужно.— Капитан остановил ее руку.— Поймите, без направления ЛКСМУ ничего не выйдет, а направление вам не дадут, насколько я знаю. Семнадцать, без военной специальности? Вряд ли. Извините, мне некогда...»

На улице стало тем временем еще жарче — видно, собиралась гроза. Ветер нес колючую пыль, на привокзальной площади стояла вереница автобусов с замазанными мелом стеклами, у подъезда управления милиции толклись группками, переговариваясь по-польски, небритые люди в пестрых спортивных пиджачках и теплых, несмотря на жару, пальто с громадными накладными карманами и преувеличенно прямыми плечами. Провезли самолет, похожий на чудовищную рыбу с круглой стеклянной головой, хвост его лежал в кузове трехтонки, а туловище ехало, подпрыгивая, на торчавших из обрубков крыла низеньких толстых колесах. Облик города был непривычен и дик. Неужели по этой улице бежала она две недели назад, думая о последней экзамене и покупке сумочки?

Усталость, жара и неудача в военкомате так обессили ее, что, придя домой, она даже не стала есть.

— Ты допрыгаешься, — зловеще сказала мать-командирша. — Где была-то?

— Ходила узнавать насчет курсов, — помолчав, хотя ответила Таня.

— Каких еще курсов?

— Господи, ну... курсы ПВХО, вы же знаете.

— Больно мне нужно знать, — ворчливо отозвалась старуха. — Вот, напомнила, про ПВО это самое — комендант приходил, искал тебя. Говорит, в дружину тебя записали. На крыше будете дежурить; может, хоть там тебя приструнят. Ты есть-то будешь аль нет? Ешь, я кому сказала! Взяла себе моду! Небось не мирное время — едой-то швыряться...

Таня обиделась и стала есть молча, удерживая слезы. После обеда мать-командирша ушла получать что-то из продуктов, Таня заперлась у себя и включила радио. Передавали последние известия: в населенном пункте Б. немецко-фашистские изверги согнали на площадь и расстреляли из пулеметов все мужское население от пятнадцати до сорока пяти лет; в этом же населенном пункте они изнасиловали нескольких школьников, учениц девятого и десятого классов, а старика председателя колхоза разорвали пополам, привязав к двум

танкам. Таня стояла у окна и плакала молча, кусая губы, хотя никто не мог бы ее услышать в пустой квартире. Возможно, эти девушки тоже просились на фронт, и такие же вот формалисты отказали и им. Куда ей теперь идти? Что делается в райкомах комсомола, она уже знает. Прямо в горком? Еще нарвешься на Шибалина. Нет, туда нельзя, там она на плохом счету. Разве что попытаться проникнуть к самому Прохорову... Да нет, он ведь тоже занимался ее делом. Но куда же идти, чтобы ее наконец поняли?

Напротив, по ту сторону бульвара, маляры расписывали высокий купол обкома желто-зелеными камуфляжными пятнами. Они занимались этим делом не первый день; при виде их Таня опять равнодушно удивилась странной затее — нарядная лягушечья раскраска сделала тусклый купол куда более заметным и привлекательным, — и тут же все вылетело у нее из головы, потому что она вдруг вспомнила — Шебеко! Пётр Федорович Шебеко, старый Дядисашин приятель и заведующий военным отделом обкома партии! Подумать только — совсем рядом, через улицу, находится человек, который может одним телефонным звонком устранить перед нею любое препятствие, а она целый день бегает и упрашивает военкоматовских дежурных!

Она спешно привела себя в порядок — не появляться же в таком высоком учреждении замарашкой! — и выскочила на улицу, в зной и грохот. Длинная колонна грузовиков везла громыхающие железные лодки, вроде огромных корыт; пыль обесцветила зеленую окраску машин и понтонов, такими же серыми были и понатыканые кое-где жухлые ветви маскировки, и брезент, и лица красноармейцев. Стоя на самом краю тротуара, Таня широко открытыми глазами провожала, не отрываясь, машину за машиной. Через несколько дней она тоже будет в армии. В качестве кого — неважно. Лишь бы в армии! Лишь бы Петр Федорович не оказался болен или в командировке...

Проникнуть в знакомое здание с куполом, изученное из окна до последней завитушки на фасаде, оказалось не так просто. Милиционер у входа потребовал пропуск. Таня опешила и возмутилась: какой пропуск? Ей нужно к товарищу Шебеко, по личному делу! Но милиционер был неумолим; пришлось идти в бюро пропусков, объясняться через похожее на бойницу узкое и глубокое окошко; объясняться по внутреннему телефону, снова и снова повторять кому-то — по буквам — свою

фамилию. Наконец в трубке послышался знакомый голос, сказавший: «Да, слушаю». Голос был явно недовольным. Таня обмерла.

— Петр Федорович! — закричала она с отчаянием. — Это я, Николаева, Татьяна! Мне страшно нужно с вами поговорить, а меня не пускают! Я тут, в бюро пропусков!

— Таня, ты? — Голос Шебеко из недовольного превратился в озадаченный. — А что случилось?

— Ой, ну по телефону я не могу! Позвоните им, чтобы меня пустили, что это за безоб...

— Постой ты, цокотуха. Тебе что, непременно нужно сегодня? Честно говоря, я сейчас страшно занят.

— Петр Федорович, ну пожалуйста! Я вас не задержу, честное слово!

— Ну, добро. Тебя, как всегда, не переспоришь. Минуты через две подойди там к окошку, я закажу пропуск. Паспорт с тобой?

— Паспорт... нет, но я сейчас сбегая! Вы им пока позвоните, я через пять минут!!

Таня снова очутилась на улице. Теперь ехали кухни и еще какие-то повозки на окованных, яростно гремящих колесах. Уже клонясь к закату, нещадно палило солнце. «Какая все же шумная штука эта война», — подумала Таня, перебегая на другую сторону бульвара.

На втором этаже обкома, куда она наконец попала, получив пропуск и пройдя придирчивую проверку у входа, оказалось так же шумно и многолюдно, как и в военкоматах. Таню это немного удивило: она думала, что в таком важном месте и обстановка должна быть совсем иной. Но обстановка, по-видимому, была в эти дни повсюду одинаковой.

Хлопали двери, звонили телефоны, люди торопливо сновали по коридору; в одной из комнат трое красноармейцев с треском отдирали крышки с каких-то ящиков; тут же — Таню это удивило — стояло несколько застеленных серыми одеялами раскладушек.

Комната 56. Снова проверка. Пропуск сличается с паспортом, фото на паспорте сличается с оригиналом. Оригинал тем временем дошел уже до такой степени возмущения, что чувствует потребность завизжать и укусить милиционера; милиционер, не подозревая об опасности, спокойно листает паспорт.

Когда Таня робко вошла в кабинет, Шебеко говорил по телефону. Не отнимая от уха трубку, он кивнул ей и жестом указал кресло. Таня села, искоса поглядывая

на большую карту европейской части СССР, где красный шнурок отмечал линию фронта. Смотреть открыто она боялась — вдруг карта секретная и не предназначена для посторонних глаз?

Кончив говорить, Шебеко встал из-за стола.

— Ну, здравствуй, цокотуха.— Он пожал Тани руку и сел во второе кресло, напротив.— От дядьки пока никаких известий?

— Нет, еще ничего...

— Ну да, еще рано. Так мы с ним и не повидались... Тридцатого я вернулся из Москвы, а мне говорят — уже отбыл. Двадцать седьмого, что ли?

— Да... Но Дядяша уже с первого дня все равно не жил дома... только звонил иногда. А двадцать седьмого заехал ночью, попрощаться...

Таня опустила голову, заморгала.

— Ну, что ж плакать, Таня,— сказал Шебеко,— такое пришло время. Слезами сейчас не поможешь ни себе, ни другим. Давай лучше займемся делами. Значит, что там у тебя такое?

— Петр Федорович, у меня к вам большая просьба.— Таня изо всех сил старалась говорить как можно тверже.— Вы должны помочь мне попасть на фронт.

Шебеко, собравшийся было закурить, не донес папиросу до рта.

— Куда? — переспросил он, собрав на лбу морщины.— На фронт?

Таня покраснела.

— Ну, может быть, не сразу на фронт, я имела в виду вообще — в армию. Я сегодня с самого утра хожу по военкоматам, там такие все формалисты, ужас, хуже чем в комсомоле! Ну вот вы скажите сами: что у нас, нет в армии девушек?

Шебеко задумчиво уставился на нее, катая в пальцах папиросу.

— Вообще-то встречаются,— согласился он.— Связистки, медперсонал и тому подобное. У тебя есть специальность?

— Военная? Нет, пока нету. Но ведь в армии учат, правда? Только я не хотела бы санитаркой,— колебавшись, добавила Таня.— То есть не то что не хотела бы, а просто бы не смогла... я думаю. Я почему-то совсем не переношу вида крови.

Шебеко закурил, покачал головой:

— Дело вот в чем, Таня. Армия, как правило, обучением такого рода не занимается. Если говорить о свя-

вистках, то они обычно приходят в армию уже знакомые со специальностью. Это или профессионалки, или имеющие стаж работы в системе Осоавиахима — в кружках, клубах, — а в армии они, так сказать, только повышают квалификацию. Можно призвать незнакомого с военным делом парня и очень скоро сделать из него хорошего пехотинца, а дать человеку техническую специальность — дело слишком долгое и сложное, армия — это все-таки не техникум. Если ты придешь как связистка, то тебя связисткой и возьмут. А иначе что ж? Не в пехоту же тебя, верно? Так что я боюсь, что...

Он не договорил и развел руками. Таня сидела, напряженно выпрямившись, между бровями у нее прорезалась тоненькая вертикальная морщинка.

— Я не понимаю, — сказала она очень тихо и провела кончиком языка по пересохшим губам. — Вы не хотите мне помочь?

— Я не смогу, Таня, — спокойно ответил Шебеко.

— Но почему?!

— Я ведь тебе объяснил только что. Девушек берут в армию только в тех случаях, когда они действительно могут сразу принести там пользу. Реальную пользу, понимаешь?

Таня вспыхнула от обиды:

— По-вашему, я такая уж никчемная, что...

— Да не в том дело. — Шебеко поморщился, ладонью разгоняя дым. — Просто у тебя нет военной специальности. А вот в тылу у нас работы — непочатый край, и ты можешь оказаться здесь куда полезнее. Только, конечно, для этого нужно перестать мечтать о подвигах и научиться работать. Вот так. У тебя были еще ко мне вопросы?

— Нет! — Таня встала. — Знаете, Петр Федорович, я никогда не думала, что и вы...

— ...окажетесь таким же формалистом, — закончил тот, очень похоже передразнив вдруг ее голос и возмущенную интонацию. Тут же он стал очень серьезным и тоже поднялся, одергивая гимнастерку. — Слушай, Татьяна, сейчас не время для капризов. Я прекрасно понимаю твое желание участвовать в войне самым непосредственным образом. Но для этого не обязательно быть на фронте. Если ты действительно хочешь быть полезной, а не гонишься за романтикой, ты найдешь себе занятие и в тылу...

Обучение, проводившееся в ускоренном порядке, было тяжелым. К вечеру, набегав и намаршировав не один десяток километров, после бесконечных упражнений в приемах рукопашного боя и преодоления препятствий, Сергей уставал так, что едва взбирался на свою койку второго яруса. Первые две ночи он от усталости не мог даже спать; правда, потом это прошло.

Занятия, короткие промежутки отдыха, еда и сон — все это так плотно укладывалось в двадцать четыре часа суток, что для мыслей и переживаний просто не оставалось ни минуты. Это было некоторым преимуществом его теперешнего положения.

Первую неделю они провели почему-то в строгой изоляции. Потом им сказали, что увольнительных не будет, но если у кого есть в городе родные, то те могут приходить к казарме по вечерам, после проверки. Сергей тут же, прорывая бумагу жестким карандашом, настроил Тане записку и, перехватив у ворот уходившего в город старшину, упросил его зайти на бульвар Котовского.

На следующее утро старшина сам окликнул Сергея на плацу. «Все в порядке, — сказал он, — видал твою крадю, так что ставь магарыч. А у тебя, браток, губа не дура — знал кого поджабрить, ха-ха-ха!»

Время на занятиях обычно летело незаметно; но в этот день, казалось, оно вообще остановилось. После обеда в городе опять объявили воздушную тревогу. Самолетов не было, но отбой дали только через час. Сергей вдруг с ужасом представил себе расположение казарм — в каких-нибудь двух километрах от нефтебазы, рядом с сортировочной станцией и новой ТЭЦ. Самое опасное место в случае налета, — а вдруг это произойдет именно в тот момент, когда Таня будет здесь?

После вечерней проверки все успевшие известить своих о разрешении свиданий помчались к воротам. Там уже ждала группа женщин. Сергей увидел Таню еще издали — увидел ее волосы и знакомый белый беретик, надетый так, как она всегда носила — немного набекрень и на лоб.

— Танюша-а! — крикнул Сергей, подбегая. — Танюша, я здесь!

Она вырвалась из группы женщин навстречу ему.

— Танюша, здравствуй, милая, — повторял он, глядя

ее вздрагивающие плечи, — ну как ты там живешь, расскажи... Танюша моя маленькая..

Только сейчас он заметил, что на Тани защитный комбинезон дружинницы МПВО с закатанными выше локтя рукавами и перетянутый широким командирским ремнем. Этого еще не хватало — чтобы она дежурила на крыше во время налетов...

— Ну успокойся, Танюша... не падо... ты что — в дружинне?

— Ой, Сережа... — всхлипывала Таня, промочив слезами его гимнастерку. — Сереженька, я думала, что умру без тебя за эту неделю... Ты... ты еще долго здесь проведешь?

У ворот были свалены привезенные для какого-то ремонта бревна; Сергей отвел Таню к штабелю, сел рядом с нею.

— Перестань плакать, — сказал он как можно строже. — Нельзя так! Иначе я не буду к тебе выходить, вот увидишь...

— Я ведь... я уже не плачу, правда... — Таня, опустив голову, вытерла слезы воротником комбинезона, размазав по щекам пыль. — Ну как ты здесь, Сережа? Долго еще?

— Ну, как... учимся, Танюша, вот и все. А сколько еще будем — кто его знает, может, дней десять. Ты про себя расскажи... Ты что, в дружинне сейчас?

— Конечно... нас тоже учат, как тушить бомбы и всякое такое... Но вообще-то мы все время роем щели, в разных местах. Я уже четыре дня работаю, по девять часов...

— Устаешь очень, Танюша?

— Конечно, но так лучше, правда... все время среди других женщин... я себя гораздо лучше чувствую, потому что не одна и у всех такое же горе... почти у всех. Смотри, какие у меня теперь руки, Сережа. — Таня, пытаясь улыбнуться, протянула ему ладони — натруженные, с белыми бугорками на местах будущих мозолей. Сергей прижал их к лицу. — Руки болят очень, я даже перчатки пробовала надевать, а вообще ничего... Сережа, ты не сердись, что я в таком виде? Я ведь прямо с работы прибежала...

— Так ты, может, есть хочешь? — спохватился Сергей. — Я принесу, а?

— Нет-нет, не нужно, у меня был с собой хлеб, правда, я съела по дороге...

— А ты как вообще питание свое организуешь?

— Мать-командирша все делает, мне ведь все равно некогда. Сережа, а вас тут хорошо кормят?

— Ну, еще бы, мы-то едим вволю... Ну, а как там вообще, Танюша? От Алексан-Семеныча ничего пока нет? Таня отрицательно покачала головой.

— Пока ничего,— сказала она тихо.— Я думаю, еще рано?

— Конечно, рано еще... пока теперь письмо дойдет, это ведь не мирное время. А это что, Танюша, комбинезон тебе в дружине выдали?

— Да, это комендант дал... Мне ведь не в чем было работать, я все свои старые вещи еще зимой извела на тряпки... А в новом просто как-то неловко — да и неудобно, узкое все такое... Смотри, Сережа, я себе к лыжным ботинкам какие подошвы приделала. То есть не я, конечно, это мне сапожник сделал. Из шины, видишь? Теперь хорошо, а то в тапочках страшно неудобно — очень тонкие, и больно ноге, когда на лопату нажимаешь... Господи, что я болтаю всякие глупости! Расскажи, как ты тут, Сережа? Очень тебе трудно? Ой, тебя уже остригли, бедный ты мой...

Таня осторожно провела пальцами по его остриженной под машинку голове, между ухом и пилоткой. Сергей смущенно отвел ее руку.

— Ну чего бедный, скажешь тоже... Остригли как надо, не с прическами же здесь возиться. Танюша, тебе на крыше дежурить приходится?

— Угу, когда тревога. На чердаке, только это если я в этот момент дома... Сегодня, например, мы работали педалеко от парка, так я, конечно, домой не пошла. Сережа, очень трудное у тебя здесь обучение? Строевой очень мучают?

— Да ну, какая теперь строевая, кому она нужна. Учат ползать, окапываться, разные такие штуки... Ничего трудного нет, Танюша, ты не думай. Танюша, ты там будь осторожнее, на этих чердаках. Асбестовые костюмы вам выдали?

— Обещают выдать рукавицы, только не знаю когда. Ничего, у нас там есть несколько пар щипцов — вот такие длинные, правда. Сережа, а зажигательная бомба действительно не может взорваться? Если ее взять за хвост — ничего?

— Ничего, Танюша. Если шипит и горит, то, значит, уже не взорвется. За хвост можно схватить, пока еще оболочка не прогорела, а после уже опасно — обожжешься. А вообще не нравится мне это...

— Что, Сережа?

— Ну, вот что ты в МПВО.

— Кому-то нужно же там быть... У нас в доме всего девять человек молодежи — я никогда не думала, что так мало, — а остальные все пожилые или с детьми. Не матери же командирше идти за меня на чердак!

— Верно, конечно, — вздохнул Сергей.

Вокруг них, на этом же штабеле бревен и просто на вытоптанной пыльной траве у ограды, сидели другие пары, тихо и озабоченно переговариваясь каждая о своем.

Большинство женщин были, очевидно, женами — одна даже принесла с собой грудного младенца, который сейчас в блаженном неведении пускал пузыри на руках у отца. Пришло несколько старушек — матери или тещи; пришел парнишка школьного возраста, лет четырнадцать; кроме Тани было еще две девушки приблизительно ее же возраста, в рабочих спецовках.

На какой-то миг Таня вдруг с предельной отчетливостью испытала опять то же странное и непривычное чувство, которое она уже испытывала не раз за эти последние дни, работая с остальными дружинницами. До сих пор — до войны — она привыкла ощущать себя именно самой собою: жизнь ее была, в общем, довольно своеобразной, вкусы и привычки — тоже; были соседи, был привычный школьный коллектив, но все это существовало отдельно, а она, Татьяна Николаева, жила сама по себе, в известной даже обособленности. Обособленность эта не была, конечно, нарочитой — просто так получалось. В отличие от большинства своих подруг (если не считать Людмилы) Таня была, например, избавлена от многих забот: чтобы сшить себе новое платье или достать новые туфли, ей не приходилось ни экономить, ни стоять в очереди, все это устраивалось как-то само собой — достаточно было сказать Дядесаше. А главное — за десять лет она привыкла к положению знаменитости: сначала, в первых классах, это был папа — с его портретами в газетах и заграничными командировками, из которых он всегда привозил Тане что-нибудь такое, чего не было ни у кого. Потом был Дядясаша — «знатный человек нашего города», единственный в Эниске Герой Советского Союза...

Все это теперь кончилось. Теперь Таня все чаще и чаще ловила себя на ощущении, что она является просто одной из многих и уже ничем не отличается от всех тех женщин и девушек, которые делали вместе с ней одну и ту же работу, получали то же количество хлеба

и говорили о том же — о войне и о своих близких, покинувших дом в эти дни; и ее любимый, сидевший сейчас рядом с нею, был одет в ту же солдатскую одежду, что и другие мужчины вокруг них...

— ...но ты придешь завтра? — спрашивал Сергей, не отпуская ее руки. — В это же время, хорошо? Только, Тапюша... я вот сегодня подумал — а вдруг налет случится, здесь ведь опасно....

— Сейчас всюду опасно... И потом, во время налета лучше быть вместе, ведь правда?

— Да, но... здесь все-таки казармы, и сортировочная совсем рядом, и нефтебаза. В случае чего...

— В случае чего лучше быть вместе, — упрямо повторила Таня.

Шла уже вторая половина июля. Знойные дни, мелькающие как листки обрываемого второпях календаря, слухи — то тревожные, то успокаивающие ненадолго, суровый голос диктора, называющий всё новые и новые направления, узлы и чемоданы беженцев в горисполкомском скверике, синие комбинезоны регулировщиков ВВС, пропускающих по закрытым для движения улицам медленные колонны грузовиков с авиабомбами, надрывный вой сирен и тяжелый размеренный шаг пехоты — так выглядел город на исходе первого месяца войны.

Таня продолжала рыть щели вместе со своими дружинницами. Двадцатого пришло наконец письмо от Дядисаши: он сообщал свой новый номер полевой почты, спрашивал о Танином здоровье и о Сергее. О себе полковник написал только, что у него все в порядке. Письмо было очень коротким, — Таня видела, что оно написано второпях; но даже и таким оно явилось для нее огромной радостью.

Она едва дождалась конца работы, так не терпелось поделиться новостью с Сережей. Они виделись теперь через день: по нечетным дням у Тани были вечерние занятия на курсах ПВХО, по четным она прямо с работы, не заходя домой, отправлялась к Сергею. До кавалерийских казарм было от центра около пяти километров — добрый час ходу, это после целого дня тяжелой работы. Впрочем, настоящую усталость Таня чувствовала обычно только уже на обратном пути, возвращаясь в город вместе со знакомыми уже спутницами. Некоторых она уже знала по имени-отчеству, была по-

священа в их домашние дела и сама делилась с ними своими заботами. Зоя Комарова, молодая работница с оптического, та самая, что в первый вечер принесла с собой ребенка, жила тоже во Фрунзенском районе, недалеко от бульвара Котовского, и они обычно шли вместе до самого центра; Комарова рассказывала Тане о своей работе, жаловалась на вредную свекруху, хвалилась дочкой, вспоминала историю своего замужества. Эти долгие вечерние путешествия — сначала полем, мимо нефтебазы, где крепко пахло пыльным бурьяном и мазутом, потом по темным окраинным улочкам, едва освещенным редкими синими фонарями,— всякий раз еще больше укрепляли в Тане новое для нее ощущение того, что ее судьба уже ничем не выделяется из тысяч и миллионов других судеб...

В этот вечер Комарова встретила Тане, когда та только подходила к казармам.

— Давай вертайся! — крикнула она еще издали.— Не пускают сегодня наших мужиков!

— Как не пускают? — встревоженно спросила Таня, подойдя ближе и посмотрев на закрытые ворота.— А в чем дело, Зоя?

— А я знаю? — пожала та плечами.— Угнали, что ль, куда-то, вроде на ночные занятия...

Таня растерянно оглянулась.

— Но как же так... И вообще их сегодня не будет?

— Теперь-то уж поздно. Пошли, что ль, чего ж стоять без толку.

— Да нет, как же так,— повторила Таня,— нужно подождать, может быть, что-нибудь узнаем...

— Так тебе и сказали! Ну, как хочешь, а я пошла — мне еще за молоком надо, аж на Старый Форштадт. Так ты остаешься?

— Конечно, я пока останусь...

Она осталась и просидела целый час у запертых ворот, все еще надеясь, что удастся узнать что-нибудь или увидеть кого-нибудь из Сережиной роты; но часовой ничего не знал, а из ворот никто не выходил. Около десяти она вернулась домой, совершенно разбитая усталостью и тревогой.

— Ладно, будет тебе! — прикрикнула на нее мать-командирша.— На то и армия, а ты что себе воображала. Мойся живее да садись, суп остынет.

После ужина, едва Таня успела написать несколько строчек ответного письма Дядесаше, объявили воздушную тревогу. Пришлось снова натягивать комбинезон,

Сунув в карман фонарик и перекинув через плечо тяжелую противогазовую сумку (по тревоге полагалось быть в полном снаряжении), Таня вышла на площадку. В доме было тихо, лишь где-то хлопнула дверь, потом другая. С пятого этажа спустилось во двор боязливое семейство Голощаповых, нагруженное аварийными чемоданчиками, потом, позевывая и размахивая противогазом, как кошелкой, сошла Женя Пилипенко с четвертого.

— Опять на чердак,— сказала она и вздохнула.— И отдохнуть не дадут, фрицы проклятые!

Таня только пожала плечами, морщась и пытаясь застегнуть под подбородком ремешок каски. Застежка была неудобной, сама каска — и того хуже: обычный пехотный шлем старого образца, из тех, что лет десять провалялись на интендантских складах и теперь были розданы дружинам МПВО. Таня никак не могла подогнать по своему размеру это громоздкое сооружение, но оставаться во время дежурства с непокрытой головой боялась: инструктор рассказал им много неприятного о падающих сверху зенитных осколках. Она неодобрительно посмотрела на Женю Пилипенко, голова которой была повязана косынкой, и почувствовала укол зависти к ее бесстрашию.

— На фронте не отдыхают,— сказала она вызывающе, справившись наконец с ремешком.— Ты никак не можешь привыкнуть, что идет война... даже одеваешься на дежурство не по инструкции. Полагается быть в комбинезоне и в каске, а ты приходишь, будто...

— Охота была таскать на голове кастрюлю,— отозвалась та.— А комбинезон и вовсе не годится — он узкий, в случае чего сразу прожжет до тела. Это надежнее...— Она похлопала по карману своего широкого брезентового дождевика с капюшоном.— Еще если водой облить, так и вовсе станет как железный — никакой термит не...

Несколько гулких ударов, последовавших часто один за другим, не дали ей закончить фразу. Таня вздрогнула.

— Зенитки? — испуганно спросила она у Жени Пилипенко.

— А я знаю? Бежим наверх!

Гулкий лестничный пролет сразу наполнился встревоженными голосами и хлопаньем дверей. Добравшись до чердачного люка, Таня нырнула в темноту и включила фонарик. «Кто там со светом!» — истерически крикнул кто-то из уже собравшихся на чердаке дру-

жинниц; в эту же секунду на крышу обрушилась новая волна грохота, под тяжестью которой, как показалось Тане, пошатнулся весь дом. Она сжалась и присела, инстинктивно зажмурившись. Когда волна прокатилась, стали слышны торопливые хлесткие удары зениток. Таня открыла глаза и увидела перед собой высветленный красноватым заревом полукруг слухового окна и медленно скользящий поперек него — наискось — голубой луч прожектора. Потом стало тихо. Таня отчетливо слышала незнакомый, вибрирующий в каком-то странном волнообразном ритме, монотонный гул моторов. Опять, очевидно нащупав цель, вразнобой ударили зенитки, словно торопясь заглушить друг друга, и опять прокатилась над крышами гремящая волна взрывов.

На чердаке было очень душно, — Таня почувствовала, как по ее спине сбегала щекотная капля пота, — но сейчас ее трясло, как в ознобе. «Господи, только бы не там, — шептала она беззвучно, закрыв глаза и прижавшись к шершавой балке стропил, — только бы не около казарм... пусть где-нибудь в другом месте — только не там...»

— Возле мотороремонтного сбросил, гад вредный, — сказал неподалеку мужской голос. Словно очнувшись, Таня прошла к слуховому окну и выглянула, преодолевая страх. В двух-трех местах города что-то горело, откуда-то из-за Казенного леса косо вздымались призрачно-голубые лезвия прожекторов. Они шевелились медленно и бесшумно, как во сне, ощупывая небо осторожными шарящими движениями. Вскрабкавшись на ящик с песком, Таня высунулась по пояс и долго всматривалась в ту сторону, где были расположены казармы; но там все было темно. Самолеты, кажется, ушли, зенитки молчали. Воя сиреной, промчалась где-то машина, потом еще две. В полночь дали отбой.

Вернувшись к себе, Таня бросила на стол противогаз и, не снимая каски, присела к телефону.

— Страсти-то какие, — сказала, войдя в комнату, мать-командирша, — с трех концов, говорят, подожгли. С крыши-то видать было?

Таня покосилась на нее и пожала плечами, не отнимая от щеки трубку. Прошло минуты две, пока она, наконец, услышала Люсин голос. Нет, на Пушкинской все благополучно — самое большое зарево видно в стороне мотороремонтного завода, говорят, что пожар на складах. В районе нефтебазы, кажется, тоже благополучно. Она была в саду, а мама никуда не выходила —

говорит, что это неразумно: все дело случая, с таким же успехом может убить в щели, как и в собственной комнате...

На следующий вечер Таня не пошла на занятия, а отправилась прямо к казармам, но опять безуспешно; то же повторилось и двадцать второго. «Не может же быть, чтобы их уже отправили,— думала она, возвращаясь в город.— Но почему тогда не позволяют видеться?..»

Дома, на площадке, ее встретила мать-командирша, хмурая более обыкновенного.

— Записка тут для тебя,— сказала она, протягивая сложенный листок.— С полчаса как занесли...

У Тани почему-то оборвалось сердце, хотя в записке могло быть что угодно. Прислонившись к перилам, она развернула листок и, мертвая, два раза перечитала бледные карандашные строчки:

«Танюша, родная! Завтра мы уезжаем. Приходи на сортировочную к пяти часам вечера, провожающих пустят. Крепко целую. До завтра! Твой С.»

Ну, вот. Все было кончено; наступил час, который не мог не наступить. Она подняла глаза и непонимающе посмотрела на мать-командиршу, которая что-то ей говорила. Та обняла ее, коротко поцеловала в лоб и ушла к себе. Таня еще раз перечитала записку. Но почему именно завтра, почему хотя бы не через два дня, ведь от этого ничто не изменится... почему именно завтра!

В каком-то оцепенении она достала ключ из кармана комбинезона, отперла дверь, вошла в комнату. Завтра в пять часов вечера они увидятся в последний раз. В последний раз. И потом пойдут бесконечные дни, когда даже письма не будут успокаивать — потому что письмо с фронта идет неделю или две, а солдат рискует жизнью миллион раз на день...

Через полчаса — или через час — в комнату вошла мать-командирша.

— Не включайте света,— почти спокойно предупредила Таня,— маскировка не закрыта.

Зинаида Васильевна постояла на пороге, взглядываясь в темноту.

— Чего ужинать-то не идешь? — спросила она грубовато.

— Я не хочу ужинать.

— Как это «не хочу»... Поела, что ль, где?

Таня не ответила.

— Зря, Татьяна, — помолчав, сказала мать-коман-

дирша.— Бога гневить нечего, ты покамест настоящего горя еще не знаешь. Плохой ты будешь мужу помощницей, как я погляжу...

— Не нужно, Зинаида Васильевна,— с трудом выговорила Таня.— Прошу вас, не нужно...

— Ох, девка, горе ты мое,— вздохнула та.— Ну, сиди, коли так. Суп-то я тебе в передней оставлю, возьмешь тогда, в кастрюльке. Поешь только, а, Таня? И не сердчай на меня, я ведь не со зла это, только добра тебе и желаю. Ну, Христос с тобой...

Утром ее первой мыслью было: «Сегодня в последний раз». Уже окончательно проснувшись, она долго лежала с закрытыми глазами, как любила полежать до войны по воскресеньям. А вдруг все это приснилось — весь этот месяц, отъезд Дядисаши, Сережа в солдатской гимнастерке, вчерашняя записка,— вдруг откроешь глаза, и окажется, что нет никакой войны...

Она их открыла. Увидела маскировочную штору, брошенный через спинку стула защитный комбинезон, пустой ящик радиолы с темным прямоугольником на месте шкалы и рядом круглых дыр на панели управления. Ей вспомнилось, как Сережа размонтировал аппарат — на третий день войны, когда было приказано сдать приемники. Он вытащил шасси, и потом они вместе ходили на сдаточный пункт, а там долго не могли понять, в чем дело и почему она сдает не целый аппарат, а только шасси. Странно, что даже тот день — когда Дядисаша уже готовился к отъезду — сегодня вспоминается ей как мирное и невозвратно ушедшее время. С нею был тогда Сережа. И она не знала, что в тот день он уже подал заявление в военкомат...

Она опять закрыла глаза и некоторое время лежала неподвижно на спине, без мыслей. Потом подняла руку и посмотрела на часы — было уже четверть одиннадцатого. Когда же она вчера легла? Наверное, поздно. Другие уже давно работают, сегодня их должны были послать заканчивать щель в детском саду имени Круйской. Ну что ж, сегодня у нее уважительная причина...

Телефонный звонок сорвал ее с постели. Вдруг это Сережа, подумала она, выскакивая в соседнюю комнату, вдруг у него что-то изменилось и отъезд откладывается... Но это оказалась Людмила. Сразу обессилев, Таня опустила на стул.

— Да, Люся,— сказала она безжизненным голосом.

— Танюша, это ты? Мне сегодня позвонила Зинаида Васильевна, я даже хотела прийти сейчас к тебе.

Танюшонок, милый, я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но ты не отчаивайся! Подумай, сколько людей на фронте — не со всеми же случается несчастье! Александр Семенович столько раз воевал и...

— Конечно,— сказала Таня,— не со всеми. Ты, как всегда, права. Что сегодня в сводке?

— Был палет на Москву, ночью. Кажется, ничего серьезного. Москву ведь до сих пор не бомбили, это они решили отметить месяц с начала войны, вот негодяи...

— Правда, вчера ведь исполнился ровно месяц, я и забыла.

— Танюшонок, ты хочешь, чтобы я пришла на станцию? Я просто подожду где-нибудь, чтобы потом тебя проводить. Хочешь?

— Не нужно, Люся,— помолчав, ответила Таня.— Я приду к тебе, может быть, останусь ночевать. Если не будет налета.

— Хорошо, Танюша, я буду ждать... И слушай, я хотела тебе сказать... Это просто совет, Танюшонок, ты не обижайся... Помни все время, что Сергею сегодня тоже очень трудно, и... постарайся вести себя так, чтобы не расстраивать его еще больше. Ты меня поняла?

— Держать себя в руках? — Таня усмехнулась.— Конечно, я буду держать себя в руках. Я буду вести себя героически, как подобает стойкой советской девушке! Я даже спою ему модную песенку: «Иди, любимый мой, родной, суровый час принес разлуку». Ты довольна? Люся, ты хоть раз в жизни пробовала сама последовать хотя бы одному из своих мудрых правил?

Таня положила трубку и долго сидела, разглядывая круглую ссадину на коленке, равнодушно пытаюсь вспомнить, где и когда она так ушиблась, потом принялась считать шашки паркета, сбилась, начала счет в обратном направлении. В комнате было жарко, пахло утренним солнцем и пылью — окна оставались открытыми уже несколько дней подряд. С улицы донесся голос диктора: «...Московское время — двенадцать часов. Передаем последние известия». Да, нужно было продолжать жить.

Таня надела халатик, убрала постель, поставила на электроплитку кастрюльку со вчерашним супом. Есть не хотелось, но нужно было продолжать жить.

После завтрака она заставила себя заняться домашними делами — прибрала в комнатах, выстирала комбинезон. Всякий раз, когда она бросала взгляд на часы,

сердце ее обрывалось и тут же начинало биться редкими тяжелыми ударами, перехватывая дыхание.

Наконец стрелки подошли к трем.

Еще никогда, ни на один праздник Таня не одевалась так тщательно. Она выкупалась, истратив на голову остатки шампуня, надела свое лучшее белье, привела в порядок ногти. Она занималась этим, когда в передней раздался звонок. Таня открыла, придерживая у горла воротник халатика; вошел небритый человек с сумкой.

— С Горэлектросети, — хмуро представился он. — Розетки в квартире есть?

— Да, — кивнула Таня. — Сюда, пожалуйста...

Человек молча осмотрел проводку в обеих комнатах, опечатал все штепсельные розетки.

— Нагревательными приборами пользоваться воспрещается, — сказал он, — настольными лампами тоже. Застелите стол чем-нибудь, мне подняться нужно.

Взобравшись на стол, он вывинтил из люстры все лампочки, кроме одной, и патропы тоже опечатал.

— Эту после смените, — сказал он, тяжело спрыгнув на пол, — можно иметь не больше сорока ватт на комнату. Тут у вас шестидесятиваттная. И в той комнате тоже смените. Если будет перерасход, вообщеотрежем.

Уже выходя, он не удержался — посмотрел на разбросанные маникюрные принадлежности и скользнул взглядом по Таниному золотистому халатику.

— Пальчики красите? — спросил он с угрюмой насмешкой. — Подходящее занятие.

— Да, — сказала Таня очень тихо.

Монтер вышел, хлопнув дверью. Таня постояла с закрытыми глазами, потом медленно размотала с головы мохнатое полотенце и пощупала распушившиеся волосы. Они уже высохли. Было четыре часа.

Она долго сидела перед зеркалом, расчесывая волосы щеткой, пока не заблестели как шелковые. Потом достала из шифоньера белый костюм — тот самый, в котором была второго сентября. Ту самую блузочку, тот самый пояс, те самые туфли. Все, кроме цветка. Но Сережа поймет — сейчас цветов не достанешь. Где они собирались тогда отпраздновать первую годовщину — в Ленинграде?

Перед уходом она позвонила Люсе.

— Люся, — сказала она, — я у тебя прошу прощения за сегодняшнее. Извини меня, ты ведь, наверное, все понимаешь. Не сердись. Я к тебе сегодня приду, обяза-

тельно. Что? Хорошо, я передам... Да, конечно, от всех, я понимаю...

Пока она говорила, в комнату вошла мать-командирша.

— Идешь, Таня? — спросила она. — Ночевать останешься у Людмилы? Ну... Сереженьке поклон от меня, не забудь. Скажи — молиться за него буду, как за своих сынов. И за тебя пускай не болеет, мы-то здесь проживем... лишь бы их всех господь сохранил, воинов наших. Ну, ступай, не ровен час, еще опоздаешь...

Над обширным двором сортировочной станции — над лабиринтом рельсовых путей, над пакгаузами, над маневрирующими составами, над светлыми и темными платями женщин и желтыми, цвета выгоревшей травы, гимнастерками мужчин — высоко-высоко, в величавом и непостижимом покое плыло легкое перистое облачко, уже чуть тронутое алой краской заката.

— Почему ты все смотришь на небо? — тихо спросила Таня.

— Просто так... Все кажется, будто самолет слышно... Ты мне обещаешь, что не будешь бывать в этих местах? В центре все-таки не так опасно, мне кажется.

— Хорошо, Сережа, я не буду здесь бывать, — прошептала она, опять прижимаясь щекой к его плечу. — Я буду делать все, что ты мне скажешь... Не буду ходить вблизи военных объектов, буду вовремя есть и вовремя ложиться спать... А ты обещай мне только две вещи — беречь себя и почаще писать. Ты будешь себя беречь, Сережа?

— Да, для тебя...

— Потому что я умру, если с тобой что-нибудь случится. Это я знаю совершенно точно. Ведь человек знает, что он умрет, если оставить его без воздуха. Обещай мне, что будешь себя беречь, Сережа.

— Я обещаю, Танюша. Для тебя, я же сказал.

— Почему у тебя нет каски?

— Так у нас и винтовок еще нет. Сказали — все там выдадут.

— Обязательно носи каску, осколки иногда падают сверху...

— Хорошо, я буду обязательно носить каску. Танюша...

— Что, Сережа?

— Как хорошо, что ты пришла в этом костюме...

— Я знала, что это будет тебе приятно.

— Спасибо, Танюша...

Он взял ее руки и поцеловал одну ладонку, потом другую. Пальцы ее слабо дрогнули в ответ.

— Не нужно, Сережа,— сказала она чуть слышно.—
Иначе я... я не смогу.

Они опять замолчали. Невысокая насыпь у тупика, где они сидели на разостланной шинели, поросла жесткой травой, выгоревшей и пыльной. В траве короткими тоненькими очередями строчили кузнечики. Под навесом пакгауза, в большой группе красноармейцев и провожающих, с отчаянным надрывом выводила «Катюшу» чья-то гармонь. Где-то пели «Роспрягайтэ, хлопцы, кони». Где-то плакал ребенок. Уходили последние минуты, которые им суждено было провести вместе.

И все это случилось по его воле. То, что они сидели сейчас на этой станции, среди красных товарных вагонов и надрывных песен, зачехленных орудий и тюков прессованного сена, безветренного июльского зноя и искрящейся между шпал угольной пыли — все это было реальностью только потому, что так решил он сам. Он решил идти на фронт, так как не мог позволить, чтобы кто-то другой защищал его любимую. Но это решение было принято почти месяц назад, когда никто не мог еще предугадать ход войны. Во всяком случае, он не предугадывал. А теперь ему приходилось уезжать, оставляя Таню одну в городе, который не был уже таким глубоким тылом. Ему приходилось оставлять ее в тот момент, когда начались налеты, когда немцы вышли к Днепру под Могилевом, когда каждый день боев приближал к Энску линию фронта. Неужели его решение было неправильным?

Все эти мысли мгновенно промелькнули в голове Сергея и тут же получили ответ. Нет, оно было правильным. Если бы речь шла только о том, чтобы уберечь Таню от трудностей и опасностей войны,— для этого не нужно было бы идти на фронт. Но ведь в том-то и дело, что речь теперь шла не только об этом. Пойти в военкомат его тогда заставила именно мысль о Тане, это верно; но сейчас он уже понимал, что на самом деле это была мысль о чем-то неизмеримо более всеобъемлющем. Он думал о Тане, потому что в тот момент она воплощала для него буквально все; но в это «все» входила и его мать, и сестра, и товарищи по школе, его и Танины, и ее право учиться на филологическом факультете, и его мечты стать инженером-электриком и строить

заводы-автоматы. Если он хотел защищать Таню — ему нужно было защищать и все остальное: всю их жизнь, весь привычный им и воспитавший их строй. Иначе быть не могло. И он не мог сделать это иначе, чем сделал. Иначе было нельзя.

— Сережа, — сказала Таня. — Вчера я весь вечер думала, что подарить тебе на память. И у меня ничего не оказалось... Как странно, правда? Я даже свое вечное перо недавно потеряла, иначе я подарила бы тебе его, чтобы ты писал им письма. И я просто отобрала для тебя несколько своих фотографий, за разные годы. Последняя снята накануне выпускного вечера, двадцатого...

Таня достала из кармашка небольшой плотный пакетик в целлофане и сама вложила его в карман Сергеевой гимнастерки.

— ...Только сейчас не нужно, посмотришь потом. Хорошо? И ничего больше я тебе подарить не могу... кроме самой себя. Ты не можешь взять меня с собой, Сережа, но я все равно принадлежу тебе — где бы ты ни был и сколько бы времени нам ни пришлось еще не видеть друг друга. Понимаешь?

— Да, Танюша. Я все понимаю. Ты говоришь — подарить «на память»... Неужели ты думаешь, что мне еще нужно что-то на память о тебе, неужели ты думаешь, что я вообще могу тебя когда-нибудь забыть... А за карточки спасибо, это самый дорогой подарок, какой ты могла мне сделать. У меня еще знаешь что есть? Та твоя роза, помнишь, я ведь ее засушил тогда... Она у меня здесь, в бумажнике. Хочешь, покажу?

— Нет, — быстро сказала Таня. — Ради бога, не нужно. Смотри, какой закат, Сережа...

— Ага. Ветер завтра будет.

— Наверное.

— Что еще Алексан-Семеныч писал?

— Ничего, Сережа. Только то, что я сказала. Он передавал тебе привет, я говорила?

— Да, спасибо. Может, мы там где-нибудь увидимся...

— Может быть.

Молчание. Тоскливые выкрики маневрирующих паровозов, песня, надрывные переборы гармошки. На лицо Сергея уже лег тревожный отсвет закатного зарева.

— Отвернись оттуда, — сказала Таня. — Не нужно туда смотреть, пожалуйста..

Сергей посмотрел на нее — у Тани задрожали губы.

Низко опустив голову, она провела рукой по колючему шинельному сукну.

— Если война до осени не кончится,— сказала она тихо, не поднимая головы,— тебе в этом будет холодно, Сережа... Я тебе тогда пришлю мою лыжную фуфайку — помнишь? Она на меня велика, и потом ведь шерсть растягивается...

— Ну вот еще... Что нам, теплого не выдадут? Тебе она тоже пригодится.

— У меня ведь есть кожаная куртка, с мехом, она очень теплая... Но может быть, до осени война кончится?

— Должна кончиться, Танюша, думаю, что должна.

— Я тоже думаю...

Они не услышали, как была подана команда,— увидели только движение в толпе. Вскрикнув в последний раз, умолкла гармонь. Отчаянно, в голос, заплакала женщина. Сергей вскочил, вглядываясь в хлынувшую к вагонам человеческую волну. Поднялась и Тania, глядя на него остановившимися глазами.

— Ну вот...— сказал он хрипло.

— Уже? Но ведь мы еще совсем не...— растерянным шепотом начала она и не договорила, словно ей не хватило воздуха.

Сергей вскинул на плечо лямку вещмешка, поднял шинель.

— Танюша, простимся здесь,— сказал он, кашлянув.— Не нужно туда. Попрощаемся, и ты сейчас иди — только не оборачивайся...

— Нет! — вскрикнула она, схватившись за него обеими руками.— Нет, Сережа, я не пойду,— ты не бойся, я плакать не буду, честное слово! Я не уйду до конца, ты не можешь отнять у меня эти минуты — больше я ничего у тебя не прошу...

...То, что было потом, осталось у нее в памяти лишь отдельными разорванными впечатлениями. В полнеба пылал багровый закат над семафорами, на его огненном фоне четко, словно прочерченный тушью, рисовался сквозной чертеж эстакады. Длинным, бесконечно длинным, нацеленным прямо на закат рядом стояли вагоны. Захлебываясь, рыдала женщина: «Петенька-а! Петенька, ро-о-одненький ты мой!!» Пожилой усатый боец, крепко зажмурившись, целовал плачущую девочку в ливом ситцевом сарафанчике; другой, помоложе и, видимо, сильно выпивший, с красивым лицом, искаженным выражением какого-то лихого отчаяния, протирался сквозь толпу, волоча за собой расстегнутую гармонь,

Пахло пылью, человеческим потом, нефтью и креозотовой пропиткой шпал.

Сергей, уже бросив в вагон шинель и вещмешок, стоял перед нею — высокий, в плохо пригнанном обмундировании и пыльных сапогах, кирзовые голенища которых казались слишком широкими. Он держал ее за локти и не говорил ни слова. Что можно было теперь говорить? Кругом шумели, плакали, смеялись, в соседнем вагоне кто-то отплясывал гопака, гулко стуча каблуками. Только бы выдержать до конца, только бы не заплакать в самую последнюю минуту!

И, когда подошла эта минута, Таня не заплакала. Взмыл и растаял в закатном огне пронзительный паровозный гудок, загромыхали буфера — пока еще там, впереди. Сергей, держа в ладонях ее запрокинутую голову, торопливо целовал глаза, щеки, волосы. «Сережа, — шептала она беззвучно, забыв все другие слова, — Сережа, Сережа...» Потом — лягнула и растянулась сцепка, вагон дрогнул, словно не решаясь двинуться, — Сергей обхватил и рывком прижал к себе ее тело, и оно безвольно изломилось в его руках. Его губы оборвали ее шепот. Проходя стык, неторопливым сдвоенным ударом громыхнула колесная тележка, проплыл буфер. Сергей оторвался от Тани и, не оглядываясь, побежал за вагоном.

Сверху протянулись руки. «Давай, браток, давай! — кричали ему. — На всю войну не нацелуешься!» Поймачью-то шершавую ладонь, он прыгнул, больно ударившись коленом, вскарабкался. Пилотка едва не свалилась. Натянув ее поглубже, Сергей перегнулся через укрепленный поперек двери брус. Фигурка в белом, то и дело заслоняемая другими, бежала вдоль эшелона, спотыкаясь и отставая все больше и больше. Бойцы прижали Сергея к брусу, навалились на него, кричали, махали пилотками.

В толпе провожающих уже нельзя было разглядеть отдельные лица. Словно горящие изнутри, алым отраженным блеском пылали окна стационарных построек. Сергею показалось еще, что на секунду он увидел Таню, но сейчас же потерял из виду — на этот раз окончательно. Встречный ветер уже обвевал его затылок. Громыхнула стрелка, вагон дернулся в сторону. Наплывший пакгауз заслонил толпу.

Вокруг Сергея стало свободнее — бойцы, громко переговариваясь, разбирали свои вещи, устраивались на нарах. Ширилась и разворачивалась, уплывая от него,

панорама города — ряд коротких труб на здании ТЭЦ, парашютная вышка в парке, корпуса жилмассивов, сады, едва заметные вдали высокие трубы мотороремонтного завода, синеющая справа темная полоса опушки Казенного леса — вся его двадцатилетняя жизнь, его школа, его друзья, его любовь. Все это удалялось с каждым оборотом колес.

Потом он повернул голову. Длинный эшелон изогнулся на закруглении пути, шатались вагоны, видно было, как далеко впереди хлопотливо мелькают шатуны паровоза. Еще дальше пылал закат — вся западная сторона неба была в огне. Быстро набирая ход, все громче и чаще грохоча колесами на рельсовых стыках — словно постепенно распаляясь яростью, — эшелон шел навстречу этому пламени.





**Частный
случай**
Повесть



Глава 1

Работа ему правилась, она понравилась ему сразу, как только его привезли сюда и разъяснили будущие обязанности; пока не оформили окончательно, он даже просыпался по ночам — боялся, как бы не передумали. Нет, не передумали, оформили. Это было удачей, большой и едва ли не единственной за последние годы его жизни, когда все как-то шло вкривь и вкось.

Самым приятным в новой работе было то, что ее, в сущности, нельзя даже было назвать работой. Чистить после снегопада дорожки, топить печи — дрова еще с лета напилены, наколоты и сложены в громадные, запасом не на один сезон, поленницы — какая же это работа? Люди дачами обзаводятся нарочно для того, чтобы приехать на выходные, заняться этим же самым, а ему за удовольствие платят еще и зарплату. Не ахти какую, правда, — за вычетом тридцатки, которую он ежемесячно отправляет драконидам, остается только-только. Но много ли ему надо? Он всегда был непривередлив в еде и одежде, непривередлив до нелепости (сам это признавал), даже когда жил еще у тестя и дракониды безуспешно пытались сделать из него человека (были даже куплены финские джинсы за полтораста целковых и замшевый пиджак со золототканым лейблом на подкладке), все их усилия пропадали втуне, он предпочитал штаны сиротского цвета, приобретенные в «Рабочей одежде», а любимым его лакомством оставался холодец по 90 ко-

пеек. Был еще по 56, но там попадалась щетина. Холодец он позволял себе и теперь — если не выходил из бюджета.

В пятницу вечером на базу начинали съезжаться лыжники, и утром в субботу он, выдав инвентарь, накачав воды в верхний бак и растопив «титан», уезжал электричкой в Питер.

После недели, проведенной в лесной тишине и безлюдье, коммуналка в старом доходном доме на Малом проспекте Васильевского острова казалась еще гаже обычного, а его персональная жилаплощадь — пенал в 8 квадратных метров, с дверью и окном в противоположных торцевых стенах — более чем когда-либо напоминала тюремную камеру. Окно, правда, было довольно большое, но выходило оно во двор, и начиная с октября приходилось даже днем работать при настольной лампе. Слева от двери стояло обшарпанное пианино, за ним вдоль длинной стены — самодельные книжные полки почти до потолка; справа, соответственно, узкая солдатская койка и письменный стол, на котором громоздился «Ундервудъ» — старый, черный, с облупившимися золотыми виньетками, чем-то (возможно, степенью обветшания) схожий с пианино.

Конец недели, или, как теперь говорят в хорошем обществе, уик-энд, он проводил в пенале, почти никуда не выходя. Приехав, обзванивал знакомых, кого удавалось застать дома, и садился перепечатывать написанное за неделю. Можно было бы перевезти на базу и машинку, но там от станции добрых сорок минут пешком — страшно подумать, тащить такую дуру. Мало что весом в полпуда, так еще неудобная, неухватистая, рычажки да колесики торчат во все стороны — такую только и можно в одеяло какое-нибудь узлом да на спину. Нет, не донести. Если бы что-нибудь напечатали, он купил бы новую, портативную — югославскую «Де люкс» или, на худой конец, «Любаву». Дал себе зарок: из первого же гонорара. Дело не в том, что не было денег, — на экстренную покупку всегда можно заработать, там в поселке часто спрашивают — не знает ли кого, чтобы пришел летом поработать на участке, обкопать яблони, забор починить, траншею выкопать под трубы. Десятка в день обеспечена, так что при желании за месяц спокойно можно заработать даже на «Эрику». Останавливало суеверие: купишь, а печатать все равно не будут — совсем глупо получится.

Когда должна была родиться Аленка, старшая дра-

когда насторого воспретила приобретать что-либо для младенца заранее. Плохая, говорят, примета.

Впрочем, нет худа без добра: то, что писать приходится от руки, пожалуй, даже к лучшему, — при перепечатке текст воспринимается как-то свежее, по-новому. И огрехи сразу вылезают, недосмотренные в первом, рукописном варианте. Это, положим, истина известная: сколько ни правь, всегда найдется что-то недоправленное.

В воскресенье после обеда он набивал рюкзак нужными на неделю книгами и возвращался на Финляндский, уже заранее предвкушая тишину, запах снега, ровный шум сосен на ветру. Надо было успеть к отъезду лыжников, чтобы принять инвентарь; когда база пустела, начиналась настоящая жизнь. Если бы не лыжники с их магнитофонами и хоровым пением, можно было бы сидеть здесь безвылазно — до самой весны.

Работа была сезонная, с октября по май. Летом базу занимал детский сад, и сторож оказывался ненужным; это время он обычно использовал для путешествий, в прошлом году устроился матросом на самоходку (вернее, не сам устроился, это тоже не так просто, а устроил его Димка Климов, абстракционист, плававший на барже уже третью навигацию) и сходил до Астрахани, а оттуда вернулся попутными машинами, загорев до черноты и повидав много любопытного. Даже привез несколько неплохих сюжетцев.

Все было бы хорошо, если бы, вдобавок ко всему, его еще и печатали. Но с этим было глухо. Его не печатали, Димку не выставляли, пьесу Левы Шуйского офутболивал театр за театром — из зависти к гению, как утверждал автор. В таком же положении были и многие другие, так что, если быть справедливым, жаловаться ему не приходилось. На людях и смерть красна. Но все-таки он не понимал, почему не печатают. В конце концов, абстрактные нумерованные композиции Климова выглядели и в самом деле жутковато, надо ли удивляться, что зубрам из отборочной комиссии делалось нехорошо при одном взгляде, а гениальность Левкиной пьесы выражалась прежде всего в полном отсутствии сценического действия — персонажи даже почти не разговаривали, они пребывали в состоянии протрации, порознь или в объятиях друг друга, а внутренние монологи шли одновременно с двух или трех фонограмм. Почему концепция «театра мысли» не вызвала восторга у режиссеров, тоже можно понять.

Но он-то даже не был новатором, вот что интересно. Формальные поиски действительно никогда не занимали его сами по себе, он вообще считал себя скорее традиционалистом. Идеалом был Бунин, и особенно он ценил даже не «проблемные» его вещи — «Братья», скажем, или «Господин из Сан-Франциско», а маленькие, на страничку-другую, рассказы «ни о чем». Просто кусочки жизни, увиденные и показанные так, что сердце замирает. И так же старался писать сам. Не подражая, а следуя. Это ведь совсем разные вещи.

Именно это — пристальное внимание к мелочам — и не устраивало ту редактрису, что так ему запомнилась. «Не понимаю,— говорила она снисходительно, переключая страницы,— вы проехали по трем республикам, причем не поездом проехали — из окна вагона много не увидишь,— а на попутках, побывали, значит, в самой что ни на есть круговерти, ощутили, прикоснулись к трудовым будням, а о чем рассказ? О том, как шофера обедают в чайной, как пиво пьют, как жмурятся, когда первую кружку в себя опрокидывают, и как у них пена остается на небритой щеке. Что это — сюжет? Я уж не говорю о том, что нет на них ГАИ, на этих ваших любителей выпить за рулем...» Он слушал, смущенно улыбаясь (он всегда испытывал чувство какой-то идиотской неловкости, когда приходил в редакцию, как будто являлся займы просить, заведомо зная, что откажут) и никак не мог понять, при чем тут сюжет, при чем ГАИ. Ему казалось, что он так хорошо сумел описать эту чайную, раскаленную от кухонного чада и солнца за широкими пыльными окнами, с облепленной мухами спиралью липучки над прилавком буфета, с запахами еды, пива и солярки от шоферской одежды, и то, как они сами широко и прочно сидят за слишком хлипкими для них стандартными общепитовскими столиками, расставив на голубом пластике столешниц локти своих могучих рук, зачугуневших за баранками многотонных «Колхид» и «МАЗов»...

Ему ободряюще говорили, что у него есть «глаз», есть «чувство детали», и что вообще по языку — никаких замечаний. «Но вы понимаете — специфика журналов, нам нужна актуальность, сегодняшние проблемы, а у вас все это как-то вне времени. Словом, вы приносите, когда будет что-нибудь новенькое, мы всегда рады...» Чему рады — обычно не договаривали, можно понимать по-разному. Рады познакомиться, рады почитать, рады объяснить, почему не могут принять. Единственное, че-

му они никогда, по-видимому, не рады, это взять и напечатать. Хоть раз, ну на пробу, неужто это так сложно? Хотя, думал он, спускаясь по редакционной лестнице, верно и то, что много нас таких ходит, на всех ни бумаги не напасешься, ни краски... Ладно, старик, думал он, еще не вечер. Двадцать восемь лет — конечно, у других к этому возрасту мало ли что было написано и опубликовано! У Леонова — «Вор», у Шолохова — первая книга «Тихого Дона», но тогда время было иное, вулканическое, их выплеснуло, как лаву, сейчас все иначе; словом, спешить некуда.

Он и не спешил. В редакции одного из журналов однажды увидел автора, пришедшего за корректурой, — тот с небрежным видом (видно, не впервой) засовывал в портфель толстую, растрепанную пачку гранок, вещь была солидная по объему — повесть, а то и роман. Он позавидовал счастливцу, но позавидовал по-хорошему, без самоедства; может быть, и ему доведется когда-нибудь тоже приходить и небрежно забирать гранки, жалуясь при этом, что нет времени вычитать. Нет времени! Да ради того, чтобы вычитать свою корректуру, он забыл бы про еду и сон — какое там время!

В сущности, он уже и сейчас жил, как профессиональный литератор: мог встать, когда захочет, с утра сесть за стол и работать, сколько душе угодно. Приходилось время от времени отрываться от писания ради более прозаических занятий — разместить снег, принести дров, — так это и Пастернаку, надо полагать, тоже приходилось делать, когда он жил зимой на своей переделкинской даче. И не такая уж большая разница в смысле доходов. Он как-то подсчитал: для того чтобы получить в гонорарах ту же сумму, что он сейчас получает как зарплату сторожа, ему надо было бы за этот же срок — с октября по май — опубликовать три печатных листа. Кто из начинающих может похвастать такой частотой публикаций? И это ведь надо регулярно печататься, из года в год.

Лыжники многие, наверное, смотрели на него как на придурка: молодой мужик, с университетским дипломом, а кантуется в сторожах, отбивает хлеб у какого-нибудь пенсионера. Про диплом, конечно, они могли и не знать (он только однажды проговорился, собеседник мог не обратить внимания), но тогда это выглядит еще дурее — не учится, не способствует подъему статистического уровня образованности в стране.

Этого же, главным образом, не могли простить ему

и дракониды,— патологической тяги к черным работам и упорного нежелания «становиться человеком». Особенно страдала старшая; младшая тоже пыталась было выражать «фэ», особенно когда он ушел из трампарка, где чистил смотровые канавы, и устроился банщиком — выдавать веники; но младшая драконίδα чутко держала нос по ветру, и скоро она усекла, что в среде ее знакомых некоторые аномалии начинают входить в моду и приобретают даже характер некой особого рода престижности — с обратным, так сказать, знаком. Во всяком случае, на кочегаров и дворников с высшим гуманитарным образованием — а их встречалось все больше — теперь не смотрели, как на неудачников, в их своеобразной карьере видели уже позицию, принцип. Поэтому Изабелла Прохоровна — в просторечии Белка, пока не стала драконидой — в новой компании не упускала случая вернуть, что муж-филолог работает банщиком; это сопровождалось обменом понимающими взглядами, пожиманием плеч и прикрыванием глаз: а что другое остается? То ли еще будет...

Но это все-таки было для понта, а в глубине души она оставалась слишком уж верной копией своей непаглядной мамули, чтобы смириться с участью банщиковой жены. Сама она успешно двигала науку в своем НИИ, и — естественно — столь противостественный симбиоз должен был рано или поздно полететь к черту. Хорошо, что это случилось, пока Алена еще ни фи́га не понимала.

В эту субботу, приехав в город, он сразу позвонил теще. Когда она сняла трубку, конспирации ради сказал басом:

— Изабеллу Прохоровну можно попросить?

— А кто ее спрашивает? — осведомилась, по своему обыкновению, старшая драконίδα.

— С работы,— соврал он, солидно кашлянув. — Из месткома!

Через полминуты трубку взяла младшая.

— Изабеллочка, лапа,— проверещал он тонким голосом,— ну нельзя же так, что же ты с нами делаешь, ведь договорились еще неделю назад!

— Что, что? — обалдело забормотала Изабеллочка.— Кто это, что вам надо?.. Это ты, Вадька? — догадалась она наконец.— Ну придурок. Чего тебе?

— Да ничего, так просто, дай, думаю, позвоню. Одну Алевтину Кронидовну услышать — уже имеевы сердца. Как Алена?

— Нормально.

— Может, встретились бы где-нибудь на нейтралке? Я ее уже год не видел.

— Перебьешься. Об этом раньше надо было думать, когда из дому уходил.

— Строго говоря, я не сам ведь ушел — вернее, уход был вынужденным, так как...

— Ладно, кончай! Алена здорова, видется с ней тебе ни к чему, свидания вредно на нее действуют. Это все, что ты хотел знать?

— Более-менее.

— Тогда — чао.

— Чао, белла миа. Низжайший поклон Алевтине Драконидовне, она у тебя, вижу, все такая же бдительная...

Последнее слово он договорил уже в умолкнувшую трубку. Интересно, какой у них теперь аппарат — кнопочный небось, а то и электронный, с запоминающим устройством. Живы не будут, если не обзаведутся чем-то самым-самым. Радоваться надо, что вовремя смылся из семейки, только вот за Аленку обидно — вырастят ведь себе подобную, будет еще одна драконида. Одна из другой, как матрешки. Жуть!

Кого жалко по-настоящему, так это тестя, Прохора Восемнадцатого. Хороший, в сущности, мужик, воевать кончил в Берлине, потом еще в СВАГе несколько лет работал — помогал немцам строить демократию; если бы не сокращение Вооруженных Сил в шестьдесят втором, вышел бы в отставку с алыми лампасами. Старшая драконида до сих пор этого ему простить не может — что так и не довелось стать генеральшей. Непонятно получается: боевой офицер, на фронте наверняка не трусил, а тут позволил бабью себя зажать. Уже после развода был случай — встретились на Невском, зашли, посидели, а на прощанье экс-полковник и говорит: «Только ты, знаешь, если будешь нашим звонить, не проговорись, что мы с тобой общались, а то ведь они, стервы, житья мне не дадут...»

Повесив трубку, Вадим постоял еще, разглядывая замызганные, исчирканные номерами и инициалами обои вокруг старого настенного аппарата, потом снова нерешительно потянулся к трубке. Маргошка ответила сразу, хотя, судя по голосу, еще не совсем проснулась.

— Охренел ты, что ли, в такую рань звонить, — сказала она. — Ты бы уж среди ночи!

— Какая рань, окстись, первый час уже.

— Ну-у? — удивилась Маргошка. — Я думала — часов девять.

— Гудела небось вчера.

— Нет, что ты! Настоящего гудежа давно уже не было. Так, зашли ребята, посидели, музыку послушали. Алик несколько хороших кассет привез из-за бугра, зашел бы как-нибудь. Не оброс еще шерстью в своем лесу?

— Кое-где уже появляется. А кто был?

— Да те же — Гена, Алик, Лева со своей игуаной...

— Как у него с пьесой?

— К Товстоногову хочет нести. Приду, говорит, к нему домой и заставлю прочитать при мне, раз через завлита не прорваться.

— Так он и станет читать.

— Не станет, ясное дело! Я Левке так и сказала: дебил ты, говорю, Гога тебя с лестницы спустит. Но ты знаешь, что самое интересное? Я ведь, по совести ежели сказать, не уверена, что он не добьется своего.

— Чтобы поставили?

— Нет, ну это отпадает, я говорю — чтобы припереться. Ты понимаешь, вот если есть на свете законченное воплощение нахальства, так это наш Лева Шуйский.

— Это он могёт. Маргошка, почитать ничего нет?

— Потрясный есть роман — «Что делать?», Чернышевского, Н. Г.

— Кончай, я серьезно.

— А если серьезно, то пока ничего. Глухо с этим делом. Если что будет, я придержу на недельку. Ты ведь каждую субботу и воскресенье дома? Я позвоню, если что.

— О'кей. Слушай, а вообще надо бы собраться, погудеть, а то я и в самом деле скоро забурею. Этак ведь отловят ненароком — и к Филатову.

— Запросто, Вадик, и это еще не худший вариант. А насчет погудеть, зависнуть — тут мы, как пионерская организация, всегда готовы. Конкретно, через месяц у Ленки день рождения, там и соберемся. Фазер энд мазер наверняка ей из Африки знное количество бонов подкинут, в «Альбатрос» дорогу она знает, так что насчет пая можешь не ломать голову — Ленку эти мелочи жизни не волнуют.

— Вроде неловко как-то...

— Знаешь, Вадик, неловко колготки через голову надевать. В общем, я тебя буду держать в курсе!

— Ладно, чао...

Глава 2

Он стоял у огромного, во всю стену, окна и смотрел вниз, на площадь, где громадной каруселью вращался против часовой стрелки поток автомобилей, кажущихся игрушечными с высоты двадцать шестого этажа. Цвета внутри потока калейдоскопически менялись — одни машины втягивало в это кругообразное движение, другие отрывались от него, как бы выброшенные его центробежной силой в воронки звездообразно сходящихся улиц. В центре площади, вокруг памятника, нетронутно белел выпавший ночью снежок, но на проезжей части его не было и в помине, там глянцево лоснился накапанный шинами асфальт. «Тоже мне зима,— подумал он,— вот у нас там...— И тут же споткнулся: — Почему «у нас»? Все-таки «у них», наверное, это будет точнее, а впрочем, черт его знает, поди разберись».

Вспомнив о том, что через неделю он будет там, Векслер ощутил, как на миг тревожно сжалось сердце. Генетическая память, подумал он, усмехнувшись. Сейчас-то уж никакого риска, а все равно — нет-нет, да и ёкнет. В ту, первую, поездку, когда проходил таможенный досмотр в Шереметьево-2, он действительно струхнул. Казалось бы, причин для боязни не было — ездили же другие! — но внешнее спокойствие далось непросто. Нет, он не спасовал, даже позволил себе заговорить по-русски с таможенником, обратившимся к нему на своем школьном немецком; но ощущение осталось какое-то... унижительное.

Пожалуй, не только потому, что поддался — хотя и мимолетно — чувству страха. Страх, в конце концов, чувство естественное, его не знают только кретины. Любой солдат, любой разведчик в определенные моменты испытывает страх, только одним удается его преодолеть, а другим — нет; в этом и заключается сущность героизма. Нет, тогда не страх был, другое. Или — не только. Будь это любая другая страна... Пришлось бы, скажем, везти наркоту откуда-нибудь из Гонконга — вот там действительно опасно, тамошней полиции лучше в руки не попадаться, но там страх наверняка был бы другой — азартный, что ли, взбадривающий, без этой примеси чего-то унижающего. А в Москве было вот это нехорошее чувство — как будто нашкодил, напакостил. Мимолетное, но было. Шкодит и при этом боится, чтобы за руку не схватили. А кому шкодит, если разобраться? Не соотечественникам же, простым, рядовым людям, тем самым,

что там, в Шереметьеве, грузили багаж, ведь ради них же и стараешься. А если говорить о КГБ, то там уж, пардон, игра на равных: кто кого. Не совсем, положим, на равных, если один бросаешь вызов такому солидному аппарату. Какой аппарат при этом стоит за твоей собственной спиной, там уже роли не играет, эти, посылая тебя туда, все-таки остаются здесь, ничем не рискуя...

За его спиной в мертвом безмолвии этой звукоизолированной комнаты мелодично пропел тихий сигнал на столе у секретарши. Векслер оглянулся, кукольно-ухаженная блондинка улыбкой подтвердила его догадку и, встав из-за стола, пригласила следовать за собой.

Кабинет заведующего отделом выглядел так же, как и приемная: такое же окно со сплошным зеркальным стеклом от пола до потолка, такой же мохнатый синтетический ковер от стены до стены, только не зеленый, а серый. Серого стального цвета был и металлический шкаф-картотека за спиной у заведующего.

— Извините, что заставил ждать,— сказал заведующий, пожав Векслеру руку и указав на кресло.— Был неприятный разговор с центром...

— Что-нибудь не так?

— В нашем деле всегда что-нибудь не так. Этот идиот Роман наделал глупостей в Киеве, а спрашивают теперь с нас.

— Что, есть уже последствия?

— Бог миловал покамест, но...— Заведующий пожал плечами, раздраженно переложил на столе бумаги, уравнял их в стопку.— Что у вас?

— У меня порядок, визу уже открыли.

— Это мне известно. Послушайте, Алекс, вы уверены, что не наследили там прошлый раз?

— Думаю, что нет.

— Не обижайтесь, вы хороший работник, у вас трезвый аналитический ум, но... как это говорят русские: «И на старуху есть проруха»?— Пословицу заведующий произнес по-русски, почти без акцента.— Я не ошибся?

— Нет, если не считать того, что вместо «есть» обычно говорят «бывает».

— Совершенно верно! И на старуху бывает проруха. Так вот, Алекс, я бы очень не хотел, чтобы с вами случилась проруха подобно той, которую мы имеем в Киеве.

— Я всегда был против использования Романа в оперативной работе. На анализе прессы от него куда больше проку, он по натуре кабинетный работник.

— Я помню, да, и ваше мнение, к счастью, зафиксировано, это лишнее очко в вашу пользу. Простите, я неудачно выразился: разумеется, ничего подобного тому, что сделал Роман, вы не сделаете. Но ведь можно допустить ошибку какого-нибудь иного рода?

Векслер пожал плечами:

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это старая истина.

— Она слишком стара, Алекс, в наш век допустимость ошибок сведена к минимуму. Я когда-то летал на старых истребителях — мне было меньше лет, чем вам сейчас, — это были неповоротливые поршневые машины с ничтожной скоростью, около пятисот километров в час. Вы понимаете, тогда у нас было время ошибиться в бою — не так рассчитать радиус разворота, секундой позже или раньше нажать гашетку пулеметов; ошибиться, я хочу сказать, и тут же эту ошибку исправить. Вы просто расходились с противником на встречных курсах и снова заходили для атаки. А теперь представьте себе современный воздушный бой на скоростях порядка эм-три — тут уже все решают миллисекунды, человеческий мозг просто не успевает среагировать на какую-нибудь ошибку, она становится фатальной...

— Я всегда думал, что для таких случаев и существуют бортовые компьютеры.

— Совершенно верно. Но... — заведующий поднял палец, — у вас-то компьютера с собой не будет, кроме вот этого. — Он постучал себя по лбу. — Тоже, кстати, неплохая машина, если уметь ею пользоваться.

— Вы считаете, я не умею?

— Все-таки вы, я вижу, обижаетесь. Будьте терпимее, Алекс, старикам кое-что надо прощать, занудливость, скажем, — уже хотя бы за то, что у них есть и чему поучиться. Разве не так? Я вам задам один вопрос, только не спешите с ответом. Как вам кажется, кремлевские лидеры прочно сидят в седле?

— Могу сразу ответить: боюсь, что да.

— Увы, мне тоже так кажется. Но тогда встает второй вопрос, вполне логичный: не лишено ли смысла то, чем мы занимаемся?

— Думаю, что нет.

— Тогда поясните, будьте добры, в чем же этот смысл.

— Ну, — Векслер пожал плечами, — хотя бы противодействие. Будь Советы пассивной системой, их можно было бы предоставить самим себе, блокировав, естественно, как блокируют любой очаг инфекции. Но они ак-

тивны: посмотрите на карту Азии, Африки, Латинской Америки... Сегодня весь юг континента был бы уже если не в их руках, то, во всяком случае, охвачен гражданской войной. Вон как в Сальвадоре.

— Вашему мышлению, Алекс, свойственна глобальность,— заметил заведующий то ли одобрительно, то ли иронически.— Нарисованная вами картина в общем верна, но какое она имеет отношение к нашей работе? Мы ведь с вами служим не в «силах быстрого реагирования»...

— Я бы назвал нашу службу «медленным реагированием»,— усмехнулся Векслер.

— Браво, это хорошо сказано. Медленным, но постоянным. Вы это имели в виду?

— Да, постоянный нажим в одном направлении. Или точнее — постоянное противодействие нажиму с той стороны.

— Верно,— снова согласился заведующий.— И все же вы не ответили на мой вопрос: какой конкретно смысл в нашем противодействии? Наивно думать, что нашей службе при самом благоприятном стечении обстоятельств удалось бы действительно остановить или хотя бы затормозить сколько-либо заметно гигантский механизм советской экспансии. Это нереально, вы согласны?

— Остановить — нет, по палок в колеса мы насовать можем.

— Трость против парового катка? Нет-нет, это вздор. Суть дела в другом, Алекс, совсем в другом. Давайте исходить из мысли, что ни на внешнюю политику, ни на внутреннюю ситуацию Советской России нам не повлиять. Кстати, если вас интересует, что натворил Роман, могу вас проинформировать: он начал затевать с людьми провокационные разговоры и в конечном счете нарвался на скандал, после чего был немедленно выдворен. Поистине услужливый дурак опаснее врага. Жаль, конечно,— при его знаниях, безупречном владении языком...

— Знания у него, в общем-то, теоретические.

— Естественно, и это неизбежно сказалось на той... прорухе, которую он допустил. Он не учел одной удивительной особенности советского образа мыслей, которая делает людей оттуда столь непохожими на людей западного мира. Не догадываетесь, что я имею в виду?

— Что именно, не догадываюсь. Очень многое делает их непохожими на нас.

— Нет, но что самое любопытное? Советский чело-

век никогда не переносит на правительство свое возмущение отрицательными сторонами действительности. И никогда не винит правительство в своих трудностях. В его глазах виновны все: спекулянты, некомпетентные руководители на местах, распушенная молодежь и эти, как их... тунеяды,— произнес он по-русски, торжествуя, глянув на собеседника.

— Тунеядцы,— поправил Векслер.

— Можно и так — Даль приводит обе формы. Мне больше нравится архаичный вариант — в нем чувствуется мощь, сила. Слышите: ту-не-яд! Но оставим лингвистику. Для нас здесь излюбленный козел отпущения, что бы ни случилось, это всегда правительство. Где-то в эмиратах подняли цены на нефть, заправка машины обходится нам дороже на несколько пфеннигов, и мы тут же начинаем требовать отставки правящей коалиции. Советский же человек начинает ругать спекулянтов и тунеядов. Правительство для него примерно то же, что бог для верующих: с одной стороны, вроде бы все в его воле, но не станешь же хулить его за то, что жена наставляет тебе рога. Поэтому — и это очень важно, Алекс,— любые попытки дестабилизировать советскую систему изнутри путем разоблачительной пропаганды обречены на провал. Вот это действительно сизифов труд, чего не понимают наши умники на радио. Единственно перспективной, я убежден, остается ставка на диссидентов, и опять-таки не потому, что они смогут что-то изменить там, а потому, что они нам нужны здесь. В смысле — не они сами, персонально, а сам факт их существования. Это может прозвучать цинично, но диссидент в советском лагере для нас ценнее, чем диссидент в редакции «Материка». Даже если у него действительно есть что сказать... А это, говоря откровенно, случается не так уж часто.

— Да, в этом они себя порой переоценивают.

— Почти всегда! Каждый из них, попадая на Запад, считает себя пророком, провозвестником какого-то нового откровения, но здесь это никому не интересно. Был такой советский фильм, «Вид на жительство», нам его показали — не помните? Там молодой русский невропатолог едет на международный конгресс и прихватывает с собой рукопись своего труда по сексологии, который в Советском Союзе не захотели напечатать. После конгресса этот дурак остается на Западе — причем сразу заявляет, что его решение вызвано не политическими мотивами, у него-де нет никаких претензий к Советской

власти, кроме единственной: что не оценили его сексологические изыскания; поэтому он решил переселиться на Запад, где больше свободы научного творчества. И что же выясняется? Привезенная им работа оказывается детским лепетом, все его «открытия» известны здесь со времен Фрейда... За его рукопись никто не дает ни цента, и парень кончает простым санитаром. Печальная, но поучительная история, и в ней, кстати, нет ничего надуманного. Так я закончу свою мысль, с вашего позволения: в чем для нас ценность каждого нового диссидента, объявившегося в Советском Союзе? Вовсе не в тех «разоблачениях» строя, которые они якобы могут сделать. Как правило, нам здесь давно известно все, что эти люди могут нам рассказать. Дело — запомните это, Алекс, — исключительно в том влиянии, которое сам факт наличия интеллектуальной оппозиции режиму оказывает на престиж Советской России — где, вы думаете? Здесь? Чепуха! Я имею в виду престиж в странах третьего мира. Понимаете? Вот что самое главное! Здесь у нас позиции определены — Европа уже всем этим переболела, вдумайтесь хотя бы в такое явление, как «еврокоммунизм». А вот Азия, Африка, наиболее отсталые страны Латинской Америки — там сложнее. Там это еще выглядит заманчиво, еще притягивает. Еще имеет шанс на успех! И каждый новый диссидент, каждая их выходка, умело поданная нашими средствами информации, заставит задуматься лишнюю сотню голов во всех этих... развивающихся странах. Это не такая малость, мой друг, мы обязаны мыслить перспективно. В вашем НТС сидят либо безнадежные мечтатели, либо прожженные циники, сами не верящие в свои собственные лозунги. Проповедовать советским людям какую-то «национальную революцию» — большей глупости нельзя и вообразить. Пока Советы по той или иной причине устраивают русский народ, нам их не пошатнуть. Но мы можем осуществить ту самую санитарную блокаду, о которой вы упомянули. Мысль, кстати, не новая, о «санитарном кордоне» начали думать сразу после окончания гражданской войны, только тогда это было неосуществимо, тогда красная идея шествовала триумфальным маршем. Помните, как они пели: «Мы раздуем пожар мировой, тюрьмы и церкви сровняем с землей?» Вы, впрочем, помнить этого не можете.

— Я об этом читал.

— Читали! Мой друг, это надо было видеть своими глазами, как видел когда-то я! Правда, мне довелось на-

блюдать уже спад революционной волны, но и этого, поверьте, было достаточно... чтобы сделать меня тем, кто я есть. Словом, вы понимаете, чего я жду от ваших поездов туда?

— Мы это обсуждали уже давно, не так ли?

— Летчик может совершить десятки боевых вылетов, и все равно на каждом предполетном инструктаже ему приходится выслушивать некоторые рутинные вещи, хотя он и знает их наизусть. Кроме того, может ведь случиться и так, что перед вами вдруг откроется какая-то новая, не предусмотренная инструкциями возможность, и тогда вам самому придется решать — воспользоваться ею или не воспользоваться. Именно на такой случай я хочу, чтобы вы абсолютно точно представляли себе главную цель и не путали ее с запасными. Давайте еще раз обговорим детали вашего пребывания в Ленинграде...

Векслер вышел из кабинета, чувствуя, что старик заговорил его до полусмерти. Вот не думал раньше, что такой опытный работник может быть таким болтуном: люди их профессии обычно представлялись ему молчаливыми, да так оно, в общем, и оказалось, при более близком знакомстве. Болтливость старика, впрочем, тоже своего рода маска, во всем этом словоизвержении не проскользнет ничего лишнего, ничего случайно вырвавшегося, — самоконтроль, конечно, потрясающий...

В зеленой приемной он, глянув на часы, выкурил сигарету, болтая с хорошенькой секретаршей, потом попрощался с ней и пошел к лифту. Кабинка обрушилась вниз так, что дыхание захватило; не успел опомниться, как пол мягко надавил на подошвы, двери раздвинулись, и он вышел в холод и белый слепящий свет подвального этажа, наполненный гулом вентиляторов, отсасывающих выхлопные газы. Служитель в кепи с оранжевой эмблемой «Бритиш петролеум» взял у него ключ и через минуту подогнал откуда-то из недр гаража низкий серебристо-стальной «сааб». Вылетев вверх по выгнутому дугой пандусу, Векслер объехал площадь по кругу и свернул под указатель «К развязке автострад А7-С4».

Через двадцать минут «сааб» вкатился на стояночную площадку маленького загородного ресторанчика — почти пустую, час был ранний. Войдя в зал, Векслер, не оглядываясь, прошел к дальнему столику, где сидел человек, заслоненный развернутой на палке газетой. Не

спросив разрешения, он сел и щелкнул по газете, та опустилась.

— Сашка, пятак твою распротак,— сказал читавший газету.— Мы на какой час договаривались? А уже вон сколько!

— Не мог.— Векслер обернулся, подозвал кельнера и заказал кофе.— Хозяйка попросила побыть дома, пока не вернется. К ней дочь должна приехать, а ключ потеряла. А чего это тебя вообще потянуло на общение? Я ведь мог и не согласиться, мне, сам понимаешь, рекламировать контакты с твоей конторой тоже ни к чему.

— Да брось ты Джеймса Бонда из себя строить, все мы одним миром мазаны. Дело, Сашок, вот какое: слышал я, ты вроде туда собираешься?

— Собираюсь.— Он отпил кофе и улыбнулся собеседнику.— Может, вместе съездим?

— Рад бы в рай, да грехи не пускают. Посылочку не возьмешься доставить?

— Какую еще посылочку?

— Да ерунда, мелочь. А заплатят хорошо.

— Я спрашиваю: что конкретно надо доставить?

— Ну литературу. Не все ли тебе равно?

— Ну уж нет, уволь. Я инженер, на фиг мне ваша самодеятельность.

— Да не наша это! Иеговисты просили.

— Вы что, уже на брокераж перешли?

— Просто взаимные услуги — то мы им поможем, то они нам. Да что тут такого? Духовная литература, даже если найдут...

— Если найдут, я лишусь визы, а она мне еще пригодится.

— Ты как турист едешь сейчас или от фирмы?

— От фирмы, по рекламации. Что-то там наша линия у них барахлит.

— Чудак человек, к фирмачам они на таможне вообще не придираются! Да и не найдут ничего, ты же не брошюры повезешь, а микропленку. Упакуют ее тебе так, что в руках будешь держать, а нипочем не догадаешься...

— Знаю я эти упаковки, видал. Ты думаешь, у них там, в Пулкове или в Шереметьеве, лопухи сидят?

— Лопухи не лопухи, а сколько проскакивает?

— На этот счет я тебе могу предоставить статистику, с крестиками и ноликами. Не такая уж светлая картина выходит, Вася, как вы там себе воображаете.

— Жаль, а я уж думал...

— Комиссионные небось урвать мечтал?

— Ну, Саша,— укоризненно сказал «Вася»,— ну зачем ты так? Нам ведь лучше жить в мире, подумай сам.

— А мы и не ссоримся. Но я не намерен из-за этих кликуш иеговистов ссориться и с Советской властью, ясно?

Глава 3

— А что, собственно, вас смущает в этом господине?

— В том-то и дело, Сергей Иванович, что на первый взгляд нет ничего такого: приезжает не впервые, обычные деловые поездки, ведет себя здесь вполне корректно, там — по возвращении — тоже никогда ни с какими заявлениями не выступал. Общителен, охотно вступает в контакты с нашими людьми, но разговоры обычно ведет самые нейтральные — не замечено, чтобы особо расхваливал западную жизнь, скорее, интересуется нашей...

— Какими аспектами?

— Самыми разными, но вполне безобидными.

— Что ж, общительность легко объяснима. Он ведь по происхождению русский?

— Ну, в общем — да. Мать русская, была девчонкой вывезена в сорок втором году в Германию, там познакомилась с каким-то полурусским-полуголландцем, после войны вышла замуж, осталась там. Чтостораживает? Тут, Сергей Иванович, два момента. Во-первых, некоторая... избыточная, я бы сказал, пестрота биографии. Учился в Голландии, во Франции, в Западной Германии. Некоторое время жил в Англии. Про Бельгию я уж не говорю — там он как дома, да оно и понятно: граница открытая, а расстояния у них такие, что из столицы в столицу трамваем можно проехать. Свободно владеет четырьмя европейскими языками, не считая русского...

— А как говорит по-русски?

— Как мы с вами. Это, кстати, странная деталь, обычно дети эмигрантов и «перемещенных» говорят с некоторым акцентом. А тут чистота такая, что невольно наводит на мысль о спецподготовке. Будь он, скажем, филологом, славистом, это было бы объяснимо; но зачем бы инженеру так шлифовать язык?

— Резонно,— подумав, согласился полковник.— А что известно о фирме, которую он представляет?

— Вот фирма-то больше всего истораживает. С одной стороны — солидная контора с широкими внешне-торговыми связями... и с хорошей деловой репутацией,

естественно, иначе и связей бы таких не было. Но известны по крайней мере три случая, когда служащие этой фирмы оказывались замешанными в неблаговидной деятельности — главным образом промышленный шпионаж и действия по подрыву национальной экономики в развивающихся странах...

— Африка?

— Да, и Ближний Восток. Я говорю — три случая известны, вообще-то, могло быть больше. Теперь возникает вопрос: действовали ли те трое с ведома руководства фирмы или занимались, так сказать, самодеятельностью? А что, это вполне правдоподобно — приезжает инженер на работу в какую-то страну, там его поддавливает местная резидентура той или иной разведки третьей страны и предлагает совместительство. Ну и начинает наш мистер подрабатывать «налево», тем более что интересы его фирмы, как ему представляется, от этого не страдают, так что он остается вполне лояльным служащим...

— Ну, это понятно. Но вы допускаете и первый вариант? Давайте подумаем, насколько он вероятен. Есть ли смысл фирме рисковать своей репутацией, ввязываясь в такие мелкие делишки?

— Насчет «мелких». Мне представляется, что мелкими они выглядят взятые по отдельности, а все вместе — в совокупности — эти действия могут быть элементами очень большой игры. Подрыв экономики третьего мира осуществляется с дальним прицелом, так же как идеологическая дестабилизация общества в странах соцлагеря. Если фирма втянута в такую игру, то уж тут деловая ее репутация вполне может быть приписана в жертву.

— Ох, не знаю... Чтобы капиталист пожертвовал деловой репутацией ради политики? Сомнительно, весьма сомнительно. Обычно у них и политика-то подчинена бизнесу, а вы предполагаете обратное.

— Добровольно он, может, и не жертвует. А если его заставят? Тут любопытная выяснилась деталька: фирма, о которой мы говорим, в финансовом отношении зависима от консорциума Блом — Хестер, который также контролирует несколько газет крайней правой ориентации, причем довольно, я бы сказал, напористых. Они часто дают враждебный нам материал по Афганистану и Центральной Америке, имеют своих спецкоров во всех горячих точках. Значит, теоретически возможна ситуация, когда руководство фирмы бывает вынуждено

мириться с тем, что некоторые ее служащие выполняют задания определенного рода... используя для этого, естественно, свое служебное положение.

— Они, говорите, продают оборудование для легкой промышленности... А география поставок — у нас в стране?

— Москва, Киев, Ленинград, Тбилиси. И вот что интересно — это уже будет во-вторых — обращает на себя внимание, с какой тщательностью выбираются представители для каждого из этих мест.

— Что вы имеете в виду?

— В Тбилиси от них приезжал некто Захава — отпрыск грузинско-армянской семьи, в свое время бежавшей из Турции. В Киеве был господин Нечипорук. А Векслер обслуживает нас и Москву.

— Любопытно. — Полковник усмехнулся, задумчиво почесал затылок на лбу. — И те тоже хорошо владели местными языками?

— Да, так же, как и этот наш «друг».

— В принципе, конечно, это может быть и проявлением особой деловой тактичности. Ну как бы реклама фирмы, понимаете, — вот, дескать, оцените — мы даже представителей присылаем со знанием языка, чтобы вам не тратиться на переводчиков...

— Я об этом думал, Сергей Иванович. Но тут не просто «знание языка», тут уже владение доскональное, отточенное. Непонятно — зачем это инженерам, ведь достаточно было бы куда меньшего словарного запаса...

— М-да... Вдруг в машиностроительной фирме сразу столько полиглотов... Случайность ли это?

— Ситуация во всяком случае необычная. Я специально интересовался у товарищей из Машиноимпорта — редко кто из приезжающих в совершенстве владеет русским языком.

— Выходит, эта фирма подбирает сотрудников по определенному параметру — в данном случае, определяющим является совершенное знание местного языка. Но для обычных деловых контактов это качество нельзя считать необходимым; следовательно, можно предположить контакты другого рода... А что, эти названные вами лица — они по одному разу сюда приезжали или визиты повторялись?

— В том-то и дело, что повторялись, тут даже определенная схема прослеживается: первый визит связан с монтажом оборудования, затем два-три приезда по рекламациям.

— Две-три рекламации в каждом случае? — Полковник поднял брови.

— По-разному, Сергей Иванович. В Тбилиси было три, в Киеве — две. В Москву Векслер приезжал уже дважды.

— А что говорят специалисты: обычное это дело, чтобы по импортным поставкам оборудования этого профиля было столько рекламаций?

— Я выясню, Сергей Иванович.

— И постарайтесь заодно выяснить вот еще что: чем в каждом случае были вызваны неполадки оборудования, давшие повод вызывать представителя фирмы. Что это было — дефекты конструкции, некачественный монтаж или, возможно, несоблюдение условий эксплуатации? А то ведь бывает и так, что у нас решают увеличить производительность за счет повышения эксплуатационных параметров — гонят на износ, отсюда и поломки.

— В таких случаях поставщик обычно опротестовывает рекламацию.

— А здесь?

— Ни разу.

— Любопытно, — повторил полковник. — Любопытно... Словом, поинтересуйтесь в Москве, Киеве и Тбилиси. А вообще деловая репутация этой фирмы, вы сказали, на высоте?

— Да, тут без подделки, фирма довольно известная.

— Логично предположить, что она поставляет свою продукцию и в капстраны. Интересно, как они работают там. И вот еще что: эти двое других, как их — Нечипорук, Захава? Запросите Тбилиси и Киев, не обратили ли они там на себя внимания — может, вели себя как-нибудь... неподобающе? В Киеве был недавно случай с одним туристом из Нидерландов... Большим оказался любителем «общаться» с советскими людьми. И тоже, кстати, украинского происхождения. Ну а с этим господином Векслером... Что ж, придется, видно, присмотреть за ним, раз такое дело. Присмотреться, проследить контакты на всякий случай, я внеслужебные имею в виду...

Отпустив сотрудника, Сергей Иванович походил по кабинету, постоял у окна, глядя на заснеженные крыши под сумрачным низким небом. Чем больше он думал про инженера-лингвиста, тем меньше правилась ему вся эта история. Что-то тут не так, причем даже, можно сказать, довольно явно «не так», но уцепиться не за что.

А пока не за что уцепиться, пока ничего не доказано, пользя и действовать.

Да-а, задачка! Ну для чего бы это обыкновенной машиностроительной фирме подбирать себе инженеров с таким знанием языков? И ведь не поехал же Захава в Москву, а Векслер в Тбилиси; нет, каждый действует в своей языковой стихии, значит, главный смысл их поездок вовсе не в том, чтобы устранять неполадки поставленного оборудования. Главный смысл, выходит, все-таки в контактах, в разговорах с людьми. Вот тут — особенно, если разговор ведется деликатный, если надо уметь понимать подразумевающееся, недосказанное открытым текстом, — тут язык уже надо знать в совершенстве, иначе ничего не получится...

Полковник вернулся к столу, сел, придвинул к себе блокнот. «Москва+Л-д», — написал он и обвел овалом. Потом: «Киев», ниже: «Тбил.» И два крупных вопросительных знака. С Москвой и Ленинградом более или менее ясно. Но вот два других пункта? Он протянул руку к телефонам, снял трубку и попросил капитана Ермолаева.

— Борис Васильевич, это опять я, — сказал он, когда тот ответил. — Захава когда последний раз был в Тбилиси?

— В восемьдесят втором, Сергей Иванович.

— Ага... Тогда вот что — когда будете делать запрос грузинским товарищам, выясните, с кем общался Захава. Мне вообще нужны как можно более подробные данные на обоих — Захаву и того, в Киеве. И по поводу Векслера тоже уточните. Ну я имею в виду его постоянные разъезды. Всегда ли это было связано с делами фирмы? Соберете все — и мне на стол.

Похоже, придется докладывать генералу, но к нему надо идти с рабочей гипотезой, а не с какими-то... интуитивными догадками. Да, раньше бы хватиться, Векслер прилетает в Ленинград послезавтра. Главное, что никаких оснований. Не пойман — не вор.

Ничего не ввозит незаконным образом, ничего не пытается вывезти, разговоры ведет обыкновенные, не вызывающие подозрений. Жизнь интересуется — но в каком аспекте? Вроде бы в обычном. Не замечен в попытках познакомиться с «засекреченными», круг знакомств, хотя и обширен, подозрений не вызывает. И все-таки что-то за всем этим кроется, это не просто случайное общение, здесь угадывается цель, замысел, план. Но какой?

Зима перевалила за половину, отрещали последние февральские морозы, территорию базы каждую ночь заваливало снегом так, что все утро уходило на расчистку дорожек. Вадим попробовал было вообще не чистить целую неделю, оставил все на пятницу, чтобы убрать только к самому приезду лыжников, и сам был не рад, — так намучился с тяжелым, липнувшим к лопате, уплотнившимся за неделю снегом. Убирать по утрам свежеснежавший было куда приятнее.

Он написал еще один рассказ, положил дозреть, а из той же папки вынул два созревших, перечитал, кое-что подправил и отнес в редакцию. Там его встретили без восторга, вокруг Вадима Кротова клубилась темная аура «непубликабельности», а таких авторов в редакциях опасаются; но рукопись взяли и обещали прочитать как можно скорее. При этом ему, правда, было сказано, что редакционный портфель забит на два года вперед, так что даже в самом лучшем случае...

— Да-да, я понимаю, — поспешно согласился он, боясь показаться назойливым. — В конце концов, дело не в том — когда; меня интересует в принципе, понимаете...

— Хорошо, мы вам сообщим, — сказала завредакцией, зарегистрировав рукопись. — Координаты ваши тут указаны? А то, знаете, есть авторы, которых потом приходится разыскивать через адресный стол.

Он понимал, что спросила она просто так, чтобы что-то сказать, но услышать это было приятно. Во всяком случае, высказанная вслух заинтересованность его координатами давала некое формальное основание побыть оптимистом: действительно, почему она о них спросила? Могла ведь просто ограничиться словами: «Мы вам сообщим». Может быть, в редакции говорили о нем в благожелательных тонах — перспективный, мол, автор, надо будет его все-таки напечатать, в следующий раз пусть непременно координаты оставит...

Пренсполнившись оптимизма, Вадим пошлялся по букинистам, прикидывая, на что истратить будущий гонорар. Цены были — не подступись; а ведь он еще помнил времена, когда можно было за трояк приобрести такую, скажем, книжицу, как «Жизнь Мирабо», изданную в Москве в типографии Зеленникова в 1793 году. Потом он еще зашел в комиссионку рядом с «Конструктором», поинтересовался машинками. Машинки были, стояла даже почти новая «Эрика», он попросил разре-

шения опробовать ее и на вложенном в каретку листе, где кто-то уже успел настучать абракадабру из цифр, знаков препинания и слов вроде «ывлбдж», медленно, двумя пальцами, наслаждаясь легкостью рычагов и четкостью выстраивающихся на бумаге буковок, напечатал: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной...»

А в электричке, возможно потому, что устал и проголодался, на него навалилась жуткая хандра. Он понял вдруг, что поход в редакцию был бессмысленным, что никто не напечатает его и на этот раз, поскольку принесенные им сегодня рассказы ничем — в главном, в основном — не отличаются от тех, что он уже послал. Сделаны-то они лучше и тоньше, в этом он был уверен, но настроение оставалось то же, и сверхзадача была та же; он сам затруднился бы четко сформулировать эту сверхзадачу, но он ее чувствовал, ощущал как некий категорический императив всего своего творчества и поэтому не мог писать иначе. А она, эта его сверхзадача, не совпадала с той, которой, по мнению редакторов, должен руководствоваться всякий начинающий автор. В общем-то, приспособиться к их требованиям можно, он — если бы захотел — в одну неделю мог бы состряпать рассказ, в котором присутствовали бы все требуемые компоненты «современности». Но зачем? Разве это было бы творчеством?

Он даже полез в карман и пересчитал деньги. На бутылку плодоягодного хватило бы, но, к счастью, электричка порядком опоздала, и, когда он вышел на своей платформе, единственный в поселке продмаг был уже закрыт. Судьба хранила его, сегодня он, пожалуй, не удержался бы, хотя вообще стоял последнее время твердо, как гвардия под Ватерлоо. А ему ничего другого и не оставалось, он знал, что стоит только сорваться. Пример отца был перед глазами — тот погиб сам, загубил жизнь матери, фактически искалечил детство ему. Правда, он же и в какой-то степени охранял его теперь — как постоянное «помни»... Вадим вообще мог выпить в компании, под хорошее настроение, это было неопасно; опасным, и смертельно опасным, — он сам это признавал — было подступившее искушение «утешиться» в минуту слабости, упадка духа. Вот как сегодня.

Поэтому вид запертого магазина вызвал в нем сложное чувство, смесь досады и облегчения. «Нет так нет», — сказал он вслух и зашагал по неосвещенной улице-просеке. Фонари не горели, но было довольно светло от сне-

га и звезд — небо к ночи очистилось, слегка подмораживало. Хорошо, подумал он, снега не будет, завтра можно отдохнуть. А в субботу это мероприятие у Ленки. Идти, не идти? Не очень-то и тянет, но на базе все равно житья не будет из-за лыжников, а сидеть там у себя в пенале — тоже не фонтан. Пойду, решил он, черт с ним, надо же хоть изредка окунуться в светскую жизнь.

В субботу он все-таки засомневался: приглашала-то Маргошка, может, она это так, в порядке бреда, а на самом деле никто его там не ожидает? Он позвонил самой Ленке, поздравил, сказал всякие подходящие случаю слова.

— Твоими бы устами, да мед,— сказала Ленка.— Так ты будешь?

— Ну если приглашаешь.

— Что за вопрос! Приходи, Жанка какого-то иностранца обещала притянуть, может, чего интересного узнаем.

— Опять демократа?

— В том-то и дело, что этот не демократ, а оттуда.

— Охота тебе с ними якшаться? Ладно, Ленка, приду я.

— Стабильно?

— Стабильно, о чем разговор...

У этой Ленки, надо сказать, он бывал охотнее, чем в других местах. Компания у нее обычно собиралась живая, но без особой склонности к разгулу, и «по-черному» там не зависали; мог, конечно, найтись какой-нибудь шиз, который начинал блажить после нескольких рюмок, но для Ленкиной шараги это было нетипично, и такого обычно тут же напаявали до полного забалдения и отгаскивали в чулан, где тот и отсыпался. Что еще было хорошо у Ленки — кормила она на уровне мировых стандартов. Вообще Вадим был крайне нетребователен в еде, но только не при выпивке: тут ему требовалось качество. А блат в этом смысле у Ленки был фантастический, унаследованный от убывших в Мозамбик предков.

В качестве презента он прихватил то самое жизнеописание Мирабо, о котором вспоминал недавно, после посещения букинистов. Полное название книги гласило: «Публичная и приватная жизнь Гонория-Гавриила Рикетти, графа Мирабо, Депутата Мещанства и Крестьянства Ведомства Сенешала, что в Э, Члена Парижского Департамента и Начальника народного войска Капуцинского Дистрикта». Ему самому это вряд ли понадобится,

французской революцией он специально не занимался, а как подарок — годится, поскольку раритет: шутка ли сказать, издано в том самом году, когда Робеспьеру оттяпали голову! Ленка такие вещи обожает (даром, что ни фи́га в них не рубит), поскольку мода теперь пошла на всяческое старье.

И надо сказать, попал со своим подарком в самую точку, затмил всех остальных, хотя по части подарков Ленку удивить было трудно. Сегодня ей тоже натащили всякого: старый медный шандал, кофейную мельницу с выдвижным ящичком для готового продукта, — по книжечка екатерининских времен прѣззошла все.

— Что значит писатель, — с пьяным энтузиазмом объявила Ленка, уже успевшая поддаться. — Другой припер бы вульгарные гвоздики или торт, а до такого интеллектуального подарка кто додумается? Иди сюда, Вадик, я тебя поцелую!

— Ладно, успеем, — отмахнулся Вадим, протискиваясь на отведенное ему место между Маргошкой и Жанной.

Сосед Жанны, худощавый парень в очках в тонкой стальной оправе, откинулся со стулом назад и за ее спиной протянул руку.

— Рад познакомиться, — сказал он. — Александр! А вы — Вадим? Очень рад.

— Взаимно...

— В каком жанре работаете, если не секрет, — стихи, проза?

— Проза, — нехотя ответил Вадим. — Только это не жанр. А жанр у меня — рассказы.

— Ну, в этом мы, технари, разбираемся слабо. — Александр засмеялся. — Вы уж не взыщите...

— А, это вечно все путают, — пробормотал Вадим.

Кто-то предложил традиционный тост за новорожденную, он выпил вместе со всеми и стал рассеянно загружать тарелку Ленкиными деликатесами, потеряв интерес к происходящему за столом: он почувствовал, как проклевывается замысел. Вернее, нет, не проклевывается, а только едва-едва шевельнулся, только-только дал о себе знать. Интересно, подумал он вдруг, словно представив себя со стороны, с этим странным, ни с чем не сравнимым ощущением чего-то едва зарождающегося. Сравнить-то можно — наверное, у женщины так бывает, когда младенец впервые шевельнется... А впрочем, и там по-другому, там она знает заранее, ждет, предвидит. А тут внезапно. Еще минуту назад не думаешь, не

подозреваешь, сидишь за обычным столом, ешь-пьешь, как все прочие. И вдруг это — как едва ощутимое землетрясение... как неслышимый удар грома. И из ничего рождается вселенная. Неважно ведь, что это будет — короткий рассказ или повесть на пять листов (ну на пять-то листов тебя еще ни разу не хватило, сказал он себе, но тут же отмахнулся: а, да разве в этом дело!), важно, что это целая новая вселенная. Если, конечно, она возникла — потому что случается и ложная тревога, тоже вот так что-то там дрогнет, возвещая начало акта творения, но потом затихает, уходит без следа, без последствий. Будто пролетело что-то, едва коснувшись — не крылом даже, нет, а только отдаленным ветром от его взмаха, — и удалилось, исчезло. Но если акт состоялся — чем измерить само творение? Количеством страниц? Тогда сегодняшние многотомные романы по шесть-семь книг в каждом должны были бы весить больше, чем девять страничек «Грамматики любви»; однако же не перевешивают...

Потом это прошло. Это всегда потом проходило, иногда даже совсем забывалось на какое-то время, чтобы позже вернуться — уже определеннее, настойчивее, ошутимее. Зародыш идеи, мысли (разве дело в таких определениях!) начиная мало-помалу обретать форму, обрести плоть сюжета. Вадим был спокоен — вернется, никуда не денется. А если денется, значит, тревога была ложной, тоже нечего жалеть. Но, скорее всего, в этот раз будет без осечки. Он исправно ел, питья было много, и все какое-то экзотическое, со звериным оскалом, так что, если не закусывать, можно заранее сказать — конец будет ужасен. Рисковать ночлегом в вырезвители ему ни к чему. Имеется, конечно, и такой запасной вариант, как опять подвалиться к Ленке, но, честно говоря, что-то не тянет. Ладно, решил он, в случае чего сделаю вид, что вырубился, и высплюсь на кухне.

За столом было уже шумно, справа кто-то травил анекдоты, слева, брякая на гитаре, рычал очередной бард из непризнанных. Приперлись, как всегда, с опозданием, Лева Шуйский со своей неведомо которой по счету женой, которую все звали Игуаной, не зная толком, имя это или прозвище. Они притащили в подарок еще одну «ретруху» — довоенный пружинный проигрыватель, который надо было заводить ручкой, как «жигуль» с севшим аккумулятором, и чемоданчик старых пластинок. Сосед Жанны, воспользовавшись тем, что та пошла танцевать, пересел к Вадиму, налил ему и себе.

— За знакомство.— Он поднял рюмку, не чокаясь, и четким движением опрокинул в рот.

Не назавись он технарем, подумал Вадим, голову дал бы на отсечение, что из актеров. Больно уж картинно выпивает, как перед камерой.

— Извините, мне вашу фамилию называли,— продолжал тот,— я плохо расслышал...

Вадим тоже выпил не спеша, что-то съел.

— Кротов моя фамилия. От слова «крот».

— Вадим Кротов, совершенно верно! Я сейчас проявлю бестактность, но мне простительно — мы ведь там не имеем таких возможностей следить за всем, что здесь выходит. Хотя я понимаю, что неприлично спрашивать у писателя, что он написал, но все-таки спрошу. Что-нибудь из вашего мне может быть известно?

— Едва ли,— ответил Вадим.— Разве что экстрасенсорным путем. Опубликованного у меня ничего нет, даже в «самиздате».

— Ах, вот что...

— Так что на вопрос, что я написал, позвольте не отвечать. Это несущественно, у писателя надо спрашивать, что он опубликовал.

Только теперь до него дошла фраза, сказанная собеседником: «Мы там не имеем возможностей следить...»

— Вы сказали «там». В Москве, что ли?

Александр засмеялся.

— О, нет, нет. Гораздо дальше! Я, видите ли, в вашей стране гость.

— Вот оно что... То-то мне говорили, что Жанна придет с каким-то иностранцем. Но по-русски вы говорите так, что никогда бы не подумал...

— Так я ведь, собственно, и сам русский по крови — родители попали туда во время войны. Так что здесь я чувствую себя как дома.

— Ясно,— кивнул Вадим, хотя ничего ясного тут не было, и вообще он совершенно не представлял себе, о чем можно разговаривать с иностранцем — хотя бы и «русским по крови». При чем тут кровь!

Беспокоиться, впрочем, было излишне — Александр сразу взял инициативу разговора в свои руки и вел его уверенно, без нажима, как действует опытный ведущий в отработанной телепередаче. «Ну точно, как перед камерой»,— снова подумал Вадим.

— ...А мир все же тесен.— Александр с улыбкой поглядывал вокруг.— Я вот сейчас смотрю — в сущности, все так же, как на любой русской вечеринке где-нибудь

в... Париже, Нью-Йорке, не знаю, — да где угодно! Нью-ансы, конечно, есть, а так... Да и не только русской, если уж на то пошло. Национальные различия тоже ведь сейчас как-то стираются мало-помалу... в интеллигентном обществе, я хочу сказать. Даже такая вот штука, как это увлечение всяким ретро, — он кивнул на танцоров, столпившихся вокруг закапризничавшего патефона, — на Западе ведь абсолютно то же самое, в Париже на Маршэ-о-Пюс такие штуки отрывают с руками, их ведь мало осталось, в свое время повывбрасывали, торопились обзаводиться электроникой...

Он опять налил в обе рюмки, Вадим с удовлетворением отметил про себя, что не пьянеет, хотя выпил уже порядочно. Закусон хороший, под такой бочку можно выпить — не окосеешь.

— Кстати вот о ретро, — продолжал Александр, — на Западе мне эта мода понятна больше, там недаром говорят о «постальгических тридцатых» — тридцатые годы действительно вспоминаются как идиллия...

— Хороша идиллия, — буркнул Вадим, — Гитлер уже страну за страной хапал.

— А, это же никого не волновало, о чем речь! У меня дома старые французские журналы — времен Мюнхена, — так там знаете какие заголовки? «Мир для нашего поколения», «Франция не будет воевать за чехов» — ну и так далее, в таком же роде. Вроде как сейчас, знаете, «Работа вместо ракет», ха-ха-ха... Нет, но я даже не об этом; Гитлер, нацизм — сейчас там это все давно забытое прошлое, сегодняшний европеец — или американец — он о другом думает, в тридцатые годы не было ни проблемы молодежи, ни наркотиков, ни терроризма, ни атомной бомбы... Так что сравнение — ну так, на первый взгляд, для обывателя, если хотите! — сравнение не в пользу нашей эпохи, вот они и млеют над патефонами и абажурами «тиффани» — молодость вспоминают... А вот здесь, в России, менее понятно, вы не согласны? Здесь тридцатые годы должны вызывать ассоциации скорее... ну, как бы это сказать...

— Не ломайте себе голову, мистер Александр, давайте лучше выпьем водки.

— Ну, Вадик! — огорченно воскликнул сосед. — Вот тут, Вадик, вы меня обидели! Не думал я, что меня в России, хотя бы в шутку, будут называть «мистером». Вы что, действительно считаете меня таким уж чужаком?

Вадим пожал плечами, ему сделалось неловко. Черт, может, и в самом деле прозвучало бестактно...

— Нет, ну что вы... Я, знаете, как в том анекдоте — когда выпью, дурной делаюсь. Поехали...

— А почему бы не на «ты», раз уж мы так хорошо сидим?

— Можно и на «ты», пуркуа-па.

— Вы что, говорите?

— Запросто, а что? Знаю несколько фраз, швейцаров в кабаках пугать, если не пускают. Пуркуа-па, сэляви и еще это... сакрэ пом де шьен. Малый джентльменский набор. Ну что ж, брудершафт так брудершафт!

Они выпили на брудершафт. Саша уже казался ему вот таким парнем.

— Ты, Саша, здесь надолго? — поинтересовался оп. — И вообще в качестве кого?

— По линии ЦРУ, — подмигнул тот.

— Нет, серьезно, я в смысле — туризм или по делам?

— По делам, Вадик, будь они неладны. — Саша вздохнул. — Понимаешь, поставили мы тут вам автоматическую липию на фабрике Розы Люксембург, а она чего-то не того. Рекламация за рекламацией, вот и приходится летать.

— Несolidная у тебя фирма, Саша, сменить бы надо. И сколько же ты еще тут пробудешь?

— Да еще с полмесяца наверняка. А что?

— На лыжах ты... ходишь? — сосредоточенно спросил Вадим.

— Хожу, Вадик, хожу. И хожу, и бегаю, и вообще. Могу тебе такой телемарк продемонстрировать!

— Ну, телемарк нам без надобности, а вот если равниной не брезгуешь, приезжай ко мне на базу как-нибудь в будни. Я лыжную базу сторожу. Тебе не говорили?

— Нет, но это здорово, старик! Для писателя лучшей работы и быть не может. И лыжники приезжают, как я понимаю, только на конец недели?

— Именно. Поэтому ты приезжай в будни — лыж и ботинок там навалом, подберем самые удобные, побродим по заснеженному лесу... Он еще заснеженный, но учти — это уже ненадолго!

— Старик, все понял! — Александр прижал руку к сердцу. — Телефон там у тебя есть?

— Телефона нет, но ты подваливай в любой удобный для тебя день. Кроме пятницы, это уже не очень — после обеда начинают съезжаться трудящиеся. А предупредить не обязательно, я там всю неделю безвылазно. Договорились?

Глава 5

Василий Федорович, тот сотрудник редакции, от которого зависела теперь судьба двух приписанных Кротовым рассказов, был человек мягкий и доброжелательный, любил и неплохо знал литературу. Когда-то и сам пописывал, после фронта окончил сгоряча Литинститут, но вовремя понял, что писателем ему не быть. Он несколько не жалел, что не овладел другой профессией: трезвое понимание ограниченности своих способностей (а они у него были) не обозлило его, не сделало завистником, как это иной раз случается. Литература была для него храмом; поняв, что жрецом не стать, Василий Федорович искренне, не жалуясь на судьбу, смирился с более скромной ролью. Жрецы жрецами, но ведь должен же быть кто-то еще, способный взять на себя заботу о том, чтобы исправно и надежно действовало огромное, сложное храмовое хозяйство. Ибо разладясь оно — первыми, кто от этого пострадает, окажутся сами жрецы.

Но и на редакторском поприще не суждено было сбыться многим его мечтам. Открыть новое имя Василию Федоровичу не довелось, через его руки год за годом шел нескончаемый поток произведений среднего качества, ни одно из которых не стало событием литературной жизни, — их печатали, читали, иногда читатели откликались десятком-другим писем, адресованных автору или редакции, а потом все это тонуло в забвении. Год за годом.

Постепенно он как-то свыкся с мыслью, что настоящая большая литература — или ее, как было принято говорить, «столбовая дорога» — проходит где-то вдалеке. Что ж, не всем ведь носиться по магистральным автострадам, кому-то (большинству, кстати говоря) приходится шагать проселками, в этом тоже есть свои преимущества: тишина, чистый воздух, покой. Покой Василий Федорович начинал ценить все больше и больше — с тех пор, как окончательно распростился с надеждой участвовать хоть как-то опосредованно в общем ходе литературного процесса. То, чем он теперь занимался, участием не было, это была поденная работа, давно переставшая приносить душевное удовлетворение; смешно было вспомнить, когда-то он искренне считал ее служением — хотя бы и самым смиренным, на низших ступенях.

В самом деле: примет он или не примет ту или иную

повесть, будет ли ее редактировать Виктор Валентинович, который все же постарается сделать из нее нечто читабельное, или рукопись отдадут Валентине Викторовне, чья редактура сведется к выпскиванию «блех» и скрупулезному приведению пунктуации в соответствие с грамматическими правилами, — ну что от этого изменится? Журнал все равно выйдет в положенный ему срок, в том же объеме, читатель все равно получит свою дюжину листов прозы, а чьи имена будут фигурировать в оглавлении — это несущественно. Нового Андрея Платонова среди них все равно не будет, это можно сказать со всей уверенностью.

Так стоит ли вообще портить себе нервы, стоит ли за кого-то драться, идти на конфликты? Теперь уже Василий Федорович знал: чем интереснее автор, тем больше неприятностей он доставляет. Вспомнить того же Платонова... Да что говорить! Платонов — фигура, величина, а ведь бывало черт знает из-за чего и кого так по разигрывались бури в стакане воды... То есть это они теперь видятся в истинном своем масштабе, а тогда воспринимались как шторм, как девятый вал, последний день Помпеи. Всесильный Симонов и тот споткнулся на публикации «Не хлебом единым», а ведь что там такого было? Недавно издали книгой — никто и внимания не обратил, никого не потрясли, не ужаснули «разоблачения» тридцатилетней давности, тогда кое-кому показавшиеся чуть ли не посягательством на основы. Если бы Василия Федоровича сейчас спросили: «Выходит, что же, не стоило тогда ломать копьё?» — он бы только пожал плечами со своей добродушной усмешкой. Конечно, не стоило.

Он не то чтобы становился равнодушным к литературе, он теперь относился к ней совсем по-другому, только как потребитель. «Делают» ее пусть другие, у кого хватает на это нервов и наивности. Дома у него была хорошая библиотека, собранная еще в те неправдоподобные времена, когда перевязанные бечевкой новенькие собрания сочинений пылились на полках — приходи забирай всего Балзака, всего Томаса Манна, всего Чехова — по целковому за том, в девственном состоянии, нечитанные, нелестные... Кое-что удавалось достать и теперь, хотя и противно прибегать к нечистоплотным услугам порожденных книжным бумом подпольных маклеров; к ним, правда, Василий Федорович обращался лишь в самых крайних случаях — когда узнавал о выходе чего-нибудь по-настоящему ценного. А случалось это ред-

ко, в основном издательские темпланы из года в год объявляли ту же усредненную, необязательную паралитературную продукцию, с какой ему приходилось иметь дело на работе. Испытывая к ней чувство, близкое уже к отвращению (только более спокойное), он теперь мечтал об одном: дожить до пенсии, получить где-нибудь не очень далеко садовый участок и на все лето уединиться туда с запасом хороших книг. Если он, как и булгаковский Мастер, не заслужил света, то уж покой-то себе заработал. Ни на что иное Василий Федорович больше не рассчитывал и ни к чему иному не стремился.

Соответственно этому строил он и свою, так сказать, стратегию руководства журналом. Фактически руководил им он, хотя был еще и Главный; тот много болел, еще больше времени проводил в творческих отпусках, поэтому руководство его было, в общем-то, чисто номинальным. Выработанную Василием Федоровичем редакционную политику Главный одобрил раз и навсегда, тоже найдя ее самой разумной, наименее чреватой осложнениями.

Выражалась же эта политика в простом правиле: придерживаться золотой середины. Журнал должен быть хорошо читаемым, популярным в самых широких кругах, иначе упадет подписка; но популярность эта, боже упаси, не должна иметь ничего общего с популярностью иных столичных изданий, ориентирующихся на любителей острого. Самое скверное — это когда возникают проблемы при подписании номера в печать и приходится в последнюю минуту, наспех, связываться с автором, что-то менять, утрясать, согласовывать. Тут и план летит к черту, и вообще... Политика золотой середины сводилась, таким образом, к тому, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы.

Теоретически эта политика предполагала необходимость без колебаний пожертвовать хорошим, ярким произведением, если только оно поставит под угрозу тщательно оберегаемое равновесие, но на памяти Василия Федоровича такого, к счастью, не случилось. Возможно, редакторская судьба была к нему милостива, потому что вообще-то он отчаянно боялся именно этого: вдруг явится известный, маститый автор и положит на стол что-нибудь этакое — и напечатать будет боязно, и отвергнуть совестно. Он уже давно, прочитав какую-нибудь по-настоящему яркую новинку (они ведь все-таки появляются, хотя и не так часто), тайне спрашивал себя: а напечатал бы я такое? И всякий раз отвечал отрицатель-

но. Так что хорошо, что они проходили стороной,— по крайней мере, не было конфликтов с совестью.

С творчеством Кротова он познакомился лет пять назад, первые рассказы не запомнились, видимо, они были совсем слабые. Потом этот автор чем-то его заинтересовал. Писал он явно подражательно, впрочем, начинающий и не может, как правило, писать ипаче; но была в его рассказах (слишком камерных для публикации) какая-то подкупающая искренность — чувствовалось, что автору действительно нужно поделиться с людьми чем-то своим, глубоко личным и в то же время имеющим, вероятно, какое-то общечеловеческое значение. Все это было сыро, недостаточно продумано и, поверное, недостаточно выстрадано (возраст, возраст!), но в целом подкупало. Что еще сразу отметил Василий Федорович — автор этот был явно не из бойких и не пытался спекулировать на заведомо «проходных» темах, как это делали иные его сверстники, из молодых, да ранние.

Потом Кротов появлялся в редакции еще раз-другой. Нельзя было сказать, что он растет на глазах, однако прогресс был налицо — медленный, едва заметный, но очень какой-то надежный. В один из очередных приходов Василий Федорович говорил с ним сам — беседа оставила хорошее впечатление, парень действительно был скромен, без преувеличенного мнения о мере своего таланта. При этом чувствовалось, что он уже избрал для себя определенное направление и будет его придерживаться, несмотря ни на что. Василий Федорович был с ним предельно откровенен — объяснил, чем хороши его рассказы (хотя специфика журнала и исключает пока возможность их опубликования), чего в них не хватает, посоветовал «приблизиться к жизни». «А разве я не о жизни пишу?» — удивленно спросил Кротов. Он и в самом деле чего-то недопопымал — и, может быть, именно поэтому был симпатичен Василию Федоровичу, досыта наглядывшемуся на понимающих с полуслова.

Рассказы, приписанные Кротовым на сей раз, он — вопреки обыкновению — тут же забрал из отдела прозы и прочитал сам. Потом, не высказав своего мнения, вернул в отдел — чтобы рукопись шла своим чередом. Неделю спустя (все это время он вспоминал о прочитанных рассказах, радуясь тому, что автор не обманул ожиданий) Василий Федорович как бы невзначай спросил у заведующего прозой:

— Илья Евгеньевич, там была, помнится, небольшая

рукопись одного из молодых... Два рассказика — «Подари мне собаку» и второй — как же его?

— А, помню. Вадима Кротова. Знаю, он и раньше нам приносил.

— Успели уже прочитать? Как вам показалось?

— А что, неплохо. Парень не без способностей, уже свой голос прорезывается, — сказал заведомо. — Все это, правда, довольно камерно, но в общем...

— Ну это не беда, что камерно, не всем же громыхать медью. Вы знаете что, вы дайте-ка это какому-нибудь благожелательному рецензенту, а потом я доложу Главному. По-моему, пора парня печатать. Это, кстати, и уверенности ему придаст, а то ведь камерность — она порой от некоторой неуверенности. Вообще, молодых надо смелее на старт, вот и постановление было по этому поводу...

Рецензент и впрямь оказался благожелательный — отметил своеобразие авторской манеры, хороший (хотя и без особых находок) язык, даже за камерность похвалил, назвав ее «задушевым лиризмом».

— Ну что, будем ставить в номер? — спросил Илья Евгеньевич, огласив рецензию на летучке.

— Что ж, если в отделе нет других мнений...

— Рассказы хорошие, — поддержал Виктор Валентинович, — надо печатать.

— Добро, — согласился Василий Федорович. — В двенадцатый номер, я думаю, как раз подойдет. Пригласите тогда автора, надо его порадовать. И кстати, пусть еще подумает — может, захочет там что подработать, время пока есть.

— Анна Сергеевна, вы тогда бросьте Кротову открыточку, — обратился Илья Евгеньевич к заведующей редакцией, — пусть зайдет. Или позвоните, если телефон оставил.

— Нет, погодите пока, — сказал вдруг Василий Федорович. — Послезавтра Главный приезжает, дадим-ка ему взглянуть начальственным оком, чтобы уж потом никаких осечек. Днем раньше, днем позже...

— Да не станет он их читать. Был бы там роман, ну повесть хотя бы, а то — пара рассказиков. — Виктор Валентинович махнул рукой. — Все равно скажет: «Некогда мне, сами, сами решайте». — Он так похоже передразнил скороговорку Главного, что все рассмеялись.

— Вот тогда сами и решим, — заупрямился обычно покладистый Василий Федорович. — А то знаете, как бывает: поспешишь — людей насмешишь...

На том и порешили. Главный приехал из Москвы через два дня, сильно не в духе: на совещании журнал покритиковали за мелкотемье, с опубликованной в первом номере повестью известного поэта они и в самом деле дали промашку — повесть была как повесть, по явно не годилась для того, чтобы открыть ею год. «Так вот всегда с этими маститыми,— сокрушенно подумал Василий Федорович,— а попробуй заверни рукопись, криков и обид не оберешься. И что его на прозу тянет, писал бы и дальше свои вирши...»

— Ну повесть — ладно,— сказал он,— это мы подоглядели. Но ведь вроде остальной материал за миновавший год не вызывал критики? Не ругали ведь...

— Но и не хвалили! Безликим, говорят, у вас журнал становится, аморфным каким-то, а это ведь все-таки периодика — побольше надо боевитости, актуальности, в жизнь, говорят, надо смелее вторгаться... а не всякие там, понимаете, ахи и охи расписывать. Надо, говорят, решительнее бороться с мелкотемьем. Современность, сегодняшней день, задачи сегодняшнего дня — вот главное! Словом, в таком плане.

— И что вы сказали?

— А что я мог сказать? Учтем критику, сказал, сделаем выводы, работу будем перестраивать.

— Ясно,— вздохнул Василий Федорович.

Выходя от Главного, он вспомнил, что так и не сказал про кротовские рассказы; вспомнил и сам озлился. Еще Кротова тут не хватает с его «задушевым лиризмом»! У себя в кабинете он посидел за столом, барабанил пальцами и глядя в ростепельную муть за окном, потом достал записную книжку и стал листать. Перебрав несколько страничек, вздохнул и придвинул телефон.

— Иван Алексеич,— сказал он, когда в трубке ответили,— тут, понимаешь, какое дело. Ты сейчас не перегружен? Под завязку, говоришь? Ну ничего, раздвинешь там что не самое срочное. Тут, понимаешь, два рассказа надо отрецензировать — рассказы неплохие, но мы их сейчас ваять не можем, надо как-то обосновать. Но только тактично, понимаешь, чтобы автор не обиделся — автор хороший, перспективный, мы вообще на него рассчитываем... Что? Нет, ты не знаешь. Не думаю, говорю! Из новых он. Так вот, понимаешь, пишет неплохо, но пока больно камерно, а ведь что такое камерность? По сути, нехватка какой-то гражданственности, самоустрашение... Да, да. Вот это и хорошо бы подчеркнуть. Зна-

ешь, я очень буду признателен, а работы там всего ничего — прочесть, написать отзыв на пару страничек... Ну спасибо! Рассказы тебе занесут — попрошу девочек из корректорской, там одна по соседству с тобой живет... А то и сам заходи, покалякаем. И если есть что нового — приноси, почитаем, авось и тиснем...

Глава 6

Вадим и сам забыл, что по пьяному делу пригласил к себе заморского гостя, а когда вспомнил несколькими днями позже, огорчился. Черт его тянул за язык, всегда вот так получается — вроде бы и выпил немного, а такое отмочил. Он, впрочем, всегда знал это за собой — алкоголь действовал на него как-то расслабляюще, все вокруг начинали казаться добрыми, достойными доверия и откровенности. Самое странное, что как раз с этим-то собутыльником его в тот вечер ни на какую откровенность не тянуло, и доверия особого он тоже почему-то не вызывал — хотя почему, казалось бы? Что-то останавливало — возможно, конечно, ничего конкретного, просто сам факт, что иностранец. А вот пригласил, зачем-то пригласил. Зачем, на кой черт? Хорошо, если тот забыл о приглашении или воспринял его как пьяный треп; а если и в самом деле припрется? От работы оторвет, говорить с ним не знаешь о чем, еще и кормить надо — тоже забота, себе-то картошки наварил, чаю похлебал — и ладно. А тут все-таки иностранец!

У него даже была мысль позвонить Лешке или Маргошке — чтобы передали через Жанну, что с запланированной лыжной прогулкой ничего не получится: занят, мол, выше головы, скоро конец сезона, инвентаризацию затеяли, что-нибудь в этом роде. Потом решил не звонить. Неудобно, сразу поймет, что задний ход, а так, может, и сам не вспомнит...

Но Александр вспомнил, не тут-то было. Увидев в окошко, как он бодро топает по разметенной аллейке, Вадим совсем расстроился — только сел работать, и пошло вроде неплохо, а тут гостя черти несут. Но гость, впрочем, оказался понятливым. Увидев разложенную на столе писанину, сказал, что не станет мешать творческому процессу, а сходит пока пройдетя один.

— Ты, Вадик, выдай только мне пару лыж и скажи, в каком направлении лучше идти, а сам работай. К обеда вернусь. Кстати, насчет еды и прочего не беспокой-

ся — я все захватил с собой. У вас ведь в таких поселках не всегда купишь на месте, верно?

Словом, как выяснилось, бояться было печего. Тактичность гостя проявилась и в выборе привезенных с собой припасов: другой бы, может, не удержался от соблазна похвастать какой-нибудь заморской бутылкой из «Березки», Александр же принес обычную «Столичную», экспортную правда, с винтом, и харч тоже оказался па том же уровне хорошего тона, без купечества.

— Пельменей я вот еще взял две пачки, — сказал он, разгружая сумку, — ты как к ним относишься? Некоторые у вас, я слышал, считают отравой, а по мне так ничего лучше под водочку и не придумать — горячепькие, со сметаной... За границей эти идиоты вообще пьют водку, не закусывая, я так и не научился — все-таки, видно, что-то в генах остается...

На всякий случай Вадим поставил себе четкий предел в смысле питья. Гость тоже не настаивал, и за обедом они едва усидели полбутылки — так, в самый раз, только чтобы разговориться. Собеседником Александр оказался интересным, приятно удивляла его начитанность — для технаря необычная, тем более для технаря «тамошнего». Вадиму приходилось слышать от кого-то, что американские инженеры вообще не читают ничего, кроме специальной литературы, да и то по своему профилю.

Александр же, как оказалось, хорошо знает не только русскую и советскую классику, но и за повипками следит, читал и Трифонова, и Айтматова, и Белова, и Катаева.

— У вас, конечно, подъем несомненный, — сказал он. — То, что сейчас выходит... еще несколько лет назад любого редактора кондратий бы хватил, что ты! Одни манкурты у Чингиза — это же потрясающий образ, я когда прочитал — у меня волосы зашевелились... А Валюн что выдает! «Уже написан Вертер». Как тебе, а? Нет, тут наши советологи здорово промахнулись, ничего не скажешь.

— В каком смысле?

— Ну, они ведь давно доказывают, что здесь настоящей литературы нет и быть не может. В силу, так сказать, особенностей системы.

— Чушь собачья, при чем тут система!

— Вот и я тоже говорю. На Западе, кстати, такой системы нет, а что-то особенного цветения в литературе не наблюдается. Секс этот осточертевший, он уже даром

никому не нужен, для одних импотентов пишется... А возьми французский «новый роман» — это уже убеждение, такая мура беспроектная, просто литературное рукоблудие какое-то.

— Саша, ну а эмигранты наши — у них как? Все-таки должны же сохраняться какие-то культурные традиции...

— Ты какую эмиграцию имеешь в виду? Сейчас ведь уже «третья волна» идет, как мы говорим.

— Да нет, я в общем.

— А «в общем» рассматривать трудно, общего тут как раз нет. Первая волна дала большую литературу, настоящую — ну Бунин хотя бы, Набоков, да из них многие писали. У тех получалось, это были мастера старой еще формации. Набоков, правда, из них самый был молодой, не случайно потом на английский язык перешел. Те, что попали туда во время войны, ну вот как мои родители, — среди них, по-моему, ни одного не было писателя. А вот из пынешних пишут многие. Пытаются, во всяком случае. Но что-то, знаешь...

— Ну, там тоже есть имена, — сказал Вадим, не дождавшись продолжения.

— Имена-то есть. Но что-то я не пойму с этой «третьей волной», какая-то в ней червоточина.

— Червоточина?

— Я в литературном смысле говорю, в творческом. Пишут вообще-то много — и печатаются в «Материке», да мало ли... Альманахи всякие выходят, сборники, а читать, в сущности, нечего. То есть не буквально «печего», бывают и интересные публикации, но в целом — как бы это определить, не знаю даже. Чувствуется, понимаешь, какая-то ущербность. Действительно, что ли, сказывается отрыв от корней?

— По идее, так и должно быть, — согласился Вадим. — Бунин вон сколько об этом писал, да у него и между строк чувствуется. Я, правда, не считаю, что он в эмиграции хуже писал, но отпечаток есть.

— Да, наверное. И знаешь что интересно? Вот возьмешь тот же «Материк» — сразу видно, какой материал написан там, а какой получен отсюда. Уровень другой, понимаешь?

— Что значит — отсюда получен?

— Ну там ведь кое-кто и из ваших литераторов сотрудничает — кого здесь не балуют. Естественно, под псевдонимом. Так вот, я говорю — сразу видно.

— Ты хочешь сказать — там пишут лучше?

— Наоборот, чудак человек! В том-то и дело, что там хуже получается. А в чем дело — убей, не пойму. Вроде бы и цензуры никакой, свобода полная, пиши что хочешь, как хочешь... А вот поди ты! Причем, я замечал, это с одним и тем же писателем происходит: когда был здесь, хорошо писал, а попал туда — и сразу что-то не то. Не поймешь, что «не то», а все равно сразу чувствуется. Вот я и говорю — червоточина какая-то нападает, порча. И это не только я замечаю. Есть даже целая теория: литература, дескать, чтобы быть настоящей, должна создаваться в дискомфортных условиях, расти из-под гнета. Гнет, ты понимаешь, тут может быть разного вида... Скажем, писателям Возрождения приходилось пресмыкаться перед знатными покровителями, наша литература «золотого века» расцвела в николаевские времена — тоже, наверное, не мед был, если разобраться... Достоевский и Бальзак из долгов не вылезали. А теперь на Западе писатель, как правило, материально вполне обеспечен, вроде никто на него не давит, а пишет черт-те что.

— Все-таки что-то давит, наверное, — сказал Вадим. — Я, конечно, плохо себе представляю, но вот хотя бы вкусы толпы — к ним разве не приходится подлаживаться? А это ведь тоже давление.

— Нет, ну какое-то минимальное давление всегда есть, это бесспорно! В этом смысле и Шекспир, наверное, подлаживался, и Сервантес, а на позицию Льва Толстого общественное мнение, думаешь, не влияло?

— Скорее, уж он на него влиял.

— Само собой, но тут обратная связь, ты пойми. Когда Толстой доказывал, что нам не столько учить надо крестьянских детей, сколько самим у них учиться, — это же явное влияние мужикопоклонства тогдашней российской интеллигенции... Постой, а о чем мы говорили?

— Ты сказал, что в эмиграции пишут хуже.

— Хуже, хуже, вне всякого сомнения. Вот так получается, смешно, верно? Вроде бы все условия. Знаешь, я что заметил: лучше всего, когда писатель живет здесь, а печатается там. У него и отрыва не происходит, корни сохраняются в целостности, и в то же время полная свобода высказывания.

Вадим недоверчиво ухмыльнулся.

— Идеальный вариант, что и говорить. Если бы он еще при этом был реальным...

— Он абсолютно реален, это ты зря. Слушай, а не скучно тебе здесь? Все-таки одному все время...

— Почему все время? Я уже говорил — в пятницу вечером уезжаю к себе, там уж не соскучишься.

— А что?

— Я в коммуналке живу, народ там самый разный.

— Представляю.

— Не думаю, чтобы представлял. Вот туда, Саша, я тебя не приглашу, на это не рассчитывай.

— А то я ваших коммуналок не видел! В Москве их тоже немало еще есть, ох колоритнейший быт в некоторых... Для писателя, наверное, это находка — жить в такой квартире.

— Знаешь, я не отказался бы и от отдельной однокомнатной, пусть даже малогабаритной. Быт лучше в других местах наблюдать — в бане, скажем, или у пивного ларька. А дома писать надо, для этого тишина требуется.

— Да, тишины тут хватает... Нет, конечно, когда есть работа, книги,— что еще надо? Радио можно послушать... здесь ведь, наверное, никаких помех?

— А черт их знает, никогда не слушал. У меня и приемника-то нет.

— Вот это зря! Радио, Вадик, в наше время вещь необходимейшая. Из принципа, что ли, не интересуешься?

— Да нет, ну какой тут принцип... О том, что в мире происходит, из газеты можно узнать, а отсутствие музыки меня особенно не трогает, обхожусь без нее. Ну и потом, приличный приемник — так, чтобы и короткие брал,— это как-никак сотняга, а у меня лишние деньги не валяются...

Заметив, что гость после обеда осоловел и даже раз другой уже подавлял зевок, Вадим предложил ему отдохнуть.

— Ты ведь устал, наверное, с непривычки? А то смотри, в комнате завхоза диван есть — там тепло, чисто, уборщица порядок наводит. Как это у вас там называется — сиеста?

— Сиеста — это не у нас, Вадик, это несколько южнее. Но, вообще, мысль хорошая, спать я не буду, не привык днем, а поваляться — поваляюсь часок. А то и впрямь разморило с вашего кислорода, да и на лыжи давно не становился. Слушай, нескромная просьба — только, если не хочешь почему-нибудь, так и скажи, я не буду в претензии: твоего чего-нибудь не дашь почитать? Не с собой, нет, а вот сейчас, на время сиесты?

— Моего чего-нибудь...— Вадим нерешительно пожал плечами, он вообще мало кому давал читать свои рас-

сказы, разве что самым близким приятелям. Но их мнение он уже знал, а вот что скажет новый человек? Тем более такой начитанный, которому есть с чем сравнить...— Ладно,— буркнул он,— есть тут кое-что, сейчас пойду...

Злясь на самого себя — зачем дает? — он все-таки отобрал четыре рассказа, дал Александру и устроил его в соседней комнатке, которая в летние месяцы служила кабинетом завхозу. Комнаты разделяла фанерная перегородка, слышно было каждое движение, и Вадим скоро поймал себя на том, что ревниво прислушивается — не раздастся ли за стенкой храп. Но, нет, храпа не было, а откладываемые по мере прочтения страницы шелестели регулярно — видно, и в самом деле заинтересовался. Один рассказ был с юмором, Вадим ждал — будет смеяться или не оценит; нет, оценил, смеялся минут десять. Там столько смеху и было, на шести страницах.

Через час Александр вошел в комнату, широко улыбаясь.

— Слушай, а здорово, ей-богу,— сказал он.— Честно говоря, не ожидал. Мне тогда Жанна сказала — давай, говорит, сходим к одной знакомой, там у нее писатель будет, а я всерьез как-то не принял: мало ли кто сейчас писателем себя считает, верно? Теперь вижу — действительно писатель, без дураков... Ты извини, что я так откровенно, но, честное слово, не ожидал. Отличные рассказы, слушай! И что, это нигде не напечатано?

— Не-а,— нарочито дурашливо откликнулся Вадим, изображая беззаботное к этому факту отношение.— Ну что ж, я рад, что тебе понравилось.

— Нет, слушай, по такому поводу необходимо выпить! Давай еще по рюмке, а то мне ехать скоро — путь от тебя неблизкий... Ну хорошо, а что они все-таки говорят? Чем-то ведь должны мотивировать, если отказывают автору? Ну вот этот хотя бы, про повобранцев, «Солдатúшки, бравы-ребятúшки»,— этот чем не поправился? Отличный юмор, я ржал на каждой строчке...

— Ну как же. Армия, говорят, не в тех тонах показана, у нас военно-патриотическое воспитание, а вам все хаханьки.

— Да помилуй, из-за чего хаханьки? Что молодых солдат койки учат застилать и полы мыть в казарме? Так ни одна армия в мире без этого не обходится!

— Мне можешь не объяснять, я сам служил. Ты попробуй в журнале объясни. Да что там... Когда не хотят печатать, предлог всегда найдется. Ладно, Саша, фиг

с ними, переживем. Главное — написать, а там время покажет. Если это стоящее, то рано или поздно к читателю пробьется, а если нет — так, может, и не надо, а?

— Твое пробьется,— заверил Александр,— я чувствую. Необязательно ведь самому писать, чтобы уметь отличить настоящее от халтуры, верно? Вот я и говорю: у тебя настоящее. Может, еще не в полную силу, это естественно, для прозы еще и возраст пужен, жизненный опыт, впечатления. Но фундамент крепкий, это главное. Природа, она ведь умнее нас, это человек может заложить могучий фундамент и ничего на нем не построить.. А у природы все целесообразно — «просто так» ничто не делается...

Они посидели еще, поговорили, незаметно допили бутылку. Собираясь, Александр сказал, что, возможно, еще увидятся — он здесь пробудет недели две, на этой чертовой линии действительно оказался дефектным довольно ответственный узел, теперь надо дожидаться, пока пришлют новый, поставить на место, отладить — на все это уйдет время.

— А я и не жалею,— сказал он,— люблю все-таки у вас тут бывать. Живете вы трудновато, конечно, кто же спорит, но дышится здесь по-другому... Черт, не знаю даже, как определить. Давай в Питере как-нибудь встретимся, ты не против? Походим по набережным, покалякаем еще... Жаль, белые ночи не скоро.

— Можно и в Питере,— согласился Вадим.— Здесь, за городом, конечно, уже неинтересно стаповится, снега скоро не будет, такая начинается слякоть... Весной северная природа к себе не располагает. Ты звони мне либо в пятницу попозже, либо в субботу с утра. Что-нибудь придумаем. Может, рассказ новый дам почитать,— добавил он,— я тут сейчас как раз одип заканчиваю. Вообще-то я свежие никому не даю, но тут случай особый — уедешь ведь потом, а хочется знать твое мнение.

— Ну, спасибо.— Александр крепко пожал ему руку.— С удовольствием прочитаю! Вообще, ты прав, это ведь действительно «особый случай», а?

Глава 7

Капитан Ермолаев пребывал последнее время в расстроенных чувствах, даже с женой поругался, хотя давно положил себе за правило не допускать, чтобы служебные неприятности сказывались на делах домашних.

Строго говоря, неприятностей никаких пока не было, но Борис Васильевич шестым чувством угадывал, что они скоро начнутся — как только его прямо спросят, что же там, в конце концов, с этим Векслером.

То, что полковник до сих пор не задал этого прямого вопроса, было, конечно, выражением доверия, и капитан это ценил. Его не хотели торопить, но — ждали.

А что он мог доложить по этому Векслеру? Борис Васильевич не сомневался, что имеет дело с врагом, но с врагом либо временно бездействующим (усыпление бдительности), либо действующим, но так тонко и хитро, что это, строго говоря, нельзя даже было назвать действием. Во всяком случае, противозаконным.

Он запросил Киев и Тбилиси, но не узнал ничего такого, что могло бы пролить свет на замыслы и тактику «лингвистов» (так обобщенно капитан называл про себя Векслера и тех его двух коллег). Нечипорук, похоже, вообще не общался практически ни с кем, если не считать чисто деловых контактов, Захава же в Тбилиси общался со многими, но опять-таки — о чем это говорит?

Решив, наконец, что ум хорошо, а два лучше, Борис Васильевич решил все же посоветоваться с полковником, хотя и понимал, что к начальству лучше идти с продуманными до конца соображениями, гипотезой или версией, а не обременять его еще и новой головоломкой, как будто у него, начальника, мало своих.

Сергей Иванович, если и был разочарован нерасторошностью капитана Ермолаева, ничем этого не проявил и выслушал его внимательно и заинтересованно.

— Да, это действительно загадка, — согласился он. — То есть, с одной стороны, тут все более-менее ясно: мы имеем дело с разведчиками, можно не сомневаться. Но если так, то это уже по нашей с вами части. И может, этот ваш Векслер прибыл не для осуществления спецакции, а лишь знакомится — ездит, присматривается...

— Если бы он был один, — возразил Борис Васильевич. — Но их ведь трое, значит, это уже операция? И тут фирма, выходит, явное прикрытие. Нелогично же получается, Сергей Иванович: ну на кой черт им инженеры-лингвисты, если они действительно только ради инженерных своих дел сюда едут?

— Нелогично, — согласился полковник. — Да нет, я ведь не спорю, тут конечно же что-то не так. Но вот за что ухватиться? Здешние контакты Векслера вы проверили?

— Да ничего такого.— Капитан подумал, недоуменно пожал плечами.— Девицу себе подцепил... или она его подцепила, поди узнай, так, ничего особенного, особа непутевая, но ничего серьезного за ней тоже не числится. Студентка, филолог. Иногда заводила знакомства с ребятами из соцстран. Ну он бывал с ней пару раз на разных вечеринках...

— Что за среда? Тоже инженеры? Может, кто-то из работающих на режимных предприятиях?

— Нет, нет, сплошь гуманитары. Он там с одним писателем познакомился, ездил к нему за город...

— Кто-нибудь из известных?

— Да нет, собственно, это он себя считает писателем, ну или приятели его так называют. Парень молодой, пишет, но пока не печатается. Кончил филфак, работает сторожем — какую-то лыжную базу сторожит.

— Самая модная теперь профессия, — сказал полковник. — У нас в доме дворничиха старофранцузский знает, девчонка лет двадцати пяти. Жена вышла с внуком посидеть, а та сидит, читает «Песнь о Роланде». Жена удивилась, спросила, нравится ли, — сейчас ведь молодежь современностью интересуется, для них Великая Отечественная — уже древняя история... Так эта дворничиха ей отвечает: перевод, говорит, плохой, я это вот место сама пробовала перевести, у меня лучше получилось...

Они посмеялись, потом полковник сказал:

— Филолог, работающий сторожем, это уже кое-что... Понимаете, с этими чернорабочими интеллигентами тоже не так все просто. Есть которые просто ради жилплощади идут — ну вот как наша дворничиха. Вышла замуж, жить негде, вот и взялась за метлу. А есть ведь и другая категория, где это уже определенная позиция, причем с оттенком протеста. Я с одним таким говорил... По образованию — философ, мужик действительно головастый, а работает грузчиком в порту. Так он прямо говорит: не хочу преподавать эту философию, поэтому и пошел в грузчики, поскольку другой профессии не имею... Вот что я думаю, Борис Васильевич!

— Да?

— А что, если вам поговорить с этим писателем-сторожем? Понимаете, если это человек... ну, приближающийся по образу мыслей к такому вот философу, о котором я сейчас вспомнил, вы это сразу уловите. Эти люди обычно и не скрывают своего инакомыслия. Скорее,

бравировать, особенно кто помоложе... Этому вашему — сколько?

— Да что-то под тридцать, около того.

— Познакомьтесь с ним, в самом деле. Придите прямо так, без всякой маскировки, скажите, что интересуетесь Векслером, — тут, мне кажется, в жмурки играть нечего, он ведь тоже парень взрослый, должен сам кое в чем разбираться. Спросите, не затевал ли тот провокационных разговоров, ну и просто посоветуйте быть с этим господином осторожнее. Скажите, что прямых претензий к нему по нашей линии нет, но есть основания для некоторого... недоверия... Уточнять не стоит, здесь надо учитывать такую возможность, хотя и маловероятную, что он расскажет Векслеру о вашем визите.

— Если такая возможность есть, то, может, лучше пока не рисковать? А то ведь получится, что мы свои карты раскрываем, а он играет дальше.

— Ну и что? Если Векслер действительно ведет игру, то не может же он не понимать, что мы безучастными зрителями не останемся... Наивные простачки, знаете ли, в разведке не работают. И кстати, то, что он работает так чисто, ничем себя не компрометируя, скорее всего говорит о немалом опыте.

— Да уж наверное... Ладно, попробую поговорить с этим молодым дарованием, авось что и прояснится.

Встреча с Владимиром Кротовым, однако, ничего не прояснила. Кротов встретил капитана Ермолаева спокойно; если визит сотрудника госбезопасности его и встревожил, то он, во всяком случае, ничем этого не проявил, скорее удивился: почему это вдруг к нему? Реакция была естественная, Кротов, видно, и впрямь не догадывался, чем мог привлечь внимание учреждения, столь далекого от круга его интересов. Когда же Борис Васильевич упомянул Векслера, Вадим сказал: «Ах, во-о-он что!» — по тоже естественно, уже с оттенком пробудившегося любопытства. В самых общих чертах, не вдаваясь в подробности, капитан посвятил Вадима в загадку «инженеров-лингвистов», и тот согласился, что да, действительно, выглядит это все немного странно, но сам он в поведении Векслера не замечал, пожалуй, ничего такого, что могло бы дать повод к подозрениям.

— Да я, честно говоря, не особенно-то и присматривался в этом плане, — добавил он. — Мне раз пришлось тоже вот так с одним иностранцем пообщаться, в одном доме... Ну, тот настоящий был иностранец, здесь прохо-

дил стажировку. По-русски говорил пеплохо, но акцент жуткий. Так вот к нему и приглядываться нечего было, сразу видно, что за тип. Он если не про Афгад, так про Польшу, если не про «Солидарность», так что-нибудь насчет «пражской весны» пройдетя...

— Иногда такие-то бывают менее опасны,— заметил капитан Ермолаев.— Когда, как говорится, «весь пар уходит в гудок», беспокоиться уже нечего. Хотя, конечно, может быть и маскировочный прием — этак шиворот-навыворот, смотрите, мол, вот весь я тут.

— Да нет, тот, конечно, никакой был не разведчик, просто трепач, ну и почему бы впечатление не произвести — это же действует, мы, в общем, к полной раскованности в разговорах на такие темы как-то не приучены...

— Какая это «раскованность»,— возразил капитан,— обычная безответственность — рассуждать о вещах, в которых не разбираешься. А подковырнуть они любят, это точно. Так Векслер, говорите, ни о чем подобном при вас не высказывался?

— Насколько помнится...— Кротов подумал и пожал плечами.— Нет, не припоминаю. Он, наоборот, как-то раз в том смысле высказался, что ему нравится сюда приезжать и чувствует он себя здесь хорошо. У вас тут, говорит, дышится как-то по-другому... При этом, правда, сказал: «Хотя живете вы трудно». Это, пожалуй, единственный раз, когда я от него критическое замечание услышал.

— Все бы так «критиковали». Мы же первые и говорим о своих трудностях. Кто их теперь скрывает? А вот интересно, Вадим Николаевич, насчет русской литературы за рубежом Векслер ничего не рассказал? Ну, скажем, как там наши уехавшие живут-поживают?

— Рассказывал, был у нас такой разговор. Плохо, говорит, они там поживают, что-то у них не получается... Хотя странно — вроде бы пиши что хочешь.

— Ну не совсем уж, наверное, «что хочешь».

— Да нет, я понимаю! Но ведь именно те, кто уехал, здесь жаловались на зажим; там вроде этого зажима нет, есть другого рода ограничения, согласен, но как раз то, чего у них не принимали здесь, там — по идее — должно идти со страшной силой. Значит, казалось бы, сиди и пиши, чего еще? А что-то, говорит, не выходит у них. То есть загадки тут никакой нет, он тоже так считает: писатель должен работать у себя дома. Не знаю, как там насчет живописцев, режиссеров, может,

им все равно — где. Зритель, он вроде более всеядный, что ли... А писателю тяжело. Ему все-таки надо, чтобы его свои читали. Пусть хотя бы и на машинке.

— Да, Бунин вот тоже... Хотя и Нобелевскую премию получил. Так Векслер вас, значит, за кордон смазать не пытался? — вроде бы шутливым тоном сказал капитан.

— Нет, что вы! Он сам же и сказал — убогая там литературная жизнь. Хотя вроде и печататься есть где.

— Читателя там настоящего нет, вот что, наверное, главное. Ну хорошо, Вадим Николаевич, мне не хотелось бы, чтобы вы этот наш разговор поняли как выражение какого-то к вам... ну, недоверия, что ли. Тут скорее желание предостеречь, скажем так. Поскольку у нас этот иностранец вызывает некоторое сомнение, было бы просто нехорошо вас не предупредить.

— Так что, мне с ним больше не встречаться?

— Это ваше дело. Вам решать. Присмотритесь только к нему повнимательней, будьте, как говорится, начеку, а если что — не стесняйтесь посоветоваться с нами. Мало ли, вдруг что-нибудь такое заметите... настояжывающее. Я не к тому, чтобы вы после каждого разговора с ним мучительно вспоминали, что он сказал по тому или другому поводу. Это никому не надо. Но вот так, в общем плане...

— Я понимаю.

— Нисколько не сомневаюсь, Вадим Николаевич. Вы человек культурный, с высшим образованием, к тому же сами пишете — намерены, так сказать, быть «инженером человеческих душ». У писателей, я слышал, особая наблюдательность, внимание к мелочам — самым, казалось бы, незначительным, потому что «незначительность» мелочей — это незначительность кажущаяся, обманчивая, как раз она-то обычно и дает больше всего «информации к размышлению». Верно?

— Ну... в общем-то конечно. Картина ведь вся из мелких деталей строится.

— Вот-вот! Я о картине и говорю, к тому, чтобы вы помогли нам в ней разобраться. А то больно уж она какая-то... расплывчатая. Мы, кстати, к господину Векслеру никаких конкретных претензий не имеем и ни в чем предосудительном обвинить его не можем, поэтому лучше, наверное, его об этом нашем разговоре не информировать, как вам кажется?

Кротов заверил, что, естественно, и не подумает открывенничать с Векслером, номер телефона записал и

заверил, что непременно известит, если и в самом деле заподозрит своего заморского знакомца в чем-либо предосудительном. На том и расстались.

Возвращаясь полупустой электричкой, капитан Ермолаев вынужден был признать, что толку от встречи пока никакого не получилось. Парень, похоже, говорит правду и ничего не скрывает; если «лингвист» до сих пор вел себя так осторожно, то не исключено, что просто осторожничает и до конца. Но в чем тогда смысл этих поездок — его и его дружков — и смысл нынешнего приезда в Ленинград, этого знакомства с начинающим писателем? Или и в самом деле нет тут никакого умысла, а просто приезжает человек на бывшую родину, на родину своих родителей, чтобы с людьми здешними пообщаться? Может, и родившиеся там подвержены этой самой ностальгии? И все-таки — нет, все-таки чутье подсказывало капитану Ермолаеву, что тут что-то не так. Но хоть бы питочка какая-то была, за которую ухватиться!

Полковник, когда он ему доложил утром результаты — а точнее, их отсутствие, — воспринял это спокойно.

— Ничего, Борис Васильевич, не будем торопить события. Чутье ваше до сих пор не подводило, авось и на сей раз сработает. Тут многое от самого Кротова зависит — что он за человек. Я тоже склонен думать, что Векслер неспроста им заинтересовался...

Глава 8

Вадим лишний раз убеждался, что жизнь и впрямь штука полосатая — то одна полоса идет, то другая. Хотя он никогда не испытывал нужды в «информационном допинге» для своего творчества и не понимал, в частности, писателей, разъезжающих по стране в поисках сюжетов (смешно, в самом деле, да этих сюжетов вокруг полным-полно, умей только видеть!), иногда все же собственная жизнь начинала казаться ему слишком уж монотонной, бедной впечатлениями. Особенно обидно было, что маловато вокруг интересных людей. Строго говоря, конечно, каждый человек по-своему интересен, поскольку включает в себе целую вселенную, — это общеизвестно, но это все же теория; а на практике окружающие его личности почему-то не вызвали особенного желания исследовать сокрытые в них глубины.

А теперь, похоже, эта скучная полоса копчилась, пошла другая — чуть ли не детективная. Визит сотрудника «органов», по правде сказать, сперва даже темного его встревожил — в Маргошкиной котле постоянно ходила по рукам разная самиздатовщина, ничего серьезного, понятно, но на неприятности можно было рано или поздно нарваться. Узнав же, что дело в Александре Векслере, Вадим успокоился и почувствовал любопытство: новый-то знакомец, оказывается, не так прост! На первых порах он ведь никакого особого интереса к себе не вызвал, и на базу пригласил его Вадим просто сдуру, по пьяному делу, на трезвую-то голову и мысли такой бы не появилось. Позже он показался интереснее — неглуп, многое повидал, может о литературе даже поговорить. Но то, что он вдобавок ко всему еще и чуть ли не Джеймс Бонд, это уж вообще, как выражается Марго, «полный отпад». С таким пообщаешься, черт возьми, и глядишь, такое из-под пера выйдет, что Юлиан Семенов посинеет от зависти.

Неужели действительно Сашка этот прикидывается наивным технарем?.. Но тогда — с какой целью? Западным образом жизни и в самом деле соблазнить не пытался, наоборот даже, рассказывает вполне объективно, ничего не приукрашивая. Скорее всего, ерунда все это, пустые подозрения.

Что из того, что какая-то фирма присылает к нам своих представителей, слишком хорошо говорящих по-русски? Ничего удивительного. В Новую Гвинею, надо думать, послали бы говорящих по-папуасски. Может, у них так принято! При тамошней-то конкуренции небось каждая фирма из кожи лезет — чем бы еще угодить клиенту, завоевать его расположение. Конкуренция плюс безработица — этим и объясняется. А что, запросто — дали объявление: требуются, мол, инженеры со знанием таких-то языков — вот их и набежало, только выбирай...

А в общем, решил Вадим, стоит ли ломать голову над такой ерундой. Даже если предположить, что товарищи с Литейного правы и у Векслера действительно есть некие враждебные нам намерения, то со случайным знакомым он своими черными замыслами делиться, естественно, не станет. Едва ли он предложит ему, Вадиму, свергать Советскую власть; ну а если начнет высказываться в очень уж враждебном духе (чего, кстати, до сих пор не было), то всегда ведь есть возможность сказать: знаешь, мол, приятель, катись ты с этими разгово-

рами куда подальше, мы тут и сами разберемся, что у нас хорошо, а что плохо...

Но любопытство было возбуждено, и вообще Вадим каким-то шестым чувством предугадывал важную перемену в своей жизни. Было смутное и необъяснимое беспокойство, но нельзя сказать, чтобы тревожное или гнотущее, скорее, предчувствие чего-то хорошего. С Векслером это не связывалось ни в коей мере, да и смешно было бы связывать: в самом деле, что ему это случайное знакомство? Ну встретятся еще раз-другой, окончит Сашка этот свой монтаж или что там у него — и чао. Нет, тут что-то другое ожидалось. Но что? Влюбиться ему не светило — после Изабелочки железный выработался иммунитет, да и вообще в этом плане такая вокруг пустыня Калахари — кричи, не докричишься. По идее, должны быть хорошие девчонки, но на его пути не попадалось. Попадались разные дракониды или интеллектуальные шлюхи типа Ленкиных подружек с их кошачьей блудливостью и разговорами о семантике и структуральном анализе — жуть, конец света.

Нет, с этой стороны ему ничего не грозило, но в то же время предчувствие перемены в судьбе оставалось; логично рассуждая, следовало ждать благоприятного ответа из журнала. Это, конечно, изменило бы многое. А события, как правило, тоже ведь идут косяком: то ждешь-ждешь — и ничего не случается, а то вдруг начинают сыпаться одно за другим, словно по сигналу. Хорошо бы таким сигналом оказалось его неожиданное-негаданное приобщение к миру разведки!

Прикидывая различные варианты, Вадим все больше склонялся к мысли, что предчувствие (а оно становилось все более явственным) касается судьбы отнесенных в редакцию рассказов. Он с самого начала чувствовал, что на этот раз все будет хорошо. И разговаривали с ним приветливее, чем обычно, и про координаты напомнили, чтобы оставил. Наверное, если автор интереса не представляет, у него не будут спрашивать адрес! Да, любопытно все-таки, что чувствуешь, впервые увидев в типографском наборе что-то свое... Свое, кровное, те самые слова, что когда-то обдумывал, перебирал в голове, переставляя и так, и этак, записывал на разорванных пачках «Беломора», выстукивал на машинке, перепечатывал... Как бы спокойно к этому ни относиться (а Вадим относился — или думал, что относится, — вполне спокойно), все же, конечно, это событие — напечататься в первый раз. Тут главное — признание, факт призна-

ния, потому что твое мнение о собственной работе не имеет никакого объективного значения — любой графоман наверняка убежден, что пишет ничуть не хуже других, признанных. И то, что говорят о твоей работе приятели, тоже надо воспринимать с большой осторожностью, — проще ведь похвалить, чем высказать какие-то дельные критические замечания, сказал что-нибудь вроде: «Старик, не нахожу слов, ты прямо в классики прешь!» — и порядок, дружеский долг исполнен. А читал-то, может, по диагонали.

Борис Васильевич посетил его во вторник, и до конца рабочей недели Вадим успел твердо поверить, что письмо из редакции уже пришло. Поэтому воспринял как должное, когда в пятницу вечером, вернувшись домой и глянув на полочку возле своей двери, куда соседи складывали его почту, увидел большой голубой конверт с крупно напечатанным названием журнала.

Он даже не стал сразу его вскрывать, только подумал удовлетворенно: «Ну наконец-то» — и пошел мыться с дороги, благо ванная была свободна. Помывшись и поставив на газ чайник, он уединился в своем «пенале» и, насвистывая, вскрыл голубой конверт. Внутри было короткое письмо — шесть строчек на редакционном бланке — и прикрепленная к нему канцелярской скрепкой рецензия в три страницы.

Прочитав то и другое, Вадим зачем-то включил свет и долго стоял у окна, глядя на мальчишек, пытающихся еще гонять шайбу на залитом талой водой дворовом катке. Стукнула в дверь соседка, крикнула, что выключила газ — чайник совсем уж выкипел. «Спасибо, иду», — отозвался он и только сейчас почувствовал боль от стиснувшей гортань спазмы. Он даже удивился, почему так воспринял очередной редакционный отказ. В самом деле — что тут нового, в первый раз, что ли! Не в первый и, надо полагать, не в последний. А ты что думал? Настроился, как дурак, а тут мордой об стол. Нет, дело, конечно, не в отказе, это фиг с ними, а вот рецензия... В ней-то вся соль, весь, так сказать, комизм ситуации. Два года назад Вадим читал один из отвергнутых сейчас рассказов в Клубе молодого литератора (ходил туда недолго, потом бросил); на заседании том присутствовал человек, написавший сейчас эту рецензию, и тогда рассказ ему понравился безоговорочно — в своем выступлении он отмечал и «тонкий лиризм», и хороший язык, и наблюдательность, «делающую честь молодому автору»...

— Да, вот это называется «поворот все вдруг», — пробормотал Вадим и снова вытащил рецензию из конверта, снова посмотрел на подпись — словно мог ошибиться.

Да нет, все верно. Но что он теперь несет? «...Не паязывая, естественно, автору то или иное видение мира, нельзя в то же время не выразить сожаления по поводу очевидной замкнутости Кротова на чрезвычайно узком круге тем, придающей его творчеству оттенок уже даже не столько камерности, сколько почти демонстративного эскапизма. Позиция, скажем прямо, не самая похвальная и явно свидетельствующая о непонимании молодым автором главного требования, которое жизнь предъявляет ныне нашей советской литературе, — смелее, не барахтаясь на мелкотемье, вторгаться в действительность, перепахивать глубинные ее пласты...»

— Ну сукин сын, — пробормотал Вадим с изумлением, мало-помалу возвращаясь к способности воспринять случившееся в менее драматическом ключе. — Ну дсять...

Он принес из кухни уже полуостывший чайник, без аппетита поужинал. За едой, по обыкновению, читал, прислонив том блоковских дневников к монументальному каркасу «Ундервуда», но сейчас прочитанное как-то не воспринималось — если бы книгу вдруг подменили другой, он бы этого и не заметил. Хотя, конечно, огорчаться было глупо. Или, скажем, так огорчаться. Это он понимал; но понимал и то, что радоваться тоже печему. Дурная слава, как известно, бежит — теперь, когда ему уже пришта «позиция», в любой редакции его будут читать с заведомым предубеждением. Можно, конечно, и вообще на них плюнуть; но до каких же пор можно работать для себя, в стол, не имея надежды на выход к читателю? Не деньги же ему, в самом деле, нужны, не гонорары, черт с ними, с гонорарами; но ведь пишешь не для себя, а для людей, для того, чтобы тебя читали; без этого какой вообще смысл в творчестве? Это все равно как если бы рабочий точил и точил детали, заведомо никому не пужные, детали, которым никогда не сложиться в действующий механизм, не прийти в движение, не произвести никакой полезной работы...

Это, конечно, аналогия довольно условная. Рабочий, создавая машину, все-таки знает, что эта машина будет работать. Хуже или лучше других, но будет. В литературе не так все просто, бывает ведь, что произведение в конечном счете «не срабатывает», не находит отклика, забывается тут же после прочтения. Но вынести приговор

может только тот, для кого это произведение предназначалось, то есть сам читатель. Только он — и никто больше.

А тут получается, что судьбу произведения решает чиновник, решает, так сказать, еще при рождении, произвольно определяя, дозволено ли ему выманиться из рукописи, обрести жизнь на печатной странице. И добро бы еще был какой-то ценитель высшего класса, обладающий безупречным вкусом и надежно застрахованный от ошибок! Мать честная — годами не печатали Платонова, Булгакова, как только не поносили Ахматову, Пастернака... Ну ладно, этих посмертно «простили», издают теперь, гонят тираж за тиражом — пускай хоть в могиле порадуются. Но изжита ли практика перестраховки, когда пуганый дурак, облеченный должностью, имеет право решать, что можно, а что нельзя пропустить к читателю, что советским людям читать разрешено, а чего не дозволено, — с этим разве покончено? Ладно, в конце концов, не в его, кротовских, рассказчиках дело, он на свой счет не заблуждается; строго говоря, будут они напечатаны или не будут — от этого ничего не изменится, он и в самом деле никогда не претендовал на то, чтобы писать серьезные, проблемные вещи, ставить вопросы большой общественной значимости. Но представим себе, что вот сейчас у кого-то — пусть даже из маститых — лежит на столе рукопись, способная действительно потрясти читателя, сразу изменить всю картину сегодняшней нашей литературы; много ли у такой рукописи шансов стать книгой? Черта с два. Чем вещь острее, проблемнее, тем труднее приходится ей в редакции, — это уже закон, общее правило, все об этом знают — и принимают как должное. Естественно: мол, редакторов тоже можно понять, не от них зависит, и тому подобное. Да до каких же пор?

Вадим утешительно подумал, что на наш век, во всяком случае, хватит; тут в дверь стукнули, и голос соседки крикнул, что его к телефону.

— Привет, Вадик, — послышался в трубке голос Векслера. — Хорошо, что ты уже дома, я не был уверен — позвонил наугад. Слушай, на будущей неделе мне, наверное, придется отчаливать. Как насчет того, чтобы провести вечер вместе?

— Сегодня?

— Ну или завтра, как тебе удобнее. Насчет воскресенья я пока не уверен. А сегодня у тебя творческое настроение?

— Да уж, творческое — дальше некуда... Нет, так сижу.

— Ну так подваливай! Давай прямо в гостиницу, а то ведь у вас на нейтральной почве и пообщаться негде — насчет увеличения сети кафе в газетах лет двадцать уже, помнится, пишут, да что-то пока результаты мало заметны. Неподъемная, видать, задача для народного хозяйства. Ну так как?

— Да я не знаю... Туда-то, наверное, и не пустят — в интуристовские гостиницы вход, я слыхал, по каким-то карточкам...

— Да,— Векслер хохотнул,— портье у вас тут бдительные, это точно! Но тебя пропустят. Ты только скажи, к которому часу, и я буду ждать у входа.

— Не надо,— отказался Вадим, ощутив вдруг всю унижительную нелепость ситуации: чтобы его, ленинградца, какой-то иностранец проводил в ленинградскую гостиницу.— Зачем непременно под крышу куда-то лезть? Погода сегодня нормальная, походим лучше по улицам. Я, например, люблю такие вот весенние вечера, что-то в них такое...

— А что, это идея,— согласился Векслер.— Просто я думал поужинать вместе тут в ресторане, но если ты предпочитаешь прогуляться, давай погуляем.

Договорились встретиться на Стрелке, у южной роstralной. Векслер оказался точен — уже ждал, когда подошел Вадим.

— Это ты и в самом деле хорошо придумал,— сказал он, когда они перешли на Университетскую набережную и постояли у парапета, глядя на неповторимую панораму левого берега.— Вечер действительно замечательный, такие весной бывают в Стокгольме — небо чистое, чуть зеленоватое и светится как-то по-особому, словно уже к белым ночам примеривается...

— Красивый город?

— Стокгольм? — Векслер пожал плечами.— Ничего. Комфортный, богатый до сумасшествия — даже по западным стандартам. Таких витрин, как у шведов, я вообще нигде не видал. А что касается красоты, то — хочешь верь, хочешь не верь — большей, чем вот это,— он мотнул головой, указывая через реку,— нету нигде в мире. Нет, я не про весь Питер, тут у вас тоже такие есть трущобки — будь здоров... А новые дистрикты, районы по-вашему, ну что про них скажешь? Обычное стандартное убожество, массовая дешевка. Но вот это... — Он помолчал, покачивая головой.— Это выше понимания, в голо-

ве не укладывается, как можно было создать такое — причем смотри, все вроде бы просто, но как гениально уравновешено — Сенат, Адмиралтейство, мопферрановский купол — и Всадник посреди всего этого, уму непостижимо... Какой там, к черту, Стокгольм! Слушай, а что ты сегодня смурной какой-то?

— Да так, — не сразу ответил Вадим. — Настроение хреновое, не знаю даже... А впрочем, чего там. Я тебе говорил, помнишь, еще по зиме отнес в журнал два рассказа, — так вот, письмо сегодня получил из редакции. Отфутболили снова мои опусы, вот такое дело. Понимаю, что глупо расстраиваться, а все равно муторно как-то. Главное, рецензент один из этих рассказов однажды уже читал и всячески расхваливал. А теперь он же и задробил.

Векслер тоже помолчал.

— Жаль, — сказал он наконец. — Сочувствую, Вадик, но что делать? Вероятно, это издержки профессии, а? Я не помню сейчас, про кого из знаменитых читал: кто-то из западных, может, даже Хемингуэй, тоже вот так рассылал рассказы по всем журналам, никто не брал, у него уже даже на почтовые марки денег не было. А потом вдруг как прорвало — редакции стали драться за его рукописи...

— Ну; я на этот счет спокоен, за мои драться не станут.

— Да, у вас, конечно, положение более сложное. С западными издателями дело иметь проще.

— А черт их знает... — отозвался Вадим. — Я, понятно, судить могу только понаслышке... Но тоже не думаю, чтобы они у вас там такие были добрячки и опекали начинающих авторов.

Векслер рассмеялся.

— Добрячки? Вадик, наши издатели — это тиранозавры. Знаешь, были такие ящеры — высмотрел добычу, подкрался — и хряп пополам какого-нибудь зазевавшегося птеродактиля, тот крикнуть не успеет. И опекают они не авторов, а собственный счет в банке, но именно этим фактором все и объясняется. Такой тип в упор не видит автора, он для него вообще не персона, но если референт доложит ему, что данный автор перспективен в смысле коммерческого успеха, зеленая улица рукописи обеспечена, через месяц книга уже на прилавках. И тиражи, кстати, такие, что вам тут и не снились, хотя у вас любят козырнуть большими тиражами. Помилуй, тридцать тысяч на такую страну, разве это тираж? А полтораста, двести — так это у вас только мэтры

такое имеют, лауреаты разных там премий. А Франсуаза Саган, когда принесла в издательство свой первый роман, — кто ее знал, никому не известная соплюха, верно? — так вот, в одной Франции эту ее «Здравствуй, грусть» за первый только год намолодили четыреста тысяч экземпляров... Я уж не говорю о переводах на все европейские языки, причем мгновенно, и не говорю о бесконечных переизданиях. Да что там... Не помню, кто ее первым открыл — Галлимар, что ли, — но они сразу учуяли: ага, тут можно сделать бизнес. И сделали! Кстати, и ее не забыли — она уже через год была миллионершей. Нет, ты пойми правильно, я не пропагандирую нашу издательскую систему, ставка на коммерческий успех приводит и к тому, что порнуху гонят не меньшими тиражами...

— Вот именно, — сказал Вадим. — Маркиз де Сад в общедоступном пересказе, с иллюстрациями. Тоже, знаешь, хрен редьки не слаще.

— А я что говорю? Просто там больше выбора, издателей много, и вкусы у них разные: одним подавай ангажированную литературу, другим — секс, третьим — что-нибудь авангардистское под Мишеля Бютора, так что, понимаешь, выбор за тобой. Каждый несет рукопись к тому издателю, кто ему ближе по взглядам. Я, кстати, готов признать, что теоретически ваша система совершеннее: у вас издатель не идет на поводу у публики, а сам формирует ее вкусы, подтягивает до определенного уровня. Но это теоретически, как в старой песне поется: «Гладко было на бумаге...» А на практике получается, вот как с тобой. Кому-то ты пришелся не по душе, может, с кем-то поругался когда-то, я не знаю, в жизни ведь разное бывает, верно? И представь себе, что у этого твоего недоброжелателя связи в литературном мире, да ему достаточно звякнуть одному-другому — и тебя уже в любой редакции встретят как зачумленного... Тем более что редакций-то этих раз-два и обчелся. Поэтому я и говорю: у вас труднее, слишком все централизованно — включая и возможность перекрыть кислород... Жаль, конечно, потому что способности у тебя, на мой взгляд, несомненные. Насчет таланта не скажу, это пока судить трудно, да и не с моей квалификацией, но просто вот как читатель могу сказать точно: писать ты можешь. Если бы еще мог печататься...

— Да ладно, успею, — отозвался Вадим.

— Успеть-то успеешь... Только, я думаю, для автора годами сидеть в ожидании выхода к первому читателю

это примерно то же самое, как у нас бывает: окончит парень технический колледж, а потом со своим инженерским дипломом ищачит где-нибудь мелким клерком. Дисквалификация происходит, понимаешь, тут и забывается кое-что начинает, а главное — психику подтачивает. А это ведь тоже фактор... особенно в творчестве.

— Еще какой...

— Вот об этом и речь. Слышь, Вадик... А почему бы тебе не попробовать напечататься там?

— Где это «там»?

— Ну за бугром, как у вас говорят.

— Ни фиги себе идеяка.

— А что такого?

— Ты что, может, и впрямь задание выполняешь?

Векслер — они стояли совсем рядом, облокотившись на гранит парапета, касаясь плечами, — повернул голову и глянул на него, прищурясь.

— Ха-ха,— хохотнул он и спросил с осязательным нажимом в голосе: — А почему ты сказал «и впрямь»?

— Да просто подумалось: надо же, уговаривает печататься за бугром, сейчас начнет шуршать долларами...

— Погоди, Вадик, погоди. Уговаривать тебя никто не уговаривает, я просто назвал один из возможных вариантов. Но меня сейчас другое интересует: ты же писатель, должен чувствовать оттенки выражений. Если ты сказал: «Может, и впрямь», это значит, что или эта мысль уже приходила тебе в голову, или кто-то ее высказывал в твоём присутствии. Логично?

Вадим про себя признал, что логично, и пожалел о собственной неосторожности. Рассказывать о разговоре с Борисом Васильевичем не хотелось, тем более что тот специально просил — ничего Векслеру не говорить. Ясно, о таких делах не болтают, это и ежу понятно. Но проколоться он прокололся, и так глупо!

— Логично,— повторил он вслух, кончив раскуривать не сразу затлевшую папиросу.— Ты ведь мне, Саша, сам эту мысль высказал — забыл уже?

— Когда это?

— А как только познакомились, у Ленки на именинах. Я тебя спросил, в качестве кого ты сюда прибыл, ну в смысле — по делам или как турист, а ты говоришь: «По линии ЦРУ». Забыл, что ли?

Векслер облегченно захохотал.

— А ведь верно! Ну, пятак твою распростав, и память же у тебя, что значит — литератор... А то я уж думаю — неужто на меня тут так косо смотрят, с подо-

зрением; я ведь, Вадик, просто откровенен с тобой, вот и выбалтываю, что на языке. И насчет печатания на Западе, мне эта мысль вот только что в голову пришла, но, ей-богу, почему так уж сразу от нее отрешиваться? Ты, кстати, не думай, что я какую-нибудь антисоветчину имею в виду, — добавил он, посерьезнев, — там в этом товаре давно уже никто не нуждается по одной простой причине: предложение превышает спрос. У нас этой антисоветчины столько уже опубликовано, что до конца века не хватит перечитать. Да и кому это нужно? Иностранцам неинтересно, они своими делами заняты, а русский тамошний читатель все это уже наизусть знает: и про репрессии, и про коммуналки, все это уже вот так обрыдло... А вот такое, как пишешь ты, — это может заинтересовать, такое всегда интересуется, понимаешь, потому что это жизнь, обычная российская жизнь, не процеженная, не профильтрованная, а такая, как есть. Конечно, тамошний читатель — это не здешний, я не сравниваю масштабы, там все мелко, — ну эмиграция, сам понимаешь. Но, как говорится, на безрыбье — верно? Да и потом, учти другое — напечататься где-нибудь, это значит, что тебя почти наверняка и в эфир дадут, у нас литературные передачи идут регулярно, а это уже слушатель здешний, массовый, это уже миллионы...

— Во-во, — покивал Вадим. — А потом меня за шиворот — и пожалте бриться.

— Не всех же за шиворот берут. Могу с ходу назвать два-три имени — и там опубликованы, и здесь вполне благоденствуют...

— Ну, мне рассчитывать на подобное благоденствие не приходится, не той я породы. Я скорее из тех макаров, на которых шишки валяются, даже если ни одной сосны поблизости нет.

— Смотри, конечно, Вадик, дело твое... Я как-то всегда считал, что искусство — вообще занятие не для робких. Может, и ошибаюсь, я ведь что? — профан, со стороны наблюдаю... Но писатель, мне кажется, должен уметь плыть против течения. И поступать так, как считает правильным... без оглядки на обывателей. Ну что, может, все-таки зайдём ко мне, посидим? И бутылка найдется, выпить на дорогу... Как это говорится — посошок?

— Нет, Саша, спасибо, как раз пить мне сегодня противопоказано. Я себя в этом смысле немного знаю — когда настроение муторное, нельзя мне. А то не останюсь, у меня наследственность поганая. Так что давай уж воздержимся.

— Воздержимся, — согласился Векслер. — И, кстати, тоже вполне свободно без этого обхожусь, за компанию могу выпить порядочно, но иногда так даже лучше потрезвому. А насчет нашего разговора не бери себе в голову, я тебя уговаривать не собирался, просто внес деловое предложение. Кстати, оно вполне реально. Поразмысли на досуге, а летом тут должен появиться один мой знакомый — может, он тебя разыщет через Жанну. Если к тому времени начнешь печататься здесь — что ж, тем лучше, тогда вопрос сам собой отпадает... Кстати, у меня для тебя маленький прощальный презент — ва, держи, будешь там у себя в лесу слушать.

Векслер достал из кармана пальто и вложил ему в руку маленький — не больше двух пачек сигарет — и такой же плоский прямоугольный предмет в кожаном футлярчике.

— Что это? — удивленно спросил Вадим.

— Приемник, что же еще. Ты, помнится, говорил, что у тебя нет? И не смотри на габариты, это машинка еще та — с шестнадцати метров берет как зверь...

— Да ты что, Саша, чего ради! — запротестовал Вадим, действительно почувствовав себя по-дурацки. Что они с ним — близкие друзья, что ли, чтобы принять такой подарок...

— Вадик, я тебя вроде бы ничем не обидел, а? Давай и ты на прощание меня не обижай, я ведь от чистого сердца. Ну просто на память! А надоест — снесешь в Апраксин, в комиссионке у тебя с руками оторвут — это последняя модель «Филипса», они такие штуки не хуже японцев делают. Питание универсальное — там аккумуляторчик размером с вашу «крону», а можно и прямо от сети. Аккумулятор при этом подзаряжается в автоматическом режиме, так что всегда готов к работе. Ну, всё! Клади в карман — и ни слова больше об этом. А теперь давай перейдем на ту сторону и прошвырнемся на прощание по Невскому — когда-то мне еще доведется побывать в Питере! Вроде и грех подрывать престиж своей фирмы, но, ей-богу, так хочется, чтобы эта наша линия опять забарахлила...

Глава 9

30 марта капитан Ермолаев позвонил в Пулковку. Его проинформировали, что накануне, 29 марта, при таможенном контроле у иностранного гражданина Александр

ра Векслера ничего запрещенного к провозу не обнаружено, и он отбыл рейсом LN343 Ленинград — Дюссельдорф в 21 час 45 минут. Посидев и подумав, капитан пошел к полковнику.

— Ну что ж,— сказал тот, выслушав новость.— Как у меня на родине говорят, баба с возу — кобыле легче. Ничего не ввез, ничего не вывез, ну и скатертью дорожка. Может, он и в самом деле ничем таким тут не занимался, а?

— Будем надеяться, — неопределенно отозвался капитан.

— А что, у вас все-таки подозрения?

— У меня ощущение, Сергей Иванович, что мы тут что-то проглядели.

— Ну не знаю,— сказал полковник с явным недовольством в голосе.

Борис Васильевич подумал, что никогда, видно, не научится разговаривать с начальством; одно дело, когда подчиненный говорит после удачно проведенного им дела, что похоже, дескать, мы на этот раз неплохо сработали, и совсем другое — когда он намекает непосредственному начальнику на его долю вины за неудачу.

— В общем-то, конечно, это вина моя,— поправился он.— Я им занимался, и наверное...

— Да бросьте вы, в самом деле,— прервал полковник подобранным тоном.— Самокритичность, Борис Васильевич, не должна переходить в самоедство. Работник вы опытный, инициативный, к делу всегда подходите творчески, так что винить вам себя не за что.

— Пока не за что,— без энтузиазма согласился капитан.— Боюсь, потом бы не пришлось...

— Хотите еще раз поговорить с этим... Кротовым?

— Да нет, это, пожалуй, ничего не даст.

— Сам Кротов у вас подозрений не вызывает?

— По-моему, парень как парень. Да и в чем его можно подозревать? Вообще непонятно, чем он мог заинтересовать Векслера — если допустить, что Векслер все-таки приезжал сюда с заданием. Другое дело, если бы он работал на режимном предприятии, так нет ведь — сидит лыжи пересчитывает, рассказы свои пишет...

— Рассказики, — повторил полковник.— Рассказики, говорите? — Он встал и прошелся по кабинету.— Литература, Борис Васильевич, это идеология... и мне ли вам объяснять, что наши недруги едва ли не всю свою стратегию строят сейчас на идеологической конфронтации.

— Это понятно, Сергей Иванович. То, что задание

Векслера — если он приезжал с заданием — должно быть непременно связано с идеологией, в этом я не сомневаюсь. Какой конкретно характер могло оно носить? Ну, первое, что напрашивается, это поиск подходящего человеческого материала. Просто пока поиск, предварительная, так сказать, фаза работы: знакомиться с людьми, выяснять настроения. Откровенно говоря, я думаю, что так оно и есть. И сложность тут в том...

— ...что при таком характере задания мы его за руку схватить не можем, — закончил фразу полковник.

— Вот в этом-то и дело. Инкриминировать нечего: ну знакомится, ну выясняет; что дальше?

— А представьте себе — ничего. Может, ничего другого ему и не поручали. Вам такая возможность в голову не приходила?

— То есть, вы думаете, он только для этого и прислал — прощупать настроения?.. Вообще-то, как правило, этим здесь занимаются их корреспонденты. Живут они у нас подолгу, языком многие из них тоже владеют — может, не так совершенно, как Векслер, но вполне достаточно для общения с нашими людьми. Я имею в виду общение неофициальное, застольное. Знакомства они обычно тоже заводят довольно широкие, так что лучших условий для зондажа настроений просто не придумать. Зачем же тогда посылать специального человека, да еще на короткий срок? Скорее, это все-таки какое-то налаживание контактов... Но с кем? И для чего? Кротов ведь не из фрондирующих, это я бы заметил, те даже в разговоре очень как-то быстро раскрываются, не считают нужным скрывать свои взгляды. Кротов на них не похож. Да и проверял я — у него и в прошлом ничего такого.

— А что это за компания, в которой он крутится?

— Ерунда, ничего серьезного, обычные молодые лоботрясы. Характерно, что Векслер с ними практически не общался — один раз только пришел, словно нарочно для того, чтобы познакомиться с Кротовым. Может, конечно, случайно так получилось...

— Да нет, едва ли это случайность... Скорее, именно он и был ему нужен. — Полковник помолчал. — Только вот для чего? Смапить на Запад? Кротов, говорите, заверил вас, что таких попыток не было; и вы считаете, ему в данном вопросе можно верить?

— Убежден, что да. Кротов не того типа человек, чтобы помышлять об экспатриации. Это с первого взгляда видно, я его себе на Западе не представляю совершенно.

— Что, под славянофила работает?

— Даже и не это, а просто есть в нем какая-то... ну бесхитрость, что ли.

— Вы уж, Борис Васильевич, своего Кротова скоро вообще в святые произведете.

— Блаженный он — это точнее. Где-то не от мира сего, я бы сказал. На Запад совсем другого типа публика рвется, а таким, как Кротов, там делать нечего.

— Ну хорошо. Будем, однако, исходить из факта, что Векслер — предположительно агент некой западной секретной службы — вступил в контакт и завязал довольно тесное знакомство именно с этим самым писателем, который не от мира сего. Выходит, чем-то именно он его заинтересовал, какие-то душевные параметры сделали Кротова наиболее подходящим кандидатом на роль, которую Векслер — опять-таки предположительно! — для него задумал. Обычно что ценится в подобных случаях? Чаще всего какие-то слабости, на которых можно сыграть. Ну там честолюбие, алчность, излишняя склонность ко всякого рода амурным делишкам и тому подобное. Но те кротовские качества, которые увидели вы, — это не слабость, это скорее сила. Блаженному много не надо, поэтому и соблазнить его не так-то просто. Чем? Деньги, успех, женщины — все это для него пустое, такими штуками его не взять. Что же остается?

Капитан Ермолаев помолчал, глядя в окно.

— Успех, — повторил он негромко, задумчиво. — Литературный успех... Нет, вот к этому, пожалуй, Кротов не безразличен. Он мне не жаловался, но мне где-то в разговоре показалось, что это для него вопрос большой — то, что он до сих пор ничего не опубликовал.

— «До сих пор!»! Сколько ему — тридцати еще нет? Шишков, я где-то читал, в сорок лет начал писать, а до этого железные дороги строил, мосты. У вашего Кротова впереди вся жизнь. А вы считаете, что это и есть та слабинка, на которой мог сыграть Векслер?

— Ну, — Борис Васильевич пожал плечами, — если на чем-то мог, то думаю, что на этом. Хотя... опять-таки — для чего?

— Да-а, для чего-то он им нужен. А что, рассказы эти... они у него вообще получаются? Или, может, так — графоманство чистой воды?

— Я этим вопросом, Сергей Иванович, интересовался. Он тут посещал недолго одно литобъединение — говорят, хвалили его, парень не без способностей.

— Однако в печать все-таки не пробился? Не тянет, значит, на настоящего писателя.

— Вы знаете, это дело хитрое — пробился, не пробился... Иногда, черт его знает, такую дребедень в журнале каком-нибудь прочитаешь, только диву даешься — зачем, для чего? Тут, возможно, еще и вопрос везения. Мне в связи с этим, Сергей Иванович, вот какая мысль в голову пришла... Что там замыслил Векслер, мы пока не знаем; но мы вроде бы уже вычислили, на какой крючок он может поймать Кротова. На всякий случай — может, стоит нам попытаться этот крючок заранее обезвредить?

— Ну-ну, излагайте вашу мысль.

— Да она простая совсем. Я подумал, почему бы нам не поспособствовать как-то, чтобы... Ну чтобы заметили парня, обратили на него внимание. Бывает ведь, наверное, и так, что человека просто не замечают, если он не из пробивных, саморекламой не занимается...

— Ну допустим! А как, интересно, вы себе это представляете — «поспособствовать»? Я звоню в редакцию, представляюсь и говорю: нельзя ли поскорее напечатать произведения гражданина такого-то, так как у нас есть основания опасаться, что в противном случае этот гражданин попадет в лапы западных спецслужб. Так, что ли? Несерьезно, Борис Васильевич, не наше это дело. Мы все-таки не родовспомогательное заведение для молодых талантов, задачи у нас другие, четко определенные...

Да, думал капитан Ермолаев, возвращаясь к себе по длинному безлюдному коридору, мимо высоких темных дверей с латунными цифрами номеров. Задача у нас другая — обеспечивать безопасность государства, а значит, и каждого его гражданина. Это в особых разъяснениях не нуждается. Вопрос лишь — как лучше это делать, тут, наверное, возможны варианты. К сожалению, мы начинаем действовать, когда что-то уже произошло; и тогда приходится лечить болезнь, а не предупреждать ее. А ведь можно, наверное, и предупредить, если перефокусировать внимание с факта на обусловившие его обстоятельства, со следствия на причину. Иными словами — борьбу с явлением начинать раньше, чем оно состоялось. С самых корней начинать — вот тогда безопасность действительно будет обеспечена полностью и надежно...

На лето лыжная база превращалась в пионерлагерь, и убраться оттуда пришлось сразу после Дня Победы — понаехали работяги, которые должны были все подкрасить и подновить к началу школьных каникул. Вадим прожил в поселке еще несколько дней, устроившись подручным к одному шабашнику, крупному специалисту по чистке колодцев; работа была простая — вытаскивать наверх ведра с мокрым песком, покуда специалист колдовал там внизу, но физически тяжелая и потому хорошо оплачивалась. За неделю он огреб двести с лишним рублей и уехал в Питер, чувствуя себя крезом. На лето, во всяком случае, ему должно было хватить, поскольку делиться этим левым и негласным заработком с драконидами он, естественно, не собирался. Чего ради? Другое дело, если бы Алена в чем-то пуждалась, а то ведь обеспечены выше головы: полковничья пенсия Прохора Восемнадцатого плюс тот немаловажный в наше время факт, что старшая драконίδα все еще функционирует у себя в управлении торговли и уходить на пенсию отнюдь не собирается.

Конец мая выдался погожим, теплым, начинались белые ночи, и по ночам хорошо писалось даже в «пена-ле». Первую половину дня Вадим отсыпался, после обеда уходил побродить по улицам — так, чтобы быть подальше от родного очага в те часы «пик», когда население коммуналки возвращается после трудового дня. Когда приходил, в квартире было уже относительно тихо, он ужинал и садился писать у открытого окна. Хорошо, двор был широкий, не обычный питерский «колодец», и поэтому ничто не заслоняло неба.

И как-то сразу, на одном дыхании, получился большой рассказ — очень для него большой, почти на целый лист, — про художницу, которую всячески затирают, находя «несозвучной». Писал в сущности про себя, изменил лишь пол и профессию, чтобы не выглядело слишком уж автобиографично. Подмена, впрочем, была шита белыми нитками — какая разница, живопись или литература, речь шла о творчестве, о праве творить так, как считаешь правильным. Он не утврждал, что прав объективно, и даже нарочито сделал свою героиню особой слегка, что называется, прибабахнутой, со сдвигом по фазе, оппоненты ее выглядели куда респектабельнее, и доводы их были исполнены логики и здравого смысла; он лишь хотел сказать, что творчество — дело настолько

субъективное, настолько свое, что всякое вмешательство ему противопоказано. Даже если вмешивающийся и пытающийся судить ближе к объективной правоте, нежели тот, кого судят,— все равно, диктовать автору нельзя, недопустимо. Иначе это уже будет совсем другое, творчества, как такового, не останется, потому что какое же творчество под диктовку?

Вещь получилась вроде бы даже программная — во всяком случае, он постарался вложить в нее как можно больше своих мыслей о том, как складываются отношения между творческой личностью и ее, так сказать, средой обитания. Отложив рассказ на несколько дней и перечитав потом на свежую голову, Вадим остался доволен. Воображаю, подумал он, отнести это в журнал! Хотя что такого? Сами же призывают писать о серьезном, а это ли не серьезная тема! Что у него своя, не такая, как у них, точка зрения, так тем лучше: чем этих точек больше и чем они разнообразнее, тем скорее можно рассчитывать на какое-то согласие. Говорят же — ум хорошо, а два лучше; почему же не придерживаться этого последовательно?

Потом он вдруг почему-то вспомнил о Сашке Векслере. Последнее время, действительно, и думать о нем забыл, поскольку подарком почти не пользовался — днем слушать было нечего, а по ночам он работал. Попробовал, правда, послушать раз-другой, но из-за бугра перла такая бодяга — страшное дело: то рассказывали о какой-то английской поп-группе, то об американских супермаркетах. На фиг ему, жившему на Васильевском острове, слушать про то, как обслуживают покупателей в Денвере, штат Колорадо? Он и впрямь подумал было, не снести ли «Филипс» в Апраксин — машинка-то сама хороша, ничего не скажешь, сотни три наверняка дали бы с ходу, — но устыдился — все-таки подарок.

А теперь вдруг вспомнил самого дарителя. Интересно, что Сашка сказал бы, прочитавши «Чокнутую», все-таки вкус у него неплохой, из прочитанных Вадимовых рассказов он выделил как раз те, которые и сам автор считал самыми удачными.

Французы утверждают, что стоит заговорить о волке, как увидишь его хвост. Именно это с Вадимом и случилось: достаточно было о волке вспомнить — и хвост тут как тут. Однажды в пятницу — шел уже июнь, в городе начиналась жара, и он стал подумывать, не податься ли куда из Питера на месяц-другой, — ему вдруг позвонила Жанна.

— Слушай, тебе тут привет передают от нашего общего знакомого, — объявила она. — Ну помнишь, я вас зимой на Ленкиных именинах познакомила?

— А-а, — сказал он. — Помню, как же... А он что — снова здесь или?..

— Да нет, приехала тут одна его приятельница, говорит, хорошо бы встретиться. Если, конечно, ты не против.

— Есть хоть на что посмотреть? — Он попытался отшутиться, охваченный странным чувством неуверенности; ему и интересно, пожалуй, было встретиться с приятельницей Векслера, но в то же время вроде бы что-то внутри предостерегало.

— Так себе, — ответила Жанна, — не экстра. Одежка, правда, соответственная, пу и макияж — это они умеют, ничего не скажешь. А умой, раздень — будет баба как баба. Ты попробуй, проведи сам эксперимент, чего спрашивать-то?

— Упаси бог, тут от отечественных не знаешь куда деваться, а ты мне импортную подсовываешь.

— Не паникуй, никто на твою невинность не покушается. Так что, мне договариваться о встрече или нет?

— Можно вообще-то. Как там Сашка, что она про него рассказывает?

— А ничего не рассказывает, сам все расспросишь. Давай тогда приходи в районе семи к Казанскому, мы где-нибудь возле Барклая будем...

Жанна была явно несправедлива к заморской гостье — та оказалась интересной женщиной, во всяком случае на первый взгляд; внешность ее была, правда, довольно стандартной, Карен (как она отрекомендовалась) трудно было бы выделить среди молодых иностранных туристок, которых летом так много в Ленинграде.

Вся она была какая-то усредненная, типизированная, и еще была в ней некая неопределенность. Вадиму она показалась его сверстницей, хотя могла быть и старше, и моложе, и он никак не мог определить ее национальности — то ли немка, то ли англичанка, то ли откуда-то из Скандинавии. По-русски говорила неплохо, хотя и с акцентом (опять-таки неопределимым); наверное, славистка, решил Вадим.

Жанна, представив их друг другу, тут же слиняла, сказав, что опаздывает. Такого варианта Вадим не предвидел, он рассчитывал, что они пообщаются втроем, и был обескуражен, чуть было не взмолился, чтобы его не

оставляли наедине с этой красоткой, но было уже поздно — красный свет перекрыл движение, Жанна сделала ручкой и побежала по переходу к Дому книги. «Вот черт, — подумал он в унынии, — вдруг она в коктейль-бар намылится, а я и денег с собой не взял...»

— Немношечко погуляем, — сказала Карен, словно прочитав его мысли, — здесь так много люди, мошет, пойдём туда? — Она указала вдоль набережной канала, близоруко прищурилась. — Там золотые крылья — это что, Пегасус?

— Нет, не Пегасы, просто львы, — объяснил он обрадованно, — это мостик такой... красоты неописуемой, идемте посмотрим вблизи, отсюда не разглядеть.

— О да, в Ленинграде много уголков неописуемой красоты, Алекс мне говорил, — подтвердила Карен.

— Ну как он там?

— О, спасибо, очень хорошо. Много работает! Алекс есть отличный работник, очень — как это говорится... — Карен покрутила кистью руки, — перспективный, да?

— Да, он... толковый парень, мне тоже показалось. Как там эта линия, крутится?

— Линия? — чуть пастороженно, видимо не поняв чего-то, переспросила Карен.

— Ну да, на Розе Люксембург, из-за которой рекламации шли.

— О, это! — Она рассмеялась. — Это крутится, да, насколько я знаю.

— Вы с ним коллеги? Тоже инженер, да?

— Немношечко коллеги, но я не инженер, нет! Я занимаюсь славистикой, господин Кротов.

— Я так и подумал. Только не называйте меня «господином», у нас это не принято. Вадим — и все, я ведь не намного старше вас, — добавил он, отваживаясь запустить комплимент.

— О, не станем выяснять, кто есть старше, я боюсь сделать вам разочарование... К тому же, Вадим, возраст дамы — это такой секрет, о-о-о!

— Ну вам-то еще... Вы здесь в аспирантуре?

— Нет-нет, я туристка. Совсем недолго, увы, одна неделя — и адъё! Я еще хочу видеть Москву, Киев...

— Да, программа плотная, — согласился Вадим.

Зря, пожалуй, он запаниковал, с этой Карен не так уж трудно общаться. Имя тоже какое-то неопределимое, корень вроде германский...

— Ну вот, отсюда лучше видно, смотрите, — сказал он, когда подошли ближе к Банковскому мостику.

Карен согласилась, что вид и в самом деле хорош, достала из сумочки крошечную камеру и принялась щелкать спуском.

— Мошет быть, я это еще продам,— сообщила она деловито.— Если хорошо получилось! Есть ревью, которые хорошо платят за интересные фото. Пойдем близко, хорошо? Но вы еще должны рассказать мне о ваша работа, Алекс специально рекомендовал знакомство с вами.

— В каком смысле?

— Я занимаюсь современной русской литературой, причем изучаю один сектор — иначе невозможно, да? — слишком огромный материал. Мой сектор — это писатели-нонконформисты, советская «новая волна».

— Да я не считаю себя нонконформистом.— Вадим педоуменно пожал плечами.

— О, дело не в дефинициях, тем более — в авторских, здесь возможны ошибки. Если вас не печатают, значит, ваша работа не есть то, что надо государству; литература конформизма имеет всегда — как это у вас говорят? — зеленая улица, не так ли.

— При чем тут государство, я не с государством имеею дело, а с мелким чинушей, который боится собственной тени!

— Да-а, конечно, но этот чинуша поставлен государством — не правда ли? — у вас ведь нет «частная лавочка». Не будем спорить, я тоже могу где-то ошибаться,— примирительно сказала Карен.— Алекс мне так хвалил ваши маленькие новеллы, я бы очень хотела, если возможно, что-нибудь читать ваше. О, не долго, одна только ночь, день. Я быстро читаю по-русски, хотя говорю плохо и медленно.

— Да нет, что вы, вы очень хорошо знаете язык...— Он вдруг подумал, не дать ли ей прочитать «Чокнутую». А что? Интересно, как покажется. Язык она, конечно, знает слабовато, это уж он ей польстил. А впрочем, для иностранки...— Насчет того, чтобы почитать... ну, можно, конечно, только я не думаю, что вам будет интересно. Да это и никакие не новеллы, я пишу самые обычные рассказы.

— Да-да, Алекс мне говорил. Мне будет интересно,— заверила Карен, глядя ему в глаза.— Мне хочется понимать, почему не публикуют некоторых ауторов; это ведь получается немножко вроде «беруфсфербот» — запрет на профессию, да? Мошет быть, мы теперь поедем

к вам прямо, и вы мне дадите два-три рассказа, а завтра я их верну?

Вадим содрогнулся, представив себе эту холеную дамочку в коридоре их коммуналки или — того хуже — в своем «пенале».

— Вы знаете, я бы с удовольствием, — забормотал он, — но к себе я вас пригласить не могу, там... не убрано совершенно и вообще — ремонт, у нас летом всегда ремонт...

— О нет-нет, зачем? — Карен рассмеялась. — Я не думала заходить ваша квартира, я просто погуляю немножко по улице там рядом, а вы принесете манускрипт, хорошо?

— Можно, — согласился он покорно. — Тогда пошли обратно, в метро придется нырнуть...

На станции «Василеостровская» Карен с любопытством оглядела вестибюль и сказала, что лучше подождет здесь — много людей, это хорошо, она любит наблюдать толпу. Вадим, слегка удивившись (у Казанского она, напротив, поспешила уйти на довольно безлюдную набережную канала Грибоедова, пожаловавшись на то, что у собора «так много люди»), пошел за рукописью. Надо было еще решить, что ей дать. Ну «Чокнутую» — само собой, потом, наверное... «Подари мне собаку» и еще можно «Солдатушек». Чтобы представить, так сказать, все грани таланта — юмор, лирику, ну и нечто проблемное.

Он и сам не знал, почему, отобрав три рассказа, не вложил их, как обычно, в тонкую полиэтиленовую папочку с эмблемой Олимпиады-80, а скрутил рулончиком и завернул в старый номер «литературки». Только на обратном пути к станции метро сообразил, что сделать так его побудило неосознанное нежелание, чтобы его кто-нибудь увидел передающим рукопись этой интуристке. Сообразил — и сам удивился: а что тут, собственно, такого? Какие-то мы все стали заикленные, шагу не можем ступить без опасения — как бы чего не вышло...

Новая его знакомая, странное дело, восприняла эту конспиративность как нечто само собой разумеющееся. Едва он вошел в вестибюль, Карен уже оказалась рядом и, подойдя вплотную, как-то очень ловко взяла у него из руки свернутую газету и опустила ее в свою уже раскрытую сумку.

— Благодарю вас, Вадим, теперь я поеду к себе в отель и буду очень внимательно читать, — сказала она,

улыбаясь как на рекламе.— Увидимся завтра на том же месте — катедраль, около монумента, да?

— Ну давайте, если успеете...

— О, конечно, я успею! — заверила Карен.— Пять после полудня вас устроит? Тогда до завтра...

Оставшись один, Вадим засомневался: может, не стоило связываться с этой слависткой, она-то уж точно личность двусмысленная? Один интерес к «нонконформистской» литературе чего стоит, да и разговор о государстве тоже получился какой-то странный, прощупывающий, недаром сама вдруг его оборвала, видно, почувствовала, что далеко заходит. А с другой стороны... Это же их, тамошняя точка зрения, они свое собственное государство, «истэблишмент» этот свой, на нюх не переносят; поэтому, может, вообще не представляют себе, что может быть иначе... Действительно, с ними сам черт ногу сломит, подальше бы от них всех. Но интересно, что она скажет о «Чокнутой»; именно потому интересно, что это будет мнение человека со стороны; здесь с рассказом все ясно: в любой редакции его бы за такой опус спустили с лестницы. Но вот свежим глазом... Ладно, что теперь рассуждать, дело сделано. И какая беда, если она прочтает? Выскажет свое мнение, он заберет обратно рукопись — и чао.

На другой день он с трудом дождался пяти — волновался, как мальчишка, сам даже не подозревал в себе такой бездны честолюбия. Встретившись же с Карен, принял равнодушный вид, небрежно спросил:

— Ну как, не успели небось одолеть мою словесность?

— Почему не успела,— горячо возразила она,— я все прочтала и получила столько удовольствия! Вы превосходный писатель, Вадим, и не примите это за комплимент, дамы не очень любят делать комплиментов — даже мужчинам. Самая сильная вещь — это, конечно, «Чокнутая».

— Я рад, что вам понравилось... именно это,— пробормотал он.

— Мне понравилось все, но — по-разному. «Чокнутая» — это очень сильно! Но я боюсь, Вадим, у вас будут трудности с публикацией.

— А, да это и не для публикации вовсе.

Карен подняла брови.

— Но тогда зачем писать?

— Ну как зачем? — он пожал плечами.— Пишешь-то прежде всего для себя...

— О, это такая растрата... как сказать? — столько сил и... таланта — впустую, да? Нет, нет, Вадим, это глупо... Кстати, чтобы потом не забыть, манускрипт я принесла и возвращаю с благодарностью. — Она отдала ему тот же рулончик в старой «литературке». — Вы вообще давали кому-нибудь читать «Чокнутую»? Я имею в виду — в редакции?

— Нет, я ведь только что закончил. Да ее и давать нечего, это ему понятно — кто же такое возьмет? У меня «Собаку» и про солдат и то не взяли, хотя там чего уж такого...

— Ах вот как, значит, их вы давали? — спросила очень внимательно слушающая Карен. — Но не «Чокнутую»? Два маленьких рассказа мне тоже понравились, но они, конечно... — Она щелкнула пальцами, подбирая слово. — Это не то! А скажите, вы не хотели бы опубликовать «Чокнутую» там, у нас? Алекс, если не ошибаюсь, говорил с вами на эту тему.

— Говорил, но я ему ничего не обещал!

— Я знаю. Может быть, теперь есть смысл подумать? Это будет иметь большой успех, Вадим, мы напечатает это в каком-нибудь серьезном журнале, но это потом, журнал готовится долго, вы же знаете; а пока это пошло бы в эфир — немедленно.

— Не знаю... По-моему, это не совсем законно, — сказал Вадим, ошеломленный таким предложением.

— О, что значит «законно»! И вообще, при чем тут закон? В Хельсинки ваше правительство подписало документ о свободе обмена информацией и культурными ценностями; почему же незаконно, если какой-то рассказ будет опубликован не в этой стране, а в другой? Если бы я просила вас написать, где расположены ваши ракеты, — о, да, тогда это было бы незаконно! — Она рассмеялась. — Но этого у вас не просят, не так ли? Я только посоветовала — если написана хорошая, умная вещь, зачем ей лежать в пыли? Естественно, это надо дать под — как это? — псевдоним. Как видите, все очень просто! Если вы согласны, через месяц это будет в нашей литературной программе — я запишу дни, время, длину волны. А потом журнальная публикация.

— Не знаю, — повторил Вадим. Ссылка на Хельсинки показалась ему не лишеной логики. — Но... практически — как это можно осуществить? Вам ведь пришлось бы везти это, — он хлопнул по свертку в газете, — с собой, а в аэропорту спросят: что за бумаги вы везете?

— О,— она снова рассмеялась,— это мне везти не пришлось бы! Это вы можете спокойно унести к себе домой и прятать подальше... по крайней мере месяца на два. После всегда можно сказать, что это перепечатано с магнитофонной записи. Все можно очень легко устроить.. если вы согласны.

— Подумать надо,— сказал Вадим, уже внутренне поколебавшись.

Страшновато было, что греха таить, используют-то они это явно в своих целях, но... ему-то, собственно, какое дело? С тех пор как существует литература, авторов всегда использовали как хотели — и каждый в своих целях. Толстого как только не интерпретировали, чего только не доказывали, опираясь на его высказывания. Если этого бояться, тогда вообще нельзя писать — если каждую фразу, каждую мысль формулировать так, чтобы заведомо не допускала иных, неавторских толкований. Да и невозможно это, как ни исхитришься...

— О, да, подумайте,— поощрительно сказала Карен.— Я не настаиваю! Но я завтра вечером улетаю в Москву, поэтому вот мой телефон — это я в отеле, и вы мне, пожалуйста, позвоните, если надумаете согласиться. Мне кашется, это было бы в ваших интересах...

Глава 11

— А я что вам говорил,— сказал полковник.— Это вы все доказывали, что, мол, ни сном ни духом... А он, выходит, вон какими делами занимается!

— Извините, Сергей Иванович,— возразил Борис Васильевич.— Ничем таким, мне кажется, он не занимается. То, что эта дамочка с ним встречалась, еще ни о чем не говорят.

— Бумаги какие-то он ей передавал?

— Допустим. Хотя — точности ради — нельзя утверждать, что это были бумаги...

— А что же это было? — ехидно спросил полковник.— Палка копченой колбасы?

— Хорошо, пусть бумаги. На следующий день она их ему вернула — по виду, во всяком случае, сверток был тот же. Скорее всего, он давал ей почитать что-то свое. Она могла попросить — все-таки славистка, занимается советской литературой... Вот он ей свои рассказы и дал.

— А с какой целью? Это приятелям дают читать, ну или там критику какому-нибудь знакомому... чтобы оце-

нил, посоветовал. А тут что? Да он ее первый раз в жизни увидел и сразу — такое доверие.

— Ну раз она связана с Векслером, то наверняка представилась его близкой знакомой — тут психологически расчет правильный.

— После того как его специально предупреждали насчет Векслера? Психологически, как вы говорите, визит этой дамы должен был Кротова сразу насторожить; он же, напротив, встречает ее как близкого человека. Не знаю, Борис Васильевич, не правится мне вся эта история. Чем больше думаю, тем больше не правится...

— Хорошего в ней мало, — согласился Ермолаев. — Но я бы все же встретился и поговорил еще раз с Кротовым. Что-то здесь не то.

— Поговорите. — Полковник пожал плечами. — Если вы думаете, что есть смысл, поговорите. Он не был с вами откровенен в тот раз, теперь я совершенно в этом убежден. Попробуйте снова... пока еще есть время.

Если оно еще есть, подумал Борис Васильевич. Ему тоже очень не нравилась «вся эта история», и не нравилась потому, что он не мог отделаться от ощущения допущенной где-то ошибки. Впрочем, нет, тут другое. Не ошибка, нет, ошибка — это нечто выжившееся, осознанное, понятное... а тут какой-то неуловимый промах, недогляд, что ли. Но в чем?

Этот звонок не был неожиданностью для Вадима. Товарищ из комитета — тот самый, что весной приезжал на базу, разговаривал с ним вполне дружелюбно, поинтересовался делами, работой, литературными новостями. А потом сказал, что хотелось бы встретиться и поговорить, может быть, он смог бы заехать на Литейный, пропуск будет заказан. Если, конечно, это не нарушает его творческих планов, добавил он; Вадим жизнерадостно заверил, что нет-нет, не нарушает нисколько.

Но все же он был несколько встревожен.

Дался им этот Векслер! Подумать только, не успела здесь промелькнуть его знакомая, как тут же насторожились. Наверняка вызов связан с Карен. А ему как теперь держаться? Умолчать о встрече глупо, а вот все остальное? Да, надо сказать так: она попросила прочитать рассказы, он дал и на другой день получил их обратно. Святая правда, ни к чему не подкопашься. А уж насчет остального — молчок, это и впрямь его личное и

никого не касающееся дело; во всяком случае, никакого отношения к вопросам государственной безопасности. Насчет ракетных баз разговора не было, а если ему предложили опубликовать там повесть, которая здесь никому не нужна, так что — какой родине от этого ущерб?

Настроившись таким образом, Вадим пришел к капитану Ермолаеву, сел, оглядывая кабинет со сдержанным любопытством, воспользовался приглашением курить. Любопытство овладело им с того момента, когда он переступил порог этого загадочного здания, ему здесь все казалось загадочным, необычным — широкие лестничные марши, тишина в высоких коридорах, устланых скрадывающей шага дорожкой.

— Вадим Николаевич, — дружелюбно сказал Ермолаев, — вы, наверное, догадываетесь, по какому вопросу я вас пригласил. Речь опять пойдет о нашем общем знакомом. Вам, кстати, задним числом... не припомнилось ничего такого, что могло бы, так сказать, пролить свет? Вы ведь, вероятно, думали об этом после нашего разговора. Да и встречались с ним, кажется? Помнится, вы тогда сказали, что он выражал намерение пообщаться.

— Да, мы с Векслером виделись незадолго до его отъезда. Он вечером позвонил мне, сказал, что уезжает, и пригласил с ним поужинать... там, в гостинице. Ну туда я не захотел... Поэтому просто прошвырнулись по улицам, он сказал, что хочет на прощание Невский посмотреть.

— Вадим Николаевич, а почему, собственно, вы отказались от его приглашения?

— Да ну... — Вадим сделал неопределенный жест. — Туда ведь так просто не зайдешь, он-то сказал, что встретит — вместе с ним, мол, пропустят, а это как-то... противно. Все равно что мясо с черного хода покупать, через подсобку.

— Какое мясо? — не понял капитан.

— Ну обычное — по знакомству. Жена, помню, меня все гоняла к какому-то знакомому мяснику... Что, мол, такого, все умные люди так делают. Делают, конечно, кто же спорит. А к Векслеру я тогда не только поэтому не пошел. Мне в тот день пить не хотелось — вернее, нельзя было. Настроение было такое хандрозное, что непременно напился бы, а этого я боюсь. У меня отец из-за этого пропал, так я уж стараюсь...

— Да, я понимаю, — сказал капитан сочувственно. — А что, у вас в тот день неприятности какие-нибудь были?

— Да нет, ерунда, в сущности. Вернули из редакции

два моих рассказа, а я заранее решил почему-то, что их возьмут. Бывает так, сдуру вобьешь себе что-нибудь в голову, и сам поверишь. Потом, конечно, расстраиваешься. Но это ерунда,— повторил он.— Чего там... Обычное дело.

— А что, с тех пор Векслер не давал о себе знать?

— Да нет, мы не договаривались насчет переписки, так что я и не ждал... привет мне от него передавали, приезжала тут одна...

— И что же она о нем говорила?

— Да о нем самом, собственно, ничего. Она славистка, занимается современной советской литературой, вот он ей и порекомендовал со мной повидаться. Ну, мы встретились, поговорили, она попросила кое-что почитать... из моего.

— И вы дали?

— Да... пару рассказиков.

— Так-так... Вадим Николаевич, вы не припомните — в тот вечер, когда Векслер вас хотел к себе пригласить, вы не говорили ему насчет того, что рассказы ваши не взяли? Вы ведь узнали об этом именно в тот день, да?

— Да, я с базы приехал... как раз пятница была... и нашел письмо из журнала. А потом он позвонил. Насчет того, говорил ли...— Вадим помолчал, делая вид, что припоминает, и быстро прикинул, как лучше ответить; пожалуй, все-таки лучше держаться поближе к правде, а то заврешься так, что и сам не заметишь.— Наверное, сказал. Да, точно — он меня еще, помню, спросил, что это у меня такое настроение, и я сказал, что опять осечка с публикацией.

— А он что же? Просто удовольствовался ответом или подхватил тему, стал как-то ее развивать?

— Нет, ну... я уж точно не помню сейчас, но какой-то разговор был. Насчет Хемингуэя он рассказал...

— Хемингуэя?

— Да, или кого-то другого из западных писателей, современных,— он сам точно не знал — ну, что в молодости тоже все отказы получал из редакций, а потом признали, стали печатать.

— В каком же смысле он вам это рассказал, как вы думаете: чтобы вы не очень огорчились — все, мол, начинают трудно, или в том смысле, что все-таки там пробиться легче?

— Скорее в первом, я думаю. Он сказал потом, правда, что с западными издателями легче иметь дело, потому что они все разные — можно выбрать, кому что

правится. А здесь у нас, мол, от автора всюду требуется одно и то же, поэтому: или — или.

— В смысле — или приспосабливайся к требованиям, или не печатайся?

— Примерно так, да.

— Вам самому, Вадим Николаевич, такая картина представляется верной или искаженной?

Вадим подумал, пожал плечами.

— Я ведь о положении там могу только с чужих слов судить...

— Ну а здесь?

— Здесь? — Вадим опять помолчал. — Я думаю, приблизительно так дело и обстоит. Именно приблизительно, потому что есть, конечно, нюансы, которых со стороны, может, и не видно. Ну, скажем, такая штука, как знакомства. Или известность, знаменитое имя. К тем, конечно, требования другие... Даже не сами требования, а — как бы это выразиться? — варианты их понимания, что ли. Или толкования. Возьмите, например, Катаева с этим его «мовизмом»; ну кому, кроме Катаева, дали бы такое напечатать? Положим, это штука старая, еще римляне говорили: Юпитеру можно, а быку нельзя. На это-то обижаться глупо...

— А на что — не глупо?

— Вы правы, наверное, чувство обиды всегда возникает от наивности какой-то, что ли.

— Я, Вадим Николаевич, этого не утверждаю, — возразил капитан. — Никогда не смотрел на вещи так мрачно, даже в вашем возрасте. Векслер, значит, сказал, что на Западе печататься легче...

— Да, он вообще сказал, в принципе.

— Я понимаю. Скажите, а... при разговоре с ним или вот теперь — с этой его знакомой, что привет привезла, у вас не сложилось впечатления, что вам могут предложить сотрудничество в каких-нибудь тамошних изданиях?

— В смысле — эмигрантских?

— Ну естественно.

— Пожалуй, н-нет, не думаю... Может, я просто не обратил внимания. Сейчас, когда вы спросили — черт его знает, может, он и подводил разговор к этому?.. Ну вот когда говорил насчет издателей, что с ними, мол, там легче иметь дело.

— Возможно, — согласился капитан. — Но никаких конкретных предложений — так вот, прямо, — вам не дали?

— Прямо, конкретных — нет, Борис Васильевич. Я вот о чем спросить вас хотел. По поводу сотрудничества в зарубежных изданиях — это действительно кажется вам преступлением? Всегда и в любом случае? Дело, понимаете, в чем: я вот как-то сам думал — ну хорошо, здесь не печатают, считают, что нашему читателю это не пужно. Хорошо, допустим. И приходит к автору какой-нибудь издатель оттуда, предлагает публикацию, там, говорит, это заинтересует читателей. Если автор соглашается — это что, преступление?

— Ну если это вещь антисоветской, антисоциалистической направленности...

— Нет-нет, вы меня не поняли! Антисоветское что-нибудь — тут все ясно. Но произведение обычное, без всякой политики — вот как с этим? Вы считаете, что напечатать такую вещь на Западе действительно значит нанести ущерб интересам нашей страны?

— Как-то вы, Вадим Николаевич, странно ставите вопрос, — сказал капитан. — Любое произведение может через ВААП быть предложено любому западному издательству и напечатано где угодно...

— Да я о неопубликованном говорю!

— Я понял. Любое, в том числе неопубликованное. Насколько я знаю, причины отказа в публикации могут быть две: это либо художественная несостоятельность, либо ошибочность политическая. Как в том, так и в другом случаях публикация такого произведения на Западе не делает чести нашей литературе. Следовательно, она нежелательна. Ладно, Вадим Николаевич, не буду отнимать у вас время. Давайте я вам пропуск отмечу. И вот еще что — это уж, считайте, частная просьба: нельзя ли почитать что-нибудь ваше? Хотя бы те рассказы, что в последний раз вернули из журнала. Ну или другие какие, это уж на ваше усмотрение.

— Да пожалуйста, почему же нет... Я бы и с собой мог захватить, если бы вы по телефону сказали.

— Мне это сейчас только в голову пришло.

— Могу запести завтра, только опять пропуск придется...

— Зачем вам беспокоиться? Один наш товарищ живет неподалеку от вас — попрошу его забежать. Я не задержу долго, сразу вам позвоню, как прочитаю.

— Пожалуйста, — повторил Вадим.

Вот так штука, думал он по дороге домой, какой вдруг интерес к моему творчеству, надо же. Рвут, можно сказать, со всех сторон. И оттуда, и отсюда...

Дома, перекладывая пыльные папки, он вдруг увидел так и оставшийся неразвернутым рулон, полученный тогда от Карен. А чего тут выбирать, решил он, вот эти и дам. «Чокнутую» спрячу, а те два пусть читают. Кстати, потом спрошу: усмотрел ли он там клевету на Советскую Армию? Чушь, конечно, это тому дураку могло такое померещиться... Вот и спросим тогда уважаемого Бориса Васильевича, объективна ли такая оценка...

Так он и сделал: «Чокнутую» спрятал в стол, а два других рассказа — «Подари мне собаку» и «Солдатушки, бравы ребятúшки» — вложил в крупноформатный конверт, заклеил и надписал фломастером: «Тов. Ермолаеву Б. В.»

Глава 12

— Что ж, это интересно, — одобрительно сказал ведущий сектором, закончив чтение. — Не шедевр, но... неплохо, совсем неплохо. Это должно произвести впечатление. Причем, я думаю, не столько даже на русскоязычного читателя, поэтому надо будет сразу перевести. Иллюстрация к вопросу свободы творчества? Точнее — неизбежная нивелировка, прокрустово ложе социалистического искусства: руби все, что выступает за рамки официально дозволенного. Насколько это отличается от исходного материала?

— Совсем немного, — сказал Векслер. — Пришлось лишь слегка подредактировать, усиливая отдельные моменты.

— Bravo, молодец этот ваш... Егор Телегин. Псевдоним он сам предложил?

— Нет, наши подобрали. По-моему, удачно — хорошо запоминается, отдает этаким кондово-русским и к тому же имеет литературное звучание.

Шеф поднял брови, глянул вопросительно.

— Это фамилия героя одного из самых известных романов Алексея Толстого, — поспешил объяснить Векслер. — Вещь очень популярна в России, широко издается, неоднократно была экранизирована. Итак, у вас нет возражений, чтобы включить это в программу наших «Литературных чтений»?

— Помилуйте, Алекс, какие могут быть возражения. Прекрасная вещь, ее надо в эфир, и безотлагательно. Пусть господин Телегин убедится, что мы словца ветер не бросаем, и приготовится к долгому сотрудничеству.

ству... Долгому и плодотворному. Я только одного боюсь...

— Да?

— Судя по вашей докладной, это человек довольно замкнутый, избегающий общества, и вообще несколько... затворнического, что ли, типа. Я правильно понял его характеристику?

— В основном, да.

— Прекрасно. Впрочем, именно прекрасного-то здесь ничего и нет. Он молод, большим жизненным опытом не обладает, следовательно, и запас наблюдений у него невелик; ну что там — армия, учеба, недолгий брак, вот, собственно, и все. Работы, вы говорите, он себе выбирает такие, где многого не увидишь. Короче говоря, не так уж хорошо должен он знать жизнь, вы согласны?

— Не знаю, этого я утверждать не стал бы. Можно очень неплохо знать жизнь, будучи по натуре совершеннейшим затворником...

— Да, если тебя зовут Оноре де Бальзак. Я не убежден, что Егор Телегин наделен таким же талантом, поэтому будем исходить из того, что скоро перед ним может стать проблема нехватки материала. Он, разумеется, может начать его собирать — так сказать, целенаправленно, имея в виду прежде всего интересы... заказчика, грубо говоря. Но тогда, Алекс, ему придется определить свою позицию, которая сейчас — опять-таки судя по вашей докладной — довольно расплывчата. Именно в силу этой расплывчатости он совершенно нетенденциозен. Он еще не ангажирован — понимаете, Алекс, что меня тревожит?

— Повода для тревоги я, честно говоря, здесь не вижу. Он аполитичен пока, вы совершенно правы, но ведь это от нас зависит — заангажировать его, заставить сделать выбор. Я думаю, он его сделает. Точнее, его заставят это сделать обстоятельства. У меня даже возник один план, я думал изложить его позже, но поскольку зашла речь...

— Прекрасно, давайте обсудим ваш план.

— Карен, как вы знаете, привезла от Кротова две пленки — вот это, — он кивнул на листы фотокопий, аккуратно стопочкой сложенные перед шефом, — и еще два рассказа из числа побывавших в редакциях.

— Да, я знаю. Те я читать не стал, мы все равно не можем их использовать.

— Вы уверены, что не сможем?

— Но вы же говорите, они засвечены!

— Да, и именно на этом строится мой план. Запустим «Чокнутую», можно с двумя-тремя повторениями, потом дадим заметку нашего литературного обозревателя, сообщим о предстоящей публикации в журнале — словом, сделаем автору рекламу. Как можно громче, понимаете? А потом...

Векслер встал и, держа руки в карманах, прошелся по серому ковру, постоял перед громадным — от пола до потолка — окном, стукнул перстнем по толстому, как броневая плита, зеркальному стеклу. Заведующий сектором с интересом наблюдал за ним, вспоминая, как робко держался он в этом самом кабинете всего год назад. Многообещающий молодой человек, ничего не скажешь...

— А потом, — продолжал Векслер, — когда словосочетание «Егор Телегин» станет для наших слушателей привычным, мы дадим в эфир новый его рассказ — еще один. Из тех, что привезла Карен.

— Но ведь, — шеф поднял брови, — вы сказали, что она там известна.

— Да, известны.

— Вы что же, хотите сами засветить своего протеже?

— Совершенно верно. Сейчас я вам все объясню! Там есть юмористический рассказ из армейской жизни — о повобранцах, как их начинают муштровывать, тема, в общем-то, довольно избитая. Я прикинул — если эту вещь отретушировать, получится потрясающая сатира. Там, например, есть такой старшина — ну типичный служака-сверхсрочник, простой, грубоватый, а в роте у него этикие современные мальчишки, некоторые из интеллигентных семей, — отсюда всякие смешные ситуации. Всему этому можно придать совсем другой оттенок, и тогда...

— Я понял вас, Алекс. Как юмор переделывается в сатиру, можете не объяснять. Объясните другое — зачем вам понадобилось подставлять под удар самого автора? Вы же понимаете, что публикация такого рассказа ему даром не пройдет.

— Вот именно! — Векслер вернулся к столу, сел и положил ладони на полированную поверхность. — Как только выяснится, кто такой «Егор Телегин», моего Кротова начнут тягать. Что ему в этом случае грозит — точно не представляю, надо будет выяснить у юристов: но неприятности у него будут. Вот это и заставит его рано или поздно сделать выбор.

— Так. — Заведующий помолчал, побарабанил паль-

дами по столу.— Резон в этом есть, согласен. Но почему вы уверены, что выбор окажется в нашу пользу? Вы ведь предаете человека, который вам доверился; как мы будем после этого выглядеть — в его глазах?

— Это меня совершенно не интересует! Пусть считает нас подонками из подонков, это неважно; важно единственное — после того, что с ним произойдет, он станет противником режима. Чего сейчас, поймите, о нем сказать нельзя! Кстати, этого нельзя сказать и о большинстве так называемых «диссидентов»; идейных противников социализма среди них не так много, большинство конфликтует с властью из-за каких-то мелких обид. Надо, чтобы этих обид было как можно больше. Для нас самое нежелательное — это если в России состоится наконец диалог между правительством и критически настроенной интеллигенцией, и поэтому мы должны вбивать клинья, где только можем. Хотите, я с вами поделюсь одним своим наблюдением, может быть, самым ценным из тех, что я собрал в Советском Союзе?

— Алекс,— ласково сказал заведующий,— вы не работали бы в моем секторе, если бы не делились со мной всеми своими наблюдениями. А степень ценности я уж как-нибудь определю сам.

— Так вот! Мы здесь все время кричим: коммунистический режим давит на искусство, не дает ему свободно развиваться. Но есть странная закономерность: советские периферийные издания всегда осторожнее столичных, а в Москве свободно идут пьесы, недоступные зрителям в провинции. Почему у них там происходит постоянный отток культурных сил в столицу? Да просто потому, что в Москве легче дышать. Да-да, как ни странно!

— Странного тут ничего нет,— возразил шеф,— провинция всегда более консервативна, это можно наблюдать не только в России. У нас тоже настоятель захолустного прихода нередко старается быть святее самого папы, так и у них на местах с утроенным рвением блюдут принципы культурной политики, провозглашенные центром.

— Да, но они же фактически подрывают ее, доводя эти принципы до абсурда! Позволю себе пример из прошлого: после фестиваля в пятьдесят седьмом году, когда в Москву впервые проникла западная молодежная мода, одна из центральных газет осудила повальное увлечение этой модой. И что же вы думаете? В провинции немедленно началась свирепая кампания против узких

брюк, солнцезащитных очков и прочих «атрибутов капитализма»...

— Кому вы это рассказываете! — Шеф оживился, на его пергаментном лице возникло подобие улыбки. — Отлично помню, я тогда работал там и видел все это своими глазами. Также были под запретом длинные волосы у молодых людей, идейному комсомольцу полагалось стричься коротко. Но брюки — о, брюки вызывали особую ярость! По Москве ходила тогда великолепная история об одном крупном физике из Дубны — молодом, они ведь рано становятся крупными, — который имел неосторожность отправиться в Сочи в узких брюках; там его немедленно изловил комсомольский патруль, ему сделали внушение, а брюки распорили по шву, это был обычный метод воздействия на идейно заблуждающихся. Этот парень тут же, не переодевшись, вернулся в аэропорт, улетел обратно в Москву и как был — в этих своих распоротых брюках — явился в Центральный Комитет комсомола, где устроил страшный скандал. Будучи доктором наук и прочее, он мог себе это позволить, вы же понимаете. После этого случая, говорят, охота на «стиляг» была запрещена, но они долго еще оставались как бы гражданами второго сорта. Впрочем, простите, я вас прервал.

— Нет-нет, ваши воспоминания как раз иллюстрируют мою мысль о местных «перегибах» — в Москве посоветовали не увлекаться, а в Сочи тут же кинулись рвать на людях штаны. Но это ладно, это из области юмора, а ведь в других случаях дело обстоит серьезно. Для Кремля это уже большая опасность.

— Полгода назад, помнится, вы были убеждены в прочности положения кремлевских лидеров...

— В другом плане! Я говорил, что они прочно сидят в седле, поскольку народ — основная масса народа — их поддерживает, несмотря ни на что. В этом смысле я действительно убежден, советской системе ничто не грозит. Снаружи она неуязвима. Мы можем — и должны! — играть только на внутренних ее слабостях.

— Вы далеко пойдете, Алекс, — задумчиво сказал шеф. — У вас есть одно весьма ценное качество... Точнее, два, но сейчас я хочу сказать об одном: вы умеете мыслить широко и перспективно.

— Благодарю, но моей заслуги тут нет, этому я учился у вас.

— Ну-ну, не надо скромничать, мало ли кто у меня учился... Как говорят русские, «дурака учить — что ржа-

вое железо точить». Значит, считаете, что в области культурной политики...

— В области культурной политики перегибы особенно опасны — для Советов. И особенно полезны — для нас, потому что от монолита отслаивается значительный пласт — пласт творческой интеллигенции.

— Не увлекайтесь, Алекс! Вас послушать, так нам больше и делать нечего — все совершается без нашего участия, уже и интеллигенция откололась от режима...

— Простите, «откололась» я не сказал, — возразил Векслер. — Она отслоена, но придется еще порядочно поработать клиньями, чтобы трещина превратилась в разлом. Я только говорю, что это рано или поздно произойдет... А наше участие может сводиться лишь к некоторой коррекции естественного хода вещей. Нам даже клинья забивать не надо, с этим делом вполне справляются тамошние чиновники от культуры — ведь это они представляют режим в глазах каждого отдельного писателя или художника, а более убийственного эффекта никаким нашим пропагандистам не добиться.

— Ну что ж... как говорят русские, «вашиими бы устами да мед пить». Рад был побеседовать, Алекс, и хочу пожелать вам успехов на новом месте.

— Благодарю вас.

— Это, знаете, большое достижение — получить такой пост в вашем возрасте. Рады?

— Не знаю... Естественно, я ценю доверие, надеюсь его оправдать и все такое. Но мне будет недоставать оперативной работы.

— А ваша работа и останется оперативной — только на другом уровне и в других масштабах. Поверьте, тот, кто планирует операцию, вкладывает в нее не меньше, чем исполнитель.

— Я это понимаю, но... Все равно жаль.

— Что делать, мой дорогой. В Россию вам теперь путь заказан, так что придется посидеть за письменным столом. Мне первое время тоже было непривычно. Хотя мы работали в более трудных условиях.

— Вы так думаете? А почему, интересно? Вы считаете, советская служба безопасности теперь менее эффективна?

— Нет, этого я не думаю. Напротив, они все время оттачивают свою методику, но ведь и мы, согласитесь, не стоим на месте. Мы тоже чему-то учимся, а? Техника, приемы — все это теперь стало более совершенным. Вы вот, скажем, съездили в Ленинград, практически ни-

чем не рискуя; съездили, успешно выполнили задание — и ушли без помех. Хотя я убежден, что за вами следили.

— Пожалуй, — задумчиво согласился Векслер. — Карен, кстати, тоже уверяет, что за ней наблюдали. Разрешите задать вопрос?

— Задавайте. Если смогу, отвечу.

— Вы сказали, что у меня есть два ценных качества, но назвали только одно. Могу я узнать второе?

— Безжалостность, Алекс.

Векслер подумал, пожал плечами:

— Не знаю... никогда не анализировал себя в этом плане. Для нас, мне думается, термин «жалость» лишен смысла.

— Вероятно. Итак, желаю успехов...

Выходя из кабинета, Векслер усмехнулся — старик, видно, и в самом деле отработал свое. Надо же, заговорил о жалости!

Получасом позже его серебристый «сааб», вжимаясь в бетон и утробно подвывая турбокомпрессором, мчался по забитой машинами автостраде в сторону побережья. Кондиционер был неисправен, пришлось опустить стекло; горячий угарный ветер хлестал в салон, не принося свежести. Над дорогой, точно по линейке прорезавшей плоскую, изнывающую под июльским зноем равнину, висел смог, сгущаясь впереди в плотную сизую дымку, от гула сотен моторов ломило голову. Векслер пальцем оттянул узел галстука, расстегнул верхнюю пуговку сорочки и подвигал шей, высвобождаясь из воротничка. Ему вдруг вспомнился дачный поселок под Ленинградом — тишина, запах снега, равномерное шорханье лыж по чуть подтаявшей и снова прихваченной морозцем лыжне.

Кротов, да. А чего, собственно, его «жалеть»? Слово само по себе дурацкое, особенно в данном контексте; но дело даже не в этом. Что такого уж страшного с ним случилось? Должен был бы благодарить, что вырвался из рутины... Тоже мне, жизнь — сидеть в норе. Так, может, хоть новыми сюжетцами обогатится.

Он думал теперь о нем совершенно равнодушно, как о незнакомце, случайно оказавшемся рядом в городском транспорте. Да, собственно, так ведь оно и было — случай их свел, случай сделал Кротова подходящей кандидатурой, а мог на его месте оказаться и совсем другой — совсем другая пешка. Это ведь как в шахматах: двигаешь по доске эту или другую — дело не в самой пешке,

а в ее координатах. Замысел игрока плюс случай, подсунивший ему именно эту фигурку. При чем тут жалость? Векслер не глядя протянул руку, нажал клавишу магнитофона на приборной доске — лишь бы заглушить гул моторов, от которого лопается голова, и включил сигнал левого поворота, готовясь сманеврировать в крайний ряд.

Глава 13

Лето в этом году выдалось не по-ленинградски жарким; даже по ночам в «пенале» было душно, не работало, и в середине июля Вадим уложил рюкзак и отправился путешествовать привычным способом — на попутках. Подбрасывали его обычно на короткие расстояния, от одного райцентра до другого, но он и не спешил, торопиться было некуда. Если удастся, доедет до Одессы или Николаева и обратно. Хорошо бы, конечно, покойфовать недельку на берегах Понта, но берега эти с каждым годом все менее и менее гостеприимны — спать где-нибудь на пляже строжайше воспрещено, заметут в два счета, а что остается: платить трояк в сутки за койку в курятнике? Спасибо, это уж пусть подпольные миллионеры так отдыхают.

Никуда не торопясь и не строя никаких далеко идущих планов, он добрался до Черниговщины, и вдруг так пленили его тамошние «широкошумные дубравы», что он решил дальше не ехать. Ему и раньше нравились эти места, он не раз проезжал ими в своих странствиях, но нравились без особого восторга, без желания задержаться, пожить. А сейчас такое желание появилось.

С очередной попутки он сошел на шоссе Гомель — Чернигов, возле знака, указывающего проселочную дорогу; толстая вертикальная линия в треугольнике пересекалась тонкой горизонтальной. Пошел направо — просто потому, что было утро, солнце просверкивало сквозь кроны слева от шоссе, и пойдя он в ту сторону — слепило бы глаза, а Вадим этого не любил, глаза у него и без того часто болели и воспалялись. А так оно грело в спину, осыпая шевелящимися пятнами света узкую лесную дорогу впереди и просвечивая чашу дымными косыми лучами, — ночью прошел дождь, и сейчас земля просыхала, курясь легким туманом. Пели птицы, и идти было легко.

Вадим подумал вдруг, что вот странно — считает себя писателем, а природы не знает совершенно, не умеет

определить ни птицу по голосу, ни дерево — по форме листьев или фактуре коры. Ну кроме самых уж известных — березу там, дуб, клен. Конечно, он горожанин, писать о деревне не покушается, но все же... Хорошо бы пожить здесь подольше, подумал Вадим, до самой осени, если удастся найти пристанище. Пристроиться бы к какой-нибудь одинокой бабуся, чтобы кормила, а он бы ей всю мужицкую работу делал — вскопать что надо, починить, дров на зиму напилить да наколоть. А городская жизнь успеет еще в Питере осточертеть.

Уже после полудня, отшагав не менее трех часов, Вадим добрался до деревеньки, где искомая бабуся нашлась в первой же хате, куда он постучался попросить воды. Маленькая, ему по плечо, с ласковыми глазами на сморщенном личике, бабуся угостила его ледяным молоком из погреба, рассказала о своих сынах, вышедших «в люди» (один в Москве, другой в Витебске), и, узнав о планах гостя, сразу предложила и кров и стол. Сыны-то у нее хорошие, объяснила она, грех жаловаться, и деньгами нет-нет да и помогут, и к себе жить звали — внуков нянчить; но сюда давно уж не наведывались, да и когда им — оба ходят в начальниках. Так что по хозяйству всегда есть чем заняться, и не только у нее, тут, почитай, по всей деревне одни жинки остались — старики вымирают, а хлопцев после армии маковой коврижкой домой не заманишь...

У бабуся Вадим прожил неделю. Починил крышу колодца, привел в порядок сколоченные из жердин ворота, выкорчевал и распилил на дрова две старые, переставшие уже плодоносить яблони; работал много, и все равно ходил отяжелевший от непривычно сытной домашней еды — борщей, вареников, каких-то особенно вкусных картофельных оладушек. По вечерам Катерила Гнатовна рассказывала ему разные бывальщины полувековой или сорокалетней давности — иные настолько интересные, что Вадим потом даже записывал кое-что для памяти. Места эти в войну были партизанскими, так что жители навидались всякого; впрочем, записи — или конспекты — он делал просто для очистки совести, чтобы потом не пожалеть: вот, мол, такой был материал... Материал и впрямь был богатейший, главное — что из первых рук, но использовать его Вадим все равно не собирался: война и предвоенное десятилетие были для него запретными темами, которые он дал себе зарок обходить. Сам до конца не понимая почему.

Разделяемое многими непишущими мнение, что пи-

сать позволительно только о лично увиденном, он всегда считал вздорным: наполовину обеднела бы мировая литература, следуй она этому нелепому правилу. Пушкин, что ли, видел Белогорскую крепость в день ее взятия Пугачевым? Вздор, конечно. «Видеть» можно не только глазами.

Другое дело, что этим даром «внутреннего зрения» обладают немногие. И если его нет, тогда, конечно, пиши только об окружающей тебя реальности — так будет вернее. Вадим не знал, осчастливлен ли этим даром. Иногда казалось — да, осчастливлен, может видеть и видит. В заветной папочке в самом дальнем ящичке стола лежал у него написанный года три назад рассказец, когo действие происходило в 1716 году, а героем был не кто иной, как царевич Алексей — фигура, как ему казалось, одна из самых противоречивых и загадочных в обильной загадками и противоречиями российской истории. Рассказ этот он не показывал никому, даже абстракционисту Димке Климову, который вообще-то был тонким ценителем; а показать иногда хотелось, — ему самому сей исторический опус казался удачным, но всегда ли можно доверять авторской самооценке? Дать почитать следовало бы именно для проверки наличия «внутреннего зрения», и именно поэтому было боязно это сделать. Тот же Димка мог сказать: извини, мол, за прямоту, старик, но эпоху ты не видишь, не чувствуешь, а может, не умеешь дать почувствовать читателю, поэтому кончай это дело и пиши лучше о зримом и осязаемом... Скажи Димка так, он бы ему поверил, согласился без спора, но разочаровываться в себе не хотелось.

И вот странно — забраться в такую даль, в начало XVIII века, он не поколебался; а история самая новейшая, недавняя, вторая четверть века XX, отпугивала. Не только его, впрочем; молодые вообще о войне не пишут — за редчайшим исключением. Но причины, наверное, у всех свои, разные. От иных Вадиму приходилось слышать и откровенное «неинтересно», эти считали, что о войне давно уже написано все, что можно было написать, до каких же пор можно эксплуатировать тему...

Сам он вовсе не считал, что о Великой Отечественной войне «написано все»; напротив, ему все время думалось, что главное-то как раз все еще не сказано, все еще ждет, чтобы кто-то наконец сказал. А многие романы о войне действительно уже начинали повторять друг друга, уже не открывалось читателю ничего нового: и мальчики-лейтенанты, командиры огневых взводов, че-

рез месяц после училища уже стреляющие по «тиграм» прямой наводкой, и непременные девочки-санструкторши, и горькая фронтовая любовь, и подвиги, и смерть — все это была святая правда, но ведь обо всем этом уже писалось и раньше, писалось не просто очевидцами — участниками, и писалось многожды. Конечно, чтобы сказать наконец главное, еще не сказанное, для этого надо обладать или личным опытом участника и очевидца, или каким-то совершенно уж — до гениальности — безошибочным «внутренним зрением», способным разглядеть не увиденное другими. Иногда, позволив себе раз мечтаться, Вадим думал, что — чем черт не шутит? — вдруг и ему удастся когда-нибудь дорасти до того уровня постижения жизни, когда и военная тема перестанет быть запретной...

Может быть, поэтому и конспектировал он сейчас рассказы приютившей его бабуси. Понимать ее было не просто, Катерина Гнатовна говорила на причудливом русско-украинском диалекте с обилием белорусских слов, но это ему в общем не мешало; некоторые особенно красочные обороты Вадим даже выписывал отдельно.

Иногда заходили соседки, дополняли хозяйкины воспоминания своими. Вадим исчиркал половину толстой общей тетради, подумывал уже о том, чтобы задержаться здесь, собрать побольше материала для рассказа — не о войне, конечно, а о таких вот пощаженных ею старых жепщинах, доживающих век в тихом лесном краю каждая наедине со своей горькой памятью.

Перед сном Вадим обычно слушал радио — укладываясь в Ленинграде перед отъездом, вспомнил вдруг о подарке Векслера и сунул приемник в один из карманов рюкзака вместе с механической бритвой. Теперь «Филипс» пригодился: все-таки хоть какая-то связь с миром. Он обычно прослушивал последние известия, хотя и без особого интереса, потом находил какую-нибудь музыку. Аппаратик, даром что малогабаритный, принимал и в самом деле «как зверь» (здесь, правда, и помех никаких не было). Иногда натыкался на тот или другой «голос оттуда», но тоже ничего интересного услышать не доводилось до поры до времени.

И вдруг довелось. В этот вечер он послушал какую-то классику, а потом — концерт закончился, и он собрался уже спать — вместо того, чтобы выключить приемничек, машинально крутнул колесики настройки и услышал слова: «Солдатúшки, бравы ребятúшки», произнесенные по-русски с едва уловимым акцентом.

Позже он и сам не мог понять, почему испугался так, сразу. Мало ли в какой связи могли быть упомянуты слова старой солдатской песни? Но он почему-то сразу понял, что речь идет о его рассказе, о нем самом, — и так испугался, что вскочил на своем сенике и приглушил приемник, как будто кто-то еще мог это услышать. Но услышать не мог никто, потому что, спасаясь от комарья, спал он на «горище» — попросту говоря, на чердаке, а приемник, экономя питание, включал на малую громкость.

Мгновенно сообразив все это (и устыдившись своего испуга), Вадим поднес аппарат к уху, чуть усилил звук и снова отчетливо услышал женский голос с акцентом:

— ...хорошо известно нашим слушателям по повести «Чокнутая», которую мы также передавали в программе наших литературных чтений. Трагедия талантливой художницы, задыхающейся в тисках советского идеологизированного искусства, раскрыта Егором Телегиным с огромной убедительностью, свидетельствующей о большом таланте и превосходном знании материала. Мы рады сообщить, что повесть «Чокнутая» будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала «Материк».

А сейчас хотелось бы продолжить разговор о новом рассказе Егора Телегина, с которым вы только что познакомились. В нашей студии находится член редакционной коллегии журнала критик Марк Градский. Марк Борисович! Что вы можете сказать о рассказе и вообще об авторе?

Женский голос сменился мужским, говорившим совершенно без акцента, неторопливо, уверенно, с барским этаким эканьем и растягиваньем слов.

— Ну-у, э-э-э, вероятно, следует начать все же с автора. Я думаю, что Телегина можно смело назвать... э-э-э... одним из интереснейших советских писателей нового поколения. Это было видно уже по первой его повести, принятой нашим журналом. Да-да, вот этой, что вы назвали, — о художнице. Понимаете, Телегин не просто выделяет явление, он вскрывает его корни, анализирует, так сказать, его генезис. То, что художник, как творческая личность, не может не быть в постоянной конфронтации с обществом, это... э-э-э... аксиома, не правда ли? С любым обществом! Телегин убедительно показывает, что в обществе социалистическом, в условиях тотальной идеологизации искусства, этот изначальный конфликт неизбежно усугубляется, вырастая до трагических размеров... Теперь о втором рассказе, который мы

только что прослушали. Он, конечно, проще, менее... э-э-э... масштабен, что ли. Но не будем торопиться с суждениями! О чем этот рассказ? Да вроде бы ни о чем: казарма, отупляющий армейский быт, муштра — все, казалось бы, уже много раз читанное. И у Куприна, и у Нормана Мэйлера, и у многих других. Но! Армия, так живо описанная Телегиным в рассказе «Солдатúшки, бравы ребятушки», это не старая царская армия, не американская морская пехота времен второй мировой войны; это сегодняшняя Советская Армия, армия начала восьмидесятых, и вот в этом плане появление такого рассказа у молодого советского писателя представляется мне явлением глубоко симптоматичным, явлением, которое... э-э-э... трудно переоценить. Возьмите хотя бы образ того же старшины Загоруйко — тупого нерассуждающего служаки...

Вадим слушал все это, не веря своим ушам; ему действительно захотелось вдруг ущипнуть себя, убедиться, что не спит.

— Ну паразиты! — произнес он негромко, с таким угрожающим выражением, словно собирался закончить фразу чем-нибудь вроде: «Ну, доберусь я до вас, ох и доберусь!»

Хотя до кого он мог «добраться» — до Марка Градского? До Карен? До Сашки Векслера? Они были теперь неуязвимы, а вот он... «Егор Телегин», идиоты! Он же сказал этой дуре, что «Солдатúшки» побывали в редакциях! Мало того — тут он застонал и взялся за голову — этот рассказ до сих пор лежит на Литейном у Бориса Васильевича! С одной стороны, это и хорошо: прослушав такую передачу, они просто перечитают рукопись и убедятся, что там все совсем не так... Да, но как доказать теперь, что не имелось двух вариантов? И что он вообще не давал этой стерве разрешения везти это туда!

...А может, она-то поняла так, что он разрешил? Поймай, поймай... Чем же, собственно, кончился тогда их разговор? Она уговаривала — ну не уговаривала, советовала — напечатать за бугром, чего, дескать, хорошей вещи лежать без толку. Если тут все равно не опубликуют... Ему бы в ответ сразу послать ее подальше, и чао; он же стал, помнится, что-то мямлить: не знаю, мол, вроде это не принято, у нас так не делается — словом, развел бодягу, не мычал, как говорится, не телился. А почему? Да в том-то и дело, что и страшновато было, и хотелось, — все-таки польстила мыслишка о европейской известности, что уж греха таить. И когда она, про-

щаясь, дала телефон — «позвоните, если надумаете», — он ведь не сказал прямо и четко, что, нет, думать не будет и звонить не станет, а опять-таки пробормотал нечто невразумительное — даже и не вспомнить теперь, что именно. Наверное, что-нибудь вроде: «Ладно, подумаю...»

Вот эту-то его нерешительность Карен и истолковала как внутреннее согласие, которое он только не отважился высказать вслух. Она ведь наверняка не дура, — дуры такими делами не занимаются, вот и расшифровала его сразу и до конца. Разобралась в нем лучше, чем разобрался он сам.

...Ну хорошо, это — ладно, с «Чокнутой» все более-менее ясно, сам, дурак, напросился; но «Солдатушки»-то, бравы ребята́шки, они как тут оказались? Ведь говорил же, и ей говорил, и Векслеру этому, сукину сыну, что рассказ ходил по редакциям! Что они, совсем там ополумели? На черта тогда эта комедия с «Егором Телегиным», прямо бы так и дали, открытым текстом, Кротов, мол, написал, Вадим Николаевич, проживающий по такому-то адресу... Ах, паразиты безмозглые!

А теперь, что ж, теперь надо ехать с повинной. Пожил, называется, на лоне природы... Вот так всегда — только настроишься на что-то, обязательно влезет какое-нибудь сволочное непредвиденное обстоятельство. Да, но уж настолько сволочного еще не было!

Или нешто плюнуть, сделать вид, будто ничего не знает, ничего не слыхал? А что, мог же он не слушать сегодня радио — не включил бы, так и не знал бы ничего. В самом деле, зачем пороть горячку, срыватьсь? К осени приедет в Питер, тогда пусть Борис Васильевич сам и вызывает, если захочет. Он-то что? Его совесть чиста, это все они, провокаторы паразитские, вот уж истинно: отравители эфира, микрофонные гангстеры...

Но все это, конечно, Вадим так просто себе говорил, для понту. На самом деле он понимал, что возвращаться домой надо сейчас же, немедленно. Чем бы там вся эта история для него не обернулась.

Глава 14

Передачу «Литературной страницы» с выступлением критика Марка Градского слушал и капитан Ермолаев. Слушал он ее со смешанным чувством досады и облег-

чения: загадочный визит Векслера в конечном счете обернулся довольно примитивной провокацией, шитой белыми нитками; но что Кротов перед этой провокацией все-таки не устоял, было досадно. Борис Васильевич винил в первую очередь самого себя — наверное, не так как-то разговаривал, не сумел внушить доверие. Но, с другой стороны, что значит: «не так разговаривал», «не сумел внушить»? Это подростки бывают трудновоспитуемые, к которым не знаешь, на какой еще козе подъехать, чтобы к тебе прислушались, поняли, поверили. А тут ведь взрослый, черт побери, умственно полноценный «сапиенс», да и предупреждали же его открытым текстом, без намеков и недомолвок, стоило лишь открыть глаза...

Так ведь не захотел, поддался, клюнул-таки на их приманку! С «Солдатúшками»-то он влип помимо своей воли, это понятно: неужто дал бы мне читать этот рассказ, собираясь опубликовать его на Западе? Но в передаче шла речь и о какой-то другой его повести, о ней Кротов вообще не упоминал — потому, наверное, что уже отдал туда. Не ждал, видно, что так заложат его с этим рассказом.

Интересно, что он теперь скажет по поводу своих культурных связей с заграпидей. Ермолаеву очень хотелось позвонить как ни в чем не бывало, поинтересоваться творческими планами, а заодно и спросить: намерен ли теперь автор пользоваться таким благозвучным псевдонимом и в наших редакциях? Но звонить не стал, будучи уверен, что «Егор Телегин» в скором времени объявится сам.

И тот действительно объявился. Позвонил однажды утром, стал бормотать насчет того, что вот был в отъезде, перед отъездом звонил и не застал — хотел свои рассказы забрать, а теперь возникло в связи с этим одно нелепейшее обстоятельство, наверное, надо бы поговорить...

— Ну приходите, поговорим,— сказал Ермолаев суровым голосом.— Послезавтра вас устроит?

— Устроит, конечно! А... раньше нельзя?

— Раньше не получится. Послезавтра в четырнадцать, пропуск я закажу, паспорт только взять не забудьте...

Он мог принять Кротова и сегодня, но нарочно решил выдержать его лишние двое суток — пусть поразмыслит на досуге, ему не повредит...

Через два дня, ровно в четырнадцать ноль-ноль, Кротов вошел в кабинет с таким унылым видом, что капи-

тан невольно глянул на его потрепанный ученический портфельчик искусственной кожи — уж не сухари ли со сменой белья принес с собой?

— А-а, Вадим Николаевич,— приветствовал он его радушным тоном,— рад вас видеть, присаживайтесь. Как отдохнули?

— Спасибо.— Кротов бросил портфельчик на диван, сел.— А отдохнуть мне не удалось. Какой там отдых... У меня неприятности колоссальные, Борис Васильевич, вы даже представить себе не можете...

— Ну попытаюсь, если расскажете.

— Так я для этого и пришел... Понимаете, я тут недавно включаю радио — в деревне это было, маленькая такая деревенька где-то под Черниговом, я там пожить хотел,— так вот, включаю и вдруг попадается мне какая-то станция из этих... ну типа «Свободы» или «Немецкой волны» — я так и не понял, потому что на середине передачи включился. А передача обо мне, понимаете, то есть не вся, может, передача, но когда я включился, то разговор шел обо мне — вернее, о моих вещах, об этом вот рассказе, что я вам тогда передал, ну «Солдатúшки», вы помните, и еще об одной повести, они ее, оказываются, уже раньше по радио читали...

— Так-так,— заинтересованно сказал Ермолаев.

— Ну вот, а автором называют некоего Егора Телегина. Ну псевдоним, понимаете...

— Телегин? Вроде бы слышал. Восходящая, говорят, звезда на литературном небосклоне — там, у них. Позвольте... вы сейчас сказали — «Солдатúшки», это разве не ваш рассказ?

— В том-то и дело, что мой...

— Так выходит, вы и есть — Егор Телегин?

Кротов с убитым видом подтвердил и это, добавив, что сам впервые услышал о своем псевдониме.

— Что же это они,— посочувствовал капитан,— выходит, с вами даже не посоветовались? Да, вы про повесть что-то начали...

— Повесть мою они тоже передавали, о художнице. Я, правда, не слышал, но понял из передачи, что ее тоже читали по радио.

— Вы говорите «повесть тоже». А что еще?

— Да вот «Солдатúшки» эти самые! Но в каком виде? Они же с рассказом черт-те что сделали — то есть сам я не слышал чтения, оно уже кончилось, но после выступал один тип из «Материка»... Кстати, они у себя «Чокнутую» — ну повесть вот эту, героиня там худож-

ница, авангардистка, из непризнанных, — так они ее напечатать собираются...

— Да-а? Ну что ж, поздравляю, в одно прекрасное утро вы проснетесь знаменитым. Еще и гонорары станете получать в свободно конвертируемой валюте.

— Вам смешно! — с упреком сказал Кротов.

— Да нет, Вадим Николаевич, — возразил Ермолаев, — не смешно мне, совсем не смешно. Вам не кажется, что вся эта история плохо выглядит? И смеяться тут причин нету... Мало того, что вы, заверяя меня в обратном, все-таки договорились с этими господами о публикации ваших работ там, за кордоном...

— Не договаривался я, это все совершенно непонятно как получилось!

— ...более того, — продолжал капитан, — я ведь к вам тогда как к серьезному, думающему человеку приходил, с очень доверительным разговором. И если хотите, с предупреждением! Я вас открытым текстом предупредил: учтите, Вадим Николаевич, Векслер этот, возможно, наш враг, неизвестно, какие у него задумки, поэтому будьте с ним осторожны. Так ведь не захотели вы прислушаться, восприняли небось как вмешательство в вашу личную жизнь — стоило, дескать, познакомиться с иностранцем, как уж тебя начинают выспрашивать, интересоваться, предупреждать...

— Да что вы, Борис Васильевич, и в мыслях не было!

— Но выводов, однако, из нашего разговора вы для себя не сделали?

— Почему... Я к Векслеру после этого стал особо внимательно присматриваться, мне и самому интересно стало — шпион или не шпион. Смотрел, смотрел — нет вроде ничего такого... Это уж потом, когда вдруг Карен эта объявилась и снова начала насчет публикации за рубежом...

— Снова? — переспросил Ермолаев. — Вы, помнится, говорили, что Векслер с вами эту тему не затрагивал. Или все-таки был такой разговор?

— Был, да, в последнюю нашу встречу — перед его отъездом. Но он так как-то, между прочим об этом упомянул... Ну, что есть, мол, такая возможность, если я захочу. Но настойчивости он не проявлял. Я тоже не проявил заинтересованности...

— Не проявили или не почувствовали?

— Да в общем и не почувствовал, наверное, по-настоящему... Ну а когда Карен об этом же заговорила, вот тут уже стало выглядеть настойчивостью такой, по-

нимаєте, цель какая-то проглянула. Тут я и подумал, что вы, пожалуй, правы были, подозревая Векслера.

— Понятно. Эта дама — она ведь представилась как знакомая Векслера?

— Ну да. Это мне еще Жан... ну приятельница одна, она нас с ним и познакомила, — она мне сразу сказала, что приехала, мол, тут одна от Векслера и хотела бы меня видеть... Это меня уже сразу как-то... насторожило, что ли. А когда она опять начала говорить насчет того, не соглашусь ли я на опубликование там, я и подумал, что, наверное, вы были правы.

— Вот как. Тогда совсем странно получается, Вадим Николаевич, нелогично выходит: приезд иностранки, говорите, вас сразу насторожил, потом, встретившись уже с ней, вы окончательно убеждаетесь, что Векслер через нее действует в каких-то враждебных нам целях, так? И тут же передаете ей свои рукописи. Зачем?

— Ну... она просто прочитать попросила, сказала, что интересуется. Да, и потом вот ведь что! Насчет публикации-то она потом уже заговорила, прочитавши, а в первую нашу встречу она не говорила еще об этом. Это уж после, когда снова она сказала, что почему бы вам, дескать, не опубликовать это на Западе, я почувствовал, что за этой их настойчивостью действительно что-то кроется. Я поэтому ей и не позвонил.

— А что, договаривались звонить?

— Да нет, просто я ей тогда сказал — ну насчет публикации, — что не знаю, мол, не думал об этом никогда... Ну она и сказала, чтобы я ей позвонил, если надумаю согласиться. Но я звонить не стал!

— Но и отказаться прямо не отказались?

— Да нет вроде...

— Понятно. Не сказали ни да ни нет. А вот как вы думаете — могла она эту вашу нерешительность, колебания ваши внутренние — ведь были же колебания, вы согласны? — могла она их истолковать как несформулированное, невысказанное согласие?

Кротов подумал, пожал плечами.

— Могла, пожалуй.

— Вот и я так думаю. Говоря иными словами, на публикацию повести вы почти согласились. Хотя и понимали, что на Западе история вашей непризнанной художницы будет обыграна в совершенно определенном смысле, как еще один пример отсутствия у нас «свободы творчества»...

— Да не думал я об этом! А получилось, конечно,

нехорошо, что и говорить. Не знаю уж, в каком виде они передавали по радио «Чокнутую», но «Солдатúшек» они же просто наизнанку вывернули, сделали сплошную антисоветчину! Я не слыхал, правда, но вот этот — Градский или как его там? — он такую нес ахиною! Да что я, псих, в самом-то деле, — послать рукопись на Запад, а копию принести вам сюда! Главное, смысл какой, не понимаю... Если им нужно было мое сотрудничество — это я могу понять, уже вот и псевдоним придумали, — то зачем же сразу меня и топить этими «Солдатúшками»?

— Эх, Вадим Николаевич, — усмехнулся Ермолаев, — наивный вы человек. Сотрудничество ваше им нужно, как, я извиняюсь, прошлогодний снег. Вы что же думаете, мало у них там своей пишущей братии? Рассказ ваш видите как ловко обработали — сразу-то и не заметишь, что чужая рука прошлась. Они там, только мигни, такой антисоветчины насочиняют, что волосы дыбом, в этом плане вы их не переплунете, как ни старайтесь. Мне думается, вы им не как лишний автор «Материка» пужны были, а как лишняя жертва «нарушений прав человека в Советском Союзе». Потому что расчет тут простой: публикуют от вашего имени злобный пастырь, клевету на наши Вооруженные Силы, у вас из-за этого начинаются разные неприятности, вот и готов повод для очередной кампании: опять, мол, Советы преследуют инакомыслящих...

— Что ж, только ради этого? — В голосе Кротова прозвучало недоверие.

— А это, Вадим Николаевич, не так мало. Это ведь только частный случай, но он-то в общую картину вписывается, а картина обширная, всю целиком ее не сразу и увидишь. Мне сейчас последний наш разговор вспомнился — здесь же, в этом кабинете, когда вы мне вопрос задали: что, мол, такого, если автор опубликует за границей что-то, что «не идет» здесь. Помните? Так вот, к тому, что я вам тогда ответил, сейчас хочу добавить: а кому может быть польза от такой публикации? И какой в ней вообще смысл? Вы же для соотечественников пишете, для тех советских людей, которые живут здесь, в своей стране, живут ее жизнью! Думаю, что и для вас прежде всего важно их мнение о вашей работе, их оценка ваших взглядов. А что вам, строго-то говоря, до мнения и оценок зарубежных читателей? Да и все ли они в ваших рассказах поймут? Они — сами по себе, им наши проблемы чужды, там своих болячек хватает...

— Да кто же спорит,— закричал Кротов,— ясно, лучше бы здесь читали, свои! Но если все равно не печатают!

— Что не печатают — жаль, конечно. Я, честно говоря, не очень понимаю — почему; то, что вы давали почитать, мне понравилось... Кстати, вы можете их забрать, они у меня здесь.— Он достал папочку из ящика стола, протянул Кротову.— Конечно, в редакциях подход, наверное, другой, профессиональный...

— Вот-вот.— Кротов покивал, заталкивая рукопись в портфель.— Уже и вы готовы их оправдать, им, мол, виднее, они знают что-то недоступное простым смертным! Да с их «профессиональным подходом» — дай им волю — мы бы до сих пор Булгакова не знали, «Мастер» тридцать лет провалялся под спудом...

— Не горячитесь, Вадим Николаевич, я никого не оправдываю. Но и не осуждаю безоговорочно, для этого надо глубже разбираться в этом вопросе. Литература, мне думается, дело куда более сложное, чем может показаться на первый взгляд. Вы вот «Мастера и Маргариту» вспомнили, что, мол, прятали роман от народа, держали под спудом. Ну а представьте себе — тогда, в тридцатые, сороковые годы,— как бы читатели восприняли такую вещь, пояись она в то время? Не задумывались? А вы попробуйте, попытайтесь представить. Мне все-таки кажется — хотя я сужу как дилетант, могу и ошибаться,— мне кажется, каждое произведение появляется в свой срок, вот как плод созревает на дереве... не раньше и не позже. Раньше появится — останется непонятым, никому из современников не нужным.

— Многие авторы опережали свое время,— сказал Кротов.— Нет, я не про себя, не подумайте. Так вот им как же тогда — вообще, значит, не издаваться?

— Нет, ну почему же. Но таким авторам, конечно, труднее. Не зря ведь говорят, что искусство требует жертв... Я так это понимаю, что от человека вообще большое требуется мужество им заниматься. Тут уж — ничего не поделаешь — надо быть готовым ко всему. И что не поймут тебя так, как ты бы хотел, и не признают тогда, когда признание нужнее всего... Но зато, как говорится, свободный выбор! Вы же не пошли работать в школу, не стали преподавателем, предпочли такое вот существование... этакое толстовца, что ли.

— Ну какой из меня толстовец.

— Да нет, я ведь приблизительно. Вспомнил просто, как те «опрощались», проповедовали возврат к фи-

зическому труду — столярничали, огородами занимались артельно. Вы, я вижу, тоже человек к жизненным благам нетребовательный, и терпения у вас хватает с избытком... Это уж господин Векслер тут явился, сбил вас с панталыку, а то вы и дальше пребывали бы в этой буддийской, что ли, невозмутимости. Не печатают, и ладно. Оно, с одной стороны, вроде бы и хорошо, достойно, не лезете никуда, не суетитесь. Но это все-таки... как бы поточнее тут выразиться... ну, отчасти это поза, понимаете. А в нарочитой позе долго не высидишь, сами смогли убедиться. Я вам знаете что скажу? Писателя, наверное, мало быть терпеливым, ему еще и некоторая драчливость не помешает, в смысле — умение отстаивать свою точку зрения...

— Подсказали бы, как это делается,— сказал Кротов не без вызова.

— Э-э, нет, тут подсказки не помогут, Вадим Николаевич, мы не в средней школе. А вообще, жизненная позиция у вас пассивная, это даже и в тех рассказах чувствуется, что я прочитал. Неуловимо как-то, а чувствуется.

— По двум рассказикам судите? Это уж у вас просто накладывается на прочитанное ваше представление обо мне. Если бы вы меня лично не знали, то ничего «пассивного», я думаю, в них бы не обнаружили.

— Возможно,— согласился Ермолаев.— Зная человека, конечно, воспринимаешь написанное им совсем по-другому, тут вы правы. Но вот как бы вам объяснить... Рассказы ваши мне понравились, я уже говорил. И все же, вот тот второй...

Ермолаев замялся; не дождавшись продолжения, Кротов спросил:

— Подражательный, вы считаете? Немного есть, признаю.

— Не в том дело. Вы говорили, вас в камерности обвиняют... И я вот сейчас вспоминаю этот рассказ и думаю: ну хорошо, а что он даст читателю? Вы извините, что я так прямоком, может быть, в лоб.

— Ничего, мы привычные.

— Да не ершитесь вы, тут действительно хотелось бы разобраться. Может, я чего-то недопонимаю. Хорошо написано, тонко, убедительно, а все же — о чем? Ну, что-то у вашей героини в жизни не заладилось, чего-то ей не хватает...

— Тепла ей не хватает,— буркнул Кротов,— ясно, чего.

— Да, тепла, понимания... Но знаете, это все-таки еще не то, что можно назвать серьезной жизненной драмой. Есть только оттенок драмы, да, именно оттенок, у вас там все на оттенках, на нюансах едва уловимых... И я, в общем, могу понять, почему кое у кого это вызывает протест.

— Ну, еще бы. Вот если бы я на Саяно-Шушенскую ГЭС съездил, на БАМ куда-нибудь, да написал бы что-нибудь о людях хороших...

— Зачем же обязательно на БАМ или на Саяно-Шушенскую. Хотя, убежден, такая поездка оказалась бы для вас интересной и полезной, люди там есть всякие, и наверняка интересных среди них немало. Но сейчас вам туда ехать не стоит: зачем же насиловать-то себя, коли не тянет? Вы вокруг оглядитесь, мало ли сюжетов, проблем...

— А для меня, представьте, человеческое одиночество и нехватка душевного тепла — это тоже проблема, и еще какая!

— Согласен, согласен, но тогда и показывать ее надо как-то иначе — драматичнее, что ли, резче, без этой дымки нюансов. Впрочем, не мне вам советовать! И потом, это одна лишь проблема, а мало ли других? А вы такую заняли позицию, будто ничто вас не касается и не интересует — живите, мол, как хотите...

— Меня к такой позиции уже сколько лет приучают! Я как-то рассказ про алкаша написал — жутковатая получилась вещичка, парень там окончательно спивается, мать чуть не убил, — так мне знаете что сказали? Странно, дескать, что вы в нашей советской жизни ничего другого не увидели. Вот так-то!

— Ну и что? Мало ли что дурак может сказать. А вы сразу и лапки кверху? Вот это и есть та пассивность, о которой я говорю. У вас ведь есть дети?

— Есть, да. Дочка. Ну она... с матерью живет.

— Я почему спросил: когда у человека дети, мне кажется, он должен особенно остро ощущать ответственность.

— Перед кем?

— Я не об «ответственности перед», а об «ответственности за». Об ответственности за все, что делается.

— «Я отвечаю за все» — так, кажется? Красивая формулировка, но ведь это чистой воды риторика. Ответственность свою только тогда можно чувствовать, если от тебя что-то зависит.

— Слишком утилитарно рассуждаете, — возразил Ермаляев. — Выходит, что же, если прямо вот сейчас нет у вас возможности что-то изменить, то и беспокоиться нечего? Я вашего творчества, конечно, не знаю — по двум рассказам судить нельзя, это вы верно сказали, — но думаю, что беспокойства в нем не ощущается. А это, по-моему, опасный признак.

Кротов долго молчал, потом пожал плечами, проговорил словно нехотя:

— Ну, в «Чокнутой» оно как раз есть... Я, во всяком случае, хотел, чтобы беспокойство там ощущалось.

— Значит, вы к какому-то перелому приблизились. Не надо только было этим своим беспокойством делиться с Западом, там они все это слишком уж по-своему понимают...

Выйдя на Литейный, он долго стоял на углу, рассеянно пытаясь решить, куда идти. Домой, к письменному столу, не тянуло, общаться с кем-нибудь из кодлы не хотелось; на паразитку Жанку, так удружившую ему с Карен, он был сердит, у Маргошки появилась последнее время скверная привычка читать с подыванием своей порнопоэзы, Левка опять станет, брызгая слюной, поносить очередного завистника-режиссера. Ну их всех на фиг. С Димкой Климовым неплохо бы посидеть, но Димка был в рейсе — плывал на своей самоходке.

День был жаркий, но справа, из-за Невы, тянуло вдоль Литейного свежим ветерком. Вадиму вспомнилось, что кто-то из Андреевых — то ли сын, его тезка, то ли сам Леонид — писал, что не любит северного ветра, мертвящего, убивающего запахи. А ему северный ветер нравился, летом, конечно (зимой кому он нужен): приносит солнечную, но не жаркую погоду, в воздухе появляется какая-то особенная бодрящая прохлада, а небо, продутое и очищенное от дымов, приобретает яркую глубокую синеву прозрачной эмали.

Ему вдруг захотелось за город. Пересчитав в кармане мелочь, не спеша побрел к мосту, постоял там на середине разводной части, глядя, как плавно и стремительно летит в пролет сумрачно-синия от отраженного неба вода, потом вышел к Финляндскому вокзалу. Неплохо бы съездить в Сосново, но денег не хватило, пришлось ограничиться родимой 5-й зоной. Наглотавшись монеток, автомат зажег на счетчике 0,70, Вадим пажал кнопку и поймал пальцами высунувшийся из щели кра-

ешек билета. Андреев, да. Вот уж у кого беспокойства было хоть отбавляй. А читать все-таки тянет не его, а бесстрастного Бунина...

Поезд уже стоял у перрона, он вошел в полупустой вагон, сел на свою излюбленную двухместную скамейку у самых дверей, удобную тем, что никто не торчит вназави. Да и место рядом занимают разве что в часы «пик», обычно едешь с комфортом, можно даже писать, не возбуждая любопытства. Иногда ему неплохо работалось в электричке, но сейчас писать не хотелось — не было о чем, попросту говоря. Да и — как? Товарищ Ермолаев Б. В., в общем-то, кое-что действительно углядел, некоторая сермяга в его словах есть, тут как ни крути...

Электричка тронулась, одновременно с ней выползла рядом другая, минут пять они бежали ноздря в ноздю, потом та стала опережать и отвалила вправо, на Ладугу, торжествующе показав хвост. Бунин, конечно, в этом плане не пример. Он и должен был быть бесстрастным, ничего другого ему не оставалось: какую еще позицию мог он занять в обществе, уже расколотом надвигающейся революцией? Одни ждали ее и готовили, другие пытались предотвратить; академику Бунину — скорее консерватору, чем реакционеру — было не по пути ни с теми, ни с другими, он мог лишь оплакивать уходящую усадьбную Россию...

Выйдя на пустынную платформу, Вадим машинально побрел песчаной тропкой и, лишь увидев впереди знакомую сосну — могучую, с лирообразно раздвоенным на середине высоты стволом, сообразил вдруг, что идет к лыжной базе. Сообразил и сам удивился, чего это его вдруг сюда принесло, хотел ведь просто в лесу побыть. Ладно, решил он, какая разница, дойду до ворот, и назад. Забор, зимой поломанный питухами, был починен и окрашен, свежей краской голубели и оба дома на территории, пестрящей грибочками и качелями. Оказывается, здесь не пионерлагерь разместился, а детский сад.

Это порадовало Вадима, дети школьного возраста особо теплых чувств в нем не вызывали (отчасти поэтому и не рискнул стать учителем), но малышей он любил — лет этак до пяти. Облокотившись на забор, он долго смотрел на их возню, пока строгая тетя в белом халате не окликнула его, спросив, к кому он пришел, и напомнив, что день нынче неродительский. «Да нет, я так, — отозвался он, продолжая улыбаться, — просто мимо шел...»

Ответственность, подумал он. В общем-то, конечно,— когда на таких вот смотришь, действительно не чувствовать нельзя. Да хотя бы и перед ними! Верно и то, что чувство ответственности нелепо ставить в прямую зависимость от того, можешь ты что-то сделать в данный момент или не можешь. Этим-то козявам жить еще долго, а в случае чего с кого они спросят? С нас. Куда же это вы смотрели, скажут, чем думали...

В этом смысле, конечно, та же «Чокнутая» — вещь куда более нужная, чем его тщательно отделанные подражания Бунину. Ну не совсем подражания, тут сложнее. Приличнее сказать: в духе бунинской школы. Но все равно, все равно, как ни назови...

Сейчас, ясное дело, никто такого не напечатает. Но об этом думать нельзя, это уж последнее дело — творить с расчетом на проходимость. Б. В. прав и в том, что каждому овощу свое время. Ладно, ему ждать не привыкать — терпением Русь стояла...

Сюжетов-то вокруг хватает — кто же спорит? Разве та же история с Векслером, со «слависткой» этой — не тема? Вадим, уже отойдя от базы, задумался, постоял даже под лировидной сосной, наблюдая за муравьями. В самом деле, а почему бы и нет?

Обратная электричка оказалась скорой, она мчалась без остановок, с грохотом пролетая мимо платформ пригородных станций. Вадим остался в тамбуре, стоял у двери, где не хватало одного стекла, и, подставляя лицо ветру, щурился на бегущие навстречу сосны, уже пламенеющие от заката. Почему бы и нет? Необязательно описывать все, как было с ним (он вообще не представлял, как можно писать о себе), но просто взять аналогичную историю, сходную в главном... Собственно, такое могут даже и напечатать, но дело не в этом. Проблема это или не проблема? Пожалуй, не такая уж всенародная — многим это до лампочки. Лишь бы, как говорится, войны не было. Но ведь другие думают не только о том, чтобы выжить, а еще и — как жить, покуда живет... Да не лично же в нем дело, не в его конкретном, частном случае; таких, как он, много, очень много, а когда много — это уже явление, на него не стоит глаза закрывать, рано или поздно оно скажется. Чертовщина какал-то, в самом деле — «самая читающая в мире» страна, а пачинающий автор годами не может напечатать ни строчки. Негде, и все тут! А разные векслеры этим пользуются, уж они-то начеку со своим «сочувствием», своей «помощью»... Это ли не проблема? Тут уж

не Бунин, не «нюансы»... Он понимал, что напишется все это еще не скоро, что надо еще долго обдумывать и передумывать, но его уже лихорадило, уже тянуло к рабочему столу. Впервые за последние месяцы — жадно, требовательно...



СТУПИТЬ ЗА ОГРАДУ

Когда в августе 1942 года в Ставрополь, где жила семья будущего писателя, вошли немцы, Юрию Слепухину едва исполнилось шестнадцать. Оккупация продолжалась всего полгода, но и этого хватило, чтобы сломать множество судеб: сотни молодых людей обоего пола, целых семей, были угнаны в Германию. Слепухин оказался среди них, он испил эту чашу. До дна. Потом, после освобождения, будут лагеря для перемещенных лиц в Нидерландах, два года трудного, неустроенного житья в послевоенной Бельгии, отъезд в Южную Америку, в немыслимо далекую Аргентину.

В Буэнос-Айресе Слепухин — строительный рабочий, механик, квалифицированный электрик, способный художник-оформитель. Перепробовано, и не без успеха, множество профессий, но ни руки, ни мозг не могут закрепиться на чем-то одном, мешает ощущение временности, вышужденности. Просыпается тяга к творчеству, желание писать, но и оно отравлено тоской по Родине, ни на миг не отпускающим стремлением вернуться. О сталинской политике в отношении советских людей, депортированных немцами, попавших в плен, живших в оккупированных областях, в Аргентине известно. Ожидание лучших времен растягивается на десять лет. Это много или мало? Неиспытанный не ответит. Слепухин начинает хлопоты о возвращении сразу, как только доходит до Буэнос-Айреса весть о XX съезде партии. В 1957 году — он дома.

После возвращения Слепухин напишет о советской молодежи накануне войны — «Перекресток»; об оккупации — «Тьма в полдень»; об антифашистском Сопротивлении в третьем рейхе — «Сладостно и почетно»; о наших днях и современниках — «Киммерийское лето», повесть «Частный случай». Как бы в отдельный ряд встанут «аргентинские» романы «У черты заката» (почти весь написанный по-испански, а потом переведенный на русский язык), «Ступи за ограду», «Южный крест» (два первых составляют дилогию, «Южный крест», одно из лучших, на наш взгляд, творений писателя, самостоятелен по теме и сюжету).

Слепухина не отнесешь к тонким стилистам, свою задачу писатель видит не в изысканности формы, но в максимально убедительном синтезе реальной жизни на страницах книги. Он архитектор и строитель крупных романских форм, с самого начала запрограммированный на роман, никогда, даже в юности, не писавший ни рассказов, ни стихов. Для Слепухина-романиста характерна глубокая психологическая разработка образов героев, ис-

ключительная добросовестность и внимание к деталям (в самом деле, даже кабина бомбардировщика В-52 описана в романе «Ступи за ограду» с подкупающим знанием дела). Один из очень немногих, Юрий Слепухин владеет умением рисовать женские образы, умением, которое смело можно назвать самостоятельным талантом. При этом писателя интересует не служебное положение героини, но женщина как таковая, не вопросы эмансипации либо феминизации, но извечная загадка женской души (вспомним хотя бы Нику в «Киммерийском лете» и особенно Дуняшу в романе «Южный крест»).

Одна из постоянных тем творчества Слепухина — тема ответственности, прежде всего ответственности перед собственной совестью. Можно сказать, что романы Юрия Слепухина высоко нравственны, но не в схоластически-расхожем, а в изначальном смысле этого порядком истертого слова: высокая нравственность — это ведь нравственность выше средней. Герои слепухинских книг неизменно стремятся «ступить за ограду» обыденной морали, они действуют, противостоят там, где по житейским меркам бездействие, нейтралитет не были бы ни бессовестны, ни безнравственны. Дух судит сам себя, стремится ввысь, ибо остановиться — значит дать себе поблажку, чреватую утратой лица, потерей самоуважения. Так в каждом романе. Задолго до того, как моральный категорический императив побудит к рискованному предприятию Полунина, героя позднего романа «Южный крест», Сергей Дежнев из «Перекрестка» в первые же дни войны уйдет добровольцем. Сергею едва исполнилось девятнадцать, он любит Татьяну, но не колеблется ни дня, обрекая себя и ее на долгую, если не вечную, разлуку. Им движет не только долг перед Родиной (Сергей мог дожидаться призыва, это не стало бы уклонением от долга), но и долг перед самим собой. Не вступить в общую борьбу значит для него изменить самому себе, перестать уважать себя, утратить, среди прочего, и право на любовь женщины...

«Перекресток» — название дважды оправданное. Не только советские школьники, герои романа, подходят к первому порогу зрелости, но вся страна неотвратно приближается к историческому перекрестку — войне. Да и для самого Слепухина тоже перекресток: уход от аргентинских звезд к родной почве, к годам отрочества и юности, начало второй главной дороги в творчестве. Время трудное, беспокойное... Быт, характеры, типические ситуации, люди разных возрастов, должностей и профессий — все это есть в «Перекрестке». Есть и та неуловимая дымка, атмосфера времени и места, что заставляет верить в происходящее, превращает литературный персонаж в доброго знакомого (эта грань слепухинского умения — острое чувство времени и места — в равной мере проявляется и в других романах). И есть Татьяна Ни-

колаева, в начале романа — подросток, в конце — девушка, сверстница Доры Беатрис Альварадо, героини «аргентинской» дилогии. Но как они несхожи! Юная креолка, знающая свою родословную лет на сто назад, выверяющая каждый жест, боясь уронить достоинство рода, аристократка до мозга костей, искренняя католичка. Татьяна — настоящий чертенок, мальчишка в поступках и помыслах, драчунья, неуправляемое существо. Максималистка, и в этом ее сходство с Беатрис, она не приемлет компромиссов и полуправды. Тем неожиданней, ослепительней расцвет ее женственности, неизвестно откуда взявшаяся одухотворенная красота, мудрость женщины, сквозящая в глазах вчерашнего подростка. В нормальную жизнь Татьяны, в ее первую любовь врывается война. Сейчас еще рано говорить о судьбе Татьяны, о Татьяне-женщине. «Перекресток» обрывается в первые дни войны, а второй роман трилогии — «Тьма в полдень» — рассказывает о мытарствах девушки в оккупации. Потом мы теряем ее из виду. В обоих романах фигурирует подруга и наперсница Татьяны, Людмила Земцева, но о ее участи мы узнаем из позднейшего романа «Сладостно и почетно». Значит, можно ждать романа и о Татьяне, унесенной военным ветром...

Младший однокашник Дежнева, не взятый в армию по возрасту, Володя Глушко гибнет в «Тьме в полдень», застрелив немецкого гебитскомиссара. Он сделал это сам, не по заданию подполья, сделал потому, что не сделать не мог.

Здесь, впрочем, необходимо отступление. Роман «Тьма в полдень» занимает несколько обособленное положение в череде слепухинских книг. Здесь больше, чем где-либо еще, личные судьбы героев — Татьяны и Сергея — фокусируют судьбу страны. «Тьма в полдень» — самый эпический из романов Слепухина, склонного к лирическому мировосприятию. Сергей Дежнев, воюющий сперва под Москвой, затем под Харьковом и на Курской дуге, дает автору возможность показать войну изнутри, глазами солдата, и с птичьего полета прошедших лет, глазами историка. Татьяна, волею судеб оставшаяся в занятом немцами Энске, воплощает вторую тему романа — жизнь в оккупации.

...Энск расположен в степном краю, пикаких партизан нет сотни километров вокруг, как нет и постоянной связи с Большой землей. Созданное комсоргом Кривошейным подполье не может рассчитывать на помощь извне, оно ограничено пределами города. Татьяна становится подпольщицей, ничуть не считая это подвигом, ведь, по ее мнению, «подвиг — это когда есть свобода выбора, когда можно остаться в стороне, в безопасности, но ты сознательно выбираешь опасность». Но разве, спросим мы, Татьяна не может остаться в стороне? Разве нет у нее свободы выбора? Оказывается, нет, потому что не внешнее принуждение толкает ее, а собственная внутренняя суть; оказывается, «из всех видов не-

обходимости самая жестокая — это необходимость нравственная, необходимость совершить то, чего требует от тебя твоя совесть».

Подполье Кривошеина почти беспомощно, если смотреть с позиций иных не лучших героико-патриотических фильмов и сочинений: нет оружия, кроме нескольких пистолетов, нет партизанского движения, с которым можно связаться. Но есть возможность показать людям, что немцы в городе не единственные хозяева, — спасти кого-то от угона в Германию, расклеить листовки, добыть и передать своим хоть крупицу важной информации. И есть гестапо... Татьяна идет работать в комиссарнат, навлекая на себя презрение сограждан, ей очень трудно. Володя Глушко рвется убивать фашистов, ему мнится, что подполье занято несерьезными вещами. В это время в Энке убивают немецкого офицера. Власть тотчас набирают несколько десятков заложников и, поскольку виновник не объявляется, расстреливают их. У Татьяны с Кривошеиным происходит тяжелый разговор, в котором отражается одна из трагических черт на лице войны. Кривошеин не имеет права осудить неизвестного мстителя, ведь есть официальная установка на «поголовное участие населения оккупированных областей в уничтожении немецкой живой силы». Для Татьяны, живущей в реальном, не из кабинета увиденном кошмаре оккупации, эта установка неприемлема в отрыве от конкретной действительности, для нее «тот, кто убивает немца на улице и потом прячется, хотя прекрасно знает, что немцы возьмут и расстреляют заложников, — такой человек трус и негодяй». Как тут рассудить? Как не вспомнить Лидице, с одной стороны, мрачный образец фашистского зверства, с другой — результат убийства Гейдриха?..

Да, Володя Глушко убивает гебитскомиссара. Но уже после разгрома подполья, смерти Кривошеина, ареста Татьяны. И сам гибнет тут же, на глазах у немцев. Репрессий не последует, Володя жертвует только собой.

В романе «Ступи за ограду» инженер Фрэнк Хартфилд жертвует любимой работой, карьерой способного авиастроителя, твердым заработком, а в конечном счете даже покидает страну, где родился. Группа инженеров фирмы, в которой работает Фрэнк, едет в ФРГ помогать налаживать военное производство. В некоем журнале без ведома и согласия Фрэнка помещают статью о нем — вот, мол, один из тех, кто отправляется за океан оказывать помощь новому союзнику Соединенных Штатов (1955 год — год вступления ФРГ в НАТО). Хартфилд оказывается в двойственном положении. В разрезе правительственной политики, в глазах хорошо обработанного общественного мнения он стал образцом банковского парня, готового на все ради своей страны. Но сам он отнюдь не считает возрождение немецкой военной мощи нужным и полезным. Его отец, военный летчик, погиб в себе Германии,

завещав сыну ненависть к нацизму, с которым боролся бок о бок с русскими. Фрэнк не может не понимать, что именно для борьбы с вчерашним союзником Америка помогает вчерашнему врагу. У Фрэнка есть простой выход: не ездят в Германию (фирма согласна на это), промолчи, и у тебя будут любимая работа и уважение сограждан. Но пепел отца стучит в сердце Фрэнка. Он созывает пресс-конференцию, опровергает статью и... становится парией в «прекрасной зеленой стране», становится «красным Хартфилдом» (очень верный штрих! — сколько мыслящих, беззаветно преданных родине американцев ошеломляли этим словом до, во времена и после сенатора Маккарти). Пройдут годы, и сотни Фрэнков Хартфилдов будут складывать костры из военных новостей, не желая «защищать интересы своей страны» в далеком Вьетнаме...

В одном редакционном кабинете, когда речь зашла о романе «Ступи за ограду», довелось услышать, что «красный Хартфилд» — это штамп и, стало быть, малохудожественно. Упрек и сам по себе достаточно серьезен, чтобы разобраться в его обоснованности, кроме того, здесь прощупывается интересная, даже болезненная для текущего момента проблема, выходящая далеко за рамки разговора об отдельном писателе. Имеется в виду проблема выработки критериев в условиях переоценки ценностей, истинных и мнимых, переоценки, вызванной перестройкой. Если раньше, в совсем еще недавнем прошлом, наше общественное сознание с вынужденной легкостью проглатывало и усваивало полуправду и прямую ложь, провозглашаемую с высоких трибун и страниц официальных изданий, то теперь у многих, прежде всего молодых людей, происходит обратная реакция — спонтанное отторжение, неприятие любой официально высказанной мысли. Когда же писатель, случайно или намеренно, использует нечто, совпадающее с прочитанным в газетной передовице, этот писатель рискует «без суда и следствия» попасть в конъюнктурщики. Вряд ли это справедливо — тотальное отрицание ничем не лучше бессмысленного ура-энтузиазма. Взять того же «красного Хартфилда». Верен ли с точки зрения реальности этот сюжетный ход? Нет ли здесь и в самом деле штампа? За неимением собственной информации обратимся к независимому свидетелю. Им станет Жорж Сименон, французский писатель, живший в США несколько лет, осмысливший увиденное там в целом ряде произведений. В переведенном на русский язык романе «Черный шар» есть такой эпизод. Собрание общественности городка Вильямсона обсуждает вопрос о строительстве школьного комплекса. Хиггинс, главный герой романа, убежден, что строить надо с учетом перспективы, пусть это и обойдется дороже. Ему уже почти удается убедить сограждан, но все портит некто Перчин. «Этот самый Перчин взял слово и повторил в непримиримом и злобном тоне

доводы и цифры Хиггинса, причем, ссылаясь на него, выразился так:

— Как нам только что доказал товарищ Хиггинс...

Публика забурлила. Перчину позволили говорить довольно долго, но под конец зал взорвался, и кто-то, отбивая такт ногами, выкрикнул:

— В Моск-ву! В Моск-ву!»¹.

Комментарии здесь, думается, излишни. Разумному достаточно.

Юрий Слепухин в акцентах и деталях неизменно точен. И честен. В стремлении к правдивому отображению жизни он не останавливается перед ломкой стереотипов, «ступает за ограду» догм, полуправд и умолчаний, кому-то очень нужных, для кого-то спасительных. В недавнем прошлом писателю приходилось расплачиваться за это самой дорогой ценой — возможностью печататься.

Роман «Сладостно и почетно» начинается выстрелом танкового орудия. Молодой лейтенант, командир танка, хочет достать взлетающий «юнкерс». Не получилось. Самолет поднимается в небо, унося раненого офицера вермахта Эриха Дорнбергера, до мобилизации бывшего ученым-физиком. Его эвакуируют из сталинградского «котла». По приземлении за распространение пораженческих настроений в «котле» арестовывают пилота Фрелиха. Для Дорнбергера начинается путь в Германию. Там он знакомится и сближается с Клаусом фон Штауффенбергом, подключается к заговору с целью убийства Гитлера. В семье давнего знакомого, дрезденского профессора Штольница, Эрих встречает «восточную работницу» Людмилу Земцеву. Близится 20 июля 1944 года. Дорнбергер осознает, что любит русскую девушку. Людмила вначале ужасается своему чувству к немецкому офицеру, но в конце концов покоряется ему. Она не может не понимать, что Эрих не фашист, он, как и все честные немцы, жертва фашизма. Это первая любовь в жизни Людмилы, горькая любовь. Покушение не удается, заговор подавлен. На полную мощность запущена гестаповская мясорубка. В самый день покушения гибнет Эрих Дорнбергер. Казнен профессор Штольниц, на старости лет включившийся в заговор. Людмила с поддельными документами скитается по Германии, происходит давно ожидаемая ею встреча с немецкими подпольщиками-антифашистами. Одного из них зовут Фрелих. Он рассказывает Людмиле о своем брате, расстрелянном два года назад за распространение пораженческих настроений в сталинградском «котле». Подполье направляет Людмилу в Дрезден, куда девушка приезжает за день до уничтожения города англо-американской авиацией. Чудом оставшись в живых, Люд-

¹ Сименон Ж. До самой суги. Лениздат, 1983, с. 386.

мила пытается пробраться через развалины к дому Штольницев. В это время в город въезжает советский танк и стреляет по зданию, где засели эсэсовцы. Роман кончается выстрелом танкового орудия...

В романе нашли отражение «вечные» темы Слепухина — долг, ответственность, честь, загадка женской души. Но пафос книги, объединивший всех положительных персонажей, как ни разнятся они по своей внутренней сути, мировоззрению, способам борьбы, выражен словами Горация: «Сладостно и почетно умереть за отечество».

Роман «Сладостно и почетно» должен был увидеть свет в середине шестидесятых годов, а увидел двадцать лет спустя. Отчего же? Оттого, что советская девушка не может полюбить немецкого офицера. Этого не может быть, это уводит в сторону, это вредит патриотическому воспитанию нашей молодежи. Такой роман нам не нужен. Мнение, высказанное кем-то неразличимым, возымело действие, роман «затормозили», да так прилежно, что и сам автор замер в неподвижности. За десять (!) лет после «мнения» Слепухин не напечатал ни строчки.

Вошедшая в настоящее издание повесть «Частный случай» названа так, вероятно, потому, что для сотрудников Комитета государственной безопасности случай Вадима Кротова действительно частный, лежащий в стороне от основных направлений работы КГБ. В самом деле, Вадим Кротов, 28-летний сторож с высшим образованием (поистине примета времени) не намеревается нелегально переходить границу, не бродит по лесам в поисках проб земли и воды, не переправляет в обход закона за рубеж произведения русского искусства. Вадим пишет рассказы, пишет не из корыстолюбия, не ради славы, но потому лишь, что не писать не может. Нам дают понять, что Кротов отнюдь не графоман, его рассказы хороши и по всем статьям достойны публикации. Для понимания повести важно то, что Вадим еще ни одной своей строчки не видел напечатанной, он, по существу, переживает душевный кризис, видит будущее в черном цвете, не надеясь уже опубликоваться вообще когда-нибудь. Писать же «для себя» всю жизнь выше сил человеческих, да и не имеет смысла — люди все равно не услышат тебя. Из редакций год за годом приходят отказы. Это знакомо: в стране, как всем известно, не хватает бумаги, жизнь редактора и издателя тяжела. Установка дублирует установку, кампания наползает на кампанию, успевай только разворачиваться носом по ветру, какая уж тут литература... Так было, читатель, в чем-то так и осталось... Правда, у нас, в отличие от Вадима Кротова, есть твердая надежда на лучшее.

Кротов в своей безысходной ситуации попадает в поле зрения некоего Векслера, «охотника за диссидентами», и в конечном счете публикуется за границей. Достоин ли этот поступок осуж-

дения? Да, достоин. Вадим и сам себя осудит впоследствии. По повесть «Частный случай» ставит вопросы, выходящие за рамки частного случая с Вадимом Кротовым. Случилось так, что к обычному выезду за границу, к явлению диссидентства в последние годы прибавилась так называемая «внутренняя эмиграция», в которой сейчас пребывает, как свидетельствует пресса, немало одаренных, умных, социально активных (в прошлом) молодых и не очень молодых людей. Неужели только они сами повинны в своем «уходе»? Неужели все они малодушные неженки, неспособные бороться с обстоятельствами? Но еще диккенсовский мальчик, выпоротый отцом, засвидетельствовал, что обстоятельства бывают сильнее нас. Алесь Адамович со страниц «Литературной газеты» поименно перечислил тех, кто, по его мнению, повинен в «вытеснении» с родной почвы Андрея Тарковского. Так что свою долю ответственности за неостребованность талантов, за утечку дарований в молчание или за рубеж должны нести и наши родные бюрократы от искусства, перестраховщики и холодные лентяи, не отличающие душу живую от чугушной болванки, все силы бросающие на удержание под собой начальственного кресла. Если смотреть с этой стороны, случай Вадима Кротова не такой уж частный. Финал повести, каким бы он ни был, в конце концов, случаен, а вот вопросы, порождаемые повестью, закономерны и требуют решения.

Есть надежда, что они будут решены. Времена круто меняются, факт публикации «Частного случая» тому подтверждение. Нет сомнений, еще три-четыре года назад повесть не увидела бы света.

Удачливый графоман, протолкнув в печать очередной беспроблемный опус, подсчитывает доход и высматривает новую удобную тему. Настоящий писатель, освободившись от цепей завершенного творения, чувствует неудовлетворенность, недостаточность сделанного и ищет новых оков. Пока это так, дело идет. Юрий Слепухин, взыскательный к себе, честный, несуетливый писатель, занял трудным поиском человеческого в человеке. Этот поиск бесконечен, как сама жизнь, так что мы вправе ждать от писателя новых романов, новых вех и перекрестков на пути без конца. «Трудно быть богом» — с этим утверждением братьев Стругацких нельзя не согласиться.

Но быть человеком не легче.

Вл. Захаров

Содержание

3

ПЕРЕКРЕСТОК

Роман

398

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Повесть

502

Вл. Захаров

СТУПИТЬ ЗА ОГРАДУ

*Юрий Григорьевич
СЛЕПУХИН*

**ПЕРЕКРЕСТОК
ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ**

Избранные произведения

Заведующий редакцией *А. И. Белинский*
Редактор *А. Г. Казакова*
Младший редактор *Л. Л. Решетникова*
Художественный редактор *И. В. Зарубина*
Технический редактор *И. В. Буздалева*
Корректор *В. Д. Чаленко*

ИБ № 4560

Сдано в набор 13.01.88. Подписано к печати 09.06.88. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарн. обычн. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,68. Усл. кр.-отт. 26,88. Уч.-изд. л. 30,30. Тираж 100 000 экз. Заказ № 414. Цена 2 р. 10 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Слепухин Ю. Г.
С47 Перекресток; Частный случай: Избранные произведения.— Л.: Лениздат, 1988.— 510 с.

ISBN 5-289-00174-3

В книгу вошел известный роман «Перекресток», в котором описываются события, происходящие в канун Великой Отечественной войны, а также повесть «Частный случай» — о работе чекистов в наши дни.

С $\frac{4702010200-149}{M171(03)-88}$ 184—88

84.3P7